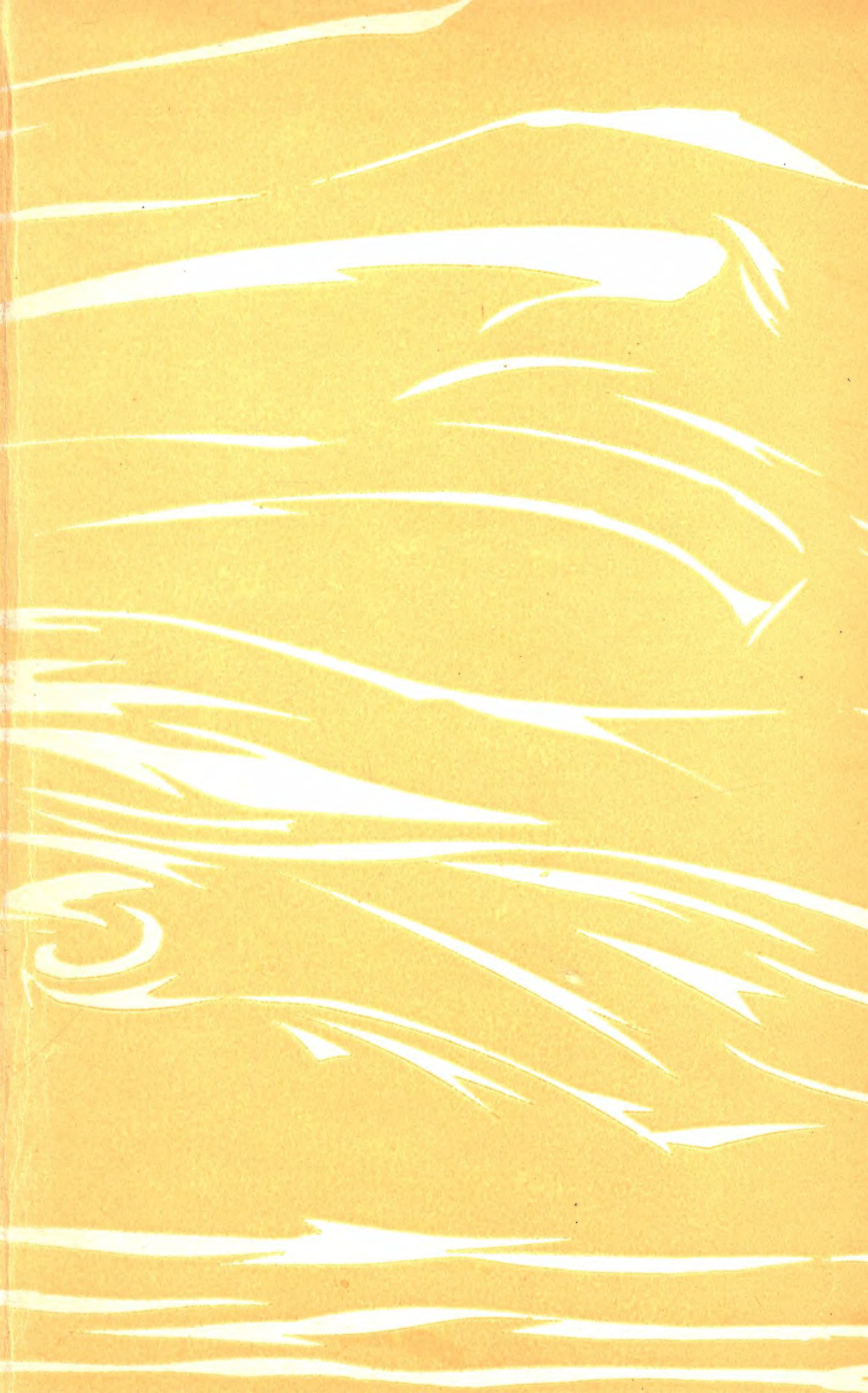




Б. Четвериков

КОТОВСКИЙ







Ч $\frac{0732-25}{M148(03)-75}$ 25-75

П2
Ч-52

Печатается по изданию:
Борис Четвериков. Котовский.
«Лениздат», 1972

Борис Четвериков



КОТОВСКИЙ

Роман



**КУЙБЫШЕВСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1975**

Борис Дмитриевич Четвериков — старейший русский писатель, плодотворно работающий в литературе уже более полувека. Он родился в 1896 году в Уральске, детство и юность провел на Урале и в Приуралье, а с 1922 года живет и работает в Ленинграде. Первый его рассказ был напечатан в 1915 году. Ныне он автор сорока книг — романов, повестей и рассказов. Известен Четвериков и как поэт. В 1967 году вышел его сборник стихов «Страна задумчивых берез», и сейчас он подготавливает к печати новую поэтическую книгу. Многие произведения Бориса Четверикова — такие, как «Сытая земля», «Атава», «Волшебное кольцо», «Малиновые дни», «Синяя говядина», «Любань», «Бунт инженера Каринского», «Голубая река», «Солнечные рассказы», «Деловые люди» и другие — были знакомы читателям еще в 20—30-е годы. Некоторые из них издательство «Художественная литература» переиздало в сборниках «Повести и рассказы» (1964) и «Избранное» (1971). Особенной любовью читателей пользуются романы Четверикова «Утро», «Навстречу солнцу», «Во славу жизни», а также роман-диалогия «Котовский», который мы и предлагаем читателям в популярной серии «Подвиг».

Большой многолетний труд писателя — роман «Котовский» — посвящен человеку, чьи дела легендарны, а имя бессмертно. Автор показывает, как формировалось сознание Котовского — мальчика, подростка, юноши, как пришел Котовский к пониманию идей социализма, к осознанной борьбе со старым миром, как вырос в настоящего борца-коммуниста. Со страниц романа встает могучая фигура бесстрашного талантливого командира, героя гражданской войны, вышедшего из народа и отдавшего народу всего себя. В книге рассказывается о жизни и деятельности Котовского в период 1921—1925 гг., о его дружбе с М. В. Фрунзе, о друзьях и соратниках Котовского, доблестных защитниках революции. Эпиграфом к роману можно было бы поставить слова из известной песни:

Этих дней не смолкнет слава,
Не померкнет никогда!

Книга первая

ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА

ПЕРВАЯ ГЛАВА

1

Княгиня Мария Михайловна Долгорукова была в том неопределенном возрасте, когда женщине можно дать под сорок, а можно — и все пятьдесят. Княгиня была великолепно. Страх перед подкрадывающейся старостью заставлял ее чуточку злоупотреблять духами, одеваться ярче и пестрее, чем бы следовало, и кокетничать слишком навязчиво и откровенно. Но все это выходило у нее очень мило. Даже тем обстоятельством, что у нее взрослая дочь, Мария Михайловна тоже подчеркнуто щеголяла. Она как бы говорила: «Вот видите, моя Люси совсем взрослая, а между тем я еще так молодо выгляжу».

Мария Михайловна была в дорожном, но и эта огромная шляпа, и белая вуаль с мушками, и шуршащая синяя шелковая мантилья, и яркий зонтик, который, собственно, вовсе был не нужен, — все было так необыкновенно, так модно, так броско... И Мария Михайловна так заразительно смеялась и придумывала столько поручений офицерам, которые окружали ее экипаж...

— Серж! Я хочу вина... Я совершенно продрогла.

И молоденький Серж, мальчик, бежавший за границу после разгрома революционными войсками кадетского корпуса в Петрограде и теперь очутившийся почему-то в составе румынской армии, в восторге и упоении мчался отыскивать вина.

— Юрий Александрович! Узнайте, далеко ли до Кишинева? Какие ужасные дороги! Вся Россия состоит из ухабов! Почему нет ухабов во Франции, в Париже? Бедь можно устроить, чтобы не было ухабов?

Капитан Бахарев, к которому обращены были эти слова, спешил выполнить поручение княгини и готов был извиняться за плохое состояние бессарабских дорог.

Подъезжал справиться о здоровье княгини румынский коренастый полковник. Он сообщал при этом, что погода неважная, и возвращался к своей части, молодцевато подкручивая усы и считая, что очень мило поболтал с интересными дамами.

Мария Михайловна ехала в роскошном экипаже, сверкающем, лакированном, на резиновом ходу. Рядом с ней помещались бесчисленные картонки и Люси — ее дочь, блондинка с голубенькими глазками, пухлыми губками, и вся в бантиках, в бантиках — не девушка, а сюрпризная коробка.

Офицеры, поотстав от экипажа, чтобы выкурить сигарету, делились впечатлениями от знатных путешественниц, грубовато, по-армейски, острили, спорили, кто лучше: мать или дочь — и все время расходились во мнениях.

В самом деле, княгиня вполне могла еще нравиться. В ней чувствовалась порода. И она была так изнежена, избалована жизнью. Сейчас по ее холеному лицу скользила временами печальная тень. Может быть, впервые ей приходилось вот так, ранним, холодным, неприветливым утром тащиться по скверным дорогам, впервые сознавать, что она вынуждена считаться с какими-то обстоятельствами, подчиняться чужой воле... И на лице ее появлялась иногда горькая улыбка, которая ей очень шла.

Что касается Люси, то она действительно была прехорошенькая, даже если не брать в расчет все мастерство и искусство ее дорогих портних.

Для офицеров в их походной неуютной жизни было приятной неожиданностью встретить здесь, под Кишиневом, настоящих светских женщин, говорить с ними, «ввернуть» в свою речь два-три французских слова, щегольнуть галантностью, воскресить в памяти петербургские гостиные, балы в Офицерском собрании, лотерей-аллегри...

На откидной скамейке, напротив дам, сидел помещик Скоповский, Александр Станиславович. Экипаж принадлежал ему, и он вез княгиню и княжну Долгоруковых к себе в имение погостить.

Разумеется, только это тревожное время могло содействовать их неожиданному знакомству. Скоповский отлично сознавал разницу общественного положения аристократической фамилии Долгоруковых и его, Скоповского, провинциала, помещика средней руки.

Но сейчас Скоповскому предоставлялся случай оказать любезность княгине. Было бы глупо, если бы он такой случай упустил. И он спешил, спешил попасть в свое имение «Валя-Карбунэ».

Когда началась революция, Долгоруковым пришлось пережить неприятные минуты на Киевщине, где находилось их имение: крестьяне стали захватывать помещичьи земли, хотели спалить и имение Долгоруковых... Пришлось уезжать чуть не тайком, ночью, захватив лишь необходимые вещи, которых все-таки набралось порядочно.

Скоповскому тоже пришлось спешно покинуть свое «Валя-Карбунэ».

Но теперь положение менялось. Усилиями «Сфатул-Цэрий» — националистического правительства Молдавии, сочувствием Украинской рады, а прежде всего — согласованными действиями иностранных держав в Бессарабии восстанавливались прежние порядки. Сейчас уже определенно известно, что красные из Кишинева ушли, и «Сфатул-Цэрий» гарантирует: ни одного выстрела не услышат возвращающиеся. Румынские войска будут встречены цветами. Добро пожаловать, дорогие спасители!

И они не заставили себя долго ждать.

Вот почему войска и обозы боярской Румынии загромождали все дороги в направлении на Кишинев. Вот почему в Кишиневе суетились и бегали настроенные торжественно и празднично бывшие чиновники, бывшие полицейские, готовившие войскам пышную встречу.

«Сфатул-Цэрий» выстроил, как на параде, почетный караул в центре города, на Немецкой площади, где всего несколько дней назад на митинге выступал Котовский... Губернский комиссар, бендерский помещик Ми-ми, самолично давал распоряжения о доставке букетов из

оранжерей собственного поместья... Другие почтеннейшие господа из «Сфатул-Цэрий» развешивали национальные флаги... В Дворянском собрании повара готовили пышный обед...

Вот почему возвращались в Бессарабию приободrivшиеся помещики, купцы, чиновники.

И Скоповский тоже не хотел откладывать ни на минуту возвращения. Вот уж поистине неугомонный человек!

Напрасно его уговаривали не торопиться, переждать, дать время, чтобы военные власти... как бы это выразиться... ну, приняли бы надлежащие меры. Так нет! Подай ему его «Валя-Карбунэ» немедленно!

Желательно ему, видите ли, показаться, да, да, показаться этим ленивым молдаванам, этим буйволам, чтобы они воочию могли убедиться, что господин Скоповский существует, что господин Скоповский никуда не девался, вот он тут, жив и невредим.

В имении «Валя-Карбунэ» всегда было шумно, весело, безалаберно, особенно когда на летние каникулы приезжали из Петербурга дети: студент-путеец Всеволод Скоповский и Ксения — мечтательная институтка с богатой пышной косой. Тогда в имении не переводились гости. Жгли фейерверки, танцевали, ездили на пикники. Всеволод обычно являлся со студентами-однокашниками, Ксения привозила подруг. Все они влюблялись друг в друга, писали записки, назначали свидания, давая неисчерпаемый материал для волнений и совещаний бесчисленных бабушек и теток...

А теперь и дети неизвестно где... Все стало неясно! Скоповский считал, что не от возраста и нездоровой жизни иссякла радость бытия, не от больной печени стали приходить все чаще невеселые мысли. И в болезнях, и в преждевременной старости, и в одиночестве, и во всех невзгодах Скоповский винил революцию. Казалось, что, если бы не она, все шло бы, как прежде: по-прежнему делали бы шарлотки, по-прежнему Скоповский жил бы в полное удовольствие, чтобы вот так, среди веселья, врасплох умереть, не успев даже испугаться своей кончины. И не потому ли он так стремился вернуться в свое имение, что все еще надеялся застать там прежнего себя: свою былую беспечность, былую молодость?

Скоповскому очень льстило, что вместе с ним прибывала в его имение княгиня Долгорукова. Скоповский был падок до громких титулов и имен. Сам он не бывал у Долгоруковых, но слышал, что это цветущее имение в отличном состоянии, хотя покойный муженек Марии Михайловны князь Долгоруков успел порядком поразмотать наследство. Впрочем, осталось еще достаточно.

В Швейцарии, в Женеве, Скоповский был представлен княгине. Княгиня жаловалась на ресторанный кухню и ругала «эту страну сыроваров и коммивояжеров». Она была большая патриотка! И когда Скоповский предложил Марии Михайловне с дочерью отправиться к нему и там переждать, пока все уладится, она охотно согласилась.

Скоповский и в пути не уставал успокаивать княгиню:

— Я уверен, что вы не успеете откусать солянки и наших пирогов, на которые у меня жена мастерица, как уже сможете пожаловать в свое Прохладное, со всеми надлежащими почестями и уважением.

— Вашими устами да мед пить! А вы такого же мнения, Юрий Александрович? Почему вы молчите?

Юрий Александрович Бахарев, блестящий офицер, с острыми чертами лица и выразительными, только несколько бесцеремонными глазами, гарцевал на белом коне, все больше придерживаясь левой стороны экипажа, где сидела Люси.

Бахарев направлялся в Кишинев с совершенно секретными поручениями одного иностранного учреждения, с которым он был связан. Он провел в седле уже несколько суток. Его раздражала вся эта суетня и неразбериха двигавшихся по узкой, плохо мощенной дороге конных, пеших соединений, фургонов, обозных повозок и просто крестьянских подвод. Все это не имело к нему никакого отношения, но он привык руководить, командовать и еле сдерживался, чтобы не прикрикнуть на обозных, загородивших путь, или на артиллеристов, завязавших новенькую английскую пушечку в грязном ухабе.

Встреча с Долгоруковыми взволновала Юрия Александровича. При первом же взгляде его поразило несоответствие: милая, нежная девушка, возвращенное

в дворянском довольстве существо, — здесь, среди грубых солдат, среди повозок с фуражом, на отвратительной, избитой колесами дороге. Как это ужасно, непереносимо, возмутительно! И в сердце его закипала жгучая, острая ненависть к тем, кто заставил этих прекрасных женщин, женщин его круга, — и одних ли только их! — мыкаться по чужеземным задворкам, в унижительном, позорном изгнании. Только личных знакомых, оказавшихся в таком же положении, Юрий Александрович мог бы насчитать сотни. Все они бродили по Константинополю, наводняли Париж, бедовали в Дании, Швеции... недоумевающие, растерянные...

И Юрию Александровичу хотелось подбодрить, утешить девушку, сказать ей что-то обнадеживающее, ласковое. А Люси между тем с любопытством смотрела на поток орудий, на шеренги солдат.

Вот проскакал мимо молоденький румяный офицерик. Вот повозка с прессованным сеном опрокинулась в придорожную канаву. Повозку облепили солдаты, как муравьи облепляют соломинку. Они силились поднять ее. В воздухе стоял гогот и звучала отборная ругань сразу на нескольких языках.

А вот, разбрызгивая грязь, гикая, щетинясь пиками, проскакала казачья сотня, все в папах набекрень, в шароварах с красными лампасами... Наверное, как застряла эта казачья сотня в годы войны, так и осталась на службе боярской Румынии.

— Хороши? — улыбнулся Бахарев, заметив, что Люси смотрит на казаков и что для нее это, по-видимому, как цирковое представление. — Обратите внимание, какая силища! Здесь ценно единство: здоровенные люди, по развитию недалеко ушедшие от животных, и здоровенные кони, умные, как люди. В своем взаимодействии они предназначены, чтобы рубить. И мне почему-то кажется, что именно они и спасут Россию...

Бахарев почувствовал, что его рассуждения не доходят до Люси, хотя она прилежно кивала и заранее во всем соглашалась с ним.

Результатом этого было то, что Бахарев не слышал, о чем толковали княгиня и Скоповский, и упустил нить разговора. Поэтому вопрос княгини, обращенный к нему, застал его врасплох.

— Видите ли... — смущенно пробормотал он, — собственно, я...

Но княгиня, с ее светским тактом, тотчас пришла ему на выручку:

— Александр Станиславович уверяет, что мы очень скоро вернемся в свои владения. Вы не согласны?

— Вы хотите знать мое мнение о прочности нового строя в России? — уже смелее заговорил Бахарев. — По этому вопросу я мог бы сделать целый доклад.

— Доклад — это слишком утомительно, — возразила княгиня. — Вы скажите только: да или нет. Сейчас все проблемы решают пушки. И вам, военным, легче разобратся во всей этой сумятице.

Бахарев заставил коня идти вровень с экипажем и, выждав, когда прогрохочет мимо военный возок, заговорил уверенно, играя голосом и показывая свою осведомленность во всем, что касалось международного положения:

— Как вам известно, так называемый Первый Всеукраинский съезд Советов провозгласил Украину Советской республикой...

— Это мы слышали, — проворчал Скоповский. — Провозгласить просто! Я вот возьму да провозглашу себя китайским императором... Большие шансы имеет гетман Скоропадский, — добавил он, помолчав, — о нем очень хорошо отзываются в высоких кругах.

— Скоропадский? — улыбнулась княгиня. — Он бывал у нас... Но он так непопулярен! Богат, не спорю. Но не стар ли для такой роли?

— Популярность делают, княгиня. Впрочем, Центральную раду поддерживает Франция. Она предоставила раде заем в сто восемьдесят миллионов франков и послала в Киев военную миссию...

— Как это скучно! — протянула Люси. — За последнее время только и слышишь: «миссия», «заем», «Центральная рада»... И что за охота мужчинам воевать? Как петухи!

— Душечка, — возразила княгиня, — но кому-то надо навести порядки хотя бы в том же нашем Прохладном?

— Так неужели же мужиков надо усмирять пушками? Не достаточно ли просто прикрикнуть на них? Послать урядника?

Все рассмеялись над рассуждениями хорошенькой девочки. По сторонам дороги между тем все чаще и чаще мелькали нарядные домики среди плодовых деревьев.

Скоповский стал рисовать красоты Бессарабии:

— Конечно, ее надо видеть весной, в цвету, или осенью, когда ветви ломаются от яблок...

— Но лесов здесь, по-видимому, нет? — спросила княгиня.

— Как это так нет? Такие леса! В них даже водились не так давно настоящие разбойники, честное слово! — горячился Скоповский.

— Я все хочу вас спросить, — обратился к нему Бахарев, — правда, что в Бессарабии свирепствовал и запугал всех помещиков некий Котовский? Я слышал какие-то невероятные истории. По-видимому, чистейшая выдумка? Или на самом деле было что-то в этом роде?

Скоповский внезапно переменялся в лице. Его бросило в краску. Он подозрительно глянул на Бахарева: не насмехается ли он? Не намекает ли на одно происшествие?

Бахарев понял, что затронул неудачную тему. У Скоповского, вероятно, есть основания неприязненно относиться к этому Котовскому. Но кто же знал? Бахарев уже пожалел, что задал этот явно неуместный вопрос.

— М-да, — произнес наконец Скоповский, — выдумки тут нет, таковой действительно был лет десять назад... И это был не просто разбойник, а, так сказать, разбойник с политической подкладкой. В частности у меня он сжег... да-с, подпалил с четырех концов... мой собственный дом... Пришлось отстраиваться заново.

— Вот как? — удивился Бахарев.

— Какой ужас! — всплеснула руками княгиня.

— Я не разорился, конечно, хотя этот злодей что делал — уничтожал долговые записи, отнимал у нашего брата, помещиков, деньги и раздавал их крестьянам. Я, как видите, не разорился, а Котовского, надо полагать, повесили, как он того и заслуживал...

— Разумеется! — И Бахарев поспешил переменить разговор, стал расспрашивать, каков город Кишинев, много ли в нем жителей, красив ли он. Наверное, масса фруктовых садов? И ведь когда-то он был местом ссылки Пушкина? И как, есть ли там гостиницы? Рестораны?

Скоповский охотно рассказывал о Кишиневе и опять повеселел.

— Сегодня Кишинев, завтра Москва! — восклицал он. — Нет никаких оснований отчаиваться.

— Союзники не допустят! — с чувством произнесла княгиня, молитвенно складывая руки, толстые, в митенках.

— Нет, не союзники, мы не допустим, мы, русские люди! — горячо возразил Юрий Александрович. — Мы не допустим, чтобы мужики своевольничали, чтобы у власти стояли евреи и всякий сброд, вернувшийся с каторги, из Нарымского края!

Юрий Александрович уловил благосклонные улыбки на лицах княгини и Скоповского, увидел и сияющие глаза Люси. Безусловно, им нравится, что он говорит!

— Скажите, — повышал он голос, одновременно натягивая повод, — разве выносимо, что прекрасные, изнеженные женщины вынуждены мыкаться по проселочным дорогам и искать убежища? На что это походит: на Украине нет хлеба! Россия — не позорище ли! — отказывается от царских долгов! А, да вы все это знаете... Обнищание, безвластие... Нельзя этого терпеть! — И Юрий Александрович как неожиданно разразился потоком красноречия, так же внезапно и замолк.

— Bravo, bravo! — воскликнула княгиня. — В вас бьется благородное сердце!

— Молодой человек, — подхватил Скоповский, слушавший Юрия Александровича, как экзаменатор прилежного ученика, — не будете ли вы любезны также посетить мой дом? Мне кажется, это будет приветствовать и княгиня.

— Разумеется, он едет с нами!

— Конечно, мама, — поддержала и Люси.

— Я буду счастлив, — пробормотал капитан Бахарев, — весьма признателен...

Но посмотрел он не на Скоповского, не на княгиню, а на Люси.

Справа и слева замелькали уже пригородные постройки, белостенные домики с крашеными ставнями, а сады, сады — голые, зимние деревья, набирающие силы, чтобы принести новый богатый урожай...

— Ну, вот и Кишинев! — сказал, волнуясь, Скоповский. — А от Кишинева рукой подать до моего имения.

Прибытие в «Валя-Карбунэ» было шумно и суетливо. Дворня таскала в комнаты чемоданы, картонки, саквояжи. Княгиня повсюду возила за собой горничную, повара и огромное количество белья, платьев, мантилий, шляпок...

Прибыли вслед за первым экипажем тетки, экономки, приживалки — все население дома, возглавляемое почтенной супругой Скоповского. Они наперебой хлопотали. Они уже знали о прибывших гостях.

— Голубушка! Княгинюшка! Вот порадовали! Хоть наш-то Александр Станиславович хмуриться перестанет! Тоскует он, по детям тоскует. Времена-то какие лихие, весь мир вверх ногами. Грешили много, вот и покарал господь...

Скоповский волновался, командовал. Все ли в порядке в имении? Почему не подметены дорожки в парке? Где люди? Хорошо ли промазаны окна? Почему пыль в шторах?

После того как десять лет назад сгорел дом, Скоповский построил новый, но по старым чертежам и фотографиям: так же с колоннами по фасаду, с большой стеклянной верандой, с зимним садом, с башенками, витыми скрипучими лесенками, с просторными залами, уютными светелками, с широкими изразцовыми печками и теплыми лежанками. Но теперь, оглядывая дом критическим взглядом, Скоповский находил, что он недостаточно импозантен.

«Ну, ничего! Во всяком случае, общий вид — с парком, с беседками, с оранжереей, с широкой аллеей, ведущей к парадному крыльцу, — не может не понравиться княгине...»

Скоповский сиял. Скоповский был преисполнен гордости. Княгиня Долгорукова собственной персоной! И главное — запросто, без официальности. Вот уж подлинно можно сказать: не было бы счастья, да несчастье помогло.

Скоповский вызвал управляющего — вертлявого, бесстыдного грека, смотревшего на хозяина преданными, собачьими глазами. Управляющий шепотом назвал имена тех крестьян, которые особенно шумно радовались отъезду помещика и даже пытались произвести порубку в его лесу.

— После, после, — поморщился Скоповский, — этим мы займемся впоследствии. А сейчас важно принять име-

нитых гостей, не ударить лицом в грязь... Как у нас конюшни?

— Не хотел вас расстраивать... Угнали Копчика и Грозного...

— Как так угнали?!

— Явились... под страхом оружия... Что я мог поделаться?

— Да ты рассказывай толком, эфиопская образина! Кто явился? Куда явился?

— Их было пятеро, на конях. Я им говорю: «Представьте документы, по какому праву и тому подобное». А они смеются: «Передашь барину, если вернется, привет от Котовского».

— Опять Котовский! А говорили, что повешен. Спасибо, еще не всю конюшню угнали и дом цел. Ну, любезнейший, запомни: чтобы все блестело, чтобы все было в порядке! Ясно?

Когда управляющий ушел, Скоповский вызвал повара, дал ему наказ, чтобы стряпал самые изысканные блюда:

— Не опозорь меня, голубчик, чтобы после княгиня не говорила, что мы не умеем как следует людей принять. А сейчас пришлешь ко мне Фердинанда, надо ему указания дать. Теплицы целы? То-то! А как винный погреб? Вина чтобы только французские! Понял? Местной кислятины не давать! Фазанов каких-нибудь готовь, пулярок... А этот, княгинин повар, как он, ничего?

— Важничает очень.

— Ну и пускай себе важничает. Скажи Дарье Фомиичне, чтобы отпускала на кухню все беспрекословно. Иди.

И Скоповский стал озабоченно бегать взад и вперед по кабинету. Он даже напевал и прищелкивал при этом пальцами. И все мотивы подвертывались легкомысленные, из кафешантаных песенок, из оперетт:

Смотрите здесь, смотрите там,
Понравится ли это вам...

Тем временем капитан Бахарев развлекал княгиню. Он понимал, что, если хочешь ухаживать за дочкой, старайся понравиться ее мамаше. Он показал княгине несколько новых пасьянсов. Он недурно сыграл на рояле шопеновские вальсы. А когда стали приглашать к столу

и по всему дому поплыли дразнящие запахи супов, одна из тетушек застала капитана Бахарева и Люси в оранжерее как раз в тот момент, когда они уж слишком внимательно разглядывали цветы, близко наклонившись друг к другу...

Обед проходил в торжественной обстановке. Садовник Фердинанд страшно гордился, что к столу были поданы свежие персики, выращенные им в оранжерее. Повар Скоповского и повар княгини, после того как изрядно приложились к рому, снизошли до полного взаимного признания и составили сногшибательное меню.

За столом произносились тосты за освобождение России, и за здоровье княгини, и за присутствующих женщин, и за женщин вообще.

— Я, может быть, выболтаю маленькую тайну, — сказал между прочим Юрий Александрович, разглядывая на свет фужер, наполненный золотистым вином, — но мне известно, и довольно точно, что Центральная рада в ближайшем будущем объявит в специальном постановлении, или, как они называют, в «универсале», об отложении Украины от России. Это, знаете ли, ход!

— Очень глупо! — отозвалась княгиня, и лицо ее стало злым. — Что такое Хохландия сама по себе? Игрушка в чьих-то руках. Кто-кто, а я-то уж знаю, слава богу, этих Опанасов и Петрусей, этих ленивых животных! У них всю работу вытаскивают на своих плечах женщины — Гальки да Марусеньки. А хохол лежит на печи и знает только люльку да горилку...

— Княгиня права, — примирительно сказал Скоповский, — нам нужна единая, неделимая Россия с централизованной и очень жесткой властью, лучше всего с монархией, хотя эта форма и устарела.

— Я, пожалуй, готов согласиться с вами, — задумчиво произнес капитан, — но так называемый «Союз вызволения Украины», созданный в Вене еще в тысяча девятьсот четырнадцатом году, придерживается другой точки зрения, кстати поразительно совпадающей с точкой зрения Австро-Венгрии и Германии.

Обед длился долго. Сменялись блюда, из которых каждое носило звучное название и было необычайно вкусно.

Хозяин и хозяйка усердно потчевали гостей, то и дело приговаривая, что у них все запросто и, может быть, даже чем не угодили.

Остальные за столом безмолвствовали — востроносые тетушки, тихие приживалки, почтительные родственники. А княгиня была в отличном расположении духа, хвалила каждое блюдо и снисходительно выслушивала забавные истории, которые рассказывал Юрий Александрович.

Люси не вслушивалась в смысл его речей, она слушала только его голос, уверенный, звучный, бархатистый, и сама не могла понять, что такое творится с ней. Она была взволнована, бледнела, краснела и не смела поднять глаз, особенно на княгиню: та сразу бы поняла, что Люси влюблена, что Люси будет теперь бредить капитаном и что она с ее взбалмошной натурой может преподнести любую неожиданность...

После обеда у Бахарева и Скоповского завязался спор о будущем России. Они прошли в кабинет. Бахарев достал карту, выпущенную Государственным департаментом Соединенных Штатов Америки. Карта была специально отпечатана для того, чтобы весь мир знал, как намерена перекроить эту злосчастную Европу всемогущая заокеанская держава. Это был любопытный документ, в то время еще малоизвестный в широких кругах, и Скоповский не мог им не заинтересоваться, хотя мысли его то и дело отвлекались тем, что там поделывает княгиня... Однако откуда такие документы у этого молодого человека? И Скоповский поглядывал то на капитана, то на яркие пятна географической карты, развернутой на столе. Надписи были сделаны по-английски, и Скоповский не сразу мог разобраться в них.

— Эта карта предназначена для предстоящей мирной конференции. Тут все учтено! Как видите, от России будут отторгнуты: ну, прежде всего, вся Прибалтика...

— Не говоря уже о Бессарабии? — усмехнулся Скоповский. — Ну что ж! Сами виноваты... Заварили кашу, хватили через край — извольте теперь расхлебывать.

— Белоруссия — это два, — загибал пальцы Бахарев, и нельзя было понять по его лицу, радуется он или печалится.

— Украина — это три, — заглядывал через плечо капитана Скоповский.

— Ну, и затем, — невозмутимо продолжал Бахарев, —

разумеется, отторгаются раз и навсегда Крым, Кавказ, Сибирь и Средняя Азия.

— И от матушки России остаются рожки да ножки?

— Проще говоря, одна Вологодская губерния!

— А как же тогда с вашей горячей любовью к России? Вы давеча так красиво о ней говорили!

Бахарев пожал плечами:

— Не я составлял эту карту. Если бы от меня одного зависело...

— Что меня поражает, — бормотал Скоповский, опять и опять озирая разноцветные пятна и надписи, — уже и карта составлена! У них это живо! Как вам нравится? Не надо и к гадалке ходить. Все, кажется, стоит на местах, и Россия пока что целехонька, а оказывается — вон оно что! Нету России! Была Россия — и тю-тю Россия. И как — вы не знаете? Это уж окончательно решено?

— Если Соединенные Штаты решили, значит, бесповоротно. Они шутить не любят. Я эту карту добыл с большим трудом. Ношу ее и все время о ней думаю... Перед какими огромными событиями мы стоим! Даже голова кружится!

— Положим, голова у вас кружится не потому, что исчезает Россия, а потому, что некая молодая особа из очень хорошей семьи, по-видимому, к вам равнодушна.

— Вы думаете? Равнодушна? Если бы это было так...

Бахарев глубоко затянулся, затем скомкал сигарету и глухим, не своим голосом договорил:

— Мне почему-то кажется, что здесь, в этой маленькой Бессарабии, решается моя судьба...

— Так серьезно?

— Александр Станиславович! Не подумайте, что я просто ухажер, искатель приключений... И я так благодарен, так благодарен вам, что вы пригласили меня к себе!

— Если бы даже не пригласил, это сделали бы дамы. Но я хотел бы вас предупредить: одно дело — пофлиртовать, у нас здесь самый воздух располагает к влюбленности, тут все влюбляются поголовно. Но решаться на более серьезный шаг во время мировых обвалов и несмолкающей по всей вселенной артиллерийской пальбы — это, молодой человек, просто легкомысленно. Вы

простите меня за несколько поучительный тон, но я с вами говорю по-отечески, как сказал бы своему сыну, безвестно пропавшему в этом водовороте...

— Я очень рад, что мы остались с вами с глазу на глаз, — вдруг заговорил Юрий Александрович совсем другим тоном. — Я могу вам сообщить, что сын ваш, Всеволод, жив и здоров, вы, вероятно, скоро увидите.

— Где же он? — воскликнул Скоповский, обрадованный, взволнованный и вместе с тем удивленный самим тоном Юрия Александровича, заговорившего вдруг вполголоса, приглушенно и осторожно. — Где же он, бродяга? Почему вы сразу мне не сказали? И почему он ничего не напишет?

— Видите ли... Я вас прошу вообще в дальнейшем не касаться этой темы. Всеволод занят опасной, очень серьезной работой. Мы, наше поколение, не можем ограничиваться болтовней и оставаться в стороне от событий. Мы сами делаем события. Мы боремся. Можно за ужином, поднимая бокал, говорить общие фразы. А ведь дело-то серьезное. Мы сами не отдаем себе отчета, насколько пагубна и разрушительна идея, провозглашенная этим Лениным. Она угрожает не только России. Она может взорвать весь цивилизованный мир...

Некоторое время молчали. Оба были одинаковых убеждений, обоим казалось, что их желания и предвидения безошибочны. Им нисколько не мешало то обстоятельство, что были они разных поколений: и старый и молодой веровали в одних богов.

Кабинет Скоповского был удобен, красив. По стенам стояли темного дуба шкафы с фолиантами, висели портреты каких-то внушительных и важных людей, на большом письменном столе было много бумаг и различных блестящих предметов: чернильниц, пресс-папье, хрустальных стаканов. Над огромной тахтой, которая, по видимому, чаще привлекала хозяина, чем письменный стол, находился ковер, увешанный старинным оружием: кривыми саблями с ножнами чеканного серебра, пистолетами, которые не стреляют... И было очень приятно после сытного обеда беседовать здесь и пускать сизые кольца дыма, накапливая светлый пепел на конце сигареты.

А на следующий день Люси снова очутилась в оранжерее. Садовник Фердинанд, увидев, что вслед за кра-

сивой княжной пришел полюбоваться орхидеями рослый капитан, тотчас прекратил повествование о клубнях, о сортах виктории и скромно удалился, предоставив молодым людям наедине любоваться тропическими растениями.

— Мама уснула, — сказала смущенно Люси, — мне стало скучно, и я вызвала вас... Вы не сердитесь? Вы не подумаете, что я легкомысленна?

— Я должен завтра уехать, Люси. Сейчас идет сражение, в котором не может быть перемирия, пока не будет уничтожена одна из дерущихся сторон... Я в этом сражении участвую. И сражаюсь за вас, Люси, за то, чтобы вы жили так, как того достойны...

Юрий Александрович замолчал, подыскивая слова и не замечая, что его рука отыскала робкую руку девушки и что слов было уже не нужно: Люси не отняла руки и только прятала взгляд и смущенно молчала.

— Вам может показаться это диким, даже оскорбительным. Но вы разрешите все вам сказать...

— Говорите... — прошептала Люси. Она была воспитана на французских романах, и обстановка как нельзя лучше соответствовала этому объяснению в любви: влажный воздух, стеклянные стены, странные сочные листья цветущих зимой растений...

— Мы почти незнакомы, но я полюбил вас... полюбил, как только увидел... Это трудно передать, все эти ощущения... Но я вас как будто давно знаю, всегда знал... и вот... нашел...

— Как же это так... быстро...

Люси говорила, но сама не сознавала, что говорит. Не должна ли она его остановить? Не должна ли отнять руку? Это нехорошо, он может подумать, что она ветреная... Но все равно, пусть что хочет думает! Она любит его!

— Вы понимаете, — говорил Юрий Александрович, волнуясь, — это было что-то необычайное... Я совершенно случайно очутился в этой веренице, движущейся на Кишинев... Случайно, но теперь-то я понимаю, что это моя судьба, мой рок! Я верю, что в нас есть — не знаю, как назвать, — инстинкт или ангел-хранитель, который безошибочно решает за нас в самые ответственные моменты, как поступить...

Люси слушала, рассеянно теребя листы орхидей. Она смутно улавливала смысл его речи. Она ждала, когда он

произнесет еще раз одно только слово «люблю». Все остальное, что он говорил, казалось ей милым предисловием, без которого можно было бы обойтись.

— И вот, — продолжал Юрий Александрович, хватая ее руку и крепко сжимая ее, — вот я увидел экипаж...

Юрий Александрович рассмеялся:

— Экипаж и феноменальное сооружение на голове вашей мамы — что-то такое из перьев, вуалей, ленточек... в общем что-то очень изящное, элегантное... Я увидел вас, Люси, нежную, милую, прелестную... единственную, какая есть в мире!..

— Уж будто я такая! — прошептала Люси. А сама хотела, чтобы он еще и еще говорил о ней, какая она красивая, как ему нравится, и опасалась, что он перейдет от этой темы к другим предметам.

— Вот когда я понял, почему ради женщины совершают подвиги и преступления... решаются на самые отчаянные вещи! Ставят на карту все!

Люси глубоко вздохнула. Как она хотела сейчас, чтобы он поцеловал ее! И он поцеловал ее... И шептал ей, что полюбил ее на всю жизнь, и что они должны повенчаться, и что он просит ее руки и будет умолять княгиню отдать ему дочь...

Затем они, не скрываясь, рука об руку направились к дому...

Когда вошла Люси, все еще под руку с капитаном, невольно воцарилось молчание. Люси как-то странно шла к матери, медленно-медленно, как в полусне... И среди наставшей тишины внятно, отчетливо сказала, так, что слышали все:

— Мама! Юрий Александрович... это мой жених... Мы с ним объяснились...

3

В одну январскую ночь 1918 года в доме рабочего железнодорожного депо Маркова, в глиняной мазанке на окраине города, вблизи вокзала, состоялся семейный совет.

Стремительный, всегда говоривший скороговоркой, черноглазый и худощавый Миша Марков прибежал

со службы и сообщил, что началась эвакуация. Слово было непривычное, непонятное и страшное.

— Эвакуация? А зачем эвакуация?

— Мама! Неужели непонятно? Они приходят, мы уходим. Мы — это кто за Советскую власть.

Марина пристально вглядывалась в лицо сына и старалась определить, опасно это или не опасно. Да, было очевидно, что настали тяжелые испытания.

Миша, захлебываясь, рассказывал, что отдел народного образования выехал еще вчера, что воинские части покинут Кишинев сегодня ночью, что заведующий внешкольным отделом забрал и семью, а Василенко остается, но будет жить нелегально.

— Нелегально? — переспросила Татьяна, и у нее были вытаращены от любопытства и страха глаза.

— Ну да, нелегально! — Миша не считал нужным подробнее объяснять сестре, ни кто такой Василенко, ни как это он будет теперь жить.

Глава семьи, грузный, плечистый Петр Васильевич, стал, по обыкновению, ругать буржуев: пропаду на них нет! Когда только с ними управятся! И чего только смотрит международный пролетариат!

Марина стала перечислять опасности, которые угрожают семье. Четырнадцатилетняя Татьяна с благоговением смотрела на старшего брата. Она считала его образцом, самым лучшим и самым храбрым. Между тем щуплый, тщедушный Миша совсем не выглядел героем. Он и ростом не вышел и, благодаря своей худобе, казался совсем мальчиком. Впрочем, трусом его никто бы не решился назвать.

Глава семьи, грузный, плечистый Петр Васильевич был выбран в профсоюзное руководство, Миша служил в отделе народного образования. Это могло кончиться плохо: новые власти, конечно, не пощадят тех, кто работал с большевиками. Тут и думать нечего!

Марина высказывала опасения, но не смела произнести самого главного: какой же выход? Она все только подкладывала и подкладывала на тарелки мужа и сына вареной кукурузы, как будто хотела накормить их в счет будущих голодовок, которые, может быть, предстоят им, и выдать им запасы нежности и заботы, которых они будут лишены.

Мужчины ели. Некоторое время стояло тяжелое, напряженное молчание. Все думали. Думали об одном. Первым заговорил Петр Васильевич.

— Надо уходить, — сказал он и стал смотреть в черное окно, хотя в нем давно ничего не было видно.

Марина испуганно притихла. Перед ее глазами встала унылая дорога и два печальных путника, удаляющихся в темноту...

— Все уходят! — подхватил с жаром Миша. На его лице боролись недетская серьезность и мальчишеская гордость от сознания, что начинается большое испытание, начинается взрослая, необычайная жизнь.

— Но куда? Куда уходить? — спросила испуганно Татьяна. — Ведь у нас никого-никого нет на свете!

Ей не ответили, и она замолчала. Тут было не до нее!

Поздно ночью решение было принято: Петр Васильевич и Миша уйдут, женщины останутся, долго это продолжаться не может.

Петр Васильевич непрерывно курил. А Марина уже торопливо совала в дорожные мешки белье, фуфайки, лепешки, окропляя их обильными слезами. И зачем это так устроено, что мужчинам всегда нужно куда-то уходить: на заработки, на войну... Какие страшные порядки заведены в этом мире!

Перед расставанием Марина перестала плакать. Лицо ее стало строгим, неподвижным. А Петр Васильевич, напротив, как-то вдруг растерялся, без толку суетился и тер все время лоб.

Непроглядной ночью отец и сын вышли из дому. После домашнего тепла, низких потолков, запаха горячей пищи мир открылся перед ними — огромный и неприветливый.

Миша медлил. Пока он стоял здесь, на крыльце, он был еще дома. Но Петр Васильевич уже был там, внизу, и тонул в густом мраке ночи... Миша нащупал ногой ступеньку. Он больше не оглядывался. Шагнул. И отправился в неизвестное, в незнакомую, неизведанную жизнь.

Черный мрак казался пропастью, в которую судьба сталкивала их без всякой жалости.

— Ну и ветрище! — пробормотал Петр Васильевич, поднимая воротник.

Черная ночь таила опасности, чем-то грозила... А как пронизывал ветер! Он буквально сбивал с ног!

В освещенном пространстве распахнутой двери были видны силуэты двух женщин. Ветер развеивал их волосы, трепал подола. Обе стояли неподвижно. Они-то и составляли то, что именуется «дом», «родное гнездо», с ними были связаны все-все радости и печали. Уже вышли из дому, а Петр Васильевич и сейчас не был уверен, что правильно поступает. Как же можно оставить их одних — слабых, беззащитных? Что они тут будут делать одни? Какие их ожидают лишения и обиды?

— Храни вас бог! — крикнула Марина.

Когда рассвело, Миша и Петр Васильевич увидели, что по дороге в одном с ними направлении движется немало людей. Это придало им бодрости. И ветер и утренняя прохлада теперь не страшили.

Вот целое семейство обогнало их. Муж и жена, дети всех возрастов, у каждого узелки и котомки за спиной, кроме того, багаж в тележке. По-видимому, собрались обстоятельно, взяли все необходимое. Какие веселые лица! Они знают, что делают! Они не оглядываются!

А вот трое конных.

— Котовского не найти?! — говорил один из них, что-то доказывая. — У нас с ним одна дорога. Встренемся!

— Папа! Ты слышал? — взволнованно проговорил Миша. — Котовский!

— Ну что — Котовский?

— Говорят, он где-то здесь, поблизости. Только бы найти его!

— Ну и что же дальше?

— Тогда — все! — Миша мечтательно улыбнулся. Поправил ремень на плече и прибавил шаг.

Небо между тем зарозовело, зарумянилось, как отлежанная щека на подушке. Две-три звезды, пробившись сквозь облачную гущу, по-ночному сверкали и переливались голубым, холодным огнем, они не догадывались, что ночь кончилась и начинается утро. Голые, зимние деревья четко проступали на светлеющем небе, и промозглая мгла уползала куда-то в кусты.

Долго шли молча. Затем Петр Васильевич недоверчиво спросил:

— А ты откуда знаешь этого... Котовского?

— Как же, папа! Спроси любого крестьянина. Или

в Кишиневе... Да он знаешь сколько раз в тюрьме сидел!

— А ты думаешь, это очень хорошо — сидеть в тюрьме?

— Смотря по тому, за что, Котовский сидел за справедливость.

— Все равно. Даже если и встретим, он ничем не сможет помочь. Очень нужны ему такие, как мы, воины!

Миша не стал спорить. Отец не понимает! А то бы он иначе рассуждал!

Опять шли молча. Смотрели на посветлевшее небо, на придорожные деревья, и каждый думал о своем.

ВТОРАЯ ГЛАВА

1

Котовский ехал в тот день верхом, пробираясь по проселочным дорогам. Пришлось оставить Кишинев и отходить с боями к Днестру. Вероятно, придется отдать всю Бессарабию. Враг входит, бряцая оружием. Возвращаются в свои гнезда и господа помещики.

А ему надо уходить!

Сегодня бессарабские властители торжествуют.

«Погодите немного! — думал Котовский. — Настанет день, и мы посчитаемся!»

Котовский решил заехать в Ганчешты, чтобы проститься с домом, с сестрой. Он ехал в раздумье. Невесело было на душе.

В боях под Кишиневом перевес оказался на стороне противника. Надо изменить соотношение сил. Надо звать народ на защиту свободы. Вот с чего надо начинать!

Таковы были мысли Григория Ивановича, когда он подъезжал к своему родному селению.

Родина! Тихие Ганчешты! Прозрачная речушка Когильник и прохладный пруд, по берегу которого так приятно ходить босиком... Кажется, нигде нет столько зелени. Здесь отовсюду лезут стебли. Зеленые сады, зеленые улицы, зеленые виноградники и табачные плантации.

Григорий Иванович и хмурится и улыбается.

Детство! Прозрачное, как речушка Когильник, мелководный Когильник с галечным дном.

Цокают копыта. Дорога извивается среди полей.

Как все сразу вспомнилось, как все ожило! Годы мелькают, как кустарники, сиротливо растущие вдоль дороги. Как оглянешься — быстрая была жизнь, для тихого раздумья не оставалось и минуты.

Чем ближе подъезжал Григорий Иванович к родному дому, тем большее волнение охватывало его. Вон и крутая гора, поросшая дубняком! На вершине горы, главенствуя надо всей местностью, красуется белоснежный дворец князя Манук-бея. Внизу притулились Ганчешты. Они припадают к подножию княжеского величия, как смиренный слуга к плечу доброго барина. Ладно! Еще посмотрим, как будет припадать к плечу слуга! И Котовский переводит взор на милые знакомые улочки, дворы, на сады, в которых вырастают такие вкусные яблоки. Уж он-то помнит их вкус!

Вот и отца нет в живых... Тихий и молчаливый человек был отец. Он работал механиком на винокуренном заводе князя Манук-бея, и от него всегда пахло машинным маслом и крепким табаком. Он был точен, исполнитель, серьезен и даже суров. Но от этого молчаливого, тихого человека впервые услышал в детстве Григорий Иванович вольные, непокорные слова. Такие слова очень нужны были в покорных Ганчештах, среди пришибленных нуждой поселян, среди этого заплесневелого, издавна установившегося неблагополучия.

Григорий Иванович помнит, как все они, деревенские ребята, наблюдали удивительную сцену: мчалась по дороге пара манукбеевских рысаков — серых в яблоках. Кучер — не кучер, коляска — не коляска, все блестит, сверкает, все красивое, небывалое, а в экипаже сидит самый обыкновенный курносый мальчишка. Но боже упаси! Это не мальчишка. Это барчонок. Он сидит и даже по сторонам не смотрит. Навстречу движется воз. Дядька Антон везет жерди на починку своего огорода, у него вся ограда развалилась, и свиньи поели капусту.

Княжеский кучер кричит еще издали:

— Э-гей!

И рукой показывает: прочь с дороги!

Дядька Антон захлопотал, заторопился... затпрукал, задергал свою клячонку... свернул в канаву, воз боком, клячонка жилится... А серые в яблоках кони промахнулись мимо, разбрызгивая клочки пены, кучер успел ра-

зок полоснуть по Антоновой кляче, и мальчик в экипаже засмеялся — противный, с круглыми щеками мальчик.

Вечером маленький Гриша спросил:

— Почему мальчишка ехал на двух лошадях, а дядька Антон на одной да еще с возом, воз-то знаешь какой тяжелый! А свернуть пришлось все-таки Антону, потом он еле выбрался. Почему?

— Видишь ли, — начал отец и задумался, потому что сам не знал, почему, собственно, Антон должен свернуть, — видишь ли, как бы это тебе объяснить. То Манук-бей, а то всего лишь Антон. Бедные всегда уступают дорогу богатым.

— А мы бедные? Я бы не уступил.

— Ну что ж, — отец потер лоб, — может быть, Антону когда-нибудь надоеет уступать дорогу. И тогда он возьмет да и не уступит.

Милый, молчаливый отец! Он, кажется, сам-то был не из тех, кто ломит шапку перед манук-беями! Григорий Иванович запомнил один случай, когда отец пришел расстроенный и рассерженный: управляющий при выдаче жалованья удержал какие-то штрафные.

— Скоро они за воздух, что мы дышим, — и за него будут взимать, — ворчал отец, по своей привычке разговаривая сам с собой.

Сели обедать. Соня накрыла стол. Гриша без всякого предисловия, как бы продолжая разговор спросил:

— А почему они богатые?

— Ешь, а то каша остынет.

— Нет, папка, а почему богатые?

— Потому что бессовестные.

— А почему бессовестные?

— Потому что богатые.

— А-а!

Ответ был вполне удовлетворителен. Отец все знал! И теперь можно приняться за горячую кашу.

Гриша задавал множество вопросов, всем задавал: сестрам, соседям, отцу. На половину вопросов он вообще не получал ответов. На некоторые получал, но не очень вразумительные. Интереснее всех отвечал отец.

— Почему говорят: «Бог накажет»? А как бог наказывает?

Отец беспокойно ворочался за столом и наконец говорил:

— Бог-то бог, да и сам не будь плох... Пока до бога доберешься, тебя святые съедят.

Эти пословицы Гриша сообщил приятелям-мальчишкам. Пословицы понравились, и они пробовали их петь, как песню. Они понравились даже Николаю — старшему брату Гриши.

Сестры Григория Ивановича — с серьезными глазами Соня и тоненькая-тонюсенькая Елена — вели хозяйство. Все было возложено на их слабенькие детские плечи. Нужно позаботиться, чтобы и печи были истоплены, и обед приготовлен, и посуда вымыта, и вода принесена. Их день заполняют несложные, но хлопотливые, чисто житейские заботы.

Иначе жил Гриша. Позавтракав, он уходил на целый день на улицу и жил в мире фантазий, приключений, заполнявших его выше головы.

Отец приносил книги. А в книгах были волшебные истории!

Маленький Гриша совершал кругосветное путешествие на корабле, сооруженном из корыта и половой щетки. Он отдавал команду матросам, бури швыряли корабль по волнам и грозили его затопить, разнести в щепки, но капитан не робел. Он стоял на капитанском мостике и зорко смотрел вперед, на неведомые рифы.

Затем корыто снова превращалось в корыто. Зато по стране лилипутов шагал Гулливер. Это был опять-таки Гриша. Вскоре он поселялся на необитаемом острове и доил коз, как настоящий Робинзон Крузо...

Книги поставлял отцу репетитор манукбеевского круглощекого мальчика. Однажды он принес «Историю мира». После этого в играх Гриши появились знаменитые полководцы и великие завоеватели.

Вдоль забора, во дворе маленького домика Котовских, росла глухая, высокая крапива — неприступной стеной. Она цвела бледно-зелеными серьгами, покачивала шершавыми морщинистыми листьями, захватывала все больше пространства и больно жалила руки.

Но теперь это была уже не крапива. Это кочевые орды хлынули из степей, чтобы жечь и грабить поселения. Это были турецкие янычары, готовые увезти в рабство Соню и Леночку, и нужно было незамедлительно отразить нападение.

Несколько дней Гриша выстругивал перочинным ножом булатный меч. Забинтованный палец на левой руке свидетельствовал о героических усилиях и невероятной спешке.

Крапива курчавилась. Разлапая, необузданная, она готова была заполнить весь двор.

Но вот отважный богатырь появился на крыльце, вооруженный мечом. Он рубит крапивные полчища, которые выше его ростом. Ядовитые стебли поникают, падают, срубленные, или перегибаются пополам.

Ура! Победа! На руках выступили белые крапинки, которые долго будут чесаться, но победа одержана. Надолго запомнят турецкие янычары, как совать нос куда не следует! Кочевая орда уже никогда не поднимется в прежнем величии! И никогда не отстирают сестры зеленых пятен на Гришиных рукавах!

Вскоре появилась новая великолепная затея: суворовские полки переваливали через Альпы. Пропasti зияли перед ним, бушевала снежная метель. Вообще же это была теплая, нагретая солнцем крыша, одно из старых заводских складских помещений. Отважный суворовский герой карабкался по самому карнизу. Трехлая доска обломилась, и суворовский солдат рухнул вниз с высоты шести метров...

Очнулся Гриша в постели. Милая Леночка склонилась над ним. Грише было два года, когда умерла его мать. Почему-то Грише казалось, что Леночка в точности такая, какой была мать, хотя он едва ли мог помнить материнские ласки... Какое у сестры заботливое лицо! Какая она хорошая! Как она жалеет его! Ему приятно, но нестерпимо жарко.

— Смотрит! Смотрит! — закричала Леночка.

Тогда прибежала и Соня. Как они радовались, что он жив, что он шевелится, пришел в себя! Они во всем старались заменить ему мать, которой лишились так рано.

— Хочешь орехового варенья?

Они знали, что ореховое варенье — любимое лакомство Гриши и он очень редко получал его.

Еще бы не хотеть орехового варенья! Сестры бросаются накладывать варенье, сестры хлопчут и ухаживают за ним. Он пытается объяснить, как это случилось. Он не виноват. Виновата доска. Он волнуется, он торопится все по порядку рассказать. Он видит, что сестры

жалостливо слушают его, а у Леночки даже навертывается слеза: после падения с крыши Григорий стал говорить, растягивая слова. В детстве ушибы заживают быстро, но некоторые отметины остаются на всю жизнь. С тех пор в минуты волнения Котовский всегда чуточку заикается.

Мальчик выздоровел без всякого вмешательства медицины. В Ганчештах не было ни доктора, ни фельдшера, ни медицинского пункта. Правда, водилась одна бабка, но она только заговаривала от дурного глаза, от порчи и от укусов змей.

Все эти воспоминания нахлынули на Котовского, когда он проезжал по знакомым, исхоженным тропам, по родной земле. Так видим мы окрестности при вспышке молнии во время грозы.

Милые Ганчешты. С теплым участием смотрел он на крохотные мазанки, на подслеповатые оконца, на жалкие изгороди. Он думал о том, что эти трудолюбивые люди достойны жить по-другому и они будут жить по-другому, они распрямят согнутые спины и получают сполна все радости, которые отпускает человеку жизнь!

Котовский, усмехаясь, вспомнил, как он встретился в те давние мальчишеские годы с манукбеевским барчуком. Он шел в тот солнечный день босиком вдоль берега. Подумывал искупаться. Было жарко. Он сам не заметил, как очутился на песчаной косе, где стоял мальчик в матроске, в коротеньких штанишках с двумя блестящими пуговицами — тот самый, что проезжал по деревне на паре сытых коней и загнал в грязь дядьку Антона.

— Эй! — крикнул он Грише. — Поди-ка сюда!

Гриша не сразу понял, что это относится к нему.

Остановился. В свою очередь крикнул:

— Если тебе надо, можешь сам прийти!

— Какой ты бестолковый! — рассердился мальчик. — Я тебе говорю, немедленно иди ко мне! Видишь мяч? Я его закинул в лужу. Поди принеси его, да поживее! Не понимаешь? Чего ты рот разинул?

— Ты сам разинул рот! — ответил Гриша. — Не сахарный, закинул — так лезь в воду, а мне твой мячик не нужен, не командуй!

— Что?!

— Ничего!

И Гриша повернулся спиной к барчуку и стал насвистывать.

А тот не верил своим ушам. Что это такое? Даже мама беспрекословно исполняет все его желания. Услышала бы она, как этот голодранец отвечал ему!

Но он был трус, этот изнеженный тонконогий барчонок, и не только не настоял на своем, но вдруг испугался Гриши. Он так и оставил плавать в луже полосатый свой мячик... Все ускоряя шаг, кинулся к дому, под защиту маменек и слуг...

А Гриша не удостоил его даже взглядом. Медленно разделся и прыгнул с берега. И долго фыркал, брызгался, окунался в нагретую солнцем воду. А когда вернулся домой и рассказал сестрам обо всем происшествии, в лицах изображая, как сердился барчук, как отвечал барчуку он, поднялся невероятный переполох.

— Что ты наделал! — ахала Соня. — Ведь он теперь пойдет и пожалуется родителям!

— Неужели тебе трудно было достать этот проклятый мячик? — вздыхала Леночка.

Вернулся отец с работы, рассказали и ему. Он выслушал все внимательно, усмехнулся, крикнул.

— Ты боишься, папа, что теперь тебя прогонят со службы? — спросила дрожащим голосом Соня.

— Нищему пожар не страшен, — ответил отец.

Цокают копыта. Котовский натягивает поводья. Дорога вьется среди полей...

2

А если вдуматься — немного радостных дней было в коротком детстве Григория Ивановича. Уже одно то, что он рос без материнской ласки... Ведь Акулина Романовна умерла, когда Гриша только-только научился ходить и говорить.

За домом стала присматривать бабушка Марья. Бабушка Марья — высокая, красивая, решительная — умела все: и разделывать тесто, и мочить яблоки, и ставить заплатки на Гришиных коленках и локтях.

От бабушки Марьи узнал Гриша о легендарных богатырях Чуриле, Соловье, Дунае Ивановиче. Наслушавшись ее сказок и былей, маленький Гриша то свистал,

как Соловей-разбойник, то домашние узнавали, что перед ними храбрый и непобедимый воиник Груя Грозован.

Бабушка знала и песни. Не раз Гриша засыпал, слушая длинную нескончаемую историю. В открытое окно струилась прохлада вечера, долетали запахи яблонь и виноградной лозы. Серебряный месяц стоял высоко в небе. А бабушка Марья монотонно выговаривала:

Через Днестр переходил я,
Мост широкий проложил я,
Чтоб вернуть в свой край родной
Из неволи тяжелой, злой
На каруцах на моканских
Всех невольниц молдаванских...

А потом бабушка Марья умерла... Умерла как-то незаметно, как будто надолго отлучилась, уехала куда-то. День не появлялась, другой... Гриша видел, что отец чем-то озабочен, что Соня плачет. Но она так часто плакала, а отец всегда был озабочен. Только позже Гриша понял, что бабушки нет, она умерла и ее уже похоронили. А он все собирался расспросить ее, из какой неволи вернули молдавских невольниц и зачем их забрали в неволю...

Гриша стал часто бывать в заводских рабочих казармах, где завелись у него друзья. Однажды он попал в семью своего приятеля на обед. Так уж случилось, что они увлеклись игрой, тут мать позвала своего Игнашку обедать.

— Садись и ты с нами, — пригласила она.

Все сели вокруг чистого, ножом отскобленного стола и взялись за деревянные расписные ложки. Хлебали из деревянной чашки, которая стояла посередине. Вместо супа — воду, заправленную луком и перцем. А потом подали мамалыгу.

— Отчего вы не едите хлеба? — простодушно спросил Гриша.

— Мамалыга — хлеб бедных, — ответили ему.

Этим и закончилась трапеза. У себя дома Гриша ел сытнее. И с самого раннего детства запахла в его душу горечь, что так много несчастных на свете.

У него была удивительная память. Стоило ему только раз прослушать чей-нибудь рассказ — и он запоминал его на всю жизнь.

Однажды, проходя мимо окон домика, где жила учительница ганчештинской школы, Гриша услышал музыку. Это была гитара. Как она пела! Как она грустила, семиструнная!

Учительница Анна Андреевна заметила зачарованного слушателя и позвала к себе. Глаз не спускал Гриша, следил за ее пальцами, которые быстро передвигались по черному грифу гитары.

— Можно мне?

— Разве ты умеешь?

Нет, он не умел. Но после нескольких уроков научился подбирать и новые мотивы, прежде всего песню про молдавских невольниц.

Семи лет Гриша поступил в ганчештинскую школу. В ней обучение продолжалось шесть лет. Соня гордилась успехами брата. После смерти бабушки она была за старшую в семье, и Гриша вырос на ее руках. Да и все любили этого красивого, здорового мальчугана, быстрого и неугомонного.

— Сильный он у нас какой, — рассказывала Софья всем, кто желал слушать. — Побороть его из сверстников никто не может. Я сама видела: пятеро повиснут на нем, а он как тряхнет — все горохом посыплется. Но не драчун. Совсем наоборот. Жалостливый. Только и таскает в дом то щеночка, которого хотели утопить, то кролика, которого собаки затравили. За слабого всегда заступится.

Любил Гриша играть в войну и всегда командовал, предводительствовал в играх. Никто лучше его не умел устраивать засады, внезапно нападать. Он рассказывал своим приятелям:

— Вот как надо воевать — как молдаване воевали в древности!

— А как?

— Вот, например, я читал: сражались они с поляками у Кузьминского леса — был такой лес. И вдруг во время сражения на поляков начинают падать деревья! Ловко придумано? Деревья были заранее подрублены. Вот это — военная хитрость!

Для того чтобы все было как на самом деле, они подрубили старую грушу в саду дядьки Романа. Это навлекло беды на обе стороны сражавшихся, потому что дядька Роман очень рассердился за грушу.

Начитавшись исторических книг, Гриша вооружал свое «войско» топорами, рогатинами, луками и стрелами, мечами и палицами, изготовленными из фанеры. Он оказывался Стефаном, а противная сторона — полчищем польского короля Яна Первого Альбрехта. Война неизбежно заканчивалась победой молдавского войска, потому что и по истории было известно, что «возвратился король с великим срамом восвояси».

Встреча Гриши с круглощеком мальчиком на песчаной косе возымела неожиданные последствия.

Мальчик пожаловался отцу. Старый князь Манук-бей по каким-то признакам сразу догадался, что дерзкий мальчишка, не пожелавший подать мяч его сыну, был не кто иной, как сын Ивана Николаевича, механика на заводе. Ведь он, говорят, дворянского происхождения, хотя и обеднел. Вот и нашла коса на камень. Князь был доволен, что его баловень получил урок. Не всеми командуй! Разбирайся, с кем имеешь дело!

Князь вызвал к себе механика:

— Иван Николаевич! Как идут дела на заводе?

— Ничего, все в порядке, — отвечал Иван Николаевич, несколько удивленный неурочным вызовом.

— Скажите, Иван Николаевич... у вас, кажется, большая семья?

— Жена-то померла, а детей много; мал мала меньше...

— И сыновья есть?

— Как же! Николай уже совсем большой, а Грише одиннадцать — двенадцатый, учится в школе — не нарадуемся. Очень способный.

— Вот как? Вы бы привели его как-нибудь. Ну, хотя бы в это воскресенье.

— Он у меня дикуват. И кланяться его не приучал...

— Не надо кланяться. Зачем кланяться? Вот, рассказывают, он и музыкант, и силач, и учится отлично... Давайте посмотрим да подумаем, может быть, и сделаем что-нибудь для него.

— Ему ничего не надо. Сыт, здоров.

— Хорошо, хорошо. Я его и не собираюсь ни кормить, ни лечить. Так, значит, в воскресенье?

В воскресенье Гришу помыли, причесали, принарядили в новую рубашку. Гриша спросил:

— Сечь будет? За своего толстощекого? Так я не дамся, все равно убегу.

Князь разглядывал приведенного к нему мальчишку:

— Как зовут тебя? Гриша? А по отцу Иванович? Ну, видишь, выходит, мы с тобой тезки, ведь и я Григорий Иванович. Рассказывай, как живешь, чем занимаешься?

— Книг очень много читает, — ответил вместо Гриши Иван Николаевич. — Уж такой читатель!

— Книг? Может у меня брать. Я дам распоряжение. Только книги книгами, но молодому человеку нужно и физическое развитие.

— Он в «Ниве» вычитал про какую-то волевою гимнастику Анохина. И каждый день руками машет. Ну и на коне мастер ездить. Прямо тебе джигит.

— А вот мы посмотрим, какой он мастер, какой джигит!

Это знакомство произошло во дворе, перед крыльцом манукбеевского дома. Князь крикнул конюхам:

— А ну-ка дайте лошадь помирнее!

— Я могу и не смирнее, — ответил Гриша.

— Да? Хорошо! Приведите Гайдука. Попробуем.

Тут вышли поглядеть на развлечение и другие обитатели дома, появился и барчук, но только издали глазел, со ступенек стеклянной веранды.

Гайдук оказался резвым конем. Иван Николаевич смотрел уже с тревогой: «Ну, вызвали они Гришу на потеху, свалится мальчишка, ушибется, а им лишь бы посмеяться...»

Ничего, Гриша не оробел. Ему только ладонь положить на шею лошади — и он уже на ней. Гайдук сначала на дыбы, потом брыкаться — не тут-то было! И понес он маленького всадника, вымахнул за ворота, пролетел всю аллею, а потом смирился.

Князь покосился на сына. Куда ему! Маменькин сынок! Чтобы задеть самолюбие сына, громко хвалил Гришу, распорядился давать ему, когда захочет, коня. Дал рубль «на пряники» и отпустил.

Когда они подходили к дому, отец сказал:

— Ты у меня молодец, оказывается. Ты никого не бойся. Так и живи,

Иван Николаевич был такой работник, какому нет цены. Он пунктуален, старается сделать на десять рублей, где платят рубль. Он безукоризненно честен, князь Манук-бей отлично это знает. Если он за что-нибудь отвечает, то весь исхлопочется, у него все должно идти без сучка, без задоринки.

А тут, как назло, выбыл из строя один из паровых котлов. Выпустили из него горячую воду и принялись за починку. Но разве Иван Николаевич может удержаться? И разве может смотреть, как машина простаивает? Как его ни уговаривали, чтобы он не вмешивался и набрался терпения, — ничто не помогало. Иван Николаевич сам полез в котел, чего от него вовсе не требовалось. Выбрался оттуда потный и разгоряченный, а потом — прямо на сквозной ветер... Не поберегся, простудился и слег...

Котел-то вступил в строй, а Иван Николаевич что дальше, то хуже. Пролежал почти год и умер. И оставил сирот на свете без всяких средств, потому что за сорок лет безупречной службы не скопил ни гроша. Умер — и вычеркнули его из списка служащих завода, только и всего.

Гриша уже окончил ганчештинскую школу, нужно было подумать, что же дальше. Софья хлопотала, ездила в Кишинев, говорила с князем. Наконец Гриша был зачислен в реальное училище. Еле сколотили денег, чтобы сшить ему форму, — все как полагается: купили фуражку с желтым кантом, с кокардой, сшили шинель с блестящими пуговицами.

Но недолго пощеголял в новом одеянии Гриша Котовский. В Кишиневском реальном училище начальство пересмотрело списки, и в конце 1895 года были исключены тридцать шесть человек. В том числе был исключен и Григорий Котовский.

Вернулся он обратно в Ганчешты и пуговицы блестящие поотрывал.

Опять начались хлопоты Софьи.

Князь Манук-бей понимал, что обязан позаботиться о семействе человека, который прослужил у него безупречно в течение сорока лет. Но ведь законов таких нет? С какой стати он будет делать больше чем положено? Разве он не платил что полагается механику завода?

Софья приходила несколько раз, плакала...

Вспомнил о необыкновенных способностях этого шустрого мальчика-«джигита»... Ну что ж! Может быть, выйдет из него толк, будет служить верой и правдой?

Князь в нерешительности обмакнул перо в чернильницу.

Софья ждала.

«Милостливый государь Иосиф Григорьевич! — писал князь размашистым почерком, обращаясь к директору сельскохозяйственного училища в Кокорозене. — Направляю к Вам...»

3

Так поступил в сельскохозяйственную школу Григорий Котовский. На полный пансион.

— Как тебя зовут? — спросил его человек с зелеными усами и сеткой от пчел на голове.

— Меня зовут Гриша.

— Это тебя раньше звали Гриша. А теперь ты — Григорий Котовский.

— Хорошо, я — Григорий Котовский, — согласился новый ученик.

Школа ему понравилась. Здесь были большие пастбища, молочная ферма, плодовый питомник. Тучные симменталки жевали в хлевах тимофеевку, тирольский и голландский скот выращивался в особых загонах. На виноградниках зрели американские сорта винограда, а в пчельнике стояли разноцветные домики — ульи, и в ульях, в кружевных сотах, рдел золотой мед.

Котовский научился пчеловодству и проявил в этом деле большие способности. Но не забывал и других отраслей хозяйства. Даже придумал новый способ подрезки лозы. Все у него ладилось в руках, делал он все быстро, порывисто.

— И все-таки, — говорил ему унылый надзиратель школы, толстый и студенистый Комаровский, — хорошего управляющего из тебя не выйдет. Нет у тебя этого самого... как его... чего-то у тебя нет.

Воспитанник сельскохозяйственной школы Григорий Котовский выглядел старше своих лет и выделялся среди остальных учеников серьезностью и уверенностью. Учился он с увлечением, схватывал все на лету. Находил время еще на чтение. И, не пропуская ни одного

дня, занимался гимнастикой. Нашел на молочной ферме двухпудовые гири и с ними делал упражнения. Кроме того, усердно изучал немецкий язык: Манук-бей обещал отправить его в Германию для завершения образования.

Сельскохозяйственная школа располагала огромным земельным участком в пятьсот десятин. Обработывалась земля руками учеников. Но Котовский и с этой тяжелой работой справлялся без особенного напряжения.

В Кокорозенскую школу поступил бледный городской мальчик Васюков. Вначале его поставили учеником в кузницу. Кузнец Максимыч был черный, волосатый, верзила с громадными, мускулистыми руками. Котовский приходил иногда в кузницу, как он говорил, «поразмяться», поработать тяжелым молотом. Он приглядывался к новичку. Максимыч на него покрикивал, и это совсем не нравилось Котовскому.

— Я что тебе говорю! — кричал кузнец под лязганье и звон железа. — Поддай жару, говорю! Тютя!

И больше для поощрения, чем по злобе, ударил Васюкова.

Ударил — и пожалел. К нему подскочил Котовский и как начал позорить да вычитывать! Максимыч сначала пробовал огрызаться, отмахиваться. Куда там! Котовский стыдил его, пока не пронял. После-то кузнец стал уже оправдываться:

— Да разве я... да чего ты на самом-то деле? Я же для науки...

— Это только в полиции быют, — горячился Котовский, — в полицию идет тот, у кого совести нет. Их для того и кормят, чтобы усмирять, чтобы зуботычины раздавать, чтобы в страхе народ держать. А ты? У тебя сознание должно быть. И нашел кого ударить! Слабенького! Ты ударь меня! Или как? Неохота?

— Да ладно, — морщился кузнец, — ну, ошибка вышла... Ну, все.

И больше уж кузнец никогда не замахивался на Виктора Васюкова.

— Ты вот что, — сказал на прощание Котовский, подбадривая новичка, — старайся попасть в наряд на молочную ферму, когда будет мое дежурство. В школе кормят плохо, а там я тебя молочком, а то и сливочками подкормлю. А то смотри, какой ты заморыш!

Вскоре повстречались они с Васюковым на поле. Нужно было мотыжить. Мотыга была тяжелая. Васюков никак не мог приспособиться к ней. Мальчики тотчас подметили, что он мотыги никогда и в руках-то не держал. Начались шутки, поддразнивание.

— Смотрите, смотрите, ребята, ведь это прямо-таки богатырь!

— Ого! Да он нас всех землей забросает!

— По ноге! По ноге ударил! Это новый прием!

Котовский молча взял мотыгу у Васюкова.

— Тут, Витя, ничего нет мудреного, — сказал он спокойно, — и только дураки могут хвастаться своим умением мотыжить...

Шутники прикусили языки.

— Даже медведя можно обучить этой работе, думаешь, какая сложная машина. Мотыга! А ты вот держи ее так... и р-раз! Видишь, как получается? Ну-ка, попробуй.

С тех пор у Вити с Котовским дружба повелась, и всякие насмешки прекратились.

— Сегодня мы пойдем в деревню на молдавский жок, — объявил как-то Котовский своему приятелю Васюкову. — Там ты увидишь одну девушку... такую девушку...

— Я знаю, что такое молдавский жок, — заявил Васюков. — Жок — это танец.

— У молдаван есть поговорка: льет воду в колодец... Так говорят о бестолковых людях.

— По-твоему, я бестолковый?

— Хуже. У тебя как-то неинтересно все получается. «Жок — это танец». «Зимой холодно, летом тепло»... Я ему говорю о замечательной девушке, а в ответ слышу равнодушные рассуждения.

— Но ведь я согласен пойти на этот жок.

И они пошли. Деревня Ливадэшти разбросана по овражкам на берегу мелководной реки. Голубые и светло-зеленые фасады домиков расписаны синими полосами. Около каждого домика плодовые деревья. Кое-где виднеется журавль колодца или высятся, как одинокие стражи, пирамидальные тополя.

На «пристыбе» — на завалинке одного из домиков — много молодежи. Вот он — танец! Мелодично звенят

струны самодельных музыкальных инструментов. Медленно движутся танцующие.

Котовского знали. Тотчас потеснились, чтобы дать ему и Васюкову место. Рядом с ними оказался старый молдаванин. Он вздыхал и все смотрел на танцоров. Видно, когда-то и сам был завзятым исполнителем жока.

Котовский вежливо спросил его, как живется.

— Вяцэ рэ! — ответил старик спокойно. — Плохая жизнь.

И опять смотрел слезящимися, потухшими глазами на медленно двигающиеся танцующие пары.

Вечерняя заря угасала над деревней. Обрисовывались на фоне румяного неба очертания домов, изгородей. Листья айвы лепетали о чем-то невеселом. Яблони толпились вокруг танцующих. От реки плыли запахи сырости, прохлады, гниющих камышей...

— Пора идти, — напомнил Васюков. — Могут заметить наше отсутствие, и будут неприятности.

— Подожди! Сейчас она будет петь...

— Кто?

— Как кто? Конечно, она, Мариула!

И действительно, красивая смуглая молдаванка, сидевшая на скамейке под грушевым деревом, затуманилась, загрустила, пока парень перебирал легкие струны гуслей. Затем сразу взяла за сердце своим низким, грудным голосом. Взяла и не отпускала.

Дни ли длинные настали,
Провожу я их в печали.
Дни ли снова коротки,
Сохну, чахну от тоски...

Из всех дверей появлялись женщины, выползали старухи, теперь и под деревьями и дальше, возле изгороди и колодца, толпился народ. Замолкли шутки, утихли разговоры. Все слушали. И Васюков видел, как напряженно, всем существом, слушает дойну Котовский.

— Обрати внимание на лица слушателей, — шепнул Васюков, — они стоят как зачарованные, а вон та, около яблони, — у нее слезы на глазах!

Но Котовский и сам подозрительно отворачивался и тер кулаком глаза. Затем он улыбнулся Васюкову и стал рассказывать:

— Ты в первый раз слышишь дойну? Это только пер-

вая часть. Молдавская дойна состоит из двух частей. В первой — грусть, «дора», как бы размышления о страданиях народа. Но затем — ты сейчас услышишь — заунывные звуки сменяются бодрым напевом, песней без слов. Вот! Слышишь? Дойна переходит в танец! Народ не знает, как выразить словами свои мечты. Но в танце, в движении — столько силы!

Пляс становился все более стремительным и втягивал все новых танцоров. Как будто они хотели стряхнуть с себя навеянную грусть. Как будто не хотели поддаваться отчаянию.

Совсем уже вечерело. Звезды запутались в ветках яблонь и там трепыхались, как мелкая рыбешка в сетях.

Но Васюкова уже не интересовали звезды. Он опять стал торопить Котовского. И они помчались по душистым полянам, а затем осторожно пробрались в спальню, стараясь не попасть на глаза дежурному надзирателю.

На следующий день на уроке истории учитель рассказывал об Испании, и раз уж об Испании, то, конечно, о тореадорах, о том, как устраиваются народные зрелища и тореадоры побеждают быков.

После урока Котовский заявил, что нет ничего удивительного, если человек оказывается сильнее быка.

— Бык сильный, но он неповоротливый. Кроме того, он слишком горячится, излишняя горячность всегда вредит делу.

Насмешливый Стефан Кябур, который всегда любил подзадоривать и подбивать на какие-нибудь споры или пари, подхватил:

— Котовский у нас — что и говорить — силач необыкновенный. Уж он-то безусловно повалит быка.

— Я думаю, что в этом нет особенной заслуги, — ответил Котовский, — я не сильнее его, но я хитрее и поворотливее.

— Гриша, — остановил Скутельник, благоразумный, рассудительный малый, — ты не слушай его, видишь, он тебя нарочно поддразнивает.

— Конечно, это чепуха, — согласился толстяк Загура, — идемте лучше завтракать. Тореадоры — это люди натренированные. Да и те обычно кончают тем, что бык продырявливает их рогами.

Казалось бы, спор на этом должен был кончиться. Но Котовский во всеуслышание заявил, что справится с быком, и предложил устроить настоящий бой быков, на котором он выступит в роли тореадора. Конечно, начальство не разрешило бы подобной забавы. Но если выбрать день, когда дежурит Якименко, который всегда напробуеться домашних наливок, заберется куда-нибудь в прохладу и дрыхнет, поручив ученикам предупредить в случае появления директора... Если к тому же отпустить домой со скотного двора унылого Дормидонта, пообещав за него доглядеть за скотом... то, пожалуй, все пройдет благополучно...

— Я решительно возражаю! — сердился Скутельник. — Представьте, что Котовского повалит бык, а это почти наверняка случится...

— Ну что ж, скажем: несчастный случай.

— Ведь никто его насильно не заставляет. Пусть вперед не хвастает!

Одним словом «бой быков» состоялся. Место за конюшнями было отведено, «публика» поместилась в полной безопасности — под навесом сарая. Свирепый бык Черт, которого водили на цепях и на которого приходили смотреть как на чудовище, был выпущен на свободу. Он вымахнул из стойла, остановился, опустив могучую голову, исподлобья озирая поле. Никого. Только один мальчик в обыкновенной одежде, спокойный, стройный...

— Может быть, прекратим, пока не поздно? — пробормотал Скутельник. У него было доброе сердце.

Но все были в необыкновенном возбуждении, все ждали, что будет дальше, и никто не ответил на это запоздалое предложение: бык уже мчался прямо на мальчика, мчался с налитыми кровью глазами, раздувая ноздри.

Все обмерли. Васюков, который долго упрашивал Котовского отказаться от этой затеи, зажмурился.

Котовский спокойно ждал. На вспаханной земле у быка увязали ноги. Он мчался, разбрасывая комья земли. В последний момент Котовский увернулся — и бык промчался мимо не в силах сразу остановиться.

— Здорово! — воскликнул кто-то в восхищении, но на него зашикали.

Бык повернул обратно. И снова все замерли в ожидании, и снова юный тореадор обманул быка.

— А ведь, пожалуй, он прав, — пробормотал Стефан Кябур, — на стороне быка грубая слепая сила, на стороне Котовского — ловкость, ум, точный расчет.

Бык пытался сделать передышку, но Котовский заставил его безостановочно бегать и все больше свирепеть от неудач. И вот уже бык стал заметно уставать, от него валил пар, он громко дышал, мотал туполобой головой, бил хвостом. Вот он, пролетев уже который раз мимо увернувшегося мальчика, споткнулся на меже и повалился на колени, тотчас вскочил и опять стал разыскивать, где этот ненавистный, которого он никак не может сокрушить...

Гриша добился своего: измотал вконец яростного Черта, схватил его за рога, повалил на землю и хлестнул нагайкой. Теперь уже никто не мог сдержаться, все ревели от восторга, как заправские зрители испанского представления.

Но Котовский подошел и спокойно объяснил, больше обращаясь к Васюкову, что человек, развивающий свои способности, тренирующий волю и делающий гимнастику по системе Анохина, всегда восторжествует над слепой стихией.

— Т-тут и удивляться нечего, — говорил он, — при настойчивости всякий может сделать то же самое.

Но желающих повторить его опыт не нашлось.

Вот тогда-то и познакомился Котовский со студентом. Очень интересный студент. Он рассказывал захватывающие дух истории. Он говорил, что всякая власть консервативна, что вообще не надо никакой власти, нужно дать человеку привольно жить.

Сам студент был лохматый, никогда не брился, и на подбородке у него вырастали клочья светлых курчавых волос. Тужурка у него была в пятнах, засаленная, курил он махорку, сыпал пепел на грудь и ходил без шапки и летом и зимой.

Слушая рассуждения голодного лохматого студента, вечно роняющего с носа пенсне, Котовский мечтал о том, чтобы уничтожить всех помещиков, разогнать полицию, и тогда само собой падет царское самодержавие и каждый как захочет, так и будет жить.

Об этом он подолгу говорил с Васюковым, а еще

больше — с Коваленко, тихим, застенчивым юношей.

Валя Коваленко был сын сельского учителя. Они облюбовали старую беседку в самом отдаленном углу сада, в зарослях орешника, и называли это место «убежищем». Там никто не мог их подслушать, и они могли свободно высказывать свои заветные думы.

— Я мечтаю, — говорил задумчиво Валя, и голубые глаза его блуждали по зеленым зарослям, по вершинам деревьев, — я мечтаю сделать всех людей богатыми. Нас научат в школе садоводству, а я буду учить крестьян. На родине нашей земля плодородна, солнца много. А что толку? Крестьяне разводят местные лозы, производят посадку чубуков без плана, белые сорта винограда сажают вперемешку с черными, тут же сеют кукурузу, выращивают грушу и орех. Разве так можно? Я научу их выращивать сортовой виноград, они станут богаты, начнут давать детям образование, построят хорошие дома, купят коров и заживут припеваючи...

— Послушать тебя, так и на самом деле скоро наступит на земле рай, — недоверчиво отозвался Котовский.

— Ты сам посуди! — горячо излагал свой план спасения человечества Валя. — Стоит посмотреть на виноградный куст в крестьянском винограднике — ведь это не куст, а насмешка! Не хватает тычин, чтобы поддерживать его!

— Не хватает тычин? Не хватает земли, скажи лучше. Отчего крестьяне сажают среди виноградника ореховое дерево? Оттого что больше негде садить! А не потому, что незнакомы с агрономическими правилами!

— Допустим, что это верно. Но можно же по-человечески снять урожай, хорошо изготовить вино? А ведь крестьяне снимают виноград недозрелый, получается он несладкий, собирают вместе белый и черный, валят в одну кучу. А как его давят? Я сам видел у нас на деревне: набьют виноград в холщовые мешки и топчут босыми ногами, а потом вместе с мезгой вываливают в бродильные бочки, где больше мух, чем вина!

— В Ганчештах у князя Манук-бея есть давильни, бродильные чаны, фильтры, черт их побери! Ты, может быть, собираешься раздавать мужикам фильтры и устраивать дробилки, когда начнешь их просвещать? Да им жрать нечего, а ты — давильни! Нет Валя, ты не

с того конца начинаешь. Я считаю, что прежде всего надо прогнать помещиков...

— Как прогнать?

— Очень просто — прогнать! И тогда у народа будут и фильтры, и сортовые лозы, и земли сколько хочешь под виноградники.

— Легко сказать — прогнать! А если они не уйдут?

— Перевешать их всех на осине! Слышал, что студент говорил?

— Ого, какой ты быстрый. Как бы они нас не перевешали.

— В школе готовят из нашего брата барских садовников или управляющих. Стоит ради этого учиться? Стоит ради этого жить?

Котовский в раздумье смотрел на сияющее синее небо. Он не находил выхода для бродивших в нем сил, не мог разобраться в путанице, которая происходит в жизни.

— Знаю одно, Валя, — говорил он с настойчивостью, — нехорошо, некрасиво живут люди, обидно живут. Надо жить иначе.

— Это-то верно.

Шумели высокие вершины деревьев школьного сада. Старая беседка была надежно спрятана в зелени. И Котовский, и Валя — оба полны были юношеского задора и юношеских надежд. Они будут перестраивать жизнь заново! Они будут непримиримы!

Школяры распевали революционные песни, которые узнали от студента. Котовский руководил хоровым кружком. Наконец эти песни зародили подозрения у надзирателя Комаровского, хотя он и был туговат на ухо.

— Что вы такое поете?

— Как что! Русские народные песни. Они рекомендованы.

— Что-то я таких не слышал. «Вихри враждебные» — какие такие вихри? И почему враждебные? Если уж вам непременно хочется петь о стихиях, пойте «Виют ветры». А то нарвешься с вами на неприятности.

И неприятности, действительно, получились.

Котовский раздобыл прокламацию. Это все студент поставлял. Читали прокламацию тайком, в овраге. В прокламации говорилось об арендной плате крестьян. Смысл ее был неясен, но таинственность сборищ волно-

вала. Котовский придумал пароль, придумал клятву, которую давали, если допускались на собрания.

Заброшена верховая езда, забыта шведская гимнастика. Безмолвствует кларнет, на котором Котовский выучился наигрывать кавалерийские сигналы: седловку, атаку.

— Мы устроим забастовку в знак протеста против грубости надзирателей! — ораторствовал Котовский.

Эта затея понравилась. Готовились к забастовке усиленно.

Все погубила корова. Она съела траву, под которой были спрятаны заготовленные воззвания, написанные акварельными красками. Началось расследование. Садовнику Никифору было приказано нарезать лозы. О Котовском, как главаре, сообщили в Кишиневское жандармское управление, и, несмотря на восемнадцатилетний возраст, он оказался под негласным надзором полиции.

Почтеннейший директор Кокорозенской сельскохозяйственной школы считал своим нравственным долгом докладывать об успехах и прилежании ученика Котовского его высокому покровителю князю Манук-бею.

— Да, да, — рассеянно отвечал князь, выслушав сообщение о том, что Котовский проявляет выдающиеся способности, — собственно, я иного и не ожидал.

— Я понимаю, — заканчивал свой визит директор, — вами владели исключительно гуманные, благотворительные побуждения. И я счел долгом...

— Благодарю, благодарю, — говорил князь, подталкивая директора к выходной двери.

Однако последнее посещение директора в год окончания Котовским всего курса школы, в 1900 году, было более продолжительным. Директор доложил, как он выразился, «с великим прискорбием», что неблагодарный воспитанник школы Котовский проникся революционным духом и отдан даже под негласный надзор полиции, как неблагонадежный элемент.

Князь выслушал это сообщение внимательно.

— Удивительное дело, — сказал он, — как только в нашей дворянской среде обнаруживается человек поспособнее, так непременно перекинется на ту сторону и всеми силами начинает бороться против нас.

— Очень, очень прискорбно, — снова повторил директор.

— Впрочем, — добавил Манук-бей, — меня уже мало интересуют дела вашей азиатской России. Мой предок когда-то порвал с турецким султаном и навсегда покинул Турцию. А я порываю с Россией. Решил поселиться в какой-нибудь тихой европейской стране, где никому по ночам не снится революция.

4

...Котовский пришпорил коня. Ну, вот и дом! Три окошка смотрят на улицу. Высокая крыша увенчана печной трубой.

Как обрадовалась и вместе с тем испугалась Софья! И как нахмурился ее муж!

— Через твоего любезного братца как раз накличешь на себя неприятности. От такого смутьяна надо держаться подальше.

И хотя Софья слегка побаивалась муженька, но на этот раз с явным раздражением ответила:

— Не беспокойся, он долго не пробудет.

Муж молча оделся и, уходя, так хлопнул дверью, что зазвенела посуда.

— Тебя разыскивают, — сообщила Котовскому Софья. — Два раза приходили какие-то люди, спрашивали тебя. Мы сказали, что слыхом не слыхали, уже много лет ничего не знаем.

— В штатском?

— В пиджаках, а сапоги военные.

— Скорее всего, полицейские. Рыщут! Да ты не волнуйся. Я ведь только заехал повидаться, завтра же дальше. Так что успокой своего бурбона.

В доме все по-прежнему. И так же маятник торопливо выстукивает на стене, и часы, по своему обыкновению, ушли на час вперед, и к гире привязана железина: как привязал отец, так и осталась...

Но до чего поредела семья! Старший брат утонул купаясь. Елена вышла замуж и уехала. Дома только Софья со своим неприятным мужем.

Софья хлопочет, без толку суется. Принесла кларнет. Этот кларнет еще мальчиком Григорий Иванович нашел в чулане и с тех пор мучил всех домашних,

усердно извлекая из этого музыкального инструмента визгливые, немзыкальные звуки. В конце концов добился своего, научился, стал подбирать по слуху знакомые ему мотивы. А знал только дойны — заунывные песни молдаван.

— Хочешь взять с собой? — спросила Софья.

— Сейчас будет другая музыка! — рассмеялся Котовский. — Нет уж, положи кларнет обратно в чулан. Время сейчас немзыкальное. А впрочем, возьму. Ведь на кларнете можно играть сигнал «В атаку». А в атаку-то придется еще идти!

Кларнет напомнил многое из детства. Стали, перебивая друг друга, вспоминать.

«А помнишь?.. А помнишь?..» — повторяли оба, но в каждом слове сестры была опаска и оглядка, и Котовский даже подумал, как она изменилась в замужестве.

— Не так ведь далеко твой день рождения, двенадцатого июня. Ты, поди, и не помнишь, когда родился? — угощая чаем, спросила Софья. — Погоди... Сколько тебе? Тридцать семь? Смотри, как летят годы!.. Тридцать семь — это не так мало...

Перед Софьей сидел плотный, сильный мужчина, с крупными чертами лица, с горячими карими глазами, бритой блестящей головой, солидный, в военном, с оружием, которое он бережно сложил в угол на лавку, — а сестра все видела в нем маленького мальчика, бойкого, быстрого, которого надо умыть перед едой и бранить за шалости...

Тут пришли односельчане, друзья детства, ровесники Котовского. Они сразу же предупредили Котовского, что его разыскивает полиция. В дни революции полицейские попрятались, зарыли свою форму в сено, запрятали ее в огородах, и все стали вдруг просто поселянами или городскими обывателями. Теперь они зашевелились.

Но пусть Григорий Иванович не беспокоится. Приняты надлежащие меры. Григорий Иванович может спокойно пить чай и беседовать.

— Видишь ли, — говорили друзья, — когда мы узнали, что наш Гриша вернулся, то сразу же поставили дозорных на дорогах. Чуть чего — будет сигнал: один выстрел. И тогда мы тебя спрячем в надежное место.

Чему другому, а уж осторожности-то мы научились за это время!

— Голубчики! Так зачем же прятаться? Нас много, и, кажется, все не из робкого десятка. Или у вас нет оружия?

— Да если пошарить на чердаках — найдется.

— Чего другого!

Не успели они закончить этот разговор, как раздался выстрел оттуда, с дороги. За выстрелом последовал другой, третий... Это уже не было условным сигналом, это была настоящая перестрелка. Что там такое случилось?

— Надо идти на помощь, — решительно сказал один из парней.

Но вскоре вернулись сами дозорные. Они были сильно возбуждены, загорелые их лица были смелы и открыты, и они спешили все рассказать подробно, говорили все сразу.

— Постойте! — остановил их Котовский. — Докладывай кто-нибудь один. Как тебя звать? Василь? Ну вот ты и докладывай, что у вас там случилось.

Котовский не помнил этого Василя. Он, видимо, был совсем малыш, когда Котовский уехал.

— Засели мы под стогом в Заячьем логу, где Максимовы земли, знаете? — захлебываясь словами, начал Василь. — Оттуда всю дорогу видно, до самого поворота.

— Знаю. И что же дальше?

— Только мы собрались покурить, появляются военные. Один-то — мы сразу его признали — Вацлав, полицейский, из соседнего села. О нем говорят: врет — не кашляет.

— А вы что? Струсили, поди?

— Нет, мы, как условлено, дали выстрел в воздух, а те сразу стрелять.

— Никого не задели?

— Они-то не задели! А мы подумали-подумали: пускать их, так они, чего доброго, и на самом деле беды натворят. Тогда нам наши ребята головы оторвут... Ну, мы взяли да на всякий случай всех и... тово... перебили...

— Перебили?!

— Перебили.

— Вот это здорово! — воскликнул кто-то.

— Теперь жди, что явится карательный отряд...

— Не они н-нас, — поднялся со скамейки Котовский, — мы будем их карать. Не беда, что сейчас придется уйти. Мы уйдем с оружием, чтобы собраться с силами. Зато уж когда разгромим врагов, то это будет раз и навсегда.

— Ну так и мы с тобой! А? Возьмешь?

— Вот это дело!

Сразу стало ясно, как нужно действовать, и все разбрелись по домам, чтобы накормить коней перед отъездом да собрать пожитки.

Как быстроекрылая птица, облетел слух молдавские села и деревеньки: Котовский бьет захватчиков, Котовский собирает отряд! И отовсюду двигались по дорогам всадники — те, кто не хотел склонить подневольную голову.

«Рэзбунэтор народник» — так называл молдавский народ своего Котовского. Рэзбунэтор народник. Народный мститель. Во имя человечности он должен быть беспощаден. Чтобы не было горя, он должен нести горе врагам, вести войну во имя мира. «Рэзбунэтор народник!» — так говорили о нем простые люди. «Веди нас, Котовский!» — говорили они.

Не одной только Софье пришлось провожать до околицы своего Гришу. Со многих дворов выезжали и старые и молодые. Вон и юный Василь, перестрелявший «на всякий случай» полицейских. Вон и незаможник Иван...

Пробовали строиться, но не было еще слаженности, и кони были домашние, без выучки.

У кого-то захромал конь, и хозяин в каждом селе искал кузнеца, чтобы сменить подкову...

Продвигались туда, на восток. И если сегодня въезжало в село десять всадников, то завтра выезжало от туда вдвое больше.

Дни стояли облачные. Белые облака летели одно за другим, как клубы дыма. В запахах, приносимых ветром, угадывалась близкая весна. Когда он прилетал издалека, теплый, нагретый солнцем, даже голова кружилась от упоения. Все вокруг было в состоянии предчувствия. И люди, покидавшие свои семьи, не верили тому, что

свершалось. Да, они уходят, спору нет. Но разве они уходят навсегда?

Гнедой жеребец, белоножка, злюка, нетерпеливо танцует. Под гладкой блестящей кожей играют мускулы, озорной глаз косит на придорожные кусты. Так бы вот и помчал, разбрызгивая пену! И чтобы шел пар от горячей холки, и чтобы копыта едва касались земли!

Всадник задумчив, и никто не хочет ему мешать. Всем кажется, что вот обдумает он все досконально, разработает план — и тогда все пойдет иначе, и не придется коням хвостами к врагу оборачиваться, и не придется все дальше уходить от родимых мест.

Задумался Григорий Иванович, крепко задумался. Участливым взглядом смотрел на своих земляков. Среди них он вырос, знал их песни, их труд, их медлительный танец. И теперь отступал с ними. И знал, что не на один день.

Они уходили. Тут ничего не поделать. Их провожали печальные холмы. Белые домики селений походили на родственников, вышедших проститься с отъезжающими. И долго смотрели вослед печальные окна.

Цокают копыта. Дорога извивается среди полей...

Была остановка в большом молдавском селе. Степенно расспрашивали старики пришельцев, судачила молодежь с жеманными красавицами у ворот. Гремели ведра у колодцев. Поили коней. Пахло конским потом и кожей седел. Махорочный дым завивался кольцами.

Приветливо встречало гостей местное население:

— Далече держите путь?

— От села до села. Собираем большое из малого.

— Доброе дело. Найдете и в нашем селе надежных парней.

Котовский уверенно вошел во двор, обнесенный каменной оградой. Как странно! Прошло столько лет, свершилось столько событий... Жизнь швыряла Котовского из конца в конец, весь мир, казалось, перетрянуло до основания. А дворик был тот же, ни малейшей перемены. И та же груша перед крыльцом... И на той же веревке развешаны циновки...

Котовский вошел в полутемные сени. Дом построен из чамура — кирпичей, изготовленных из земли, соломы

и навоза. Внутри и снаружи выбелен глиной. Фасад дома светло-голубой. Стена, выходящая в сад, светло-розовая. И какие разводы по стенам: полосы и кружочки. Внутри дома — скамьи по стенам, большая четырехугольная печь — «груба», светло-зеленая, расписанная листьями и цветами. Дом опоясан завалинками и коридорами с деревянными колонками.

— Дорогой гость!

— Здравствуй, Леонтий! Узнал?

— Отца не узнаю, тебя — узнаю!

— А ведь давненько не виделись. Никак, лет двенадцать?

— Мы тебя и сто лет помнить будем!

С этими словами хозяин, красивый молдаванин, провел Котовского в дом.

— Хорошо у тебя, Леонтий! — произнес Котовский, оглядывая все убранство «каса-маре» — комнаты для гостей.

Действительно, в комнате была безупречная чистота. А уж ковры, пожалуй, не хуже персидских.

— У меня и жена хорошая, — улыбнулся светлой улыбкой Леонтий, — и дети хорошие.

Котовский подумал:

«Жаль будет Леонтию расставаться с домашним теплом и менять его на тяжелую походную жизнь».

Но Котовский ничего не сказал Леонтию об этом. Он знал, что дружба сильнее, а фронтовая дружба — великое дело.

Тут появилась жена Леонтия — ласковая, приветливая. Потом и детей показал Леонтий: смуглого мальчика и смелую, как мальчишка, девочку.

Котовский усадил ребятшек на колени. Леонтий с удивлением наблюдал, что дети не дичились, и сразу же подружались с этим веселым, сильным, крупным дядей, и уже болтали с ним непринужденно.

Тем временем хозяйка принесла большой кувшин, и они выпили с Леонтием по стакану хорошего виноградного вина за свободную Молдавию, за светлое будущее.

— Пусть тучи рассеются над нашей страной!

Мальчик и девочка почувствовали, что предстоит расставание. Они еще не ведали, что жизнь иногда бывает безжалостна. Облепили отца, вцепились в него ручонка-

ми. Они не могли придумать, что сказать, и только бормотали:

— Папа! Папа!

Они обнимали отца. Кто знает — может быть, обнимали в последний раз?

ТРЕТЬЯ ГЛАВА

1

Знакомство Котовского с Леонтием связано с необычайными событиями, о которых многие помнят в Бессарабии.

В 1900 году Котовский окончил кокорозенскую школу, окончил с отличными отметками. Только теперь, расставаясь, поняли выпускники, что у них кончается на этом молодость, что они вступают в трудную, неизведанную жизнь, что их связывают навсегда воспоминания о юных, беспечных годах. Пусть не очень сытная, пусть не лишенная огорчений — все же это была хорошая пора!

— Ты куда идешь работать? — спрашивали выпускники друг друга.

— Я буду садовником в имении Вишневского, — сообщил Димитрий Скутельник.

— А я буду работать в бессарабском училище виноделия.

— Ого! Значит, выпивка нам обеспечена!

— И букет роз из оранжереи Скутельника!

— А ты, Котовский?

— Управляющим в имении Скоповского.

— Ты-то сделаешь карьеру!

— Тем более, что у Скоповского, говорят, есть красивая дочка...

— Нет, братцы, те каштаны не про нас!

И они расстались, вновь испеченные агрономы, управляющие и виноградари.

Нельзя сказать, что новое положение было Котовскому по душе. Имение «Валя-Карбунэ», большое и благоустроенное, открыло перед Котовским новое, чего он еще не видел до сих пор отчетливо и что его сразу же неприятно поразило: это пропасть, которая разделяла

крестьян, трудившихся на полях помещика, и господ, с их роскошью и мотовством.

Сам помещик Скоповский производил впечатление интеллигентного и культурного человека. Он даже щеголял тонкостью обращения и высокими запросами: у него была и богатая библиотека, и дорогие картины. Он любил говорить о просвещении, о прогрессе человечества... Но все-таки он не понравился Котовскому.

Котовский слушал его с возрастающим презрением. Откуда такое человеконенавистничество? На чем основано такое самомнение? И чем же замечателен этот лощеный, нафабренный, в шелковом белье, в бухарском халате и в колпаке с кисточкой, пресыщенный и самодовольный человек? Может быть, он осчастливил человечество новыми открытиями? Может быть, он создал духовные богатства? Почему он будет жить в вечном празднике, в излишествах, в неге, когда рядом, всего в каком-то километре, в деревнях — голодные дети, со вздутыми животами, в коросте и лишаях... Питаются люди и то впроголодь — кукурузной мамалыгой, и косят людей эпидемические болезни, болеют они чесоткой, золотухой, черной оспой, завшивели в своей огромной беспросветной нищете...

С первых же дней работы управляющим имения поразил Котовского этот контраст, и он ходил ошеломленный, расстроенный, он не мог понять, не мог примириться. И все думал, думал об одном: «Почему же так получается? Разве это справедливо? Почему так устроена жизнь?»

Дом наполнен тетушками, приживалками, и все они изнывают от безделья, все они прожорливы, похотливы, злоязычны, все заняты дальнейшим устроением и обеспечением такой утробной и ведь дьявольски скучной жизни. О чем они мечтали? Какие у них были идеалы? Котовский с терпеливой настойчивостью исследователя, изучающего нравы каких-нибудь насекомых, разглядывал, выпрашивал обитателей помещичьего дома. Он понял: стремятся они получить наследство, выгодно жениться или выскочить замуж... и снова сидеть и раскладывать пасьянсы, и разбираться в сновидениях, пережевывать не новые новости и переваривать обильную пищу — изделия выписанных из-за границы поваров.

Постепенно управляющий Котовский познакомился со всеми обитателями помещичьего дома. Дом был просторный, и многие комнаты вообще пустовали. Одни назывались «залами», другие «гостиными», была «буфетная», «гардеробная», «комната барышни», то есть Ксении, дочери Скоповского, учившейся в Петербурге, в институте благородных девиц, «комната молодого барина», то есть Всеволода, студента-путейца. Были еще и другие комнаты, без названий, но с дорогой мебелью, ежедневно протираемой горничными, упрятанной в белоснежные чехлы.

Впрочем, в главном доме жили только сами Скоповские. Приживалки, тетки, бесчисленная челядь, а также учитель музыки, учитель танцев месье Шер, домашний врач Геннадий Маркелович, ключницы, портнихи размещались во флигелях, пристройках, и далеко не все приглашались к барскому столу, только доктор, да учитель танцев, да две-три родственницы поприличнее.

Супруга Александра Станиславовича Скоповского, как о ней выразился один из гостивших в летние каникулы студентов, «женщина грандиозного телосложения и микроскопического ума», посвятила жизнь неравной и самоотверженной борьбе с обуревающим ее аппетитом.

Алевтина Маврикиевна Скоповская была из украинского семейства, и у них в роду сохранились рассказы о прадеде, весившем более двенадцати пудов. Усевшись за стол и уничтожив жареного поросенка с кашей, добавив к этому и домашних «ковбас», и домашней птицы, выкормленной специально для кухни, затем обстоятельно потрудившись над вкусными варениками, галушками, пампушками, грушевым взваром и сладкими пирогами, уснастив все это хорошими порциями вишневой наливки, сливянки и других смачных напитков, сверкавших и переливавшихся в объемистых графинах, этот предок вылезал из-за стола, поглаживая свой солидный живот, расправляя усы, свешивавшиеся ниже подбородка, и жаловался: «Черты його батька знае — нема ниякого апетиту...»

Алевтина Маврикиевна не только не жаловалась на отсутствие аппетита, но даже старалась его укротить. Увы, в конечном счете она всегда терпела полное поражение в неусыпной борьбе с соблазнами и наконец

полностью капитулировала, сдаваясь на милость победителей: борщей, пирогов и жареных индеек.

Геннадий Маркелович при этом всякий раз приговаривал:

— В присутствии доктора, дорогая Алевтина Мавриковна, можете позволить себе в виде исключения малую толику жареной баранины и крылышко восхитительной тетерки... В присутствии доктора пагубные последствия благорастворяются. Кушайте, матушка, и ни о чем не думайте, если того требует природа! Не терзайте себя сомнениями! Все равно помрем, голубушка! Человеческая жизнь эфемерна и мимолетна. *Omnia mutantur*, как говорится, — все вздор, все тлен!

Летом имение «Валя-Карбунэ» наполнялось шумом и гамом. Приезжала молодежь. Устраивались крокетные площадки перед домом, натягивались металлические сетки и под присмотром управляющего изготовлялся корт для игры в лаун-теннис.

Приезжал Всеволод Скоповский, слабость и гордость отца. Он был красив, и сам сознавал это.

— Севочка, ты отдыхай, — суетился Александр Станиславович. — Доктор, посмотрите, не развилось ли у Севочки малокровие?

Всеволод никогда не питал пристрастия к наукам. Котовский попробовал с ним говорить о строительстве мостов, железных дорог. Всеволод цедил сквозь зубы:

— Не понимаю, почему это вас интересует, милейший! Я, откровенно говоря, ничего в мостах не смыслю. За меня сдают экзамены бедные студенты. Мой друг, князь Кугушев, очень удачно выразился: «Когда я поеду в Париж, — сказал он профессору Передерию, — я надеюсь, что все мосты будут стоять на месте и мой экспресс проследует по своему маршруту...»

Из дальнейших расспросов Котовский убедился, что Всеволод Скоповский в равной степени красив и глуп. Оказывается он не собирался делать карьеру путейца. Просто ему нравились серебряные нашивки с вензелями. Всеволод был заносчив, презирал профессоров, получавших мизерное жалованье, а сам увлекался балетом и бегами, вернее, увлекался всем, чем увлекался «его друг князь Кугушев», по-видимому, являвшийся для него идеалом, образцом — увы! — недостижимым, потому что Кугушев был «баснословно богат».

— Можете себе представить, — рассказывал восторженно Всеволод, — у князя уже есть содержанка — Вероника, певичка из театра «Буфф», и он подарил ей бриллиантовый кулон!

Всеволод Скоповский получал хорошие куши от отца, но все-таки не такие, чтобы мог дарить певичкам кулоны. И это, пожалуй, было самым большим огорчением для Всеволода. Ведь князь Кугушев мог. И князь Радзивилл мог. И сын миллионера Кабанова мог все себе позволить.

На летние каникулы вместе со Всеволодом часто приезжал безусый гимназист Коля Орешников. Собственно, дружил-то Всеволод со старшим братом Коли. Но тот всегда ускользал в последний момент, намекая на нечто романтическое и даже говоря со вздохами влюбленного: «Если бы ты ее видел, ты бы понял меня! Она едет с мужем в Ялту, и я должен последовать за ней...» И тут он подсовывал вместо себя братишку: «В общем, вы пока поезжайте, а там, глядишь, и я пожалую. Тебя же прошу, как друга: посылай от моего имени моим родителям телеграммы, чтобы они думали, будто я у тебя в гостях...» С этими словами он исчезал, а Всеволод ехал домой с неуклюжим, застенчивым гимназистом.

Прибыв в «Валя-Карбунэ», Коля Орешников немедленно вооружался удочкой и целыми днями просиживал на берегу пруда, внимательно следя, как покачивается на прозрачной поверхности заводи полосатый поплавок.

Гимназист Коля Орешников жил, ни над чем не задумываясь. Он принимал мир таким, как он есть. Очевидно, всегда были и будут мужики, которые косят сено и едят очень вкусный черный хлеб, прихлебывая квас. И так уж придумано, что есть солнце на небе, папа и мама в Петербурге, на Васильевском острове, помещик Скоповский в «Карбунэ», а главное — рыба в карбунском пруду.

Коля был страстный, неукротимый рыболов, и первое знакомство его с управляющим Котовским произошло у пруда: они тогда заспорили, в какое время рыба лучше клюет — перед дождем или после дождя. Кстати, на этом знакомство и кончилось.

Для того чтобы в кладовых Скоповского не переводилась всяческая снедь, а в кармане Скоповского не переводились денежки, на полях работали сотни людей.

Самая тяжелая работа поручалась молдаванам. Вероятно, потому, что они выполняли самую тяжелую работу, их больше всего и презирали. Все в них раздражало Скоповского: их невозмутимость, и их необычайная выносливость, и их покорный вид. За что, за какие заслуги им отпущено такое феноменальное здоровье? Это он имеет право на здоровье и долголетие! Он, испокон веку владеющий пастбищами и садами, он, оберегаемый няньками, докторами и полицией!

Котовский возненавидел помещика с первого дня, и это нерасположение все возрастало. Скоповский, напротив, терпимо относился к новому управляющему. Силач и здоровяк, Котовский не вызывал в нем зависти. Управляющий должен быть силен, чтобы раздавать зуботычины. Это так же бесспорно, как то, что горничные должны быть миловидны, а кучера толсты.

— Я с вами, а не с ними, — говорил Григорий Иванович молдаванам. — Верно говорит народная пословица: ива не плодое дерево, барин не человек. Хотя и говорят, что за деньги и черт спляшет, но меня им не купить, не продажный.

— Мы тебя сразу поняли, какой ты есть, — отвечали молдаване.

Они относились к Котовскому с доверием и платили за человеческое участие усердием в работе.

— Мы тебя не подведем, человеке добрый! За добро добром платят!

А Скоповскому это и на руку: достатки росли, имение процветало, — чего же еще надо.

Все, что узнаешь, пригодится в жизни. Котовский деловито изучал помещичий быт, все повадки этих сытых людей, все правила «хорошего тона». Много бывало в «Валя-Карбунэ» военных. С презрительным любопытством наблюдал он за щегольством офицеров, гостивших в помещичьем доме. Как они щелкали шпорами! Как умышленно картавили! Как презирали штатских!

Однажды понаехавшая на летние каникулы молодежь поставила управляющего в неловкое положение, в его присутствии и явно о нем заговорив между собой по-французски. (Было заведено в присутствии слуг изъясняться на французском языке).

Котовский на другой же день приобрел самоучитель французского языка.

— Не можете ли вы мне сказать, как произносится это слово? — обратился Котовский к дочери хозяина, белокурой Ксении.

— А зачем вам французский язык? Вы меня удивляете.

— Как зачем? Я хочу научиться говорить по-французски.

— Но вам это совсем не нужно. Неужели вы думаете, что если научитесь говорить по-французски, то перестанете быть тем, кто вы есть, — управляющим?

— Кроме того что я управляющий, я еще и просто человек.

— Человек, конечно. Но не человек общества.

— Что же мне нужно знать, по-вашему?

— Вам нужно уметь слушаться и уметь угождать. А говорить по-французски — это не обязательно.

Ксения подумала, наморщив свой розовый хорошенький носик, и добавила:

— Обезьяну тоже можно приучить держать вилку... Но от этого она не перестанет быть обезьяной.

Больше Котовский не обращался к ней за помощью, но французский язык изучил, и необычайно быстро: у него вообще были способности к языкам. Уроки согласился давать ему француз парижанин месье Шер, преподаватель танцев. Шер хвалил его способности и говорил, что у Котовского лионский выговор.

2

В скучный дождливый день возвращался Котовский с поля. Ездил проверять, как идут осенние работы, вспашка зяби, подготовка к зиме. Уже появились утренники, и надо было спешить.

Котовский ехал, прислушиваясь к птичьему гомону и шелесту деревьев. Он приближался уже к имению, когда услышал позади конский топот, и мимо него прошел на рысях эскадрон.

«Куда это они? — подумал Котовский. — В такую-то погоду!»

Откуда ни возьмись — крестьянин, молодой, статный, смотрит на Котовского пристально. Верхом и, видать, прямиком ехал: к мокрым сапогам прилипли листья и трава.

— Что, — спрашивает, — не понимаешь, куда скачут? Скачут мужиков усмирять.

— Мужиков усмирять?

— Ну да. В Трифанешты. Помещик вытребовал.

Новый знакомый назвал себя Леонтием, и теперь Котовский вспомнил, что не раз видел его в соседней деревне.

— Понимаешь, какое дело, — рассказывал Леонтий, — Они по-хорошему хотели. Собрался народ с трех деревень, никак с полтысячи, встал перед господским домом и решил просить у барина помощи. Голодно уж больно, хлеба только до рождества хватает, и на заработки податься некуда. Никого мужички не трогали, никому входить или выходить из помещичьего дома не препятствовали. Просто стоят и ждут. Что у них — пистолеты какие? Разве что у дедов сучкастые палки имеются, с которыми они всегда ковыляют. А помещик испугался и сразу солдат вызвал.

— Как ты думаешь, будут стрелять?

— Тут у одного солдата лошадь захромала, поотстал, так я у него все выпросил. Приказано, говорит, острием шашки не рубать, а бить плашмя по чему попало. Боевых патронов им выдано на каждого по пятнадцать штук. Но стрелять велели только в воздух, над головами, и то по команде. У нас, говорит, не кое-как, у нас с народом вежливое обхождение.

— Поедем! — предложил Котовский.

— В Трифанешты? Да они и нас зарубят!

А сам уже и коня подхлестывает. Видно, что и сам устремляется туда.

Трифанешты, если лесочком проехать, — вот они, рукой подать. А эскадрон по дороге двигался. Поэтому Котовский и Леонтий в самый раз подоспели. Видят: у помещичьего дома толпа, а по деревне уже конные скачут. Толпе надо бы разбегаться, а она — непонятно почему — навстречу солдатам двинулась. Кавалеристы приняли это за дурной знак. Горнист сыграл атаку — и они понеслись на толпу карьером.

У Котовского кулаки сжались, на глаза навернулись слезы:

— Что же они, подлецы, делают? Ведь они и-народ потопчут. Нельзя этого допустить!

А те уже врезались. Крики, воли оттуда доносятся,

а «славное воинство» избивает шашками, топчет конями...

Леонтий еле удержал Котовского, тот уже готов был ринуться.

Толпа врассыпную! Конные преследуют бегущих, за-скакивают в крестьянские дворы, гоняются по огородам, выгонам и бьют, бьют с остервенением, с дикой злобой, благо можно бить безнаказанно и даже заслужить благодарность. Некоторые мужики, спасаясь, бросились в реку и стояли по пояс в воде, но их и оттуда выволакивали и тоже били.

— Это что же т-такое делается! — шептал Котовский. — И чего м-мы стоим? Ударим, для них это будет н-неожиданно... Эх, оружия нет. Открыть бы огонь! Ладно же! Пусть п-погуляют! Пусть потешатся! Это вперед наука, разве так н-надо бунтовать!

Леонтий взглянул на своего спутника. Котовский был бледен, весь дрожал.

— Тоже, — бормотал он, — бунтуются! С палками! Н-нет уж... если на то пошло...

В это время один кавалерист догнал возле ворот молодого парня и только замахнулся на него, как парень схватил очутившиеся под рукой вилы и всадил их в ногу солдата.

— Молодец, не растерялся, — проговорил Котовский, глядя на эту короткую схватку. — Хоть один осмелился дать отпор!

Лошадь шарахнулась в сторону. Кавалерист, рассвирепев, выхватил шашку и бил молодого парня по голове, по плечам до тех пор, пока парень не свалился на землю.

— Дорого ему стоило, — сказал Леонтий.

— Что ж. Война не обходится без жертв. А уж парня, если еще не убили, то, наверное, сгноят в остроге!

Между тем в деревне сгоняли народ на площадь. Подоспевший исправник собирался держать речь. Котовский и Леонтий подъехали ближе, чтобы было слышно.

— Эй, вы! — закричал исправник, искоса поглядывая на командира эскадрона и ища у него одобрения. — Бараньи головы! Тридцатая вера!

Кавалеристы, видя улыбку на лице командира, приняли это за команду, по их рядам прошел смешок: здо-

рово он честит, этот исправник! Хо-хо! И выдумает же такие названия!

— Бунтовать?! — кричал исправник, помахивая плеткой. — И старики туда же ударились?

Тут старики на колени бухнулись:

— Прости, батюшка... Нужда заела...

— Молчать! — рявкнул исправник и в наступившей тишине долго кричал на мужиков.

А тем временем побитых да потоптанных в сторону отволокли, кровь на дороге засыпали... И все приходило в порядок. Оставалось только написать донесение по инстанции — и крышка.

— Поедем, — предложил Котовский, — невыносимо на это смотреть...

Молча ехали, а пока ехали, много о чем передумали.

Наутро все население «Валя-Карбунэ» высыпало на дорогу посмотреть, как ведут арестованных.

— Это, наверно, самые главные, — рассуждал повар, в белоснежном колпаке, с засученными рукавами, с огромным ножом в руке, но очень добродушно настроенный.

— А по-моему, чего зря водить, — суетился приказчик, человек с бегаящими беспокойными глазами и носом, свидетельствующим о том, что его обладатель — большой любитель выпить. — Приканчивали бы здесь, на месте, вернее бы было.

— Изверги! Изверги! — приговаривала к каждому слову ключница Дарья Фоминична, неизвестно кого имея в виду, карателей или бунтовщиков.

— Ведут! — сообщили босоногие мальчишки, мчась по дороге и выбивая заскорузлыми пятками брызги.

Из-за поворота дороги показалось печальное шествие. Впереди ехал невыспавшийся, с зеленым, помятым лицом кавалерийский офицер. Он после экзекуции всю ночь напролет играл в карты в помещичьем доме, причем неизменно при сдаче прикладывался к рюмочке, и теперь чувствовал себя отвратительно. Кроме того, он не любил медленной езды.

— Тащись из-за них, как на похоронах! — ворчал он.

Однако, проезжая мимо усадьбы Скоповского, приосанился и даже прикрикнул на солдат для порядка службы.

Четырнадцать арестованных «зачинщиков» шли по дороге. Некоторые еле двигались после побоев. Парень, тот самый, что защищался вилами, шел с перебинтованной головой, со связанными за спиной руками.

Троих везли на подводе, и, кажется, со слабой надеждой довести живыми. Седой старик тоже сидел на телеге и непрерывно кашлял. Прокашлявшись, он говорил, как бы извиняясь, что производит такой шум:

— Скажи, пожалуйста! Все нутро отбили!..

Впереди, позади и с боков арестованных шагали спешенные кавалеристы. Они шли с шашками наголо и перепрыгивали через лужи.

Дальше следовал эскадрон. В Трифанештах оставили только взвод для наведения порядка.

Котовский встретил эту процессию в поле. Он долго смотрел вслед. Давно уже скрылся эскадрон, и затих цокот копыт, и не стало слышно команды офицера. А Котовский все стоял. Он хотел разобраться во всем сумбуре мыслей, которые нахлынули на него в эти дни. Он снял шапку перед этими четырнадцатью крестьянами, идущими на страдание. И все еще стоял так, с непокрытой головой, не замечая холодного порывистого ветра и водяной пыли, с утра падавшей на разбухшую, хлюпающую землю.

3

Если вначале Скоповский был доволен сильным, смышленным, распорядительным практикантом и даже назначил его управляющим, то в дальнейшем он все больше разочаровывался в нем.

То Скоповскому доносили, что управляющий по собственному усмотрению отпустил крестьянина с полевой работы только потому, что, видите ли, у того жена рождает. Подумаешь — телячьи нежности! И еще вывел этому бездельнику за полный рабочий день!

То разговоры какие-то неуместные. О бесправии, о бедственном положении крестьян, о безземелье. Иди да выдели мужикам десятин по пять, если такой богатый!

Вдруг Скоповский узнал, что новый управляющий читает какие-то книжки. Что за книжки? Откуда книжки? И зачем, спрашивается, управляющему читать?

Наконец, Скоповский совсем уже был взбешен, когда исправник Денис Матвеевич, направляясь в Трифанешты, мимоездом заглянул к нему и совершенно секретно сообщил, что его управляющий находится под негласным надзором полиции.

— Я давно вижу, какого полета эта птица! — негодовал Александр Станиславович. — Ладно же, отблагодарю я господина директора, что подсунул мне такое сокровище!

И вот, когда Котовский, вернувшись в имение, после того как мимо провели арестованных трифанештинских крестьян, стал с возмущением рассказывать об избииении беззащитной толпы войсковой частью, предназначенной, казалось бы, для защиты отечества, а не для того, чтобы расправляться со стариками, Скоповский не выдержал и решил поставить управляющего на место.

— Вот что, милейший, так дело не пойдет. Предупреждаю, что у меня не Трифанешты, да-алеко не Трифанешты! У меня не побунтуешь! А ваше поведение, давно хочу вам сказать, ни к черту не годится. Вы у меня совершенно распустили мужиков. Вы это кончайте. Довольно.

— Простите, я не совсем понимаю, что вы хотите сказать.

— Я вижу, вы вообще многого недопонимаете.

— Напротив, с каждым днем все больше начинаю разбираться.

— Что-о?

— Я говорю, что не я, а вы многого недопонимаете. Так обращаться с крестьянами, как вы себе позволяете, это сошло бы еще в прошлом веке. Не те времена, господин Скоповский! Не ошибитесь.

— Вы слышите? Он еще меня учит! А я сам и не собираюсь «обращаться с крестьянами», позвольте поставить вас в известность. Для этого занятия я нанял вас. И я именно хочу дать вам указания, чтобы вы перестали миндальничать. Пороть лодырей! Пороть смутьянов! Нечего на них глядеть!

— Попробуйте!

— Попробую!

— Добьетесь, что они вам красного петуха пустят.

— Подожгут? Это мы увидим. А пока вот вам три

фамилии. Я узнал, что они не являются на работы. Завтра же выпороть. Имейте в виду, я проверю.

— Пока я здесь, никто и пальцем не тронет мужиков.

— Ах, вот вы какой?!

— Да, я такой.

— Значит, правильно меня предупреждали! — Глаза Скоповского все больше округлялись, шея багровела, голос его превратился в пронзительный визг.

Из внутренних покоев выплыла мадам Скоповская, обеспокоенная криками. Она увидела разъяренного супруга. Скоповский кричал и хлестал себя по голенищу сапога стеком. Управляющий весьма дерзко отвечал, но о чем они спорили, понять было трудно.

Мадам Скоповская только было собралась вставить слово, попросить супруга не портить себе нервы, но в этот момент Скоповский завизжал:

— Крамольник! Это ты мужиков портишь! Я тебе покажу: «не имеете права!» Я тебя самого на конюшне выпорю!

И в полном исступлении Скоповский взмахнул стеком, мадам Скоповская ахнула... и на лице управляющего отпечаталась яркая полоса от удара.

— Александр!.. — простонала мадам.

У нее было мягкое сердце, и она не выносила подобных сцен. Она придерживалась либеральной точки зрения и считала, что надо мужиков не пороть, надо их сажать в тюрьмы.

Только что намеревалась она высказать свое мнение и посочувствовать управляющему, как в это мгновение произошло нечто совершенно бесподобное, трудно было даже поверить, что это действительно так и было.

Управляющий поднял ее супруга, так что тот успел только комически дрыгнуть ногами. Взмах — и Скоповский, как сказочная птица, мелькнув фалдами, вылетел в окно, высадив собственной тяжестью оконную раму, и исчез в образовавшемся отверстии.

Если бы она сама не видела этого, она ни за что не поверила бы, что живого человека можно вот так вышвырнуть, как какой-нибудь окурок или засохший букет цветов.

Скоповский благополучно пролетел по кривой от окна до земной поверхности и приземлился на клумбе с почерневшими от первых заморозков левкоями. Здесь он поднял крик, хромя и отряхивая с брюк свежую землю и раздавленные бутоны. Он кричал, что его убили, что он искалечен и что «он этого не терпит»...

Сбежалась дворня, и хотя Котовский отчаянно отбивался, слуги взяли численностью, навалились и били, стараясь своим усердием поправиться хозяину. Только значительно позднее кучер удосужился спросить:

— Что же он наделал, мазурик? За что мы его?

И, к полному удивлению мадам Скоповской, которая вообще медленно соображала, ее супруг крикнул:

— Мошенник! Он... это... он меня обокрал! Что?

Собственно, почему обокрал? Когда обокрал? Он что-то не то выговорил. Но не рассказывать же всем, как его, известного помещика и дворянина, вышвырнули в окно на левкой.

— Да, да! Деньги! Вяжите его!

И подумав немного:

— Точно! Семьсот рублей, вырученные за продажу свиней! Что?

— Шуренька, а как же ты говорил, что эти деньги...

— Молчи, коли бог ума не дал! Не лезь, куда не спрашивают. Раз говорю, украл — значит, украл! Доставить его, живого или мертвого, к Денису Матвеевичу, к исправнику! Что? Или еще лучше — связать и выбросить в поле, как мусор! Пускай подохнет! Небольшая потеря!

Садовник, который видел странный полет барина из окна, еле сдерживал улыбку. Впоследствии он рассказал о происшествии своему шуруну, шурии друзьям... И пошел гулять по свету забавный рассказ о помещике, вышвырнутом из окна собственного дома.

Пока Котовского связывали по рукам и ногам, выполняя приказ барина, пока волокли к телеге, все продолжали бить. Подскочил Скоповский:

— Пустите, я сам!

И тоже ударил связанного. Вошел во вкус и стал наносить удары.

Когда Котовский очнулся, его тащили с телеги. Где-

то далеко видны были огни. Небо было звездное. Подернутая инеем земля блестела голубыми искрами.

— Что же ты делаешь? — сказал Котовский приказчику, который распоряжался, покрикивая: «Тяни, берись за ногу!» — Ведь я замерзну в одном белье! Развяжи меня!

— Нельзя, — ответил приказчик, — барин приказал бросить связанного. Мне-то что, но раз приказано — значит, и говорить нечего.

— Эх ты! Холуй!.. — пробормотал Котовский.

Он окончательно очнулся. Чувствовал, как холод пронизывает тело. Погромыхивала, удаляясь, телега. Они о чем-то разговаривали — приказчик и кучер — спокойно, как будто возвращались с базара...

— Н-но-о! — мирно понукал кучер.

Потом стало совсем тихо.

«Долго не выдержать», — подумал Котовский.

Попробовал освободить руки — веревка больно врезалась. У приказчика был большой опыт: ведь он постоянно завязывал и упаковывал тюки.

«Нужно двигаться, самое главное, — приказал себе Котовский, — тогда я согреюсь».

До рассвета было еще далеко. Трудно надеяться, что кто-нибудь проедет мимо. Степь молчала. И только далеко где-то настойчиво кричал, видимо у семафора, паровоз.

Сколько прошло времени? Два часа? Или четыре? По-видимому, Котовский опять терял сознание.

И вдруг он услышал громкий голос:

— Вот он где! Всю степь обшарил! Говорят, бросили возле станции, а где возле станции? Небось руки-то занемели?

Это был Леонтий. Вот она — дружба!

Развязал. Синюю домотканую куртку на плечи накинул.

— Ну, дорогой, теперь тебе тикать надо отсюда. В город отправляйся. Скоповский — серьезный господин, он очень просто и пристрелить может, если увидит.

— Пристрелить — это положим...

— Почему бы нет? Скажет: потраву делал, лес пришел рубить. У них ведь как? Судьи свои, полиция своя. За нас только один бог...

Леонтий подумал и, хитро подмигнув, добавил:

— А может быть, и бог-то... тово... тоже в ихней компании? Тоже переметнулся?

Он покрутил головой:

— Пожалуй, так оно и есть. Одна шайка-лейка.

Было отвратительное, промозглое утро, а тротуары скользки и липки, когда Котовский добрался наконец до Кишинева и зашагал по хмурой, заспанной улице.

Тело ныло. Была тупая боль в груди и пояснице.

«Должно быть, помещик Скоповский знает анатомию, — думал Котовский с некоторой досадой, — он бил по самым чувствительным местам, не так, как другие».

По улицам шли женщины с сумками, с корзинами, направляясь вниз по Армянской улице, очевидно, на рынок. Сейчас они купят какой-нибудь провизии, вернутся домой и приготовят завтрак...

Котовский при мысли о еде почувствовал, что очень голоден. А судя по тому, как от него шарахались прохожие, понял, что вид у него ужасный.

Он шел, но, собственно, и сам не знал, куда направлялся. Одно он твердо решил: в Ганчешты не поедет. Обе сестры вышли замуж. Зачем им портить семейную жизнь?

Котовский шагал по мокрым тротуарам и перебирал в памяти людей, которых в этом городе знал. Он не раз приезжал с поручениями из имения. Но все те, с кем он имел дело по продаже сена или покупке инвентаря, не приняли бы его.

И вдруг вспомнил: переплетчик Иван Маркелов, которому он давал переплести конторские книги! И живет рядом, около рынка, и человек простой, наверное, приютит на первое время.

Быстро миновал Котовский богатую часть города, где пестрели занавесками и комнатными цветами на окнах кирпичные одноэтажные дома. Начищенные медные дощечки на парадной двери извещали, кто проживает в доме: присяжный ли поверенный Зац, или купец Аввакумов, или зубной врач Любомырский...

Вот и кончились эти богатые кварталы, а дальше вдоль улицы пошли лепиться глиняные хибарки, вросшие в землю, с грязными дворами, с незакрывающимися калитками. Вот и дом № 48, кажется, самый неказистый в этом скопище убогих домишек.

Котовский постучал. Открыла ему бледная, в лице ни кровинки, женщина, безучастно посмотрела, спросила:

— Вам что, наверное, Ивана Павловича? Он спит.

Но Иван Павлович, переплетчик, сразу же проснулся, узнал Котовского, спросил, не заказ ли он принес, и сказал разочарованно:

— Значит, заказа не принес? А то я как раз свободен... Мы, брат, бастуем. Третий день.

— И голодаем столько же, — добавила жена Ивана Павловича.

Тут Иван Павлович встал и, оглядывая Котовского с ног до головы, нахмурился:

— Да ты, кажется сам-то тово... на новом положении?

Котовский рассказал, как он расстался со Скоповским, как чуть не замерз, связанный и избитый, в степи, как спас его от смерти один хороший человек.

— Понятно, — в раздумье произнес Иван Павлович. — А я спросонок ничего не разобрал и к тебе с заказом...

— Ну, и как же вы бастуете? — спросил Котовский. Он не любил распространяться о своих бедах и вообще не любил долго говорить о себе.

— В Кишиневе восемь переплетных мастерских, — рассказывал Иван Павлович, усадив за стол пришельца, — в них работают двадцать шесть взрослых и четырнадцать мальчиков. Работаем по восемнадцать часов в сутки, а получаем по двенадцать рублей в месяц — никак не прожить. Вот мы и надумали бастовать. Сейчас время горячее, подоспели заказы, может быть, чего добьемся.

— А чего вы добиваетесь?

— Чтобы работать по-человечески, ну хотя бы двенадцать часов в сутки, и чтобы повысили заработок. А что голодаем третьи сутки — это она выдумывает, нам ведь немного-то комитет помогает.

— Комитет?

— Ну да, социал-демократы... Ты, Раиса, расшевели самоварчик-благоварчик, хоть чаем гостя побалуем, вот только хлеба-то у нас нет... Ты что же, к себе в Ганчешты поедешь?

— Нет, в Ганчештах делать мне нечего. Как-нибудь здесь.

Маркелов помолчал, подумал, несколько раз произнес: «Так-так-так... Так-так-так...» — затем засуетился, пробормотал: «Ты ничего, сиди, сиди тут, я в минуту!» Выскочил в дверь, нахлобучив на голову старенький картузишко, и вскоре появился с хлебом: купил на рынке, и мало того — принес еще и кусок колбасы.

Котовский старался не смотреть на эти соблазнительные предметы, которые хозяин дома положил на тарелки и стал резать на куски.

— Вот какие дела, — продолжал Маркелов, — шорники тоже бастуют, а завтра не выйдут на работу токаря. Да вот почитай, тут все написано. Раиса, как у тебя там самовар? Шуруй, шуруй его!

Иван Павлович извлек из-под рубахи аккуратно завернутую в переплетную бумагу газету.

— «Искра», — прочитал он и гордо добавил: — Здесь, в Кишиневе, напечатана! Ленинская!

Но быстро спрятал газету обратно, потому что кто-то шаркал у двери ногами.

Вошел мужчина в ситцевой в горошинку рубашке, с небольшой русой бородкой, росшей почему-то немного вбок. Он был в очень возбужденном состоянии. Покопсился на Котовского, как бы взвешивая, опасаться ли постороннего человека, и, не сказав даже «здравствуйте», закричал:

— Продали! Продали нас, собаки!

— Садись, Василий, да говори толком. Какая польза от крику? Кто продал? И если продал — почему?

— Хозяин продал. Идельман. Набрал к себе новых рабочих. «А вы, говорит, бунтовщики-забастовщики, можете убираться на все четыре стороны, вы мне не нужны».

— Как не нужны?

— Очень просто.

— Здорово!

Иван Павлович как нарезал хлеб, так и сел с ножом в руках на табурет, сел и молчит, ошеломило его известие. Молчит и оглядывается на жену: слышала или не слышала? Зачем раньше времени ее огорчать?

— Ты тут питайся, — сказал Маркелов гостю. — Ешь все, ничего не оставляй. Чай пей. Сахару у нас нет, но ничего, можно и без сахара. И ночевать оставайся, место найдется. Пошли, Василий. Надо немедленно в стачечный

комитет. Не нужны! Как это так не нужны? Как это так на все четыре стороны?

Котовский совестился есть. Люди сами голодают, а впереди их ждут еще более горькие дни. Жена Маркелова приготовила чай, поставила на стол чашку.

— Кушайте, — сказала она.

Голос у нее был отсутствующий. Говорила, а сама не думала, что говорит.

— Давайте вместе, хозяйюшка, перекусим... Что ж я один?

— Я после, обо мне не беспокойся, батюшка.

Котовский поел немного. Выпил чашку горячего чая. Чай был не то морковный, не то фруктовый. Котовский никогда не пробовал такого, но чай понравился.

— С таким чаем никакого сахара не надо, — сказал он, прихлебывая с блюдечка.

Женщина ничего не ответила. Она сидела на лавке, опустив костлявые, жилистые руки. Она смотрела в окно.

Начались мытарства, поиски работы, поиски пищи. Иной раз удавалось найти случайный заработок. Котовский не отказывался ни от какой работы. Заработав, покупал хлеб, мясо и нес это к Маркеловым.

Маркелов все еще не мог найти работу. Бедствовали они ужасно. Проданы были все вещи, какие только можно было продать. Один раз Раиса получила заработок: ей дали в стирку белье. В другой раз оба — Маркелов и Котовский — работали два дня на железной дороге, грузили шлак.

И вдруг пришла удача: встретил на улице Кишинева старую знакомую — ганчештинскую учительницу, которая учила когда-то Котовского играть на гитаре. Она расспросила Котовского обо всем, слушала, покачивала сокрушенно головой:

— Нет чтобы к старым друзьям заглянуть... Постойте, кажется, я смогу вам помочь...

И действительно помогла: порекомендовала своего ученика помещику Семиградову.

Семиградов, маленький, круглый, с животиком, веселый, с мясистым подбородком, сочными губами и смею-

щимися глазками, встретил Котовского хорошо. Да, да, ему нужен опытный садовник. Они быстро договорились об условиях.

— Я очень люблю розы, — говорил Семиградов, — пожалуйста, сделайте так, чтобы в комнатах всегда были букеты роз.

Была весна. Все зеленело, все расцветало, все набирало цвет. Белые акации наполняли воздух сладким, медовым благоуханием. Котовский с увлечением возился на клумбах, поливал, подрезал, пересаживал розы, ремонтировал парники.

В первую же получку он отнес половину заработка переплетчику. Тот долго отказывался, но все-таки взял.

Когда Котовский вернулся от него и, сняв пиджак, взялся за лейку, он обратил внимание на какое-то шуршание в кармане.

«Уж не положил ли Иван Павлович деньги обратно?»

Но это оказалась листовка. Котовский пошел в самую отдаленную аллею сада и там прочитал:

«Тяжела наша доля, невыносима жизнь. Слабыми, хилыми детьми вошли мы в мастерские, с малых лет взвалили на наши плечи тяжелую ношу непрерывного труда. Душная мастерская, изнурительная работа с утра до ночи, нищенская заработная плата, грубые оскорбления хозяев, вонючий угол, тяжкие муки и постоянные страдания — такова ужасная картина нашей жизни...»

Григорий Иванович еще раз прочел небольшой листок, напечатанный на газетной бумаге.

«Тут еще не все сказано, — подумал он. — Написать бы, как обращается Скоповский со своими батраками или как избивали они всей лакейской сворой связанного, беспомощного человека, виновного только в том, что не пресмыкается перед барином и жалеет бедняков».

Он стоял среди густых высоких кустов, скрывавших его от всего мира, и думал о судьбах человечества: «Неужели никогда не настанет такое время, чтобы не было голодных, чтобы всем хватало работы и еды?»

Сад благоухал. Цвели розы — темно-красные, нежно-розовые, белые, чайные — самых разнообразных оттенков. Как бы хорошо и нарядно мог жить человек!

Совсем рядом с аллеей сада, за сквозной проволочной сеткой, находился просторный помещичий двор, с амбарами, погребами, конюшнями, со столбом гигант-

ских шагов и качелями посредине. До слуха Котовского донеслось тарахтение пролетки. Кто-то приехал.

«Опять будут всю ночь играть в карты», — подумал Котовский и тут же вспомнил, что жара уже спала и можно начинать поливку газонов, клумб и парников.

— А! Гость дорогой! Милости просим! — услышал Котовский голос Семиградова.

И в ответ — голос приезжего, показавшийся Котовскому знакомым.

Котовский не ошибся. Это приехал Скоповский. Садовник решил, что лучше не показываться ему на глаза.

Медленно угасал день. Вот засветились окна в помещицьем доме. Там накрывали ужин. На столе среди бутылок и графинов, среди судков с соусами и всевозможных закусок стояли огромные букеты роз.

— Не могу пожаловаться, — тараторил без умолку Семиградов, — новый садовник попался мне толковый. И даже, кажется, не пьет! Можете себе представить?

— А я опять без управляющего, — пожаловался Скоповский, — выгнал этого Котовского: оказывается, политикан, состоит под надзором полиции...

— Позвольте... как вы сказали? Котовский? Так он ко мне и поступил на работу.

— Что-о? К вам? На работу? Гоните его в шею, пока он не испортил вам всю прислугу!

— Скажите на милость! А такой приличный на вид. И толк в садоводстве понимает...

— Гоните! И не откладывайте! Завтра же вон! Эта публика на все способна.

— Конечно, выгоню. Спасибо, что предупредили. Разрешите муската? Преотличнейший!

И снова Котовский оказался на улице. Правда, на этот раз его не избили, не бросили связанного на дороге, и у него была небольшая сумма, на которую он мог некоторое время перебиваться.

Опять пришел он к Ивану Павловичу. Там встретили его как родного, даже у Райсы появилось подобие улыбки.

— Выгнали? Чего же удивляться? Это в порядке вещей. А я вновь переплетчиком поступаю. Повезло. Мало нас, а то бы мы им показали! Какая у нас тут

промышленность? В мастерских по десять — пятнадцать человек. Ничего, Григорий! Правда ведь, ничего?

— Не ничего, а будет правда! Должна она быть! Пусть они нас хоть на кусочки полосуют, будем стоять на своем. За правду-то и мучения переносить радостно.

— Ого! Как он заговорил! Садись-ка за стол, Раиса сегодня еду какую-то приготовила.

Иван Павлович наклонился ближе и скороговоркой сообщил:

— Сегодня ночью полиция в тайную типографию ворвалась... Все арестованы... Добрались, собаки! Говорят, возами возили литературу. Бумаги-то мы им поставляли достаточно...

«Хорошо переносить безработицу в летнее время, — думал Котовский, блуждая по Кишиневу в поисках хоть какого-нибудь заработка. — В летнее время на одних фруктах просуществовать можно».

Иногда удавалось ему помогать снимать урожай яблок. Веселая, приятная работа! И уж в эти-то дни он был сыт по горло.

А потом начался «месяц ковша», как называют молдаване октябрь за то, что в этот месяц виноградного вина много и пьют его, черпая ковшом.

Кончился «месяц ковша». Все чаще стали перепадать дожди.

5

В один из пасмурных дней Котовского остановили на улице:

— Ваши документы.

Котовский понял, что за ним следили. Непонятно было только, за что сажали его в тюрьму. Кажется, и сами тюремщики этого не понимали.

Российские тюрьмы неприглядны. Облезлые фасады наводят тоску. Полосатые будки, толстые стены, покрытые лишаями сырости, грязные дворы и зловонные камеры... И словно выставленные на позор, на поругание — часовые по углам, в неказистых вышках. Особенно омерзительны пересыльные тюрьмы, и трудно сказать, которая хуже: питерские ли «Кресты» с их железными галереями и металлическими сетками в пролетах лестниц, чтобы нельзя было броситься вниз и покончить само-

убийством, или захудалая вологодская, или иркутская тюрьма, с грязными, залежанными нарами...

Не таким казалось это учреждение в Кишиневе. Построенное в мавританском стиле, оно походило издали на волшебный замок, с его зубчатыми башнями, круглыми цитаделями.

Так могло казаться издали. А на самом деле Кишиневская тюрьма ничем не отличалась от других. Об этом хорошо знали ее обитатели. Узнал и Котовский.

В ней были такие же сырые, с тяжелым, затхлым воздухом камеры, такие же гулкие коридоры, по которым бродили тюремные надзиратели с массивными связками ключей.

Когда человек оказывается в тюрьме невинно, не совершив ни убийств, ни ограблений, то сам становится судьей своих тюремщиков. Он внимательно и строго рассматривает их, вооруженных, но имеющих дело с безоружными, привычных к созерцанию страданий, но с годами теряющих душевный покой, надевающих на людей кандалы, но и прикованных по долгу службы к этим ржавым решеткам на всю свою беспросветную опоганенную жизнь.

В тюрьме Котовский познакомился со странной породой людей. Это были те, кто в газетах именуется «подонки общества». Страшные физиономии увидел Котовский: холодные, гадючьи глаза; лица, измотанные морфием, или, на воровском жаргоне, «марфушей».

Тут был знаменитый Володя Солнышко, который еще никому не проиграл ни одной партии в карты — в стос, в буру. Игравшие с ним в карты (и, разумеется, проигравшиеся до нитки) с гордостью рассказывали: «Я играл с самим Володей Солнышко». Уже одно это могло поднять авторитет.

Его побаивались даже тюремщики. Кое-кто получал от него «лапу». А вообще каждый мог получить удар ножом. Володя Солнышко не промахивался и бил прямо в сердце.

Проигравшие с себя все до нитки сидели тут же, голые, озябшие, синие и с завистью поглядывали на игроков. Карты были самодельные и не совсем похожие на обычные. Их печатали вырезанными ножом трафаретами, и очень быстро. Но не дай бог сделать ставку, проиграть — и не уплатить! Такие назывались «заигранными». По во-

ровскому закону им полагалась смерть. Был один выход — поставить на кон голову начальника тюрьмы или корпусного надзирателя.

Из-за этого в тюрьме преследовались карты. Вот уже в который раз, проследив в глазок, что игра идет полным ходом, надзиратели врывались в камеру и производили поголовный «шмон», то есть обыск среди арестантов. Колода карт исчезала бесследно.

Наконец вызван был специалист по обыскам Каин, про которого говорили, что он найдет даже то, чего не было. Он был косолап, ходил как-то боком, был изъеден оспой, пропитан спиртом, как какой-нибудь музейный препарат.

— Ого-го! Каин пришел! — встретили его уголовники. — Ну, теперь будет дело!

Однако и Каин ничего не нашел. Как будто и спрятать карты негде... И камера-то небольшая, с голыми каменными стенами... И вещей немного у арестантской братии...

Явился сам начальник тюрьмы, тучный, с одышкой. Сонными глазами смотрел на арестантов и о чем-то думал.

Каин еще раз обшарил все углы, заставил всех открывать рот, раздел наголо. Карт не обнаружили.

— Вот что, деточки, — сказал начальник тюрьмы, — ваша взяла, всё, молодчики. И я обещаю больше не беспокоить вас, только раскройте мне секрет, где же вы их, черт вас возьми, прячете!

Воры посовещались, заставили начальника тюрьмы повторить свое заверение, что даст им безнаказанно играть в карты, и затем объяснили:

— Когда входят надзиратели в камеру, мы сразу же суем карты самому корпусному в карман. А когда кончается обыск, мы забираем карты обратно. Вот и вся хитрость. Ничего мудреного.

И снова арестанты играли в карты, ссорились, пели воровские песни. В песнях прославлялись худые дела, на жаргоне упоминались какие-то «гамзы», «марухи» и звучала тюремная тоска:

Дорога дальняя... Тюрьма центральная...
И мы конвойными окружены...
Опять по пятницам пойдут свидания
И слезы горькие моей жены!..

Котовский оказался в компании «изящных» воров, неразговорчивых убийц и отпетой шпаны, презиравшей себя, бога и человечество.

В женской камере молоденькая воровка Женька показывала свое воровское искусство. Она предлагала желающим положить возле себя любой предмет, что не жалко. Вся камера следила за каждым ее движением. Глаз не спускали. Женька проходила мимо — и выложенный на самом виду, оберегаемый всеми присутствующими предмет — рублевка, или кусок мыла, или носовой платок — бесследно исчезал. Как она это делала — уму непостижимо. Женьку хвалили, восхищались ее ловкостью и проворством:

— Это я понимаю! Чистая работа!

Быть ловким, уметь отнять у другого... Об этом мечтали с одинаковым упорством и воровка Женька и помещик Скоповский. Только у каждого были свои приемы.

«Стыдно жить, — думал Котовский, — пока Женька вызывает восторг, а Скоповский — всеобщее уважение».

Однажды во время прогулки Котовского окликнул незнакомый человек, пожилой, в очках, с остренькой светлорусой бородкой:

— Коллега! Вы за что сидите?

— На этот раз ни за что, — ответил Котовский, — но в следующий раз посадят за дело.

Незнакомец назвал себя просто товарищем Андреем. Оказывается, он человек бывалый, много раз попадал в тюрьмы, саживал и в Таганке, в Москве, и в Иркутске, в Александровском центральном, и в Питере, на Шпалерке, и где только не сидел он за свою жизнь! Даже в Парижской тюрьме молчания!

— Я работал в подпольной типографии, — сообщил товарищ Андрей.

— Слыхал! — ответил Котовский и весело добавил: — Кажется, чуть ли не семнадцать пудов литературы полиция вывезла?

Котовский знал от Ивана Павловича, что в Кишиневе была подпольная типография ленинской газеты «Искра». Типография помещалась в маленьком домике, на углу Армянской и Подольской улиц. Знал Котовский и некоторые подробности разгрома типографии.

— Когда полиция нас накрыла, — рассказывал новый знакомый Котовского, — мы печатали статью Ленина.

Статья эта полиции явно пришлась не по вкусу. А я нахожу, что это была превосходная статья!

Месяц продержали Котовского в тюрьме.

Прокурор, к которому поступило дело арестованного Котовского, тонко улыбаясь, сказал:

— Дела тут явно никакого. Но и не посадить голубчика было бы просто неудобно. Донос подписан такими почтенными лицами, нельзя было бы не уважить их просьбы. Сам господин Скоповский дает пространное описание преступной деятельности его бывшего управляющего, а на поверку выходит, что тот жалел мужиков! Жалеть по нашим законам не возбраняется, даже в Евангелии написано... гм... да. И Семиградов тоже подписал этот донос. Вы знаете, сколько лежит в банке у Семиградова? А от этого проходимца не убудет, если месяц просидел на казенных харчах. Даже правоучительно. Ну, а теперь напишите распоряжение, чтобы его выпустили. Можно сформулировать так: «Ввиду отсутствия состава преступления...» Что? Вы думаете: слишком? Хорошо. Тогда мы напишем так: «Ввиду того, что мотивы обвинения не подтвердились...»

Котовского выпустили. Одновременно с ним покидала здание тюрьмы воровка Женька, она — «за недоказанностью преступления».

— А ты что? — спросила она Котовского, когда они вышли за тюремные ворота. — В отрицаловку шел? Молодчик! Самое главное — характер! Факт!

6

Котовский побывал в Ганчештах, но дом свой родной сторонкой обошел. Не нравился ему муж Софьи, манукбеевский прихвостень, и не хотел нарушать их покоя. А к учительнице Анне Андреевне заглянул.

— Можете меня ругать: у Семиградова я больше не работаю.

— Что так? Характерами не сошлись?

Котовский рассказал о приезде Скоповского, о том, что находится под надзором полиции, и вполне естественно, что ему везде будет трудно удержаться. Рассказал, что его месяц продержали в тюрьме.

— Ну так вот, — выслушав его, тоном, не терпящим возражения, заявила Анна Андреевна, — прежде всего,

вам нужно дать денег. Много не могу, а вот вам на первое время... Не возьмете — на всю жизнь обидите, покажете, что вы мелкий и самолюбивый человек. Это во-первых. Во-вторых, все равно подыщем вам работу. Вы с мужем сестры вашей, Софьи Ивановны, как? Ах, никак? Вполне вас понимаю. Значит, этот вариант отпадает, он мог бы вас устроить на работу, но не надо. В таком случае, я поговорю в лесничестве, не требуется ли им какой-нибудь работник. Ну вот. А теперь деловая часть закончена. Пироги с яблоками любите? Но сначала будет борщ по-украински!

— Анна Андреевна! Вы просто чародей! Вы — настоящая контора по устройству безработных. Представьте, меня приняли лесным объездчиком в селе Молешты. Работой я очень доволен и бесконечно благодарен вам за хлопоты.

Это сообщил Котовский своей бывшей учительнице в скором времени, заехав к ней уже верхом на коне и даже привезя ей в подарок живого зайчонка, которого поймал прямо руками, найдя его в колее дороги.

Анна Андреевна шумно радовалась удаче, уверяла, что «это — карьера», что в лесу работать приятно и полезно для здоровья.

Они сидели перед открытыми окнами. Было время самой широкой распутицы. Грязь стояла невылазная. Посреди дороги еще можно было с грехом пополам проехать, а по обочинам, в глубоких канавах, либо стояла зеленая вода, либо с грохотом и ревом неслись мутные потоки.

— Смотрите! — воскликнул Григорий Иванович. — Неужели это дядька Антон?

— Теперь уже не дядька, а дедка. Старый он стал.

— И надо же ему непременно в такую грязь с возом тащиться! — досадовал Григорий Иванович.

Кляча деда Антона тянула воз, а сам дед шагал рядом, то и дело проваливаясь и непременно понукая свою кобылу.

Вдруг, откуда ни возмись, вымахнула навстречу пара сытых рысаков — серых в яблоках. Котовский так и ахнул. Ярko, отчетливо вспомнил детство.

— Как? — вскрикнул он. — Разве Манук-бей вернулся?

— Нет, Манук-бей не вернулся. Это лошади ганчештинского купца Гершковича.

Серые кони в яблоках мчали прямо на клячонку деда Антона. Кучер крикнул:

— Э-гей!

Дед Антон засуетился, зачмокал, свернул в канаву. Воз накренился и свалился в воду, а серые кони промчались мимо, и кучер так, для забавы, вытянул кнутом вдоль костлявого хребта Антоновой клячи. Сидевший в коляске купец Гершкович затрясся от сытого утробного смеха, явно довольный этой проделкой лихого кучера.

Вся сцена, запомнившаяся с детских лет, повторилась в точности. Котовский выскочил из-за стола, выбежал на улицу, помог деду Антону вытащить воз из канавы и собрать рассыпавшиеся жерди.

Когда он вернулся, Анна Андреевна посмотрела на него, ласково улыбаясь:

— Это хорошо, что вы добрый. Обязательно надо жалеть людей. А чай у вас остыл, давайте я налью новый.

Анна Андреевна рассказала, как Гершкович сначала открыл мелочную лавочку, в которой продавалось подсолнечное масло, керосин, свечи и пряники. Попутно он покупал у разорившихся крестьян то лошаденку, то овцу... Какие-то темные дела обделывал... Говорят, скупал краденое, хранил контрабанду... А потом вдруг открыл второй такой же магазин в городе, потом купил два дома...

— Сейчас у нас в Ганчештах два богатея: он да главный управляющий винокуренного завода князя Манук-бея Артем Назаров. Тоже паук. И как они ловко свои дела обстряпывают! Диву даешься!

До самого вечера просидел у Анны Андреевны Котовский и все спрашивал:

— Я вас не стесняю? Вам не будет неприятностей, что принимаете у себя п-подозрительную личность? Как-никак, а сидел в тюрьме!

Анна Андреевна махала на него руками и обижалась, что он спрашивает ее о таких вещах.

Вечером Котовский попросил:

— Тут недалеко... вы не пойдете, не спросите Софью... Может быть, она захочет меня повидать, так пусть придет сюда... Как жаль, что Елена уехала — вот душа-человек, очень мы с ней дружили. Софья — та из другого теста

сделана, а все-таки хочется словечком с ней перекинуться...

— Да, да, конечно! — всполошилась Анна Андреевна. Софья прибежала. Запыхалась, сразу метнулась к брату, обняла и заплакала.

«Значит, знает, — подумал Котовский, — и о тюрьме, и обо всех моих мытарствах. Наверное, Анна Андреевна посвящает».

— Похудел-то как! — первое, что проговорила Софья.

— Да и ты что-то не полнеешь, — отшучивался Григорий Иванович. — Я думал: вот такая помещица стала!

— А! Что обо мне говорить! Ну, Анна Андреевна сообщила мне, что сейчас у тебя хорошее место. Держись уж за него. Дай-то бог, чтобы все устроилось.

— Елена пишет?

— Как уехала — словно в омут канула. Ни звука.

Больше ни о чем таком семейном не говорили. Немножко стесняло присутствие хоть и хорошего, сердечного, но все-таки постороннего человека. Уселись за стол (в комнатке больше нигде было садиться) и стали перебирать ганчештинские новости. Григория Ивановича все интересовало. Он всех здесь знал и помнил.

— Ой! — вскочила вдруг Софья. — Мне еще ужин готовить, сейчас мой-то вернется с работы...

Они попрощались. Анна Андреевна их провожала, стоя на крыльце. И затем каждый направился в свою сторону. Софья стала осторожно пробираться по лужам, а Котовский исчез в сумерках — только слышно было некоторое время, как хлюпал по грязи его конь.

Котовский разъезжал по лесам и оврагам своего участка. Ночевал, где застанет ночь: или на сеновале, или даже в лесу. Загорел, поздоровел. Все лето прошло в этом счастливом отдыхе.

А затем, как и следовало ожидать, лесничий несколько смущенно заявил Котовскому, что больше в его услугах не нуждается. Он извинялся, оправдывался, наконец его честная натура не выдержала, и он сказал откровенно, что ему дали понять: лесной объездчик Котовский нежелателен.

— В чем там у вас дело, я не знаю, — сказал лесничий, — я далек от всякой политики... У меня семья... ну и приходится, знаете ли, считаться...

Жизнь готовила Котовскому новые испытания.

Скоповский опять строчил донос. Велика была злоба этого человека! Он задался целью во что бы то ни стало сгноить в тюрьме бывшего своего управляющего. Каких только небылиц не выдумывали они вместе с Семигравым, усевшись вдвоем над листком бумаги!

Скоповского подогревала распространившаяся по всему городу история с этим злосчастным окном. Пустил этот слух садовник, случайно наблюдавший полет. А в городе, изнывавшем от скуки, шутники придумали массу забавных подробностей. Некоторые говорили, что Скоповский, выброшенный управляющим в окно, летел вниз головой, воткнулся в мягкую землю по плечи и его пришлось — понимаете? — выдергивать, как редьку из гряды! Другие уверяли, что никакого управляющего вообще не было, а была разъяренная супруга, и Скоповский сам выбросился в окно и попал не то в куст шиповника, не то просто в крапиву...

Скоповскому нельзя было появиться в обществе. Сразу на него показывали глазами: «Тот самый помещик», — и начинались перешептывания да смешки.

Скоповский и Семиграв ездил в жандармское управление, лично нанесли визит бассарабскому губернатору Харузину. И двадцать второго ноября 1903 года Котовский опять очутился в тюремной камере.

Снова загремели тюремные ворота, снова гулко прозвучали в темных тюремных коридорах тяжелые шаги, затем распахнулась дверь в камеру и снова за ним захлопнулась. В подслеповатое окошечко, прочно загороженное толстыми железными прутьями, почти не проникал свет. Затхлый воздух был неподвижен. Да, все здесь было устроено с таким расчетом, чтобы тот, кто попал сюда, медленно чахнул и гнил.

Но Котовский совсем не собирался чахнуть. Нет, он еще только начинает по-настоящему жить. Все, что прожито до сих пор, — подготовка. И ведь он не выполнил обещания! Еще в прошлом году, находясь в тюрьме, он сказал одному человеку, что следующий раз будет сидеть в тюрьме за дело. Где же это дело? Что может делать он, Котовский?

Котовский лежал на нарах и обстоятельно разрабатывал план действий. Он посвятит всю свою жизнь борьбе с богачами, помещиками, правителями — со всеми, кто мучит и терзает бедняков.

Эти мысли были бесформенны, Котовский шел на ощупь, полагаясь на свое чутье, на свои побуждения и чувства. Он только осознал, что навсегда связывает судьбу с обездоленными. Он только понял, что будет бороться всеми средствами со сворой сытых, самодовольных, облеченных властью, со Скоповским и Семиградовым, с тем хозяйчиком, который выбросил на улицу Ивана Павловича, с купцом Гершковичем и всеми другими пауками-кровососами.

В этих мыслях незаметно прошло время. Как и в прошлый раз, Котовского вскоре выпустили.

Совершенно случайно, блуждая по городу, Котовский увидел приказ о мобилизации, наклеенный на заборе. Котовский вдруг остановился на цифре «1881»... Тысяча восемьсот восемьдесят один! Это и есть его год рождения! Значит, отсидев два раза в тюрьме, вдоволь наголодавшись и настрадавшись, — теперь он должен пойти защищать ненавистных ему правителей и проливать за них кровь в русско-японской войне? Не будет этого!

На следующий день Котовский приобрел на толкучке документы. Ну вот. Теперь у него другая фамилия и согласно документам непризывной возраст.

Через два дня в Киеве по Крещатику шагал плотный, рослый человек, по документам — Михаил Тарутин.

В Киеве было неспокойно. Всюду было много полицейских, с бляхой, с шашкой, которую в народе звали «селедкой», и с угрожающе громоздкой кобурой. Они расхаживали взад и вперед, в белых перчатках, усатые, вежливые... Для устрашения публики по улицам проезжали казаки. Женщины визжали, прохожие шарахались на тротуары.

Но вот появилась вдали и медленно проследовала к центру рабочая демонстрация. «Долой самодержавие!» — прочел Котовский-Тарутин на красном полотнище. Полиция куда-то исчезла. Рабочие шли посреди улицы. Кто-то запел «Варшавянку». Другие подхватили. В окнах домов мелькали испуганные лица обывателей.

Ночевал Котовский в ночлежке, с утра ходил в поисках работы, но всюду ему отвечали: «Своих-то увольняем».

Каждый день у него проверяли документы. Правительство то объявляло о решительных мерах, то отменяло их. Начались аресты.

Котовский ездил в Харьков, но и в Харькове была та же обстановка. Всюду волнения, всюду стачки...

Все явственней, все ощутительней испытывал Котовский тоску по родным местам. И хотя отлично понимал безрассудство поступка, все же не выдержал — вернулся в Бессарабию.

Кишинев после Киева и Харькова показался маленьким, грязным, приземистым. Но как вдохнул этот воздух, как глянул на свое родное небо — так стало радостно на душе!

Но не долго он погулял. В январе 1905 года Котовского арестовал пристав. Пришлось назвать свою настоящую фамилию.

Пристава не интересовали убеждения, взгляды. Он исправно нес службу и полагал основой своей деятельности неукоснительность. Он послал донесение по инстанции. Потом послал извещение о получении разъяснения и разъяснение по поводу извещения.

А Котовский тем временем находился в кутузке, при полиции. Кутузка, по-видимому, никогда не проветривалась, никогда не подметалась, в ее стенах были гнезда клопов, нары были отполированы боками часто сменявшихся здесь обитателей. Котовский разглядывал и этот клоповник, и тупые лица полицейских, и накуренную до невозможности дежурку. Все это сливалось в его представлении в одно слово, крупно выписанное на красном полотнище демонстрантов в Киеве: «Самодержавие». Вот оно — затхлое, тупое, клопиное. Оно и есть то, что следует ненавидеть.

После длительной переписки Котовского отправили в 19-й Костромской пехотный полк, в Житомир. Здесь он встретил замуштрованных мужичков, которые с перепугу забывали, где правая нога, где левая, на городской площади с разбегу втыкали штык в соломенное чучело, гремели котелками, получая солдатскую кашу, и учились рывкать: «Здравия желаю, ваше высокородие!»

Дождавшись, когда стало теплее, Котовский сказался больным, и его отправили в лазарет. И вот в приказе по 19-му Костромскому пехотному полку появилось сообщение, что рядовой Григорий Котовский, находившийся на излечении в лазарете, бежал. Об этом невозмутимо сообщал командир полка, по-видимому, привыкший к частым

побегам солдат. Он преспокойно предписывал исключить Котовского из списков полка.

Когда Григорий Иванович возвратился домой, он не узнал своей тихой Молдовы. Стачки, митинги, демонстрации... Котовский слушал ораторов, отбивался вместе с другими от полицейских, выгонял штрейкбрехеров из помещения почты, пел «Марсельезу»...

Неожиданно на улице встретились с Леонтием и не сразу узнали один другого. А когда узнали — очень обрадовались встрече.

Словно мимоходом, Леонтий сообщил:

— А тут у нас в Бардарском лесу разбойнички появились.

— Какие разбойнички?

— Простых людей не обижают, а на купцов да помещиков нападают. И под селом Присаки тоже, говорят, неспокойно. Там вторая шайка завелась. Неплохо работают.

Больше оба ни слова. Пошли в чайную, заказали солянку, пили чай. Платил Леонтий. Разговаривали о том, о сем. Леонтий сообщил, что женился. И только когда расставались, Котовский спокойно заявил:

— Завтра будешь дома? Вечером приду — сведешь меня туда, ну ты сам понимаешь куда: в Бардарский лес.

Леонтий не ответил ни да ни нет.

А первого декабря обе вооруженные группы — и из Бардарского леса и из села Присаки — объединились под руководством Котовского и начали партизанскую борьбу. Отряд народных мстителей не собирался шутить. И что-то стало неуютно, стало не по себе некоторым толстосумам.

ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА

1

— **С**той! Повозка остановилась. Возница не столько испуганно, сколько с любопытством ждал, что будет дальше.

Несколько верховых маячат поблизости, на опушке леса. К повозке подошли трое. Несмотря на темноту, можно было разглядеть, что в руках у них револьверы.

— Кто едет?

— Дворянин Иван Дудниченко.

— Потрудитесь, дворянин Иван Дудниченко, вручить

нам всю наличность, какая при вас имеется. Оружия нет? Если есть, сдайте и оружие.

— Позвольте...

— Не будем тратить понапрасну время. Бумажник? Вот так-то лучше. Как обстоит дело с оружием?

— Помилуйте! Какое у меня оружие?

— Отлично. Трогай, возница!

Кони рванули, обомлевший от страха дворянин Иван Дудниченко все еще не верил, что остался в живых.

Кунец Иосиф Коган возвращался той же ночью и той же дорогой с ярмарки. Денег у него была куча, наутро он намеревался отвезти их в Кишиневский банк. Но обстоятельства сложились иначе. В банк ему ехать не понадобилось. Дорогой он задремал, так как только что заправился шустовским коньяком. Спросонок понять не мог, чего хотят эти люди. Деньги? Какие деньги?

Но тут он совсем проснулся. Он понял, что за деньги хотят от него получить. Пожалуйста! Какие могут быть разговоры? Иосиф Коган отличался быстрой сообразительностью. Он полагал, что лучше потерять немного денег, чем отдать свою драгоценную жизнь.

Вооруженные разрешили ехать.

— А разве вы... не раздеваете? — робко спросил Коган.

— Нет, не раздеваем, — ответил Котовский.

— Что ж. Это очень любезно. Я даже не ожидал такого благородства от грабителей.

— Я не грабитель. Грабитель — вы. А я отнимаю награбленное и отдаю все беднякам.

Казначеем отряда Котовский назначил Леонтия: осторожный и честный человек, на него можно положиться.

— На половину денег приобрести все необходимое, а прежде всего — одежду для отряда. Если удастся, покупай и оружие. Остальные деньги раздадим. Надо узнать, кто нуждается.

Разъехались в разные стороны участники отряда — и нет никого. Пустынна проезжая дорога. В вершинах деревьев свистит ветер. Ни пешего, ни конного насколько глаз хватает.

И уже пошла молва по Бессарабии о народном мстителе Котовском, который у богатых отнимает — бедным отдает.

— И вот, братцы мои, — рассказывал старик на базаре, — пала лошадь у нашего водовоза. Ну, думает, теперь и сам ложись да помирай. А Котовский — он все дела знает. Не успел наш водовоз опомниться — шасть, подходит к нему рослый красавец, богатырь, видать, силы необыкновенной. «Кто бы это мог быть?» — думает водовоз. А это и есть сам Котовский. «Это у тебя, дружище, пала лошадь? — спрашивает. — Иди купи себе другую». И дал ему восемьдесят пять рублей!

Только старик заканчивал свой рассказ, как подхватывали другие:

— А вот у нас был случай...

— У нас вот тоже... Погорели, нищими остались... А Котовский...

В этих народных повествованиях Котовский всегда совершал подвиги, всегда был на стороне бедняков и всегда был неуловим.

Собрались как-то мужики деревень Карамышево, Ожеговка и Машкауцы и стали судить да рядить о своем незavidном житьишке. Решено было всем миром на экономию помещицы Бормоткиной напасть, амбары да сусеки у нее прощупать.

Вооружились кто вилами, кто берданками, у многих и патроны и винтовки нашлись, по чердакам попрятанные. Командовал этой ратью бывший солдат Федор Водянюк, человек расторопный и толковый.

Глухой ночью толпа направилась напрямик, через поле, к экономии. Шли тихо, чтобы не встревожить помещицу раньше времени, а то пошлет за помощью, вызовет солдат, будет худо.

Подшли к поместью, а там все спят, ни в одном окошке огонек не светится.

— Ну, ребятки, начинай, — сказал Федор. — С богом!

Дали залп из всех имеющихся ружей. Только собаки затавкали. А помещица, поди, в перину зарылась и ни рукой ни ногой от страху пошевелить не могла.

Ринулись с криком «ура» на усадьбу, распахнули ворота, взломали замки и — только мешки замелькали, как начали грузить на подводы.

— У кого нет подвод, запрягайте помещичьи, — распорядился Федор.

Моментально нашли все: и коней, и сбрую, и подводы.

— Не сыпь, не сыпь зерно на землю! — покрикивал Федор, наблюдая, как шмякают один на другой тугие мешки. — Зерно-то наше, мужицкое, надо по-хозяйски!

На следующий день появились два эскадрона кавалерии. Проскакали по деревенским улицам. Нигде ни души, полная тишина, полный порядок. С кем тут сражаться?

Позднее явился пристав, и с ним прибыли конные городовые. Кавалеристы вернулись в город, а пристав начал строгое расследование.

«В конце концов, все они одинаковые бунтовщики и зачинщики, — рассуждал он, приступая к своему делу, — но должен же я доставить в Кишинев человек пять арестованных».

Целый день вызывал он свидетелей, записывал показания, составлял протоколы, но, в сущности, ничего не выяснил и только страшно устал.

Вечером его пригласил отужинать чем бог послал местный священник отец Михаил. Оказывается, бог послал попу полное изобилие вин и закусок, так что ужин получился на славу. Между двумя рюмками батюшка, как бы мимоходом, упомянул имя Федора Водянюка, человека неверующего, беспокойного, склонного к бунту.

Пристав пробормотал:

— Весьма признателен, батюшка! — и записал фамилию у себя в блокноте.

Отец Михаил назвал еще два-три имени. Ему ли не знать своих прихожан.

На следующий день расследование было закончено. Федор Водянюк и еще трое под конвоем отправлены в город. Пристав доволен, складывает в портфель все бумаги.

Однако арестованные до места назначения не добрались. Около Савеловского оврага, о котором вообще шла дурная слава, что там нечистая сила пошаливает, навстречу конвоирам вышли вооруженные и потребовали документы и разносную книгу со списком арестованных. Сопровождавший арестованных не хотел сначала отдавать разносную книгу. Но книгу у него отняли и разорвали в клочья.

— Теперь они будут числиться совсем по другим спискам! — заявил Котовский. — Они поступают на службу народу. Кто начальник конвоя?

— Я начальник конвоя.

— Фамилия?

— Чегодаев.

— Так вот, Чегодаев. Арестованных я у тебя заберу. Выдам расписку.

— Это как вам будет угодно, — ответил Чегодаев. Он храбр был только с безоружными и беспомощными.

Ему была вручена расписка. Подписал ее «атаман Адский». Как прочел расписку Чегодаев — так даже перекрестился:

— Не иначе как сам сатана встретился мне на дороге. В такого стреляй не стреляй — пуля отскочит...

И он поспешил отвезти расписку своему начальству.

А в отряде Котовского прибавилось несколько отважных людей.

2

Горели усадьбы. Стражники скакали на взмыленных лошадях по проселочным дорогам. Крестьяне вырубали помещичьи леса, запахивали помещичьи земли... Мятежное было время.

В эти дни Александр Станиславович Скоповский чувствовал себя прескверно. У крестьян было достаточно оснований его ненавидеть. А ночи в Бессарабии темны!

Скоповский трусил. Наглухо закрывал ставни, запирал двери, спускал с цепи волкодавов — и все-таки не мог уснуть. Ему чудились шаги, мерещилось возмездие. Он вставал, надевал халат и шел осматривать дом. Пламя свечи колыхалось, когда он шел с подсвечником из зала в зал, избегая смотреть в печальные, пустые зеркала.

А тут приехал становой пристав и еще больше всех перепугал.

— Ваш этот... ну, который так невежливо с вами обошелся... Я имею в виду тот случай, когда он вынудил вас воспользоваться... гм... извините... окном...

— Я давно понял, о ком вы говорите: о Котовском. Не вижу, однако, надобности напоминать при этом о при-
скорбном случае, едва не стоившем мне жизни.

— Помилуйте, ведь я с осуждением!..

— Какая все-таки новость?

— Как?! Вы не знаете?! Вся губерния знает! Каков молодчик?!

— Да что же такое?

— А вы действительно не знаете? Дубровский! Форменный Дубровский! Не дальше как вчера по Оргеевской дороге напал на полицию, отбил арестованных крестьян. А на той неделе вот тут, по соседству с вами, у этого... как его... у купца Когана забрал деньги. У него масса сообщников, и, говорят, он буквально неуловим!

— С нашими растяпами все неуловимы!

— Однако создать вооруженный отряд для расправы с помещиками! Согласитесь, что это большая смелость.

Скоповский побледнел, услышав это сообщение. Ведь надо же! Не кто-нибудь другой, а именно Котовский!

Александр Станиславович покосился на открытое окно, под которым цвели левкой... Да, все ясно: надо уезжать, уезжать не откладывая! Правительство, видимо, бессильно что-нибудь сделать!

«В Петербург! Немедленно в Петербург! — неотступно сверлила Скоповского мысль. — Да что, какая гарантия в Петербурге?! За границу, пока здесь не утихомируются. Эх, нам бы папашу, в бозе почившего! Мягковат, мягковат и с неба звезд не хватает наш помазанник Николай Александрович. С этим народом не так надо разговаривать. Иссякла сила царствующего дома Романовых. Этак недолго и всю Россию прозевать».

В ночь на семнадцатое лошади на конюшне получили двойную порцию овса. Сдобные булочки, слоеные пирожки, жареные цыплята, телятина и всякая другая снедь — все это было уложено в корзины. Долго возились с укладкой. Скоповский давал бесчисленные наказы, читал правоучения. Наконец мадам Скоповская, вздыхая и жалуясь на изжогу, прочла краткую молитву и отошла ко сну. Скоповский принял подкрепляющие пилюли и тоже задремал под невеселые думы о слабости длани российского самодержца.

В полночь залаяли собаки. Но тотчас замолкли. Затем как будто звякнула подкова о камень... Закачались кусты акации...

Скоповский проснулся от невероятного грохота. Он сел на кровати, прислушался. Дом содрогался от сильных ударов. Дребезжал звонок.

«Вот как это бывает!» — подумал Скоповский и стал нащупывать ногой ночные туфли, но все никак не мог отыскать.

— Кто? Кого? — очнулась заспанная Скоповская. — Уж не случилось ли чего с детьми? Не от Севочки ли телеграмма?

Муж ничего не ответил. Странно пригибаясь, он подкрался к окну, выглянул из-за занавески. Затем бросился бежать. Сначала в кабинет. Отыскал в письменном столе браунинг. Ну, хорошо. Допустим, он даже выстрелит. Даже попадет. Это только приведет их в бешенство, и тогда они не пощадят. Подержал браунинг на ладони и сунул его обратно в ящик письменного стола.

Стук в дверь усиливался. Скоповский промчался в гостиную, похожий в нижнем белье на приведение. В буфетной ударился о косяк, но даже не почувствовал боли.

С величайшими предосторожностями открыл окно. Вторично приходится пользоваться этим способом сообщения! Однако раздумывать не было времени. Скоповский встал на подоконник и зажмурил глаза. Ну же!

Спрыгнул, напоролся на что-то острое... Куда ж теперь? Спрятался под садовой беседкой. Дети, бывало, залезали сюда, играя в палочку-выручалочку. Тут хранилась старая, обшарпанная метла, валялась ржавая, продырявленная лейка... Скоповский влез лицом в паутину, она облепила щеки, неприятно щекоча...

— Господи, помоги мне, — шептал он, дрожа всем телом. — Помоги мне, господи!

Сидеть в этом неудобном уголке пришлось довольно долго. Котовский ничуть не торопился. Вошел в дом. Мадам Скоповская закрыла глаза, притворясь не то мертвой, не то спящей. Но к ней никто даже не подошел.

Котовский деловито разбирал бумаги, уничтожал приходно-расходные книги, долговые записи крестьян.

Только он успел спросить, где же, мол, сам хозяин, как Леонтий и Федор приволокли помещика, переваливавшегося в мусоре, в паутине и крайне непредставительного без верхнего платья.

Котовский метнул на него глазом: что-то очень кислый помещик, уж не отдубасили ли его ребята, когда сюда вели?

— Где отыскался? — спросил Котовский, снова принимаясь за долговые записи.

— Под беседкой! — весело ответил Леонтий. — Прохлаждался! А я обратил внимание, что собака туда за-

глядывает и хвостом виляет. Интересно, думаю, кого она там знакомого выискала?

— Собака собаку завсегда унюхает! — вставил Федор.

— Потрудитесь открыть сейф, — приказал Котовский помещику. — Ну! Чего же вы стоите?

Скоповский как бы очнулся и побрел было к сейфу, вделанному в стене, но опять остановился.

— Ключи в брюках, — уныло произнес он.

— Принесите брюки барину, — усмехнулся Котовский, только теперь поняв затруднение помещика.

Котовский пересчитал деньги и распорядился всем уходить:

— Поджигайте — и поедem.

Ночная прохлада потоком вливалась в настежь распахнутое окно. Пахло левкоями. Котовский быстро управился с долговыми книгами: ведь вся эта канцелярия была ему хорошо знакома.

Скоповский молчал. Он боролся с противной дрожью, которая его сотрясала. Одна мысль пронизывала мозг, обжигала: «Убьют! Убьют!..» Но на него никто не обращал внимания.

Через час Котовский уехал из имения Скоповского. Путь ему освещало зарево: усадьба горела ярко, как свеча. Задержался только казначей отряда, деловитый Леонтий. Ему было поручено раздать батракам деньги, захваченные у помещика.

— А то сам господин помещик сроду бы не догадался, — пояснил Котовский.

На рассвете Леонтий догнал отряд. Он точно выполнил поручение. И вот они ехали рядом. Высоко в небе таяли последние звезды. Над Бессарабией загоралась заря. Туман стлался над виноградниками, над сливовыми садами. Кони фыркали и мотали головами.

Котовский и Леонтий молчали. Затем Леонтий сказал:

— А пожалуй что вешать их, каналий, надо, а то они натворят еще дел. Я это про помещиков говорю.

— Бы и так, кажется, не утерпели и малость всыпали Скоповскому. Что-то у него, как у сома, был очень снулый вид.

— Так, для понятия, мы с Федором слегка ему дали, пока от беседки вели. А как же? Разве забыл, как они тебя разделали?

— Мы не за себя мстим — за народ! — коротко ответил Котовский.

3

Можно представить, какой переполох начался у кишиневских властителей. Губернатор топал ногами, полицмейстер рычал, как лев. Во все стороны летели приказы, секретные распоряжения, срочные шифрованные телеграммы:

«Принять меры! Искоренить! Прекратить!»

А между тем отряд действовал. Полиция прибывала на место происшествия, но всякий раз с опозданием, когда уже ничего нельзя было обнаружить. Думали, что отряд скрывается где-нибудь в пещерах или в дебрях лесов: совершив смелое нападение, он исчезал, как сквозь землю проваливался.

В те дни, когда Котовского разыскивали в Оргееве, появился в селе Ганчешты страшный, горбатый нищий. Он ничьего внимания не привлек: мало ли нищих бродило в те годы по проселочным дорогам. Софья через три дома от своего жилища держала кур, так она не раз видела этого побирушку, даже подумала еще, хорошо ли у нее заперт курятник.

Однажды этот старый горбун пришел к ней, но она его не пустила:

— Стой, стой, я тебе у ворот подам! (Софья была не из тех, что может слишком расчувствоваться при виде нищеты.)

— Спасет тебя бог, — сказал нищий, принимая горбушку хлеба, и Софье показалось, что он при этом усмехнулся.

«Набаловались! — рассердилась Софья. — Не яичницей же его угощать!»

Между тем горбатый нищий побывал и на базаре, потерялся в толпе, послушал, о чем люди толкуют, и сам повыспросил, что ему было надобно...

Это и был Котовский. Ну где же найти его тупоголовым полицейским ищейкам, если родная сестра не могла распознать его! После этого он мог без всякого опасения разгуливать по селу.

А пришел он сюда не бесцельно. К нему поступили жалобы на управляющего Назарова, что он душегуб и стяжатель. Еще больше жаловались на купца Гершко-

вича, говорили, что он держит в цепких лапах всю округу и что такого кровососа свет не видал. Надо было это проверить и одновременно запутать полицию, которая сбилась с ног в поисках Котовского и потеряла его следы.

Что взять с горбатого нищего? Посидел он и на крыльчке торгового заведения Гершковича, узнал всю подноготную и об управляющем Манук-бея, все доподлинно.

А потом исчез. Вряд ли кто заметил его исчезновение. Ушел и ушел, бездомным все дороги открыты. Никому и в голову не пришло, что план отмщения за слезы народные был уже разработан.

Однако Артем Назаров почуял что-то неладное и успел удрать в Кишинев.

Купцу же Гершковичу не удалось увернуться. К нему в дом вошла дружина Котовского.

— Вы тут взяли в кабалу всех жителей, — сказал ему Котовский. — Ну-ка, покажите ваши записи и долговые книги. Тут все? И как раз печка топится! Предадим эту писанину огню. И не вздумайте кому-нибудь напомнить о старой задолженности, не советую. Знаете пословицу: кто старое помянет, тому глаз вон. А теперь принесите выручку из магазина, и чтобы ничего не прятать! Стойте, стойте, куда вы бросились с такой поспешностью? Сначала положите ваш бумажник сюда, на стол. Так. Теперь идите, вас проводят... Принесли? Ну вот. Надеюсь, запомнили, что я говорил?

Когда ночные посетители ушли, Гершкович капал валерьянку, потом кому-то грозил, ругался. Затем рассудил, что выгоднее всего молчать. И хотя слухи ходили, что у него отняли деньги, сам Гершкович клятвоу уверял:

— У меня? Деньги? Какие деньги? Господь с вами!

Артем Назаров хотя и вернулся в Ганчешты, но спал плохо, вздрагивал при всяком стуке и завидовал князю Манук-бею, который своевременно убрался «из этой несчастной страны»...

Странные дела творились в Бессарабии. Например, начальник Кишиневской тюрьмы узнал, что Котовский вручил на дорогу деньги большой партии осужденных политкаторжан, отправляемых в Сибирь. Разгневанный начальник тюрьмы расспрашивал тюремных надзирателей:

— Как же он вручил? Вот так-таки явился и вручил?

— Ну да, получил свидание с одним из заключенных и отдал ему деньги.

— А вы чего смотрели? Почему не схватили его?

— На лбу у него не написано, что это он! Уж после арестанты рассказали.

Или, например, кто давал Котовскому списки неимущих студентов и гимназистов? Они ежемесячно получали по почте пакеты с деньгами «от неизвестного».

По настоянию бессарабского губернатора в Оргеевском и Кишиневском уездах рыскали большие полицейские отряды, были учреждены специальные посты, производились ночные обходы...

А в это время отряд Котовского явился на квартиру купца Вартана Киркорова, первого богача в Кишиневе. И произошло это в центре города, к полному негодованию и изумлению властей предрежущих.

В квартире Киркорова была роскошная обстановка. По-видимому, денег куры не клевали, но вкуса и понимания красоты не было. Главным образом заботились о том, чтобы все стоило дорого. Хрустальные вазы, мохнатые ковры, очень много мебели, картин, безделушек...

Киркоров вручил Котовскому крупную сумму денег. Он был бледен, руки у него тряслись, он с трудом выговаривал слова, потому что ему сводило судорогой челюсти.

— Вот, — произнес он. — Тут все, что есть дома, можете проверить.

— Вы не станете меня обманывать. Это было бы рискованно. Ну, а теперь принесите оружие.

— Револьвер?

— Да, хотя бы револьвер.

Киркоров принес револьвер и предупредил:

— Осторожнее, он заряжен.

Впоследствии его спрашивали знакомые:

— Отчего же вы не стреляли?

— Что я — сумасшедший? — возражал Киркоров.

— Облавы! Как можно скорее облавы! — кричал губернатор, узнав об этом происшествии. — Мобилизуйте местное население, оцепляйте лес и делайте облавы!

— Не идут. Мы уже пробовали. Они лучше умрут, чем выдадут Котовского. Точно установлено, что насе-

ление снабжает его продовольствием, одеждой, даже оружием.

За поимку Котовского взялся пристав второго участка, опытный петербургский сыщик, присланный в Кишинев на постоянную работу. Хаджи-Коли был безобразен. Маленького роста, но с огромной головой, он был весь как бы помятый, весь изрытый морщинами. Кожа у него была геморроидального цвета. В центре физиономии помещался мясистый, свисающий, как спелый плод, на губы фиолетовый нос. Но глаза — глаза у него были колючие, быстрые. Он умел примечать. В этом ему никак не откажешь.

Хаджи-Коли взялся за дело спокойно. Он долго приглядывался, принюхивался, перечитал все донесения, побывал на местах происшествий, побеседовал с «жертвами»: с дворянином Иваном Дудниченко, с купцами и чиновниками, повидался и с Артемом Назаровым, который знал Котовского с детских лет.

— Так-так-так... Вы говорите, способный был мальчик? Так-так-так... Отлично ездил верхом?

Хаджи-Коли два часа пробыл у господина полицмейстера.

— Денег не жалеть, — давал указания полицмейстер. — Сами понимаете, вся эта неприятная история может отразиться даже на карьере высокопоставленных чиновников, не говоря уже о других.

Полицмейстер придвинул свое худое, обтянутое желтой кожей лицо к самому уху Хаджи-Коли,дохнул на него гнилостным запахом изо рта и прошептал:

— Под строжайшим секретом могу вам сообщить, что наш уважаемый Киркоров, Вартап Артемьевич, как вы знаете, тоже пострадавший, пожертвовал десять тысяч рублей из личных средств для награждения того, кто поймает этого разбойника.

Крестьянские бунты полыхали по всей Бессарабии. В дыму восстаний орудовал отряд Котовского, орудовал дерзко и умно. Может быть, он поднимал молдавских крестьян на бунты своим примером и отвагой!

4

Пристав второго участка Хаджи-Коли не дремал. Он раскинул сеть своей агентуры по городским окраинам, по улицам городской бедноты, по окрестностям Кишинева.

Долго он вынашивал свой замысел, и наконец ему удалось подобрать провокатора, который втерся в доверие рабочих и через них нашел путь в отряд Котовского.

Некий Зильберг имел опыт в своей работе. Он умел всех разжалобить.

— Брат у меня на каторге, тачки с углем возит, — рассказывал, тяжело вздыхая, — отец умер от непосильной работы, а я даже и непосильной не могу отыскать, вот уж сколько месяцев с хлеба на воду перебиваюсь...

Вспомнил Котовский все свои мытарства и бесплодные поиски работы, вспомнилось, как отец умер...

Приняли в отряд этого человека.

Каждую минуту провокатор ждал, что его прикончат. Никакой связи со своим патроном долгое время не устанавливал, боялся, что за ним следят. И вот выбрал удобный момент. Отряд сделал передышку. Зильберг для большей верности сам проводил Котовского до его квартиры в Кишиневе, где он последнее время скрывался.

— Отдыхай, — сказал ему на прощание Котовский, когда они дошли до входной двери, — большие дела скоро будем делать, и наш отряд разрастется...

Все еще не верил, все еще опасался предатель. А вдруг Котовский догадывается! Может быть, все знает и уже давно приговорил его к смерти? Вот сейчас обернется и пристрелит, как паршивую собаку...

Но вот Котовский шагнул... постучал... Вот ему открыли... и захлопнулась дверь за Котовским... Тихо. Провокатор сначала стоял как прикованный. Затем медленно-медленно пошел. Добравшись до перекрестка улиц, быстро оглянулся, чтобы узнать, не следит ли кто за ним... Потом чуть не бежал, запыхался, юркнул в чей-то чужой двор, притаился и ждал, выглядывая из-за забора... Но опять никого. Сердце стучало. Бросился со всех ног, с шумом ворвался в квартиру Хаджи-Коли и выпалил:

— Есть! Готов! Куприяновская улица, дом номер девять!

И — рухнул на стул. Губы пересохли, он все облизывал, облизывал их горьким языком.

Хаджи-Коли дал ему глотнуть воды. Но заниматься им не было времени. Не теряя ни минуты — в полицию.

Крупный полицейский отряд оцепил все прилегающие улицы. Хаджи-Коли лично руководил операцией. Конечно,

он рисковал головой, но, что делать, такая профессия. Он ловко отодвинул засов у входной двери, вместо того чтобы стучаться. Все! Дверь открылась, из дому пахнуло теплом... И они ввалились с револьверами в руках.

Котовский еще не спал. Он взглянул на них, понял, что это провал. Не дрогнул, не шевельнулся. Только челюсти сжал, да так, что скрипнули зубы.

— Разрешите? — вежливо произнес Хаджи-Коли.

И щелкнул металлическими наручниками.

В ту же ночь произведены были аресты в доме № 10 по Киевской улице. Там схватили Прокопия Демянишина и Игнатия Пушкарева, совсем недавно примкнувшего к отряду.

На следующий день на Яковлевской улице был задержан еще один дружинник, Захарий Гроссу. И это все. Других участников вооруженной группы Котовского не удалось обнаружить. Некоторое время продолжали розыски, обшарили все окрестности города, но затем махнули рукой: не в них дело.

Следователь по особо важным делам приступил к нашумевшему делу. Он не упустил ни одной подробности, блеснул знанием всех юридических тонкостей. Папка, вмещающая протоколы допросов, принимала внушительные размеры.

На Оргеевско-Кишиневской дороге стало тихо. Ветер свистел в вершинах деревьев. Грачи пролетали вечером, собираясь на ночлег. Купцы и помещики проезжали здесь по-прежнему с оглядкой и страхом. Но никто не появлялся из лесу, никто не останавливал скачущих лошадей.

Леонтий как ни в чем не бывало занялся своим хозяйством. О прежних его ночных отлучках не знал никто, кроме жены. А жена была находчива и ловка на язык, умела ответить, если кто, бывало, и спрашивался о ее муже: «Уехал в город...», «Поехал на базар продавать сено...», «Спит, устал чего-то, не буду тревожить...». Ну, и отвязнутся. А вернется Леонтий — молча накормит, напоит, одежду и обувь высушит, не спрашивает, где был да какими делами занимался. Когда перестал ночами отлучаться, удивилась она. Долго удерживалась, но в конце концов спросила:

— Неладно что?

— Плохо, — вздохнул Леонтий.

А тут как-то велел собрать всякой домашней снеди да

домотканое одеяло захватил. Отвез все в город и вернулся без этих вещей.

— Если что в тюрьму передать, ты меня лучше пошлай, — заметила жена Леонтию мимоходом.

Посмотрел Леонтий на нее внимательно: ох и сметлива!

А Котовский был полон замыслов, планов и в тюремной камере. Он не упал духом. Ведь рано или поздно усилия полиции должны были увенчаться успехом, когда-то должны были его схватить. Котовский находил применение для своих сил и в тюремной обстановке.

— Какие такие взимания с новичков «на камеру»? — гремел Котовский. — Пока я здесь, никто не будет ничего взимать!

Он выслушивал жалобы арестантов, давал советы, заступался за малолетних. Он был занят целые дни. Оказалось, что и здесь можно помогать беззащитным. Оказалось, что и в этом мире отверженных много бесправия, жестокости и это бесправие, эту жестокость нужно победить. Было в Котовском что-то еще, кроме его незаурядной физической силы. Одних он притягивал к себе, располагал. Другие его боялись. Он стал безраздельно руководить всей тюремной жизнью.

Мысль его работала. Он готовился к большому, отчаянному мероприятию: запертый на замки, окруженный толстыми каменными стенами, охраняемый стражей, он задумал ни больше ни меньше как освободить всю тюрьму. Он с воодушевлением разрабатывал подробности этого плана. Посвящены в него были только его ближайшие друзья.

— Мы должны, — втолковывал он Захарию Гроссу и Игнатию Пушкареву, — разоружить тюремную охрану, вызвать по телефону якобы по срочному вопросу поочередно прокурора, полицмейстера, пристава, жандармских чинов, поодиночке арестовать их и упрятать в камеры. Затем вызвать конвойную команду якобы для производства повального обыска, разоружить ее, переодеться в форму конвойных, изобразить отправку большого этапа в Одессу и, следуя в Одессу, захватить железнодорожный состав. Всего для этой операции нам придется захватить, обезоружить и запрятать в камеры около пятидесяти человек.

— Серьезное дело! — сказал Гроссу.

— А что? Мы все можем! — решительно заявил Пушкарев.

Первой неудачей была записка, перехваченная тюремщиками. Котовскому во что бы то ни стало нужно было связаться с друзьями, находившимися там, по ту сторону решетки. Впрочем, в руки следствия эта записка никаких ключей не дала, плану побега не повредила, а связь со своими друзьями Котовский все-таки установил.

Делопроизводство же шло своим чередом. Аппарат юстиции усердно работал. Следствие фиксировало факт за фактом, папки все больше разбухали, машинистки перестукивали на пишущих машинках протоколы, все это нумеровалось, подшивалось... Шутка сказать — подготовить для заслушивания такое дело!

Требовалось для судебного разбирательства иметь своего адвоката. Котовский остановил выбор на талантливом, успешно уже выступавшем в суде защитнике Гродецком. Гродецкий имел доступ в тюрьму. Он тоже изучал материалы этого дела. Немногим можно было помочь подзащитному, слишком очевидны сами факты, слишком велика ярость властей и негодование всего так называемого общества. Тем не менее защитник наметил линию, какой будет придерживаться.

В первое свое посещение подзащитного Гродецкий попал в тюрьму в прогулочное время. Тюремный двор подходил на большой каменный мешок. Гродецкий увидел арестантов, бродивших по двору с опущенными головами, унылых, вялых, в серых тюремных халатах, неудобных, путавшихся в ногах.

И в этой толпе резко выделялась высокая, стройная фигура человека, одетого в обыкновенное гражданское платье. Этот рослый человек был в сапогах, бриджах, в светло-зеленой вязаной куртке плотно облегающей его хорошо сложенную, могучую фигуру. И держался этот человек совсем иначе. Опустив правую руку на плечо своего собеседника, он быстро шагал, размахивая левой рукой, и что-то с жаром доказывал. Столько жизненной силы, столько характера было в этом человеке!

Гродецкий забыл о цели своего прихода. Он невольно залюбовался этим необыкновенным, не сгибающимся в несчастье человеком.

— Кто это такой — в зеленой вязанке? — спросил Гродецкий тюремного надзирателя.

Надзиратель ответил с гордостью:

— Разве вы не знаете? Это наш знаменитый Котовский.

И ответ тюремного стража тоже поразил тюремного защитника. «Наш знаменитый Котовский!» По-видимому, Котовский находил дорогу даже в самые загрубелые, в самые очерствелые сердца.

«Так вот он каков, мой подзащитный! — думал Гродецкий, все еще стоя неподвижно в неприглядном тюремном дворе. — Недаром он держал в страхе и трепете «блюстителей порядка», аристократов и баловней судьбы!»

5

Вначале все шло удачно. В прогулочный час двое из одиночной постучали в дверь и попросились в уборную. Когда надзиратель выпустил их и стал закрывать камеру, его схватили, связали, обезоружили и сунули в ту же самую камеру. Во втором коридоре надзирателю наставили револьвер, отобранный у первого надзирателя, и тоже связали его.

Прогулка в тюремном дворе продолжалась, а там, в самом здании, шла работа втихую, без шума и крика, без единого выстрела.

Вскоре коридорные надзиратели все до одного были упрятаны в камеры. Успешно прошла операция по заранее разработанному плану и во дворе. Путем обмана отняли ключи от тюремных ворот, отперли ворота. Дальше следовало оставаться на местах, вызвать и арестовать целый ряд служебных лиц, затем вызвать конвойную команду.

Но при виде открытых ворот у некоторых не хватило выдержки. Семнадцать человек, вопреки плану, выбежали наружу... нарвались на патруль... Были снова задержаны и возвращены в тюрьму.

Котовский не сердился. Что поделаешь — нельзя положиться на каждого, уж очень пестрая публика наполняет многочисленные камеры тюрьмы.

Котовский спокойно заявил, что план побега был разработан им. Его заперли в одиночную камеру, рядом с политическими.

Какой богатый материал получили газетные репортеры! Какая сенсация!

«Неудачный побег семнадцати «анархистов» из тюрьмы!..»

«Возглавлял побег известный атаман Котовский!..»

Тюремная администрация вызывала поодиночке сконфуженных и обескураженных надзирателей.

— Как же вы так прохлопали, что вас самих пересажали, как кур в курятник?

Начальник тюрьмы, глядя на толпу заключенных в прогулочном дворе, в ярости сжимал кулаки:

— Ну подождите же! Я покажу вам, как совершать побег! Вы у меня поплачете!

И обернувшись к сопровождавшему его дежурному офицеру:

— Свидания с родственниками прекратить! Прогулку сократить до десяти минут в сутки! Выпускать на прогулку поодиночке! Убрать койки из камер, пусть валяются, как свиньи, на полу!

Седьмого мая 1906 года в знак протеста семнадцать арестованных объявили голодовку. К ним примкнула вся тюрьма. Требовали отмены репрессий и улучшения тюремной пищи. Надзиратели бегали от камеры к камере, уговаривали есть. Кашевары уносили нетронутые бачки с баландой. Кухонные мужики выливали обед в помойную яму.

Прибыл прокурор окружного суда. Ходил по камерам, выслушивал жалобы. Морщился. И от правдивых невеселых рассказов, и от удушливого воздуха.

— Карательные меры отменить, — распорядился он, уезжая и радуясь, что выбрался наконец на свежий воздух. — Что касается улучшения пищи, это не в моей компетенции.

Не прошло и нескольких дней, как в тюрьме уже новое событие: обнаружен подкоп! Подкоп заделали. Казалось, все тревобления кончились. Тюремная жизнь опять вошла в свою колею — безрадостная, однообразная, пропитанная сыростью, полумраком, затхлостью камер, овеянная ни с чем не сравнимой, ни на что не похожей тюремной, арестантской тоской.

А тридцать первого августа арестованный Котовский, сидевший в так называемой железной одиночной камере, бежал из тюрьмы. Пропала даром вся работа Зильберга,

все тонкие ухищрения Хаджи-Коли! И куда же теперь девать толстые папки, так аккуратно подшитые судейскими канцелярскими крысами? Хоть выбрось! Хоть начинай все сначала!

Первый богатей Кишинева и самый уважаемый член городского клуба Варта́н Арте́мьевич Кирко́ров, прочитав в утренней газете о побеге Котовского, невольно взглянул на дверь: а что, если появится и наставит опять дуло револьвера? Сразу пропал аппетит у Киркорова. Он брезгливо отодвинул тарелку, на которую успел уже положить цыпленка, и снова впился в газету:

«...Тюремная администрация и полиция весь день 31 августа тщетно искали бежавшего из Кишиневского тюремного замка знаменитого атамана разбойничьей шайки Котовского... На этот раз, кажется, Котовский исчез окончательно...»

— Да что же это такое творится? — прошептал Киркоров. — Для чего же строятся тюрьмы? Нет, это выше моих сил!

Александр Станиславович Скоповский без газет узнал о происшествии. Он в это время поселился в одном из своих флигелей и занят был постройкой нового дома на месте сгоревшего. Он только было уверовал в ретивость российских властей, стоящих на страже порядка и частной собственности, — и вдруг такой удар! Опять этот разбойник на свободе! И опять Скоповский нещадно ругал всех: и нераспорядительную полицию, и тюремную администрацию, и правительство, расшатавшее до последней степени государственные устои.

— Разве мыслимо что-нибудь подобное за границей? — бесновался Скоповский. — Да там бы немедленно: «Будьте любезны, пожалуйста на электрический стул».

В Ганчештах мало кто выписывал газеты. Когда под окном Анны Андреевны появлялся почтальон, тщедушный, так что его ветром качало, но очень расторопный старичок, Анна Андреевна выходила ему навстречу:

— Как здоровье, Герасимыч?

— Прыгаю, Анна Андреевна.

И он мчался дальше с кожаной сумкой на плече. Анна Андреевна разворачивала газетный лист и начинала дискуссию с газетными шелкоперами.

— Вранье! — говорила Анна Андреевна, прочитав статью о блестящем состоянии железных дорог. — Так вам и надо, голубчики! Небось почешетесь теперь да прибавите заработок рабочему человеку! — приговаривала со смаком, прочитав о забастовке питерского «Путиловца».

Однажды почтальон пришел взволнованный и возбужденный:

— Читайте газетку! Там помещено кое-что важное!

Анна Андреевна развернула газетный лист и, бегло просматривая кричащие заголовки, вздрогнула и с волнением прочитала написанный разухабисто и с легким налетом модного скептицизма фельетон:

«Бегство Котовского из местного тюремного замка, как оказывается, не так просто. На первых же порах возник вопрос: как он мог выйти из своей одиночной камеры (в самой верхней башне), в которой окно защищено толстой решеткой, оказавшейся целой, а у дверей неотлучно дежурил надзиратель Иванов? Затем, как, выйдя из камеры через охраняемую дверь, он незамеченным добрался до чердака башни, откуда по веревке спустился с 18-саженной высоты во внутренний двор; отсюда в наружный двор он опять не мог пройти незамеченным мимо дежурного надзирателя Топалова, но, однако, прошел. Достигнув внешнего двора, он приставил доску к забору — и был таков. А между тем чьей-то заботливой рукой доска была положена на прежнее место. Все эти обстоятельства навели на подозрение, что Котовский воспользовался чьим-то содействием. Подозрение пало на надзирателей Иванова и Топалова».

Ниже фельетона крупным шрифтом было набрано:

«ЗА ПОИМКУ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕСТУПНИКА КОТОВСКОГО ОБЪЯВЛЕНО ДЕНЕЖНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ В РАЗМЕРЕ ДВУХ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ».

Анна Андреевна опустила на колени не дочитанную до конца газету, перекрестилась и прошептала:

— Господи, охрани его в тягостных испытаниях и су-

ровом пути! Не себе на утеху — народу он служит. Золотое сердце и отважный ум!

И она, не откладывая, побежала к Софье Ивановне поделиться новостью.

6

Шифрованная телеграмма, разосланная директором Кишиневской тюрьмы жандармским офицерам на пограничных пунктах и начальнику Одесского охранного отделения, перечисляла все приметы бежавшего, сообщая, что тридцать первого августа из Кишиневской тюрьмы бежал опасный политический преступник, балтский мещанин Григорий Котовский. Указывалось, что Котовский двадцати трех лет, роста два аршина семь вершков, глаза карие, усы маленькие, черные, может быть без бороды, под глазами темные пятна, физически очень развит, походка легкая, скорая. В заключение предлагалось установить самое бдительное наблюдение за появлением бежавшего, а в случае появления немедленно арестовать и препроводить под усиленным конвоем в Кишиневскую тюрьму.

Полетели во все концы России шифрованные телеграммы! На таможнях, в портовых городах, на пограничных заставах появилось много поджарых субъектов, воображающих, что никто не может распознать в их непристойных физиономиях, в их гороховых пальто, в их повадке всюду совать нос и запускать глаза незадачливых, дешево оплачиваемых доморощенных шпииков, состоящих в штате охраны и полиции. Они бесцеремонно вглядывались в лица пассажиров, едущих за границу, — в равной мере женщин и мужчин: беглый мог попытаться улизнуть и в женском одеянии, бывали такие случаи. Они лазили в трюмы, заглядывали в машинные отделения пароходов... Их можно было встретить в доках, в отдаленных рыбацких поселках, на пристанях...

Были подняты на ноги все жандармские управления. Один за другим доставлялись пакеты за сургучной печатью. Лично в руки! Бессарабскому губернатору! Секретно!

А Котовский спокойно сидел в Кишиневе, в одном из крохотных, незатейливых домиков. Сидел у окна и рассеянно посматривал через тюлевую занавеску на безлюдную

улицу, пока хозяйка деловито штопала мужнины носки.

— Покушал бы, Григорий Иванович, — ворчливо и ласково говорила женщина. — Что толку смотреть на улицу, у нас тут редко и прохожего увидишь.

Задумался Котовский. Не было для него ничего труднее, как бездействие. Вся его кипучая натура требовала действия, а приходилось сидеть и не шевелиться.

— Долго они канительятся, мои ребята, — вздохнул Котовский. — Подумаешь, великое дело — паспорт раздобыть! Ничего, несколько дней я высижу, никому и в голову не придет, что я у них под боком. А с паспортом двину в Ташкент либо в Самарканд. Выжду — и снова отряд соберу...

— Ох, не сносить тебе головы! Неугомонный ты...

— Пока что голова крепко сидит. Ничего, Пелагея Ивановна, я еще много чего успею сделать в своей жизни!

Опять вызвал пристава второго участка Хаджи-Коли губернатор.

— Откровенно говоря, — сказал он, отечески похлопывая Хаджи-Коли по колену, — полиция у нас дрянь, жандармерия — ни к черту. Вы один наш русский Шерлок Холмс, на вас вся надежда, остальным я абсолютно не доверяю.

— Сделаю все возможное, — скромно ответил Хаджи-Коли.

— И все невозможное, — добавил, улыбаясь, губернатор. — Я вас очень прошу: и невозможное!

Возвращаясь после этого визита, Хаджи-Коли думал: «Да, господин Котовский! Нас связывает одна веревочка. Или я сломаю голову, или же отличусь и сделаю карьеру. Вы, господин Котовский, фигурально выражаясь, моя синяя птица, мое золотое руно, хе-хе!»

Восьмого сентября приставу поступило донесение, что Котовский находится в городе, и, по-видимому, в районе четвертой части.

— Вот когда я его наконец сцапаю!

Хаджи-Коли даже зарумянился, услышав эту весть. Как собака-ищейка, напавшая на след, он повел мясистым носом, словно предназначенным выслеживать.

— Сегодня же познакомимся с расположением улиц в этом районе города, — сказал он задрожавшим голосом. — Всегда полезно знать, где имеются проходные дворы, тупики, низкие заборы...

Он взял с собой нескольких переодетых городских и пошел бродить по улицам. Было темно. Кишинев освещался скупо.

В девять часов вечера Хаджи-Коли и тащившиеся поблизости неуклюжие в чужом платье городские спускались вниз по Теобашевской улице. Хаджи-Коли устал и подумывал, что пора закончить эту прогулку, что, как говорится, утро вечера мудренее.

И тут грудь с грудью столкнулся с Котовским! Оба были так ошеломлены, что одно мгновение стояли друг против друга не двигаясь. Встреча была так неожиданна, что пристав не успел даже выхватить револьвер. Он только смотрел, вытаращив глаза.

Котовский бросился бежать вверх по Теобашевской.

— Держи! Стреляй, черт вас поberi! — опомнился наконец пристав. — Стреляй, говорят вам! Головы оторву!

Городские пыхтели, вытаскивали из карманов наганы. Наганы были тяжелые и оттягивали карманы кургуzych пиджаков. Вытащили. Начали беспорядочно стрелять в темноту. Слышно было, как посвистывали пули.

Котовский исчез.

Городские продолжали стрелять. Они не целились и с явным удовольствием бахали из наганов, оглядываясь, чтобы не поранить друг друга.

— Отставить! — закричал Хаджи-Коли. — Стрелять не умеете, собачье отродье! Вот он — здесь был, около вас! А вы что? Рты разинули, остолопы?

— Так ведь тёмно! — оправдывались городские. — Разве попадешь?

— «Тёмно!» «Тёмно!» Сами вы — темнота непроходимая! Дубины стоеросовые! Деревня-матушка! Где только понабирали таких? Убить человека не могут!

— Кабы он стоял, — почесывали городские затылки, — тогда почему не убить.

— Упустить из-под самого носа! — не унимался пристав. — Такой исключительный случай! Никогда себе этого не прощу!

Городские виновато молчали.

Между тем Котовский был ранен. Он превозмог страшную боль, собрал все силы, перемахнул через забор и упал на что-то мягкое и душистое.

«Цветы, — догадался он, ощупывая вокруг руками. — Кусты высокие, вероятно, георгины... И ведь не пускали меня — так нет, потащился! Как же это вышло?»

Лег поудобнее, стараясь не задевать раненую ногу. Прислушиваясь, стал разбираться в создавшемся положении.

Да, выйти на улицу, когда по всему городу рыщет полиция, — более необдуманного поступка нельзя было представить. Но мог ли он навлекать беду на этих людей, предоставивших ему убежище? Хозяин дома пришел сегодня встревоженный.

— Кажется, пронюхали... — промолвил он. — Сейчас меня лавочник спрашивает: «Никак, квартиранта нашли, Максимыч?» — «Какого, говорю, квартиранта? Чего выдумываете?» — «Я, — отвечает, — ничего, меня это не касается, нет так нет, пускай будет по-вашему...»

Хозяева даже не намекнули, что Котовскому надо уходить. Он сам собрался. Они уговаривали остаться. Но он уверял, что так будет благоразумнее, что у него есть товарищ в железнодорожном поселке... Распрощался с хозяевами и вышел.

И надо же было нарваться на полицию!

Котовский тихо лежал в кустах. Здесь его трудно было обнаружить, между тем ему отлично было видно все пространство чистенького дворика. Он держал револьвер наготове.

«Если найдут, буду отбиваться. Эта публика храбростью не отличается».

Но погоня затихла. Котовский попробовал встать. Правая нога мучительно болела.

Где он находится? Что-то напоминает это крыльцо... Если направо, в углу двора, акация и возле акации скворечник, значит, это квартира Прусакова...

Скворечник был ясно виден на фоне неба. Прусаковы! Котовский не знаком с ними, но однажды вместе с Иваном Павловичем они вошли во двор, Иван Павлович принес им заказ...

Изумительная память пришла на помощь. Котовский смело нажал кнопку электрического звонка. Вошел. Ду-

мал, что потеряет сознание. «Ничего. Надо держаться. Прусаков. Николай Михайлович Прусаков».

— Николай Михайлович! Я Котовский, помогите мне, я ранен, меня преследует полиция, мне надо скрыться.

Женщина. Смотрит серьезно и, кажется, сочувственно.

— Коля, выйди на крыльцо, взгляни, нет ли кого. Сюда не пускай ни в коем случае, слышишь?

Она решительно приступила к делу. Осмотрела раны. Обе раны были на правой ноге. Промыла, смазала йодом, забинтовала.

— На улице тихо, — вернулся Николай Михайлович. — Но что же нам дальше с ним делать? Здесь небезопасно. Они перероют теперь весь район.

— Возьми извозчика и отвези его к Валентине Сергеевне. Она не откажет. Это наша хорошая знакомая, — пояснила она Котовскому.

— Да, пожалуй. К ней-то уж никто не сунется. Глушь. Место как раз будет подходящее, — согласился Николай Михайлович.

В извозничьей пролетке было тряско, и нога опять заныла. Ехали долго. Большая Медведица переливалась семью звездами над самой дугой. Спина извозчика заслоняла половину звездного неба.

— Это, кажется, Гончарная улица? — спросил вдруг Котовский.

— Гончарная.

— Я попрошу здесь остановиться. Мне тут надо навесить одного знакомого...

— Но как же вы...

— Не беспокойтесь. Спасибо вам. Извозчик, заворачивай обратно и отвези барина домой в целости и сохранности.

— Мне што, я хоть всю ночь буду возить!

Извозчик круто завернул, старый фэтон закрихтел, застонал рессорами, накренился. Потом все встало на место. Лошадь фыркнула и пошла трусить рысцой в обратном направлении.

Вот уже и скрылась извозничья пролетка. Звезды. Тишина.

Котовский пошел вдоль улицы, осторожно ступая на правую ногу и сильно прихрамывая. Дом номер шестнадцать... дом номер восемнадцать.. Двадцать.

Котовский постучал в ставни.

— Кого вам?

— Михаил, открой.

— Вот это да...

Послышались торопливые шаги, дверь распахнулась. Михаил Романов схватил руку Котовского:

— Господи, какая радость! Не чаял видеть в живых! Заходи же, заходи скорее!

Они вошли в дом. Дверь закрылась.

Романов работал счетчиком вагонов на станции Кишинев. Домик стоял в привокзальном районе. Место было безопасное, люди надежные. Здесь Котовский и решил дожидаться, пока ему выправят паспорт на чужую фамилию да немножко заживут раны.

У Михаила можно было остановиться без стеснения. Здесь Котовский чувствовал себя как дома. И виделись-то они раньше редко, но Михаил с первой встречи проникся уважением, симпатией к Григорию Ивановичу, так же, как и Григорий Иванович сразу оценил Михаила. Котовский знал, что Михаил — социал-демократ, что он ведет большую работу среди железнодорожников. А Михаил знал, что Котовский руководит вооруженной группой. Но более обстоятельно поговорить им не удавалось.

Романов жил в маленьком своем домишке вдвоем с молодой женой. Он сразу же заметил, что Котовский хромает. Расспросил подробнейшим образом, как и что случилось. Ругал Котовского:

— Такая неосторожность! Такая глупость! Если уж обязательно нужно было уйти из того дома, хотя б загримировался!

— А документы? Документов-то нет! Тут никакой грим не поможет!

— Ну, ладно, теперь об этом нечего говорить. Еще хорошо, что сравнительно благополучно все кончилось. Зато теперь мы наговоримся вдоволь. А я с нашими ребятами уже поговорю, может быть, мы достанем документы.

— Да мне через несколько дней обещали выправить паспорт...

— Хорошо, хорошо, так или иначе документы будут. Ну вот. Лиза соорудит тебе постель, я принесу побольше бинтов и марли... А в награду за труды услышу рассказы о вооруженной борьбе с самодержавием, которую вел твой отряд с удивительным бесстрашием.

И так у них повелось: днем Котовский перебинтовывал ногу, читал в газетах подробное описание своего побега. Из осторожности Михаил и Лиза снаружи запирали его на замок. Наконец они возвращались с работы. Обедали, и Михаил рассказывал новости, перечислял случаи крестьянских волнений в Молдавии, говорил о растущих забастовках, о стачке железнодорожников... Начинались бесчисленные разговоры. Иногда они спорили. Михаил восхищался отвагой Котовского, но считал, что это «капля в море».

— Понимаешь, капля в море! — гудел он, ероша волосы. Голосище у него мощный, Лиза говорила, что это прямо иерихонская труба. — Неприятное для правительства, но, в сущности, маленькое происшествие! И ведь они как стараются изобразить в своих газетах? Читал в «Бессарабце»? Они скрывают революционный характер борьбы. Изображают твои выступления как нападения банды уголовников с целью грабежа! Вот ведь какая история! Конечно, никто им не поверит, но что-то тут получается не так...

— А ты что предлагаешь?

— Видишь ли, Григорий Иванович... ты делаешь большое дело. Ты воодушевляешь своими действиями на борьбу. Особенно крестьян. Они видят, что, оказывается, не так страшен черт, как его малюют, что нужно только осмелиться. Но на этом пути многого не добьешься.

— Так-то так, да кому-то надо начинать! Запугали бедноту, довели до полной одичалости. А ведь люди же они?

— Это как раз положительная сторона твоей деятельности...

— А что же тебе не нравится?

— Плохо, что ты действуешь вслепую, что ты сам неважно разбираешься в целях борьбы, имеешь туманное представление о методах... Что можно сделать одному? Ведь раздавят поодиночке-то, всех раздавят!

— Нельзя терпеть, сил нет терпеть!

— Ты и твои товарищи — стихийные мстители. Плохо, что эта борьба протекала без руководства партии... Нет, нам весь народ надо поднять! А это дело сложное, требует большого ума... Без партии нам нельзя.

— Может быть. Я сам иногда думал об этом.

Раны все не заживали. Нога ныла. Что мог делать Котовский в его положении, как не выжидать?

А Хаджи-Коли поднял всю полицию, бросил во все закоулки своих агентов и шпииков. Хватка у него была, у этого Хаджи-Коли. Другой бы не обратил внимания на донесение будочника, что поздно вечером девятого числа по улице проехал извозчик и вез он двоих людей.

— Знаешь извозчика? Номер запомнил?

— А что мне номер запоминать, я и так всех извозчиков нашенских знаю. Захар вез, больше никто как Захар.

Хаджи-Коли не поленился отыскать и Захара.

— Вез ночью двух седоков?

— Двух? Разве всех запомнишь? Пьяного барина из клуба вез... Потом — хи-хи — одного тут с барышней...

— Я тебя спрашиваю: двух мужчин вез?

— Вез. Разве я отрицаю. Хороший человек попался. Только я собирался полтинник с него спросить, а он мне рупь целковый вываливает!

— Кто — «он»? Ведь ты говоришь, двое было?

— Смешно вы говорите, ваше благородие. Одного-то мы высадили на Гончарной, а второго я обратно доставил на Теобашевскую.

— Дом? Дом номер? Где высадили?

— Он тут, на углу, сошел. Мне, говорит, близко...

Теобашевская — Гончарная... И почему Хаджи-Коли к этому случаю прицепился? Впрочем, он так же с десятками дворников, ночных сторожей, околоточных беседовал и в случае малейшего подозрения агентов посылал.

Гончарная улица невелика. Обшарили. С самыми большими предосторожностями...

Двадцать четвертого сентября был превосходный, солнечный, совсем летний день. Небо было такое бирюзовое, такое безоблачное. Солнце пекло. Из садовплыли запахи спелых яблок, а на мощенных булыжником улицах каждая повозка, или извозчичья таратайка, или пустая телега с мертвецки пьяным возчиком поднимали такую пыль, что некоторое время не видно было ни самой телеги, ни пешеходов, идущих по улице, ни домов. Оркестр в городском саду играл попури из «Корневильских колоколов». Все пили зельтерскую воду. На Соборной площади стояли извозчики, а от реки, из нижнего города, доносились переборы гармоники.

Словом, Кишинев был Кишинев.

Вечером стала сильно пахнуть резеда. Теплый ветер любовно ерошил листья в яблоневых садах.

А в полицейском управлении была необычайная сутолока. Хаджи-Коли распоряжался, вызывал, давал указания. Когда стемнело, тронулись. Пристава второго участка Хаджи-Коли сопровождали помощники приставов, околоточные надзиратели и самые отборные городовые — целая армия, получившая точнейшие инструкции, боевые патроны, указание — стрелять в плечо или в ноги, по возможности не убивать, «но, боже упаси вас, упустить добычу».

Заметив полицию, Котовский открыл окно, выходящее в соседний двор, выскочил, пробежал двором и перепрыгнул через забор. Но здесь он увидел буквально толпу полицейских.

У него был браунинг, но он не стал стрелять. Что толку: убил бы одного или двух полицейских, но тогда остальные наверняка ухлопали бы его.

Да и бежать он тоже не мог. Две глубокие раны на ноге давали себя чувствовать...

Котовского еще не доставили в тюремную камеру, а в типографиях газет наборщики уже набрали сенсационное известие: Котовский пойман, Котовский снова водворен в тюрьму!

— Романова тоже арестовать! — распорядился Хаджи-Коли. — Трое дождитесь его возвращения с дежурства. Он будет привлечен к ответственности за укрывательство преступника.

Как звенел его голос! Какое было в этом голосе торжество! И как он рассвирепел, когда узнал, что Романов вместе с женой бесследно исчез, кем-то предупрежденный!

7

Семь месяцев, всю осень и всю зиму, судебная машина обрабатывала дополнительные материалы следствия. А Котовский ходил на перевязки в тюремный приемный покой. Остальное время разглядывал голые стены камеры и думал.

На голых стенах кое-где трещины и пятна сырости. Если долго в них вглядываться, обнаруживаешь сочетания линий, подобие рисунков. Вот это пятно похоже на птицу, раскрывшую крылья, чтобы лететь. А в углу потрескавшаяся штукатурка напоминает голову льва.

Окошко в камере узкое, подслеповатое, оно высоко расположено, выше головы. В него не видно даже кусочка неба: снаружи к окну приделан железный козырек.

Возле камеры кроме обычного тюремного надзирателя дежурит офицер. Но Котовский думает о побеге. Нога заживает. С воли удалось получить два браунинга для побега. Друзья не дремлют.

Но вот уже и суд.

— Какое сегодня число? — спросил Котовский конвоира.

— Тринадцатое апреля, — ответил конвоир и оглянулся: с арестованными не полагается разговаривать.

Десять лет каторги... Приговор заранее был известен, но процедура суда выполнялась со всей торжественностью. Говорил председательствующий, говорил прокурор. Дали слово подсудимому. Котовский не оправдывался. Котовский обвинял. Председательствующий поморщился и лишил его слова.

Опять камера. Опять пятна на стенах, опять мысли, мысли...

Прошло лето. Разработанный план побега не удался. Двадцать третьего ноября окружной суд вторично рассматривал дело. Упорно, неукоснительно расценивали Котовского не как политического, а как уголовного преступника-разбойника. Только в секретной переписке откровенно называли его «политическим» и «опасным». На суде Котовский опять громил устои самодержавия. Председательствующий Попов позвонил в колокольчик, прервал речь Котовского и предложил ему говорить по существу. Товарищ прокурора Саченко-Сакун поддерживал обвинение. Теперь по совокупности с прежними приговорами присудили к двенадцати годам каторги.

Публику пускали в зал по специальным билетам. Возле помещения суда стояла большая толпа.

Все кончено. Прощай, Кишинев!

Звенят кандалы. На вокзале глазеют, как ведут арестованного. Кажется, мелькнуло лицо Леонтия. Или только похожий на него?

В столыпинском вагоне устроены клетки, напоминающие зоологический сад. В клетках помещаются арестованные, по узкому коридору ходит часовой. Поезд гре-

мит, паровоз заливчато кричит у семафоров. Наверное, там поля, деревни... Окон в клетушке нет.

Но вот она — страшная, безмолвная, каменный склеп — Николаевская каторжная тюрьма. Одиночная камера. Ни звука. Ни человеческого голоса. Два с половиной года — ни звука. Два с половиной года — ни человеческого голоса. Плесень, полумрак. В одни и те же часы подъем, в одни и те же часы выдача всегда одинаковой пищи. Одна из самых изощренных пыток — прогулка в течение пятнадцати минут. Это значит — только напомнить, что есть солнечный свет, есть небо, есть упительный свежий воздух (хотя какой свежий воздух в тюремном дворе!). Напомнить, что есть живой, многообразный мир, который мерещится в снах, тревожит в воспоминаниях... Напомнить — и снова захлопнуть глухую дверь.

Отвратительно взвизгивает глазок, когда надзиратель отодвигает заслон и заглядывает в камеру. Виден только его глаз. И снова визг, и снова никого. И вдруг начинает казаться, что, может быть, нет деревьев, нет ручьев, солнца, детей, музыки, нет смеющихся женщин, шумных базаров, колокольного звона... может быть, вообще ничего нет?

Немногие выдерживали этот режим, и гибли десятками.

Котовский держался. С первого дня он взял за неперемное правило делать гимнастику. С первого дня он приказал себе верить в жизнь, в свободу. Во что бы то ни стало не умереть! Борьба далеко еще не кончена!

Упражнение номер один... Упражнение номер два...

Вероятно, тюремные надзиратели считали, что он уже свихнулся. Они привыкли наблюдать, как чахнут, или сходят с ума, или просто умирают одна за другой их жертвы, запертые в одиночки.

Но мускулы у Котовского были по-прежнему упруги. Просыпаясь, он говорил себе:

— Я буду жить.

Упражнение номер один... Упражнение номер два...

Мысли. В одиночной тюремной камере мысли иногда замирают, и тогда человек находится в полусознательном состоянии, как раз посередине между чертой жизни и чертой небытия. И вдруг мысли прорвутся, хлынут

неудержимым потоком, устремятся вихрем, и здесь переплетется все: и размышления о больших неразрешенных вопросах, и какое-то особое, умудренное ощущение бытия, и воспоминания, самые неожиданные, ослепительно-яркие воспоминания давних и недавних встреч, солнечных дней, малых и больших радостей...

Этот арестант упорно не хотел умирать. Его отправили в Смоленскую пересыльную тюрьму, оттуда в Орловскую, отсюда в знаменитый Александровский централ, о котором даже сложена песня, — мрачный централ с каменными, похожими на склепы камерами.

Прошел еще год, и Котовского можно было увидеть на золотых приисках, склоненного над шурфом. Даже наемные приисковые рабочие при двенадцатичасовом рабочем дне, зарабатывая сорок копеек в день и находясь в собачьих условиях, к сорока годам превращались в полных инвалидов. Что же можно сказать об арестантах, жизнь которых и вовсе в грош не ставили ни правительство, ни тюремщики, ни владельцы золотых приисков?

И это вынес Котовский. А через год он уже таскал шпалы на постройке Амурской железной дороги, возил землю в тачке, забивал молотом костыли.

В феврале 1913 года его повезли в Нерчинские рудники, на каторжные работы. Поезд шел по угрюмым ущельям, где утесы сменяются болотистыми низинами, где безлюдье и мертвая тишина.

Среди арестантов оказался один бывалый человек. Он знал эти невеселые места и рассказывал товарищам по несчастью о жизни, которая их ожидает.

— Поздравляю вас, — говорил он с напускной веселостью, — с этого момента мы перешли из ведения кабинета его величества, распоряжающегося тюрьмами, в ведение министерства внутренних дел.

— Хрен редьки не слаще, — уныло отозвался кто-то.

— Нерчинская каторга, — продолжал рассказчик, — делится на Зерентуйский, Алгачинский и Карийский районы, в каждом из них по несколько тюрем. В Акатуевской тюрьме — вон в той стороне, влево, — содержат важных государственных преступников. Что будем делать? Добывать серебро-свинцовую руду — очень вредное для здоровья занятие. Плата — двадцать копеек в сутки, не разгуляешься. Пища плохая, жилье отврати-

тельное, смертность необычайная. Добывали тут и золотишко на Карийском прииске, не знаю, как сейчас.

Он бы много еще чего порассказал, но они уже прибыли. Котовский вглядывался в мглистую даль, озирали суровые горные вершины и голое пространство, покрытое редким кустарником. Нет, не отчаяние, не безнадежность были у него на душе. Он уже прикидывал, можно ли незамеченным пробраться по этому кустарнику и потребуется ли карабкаться по отвесным скалам.

Как только привезли новую партию, начальник Тарасюк выстроил всех во дворе, стал прогуливаться перед строем, хотя его походка была нетвердой. Язык у него немного заплетался: он ухитрялся с утра уже заправиться, а пил исключительно один чистый спирт.

— Вот что... красавчики мои... хе!.. детки мои! Вы присланы, да... да... в эти... хе... благо-сло-вен-ные места... Так я говорю, Кривцов? — обернулся он к фельдфебелю, следившему, чтобы арестанты стояли в струнку и не шумели. — Так я говорю! — ответил он сам за безмолвствовавшего Кривцова.

Мерзлая дрянь висела в воздухе. Туман не туман, но всегда была здесь какая-то дымка. Ложбина, застроенная хибарками, почерневшими избами, почерневшими банями, дровяниками, изрытая, без садилов, без единого деревца, была неприглядна, уныла. Серая одежда каторжан, серые шинели солдат, которые их охраняли, — все не радовало глаз.

— Кривцов! — помолчав и некоторое время иронически оглядывая своих «деток», продолжал начальник. — Напомни, о чем я говорил? Ах, да — благо-сло-вен-ные места. Среди вас есть старики, они знают, они вам расскажут. Я только хочу вас предупредить: сюда вы прибыли, здесь и останетесь... А? Останетесь, говорю, подохнете, проще говоря.

По мере того как он произносил речь, он все больше пьянел. Но решил держаться и все высказать.

— Пре-дупреж-ждаю! — повысил он голос. — Бежать отсюда некуда — тайга. Пробовали. Потом их находили. Не их, я неправильно выразился, а их объедки. Не лютый зверь, так мошка съест, гнус, комары. Что? Не советую.

Он посмотрел, все ли слушают и какое впечатление производят его слова.

— Все. Я вам обрисовал, если можно так выразиться. конъюнктуру... Кривцов, я правильно говорю? Мы вас будем охранять, будете получать пищу и тому подобное. Работа в шахтах. Все. А желаете — пожалуйста, не держу, отправляйтесь в побег. Христос вам в путь и богородица вдогонку! Хе! Хоть завтра!

И внезапно добавил:

— Р-разойтись!

В прибывшей партии каторжан Котовский выделялся и ростом, и всем своим значительным видом, сразу привлекавшим к нему внимание. Что было неожиданным для Котовского: оказывается, политические его знали, любили, и он сразу очутился в своей семье. Это были хорошие, образованные люди, всю свою жизнь отдавшие борьбе с самодержавием. Самые тяжелые испытания легче переносить, когда есть дружеская взаимная поддержка. И Котовский с первого же дня стал обдумывать и разрабатывать план побега.

Физический труд? Он не боялся физического труда. И ведь ему не было еще и тридцати трех! Он был полон сил, он очень хотел жить. Он спускался в глубокую шахту и возил в тачке руду.

Однажды в шахту хлынула подземная вода. Котовский чуть не утонул. Спасло только хладнокровие.

Пища здесь была лучше. Изредка можно было видеть северное небо.

Гимнастика не прекращалась, она вошла в привычку, неизменное правило. Гимнастика — и ведро ледяной воды, вылитое на шею, на плечи, на голову. Растирание — так, чтобы кожа горела. И пусть на нарах — все же молодой и глубокий сон.

Котовский все продумал. Он не ушел в побег просто так, сдуру, как некоторые бежали, особенно весной. Он исподволь расспросил, есть ли дороги, есть ли реки, как идти в лесу, — все разузнал. Он готовился больше двух лет. Он рассуждал так: ему уже за тридцать. Стоит ли так жить? Уж лучше умереть среди деревьев, на зеленом моховом настиле, под высоким небом, чем умереть здесь! Впрочем, он и не подумает умирать. И время выбрал подходящее: лютые морозы кончились, но ростепель не настала, мошки нет, реки не разлились, еще во льду, по руслу легче всего идти.

В конце февраля в Нерчинске еще и не пахнет весной. Разве что на небе появляются такие незимние, нежные прожилки. Но тоска по весеннему солнцу уже начинает тревожить.

Вот почему нескладный парень в косматой папахе, в теплых казенных валенках, в белом полушубке, в рукавицах военного образца — часовой, охранявший выход из шахты, — в такой вот тревожный, полный предчувствий и в то же время неприветливый день хлопал рука об руку, делал пять шагов вперед, пять шагов назад и напевал. Брови заиндевели, ресницы тоже, но все-таки он пел, думая о своей деревне:

На окошке у невестки
Кружевные занавески
И герань красуется,
Все интересуются...

Затем снова — пять шагов вперед, пять шагов назад... Хлоп-хлоп — рукавица об рукавицу... Ну и холодище! Какая там, к черту, весна!

На окошке у невестки
Кружевные занавески...

Котовский связал конвоира и запер его в сторожке. Взял его револьвер. Потом поднялся из шахты, убил часового, охранявшего лебедку, и ушел. Но ушел не раньше, чем переодевшись в его полушубок, нахлобучив на голову его теплую папаху, натянув на руки рукавицы военного образца и обув почти новые валенки, хотя «б/у» — бывшие в употреблении, как говорят каптеры.

Теперь можно в путь. Дорога свободна: впереди и позади, направо и налево необъятная, безлюдная, суровая и угрюмая матушка-тайга...

Их не очень охраняли, несчастных каторжан. Плохо одетые, на тяжелых работах — куда они могли деваться, когда кругом тайга?

В кармане погромыхивали куски сахара: откладывал их изо дня в день. Сахар — великое дело, сахаром можно питаться, когда бредешь по тайге. Прямоком к железной дороге было бы ближе, но приходилось идти окольным путем, чтобы не нарваться на заставу.

Могучи стволы лиственниц, разлапы ели. Звериные тропы в тайге ведут к водоемам. А по реке иди вверх по

течению и через несколько суток непременно набредешь на поселок.

Котовский шел. Сил становилось все меньше. Он думал:

«Кто не знал Сибири, пусть лучше никогда не узнает. Изобретателен на подлости человек! Ведь подумать только: какой богатый, красивый край. В нем бы жить припеваючи. А как этот край пропитали горючими, кровавыми слезами. Долго надо замаливать этот грех, чтобы не ссыльнокааторжной называлась Сибирь, а привольной страной благоденствия...»

Он шел. Шел через бурелом, через заросли, карабкался, полз, выдирался. Сахар. Конечно, этого мало. Один раз поймал зверька, его прищемило лопнувшим от мороза деревом. Он схватил его, освежевал и съел сырым. Пробовал жевать и ветки. Горечь, и образуется во рту горькая слюна. Зато воды сколько угодно. Можно есть снег. Можно пить из полыньи.

Один раз набрел на избушку. Сначала подумал: какой-нибудь военный пост. Избушка оказалась необитаемой. На деревянном неказистом столе лежали куски вяленого мяса, замерзший хлеб, большой кусок сала, спички. Около печурки — вязанка дров. Чья благодетельная рука приготовила это для тех, кто бродит в тайге?

Он поел. Спички поделил пополам, половину оставил. После некоторого колебания выложил на стол один кусок сахара. Ребята дали ему в дорогу кисет махорки. Он и махорку оставил в избушке. Обогрелся, выспался как следует, утром наготовил хворосту взамен истраченного — и отправился дальше, ощупывая кусок сала, счастливый, бодрый, набравшийся сил.

Теперь-то он дойдет! И ночи пошли светлые — луна. Все складывается в его пользу. Валенки прохудились, но он намотал на ноги разорванную куртку. Он обязательно дойдет!

На двадцатый день вышел на железную дорогу. Смотрел, смотрел на рельсы, насыпь, на телеграфные столбы и не верил глазам. Это было спасение, это была победа, это была жизнь.

Первым человеком, встреченным за время скитаний, был будочник на Сибирской магистрали, приветливый, добрый старик. Будочник накормил пельменями и уложил спать на печке под тулупом. Вот когда можно было

отогреться! Только теперь Котовский почувствовал, что промерз до костей. Холод выходил из него, тулуп пахнул чем-то домашним, уютным... И хотя впереди было много опасностей, все-таки это была настоящая свобода, настоящая жизнь.

Будочник устроил бесплатный проезд по железной дороге, подробно рассказал, в каких местах нужно особенно остерегаться. Котовский предложил ему уплатить, старик даже обиделся:

— Разве мы не понимаем, что ты за человек? Нет уж, миляга, деньги ты побереги, еще пригодятся, а мне ничего не надо. Дружба не оплачивается. Так-то.

Старик объяснил, как перебраться через Байкал, посоветовал ни в коем случае не подходить к железнодорожным поселкам и вдруг как будто даже некстати добавил:

— Не ешь с барином вишен — косточками закидает.

Котовский расстался с ним, полный расположения, полный надежд, полный веры в человека. Нужно было двигаться дальше. Хотя Котовский формально не состоял в партии большевиков, политические ссылки в Нерчинске дали ему явки...

Чита, Иркутск, Томск. Ему помогли, укрыли. Вот и паспорт на руках. Семь лет горькой неволи позади, а впереди — какая? — неизвестно какая, но жизнь!

8

Когда Котовский перевалил через Урал, стало казаться, что уже видна прекрасная его Молдова. Не ее ли сады зеленеют вон там, у горизонта? Не воды ли Днестра блеснули за кустами черной смородины?

Приходилось часто переезжать с места на место, чтобы полиция не нашла след. Работал кочегаром на паровой мельнице, подкладывал уголь в огнедышащие печи, делал в Сызрани звонкие кирпичи, ухаживал за парниковыми огурцами в Саратове, в Самаре грузил арбузы на баржи...

Арбузы грузят так: встают вереницей от складских помещений до кромки воды, до самого борта баржи. И вот начинают перелетать из рук в руки, от одного к другому круглые полосатые астраханские арбузы, и вскоре образуется непрерывный поток. Только успевай записывай бойкий приказчик с карандашом за ухом!

Красавица Волга широко раскинулась, и поигрывала волной, и пестрела серебряной рябью. Грузчики — народ плечистый, Котовскому под стать. И песни у них хорошие. И махорка крепкая. Но почему Котовскому все снится Днестр? Или Оргеевская дорога? Почему, шатаясь вдоль по Волге, по Жигулям, напевает он совсем другое?

Лист зеленый, куст терновый,
Правды нет у нас в Молдове...

Тоскует по Молдове Котовский. Смотрит, как по Волге плывут груженные лесом, красивые, как лебеди, беляны, а думает, что это извилистый Прут.

Не выдержал — весна доняла, запахи расцветающих деревьев — вернулся в Бессарабию. Снял номер в самой фешенебельной гостинице в Кишиневе, пошел в театр, заказал в ресторане солянку по-московски, свиную отбивную и бутылку «массандры».

В тот же вечер установил связи со своими друзьями, пожалел, что нет рядом умницы Миши Романова, известил через верных людей Леонтия.

И вот опять появился отряд мстителей.

— Не останавливаться ни перед какими средствами! — кричал, побагровев, полицмейстер, когда услышал о появлении Котовского. — Не есть и не спать, пока не будет пойман преступник! Что же это такое наконец? Империя мы или не империя?!

Кажется, именно к этому времени относится апоплексический удар, или в просторечии «кондрашка», хватившая достопочтенного Вартана Артемьевича Киркова. Когда его ближайший приятель с улыбочкой сообщил, что, дескать, «из дальних странствий возвратясь» и как еще там говорится, ну, словом, пожаловал в Кишинев небезызвестный Котовский, так что «готовьте, любезнейший, денежки», Вартан Артемьевич посмотрел на шутника и тихо спросил:

— Вы это что, милостивый государь, вы это серьезно? Или так? Ради неуместного зубоскальства?

— Разумеется, серьезно. Лично сам присутствовал при разговоре господина полицмейстера с представителями жандармерии. Веселенький разговор, доложу я вам!

Вартан Артемьевич молча постоял, пошатнулся, ему подставили кресло. Вечером он даже как бы и отошел. Даже играл в карты и ужинал... А ночью — хлоп — отнялась правая половина. Хотел что-то сказать, о чем-то распорядиться... Какое! Теперь он тряс головой и мычал. Наследники Киркорова допрашивали врачей, долго ли продлится такое состояние, наступит ли наконец финал, и кормили беспомощного миллионера с ложечки.

Понаехали в Кишинев сыщики. Стали делать облавы, засады по дорогам устраивать, а налеты еще участились.

Во время одной из облав, когда полицейские весь город прочесывали, один из сыщиков застал Котовского в ресторане, когда тот с большим аппетитом поужинал и теперь пил чай с лимоном, рассеянно поглядывая по сторонам.

Сыщик разлетелся к Котовскому:

— Предъявите ваш паспорт.

Котовский даже глазом не моргнул. Кончил размешивать сахар в стакане, вынул ложечку и только после этого с оскорбленным достоинством спросил подошедшего:

— Бог с вами, голубчик! За кого вы меня принимаете?

И что же? Сыщик смутился, сказал: «Пардон», — и на цыпочках удалился. Понял, что переусердствовал и обеспокоил некую важную персону. Вынул незаметно фотокарточку Котовского, сличил — не то обличие. Недаром потрудился Григорий Иванович над гримировкой!

А важный барин постучал ложечкой, подозвал официанта и сказал ему ласково, как говорят только одним официантам:

— Прошу тебя, голубчик: два бутерброда с сыром. И быстренько! Да смотри, чтобы свежие были и обязательно со слезой!

— У нас все со слезой! Не извольте беспокоиться! — ответил тощий зализанный официант. — У нас без слезы не бывает!

Но вот и с бутербродами управился. И сколько же можно слушать рыдания скрипки, нестройные голоса подвыпивших кутил?

Эх, загулял, загу-лял, загу-лял
Парни-шка ма-ладой да мала-дой...

В красной рубашончке,
Скажи мне, кто такой!..

— Сколько с меня?

— Сию минуту!

Вот входит в зал мой милый,
Растрепаны усы.
Берет он черну шляпу
И смотрит на часы...

Это уже певичка вышла на крохотную эстраду, свер-
кая фальшивыми драгоценностями.

Смотри, смотри, мой милый,
Смотри, который час!
Наверь-но... наверно...
Разлучат скоро нас!..

Вышел на улицу — чудесный вечер. Но эти переоде-
тые городовые, эти шустрые молодые люди, заглядываю-
щие в лица прохожих...

«Кажется, облава не кончилась», — подумал с трево-
гой Котовский.

Ему встретились подозрительные люди — штатские,
но с военной выправкой. Котовский без колебаний шаг-
нул на ступеньки собора, снял котелок, мелко перекре-
стился и вошел в открытые двери.

Шло богослужение, гудел дьякон, на клиросе церков-
ные певчие следили за палочкой регента и, скучая, щи-
пали друг друга и фыркали в кулак. Котовский протис-
кался вперед и стал разглядывать стоявшую впереди
барыню, рыжую, тощую, истово молившуюся, по-види-
мому, наделавшую много грехов.

И вдруг совсем рядом, справа, он увидел не кого-ни-
будь, а пристава второго участка Хаджи-Коли, того са-
мого, что арестовал его на Гончарной.

Котовский передал деньги, шепнув: «На свечку».
Деньги, переходя от одного прихожанина к другому, по-
пали в руки толстого церковного старосты, затем так же
по рукам пошла восковая свеча. Котовский сделал шаг
влево, чтобы поклониться к старушке и зажечь от ее
свечи свою.

«Какое знакомое лицо! — размышлял между тем Хад-
жи-Коли. — Где бы я мог его видеть? Или похож на
кого?»

Важный господин изредка и не слишком поспешно крестился. Оно и понятно: солидные люди даже в общении с вездесущим сохраняют собственное достоинство.

Еще раз два скопил глаза на незнакомца пристав Хаджи-Коли. Ничего не припомнил. Постарался настроиться на соответствующий моменту лад. Он был верующий, являлся к началу церковной службы так же аккуратно, как в полицейское управление, крестил лоб при каждом возгласе «аминь» и считал непристойным думать о посторонних вещах во время молитвы.

Когда же он не выдержал характера и еще раз покосился, незнакомца господина уже не было. Вышел или протиснулся к левому клиросу?

Котовский решил после этого случая перебраться из Кишинева в любое глухое местечко. Слишком много полиции нагнали в Кишинев!

Ему удалось поступить на полевые работы в имении Бардар в Кишиневском уезде. Работа была поденная, поэтому никто не спрашивал, если случались отлучки. Заработал — получай. Не явился — не надо.

Здесь среди работников со многими сдружился. Народ все трудовой, и разговоры среди них беспокойные: клянут порядки, бранят царя, ругают помещиков.

— Убивали их в девятьсот пятом! — толковал один во время перекура. — И мало еще.

— Пусть живут, только землю у них отнять. Нахватали земли, а обработать своими руками не могут.

— Землю они не отдадут! На это не надейся! Смотри, чтобы у тебя последнюю не забрали, — устало говорил пожилой крестьянин, залатанный, нечесанный, жалкий.

И Котовский тоже вставлял свое слово:

— Вот сейчас у кого мы работаем? Он не помещик, наш хозяин, а помещику не уступит. Маленький помещик, попросту кулак-хуторянин.

— Мал, да удал, — отозвался другой собеседник Котовского, помоложе.

— У нас, в Татарбунарах, крестьяне на общем сходе постановили не охранять казенные учреждения. Довольно! И десятских отказались представлять. Вот как у нас.

— А те что?

— Бунт, говорят.

— Пускай бунт. Какая разница?

— Смотрите, мы толкуем про бунт, а никак, к нам стражники пожаловали.

Не успели договорить эти слова, как тот, что помо-
ложе, вскочил — и только его и видели.

— Не нравится, стало быть, со стражниками встре-
чаться, — усмехнулся пожилой. — Ну, да оно и верно,
лучше от них подальше. Облава, поди, на дезертиров.
А что толку? Выловят их, сдадут коменданту, а они
опять разбегутся. Устал народ воевать.

Стражники спешили. Следом прискакал на коне
пристав Полтораднев, деловой, старающийся выслу-
житься перед начальством. Полтораднев слез с коня.
Мужики толпились поодаль, но тоже слушали и глазели.
Оказывается, речь шла о Котовском. Полтораднев рас-
пушил стражников, что они плохо ловят.

Котовский стоял рядом с пожилым крестьянином,
слушал, как распекает стражников Полтораднев, и улы-
бался. Узнать его было трудно.

Полтораднев вынул аккуратно сложенный носовой
платок, вытер пот на лбу, вскарабкался на седло и
уехал.

— Сам бы ловил, — ворчали стражники, — накри-
чать — немудреное дело.

Котовский подошел поближе:

— Здорово, служивые! Это кто такой сердитый при-
езжал?

— Пристав. Ему что — поговорил да уехал, а мы
уже неделю по дорогам мотаемся.

— Так вам будет хоть награда какая или повыше-
ние, если вы изловите этого Котовского? А то я бы вам
помог его изловить?

— Уж коли мы не можем, где тебе!

— Ну все-таки... Я-то местный, мне легче просле-
дить.

— А ну тебя. Ты проследишь, а в нас он стрелять
будет.

— Это стражнички правильно говорят, — поспешно
согласился пожилой крестьянин.

А когда они остались одни, добавил:

— Постыдился бы ты, бога бы побоялся: Котовского

помогать ловить! Не ожидал я от тебя, человек ты ровно бы умный, а вон до чего додумался!

— Дядя, да ведь я и есть Котовский.

— Да ну-у?! А не врешь?

— Чего мне врать?

— Вот это здорово! Тогда, значит, ты правильную линию держал.

— А теперь мне надо отсюда убираться. Будь здоров, землячок!

— Пошли тебе бог удачи! А уж я этой встречи вовек не забуду!

Котовскому удалось раздобыть новый паспорт на имя Ивана Рошкована. Не говоря о том, что сам паспорт был отличный, что называется — комар носа не подточит, но помимо паспорта были выправлены все документы, удостоверяющие, что Иван Рошкован — белобилетник, призыву в войска не подлежит, и медицинские справки о хромоте и о том, что правая нога Рошкована короче левой на пять сантиметров — иди проверь.

Котовский наложил в левый сапог несколько стелек и в самом деле стал припадать на правую ногу.

Белобилетник и притом вполне здоровый и работоспособный — это ли не клад для любого рачительного хозяина! Да еще в такое трудное время, когда вообще рабочих рук не хватает, когда у крестьян половина земли осталась незасеянной, — некому работать, все в армии!

Георгий Стаматов на вотчине Кайнары был нового типа помещик, выбившийся из мужиков. Георгий Стаматов сам этим очень гордился.

— Я простой мужик, — бил он себя в грудь узловатым, с грязными ногтями, с уцелевшими еще мозолями кулачищем, — я простой мужик, и род мой мужицкий, и знаю я мужицкую породу, все ухватки знаю их, как облупленных! Старого воробья на мякине не проведешь! Мне подавай работу! А ты, Иван, вижу, дельный человек, мы с тобой поладим.

На земле Стаматова работали пленные австрийцы, рыли окопы. Стаматов и австрийцев нанимал на полевые работы.

Стаматов был из хуторян, разбогател на столыпинской реформе, обобрал крестьян, захватив лучшие земли. А потом нажился на поставках в армию. Умел сунуть взятку кому нужно, умел продать и сопревшее сено и мясо с душком.

Нахватал денег, а тратить не умел, жил по-деревенски, только что еды был непочатый край да вина покупал самые дорогие, хотя сам предпочитал казенную, белую, с белой печатью.

И все его приобретения были одно нелепее другого. Привез из Кишинева необыкновенные, под стеклянным колпаком, старинные часы. Часы не шли, заводились ключом, но пружина, по-видимому, не действовала, да и внешний вид часов не соответствовал обстановке стаматовского дома. Но Георгий Стаматов радовался как дитя.

— Какова покупочка, Иван? Хороша?

— Что говорить, часы музейные.

— Вот! Правильное слово! А мне бы всю жизнь думать, а так не называть. Музейные! Поставлю их в посудном шкафе и пущай стоят, хлеба не просят. А время я по петухам узнаю, куда точнее, да и ходики у меня есть, с гириями, честь по чести.

Сеялку тоже купил Стаматов. Купил велосипед: «Вот вырастет внук — будет ездить, я-то не любитель». Еще граммофон приобрел, громадный, с голубой гофрированной трубой. При граммофоне десять пластинок: Вальцева, вальс «На сопках Маньчжурии», архиерейский хор, краковяк, хор Архангельского, «Дубинушка» Шаляпина, «Так целуй же меня», кек-уок, полька и «Коробейники».

Граммoфон ставился у открытого окна, заводила его свояченица Стаматова Дуня. Граммoфон кашлял, хрипел или орал благим матом, привлекая внимание пленных австрийцев. Стаматов сидел на крыльце и пил чай.

Кончался июнь. Стояли жаркие удушливые дни. Где-то поблизости погромыхивали грозы. Все сразу созрело, все требовало немедленной уборки, хлеб начал осыпаться; а тут поспела и малина, яблоки надо было снимать, покосы задержались, сломалась косилка «Мак Кормик», и негде было починить.

— Как у нас ячмень? — с тревогой спрашивал Стаматов.

— Тоже осыпается. Надо убирать.

«Докладная записка кишиневского полицмейстера начальнику Бессарабского Губернского Жандармского Управления
г. Кишинев 26 июня 1916 г.

Получив сведения о том, что разыскиваемый беглый каторжник Григорий Котовский находится в имении Стаматова, на вотчине Кайнары, в качестве ватаги, 24 сего июня я предложил кишиневскому уездному исправнику Хаджи-Коли принять участие в задержании преступника. В тот же день я с исправником Хаджи-Коли, приставом 3-го участка Гембарским и еще несколькими чинами вверенной мне полиции выехали на автомобиле в названное имение. 25 июня Котовский разъезжал по экономии и верхом же скрылся. За ним была устроена погоня. Скрываясь от погони, Котовский менял головной убор, слезал с лошади (возможно, по причине усталости последней) и прятался в хлебах, пользуясь их большим ростом. Наконец в 5 с половиной часов вечера он был замечен в ячмене; я подбежал к месту, где ячмень шевелился, и, увидев Котовского, потребовал поднять руки вверх, но так как он исполнением этого моего требования медлил, я произвел в него выстрел, коим ранил его, Котовского, в левую сторону груди. К тому времени подбежали и другие члены полиции; Котовский задержан и доставлен в Кишинев. Об этом имею честь уведомить ваше высококородие и присовокупить, что пока Котовский под строгим караулом содержится в кордегардии 1-го участка.

Полицеймейстер *Зайцев*».

«Ну, теперь-то они меня уколошат, не выпустят живым, — размышлял Котовский, лежа на больничной койке

в тюремной больнице, — тем более, что время военное, сейчас повесить — проще всего».

Белые потолки, белые стены. Доктор в белом халате, но виднеется военная форма из-под халата. Щупает плечо, щупает ребра:

— Больно? Здесь больно?

И уходит, покачивая головой:

— Здорово вас, батенька мой, разделали!

Почему доктора любят говорить «батенька мой»?

В открытое окно слышно, как воркуют голуби. И вдруг песня. Котовский так и взметнулся на койке, и только резкая боль заставила его опять лежать неподвижно.

Чей-то голос негромко напевал:

Песни слез и цепей
Создаются в тюрьме
Под давлением горя и скуки.
Нет спокойствия в ней,
Только грезы во сне
Облегчают страдания муки.

Голос замолк. Вместо него донесся грубый окрик:

— Чего разорался-то?

И снова тишина, почти ощутимая своей давящей тяжестью, сгущенная, сжимающая сердце, — тюремная тишина. Тишина и на следующий день... и через неделю...

Да, они ненавидели его. Даже в этом молчании, в мертвой тишине чувствовалась их злоба. Они ненавидели всеми силами своих поганных душонок — все эти помещики скоповские, купцы гершковичи, приставы полторадневы. И они мстили ему за весь пережитый ими страх, за дрожь в коленках, за пылавшие усадьбы, за направленное на них дуло пистолета. Они достаточно убедились, что его не сломить никакими тюрьмами. И они жаждали его смерти, они захлебывались от жгучего нетерпения: когда же наконец его повесят! Предчувствуя свою неминуемую гибель, они тешили себя напрасными надеждами, что стоит только уничтожить его, одним своим именем звавшего на борьбу и восстание, — и как-нибудь все утрясется, наладится.

Котовский, несмотря ни на что, быстро поправлялся. Вскоре он был переведен в камеру, а в первых числах июля в арестантской одежде, в специальных ножных кандалах, скованный ручными кандалами с другим пе-

ресыльным арестантом, в сопровождении большого конвоя, в окружении тюремного начальства должен был проследовать в партии особо важных преступников на кишиневский вокзал для отправки в Одесскую окружную тюрьму.

— Вы уж доведите дело до конца, — обратился к Хаджи-Коли полицмейстер, пригласив его для этого к себе. — Вы понимаете сами, мы ни на кого не можем положиться. Вы его выследили, вы его доставили в тюрьму, на вас возлагаю личную ответственность за доставку арестованного до арестантского вагона. Дальше с вас ответственность снимается.

Но Хаджи-Коли и сам готов был оберегать Котовского и сидеть, не отходя, возле его камеры, только бы не повторилась старая история с побегом. Какое счастье! Какая удача! На этот раз Хаджи-Коли не промахнулся. Не кто-нибудь, а именно он выследил добычу и затем оповестил полицмейстера. Он радовался как ребенок и с какой-то даже нежностью говорил Котовскому, когда этап уже приготовили для отправки на вокзал:

— Дорогуша! Как жаль, что теперь вас непременно уж повесят, очень интересно было вас ловить. Но мне весьма лестно, что не кто-нибудь, а именно я, Хаджи-Коли, сцапал вас в финале, так сказать, нашей с вами игры в кошки-мышки...

— Давайте условимся, Хаджи-Коли, что, если когда-нибудь вы попадетесь мне, — чур, не просить пощады! — ответил Котовский.

Очень позабавили пристава такие речи. Можно сказать, кусок мыла для намыливания веревки уже приготовлен, вот он, в руке, а этот несчастный все еще на что-то надеется!

— Уж не думаете ли вы, что вам и на том свете удастся создать банду головорезов?

— Ну, нет, я еще поймаю вас здесь, на земле!

— Ай-ай-ай! И это говорит тот, кто должен испытывать одну благодарность к властям: ведь вы, милейший, совершили, по самому скромному подсчету, сотню преступлений, из которых каждое карается смертной казнью, а повесят-то вас всего один раз.

Вся физиономия пристава сморщилась, глаза сощурились, он смаковал этот момент полного своего торжества. Ему еще, еще хотелось бы сказать что-нибудь

едкое арестованному — этаким подорожничек — хе-хе — подорожничек на тот свет. Но он только хихикал, ничего не придумав.

Был жаркий июльский день. Даже в тени держалась нестерпимая духота. Листья в садах поникли и съежились. Мостовая раскалилась. Над железными крышами струился и трепетал горячий воздух. Офицеры, конвоировавшие этап, то и дело обтирали носовыми платками потные лбы, вспотевшие шеи и поправляли обмякшие подворотнички.

— Пора, — сказал лично присутствовавший при отправке полицмейстер, взглянув на тяжелые золотые часы.

С отвратительным визгом, лязгом и скрипом распахнулись тюремные ворота. В крохотные тюремные окна выглядывали арестанты, провожая этапников. Арестованных вывели из тюрьмы и повели мимо безмолвствующей толпы, собравшейся, чтобы посмотреть на смертников.

На вокзале Хаджи-Коли не удалось поговорить с Котовским или хотя бы бросить ему напутственное слово. Он видел, как Котовский вошел в вагон — сильный, молодой, красивый даже и в этой безобразной, арестантской одежде.

Когда Котовский оглянулся, Хаджи-Коли перекрестил воздух, как бы благословляя Котовского в последний путь. Но Котовский его не видел, он смотрел поверх толпы на покидаемый город.

Арестованных разместили в вагоне, они перешли в ведение другого конвоя.

«Вешать будут в Одессе, — догадался Котовский, — так им сподручнее...»

Чувствовалась лихорадочная спешка в действиях тюремных властей и в производстве дела. Как будто боялись не успеть. Или опасались этого человека, даже когда он сидел за семью замками? Думали: войдешь к нему в камеру, а его нет, и след простыл?

Котовский, как только очутился в Одесской тюрьме, сразу же стал думать о побеге. Шаг за шагом, наблюдение за наблюдением, там случайно брошенное слово надзирателя, здесь внимательное разглядывание во время прогулки, — Котовский изучил расположение тюр-

мы, размещение караула, высоту стен, прочность решеток.

Чтобы затянуть дело, Котовский сочинял одно за другим заявления, писал путаные, противоречивые, выдуманные им «автобиографии», взывал к милосердию, каялся, а сам тем временем готовился к побегу.

Котовский ходил взад и вперед по камере. Он высчитал, что если пересекать камеру по диагонали, но не прямо, а старательно огибая сначала привинченный к стене столик, а затем железную койку, тоже прикованную, то получится десять шагов, то есть пять метров. Сто раз пройти взад и вперед — значит совершить прогулку в один километр. Сделав один километр, Котовский на стене ставил черточку. Постепенно он довел свои прогулки до двадцати километров. Он должен был приучить себя совершать большие переходы. Ведь, может быть, после побега придется идти пешком.

Но вот и последняя надежда рухнула. С утра он услышал шум, шаги, чьи-то приказания, чьи-то команды. Затем загремел замок:

— Выходи.

Его повезли в суд. Да, они очень торопились.

Трехэтажное здание Одесского военно-окружного суда выглядело очень эффектно. Его фасад говорил о прочности абсолютизма, о неколебимых устоях Министрства юстиции. По фасаду второй и третий этажи украшены шестью колоннами, а в первом этаже пять ниш и соответственно пять массивных тяжелых дверей. Крыша обведена барьером из небольших колонок. Все это вместе создает впечатление непреложности, судьбы. Каждый входящий в эти двери невольно испытывает некоторую робость.

Котовский занял свое место — за решеткой и с двумя стражами у двери.

Тяжелая скатерть на столе, толстые, пожелтевшие от времени своды законов, безучастные лица судей, пустующие стулья в глубине зала — все это производило впечатление похоронной пышности. Как будто все эти важные господа уполномочены были стоять у врат, ведущих в преисподнюю.

Вся процедура была выполнена. Состоялись, как полагается, прения сторон. В окна с их тяжелыми бархатными гардинами еле проникал солнечный свет. Мертвенно сияли электрические люстры. Лица судей казались восковыми.

Гулко прозвучали под сводами заключительные слова приговора:

«Четвертого октября тысяча девятьсот шестнадцатого года... Суд постановил: подсудимого Григория Котовского, тридцати пяти лет, подвергнуть смертной казни через повешение...»

Задвигались стулья. Прокурор подошел к защитнику и о чем-то оживленно стал говорить. Председатель суда собрал папки и вышел в боковую дверь, украшенную резными, из дерева, львиными головами.

«Через повешение»... Теперь предстоит последняя в жизни задача: Котовский решил, что не даст себя повесить, лучше погибнет в схватке с палачами. Может быть, удастся, прежде чем прикончат, задушить, уничтожить хоть одного... хоть одного!

«Через повешение»... Однако нервы сдали. Ночью снился помост, веревка на перекладине...

«Ну нет! Повесить им меня не удастся!»

Целые дни в камере идет работа: Котовский тренирует мускулы, изучает приемы удара. Выпад — раз! Нужно выработать такую силу, чтобы одного удара было достаточно на одного палача. Они, конечно, попытаются сначала его схватить. На этом он выгадает несколько минут... Затем им будет неудобно стрелять на близком расстоянии, они побоятся перебить друг друга. Это тоже в его пользу. Если он успеет выхватить револьвер из рук офицера...

Котовский делает выпады, прыжки... Надзиратель заглядывает в глазок, отскакивает и звонит по внутреннему телефону:

— У шестого номера, — сообщает он, — буйное помешательство! Срочно врача и санитаров поздоровее!

Главнокомандующий Юго-Западного фронта генерал от кавалерии Брусилов, брезгливо сморщившись, выслушал доклад генерал-майора Захарова, принесшего целую кипу бумаг на утверждение. Захаров видел, что

главнокомандующий не в духе, и чувствовал себя виноватым, будто это он, Захаров, насочинял столько докладов, заявлений, да еще явился по вопросу конфирмации приговора.

— Вот еще одна, ваше высокопревосходительство, — смущенно и огорченно бормотал Захаров, подсовывая бумажку.

— Ну что еще там такое? — спрашивал генерал, разглядывая подsunутую бумажку с таким отвращением, как будто перед ним бросили на стол таракана или мышь.

И Захаров поспешно излагал содержание бумаги.

«У нас всегда так, — с раздражением думал генерал, — чем хуже дела, тем больше писанины».

А дела были далеко не блестящи. Война тянулась третий год и истощила последние ресурсы страны. Румыния два года не вступала в войну, выжидая, на чьей стороне будет перевес, чтобы присоединиться к победителям. Наконец в 1916 году она сделала выбор. Двадцать седьмого августа объявила войну Австро-Венгрии, двадцать восьмого августа — Германии, тридцатого августа — Турции, тридцать первого августа — Болгарии, а в конце сентября была разбита наголову и почти целиком оккупирована немецко-австрийскими войсками.

На левом фланге создавалась угроза для русского фронта. Русское командование перебросило на Румынский фронт тридцать пять пехотных и тринадцать кавалерийских дивизий — чуть не четвертую часть всех вооруженных сил России. Фронт удлинился почти на шестьсот километров...

«Удружила Румыния, нечего сказать! Осчастливила!» — сердился главнокомандующий.

Он почти не слушал Захарова. Мысленно прикидывал все эти цифры, данные и делал безотрадные выводы. Голод, дороговизна, дезертирство, инфляция... Радоваться пока что нечему.

— Вот еще... — совсем упавшим голосом докладывал генерал-майор. — Постановление Одесского военно-окружного суда... Подвергнуть смертной казни через повешение...

— Они с ума сошли! — окончательно рассердился главнокомандующий. — Честное слово, эти обсыпанные

нафталином судебные чучела не понимают, что мы живем накануне революции. Повешение! Чтобы потом газеты раскричались на весь мир. Кого они там решили повесить?

— Котовского. В некотором роде знаменитость.

— А! Слыхал. Читал его записи автобиографического характера. С темпераментом изложено, чувствуется незаурядная личность. Нет, его-то уж никак нельзя повесить...

Брусилов задумался.

— Вот что, — произнес он наконец. — Напишите: «Приговор утверждаю, заменив смертную казнь каторгой без срока».

— Мудрое решение, ваше высокопревосходительство! Проявлен гуманизм и... ничего в сущности не изменится...

Брусилов пожал плечами:

— Единственное, что можно сделать.

И он захлопнул папку, показывая, что разговор окончен.

Вскоре узники Одесской тюрьмы услышали раскаты «ура», грохот оркестров, пение «Марсельезы». Это долетели отзвуки Февральской революции. События разворачивались с нарастающей быстротой. Новости волновали, вызывали споры, обсуждения. Одно за другим приходили сообщения: Николай Романов отрекся от престола! Создан Временный комитет Государственной думы! Возглавляет Родзянко!

— А что это за Родзянко?

— Родзянко-то? Монархист!

— Создано Временное правительство во главе с князем Львовым...

— Опять князем! И всегда выкопают откуда-то князей!

— Временное, временное, — удивлялся простодушный парень, один из завсегдатаев Одесской тюрьмы. — А когда же будет постоянное?

— Постоянное есть, — ответил матрос, присланный для наблюдения за тюремной администрацией. — Советы рабочих, крестьянских, матросских и солдатских депутатов.

Одесский Совет рабочих, крестьянских, матросских и солдатских депутатов потребовал освобождения Котовского из тюрьмы.

— Хорошо, — ответили им в суде, — но что вы-то за него хлопчете? Ведь это же уголовный, а не политический преступник. Впрочем, есть соответствующие инструкции, есть комиссия, учрежденная Керенским, там все и разберут. Только без анархии, господа-товарищи! Только, ради бога, без анархии!

И опять заседает Одесский военно-окружной суд, опять постлана на стол тяжелая зеленая скатерть. И те же восковые лица за огромным мрачным столом на черных стульях с высокими резными спинками.

Председательствующий, тонко улыбаясь, призывает господ членов суда быть демократичными.

— Не вижу большого смысла посылать подсудимого Григория Котовского на каторгу. Или он убежит еще по дороге, или будет освобожден деморализованной толпой, которая опьянела от восторга и которую еще не скоро удастся уговорить.

Члены суда кивали головами:

— Безусловно! Безусловно!

— Господа! Мы — патриоты. Мы требуем: «Война до победного конца». Я предлагаю подсудимого Котовского, учитывая постановление Временного правительства от семнадцатого марта...

Председательствующий сделал эффектную паузу и закончил:

— У-с-л-о-в-н-о освободить от наказания и передать в ведение военных властей.

— Правильно! — вдруг выкрикнул представитель комиссии, нарушая порядок заседания, прерывая самого председательствующего и высказываясь от полноты чувств. — Мы его помируем и пошлем в маршевую роту, на передовые позиции, где его с пользой для отечества и — я не ошибусь, если скажу, — к полному всеобщему удовольствию убьют в первом же бою!

Так состоялось помилование Котовского. Его поздравляли, затем обмундировали и пожелали счастливого пути.

Шинель была грубая, сапоги немного жали. Начиналась новая и непонятная пока полоса жизни.

Четвертого августа 1917 года Котовского отправили на Румынский фронт. Одновременно переслано было секретное указание: для искупления тягостной вины кровью желательного вышеименованного Котовского передать в самую опасную и несущую наибольший урон воинскую часть.

— В саперы его? — вопросительно произнес полковник, прочитавший секретную рекомендацию.

— Зачем же? В разведку! В сто тридцать шестой Таганрогский полк! Он как раз не укомплектован.

Есть такая русская сказка: злая мачеха посылает нелюбимую, неродную дочку, писаную красавицу, в зимнюю стужу в лес на верную гибель. Но всем мила и любезна хорошая девушка. Она не только не гибнет, но еще и возвращается из лесу с богатым приданым.

Так и Котовский. Как ни старались враги уничтожить его, находчивость, удивительная жизнеспособность и неизменное расположение к нему народа, всех тех людей, которые близко узнавали его, — все это выручало Котовского. Из всех бед и несчастий он выходил невредимым и еще более сильным и приспособленным для борьбы.

Находиться в разведке! Вот когда он доподлинно узнал все законы войны!

Начальник разведки унтер-офицер Трофимов после первого же дела удивленно заметил:

— Ты, заметил я, каждой пуле не кланяешься. Обстрелянный?

— Бывало, — осторожно ответил Котовский.

Оружие у него в образцовом порядке, начищено, блестит. Но никакого бахвальства в этом новом разведчике. И товарищем оказался хорошим.

Ходили они в тыл неприятеля. Попадали в большие переделки. Ловок и находчив был Котовский. Унтер Трофимов даже подумывал, не из разжалованных ли офицеров этот здоровяк.

Однажды, находясь в тылу противника, разведчики увидели, что немецкие войска перегруппировались, подошли со всеми предосторожностями вплотную к располо-

жению таганрогцев. Котовский, переодевшись в шинель убитого немецкого солдата, побывал среди передвигающихся по дорогам обозников.

— Сегодня на рассвете они разгромят наш полк, — сообщил, возвратясь, Котовский.

— Так ты что? — спросил окончательно сбитый с толку Трофимов. — Ты и по-немецки можешь?

Необходимо было срочно пробраться в свое расположение и предупредить командование полка. Но тут случилось непредвиденное: они наткнулись на немецкий секрет, и первая же пуля сразила Трофимова. Правда, вслед за этим без лишнего шума, без стрельбы секрет был заколот штыками.

Само собой получилось, что Котовский принял командование разведчиками.

Пока продолжалась вся эта канитель, начало светать. Теперь они уже не успеют предупредить, вот-вот начнется атака. Котовскому представились безмятежно спавшие таганрогцы, большей частью молодежь. Вряд ли кто из них уцелеет.

И тогда Котовский решился на отчаянный шаг, быстро растолковал свой план разведчикам, увлек их своей затеей. Они кустарником подобралась к приготовившимся идти в атаку немецким пехотинцам и с криками «ура», с отчаянной пальбой бросились вперед.

«Русские в тылу! — разнеслась весть среди немцев. — Измена!»

Началось что-то невообразимое. Немецкие солдаты бросали оружие и бежали. Офицеры кричали, пытались восстановить порядок. Куда стрелять? Как отбиваться?

Беспорядочная стрельба обнаружила так умело подкрадывавшуюся немецкую пехоту. Таганрогцы успели подняться и пошли в атаку. Котовский в эту ночь понял, что в бою успех решает не количество штыков, успех решает находчивость и внезапность удара.

В полк пришло пополнение — солидные люди, много бородачей. Котовский обрадовался землякам, были даже из Кишинева.

И здесь Котовский встретился с людьми, которые сразу же ему понравились. Особенно он сблизился с одним. Фамилия его была Ковалев, звали его Иван Михайлович. Был он удивительно спокойный, невозмутимый

человек. С ним спорят, горячатся, поднимают невероятный крик. Он выслушает и потом как начнет резать — обстоятельно, веско, толково — и в то же время спокойно ответит на каждое возражение и так расскажет, что только из упрямства можно с ним не согласиться. Он говорил и ребром ладони по колену себя ударял, это у него привычка была:

— Русский солдат — такого другого нет и не будет. Но до чего же бездарна ставка верховного главнокомандующего! Солдат у нас замечательный, а правительство ни к черту не пригодно, и давно пора бы его прогнать.

Ковалев улыбнулся:

— Царя прогнали. А может быть, и еще кого-нибудь прогоним? Сами судите, товарищи: война-то выгодна только терещенкам да родзянкам. А что, если им тоже по шеем?

Все рассмеялись: отчего бы и нет?

Оказывается, и внутри Совета шла отчаянная борьба, в Исполнительном комитете засели меньшевики, они поддерживали Временное правительство, уговаривали сражаться до победного конца и преследовали большевистскую пропаганду.

2

Весть о победе Великого Октября, о событиях в революционном Петрограде докатилась до Румынского фронта, до городов и весей Молдавии.

Рабочие Кишинева вышли на улицу с плакатами, приветствовавшими Советскую власть. Представители буржуазной молдавской национальной партии спешно сколачивали свой орган — Бессарабский краевой совет.

— Мы должны создать свое государство! — ораторствовал на заседаниях этого нового органа власти помещик Херца. — Нам поможет великая королевская Румыния. Что касается этих... большевиков... то, как говорится в английской газете «Таймс», «большевизм надо лечить пулями»!

В эти же дни о событиях на улицах революционного Питера, о взятии Зимнего дворца, о Смольном, о Ленине рассказывал солдатам своего полка вернувшийся со Второго съезда Советов Ковалев. Он был полон воодушевления, глаза его лучились, голос звенел. Он при-

вез принятое на съезде воззвание «Рабочим, солдатам и крестьянам!»

— Представляете, товарищи, — рассказывал он, — съезд заседал всю ночь с двадцать пятого на двадцать шестое октября, и мы даже не заметили, как пролетело время!

Котовский выспрашивал Ковалева:

— И Ленин выступил? Расскажите все подробно! Как он выступил, к-какой он из себя? Нет, вы уж все, с самого начала: как приехали в Питер, как пришли в Смольный... Ага! Костры, говорите, на улицах горят? Холодный день? И броневиков много около Смольного? И пулеметы в чехлах у подъезда?

Ковалев много и охотно рассказывал. Даже о том, что Керенский бежал из Гатчины, переодетый сестрой милосердия, даже о том, как меньшевики и эсеры демонстративно ушли со съезда, а им кричали вслед: «Дезертиры! Лакеи капиталистов!»

Котовский был необычайно взволнован. Он слушал, он ловил каждое слово Ковалева. И наконец сказал:

— В-вот оно, главное, вот оно, настоящее. И как просто и ясно: отдать народу землю! Ведь это понятно к-каждому, правда ведь, Иван Михайлович? Отдать землю крестьянину! Рабочим и крестьянам взять власть в свои руки! А как быть с армией? Распустить? Отказаться от наследства, которое оставил проклятый царизм? Старая армия, старая полиция, старые чиновники... Ведь никак нельзя в старую посудину лить новое вино? А? Как вы считаете, Иван Михайлович? Новую надо армию создавать? Совсем новую, не похожую ни на какие другие!

Долго они сидели.

— Вот видите! — воскликнул Котовский, — мы тоже не заметили, что пролетела ночь, как и на том съезде! Вы не сердитесь, что я вас так расспрашиваю. Для меня это очень важно. Я прожил длинную и, сказать по правде, горькую жизнь. Только сейчас и начинаю жить. Только сейчас и родился. Мой год рождения — тысяча девятьсот семнадцатый год!

Таганрогский полк и дивизия в целом отправили в адрес Петроградского Совета приветственную телеграмму:

«Посылаем свой горячий привет истинным защитникам и поборникам свободы, революции и мира — Петроградскому Совету рабочих и солдатских депутатов. Мы заявляем, что поддержим его силой штыков».

Котовского избрали в полковой комитет. Котовский ушел с головой в новые заботы. Он ничего не умел делать наполовину. Вскоре он был уже председателем полкового комитета. Шла подготовка съезда. Дня не хватало, чтобы справиться со всеми вопросами, побывать в частях, разобраться в конфликтах, провести беседы и митинги...

Армия была как кипящий котел. Все бурлило, все волновалось.

Галац. Румынский южный городок. Черепичные крыши и узенькие улицы. И холодный осенний ветер. Флотский арсенал, корабельная верфь и двадцать три церкви. Примечательный городок.

Котовского одним из первых выдвинули делегатом на армейский съезд 6-й армии, и он незамедлительно прибыл по назначению.

Делегатов встречали с почетом, разместили со всеми удобствами, обеспечили питанием. И с первого же дня начались ожесточенные споры, выкрики с мест, демонстративный уход из зала... Бурно проходили заседания.

Котовский тоже выступал. Оказывается, его знали! Когда председатель объявил, что сейчас выступит Котовский, и Котовский появился на трибуне, грянули аплодисменты, и, как ни шикали меньшевики, аплодисменты все нарастали. Это был счастливый момент, вознаграждение за все пережитое. Котовский был взволнован до глубины души. Слова его были простые и доходили до всех.

— Не знаю, — закончил свое повествование Котовский, — может быть, я и не сумею выразить то, что чувствую. Но мне кажется, что я еще раньше, еще не зная партии, был в душе уже большевиком. Я с первого момента моей сознательной жизни, не имея еще тогда никакого понятия вообще о революционерах, был стихийным коммунистом. Я понял это только теперь, когда могу на этом съезде, не колеблясь, примкнуть к большевикам.

Котовский на съезде был избран в состав армейского комитета. Президиум комитета послал его в Кишинев-

ский фронтотдел Румчерода для связи и представительства.

Слово «Румчерод» составилось из трех частей: «рум» — румынский, «чер» — черноморский, «од» — одесский. Румчерод — это Совет рабочих, солдатских, крестьянских и матросских депутатов Румынского фронта, Черноморского флота и Одесского военного округа.

3

Странно и радостно было вновь подъезжать к родному городу.

Котовский вышел из классного вагона, прошел через вокзал и направился к центру города. Здесь начинались маленькие улочки, разбегавшиеся во все стороны. Отсюда был виден и железнодорожный поселок, где когда-то жил Михаил Романов. Вот бы когда Миша пригодился! Вместе бы стали разоблачать лжепророков из «Сфатул-Цэрия». Где-то он сейчас?

Котовский решил сразу направиться в Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, к Гарькавому.

Было пасмурно. Мелкий противный дождь, не переставая, мельтешил, оседал водяной пылью на голых ветках деревьев, на запотевших стеклах окон. Жидкая грязь хлюпала, расползалась, всхлипывали водосточные трубы, струйки холодной воды стекали за воротник. Но Котовскому казалось, что сияет солнце, что пахнет яблоками, цветущими садами. Он шагал по родному городу! Шагал открыто, свободно. Это была его родина. И какая жизнь предстояла, какие дела! Он был молод, полон сил и желания действовать. Ему хотелось крикнуть: «Здравствуй, Молдова! Здравствуй, Кишинев!»

Гарькавый был приветлив и обстоятелен. Узнав, что пришел Котовский, он вышел ему навстречу и долго пожимал руку:

— А вы еще слава богу. Ничего. И вид у вас богатырский, и глаза веселые. Молодцом!

Потом они уселись в кабинете Гарькавого, простом, строгом, со светлыми окнами, с обыкновенным, без всяких орнаментов письменным столом и десятком стульев по стенам — для заседаний.

— Ну, дорогой, рассказывайте все по порядку. Я люблю

всякие подробности. Доехали хорошо? Или транспорт начинает прихрамывать? Откровенно говоря, у нас и с транспортом плохо, и с оружием неважно, и людей не хватает, и горючего нет... Ну, я не говорю уже о таких вещах, как сахар, мыло, спички, дрова... Туго населению приходится.

Он расспросил Котовского о настроениях армии, о съезде в Галаце. И сам рассказал, что делалось в Кишиневе:

— Живем мы тут... ничего живем. С господами Строеску воюем. Отряды Красной гвардии сколачиваем. У нас тут чудесные люди — Милешин, Венедиктов... да вы их всех узнаете. Фронтотдел ведет большую работу, парторганизация крепкая и сплоченная, хоть и не так многочисленна.

— Это мы, — сказал Котовский. — А те?

— Те, — улыбнулся Гарькавый, — очень воинственно настроены. В апреле у них был съезд. Заправляли делами помещики Строеску, Херца и компания. Таким образом, у нас, как сейчас и повсюду, две власти: мы, с одной стороны, и буржуазные националисты, Бессарабский краевой совет, только что начавший свою работу, — с другой.

— А! Это «Сфатул-Цэрий»! Слыхали мы о нем!

— И еще услышим. В общем, я ужасно рад вашему приезду, будем вместе орудовать. Работы по горло.

Теперь Котовский жил открыто. Теперь пусть они прячутся, нетопыри, летучие мыши, охвостье прошлого!

Нет, они не прятались. Они еще надеялись на что-то. «Сфатул-Цэрий» поддерживал связь с Украинской центральной радой, вел тайнственные переговоры с румынской «Национальной лигой».

— Мне точно известно, — с возмущением рассказывал Котовский Гарькавому, — они получают от «Национальной лиги» субсидии. Как это вам нравится?

— Идемте-ка, идемте ко мне в кабинет, — заторопился Гарькавый, слегка подталкивая его к обитой кошмой и клеенкой двери. — Я вам расскажу кое о чем по-серьезнее.

И они скрылись за дверью, провожаемые любопытными взглядами машинисток и секретарей.

В кабинете уже сидел начальник революционного штаба Венедиктов и другие фронтотдельцы. Здесь же был комендант станции. Они оживленно обсуждали что-то. Вскоре и Котовский включился в беседу.

Серьезное дело заключалось, оказывается, в том, что в Кишиневе подготавливался, как удалось выяснить, вооруженный переворот.

— Понимаете, подлецы какие! — басил Гарькавый. — Украинская рада собрала трансильванских пленных, соответственно обработала их, снабдила оружием и теперь якобы отправляет на родину транзитом через Кишинев. Здесь господа из «Сфатул-Цэрия» только ждут сигнала. Трансильванцы выскочат из вагонов с оружием в руках, их поддержат так называемые национальные полки «Сфатул-Цэрия». А через час мы с вами будем болтаться на телеграфных столбах, что лично мне совсем не улыбается. Таков, по крайней мере, у них план.

— Ловко придумано. Но ничего у них не выйдет, — усмехался Венедиктов.

— Эшелон находится уже в пути.

— Мы его встретим, не беспокойтесь насчет этого. Нас ведь тоже не так мало.

— Мы все пойдем, — с воодушевлением говорил Котовский. — И не забывайте, что Пятый Заамурский конный полк — наша надежная опора и сила.

— Да и железнодорожники нас поддержат, — напомнил комендант станции Кишинев.

— Ну, давайте действовать, — заключил Гарькавый. — Конечно, ничего у них не получится с их хитрым планом.

Но времени оставалось в обрез. Котовский справился у дежурного по станции — эшелон был уже в Раздельной.

— Получайте, товарищи, оружие! Стрелять умеете? — распоряжался, придя в железнодорожное депо, командир Пятого Заамурского конного полка.

Машинисты, стрелочники, рабочие депо подходили, брали винтовку и две обоймы и уступали место следующим. Заняли позиции и заамурцы, деятельно распоряжались и комиссар Рожков и комендант станции.

Котовский установил наблюдение за «Сфатул-Цэрием». Там явно готовились, стараясь сделать все незаметно. И Котовский тоже позаботился, чтобы никто

не видел их истинных приготовлений к встрече «гостей».

— Поезд проследовал через Бендеры, — сообщил дежурный по станции.

Было припасено десятка два букетов — роскошных, пышных, из оранжерей. Поставили на перроне духовой оркестр, но у каждого музыканта были в карманах револьверы. Вывесили огромное полотнище «Добро пожаловать!» — по-русски, по-молдавски и по-украински. Прибыло на вокзал по меньшей мере пятьдесят коммунистов. Приехали Гарькавый и Милешин. Выслушали доклад Котовского, усмехнулись, посмотрев на плакат, на букеты, на духовой оркестр.

Соглядатаи из «Сфатул-Цэрия» ликовали:

— Подумайте! Эти головотяпы встречают с букетами наших трансильванцев!

— Они им покажут букеты, — проворчал Херца и снова повторил указания: — Один эскадрон сразу же захватывает телеграф, второй эскадрон ликвидирует «советчиков». По улицам — патрули. Разгонять любые сборища и, пожалуйста, без этих телячьих нежностей: стрельба в воздух и прочее. Ничего не случится, если будет немножечко жертв. Коммунистов расстреливать без суда и следствия, не водить их туда и сюда. Никаких арестов. Приканчивать. Проверьте сами, все ли поняли мои распоряжения. Можете идти.

— Эшелон прибудет в два сорок, — сообщил дежурный по вокзалу Котовскому.

Голос раздраженный, глаза холодные. Котовский посмотрел на него внимательно: свой человек не будет так озлоблен. Отыскал знакомого телеграфиста:

— Как там с трансильванцами?

— Подходят к семафору.

Соврал дежурный, когда сказал, что поезд придет в два сорок! Интересно, с какой целью? Не было еще и двенадцати, а поезд уже был на подходе!

Котовский доложил обо всем этом Венедиктову и подал знак музыкантам. Сигналом «Приготовиться» был бравурный марш духового оркестра. Оркестр грянул.

Паровоз ревел, дымил, выпускал пары. Эшелон принят на первый путь. Добро пожаловать!

Как только поезд остановился, перрон наполнился

вооруженными. Солдаты держали винтовки наперевес. В каждый вагон вскочило по несколько человек из отряда железнодорожников и из Пятого Заамурского полка.

Трансильванцы увидели, что поезд окружен. Котовский лично наблюдал, чтобы был отцеплен паровоз.

— Сдать оружие!

— Сдать оружие!

— Руки вверх!

— Бросайте оружие на пол! Побыстрее, я не буду сто раз вам повторять!

— Что? По-русски не понимаете? А вот револьвер видите? Это хороший переводчик!

В каждом вагоне происходило одно и то же. Ни одного выстрела не было сделано.

Один офицер-трансильванец пытался спорить:

— Вы поступаете незаконно... есть международное право...

— А заговоры устраивать — тоже международное право? — спросил его Рожков.

Дежурный удивленно смотрел на эту дружную работу. Груды карабинов, ручных пулеметов быстро увеличивались. Затем все это исчезло в воротах депо.

— Размещайте дорогих гостей в номерах отеля! — весело распоряжался Котовский. — Всех запереть и поставить охрану!

Трансильванцев, все еще не успевших опомниться, запирали на гауптвахте, в складских пустых помещениях. Офицеров отвезли во фронтотдел.

— Сколько их в общем и целом? — спрашивал Котовский, когда пустой эшелон медленно уполз с первого пути.

— Всего-то? Шестьсот без малого.

— Арестуйте дежурного! — приказал Венедиктов. — Тоже отправить во фронтотдел.

4

Это учреждение без вывески помещалось в Яссах, на одной из тихих боковых улиц, где оно не так бросалось в глаза.

Окна трехэтажного здания были тщательно занавешены. Даже днем там горел электрический свет. В двери

непрерывно входили и выходили люди в штатском, люди в военном. Некоторые прогуливались перед зданием и курили сигары. Одни разговаривали на английском языке, другие на русском, на румынском. Молодые и старые, толстые и худые, они болтали о том о сем и шли в ближайшее кафе посидеть за столиком и потянуть через соломинку из огромных бокалов, которые с феноменальной быстротой и ловкостью разносили официанты.

Внутри здания были длинные коридоры и множество дверей. В одном из кабинетов сидел, потягивая крепкий коктейль, рослый, мускулистый военный, голубоглазый, розовый, с повадками, свидетельствующими, что он привык приказывать. Это и был глава о́ффиса Гарри Петерсон.

Перед ним сидел русский офицер.

Гарри Петерсон только что ознакомился с докладом о положении дел в Бессарабии. По-видимому, в курсе дел был и русский офицер, капитан Бахарев, стройный, подтянутый, с красивыми, немножко неприятными глазами. Оба они молчали и молча пили. Затем Бахарев сказал:

— Мы и не должны были ожидать другого. Бунтовать — любимое занятие русских.

— Вы, однако, не бунтуете? Подонки общества, безработные, кому терять нечего, — другое дело, — возразил Петерсон.

— Сэр, вы не знаете России! Там всем терять нечего.

— И вам, Юрий Александрович? Лично вам?

— Ну, я не говорю о тех, кого ограбила революция. Имущие объявлены сейчас вне закона. А ведь в руках имущих были сосредоточены все богатства, мы и были Россией, ее славой, ее величием, мы — дворянство, которое правило, руководило, владело, даже, если хотите, поставляло мастеров кисти и пера! За нами тянулось купечество, духовенство, наиболее жизнеспособные крестьянские хозяйства. Около нас отлично жила интеллигенция, чиновники, военная каста. Капиталы, постройки, имущество... На несколько лет хватит, чтобы жить, потроша наши сейфы и сундуки.

— На несколько лет? Господин Бахарев! На несколько лет?

— Я хотел сказать «хватило бы». Но мы прекратим этот разгул в самое ближайшее время.

— Вы прекратите или мы, Америка и весь цивилизованный мир?

— Во всяком случае, поможем друг другу.

— Ну, наконец-то мы сказали с вами основное. Как эта русская пословица, происхождения которой я так и не понимаю: поставим точку над «и». Вы знаете, какая вам задача предстоит? Мы пошлем вас в Бессарабию.

— Вот как? А Москва?

— Москвой займетесь после. В Бессарабию мы сейчас двинем войска королевской Румынии... ну и немножечко подбавим русских частей, белых русских частей, разумеется. На эту операцию потребуется, я думаю, дня три, максимум четыре. И сразу же появитесь вы и сможете наладить порядок. Адреса, документы — все приготовлено. А сейчас я познакомлю вас с мистером... как его? Одним словом, с одним мистером.

— Очень приятно.

— Мы позволим румынам оккупировать Бессарабию, ну, а потом... потом вообще придется пересмотреть карту. Мы стоим, капитан, перед новой эрой.

Тут Гарри Петерсон позвонил.

— Попросите! — сказал он явившемуся на звонок секретарю и снова обернулся к Бахареву: — Вы знаете, я нашел чудесные перстни для моей коллекции. Чудесные!

Гарри Петерсон только что хотел подробно рассказать о своей коллекции, но вошел тот самый мистер, фамилии которого шеф никак не мог вспомнить. Бахарев знал его. Он играл какую-то роль в правительственных кругах Румынии. Гарри Петерсон предложил ему сесть и без предисловий объявил:

— Ну что ж, завтра начинайте, как мы уже говорили. И, пожалуйста, не затягивайте кампании. Оружие и все необходимое вы будете получать и в дальнейшем. Вообще действуйте уверенно, помните, что есть мы.

5

Враги были под Кишиневом.

Котовский ворвался в кабинет Гарькавого:

— Требуют снарядов на фронт!

— Садись, дорогой. Не хочешь ли чего-нибудь выпить? Да и голоден, наверно. Теперь о деле: ты ведь и

сам знаешь, ни снарядов, ни пушек — ничего этого у нас нет.

Ему трудно было все это произносить. Горькая складка залегла около его губ.

— Видишь ли, какая история. Если бы просто Румыния — ну это еще туда-сюда. Но на нас ведь наступает не одна Румыния. Ты понимаешь это? Стеной идут. Мы можем, конечно, лечь здесь все костями. Стоит ли? Мы еще будем драться, но надо перестроить силы. А сейчас надо найти в себе мужество, чтобы отойти...

Котовский и сам понимал все это. Спокойный внешне, но полный глубокой печали, голос Гарькавого отрезвил его.

Гарькавый продолжал:

— Хорошо, что ты приехал. Ты мне очень нужен. Тебе поручается эвакуация города, вывези все, что только можно.

Гарькавый заставил Котовского съесть бутерброд, выпить крепкого чаю. Они тем временем обсуждали подробности эвакуации. Действовать нужно было стремительно, нельзя было медлить.

— Железнодорожники у нас молодцы.... Да вот беда: нет ни паровозов, ни вагонов, — прикидывал и соразмерял силы Котовский. — Придется отправить, что успеем, на подводах, гужом...

Гремела орудийная канонада. Тоскливо дребезжали стекла в домиках Кишинева. А потом снаряды стали ложиться совсем близко. Двигались подводы с военным и городским имуществом, с запасами продуктов, с семьями защитников города — — женщинами и детьми. Одновременно уезжали на грузовиках, на конных подводах учреждения с папками дел, с пишущими машинками и бухгалтерскими счетами. Многие советские служащие и рабочие уходили пешком.

Кажется, все. Последние воинские части покинули город. Котовский медленно ехал по безлюдным улицам. Город молчал. Грустное было расставание! Котовский прощался с каждым домом, с каждым деревом, с каждым садом.

Вот и Теобашевская улица... тот самый забор, за которым когда-то росли георгины... А вот и домик, где приняли его незнакомые люди и оказали ему помощь, перевязали раны... А здесь жил переплетчик Иван Пав-

лович... Весь город был исхожен. Всюду были места, связанные с воспоминаниями, с каким-то куском живой жизни. Его город! Его Кишинев!

Одним из последних выехал Гарькавый. Они поцеловались, расставаясь, и Гарькавый сказал:

— Жду тебя, очень-то не задерживайся. Что делать! Приходится уходить. Встретимся за Днестром. А ты не отчаивайся, борьба еще не кончена, я бы даже сказал, она только начинается.

— Я знаю, товарищ Гарькавый. Врагам нашим было бы преждевременно радоваться. Я приеду не один. Найдется народ по селам.

6

Котовский сдержал свое слово. Уже в Ганчештах, когда он распрощался с Софьей, у него набралось несколько конных. А теперь, когда он сидел в хате Леонтия, пришло немало новых добровольцев.

— Двенадцать лет! — повторил Леонтий. — Это много, Григорий Иванович? А? Как ты думаешь? Двенадцать лет мы не виделись! Постой, когда в последний раз?

Они перебирали в памяти давние дела и происшествия, которые уже почти позабыты, и людей, которых уже, может быть, нет в живых. Всю ночь Котовский рассказывал Леонтию о своих злоключениях и как бы снова переживал и борьбу, и тюремную безысходность, и дерзкие побеги, и скитания по тайге...

Утром отыскали Котовского два человека: один — пожилой, широкий и грузный, другой — юный и подвижной.

— Я Марков, из Кишинева. А это мой сын... вот какое дело...

— Понятно.

— Мы записались в отряд, — пояснил Миша Марков, не выдержав медлительности отца. — Мы теперь тоже конники, только у нас нет коней. Вы не думайте, ездить-то я умею. Отец, конечно, больше на паровозе, потому что мы железнодорожники. А я могу. Думаю, что могу.

— Не умеешь — научишься, всему можно научиться.

— Это-то конечно, — вздохнул Марков, — но нет их, коней, откуда их взять!

— Нет коней? — удивился Котовский. И с горечью

добавил: — Не только коней — у нас ничего нет. Нет оружия, нет продовольствия, нет бойцов. Ну так давайте, чтобы было!

Помолчал немного и затем тихо, раздумно заговорил: — У нас ничего нет, но все будет, потому что это необходимо для победы. Я тебе ночью, Леонтий, рассказывал... У меня ничего не было в камере. Но я так хотел выбраться на свободу! А когда сильно хочешь, то добьешься своего!

Леонтий попросил Котовского повторить свой рассказ собравшимся в избе конникам. Котовский припомнил один случай. Потом увлекся, увлек всех...

Миша Марков, не отрываясь, смотрел на Котовского и все подталкивал отца, считая, что тот недостаточно сильно восхищается:

— Папа! Да слушай же! Ведь это удивительно! Правда, хорошо, что мы отыскиали Котовского? Я же говорил тебе...

— Да, — задумчиво смотрел Котовский куда-то в пространство, на стену, где висел многоцветный ковер, — двадцать дней колесил в тайге. А вышел! Человек никогда не должен отчаиваться. И еще: непременно делайте гимнастику! По системе Анохина. Летом и зимой.

Миша Марков на всю жизнь запомнил этот день. С юношеским обожанием смотрел он на Котовского. К юношескому обожанию примешивалось еще чувство, похожее на зависть: хотелось тоже преодолевать трудности, опасности, хотелось самому все испытать.

— А теперь вы приехали из Кишинева? — спросил Миша, надеясь, что его вопрос вызовет новые рассказы.

— Сейчас я на родине побывал, в Ганчештах. Теперь вот отряд по селам собираю. Мы не из той породы, которая может смириться! Разве сломили вашу волю? Вот вы, молодежь, скажите: разве живет трусость в ваших сердцах?

Нет, они не были трусами, эти молодые поселяне!

Не понадобилось договариваться и с Леонтием о том, что дальше они отправятся вместе. Это само собой подразумевалось. Просто Леонтий поцеловал жену и детей. Просто оседлал коня. Когда нужно сражаться, все берутся за оружие. Тут думать не приходится.

Отряд Котовского отходил к Тирасполю.

— Фронтвики в каждом селе найдутся? — спрашивал Котовский. — Где фронтвики — там и оружие. Все снаряжение русской армии растащили по деревням. Сейчас каждый овин — оружейный склад и пороховой погреб!

Отряд Котовского рос. Дрались котовцы яростно. Но для каждого становилось очевидным, что силы неравные...

Вот и Днестр. Величавый и мудрый. Все запомнивший, поседевший от всего, что видел. Старый Днестр.

Отряд остановился. Никто не решался первым начать переправу. Командир сжимал эфес. Он молчал, и все не шелохнулось. В наступившей тишине было слышно, как потрескивает лед в полынье, как ветер ходит в камышовых зарослях. Котовский смотрел туда, на поля Бессарабии, на покидаемую родную сторону.

Вот он сошел с коня, снял фуражку. И тогда все, весь отряд, тоже обнажили головы. Котовский низко поклонился, коснулся рукой земли и громко, отчетливо произнес:

— Прощай, к-край мой родимый, царя молдовой... Сегодня мы тебя покидаем, но клянемся, что не выпустим оружия, пока наша родина не станет свободна, пока красное знамя не будет снова развеваться над Кинешевом.

Миша Марков видел, как у отца его и у многих других бойцов выступили слезы. Да и самому ему было не по себе. Сердце сжимало, грудь теснило... Миша Марков думал о том, что на веки вечные запомнится эта горестная и торжественная минута.

Командир вскочил на коня:

— Слушать команду!

И началась переправа. Туда, на советский берег, к Тирасполю.

7

— Формируется по указанию Румчерода Тираспольский отряд! Слышите, товарищи? В него входит и наш конноразведывательный отряд! — сообщил Петр Васильевич, придя из штаба.

— Значит, скоро примемся румын выкуривать, — радовался Василь.

— Теперь дело пойдет! — уверенно говорил Леонтий.

— В Одессе и Николаеве созданы рабочие отряды, их тоже посылают сюда, к Днестру, — добавил Петр Васильевич.

Настроение у всех было приподнятое. Казалось, еще немного — и будет освобождена Бессарабия.

— Вот и приказ! — пришел торжествующий Котовский. — Первая наша операция!

Это было только началом. Вскоре об отряде заговорили. Слава о его геройских подвигах дошла до Одессы. Приехал корреспондент из одесской газеты, длинный, в очках. Над ним добродушно подшучивали:

— Поосторожнее, товарищ. Вы такой высокий, а тут постреливают.

— Вы думаете? — спрашивал корреспондент недоверчиво, высоко поднимая брови и наклоняя голову чуть-чуть набок.

Хотел записать отдельные фамилии, но раздумал.

Через несколько дней Миша Марков вбежал в жарко натопленную хату, где поместились Леонтий, Петр Васильевич и еще несколько человек.

— Внимание! — закричал он еще на пороге.

Все выжидательно смотрели на него. Не хочет ли он сообщить, что выдают табак — по три пачки махорки на человека? Так они уже получили, только бумаги нет для завертки.

— Внимание! — повторил еще раз Миша и вытащил из-за пазухи газету.

Курильщики жадно смотрели на нее. Миша с важностью развернул газетный лист и прочел:

«Нашумевший в свое время на юге России Григорий Котовский, по полученным в Одессе сведениям, встал во главе отряда, действующего против румын.

Хорошо знакомый с местностью, Григорий Котовский сформировал в Тирасполе отряд из добровольцев и направился во главе его по направлению к Дубоссарам.

Отряд Котовского, по словам прибывших лиц, выказывает чудеса храбрости.

Все участники отряда хорошо вооружены и имеют в своем распоряжении лошадей и артиллерию».

— Всё? — спросил Петр Васильевич.

— Всё, — подтвердил Миша.

— Хорошая заметка. Мы ее внимательно выслушали, а теперь ты, конечно, отдашь нам газету в наше полное распоряжение?

— Не подумаю! Я буду ее хранить.

После горячего спора Миша согласился оторвать половину газеты. Ее честно поделили между собой Леонтий и Петр Васильевич. Опоздавшему коннику Андрею Куделе Миша вынужден был оторвать еще кусок, по самую кромку, где начиналась заметка.

8

Котовский был в Румчереде. Там настроение пасмурное. Румыния явно хитрила. Что они затевают, эти румыны?

Бойцы отряда загрустили. Милая Бессарабия осталась там, на том берегу. Когда-то удастся ее снова увидеть. Часто можно было наблюдать, как стоят эти суровые, знавшие горе люди и смотрят туда, в голубую даль... И можно было прочесть на их лицах, о чем они думают. О родном доме думают, об оставленных семьях...

Однажды пришел к Котовскому Леонтий. Долго мнясь, наконец решился и попросил отпустить его.

— Не могу больше, сердце болит. Мне хоть взглянуть, как они там. Взгляну — и обратно. Людей еще приведу.

Как с братом, попрощался Григорий Иванович с Леонтием. Молча, потому что ничего нельзя было говорить, ни упрекать, ни жалеть. Иногда молчание — сильнее, убедительнее слов.

С Леонтием ушел и Петр Васильевич Марков. Сына оставил, а сам ушел, объясняя не совсем вразумительно, что «будет и там нужен», что будет «действовать изнутри».

Ушли они ночью. Леонтий повел через плавни, он знал эти места. Благополучно переправились через Днестр,

минуя полыньи, по хрустящему тонкому льду, местами покрытому водой. Когда выбрались на середину реки, Леонтий сказал:

— Сейчас мы — ничьи. Ни туда и ни сюда. А завтра как бы не полетели наши головы... Тогда опять будем ничьи.

Но вот и берег. Скорей ступить на него! Берег был тиный, пахло гнилой рыбой и водорослями.

— Вот и противно пахнет, а родное! — вздохнул Леонтий.

Петр Васильевич безмолвствовал.

Не успели шагнуть в кусты, как нарвались на заставу. Леонтий побежал. А Петр Васильевич поскользнулся и упал. Подумал с горечью:

«Вот где довелось свести все счеты! В болоте, как лягушке какой...»

Однако никто его не схватил, шаги удалялись, по-видимому, его не заметили. Вдали послышался выстрел. Что там произошло? Уж не погиб ли Леонтий?

Петр Васильевич стал осторожно пробираться лозняками. Весь день шел. Ночью тоже шел.

Один раз очутился близко от шоссе, по дороге скрипел возок, за возком шли мужчина и женщина. Может быть, счастливый случай? Выручат, покормят... А вдруг в них-то и гибель? Перепугаются, выдадут?

Пока Петр Васильевич стоял так, в нерешительности, возок проехал. Так иногда близко-близко проходит человек от человека... и страшится протянуть руку.

Измученный, еле передвигая ноги, Петр Васильевич добрался наконец до Кишинева. Как заколотилось сердце, когда увидел кирпичные заводы на окраине!

Откуда взялся этот железнодорожник, с фонарем, в тулупе? Прятаться было поздно. Оставалось только сделать вид, что не произошло ничего особенного.

— А-а! Петру Васильевичу! А еще говорят, что мертвые не воскресают!

— Да я-то жив пока что. Как вы?

— Помаленьку. Ты что же? Оттуда?

На этот вопрос Петр Васильевич ничего не ответил, будто бы не слышал. Вместо прямого ответа что-то такое пробормотал о погоде, о тяжелой жизни... А сам вглядывался: выдаст или не выдаст? Кондуктор с товарного, так себе человечиска, неважный. Поговорили и разошлись.

Еще через минуту Петр Васильевич обнимал жену и свою Татьянку. Татьянка прижалась к нему. А Марина всплеснула руками, перепугалась, бросилась закрывать на окне занавески... Потом обе наперебой стали рассказывать, рассказывать... и вдруг Марина заметила голодный блестящий взгляд мужа, брошенный им на хлеб. Да ведь он голоден! А они тут с разговорами! Марина отрезала ломоть, он схватил, отвернулся и стал жевать.

— Вы ничего, рассказывайте, не обращайтесь на меня внимания. А ты, дочка, принеси-ка скорей табачок!

Когда Петр Васильевич закурил, Марина осторожно и вся трепеща спросила:

— А как Мишенька-то наш? Жив?

— Живехонек! Ты о нем можешь не беспокоиться.

— Он тоже придет?

— Конечно, придет! Вот победит революция, и он явится, можете быть уверены! Что касается меня... я пришел... видишь ли, тоскую я... привык к железнодорожному депо, к дому... Ты не подумай, что я дезертировал, меня командир по-хорошему отпустил. Я теперь начну здесь, в тылу врага, сколачивать боевую дружину. Здесь много хороших людей...

— Страшно здесь, — прошептала Марина. — За разговор по-русски сажают... На кого покажут — «большевик», расстреливают без рассуждения... Помнишь машиниста Петро Кащука? Расстрелян. Скворцов — тоже расстрелян... Коваленки — вся семья уничтожена, и дом спалили... Профессор Литвинов — как арестовали, так и исчез без следа...

Петр Васильевич слушал, даже козья ножка у него потухла. А Татьянка молча, замуривая глаза от счастья, терлась щекой об отцовский рукав, как котенок.

— Ничего, — произнес после долгого молчания Петр Васильевич, — как-нибудь все устроится.

И вздрогнул невольно: перед его взором встало серое лицо кондуктора... Предаст или не предаст?

— А я ведь у самого Котовского в отряде состоял! — с гордостью сообщил он потом.

— Тише! — всполошилась Марина и пошла даже к двери, проверила, не подслушивает ли кто-нибудь их разговор. — Одного этого имени достаточно, чтобы они взбесились от ярости!

— Я думаю! Они еще познакомятся с ним! Они еще хорошо узнают, что такое котовцы!

Тут Татьяна приоткрыла глаза:

— Папа, я знаю, кто Котовский! И Миша тоже вместе с ним? А девочек туда принимают?

Всю ночь не спали. Беседовали, горевали...

На рассвете раздался стук. Петр Васильевич на всякий случай ушел за перегородку, а Марина пошла открывать дверь.

Вломилась полиция. Предал кондуктор! Пришли арестовывать большим отрядом, подняли на ноги всю полицию: в донесении указывалось, что «в Кишинев проникли советские агенты». Когда офицер увидел, что перед ним всего лишь один старый и испуганный железнодорожник, он страшно рассердился. Это издевательство! Опять газеты будут высмеивать полицию за ее страхи перед «воображаемыми агентами Коминтерна»!

Татьянка не видела, как это произошло, но услышала странный звук, какой-то хруст и затем стон: это офицер ударил со всего размаху отца.

Татьянка подошла, посмотрела в глаза этому офицеру... и залепила ему хорошую увесистую затрещину!

— Взять ее! — в бешенстве завизжал офицер.

— Татьяна! — вскрикнула Марина. — Что ты наделала!..

Офицер в это время представил, как он является с докладом: «Арестованы старик и девочка, причем девочка надавала мне по морде».

— Отставить! — крикнул он плачущим голосом. — Девчонку не брать! Ну, чего вы на меня уставились, сержант?

И он выскочил на улицу.

Пятого марта 1918 года был подписан мирный договор между Румынией и представителями Советского правительства. Румыния обязалась вывести свои войска из Бессарабии в двухмесячный срок. И договор и обязательства были пустой оттяжкой. Этого только и надо было Америке, Англии, Франции: последние приготовления были тем временем закончены, быстро столковались между собой недавние враги — Антанта и Германия. Немецкие войска,

нарушив условия Брестского мира, вторглись в пределы Украины. Девятого марта они были под Тирасполем. Красная Армия отступала, отбиваясь.

Тяжелые испытания обрушились на Украину. Красивые города, живописные села и станицы переходили из рук в руки. Вся Украина пылала. Вся она, цветущая, напевная, солнечная, была превращена в огромное поле сражения. Трудное было время! Рыскали петлюровские банды по глухим дорогам. Клялись в верности всем, кто дорого платит, и опять изменяли, и непробудно пьянствовали, и безжалостно грабили всех, кто попадется, новоявленные атаманы: Маруся, Добрый Вечер, Струк, Хмара, Черт, Лыхо, Клепач... По каждой водокачке обязательно была из-за косогора какая-нибудь трехдюймовка. Поезда сутками стояли на полустанках. В вагоны врывались вооруженные, проверяли документы и тут же, у насыпи, расстреливали.

Тифозные валялись на перронах. Мешочники на крышах вагонов пили морковный чай.

Все сдвинулось и переместилось.

Кто бежал от голода, кто дезертировал, кто занимался спекуляцией... В каждой волости имели хождение свои особые деньги, выпущенные черт знает кем и черт знает на каком основании. Здесь «керенки», там «колокольчики» и гетманские «лопатки»... Иные ассигнации были громадны, как афиши, другие печатались на паршивых клочках бумаги, и на те, и на другие ничего нельзя было купить. Не было мяса. Не было хлеба. Не было керосина. И под каждой деревней был фронт.

Котовский заразился тифом. Лежал и бредил в гостинице, в одном маленьком городишке. Миша Марков, отощавший, завшивевший, несчастный, приходил в гостиницу и часами стоял перед постелью своего командира. Котовский метался, скрипел зубами, командовал в бреду.

Миша Марков был в голубых обмотках, в рыжем полушубке, шапка у него была с убитого петлюровца, очень большая и очень мохнатая. Пояс он носил кавказский, с наборным серебром. Надо прямо сказать, обмундирование у него было «сборное». Впрочем, он отлично чувствовал себя в нем. В кармане у него была книжка стихов Есенина. И он был молод.

Он смотрел на командира. Какое измученное лицо! Глаза мутные. Мечется в жару, жар сухой, без испарины. Упорно борется организм с жестокой болезнью. Какой бешеный пульс!

У Маркова в бауле уцелел уложенный еще матерью на дорогу новенький костюмчик, из дешевых, но вполне приличный. Марков понес его на рынок.

На рынке стояли толстые, замотанные в шали торговки и продавали поштучно соленые огурцы и грудки вареной картошки.

— А вот горячая! А вот с пылу, с жару!

Унылый мужчина, густо заросший щетиной рыжеватых волос, крутил на руке каракулевою шапку и громко перечислял ее достоинства. Но охотников на его товар не было, и он бесплодно расточал свое красноречие.

И еще были продавцы. Продавалась швейная машина «Зингер», продавался соусник, продавались поношенные солдатские сапоги и женская жакетка на шелковой подкладке.

Миша Марков осторожно развернул свой товар — он принес его завернутым в чистую тряпку — и, перекинув костюм на руке, как все делали, стал прохаживаться по торговым рядам, крепко прижимая его к себе, опасаясь, что украдут.

Никто даже не смотрел и не спрашивал Мишу, что он продает.

Тогда Миша стал выкрикивать:

— Кому костюм? Новый, неношенный! Очень хороший костюм!

Никто не подходил, и Миша решил уже уходить. Вдруг его дернули за рукав. И тот самый, волосатый, продававший каракулевою шапку, тихо спросил:

— За пять керенок пойдет?

Миша Марков отстранился и ответил:

— За деньги не продаю. За продукты.

И тут сразу собралась около него толпа.

— Так это же что? — пощупала женщина костюм. — Это же грубошерстный.

— Сама ты грубошерстная!

— Братцы, да это чистейшая бумага! Садись и письмо пиши!

— Не правится — не бери, зачем же подрывать торговлю?

— Покупает канарейку за копейку, да хочет, чтобы она петухом пела!

— Сколько, чтобы не торговаться?

И пошли всякие шутки-прибаутки, которые неопытного человека легко могут сбить с толку. В конце концов Миша продал костюм за буханку хлеба, кило овсянки и клюквенный кисель в порошке. Особенно Миша радовался киселю, он где-то слышал, что его дают сыпнотифозным. Он тут же, на рынке, расспросил, как варить кисель, и помчался в гостиницу.

Котовский был в том же положении. Разметался на постели, тяжело дышал и не узнал вошедшего, хотя смотрел на него во все глаза.

— Товарищ командир! Кисель! — говорил Миша, захлебываясь от восторга. — Кисель знаете как вам нужен! Он очень помогает!

Больной бормотал что-то невнятное, а затем стал размеренно, в одну ноту, стонать.

И так было жалко Мише этого громадного, сильного человека, теперь такого беспомощного, с воспаленными глазами, впалыми щеками, в горячечном бреду, заброшенного в незнакомый город...

— Товарищ командир! Это я, Миша Марков! Вы слышите, товарищ командир? Вы не падайте духом, хорошо?

И Миша бросился на кухню варить кисель.

Гостиничные повара сочувствовали парню, но они решительно заявили, что кисель без сахара — не кисель.

— А если на сахарине?

Миша зачарованно смотрел, как тускло-розовый порошок превращается в самый настоящий кисель, какой варила мать.

— Мешай, мешай, а то комьями получится!

Кисель наконец уплыл, но много еще осталось в кастрюле.

К полному огорчению Маркова, Котовский оттолкнул ложку и не притронулся к чудодейственному киселю.

Однако в ту же ночь был, по-видимому, кризис. Всю ночь Миша прикладывал холодные компрессы ко лбу больного, а на рассвете Котовский вдруг проговорил:

— Откуда ты взялся, дружище?

— Товарищ командир! — шепотом спросил Миша Котовского. — Может быть, вы пить хотите?

Вода была единственным лекарством, которое принимал Котовский. И все-таки он явно выздоравливал.

В один прекрасный день он поднялся, усмехнулся, ласково посмотрел на Мишу:

— Душевный ты человек! И товарищ хороший! И жалко мне, что пропадешь ты ни за понюшку табаку. Я-то бывалый, мне не привыкать, а ты с твоим простосердечием сразу попадешься. Ведь мы сейчас где? В настоящей ловушке. В логове врага. Слышал сегодня, как они маршировали? «Айн-цвай, айн-цвай...» Немцы! Понятно тебе?

— А что же особенного? Они никого не трогают, я видел их на рынке. Ходят себе и смотрят.

— Не трогают, пока не освоились. А потом — покажут! Да ведь еще есть, кроме них, белогвардейцы, всякие самостийники, боротьбисты... Всякой твари по паре! Я, Миша, все думаю эти дни. В Кишинев возвращаться тебе никак нельзя: пронюхают, кто ты такой, и уничтожат. Что же мне с тобой делать?

— Куда вы пойдете, туда и я.

— Не годится это. Мне тебя твой отец поручил. Вот что, браток! Отправлю-ка я тебя — знаешь куда? — в Москву.

— Что вы, Григорий Иванович!

— Да, да, обязательно в Москву. Пусть тебя Москва пошлифует. У меня там друг, по тюрьме знакомы. Вот к нему и поедешь.

— Григорий Иванович! Не отсылайте меня в Москву! — в голосе Миши Маркова отчаяние, на глазах слезы. — Лучше я с вами... Честное слово, Григорий Иванович...

Ах ты, горе какое! Жалко мальчишку, но Котовский, обдумав свое положение, решил ехать в Бессарабию, в подполье. Нельзя туда Маркова везти. Никак нельзя! И здесь бросить на произвол судьбы тоже невозможно.

— Знаешь, как мы решим? Определится мое положение — вызову тебя. Можешь положиться на мое слово? Обязательно вызову! А сейчас устроим тебе вроде каникул. Да ты, чудак, что же плачешь? В Москву поедешь — понимаешь ли ты одно это слово? Счастье тебе привалило! Москва! Да я бы сам... с таким бы удовольствием...

— Вот и едемте вместе!

— Пока что нельзя. Не могу я тебе всего объяснить, но никак нельзя.

Постепенно Миша сдавался. Раз так надо — ничего тут не попишешь. Все-таки последние дни перед расставанием они провели невесело. Миша стал молчалив, задумчив. Котовский тоже молчал, примерял и так и сяк, но видел, что придется Маркова отправить, другого выхода не было.

Долго провозился с письмом. Он не очень-то любил писать. Писал и думал:

«Решение принято правильное. В Москве не пропадет парень. Да и Стефан его не бросит».

Так как Котовский для себя самого — если бы не война — лучшего не мог пожелать, как побывать в Москве, то ему казалось, что и для Миши это лучшее, что можно придумать.

Письмо было готово. Самодельный конверт соорудили общими усилиями. Григорий Иванович рисовал Мише соблазнительные картины, рассказывал, какой это город — Москва: всем городам город, центр революционной мысли, столица мира, черт побери!

Ну, вот и все, кажется. Багажа нет, так что и собираться просто: встали да пошли. И как Миша ни боялся, настал день расставания.

— Поехали! — объявил Котовский.

— Как! Уже?!

Котовского покачивало. Он еще был очень слаб после болезни.

Отправились на вокзал. Замешались в толпу, обезумевшую от голода, тесноты, ожидания.

В справочном бюро угрюмо отвечали, что поезд пойдет неизвестно когда, а может быть, и совсем не пойдет.

— Подали! — завопил вдруг какой-то невзрачный человечек и выскочил первым.

— Маневровый! Ничего не подали!

— Подали! На девятом пути!

— Даешь девятый! Станция Петушки, забирай свои мешки!

— Конечно, подали. И паровоз уже прицеплен!

И все ринулись на перрон, волоча узлы, баулы, чемоданы, грудных младенцев и походные сумки. И Миша и Котовский вместе со всеми.

Около вагона Котовский обнял Мишу:

— Ты мне как сын!

Миша боялся, что расплачется, стискивал зубы и молчал.

— Счастливо! — крикнул Котовский на прощание. — Помни, что мы еще встретимся! Записку с адресом не потеряй!

Мише стало страшно. Сердце сжалось. А паровоз уже рванул состав... Вагоны закричали и тронулись. И Миша остался один на свете. Совсем, окончательно один! Пошли мелькать станции и полустанки с замысловатыми названиями, разъезды с дородными стрелочницами и с пестренькими курочками на перроне. Странно было видеть курочек в такое время. Почему-то казалось, что их давно уже нет.

Потом была пересадка. Потом просто стояли. И опять замелькали какие-то Гуляй-Поле, Лукьяновки... Марков бегал с чайником, отыскивал кипятильник, покупал гороховый хлеб... Ехали так долго, что Марков наконец привык, и ему казалось, что в этом вот вагоне ему так и придется ехать всю жизнь.

Он думал о командире. Неужели они больше не увидятся? И почему Котовский так неожиданно отправил Мишу? Самому-то Котовскому еще опаснее оставаться. Как же так получается? Не все он понимал.

«Маросейка... — читал он адрес на записке, которую дал Котовский. — Странное название!»

И опять ему стало страшно и неудобно. Что-то ждет его впереди?

Кто-то окликнул его, подозвал к окну. Марков глянул и обмер.

— Вот она, наша матушка! — сказал пассажир, протирая стекло.

Вдали, как видение, мерцал старинным золотом, куполами изумительный русский город, слава и гордость народа — величественная Москва.

ШЕСТАЯ ГЛАВА

1

Наступил апрель. В «Валя-Карбунэ», имени Скоповского, цвели на веранде пышные розовые олеандры.

Садовник Фердинанд уже готовил клумбы, а к столу подавалась из оранжерей свежая клубника.

Княгиня Мария Михайловна Долгорукова все еще гостила в имении, и во флигелях, населенных тетушками, шли пересуды о слишком любезных отношениях княгини и Александра Станиславовича.

Только сама мадам Скоповская сохраняла полную безмятежность.

— Давно у нас утки с яблоками не было. А? Как вы думаете? — спрашивала она. — Дарья Фоминична, вызови, голубушка, повара, только не того, приезжего, а нашего, Андрюшу.

Каждый день кучер ездил в город за почтой. В Кишиневе начали выходить газеты. В них, между прочим, сообщалось о действиях «большевистского генерала Котовского». Вот она, непростительная либеральность: своевременно не повесили, а теперь расхлебывай!

Княгиня и Александр Станиславович закладывали экипаж и ехали на мельницу за живыми раками. И когда княгиня взвизгивала, потрогав черного растопыренного рака пальцем, Скоповский приходил в восторг:

— Честное слово, княгиня, вы как девочка! Будь бы мне на десяток годков меньше... Когда и куда девалась жизнь?

— Вы прекрасно сохранились, — возражала княгиня. Совсем иначе проводила время Люси.

После того как она громогласно объявила матери, что Юрий Александрович — ее жених, с княгиней была истерика, в доме было смятение, и все ходили с такими лицами, как будто Люси бог знает что сообщила. Пока княгиню отхаживали, бегали за водой, за доктором, за какими-то каплями, — в доме расплывалась, как круги по воде, весть о поступке княжны.

— Прямо вошла она с этим офицером, прямо подошла к креслу, где сидела княгиня, и прямо брякнула матери: «Это мой жених!» Вот и делайте с ней, что хотите!

— Да может быть, они давно уже знакомы?

— Давно? В дороге только встретились!

— Хорошо, что наша Ксения не слышала. Срам-то какой!

— Интересно, как же теперь решит мать?

— Проклянет! Обязательно проклянет!

Но княгиня и не думала проклинять. В конце концов Люси не такая уж девочка. И надо же ей когда-нибудь выйти замуж, а этот капитан ничем не хуже любого другого мужчины. У княгини на этот счет была своя теория. Ведь прожила же она со своим Nicolas двадцать пять лет, на что уж он был с невыносимым характером, а главное, не мог пропустить ни одной женщины, кто бы она ни была: горничная или актриса, крестьянка или жена соседнего помещика.

Пока княгиню отхаживали, Люси и Юрий Александрович стояли посреди комнаты и держались за руки. Люси лучше других знала натуру матери: поплачет, пошумит, однако не было ни одного каприза дочери, который не был бы исполнен. Да это же и не каприз!

Княгиня постепенно утихала. Наконец она слабым голосом произнесла:

— Девочка моя... а ты проверила свои чувства? Ты действительно любишь его?

И, не дожидаясь ответа, стала рассказывать, что у них с Nicolas тоже было внезапное чувство, которое «вспыхнуло, как пожар, как роковая стихия».

Еще через минуту она попросила всех удалиться и долго беседовала наедине с Юрием Александровичем. Юрий Александрович убеждал ее, что он на самом деле очарован Людмилой Николаевной и ничего бы так не хотел, как немедленно с ней обвенчаться. Княгиня погладила его по голове, поцеловала в лоб и заявила:

— Венчаться всегда успеете. Надеюсь, вы порядочный человек и ничего лишнего себе не позволите. Но я как мать объявляю вам: я согласна, берите ее, берите самую большую мою драгоценность, а после моей смерти поддерживайте честь и достоинство нашей родовой семьи. Кстати, я уже справлялась, вы тоже из хорошей фамилии, и из вас получится превосходная пара. Мы должны соблюдать чистоту крови! А я... — тут княгиня опять прослезилась, — я буду любоваться на ваше счастье, дети мои!

Юрий Александрович поцеловал ей ручку и настойчиво спросил:

— Но когда же свадьба, мама?

— Завоюйте это счастье! Свадьба может состояться только там, в нашем Прохладном, дома.

— Вы правы, тамаа, — ответил Юрий Александрович почтительно.

Перед его взором возник подъезд трехэтажного дома в Яссах, упитанное лицо мистера Петерсона... Дело остается делом! И княгиня с большим тактом напомнила ему об этом.

И тогда была вызвана Люси. Ей было объявлено, что княгиня согласна, что они считаются помолвленными.

С этого дня весь дом наполнился ликованием. В «Карбунэ» страшно любили именины, помолвки, свадьбы. За обедом пили шампанское и говорили всякий подобающий случаю вздор.

А потом Юрий Александрович уехал. Он не сказал своей невесте, как опасно занятие, которому он посвятил жизнь. Он только предупредил ее, что ему писать нельзя и сам он будет присылать письма редко, но что будет постоянно помнить ее и думать о ней.

— Скоро, скоро, дорогая моя, мы будем вместе, но я должен, как сказочный принц, проложить дорогу мечом к нашему счастью.

— Ты заставишь их вернуть нам наше имение? — доверчиво и простодушно спросила Люси.

2

По просьбе Марии Михайловны Скоповский ездил в Кишинев. Он составил длинный список поручений княгини, начиная с голубенькой тесемки и кончая хвойным экстрактом и цитрованилином, который один помогал ей от головной боли.

Вернулся Скоповский взволнованный и счастливый. Вбежал в дом и тут же, не снимая даже плаща, прочитал указ гетмана Скоропадского, или, как именовал сам Скоропадский, гетманскую грамоту.

Этой грамотой крестьянам приказывалось немедленно прекратить засев и вспашку помещичьих земель, немедленно возвратить помещикам конфискованные у них земли, живой и мертвый инвентарь, а также не пользоваться принадлежащими помещикам сенокосами, пастбищами и лесными угодьями.

Скоповский читал торжественно и громогласно. Сбежались все обитатели «Валя-Карбунэ», даже экономка и оба повара заглядывали в дверь.

Скоповский закончил чтение, оглядел всех чад и домочадцев, перекрестился медленно и произнес:

— Ну, княгинюшка, услышаны наши молитвы. Матушка Россия возвращается к прежней, исконной жизни. Не нами эта жизнь установлена, не нам ее и отменять.

— Слава богу, — отозвалась княгиня и тоже перекрестилась.

Тут тетушки, еще не разобравшись, в чем дело, кинулись поздравлять, а в это время и Люси вернулась (она ходила на птичий двор кормить цыплят), и тогда снова была прочитана гетманская грамота, и Люси захлопала в ладоши и закричала:

— Я же говорила тебе, мама, что Юрий Александрович...

— «Юрий Александрович»! «Юрий Александрович»! — перебила ее княгиня. — Один твой Юрий Александрович завоевал всю Россию!

— Последнее слово было, конечно, за союзниками, — поддакнул княгине Скоповский. — Помощь великих держав неоценима. Например, я только что узнал, что Соединенные Штаты отпускают Украине в кредит военное имущество на сумму ни больше ни меньше как в одиннадцать миллионов долларов. Заметьте — долларов, а не рублей! Да что миллионы! Это мелочь. Всей помощи не перечесть! И вот вам результаты. Ну, княгинюшка, еще раз поздравляю вас, и как ни грустно мне расставаться с вами, но теперь-то вы можете вернуться в свое Прохладное.

— Да, мы немедленно едем! Такие дела нельзя откладывать.

— Если вы позволите, я вас буду сопровождать.

— Ах, вы так великодушны!

Тысячу раз давались наставления, как нужно закутываться, чтобы не простудиться, что есть, чего не есть и какими способами уберечься от грозы, если, боже упаси, застанет по дороге... Тысячу раз проверялось, все ли упаковано... И вот наконец выехал из имения и покатил по главной аллее знаменитый экипаж Скоповского. Вслед за экипажем тащились подводы, нагруженные поклажей, ехала горничная, ехал важный повар из ди-

настии долгоруковских поваров. Скакала по обочинам дороги конная охрана. Но проверить ее храбрость не довелось, потому что добрались до Прохладного без особых приключений.

Вот вдали виднеются высокие деревья огромного сада, с прудами, беседками, тенистыми аллеями, с малинником, яблонями, с причудливыми мостиками. А вот мелькнуло и белое здание... и вышли навстречу заранее предупрежденные самые богатые, степенные мужики с хлебом-солью, с вышитым крестиком широким полотенцем... А вот уже и управляющий Рудольф, почтительный и в то же время сохраняющий собственное достоинство. И княгиня соответственно случаю прослезилась, и экипаж вымахнул на широкую поляну и с шиком подкатил к подъезду...

Скоповский лично беседовал в тот же день с управляющим и выяснил особенно ретивых по части пользования помещичьим добром и особенно дерзких крестьян. Таких насчитывалось двадцать, не говоря, конечно, о тех, кто ушел партизанить.

Всех этих строптивых Скоповский приказал вызвать наутро в усадьбу. Одновременно был приглашен комендант, назначенный германским командованием оккупационных войск для наблюдения за порядком в данной местности.

Непокорные крестьяне, вызванные управляющим, все как есть явились и стояли перед крыльцом, исподлобья поглядывая на княжеские хоромы.

— Шапки снять! — крикнул управляющий, когда на крыльце показался Скоповский.

Скоповский был краток. Он только сказал, что с анархией и самоуправством покончено, что он, Скоповский, получил указание от княгини не быть суровым с мужичками, она, княгиня, понимает, что все содеянное — и порубка леса, и самовольная запашка земли, и все другие безобразия — сделано по глупости, по темноте, серости, и только для назидания, отеческого внушения он, Скоповский, решил дать каждому нарушителю по двадцать пять розог.

В толпе зароптали. Даже раздались выкрики. И тотчас как из-под земли выросли немецкие солдаты, и вылетели из-за угла дома гайдамаки на вороных конях. Все двадцать бунтовщиков получили порку, после чего

были милостиво отпущены по домам. Почти все они в ту же ночь исчезли, говорят, ушли к партизанам.

«Ну, это их частное дело, туда и дорога, — думал Скоповский. — Долго не напартизанят. Зато запомнят, как нужно уважать чужую собственность и наследственные права».

Как раз перед сараем, где была произведена экзекуция, выкатили бочки с брагой, на длинных столах разложили угощение, и каждый пришедший на это княжье пиршество получал чарку водки, а девушки какой-нибудь подарок: шелковую ленту, бусы или яркий шелковый платок. Сначала не шли, но потом разохотелись и являлись целыми ватагами. Начались пляски, а немецкий комендант был приглашен в покои, к барскому столу.

Княгиня была очень довольна распорядительностью Скоповского. И уже поздно ночью, когда все утихло, столы были убраны и комендант отбыл в Звенигородку, на веранде долго сидели Скоповский и княгиня.

— Да, — говорил задумчиво и тихо Александр Станиславович, — вот и все! И забыты кошмары недавних дней. И нам хорошо, и мужику все понятно. Как говорится, кесарево кесарю! Так-то, дорогая, милая, уважаемая Мария Михайловна!

Сад замер. На небе вошла большая луна. Немецкий патруль проследовал по дороге. Где-то бахнул выстрел. И снова синяя-синяя, зачарованная украинская ночь, ничем не нарушаемая тишина, охраняемая синежупаниками гетмана Скоропадского и армией великой Германии.

Утром княгиня и Скоповский пили чай на веранде. В присутствии прислуги княгиня говорила Александру Станиславовичу «вы», но, как только они оставались вдвоем, сразу переходила на «ты» и щедро наделяла «Сашеньку» нежными именами и улыбками.

Вскоре Скоповский отбыл к себе домой, хотя и ему не хотелось уезжать и княгине было очень жалко с ним расставаться.

3

Юрий Александрович появился в имении Долгоруковых внезапно.

Чего только с ним не было за это время, где он

только не бывал, в каких переделках не оказывался! Малейший неточный шаг — и неминуемая гибель.

Юрий Александрович, например, ездил с важным поручением к генералу Каледину. Нужно было пробраться на Дон. Нужно было миновать много застав. И Юрий Александрович миновал их.

Юрий Александрович был умный, убежденный в своей правоте, образованный, начитанный и красноречивый — лютей враг советского строя. Отец Юрия Александровича, сахарозаводчик, эмигрировал и обосновался в Париже. Но отец был либеральнее, мягче, даже находил какие-то оправдания событиям, свершающимся в России. Юрий с юношеских лет был заносчивым, презирал бедных, ненавидел «простой народ», знал только с сыновьями аристократических семейств и немного стыдился, что отец его из захудалого дворянского рода.

В Париже Юрий Александрович познакомился с людьми, поставившими целью свергнуть Советскую власть. Здесь Юрий Александрович нашел свое призвание. Он был ловок, изобретателен, дерзок. Ему поручались очень серьезные дела. И до сих пор удача не изменяла ему.

Вот и на этот раз. Он благополучно пробрался через линию фронта и прибыл к Каледину с зашитым в шапку пакетом и устными сообщениями.

Но надо же было случиться, что буквально за день до его приезда Каледин застрелился, придя к выводу, что проиграл войну. Этот выстрел привел в полную растерянность всех калединских приближенных. У Каледина не нашлось достойного преемника. Собственно, никому было даже вручить пакет.

Юрий Александрович уничтожил секретный пакет и через Кавказ уехал за границу.

В Париже Юрий Александрович виделся с бывшим послом Временного правительства, а теперь полномочным представителем Колчака Маклаковым. Затем отправился в Закарпатье, которое было к этому времени оккупировано французскими войсками. Там Юрий Александрович прочел грамоту гетмана Скоропадского, получил сообщение, что Долгоруковы уехали в свое имение, и тотчас решил повидаться с Люси.

Он непрерывно помнил о ней, помнил всегда, даже в минуты смертельной опасности. Да, он всегда помнил о голубых глазах милой, нежной княжны. Кроме того, ему очень нравилось, что она не кто-нибудь, а княжна Долгорукова. Он непременно на ней женится, и, когда вся эта канитель с большевиками закончится, он приведет в блестящее состояние долгоруковское имение и поставит все хозяйство по-европейски, красиво, культурно, образцово.

И вот он мог наконец поехать к ней, в Прохладное. Он ехал не с пустыми руками. Он набил чемодан долларами, стерлингами, он прихватил и золота, а также приготовил роскошные подарки для княгини и для своей невесты, для своей очаровательной Люси. Он даст им понять, что к ним в семью приходит не какой-нибудь нищий. В чем другом, а в деньгах он не нуждался.

Во-первых, у отца сохранилось достаточно средств. Во-вторых, опасная работа Юрия Александровича оплачивалась более чем щедро его хозяевами. А тут еще подвернулся случай внезапного обогащения.

В числе других поручений Юрию Александровичу надлежало передать Каледину очень крупную сумму. Но так как Каледин все равно застрелился и никак нельзя было установить, вручил ему Юрий Александрович, что надлежало, или не вручил, то он почел за благо оставить эти деньги у себя. Все равно их расхватали бы кому не лень. Юрий же Александрович употребит их с пользой для будущего своего хозяйства, следовательно, и на пользу будущей России, которой понадобятся образцовые хозяйства и состоятельные помещики, умеющие держать в ежовых рукавицах, в строгом повиновении темный и склонный к бунту народ. Так что совесть не мучила Юрия Александровича.

Когда Юрий Александрович подкатил на великолепной тройке к Прохладному, усадьба была погружена в глубокий сон. Залаяли собаки. Сторож появился из будки, где он, по-видимому, крепко спал.

— Кто такие? — спросил он опасливо, потому что время такое: очень просто вместо ответа могут пристрелить и даже не оглянутся, упал или не упал.

— Молодой барин приехал, — ответил кучер.

— А-а! — успокоенно ответил сторож, хотя он должен

бы знать, что у его господ никакого молодого барина нет.

Юрий Александрович уже жалел, что не переночевал где-нибудь поблизости, чтобы не являться в такое неурочное время.

Но вот в доме замелькали огоньки. Затем он явственно увидел какие-то белые фигуры и в каждой готов был угадать Люси, весь дрожал от нетерпения и еще тут, не выходя из экипажа, подумал:

«Как я ее люблю!.. Это настоящее чувство. Мы будем счастливы!»

Непонятно, как могла Люси догадаться, что приехал он. Но только она сразу, как от толчка, проснулась, прислушалась к тарахтению колес, к возгласам, и ни минуты не колеблясь, решила, что это он, Юрий. Быстро отыскала лифчик, накинула платье — все это в темноте, не зажигая огня, — быстро поправила волосы, секунду постояла так, прижав руку к сердцу и слушая, как оно часто-часто стучит... и затем промчалась через зал, через столовую, выбежала на веранду и крикнула в темноту:

— Юрий!

— Люси! — отозвался неожиданно близко его приглушенный голос.

Он поднялся по ступенькам, высматривая, где она, и они бросились друг к другу, крепко прижались и ничего другого не говорили, только произносили имена:

— Юрий! Юрий!

— Люси! Люси!

И обоим казалось, что они оживленно разговаривают.

Они бы стояли еще долго так, обнявшись, если бы не раздался в комнатах голос княгини:

— Где же он, разбойник? Покажите мне его!

И уже во всех окнах появился яркий свет, и полосы света падали на деревья, на клумбы, и видны стали лошади, загнанные, понурившие головы, и все больше появлялось народу, а ночной сторож, у которого оказалась рыжая борода и смешной брезентовый чапан, подхваченный веревкой, останавливал всех и поочередно всем рассказывал, как он был в будке, как услышал, что кто-то въезжает во двор, и как ему ответили, что приехал молодой барин.

Княгиня встретила с Юрием Александровичем совсем по-родственному. Он называл ее татап, и все как-то сразу почувствовали, что приехал глава дома.

— Теперь ты видишь, Люси, что значит мужчина в доме, — растроганно произнесла княгиня, разглядывая Юрия Александровича: и как он одет, и как выглядит. — Похудел. Но глаза смелые, блестят. Молодец! Люси, мы с тобой не ошиблись.

Не прошло и десяти минут, как на столе появился холодный ужин, а вслед за тем принесли и самовар.

Не заметили, как и ночь кончилась. За деревьями проглянула робкая, чуть заметная полоска — нежно-розовая, такая, как запотелое яблоко бывает утром на согнувшейся под тяжестью плодов ветке. Еще через минуту неуловимо для глаза опять все изменилось вокруг. Обрисовались силуэты деревьев. Вдруг проснулись птицы. И уже не силуэты деревьев, а зеленые пышные деревья с листьями, мокрыми от обильной росы, выступили на небе.

— Мы встаем поздно, — говорила княгиня, уже поднявшись с кресла, — а ты, татап, поступай, как найдешь нужным. Завтрак у нас в одиннадцать.

Юрий Александрович тихо спросил княгиню, есть ли в доме сейф.

— Дело в том, татап, что вот этот мой чемодан — это деньги. Я привез на первое время, немного, правда, но зато в валюте, теперь ведь часто придется иметь дело с иностранцами.

Он торопливо и беспорядочно рассказывал:

— Давно ли мы расстались? А я за это время побывал в Москве, в Париже, в Ужгороде... и еще где-то... Да! В Турции побывал!

Тут Юрий Александрович бросился к своим чемоданам и извлек приготовленные подарки. Княгине он привез купленный в Стамбуле браслет, тяжелый, усеянный крупными камнями чистейшей воды. Люси получила кольцо — тончайшее изделие парижских ювелиров.

И как ни хотелось всем спать, но обе женщины, ласково браня его за расточительность и притворяясь сердитыми, долго любовались драгоценностями и наконец растрогались. Княгиня хвалила его вкус, а Люси смотрела на него влюбленными, зачарованными глазами, и он видел, что она безраздельно принадлежит ему.

Проснулся Юрий Александрович сравнительно рано. В доме была полная тишина. Сквозь шторы пробивался солнечный свет. В комнате ходили зеленые тени, зайчик играл на стене. Юрий Александрович лежал и думал, откуда этот зайчик, и, проследив взглядом, понял, что это от графина, который стоит на окне. И Юрий Александрович почувствовал такой прилив сил, такое ликование во всем своем существе!

«Надо сразу же сыграть свадьбу, не откладывая», — подумал он.

Ему вспомнилась во всех подробностях встреча с Люси вчера на веранде... Вскочил одним прыжком с постели — роскошной, со множеством пуховых подушек, с прохладными простынями голландского полотна, с периной, в которой тело утопает. В комнате держался тонкий запах старинных духов.

«Породой пахнет, старым дворянским гнездом...» — подумал Юрий Александрович и без всякой связи прошептал:

— Ох и заживу я! Всем чертям назло! Скорее бы кончалась эта мура всероссийская.

Затем он набросил шёлковый бухарский халат, вероятно оставшийся еще от князя и заботливо приготовленный ему, и одним движением поднял штору, потянув за шнур.

В окно хлынуло солнце, глянули блестящие, насыщенные теплом и светом большие деревья. Он обратил внимание, что небо необыкновенно синее, даже больно глазам от этой синевы.

Около кровати, на коврик, стояли и туфли. Юрию Александровичу все это показалось естественным. У него было такое чувство, как будто он всегда, всю жизнь провел в этом доме и так же ходил по горячему паркету комнат именно в этих расшитых бисером ночных туфлях.

«Надо будет завести длинные трубки... чубуки... Традиция — великое дело! Но это потом, потом...»

Юрий Александрович перекинул через плечо мохнатое полотенце и вышел на веранду. Там накрывала чай хлопотливая и какая-то домашняя женщина.

— Здравствуйте, барин! — певуче заговорила она. — Что-то дуже рано проснулись! Чайку не угодно ли?

Как отчетливо представилась в этот миг Юрию Александровичу его жизнь, но другая жизнь, совсем не та, которая сейчас, а та, которая была бы возможна, если бы в стране не произошло никаких потрясений... та жизнь, которую у него украли... отняли... У него даже дыхание захватило, когда он представил, что вот так, как сейчас, он мог бы всю свою жизнь выходить по утрам в халате, и так же встречали бы его приветливые, преданные слуги, и все, что только можно пожелать, предоставлялось бы ему без всяких усилий, без всякого промедления... Как хорошо можно было бы жить!

«Длинные трубки... это обязательно! Отличный выезд... а может быть, и скаковых лошадей держать? И каждый год ездить куда-нибудь за границу, например в Париж... просто так, проветриться, посорить деньгами... Или нет, не надо никаких заграниц! Достаточно я помотался по белому свету. Нет! Сидеть у себя в усадьбе, не вылезать из халата, редко бывать даже у соседей... хозяйством заниматься... сидеть на веранде и пить чай...»

Хлопотливая, аккуратная женщина смотрела на него, спокойно улыбаясь. О чем она спрашивала? Ах да, не хочет ли он чаю!

— Тебя как звать-то, дорогая?

— Меня-то? Маруся. Мария, то есть.

— Очень хорошо! Значит, Мария? Маруся... Гм... Замечательно! А где у вас тут купаются?

— Купальня есть. Спуститесь в сад и прямоенько по главной аллее все идите, идите и придете...

«Да! Это очень хорошо, — думал Юрий Александрович. — Люси... Маруся... парное молоко... деревья... и чтобы солнце вот так освещало веранду... И никаких сомнений, ничего тревожного. Неужели так когда-нибудь будет? И разве я не имею права на этот покой?»

После купания Юрий Александрович почувствовал такую свежесть, такую негу во всем теле! Он шел по аллее, то попадая в тень, то чувствуя горячие лучи солнца, и думал о том, что все это принадлежит ему, и здесь пройдет его жизнь, и что так оно и должно быть, это вполне справедливо и разумно, и мир устроен превосходно, все идет по раз заведенному порядку, и возможно, что все-таки есть бог...

Вернувшись, Юрий Александрович переоделся. На

веранде его уже ждали. Он приложился к ручке княгини и радостно приветствовал Люси. Люси немного смутилась под его бесцеремонным взглядом, а он рассматривал ее так же внимательно и по-хозяйски, как рассматривал парк, конюшни, службы и уголья имения. Он вступал во владение всем этим великолепием.

5

Венчаться решили в сельской церкви, в соседнем селе Данилове. Церковка там была нарядная и стояла в красивом месте, на пригорке, среди вишневых садов. Совсем недавно с ее колокольни бил пулемет, и на стенах ее остались царапины, здесь было сражение между гайдамаками и партизанским отрядом. Но сейчас в Данилове размещен германский гарнизон. И церковная служба возобновилась, и звонили в колокола как положено. И священник в Данилове благопристойный.

По случаю торжества был вызван телеграммой Скоповский, которому предназначалось быть посаженным отцом. Он явился во всем блеске, в белых перчатках, во фраке. Он смаковал возвращение старых порядков.

Самый обряд венчания совершен был просто и не занял много времени. Церковь была ярко освещена, и народу набралось посмотреть на это зрелище превеликое множество. Старенький священник, закончив всю процедуру и надев обручальные кольца на пальцы жениха и невесты, отвел их к клиросу и пожелал им не ссориться, жить в мире и согласии. Это растрогало Юрия Александровича, и он сунул в руку попика ассигнацию. При выходе молодых обсыпали хмелем, а слуги по указанию Юрия Александровича горстями бросали в толпу серебряные монеты.

Затем толпа расступилась и вереница экипажей покатилась по направлению к Прохладному. Люси была в каком-то полусне, в полуобморочном состоянии — от счастья, от волнения, от того, что все так красиво и в точности, как описывают в романах и как венчались в старину.

Все было бы необыкновенно удачно, если бы тут не произошла одна неприятность, о которой старались не вспоминать.

Поля кончились, миновали небольшой березнячок, вы-

гон и покатили по широкой деревенской улице, пугая кур, маленьких ребятишек и телят. И вдруг раздался выстрел...

Юрий Александрович побелел, лицо его перекошилось. Он нащупал в кармане револьвер. Но больше никто не стрелял, и вообще было довольно пустынно на улице, только в окна глазели женщины.

Оказывается, была ранена лошадь у второй повозки, следовавшей за женихом и невестой. Вереница экипажей остановилась. Юрий Александрович обошел всех и успокаивал как мог.

— Они еще поплатятся! — говорил он, щурясь и перебирая пальцами, что у него было всегда признаком раздражения. — Но сейчас не будем омрачать нашего праздника.

Раненую лошадь выпрягли и тут же пристрелили. Затем поскакали дальше, хотя кучера беспокойно поглядывали на придорожные кустарники, опасаясь нападения.

Если не считать этого выстрела, все прошло очень гладко, свадьба была богатая, пышная, невеста была красива, музыка гремела... Многократно кричали «горько», и вино лилось рекой. Наехали соседние помещики, нарядные, довольные. За стол уселось более шестидесяти человек. Пожаловал даже сам Потоцкий. Был и представитель германского командования — жирный, обрюзгший полковник с четырьмя подбородками. Было духовенство. Поговаривали, что приедет даже гетман, но он только прислал поздравления и пару великолепных рысаков.

Это была не просто свадьба, это праздновалась победа целого сословия старой России, вновь вступающего в свои права.

Кто-то встал и запел «Боже, царя храни». Нестройно, но подхватили. Даже священники пели. Соседний помещик Опанас Опанасович Завгородный, апоплексический толстяк, даже покраснел от натуги, когда выводил:

Царствуй на страх врагам,
Ца-арь пра-авославный...

Духовой оркестр, любезно предоставленный расквартированным неподалеку полком, правда, в другой тональности, но тоже грянул царский гимн. Все встали, разумеется. У княгини был такой вид, как будто этот гимн исполняется в ее честь. На фронтоне дома сиял вензель с короной, а в парке шипели фейерверки...

Только под утро стали разъезжаться гости. Княгиня была в минорном настроении, ласково говорила с дочерью какими-то загадками, какими-то излишне торжественными словами. Назидания эти касались супружеских обязанностей и пожеланий, чтобы они жили так же дружно, как жила княгиня со своим Nicolas. Все отлично знали, что ее Nicolas изменял ей направо и налево и что она тоже не оставалась в долгу, но все ее назидания были выслушаны почтительно. Люси обняла мать и шепнула ей:

— Мама, я очень счастлива!..

— Ну и слава богу, ну и слава богу! — пробормотала княгиня и много раз перекрестила дочь.

6

На следующий день супруги долго не появлялись из своих покоев. В промежутках между нежностями и поцелуями Юрий Александрович рассказывал Люси о своих планах на будущее.

— Мы не имеем права жить по старинке, за счет дедовских капиталов, — говорил он, обняв белокурую головку и перебирая локоны, то растрепывая их, то снова приглаживая, испытывая неизъяснимую нежность к этому прильнувшему к его плечу существу. — Мы не можем больше позволить себе роскоши отставать от Европы. Вообще, говоря откровенно, тебе-то я могу это сказать, не все так глупо в программе этих коммунистов, которых я ненавижу всей душой. Я кое-что читал из их произведений, сам сталкивался с ними; это большей частью интеллигентные люди. Представь, кое в чем они даже правильно ставили вопрос. Это надо будет учесть, когда мы их уничтожим, то есть я имею в виду большевиков.

Люси слушала, закрыв глаза и одной рукой обнимая его. Она думала о том, что надо заставить себя читать хотя бы газеты, хотя это очень скучно, и вообще разобраться во всех вопросах, чтобы понимать Юрия, когда он с ней беседует на такие серьезные темы.

«А впрочем, — думала она, — у мужчин все другое: и мысли, и вкусы, и увлечения. Мужчины выдумали целый сложный, неприятный мир, в котором много обмана, подсиживания, этот мир биржевой игры, войн, судебных

палат, газет... отвратительный, как и нравящийся мужчинам табак, но, по-видимому, для них необходимый... Глупые мужчины! Все их затеи ничего не стоят по сравнению с женским прямым и настоящим делом — любовью, домашним хозяйством и выращиванием детей. Но приходится делать вид, что мужчины умней, надо быть уступчивой, эластичной...»

И Люси, не дослушав Юрия Александровича, обхватила его шею и сказала, чуть-чуть играя в маленькую девочку:

— Ты у меня умный-умный!.. Я знаю, что мы будем хорошо жить. Я тебя буду так любить, так любить!.. И потом у нас будут дети... И вообще нам пора вставать и идти завтракать...

Юрий Александрович пришел в восторг от ее здравого рассуждения. Он прекрасно понял смысл сказанного ею.

— Девочка! — прошептал он ей после множества поцелуев. — Ты умнее всех наших умностей! Конечно же, нет ничего прекраснее, важнее, насущнее, чем любовь! Выдумано много теорий, философий, религий, а, если добраться до сути, только одно и важно: женщина и мужчина, обитающие на земле. Они должны плодить детей и добывать пропитание. Все остальные нагромождения так называемой цивилизации, в сущности — вздор! А по-сему по счету раз-два-три встаем, одеваемся, бежим в купальню и затем пьем на веранде парное молоко! Ура!

И Юрий Александрович вскочил первый, подхватил на руки Люси, а она визжала, смеялась и барахталась, путаясь в длинной ночной рубашке.

После обеда Юрий Александрович надел военную форму, надушился, поцеловал ручку княгине, поцеловал жену и поехал к немецкому коменданту. Темой их разговора был вчерашний выстрел.

— Мы не можем давать спуску этой двуногой скотине! Мы должны каленым железом выжечь крамолу!

— О! — соглашался комендант. — Это очень хорошие слова! Не нужно ждать, когда будет много стрелять, надо наказывать!

В общем, они поняли друг друга с первого слова. Комендант немедленно приступил к исполнению. Он зво-

нил по телефону, он давал распоряжения, а через какой-нибудь час в сторону деревни Дубовый Гай двинулись пехотные и артиллерийские части оккупационной армии.

Деревня, которую вчера проезжала свадебная процессия, была оцеплена со всех сторон по всем правилам военного искусства. Жители деревни наблюдали эти приготовления, но никак не предполагали, что приготовления вполне серьезны, что это не маневры, не какая-то подготовка фронта.

Вот и парламентар в сопровождении конной охраны шагает по дороге. Все население выгнано из хат. Толпа молча ждет, что им объявит прибывший к ним «представитель германского командования» и стоящий рядом с ним гетманский синежупанник. Лица угрюмые, недобрые лица. Надоели все эти «представители». Только и делают, что требуют, требуют...

«Представитель германского командования», а на самом деле просто белый офицер, прочитал бумагу. Жителям деревни Дубовый Гай предлагалось немедленно, в течение одного часа с момента объявления этого меморандума, доставить живым или мертвым бандита, стрелявшего по проезжавшим через деревню господам помещикам. В случае невыполнения этого требования деревня Дубовый Гай будет уничтожена.

Бумага прочитана. Один из немцев о чем-то спрашивает читавшего бумагу офицера. Тот отвечает тоже по-немецки. Оба смотрят на часы. Три часа пополудни. Представитель германского командования слезает с телеги, откуда он провозгласил свой ультимативный приказ. Синежупанник, в ярком, несколько театральном одеянии, присоединяется к их группе. Они закуривают и беседуют между собой на странном языке — невероятной мешанине немецких, русских и украинских слов.

Солнце стоит еще высоко. Конные, сопровождающие парламентаров, лениво, не спеша разгоняют толпу. Наконец взрослые все расходятся. Женщины оживленно обсуждают положение.

— Да де ж мы им возьмем того злодия?

— Нехай сами шукають его!

— Пугать нас нечего, мы уж давно перелякались.

— Бачите, яки добры! Подай им живого или мертвого!

Все разбрелись по хатам. Остались только босоногие ребятишки в широкополых соломенных шляпах. Они стоят на почтительном расстоянии и глазют на лошадей.

Синежупанник достает флягу. Фляга довольно объемиста. Синежупанник угощает из фляги офицеров. Немец смеется и крутит головой.

— Коньяк? — полувопросительно говорит он и одобритительно хлопает синежупанника по плечу.

Часы на руке офицера показывают половину четвертого... без двадцати минут четыре... без четырнадцати минут...

Ребятишки тоже разбрелись. Ни души вокруг. Где-то в хлеву мычит корова. Петухи перекликаются то в одном конце деревни, то в другом. Вся деревня состоит из одной очень широкой зеленой улицы, поросшей мелкой гусиной травой и лебедой. Возле каждой хаты палисадник с бледно-розовыми мальвами, а позади каждой хаты — яблоневый сад. В самом центре деревни колодец. Возле колодца — непросыхающая лужа, и в непросыхающей луже отражаются облака.

Без пяти минут четыре... Без двух минут... Ровно четыре часа! Офицеры сверяют часы. Они хотят быть точными.

Итак, население деревни не пожелало выдать партизана, который среди бела дня осмелился напасть на проезжавших?! Значит, население деревни заражено духом коммунизма, а сразу нужно искоренять.

Не спеша покинули деревню парламентары. За ними проследовала конная охрана. Некоторое время стояла полнейшая тишина.

Затем горячий воздух качнулся, ухнул залп артиллерии. Один снаряд угодил прямо в колодец. Взлетели в воздух куски дерева и комья влажной земли... Второй снаряд поджег соломенную крышу. Издали можно видеть, как выскакивают из хаты люди, вытаскивают узлы, маленьких детей...

Но за первым залпом следуют еще и еще... И тогда деревня оживает: крики, стоны, проклятия и треск пылающей соломы...

— Рятуйте!..

Женщины с детьми бегут по направлению к реке. Но со стороны реки бьет пулемет. Никто не выйдет живым

из деревни. Деревня Дубовый Гай предназначена к полному уничтожению, ее сровняют с землей — таков приказ германского командования и гетманской власти.

В пять часов артиллерия замолкла. В Прохладном от сотрясения воздуха выбиты стекла в некоторых окнах.

Военные подходят к тому месту, где находилась деревня. Все вспахано снарядами. Ни яблоневых садов, ни гусиной травы, ни хат, ни тына... Черное обезображенное пространство... И трупов почти не видно.

В шестом часу посетил это место Юрий Александрович. Он приехал верхом, в сопровождении управляющего. Конь шарахнулся в сторону: здесь пахло отвратительной сладковатой гарью.

— Как вы думаете, — спросил Юрий Александрович, — будет расти на этом месте картошка?

— Как вам сказать... — смущенно пробормотал управляющий.

Юрий Александрович увидел, что тот ошеломлен картиной, которая открылась перед его глазами: деревня исчезла, не то что была сильно разрушена, нет, она буквально исчезла с лица земли!

Юрий Александрович тоже в первый момент почувствовал, что ему как-то не по себе. Но затем к нему вернулось прежнее самообладание.

— Вот что, — предложил он, подумав, — деревня эта называлась Дубовый Гай, то есть дубовый лес. Пусть, так и будет. Мы засадим эту площадь дубами.

— Очень много понадобится дубов.

— Ничего, мы прибавим и другие породы кустов и деревьев.

На другой же день было согнано на пожарище шестьсот крестьян из соседних деревень. Вся площадь была расчищена. Немецкий конвой подбадривал работавших.

Затем прибыл садовник из имения Долгоруковых. Вдоль всей дороги была посажена дубовая аллея. Остальное пространство засадили чем попало: орешником, березками, молодыми кленами. Деревья и кустарники переносили с комом земли, или, как выражался садовник, «со стулом». Каждый куст полили, причем воду возили из пруда Прохладного, за три километра.

Через три дня местность нельзя было узнать. Даже княгиня пожелала полюбоваться на эту «веселую» рощу...

7

А еще через день по всему уезду вспыхнуло восстание. В квартиру, где расположился немецкий комендант, бросили бомбу. Выгнали поставленных в селах старост-кулаков. К повстанцам присоединился партизанский отряд, действовавший в этих местах, руководимый подпольной коммунистической организацией.

Наладили полный порядок — командование, связь — все честь честью, караулы расставили, разведку установили. Заранее обо всех намерениях противника знали. И когда произошло первое настоящее сражение, с большой радостью убедились, что перевес-то на их стороне.

В числе партизан был и сероглазый молодой хлопец Ивась, житель деревни Дубовый Гай, тот самый отчаянный хлопец, который выстрелил в свадебную процессию.

— Не мог я стерпеть, — рассказывал он, волнуясь и захлебываясь словами, — сердце вскипело, в глазах стало темно, я и выстрелил.

— Это плохо, — отвечал ему командир партизанского отряда. — Когда стреляешь во врага, нужно, чтобы глаз был ясный и зоркий.

— Да я ведь и не перестрелять их хотел, а просто не вмоготу было. Любоваться, что ли, на них? Пусть знают, что мы их ненавидим!

— Ну, а дальше?

— А дальше — я ушел в лес, я пошел искать таких людей, которые не сдаются...

— Нашел?

— Нашел. Партизан нашел. В лесу.

— Это он правильно рассказывает, — подтвердил кто-то из слушателей. — Он к нам пришел, в наш отряд.

— Только вижу я, — продолжал свой рассказ паренек, и чем дальше он рассказывал, тем бледнее становилось его лицо, тем прерывистей голос, — вижу я, народ боевой, а оружия у них мало.

— Правильно! А патронов так и вовсе пустяки.

— И тут подумал я, что у нас в Дубовом Гае вин-

товки понапрятаны, патроны, даже пулемет в землю на огороде зарыт...

— Понятно!

— «Постойте, — сказал я хлопцам, — я обеспечу оружием!» И тотчас отправился назад, в свою деревню, и двух, посильнее которые, с собой захватил. Идем это мы...

— Домой, значит?

— Да. С осторожностью, конечно, идем. Двое суток лесами пробирались. В сумерки вывел я их к нашим местам, возле речки велел им обожждать, а сам пошел по тропке, думаю, задами в нашу хату проберусь, а там разбужу отца, братана, и мы заберем оружие и доставим к речке, где ждут мои хлопцы...

— Ну, ну! — в нетерпении торопили слушатели, хотя уже наперед знали, что скажет он дальше, потому что рассказывал он это много раз, всюду, куда ни приходил. — И что же дальше?

— Иду я... — волнуясь все больше, рассказывал молодой партизан, — места-то знакомые, родные, в речушке-то я еще семилетним раков ловил... иду и ничего понять не могу... Где же это я, думаю, плутаю? Неужто не в том месте речушку перешел? Вот тут изгородь должна уже быть, а левее — баня бабки Лукерьи... а прямо — наша хата... и тополя там растут... И ничего такого нет, а иду я лесочком... И стало мне казаться, что помутился я разумом!.. Вот, думаю, этого горя не хватало, чтобы я еще ума лишился! Даже такая была думка, что нечистая сила меня водит... Вернулся к речке, хлопцы сидят и ждут... а я им и объяснить ничего не могу. Снова пошел... опять в этих дубках закрутился... и земля под ногами рыхлая...

— И деревни нет? — прохрипел кто-то.

— Нет деревни! Понимаете, люди добрые? Нет ее... И всю ночь я бродил, и утро настало... А наутро я впрямь разума лишился, эти же хлопцы отыскиали меня и увели...

Каждый раз, как выслушивали этот незамысловатый рассказ, поднимался ропот и говор. Кто ругался, кто слезу вытирал. Женщины в голос выли. Старики сжимали кулаки и посылали проклятия.

И тут же, не отходя, записывалась молодежь в партизаны. Не отставали и степенные мужики. Старики, что покрепче, упрашивали взять и их, обещая, что они будут

стрелять — не промахнутся. И каждый день прибывало в повстанческих отрядах бойцов, все брались за оружие.

Повстанцы захватили железнодорожную станцию Россоховатка. Быстро расставили свои патрули, быстро вооружились ломами и разобрали рельсы, чтобы не мог сюда заскочить бронепоезд и не могло прийти подкрепление врагу.

— Пускай только сунутся!

Начальник станции Россоховатка, смешной, усатый, как таракан, бегал от одной группы работавших на путях повстанцев к другой, размахивал руками и вопил:

— Что вы делаете, братцы? Воюйте вы, пожалуйста, на нейтральной территории, но не нарушайте график движения поездов!

От него только отмахивались, но не трогали. Что с него взять?

Начальник станции, охрипнув от криков, бежал в телеграфное отделение и слал телеграфную депешу в Уманское железнодорожное управление:

«Станция дезорганизована вооруженной толпой местных крестьян точка пути разобраны в обе стороны точка просьба поездов не отправлять впредь до уведомления многоточие находимся запятая как сами понимаете запятая в безвыходном положении запятая граничащем с катастрофическим точка».

Управление безмолвствовало.

8

Поздно вечером и, по-видимому, тайком явилась к Юрию Александровичу делегация от местного кулачества. Всего их четверо, они приехали на конях, но коней оставили в орешнике, не доезжая до Прохладного. Они были осторожны и не хотели, чтобы узнал кто-нибудь об их посещении помещичьей усадьбы.

— Наша стежка-дорожка одна, одним мы лыком связаны, — начал беседу самый солидный из них, чернявый, рослый, загорелый, с умным, немного насмешливым взглядом, как будто он что-то такое знал о собеседнике, но не хотел этого высказать. — Мы хоть и простые

крестьяне, но тоже вроде как ваши младшие братья. Вы — помещики, а мы — унтер-помещики. Нам еще немного подрасти, еще землицы прикупить трошечки, еще поголовья скота прибавить, да отстроиться, да детей в мужиках не держать, в ниверситетах обучить — и станем мы на ноги.

— Розумиете? — то и дело подхватывал слова чернявого второй из пришедших, маленький, коренастый, с веселыми глазами.

— Я вот хочу сахарный завод купить. Деньги есть, только время неподходящее. А деньги, конечно, найдутся...

— Розумиете?

Третий, щетинистый, угрюмый, прервал эти разговоры:

— Ты, Пантелей Лукич, о деле балакай. Что деньги у тебя есть, всем известно. Ты о деле начинай. Слово толковое стоит целкового.

— Да, да, что же вы предлагаете? — спросил Юрий Александрович, до сих пор молча, с любопытством разглядывавший этих ходоков. — Уходить?

— Уходить нам нельзя: земля, — вдруг заговорил четвертый, тучный, жирный и как будто дремлющий великан.

— Правильное слово! Земля! Нам от земли никак невозможно отдаляться!

— Значит, надо действовать! — воскликнул Юрий Александрович. При этом он встал и начал ходить по кабинету, где принимал своеобразную делегацию. — Правильно понял я вас?

— Действовать, — подтвердили все четверо, — и чтобы наверняка.

— А то у всякого Федорки свои отговорки, — опять ввернул щетинистый.

— Истреблять их надо! — пробасил великан.

— А что же? Конечное дело! Смотреть на них? Они нас бьют, они хотят свои совдепы посадить на нашу шею...

— Нам вместе не жить. Мы или они.

— Понятно! — ходил по кабинету Юрий Александрович. — Мне все это очень близко и очень понятно. И я от всей души благодарю вас за доверие, дорогие мои братья, дорогие друзья!

Юрий Александрович искренне был взволнован. Он думал:

«Вот она, сила! Вот она когда пробуждается! Соль земли, деревенские богатеи... Они производят хлеб, шерсть, кожу, масло, молоко... И они хотят сами, своими руками покончить раз и навсегда с чуждыми им идеями всяких социализмов...»

Юрий Александрович восхищенно смотрел на этих пахнувших черноземом — как он сказал? — «унтер-помещиков», и в голове Юрия Александровича рождались одна за другой великолепные идеи: нужно подхватить эту инициативу, возглавить это движение хлеборобов... дать им в руки оружие — и они выжгут каленым железом всю крамолу, с которой никак не могут справиться никакие петлюры, никакие оккупанты...

Юрий Александрович заговорил. Он не выбирал слов, не старался говорить популярно, но он видел по лицам, что его понимают, что его одобряют.

— Оружие у нас есть, — говорил, сдерживая накипевшую в нем ярость, чернявый, — оружие есть, люди найдутся. Нам нужно только опытных командиров...

Долго они толковали, намечали планы, прикидывали...

Когда делегаты ушли, Юрий Александрович сел писать обширную докладную записку. Он откроет глаза на истину! Он поднимет на великую битву земную силу Украины!

Писание Юрия Александровича прервало приглашение к обеду. А потом Люси отняла весь вечер... А потом, проглядев все им сочиненное, Юрий Александрович нашел это бесцветным, слишком напыщенным, не подкрепленным фактами.

На следующий день Юрий Александрович поехал к самому Эйхгорну и просил его усмирить восставших мужиков в их уезде. Юрию Александровичу обещали всяческое содействие, были любезны, и действительно, в Звенигородку были двинуты крупные военные силы, с танками, артиллерией, авиацией. И вскоре в уезде стало тихо.

И как ни жаль было расставаться с комфортом, со старинными портретами, висевшими в залах, с сытными обедами, с салфетками, на которых были вышиты короны, с очаровательной Люси, которая всегда была готова отвечать на его ласки, но надо было ехать, надо

было действовать. Уже поступали сигналы со стороны шефов, с которыми Юрий Александрович был тесно связан, уже несколько раз напоминал о себе Гарри Петерсон, требуя немедленного выполнения его директив.

И настал час расставания. И опять Юрий Александрович, уезжая, не оставлял адреса, куда ему можно писать, и сам опять не обещал писать часто.

СЕДЬМАЯ ГЛАВА

1

Когда поезд, увозивший Мишу Маркова, прогромыхал всеми своими колесами, надымил, заслонив дымом половину неба, а затем вдруг растаял, исчез в степи, Григорий Иванович подумал облегченно:

«Пристроил мальчишку! Пусть пошлифуеться, подрастет. А здесь он пропал бы ни за грош».

Теперь нужно подумать о себе. Пробирается ли в Бессарабию и снова собирать партизанский отряд? Или пойти к партизанам здесь, на Украине? Помогать хлопцам пускать под откос немецкие эшелоны?

Встретил на улице Ковалева, однополчанина по Таганрогскому полку. Узнать его было трудно, сначала посмотрел — идет дядька с базара: баранья шапка, самотканая свитка, гармошкой сапоги.

— А я вас ищу, — обрадовался Ковалев. — Сказали мне, что вы где-то здесь обретаетесь, в какой-то гостинице. Думаю, обязательно найду. Я ведь только что приехал и опять уезжаю. Дела. У вас какие планы?

— Планы — бороться. Других пока нет.

— Вот-вот. Я как раз с этой точки зрения. Вечерком заходите, я тут поблизости, сведу вас с одним полезным человеком. Вместе покумекаем, где и как вас лучше использовать. Люди знаете как нужны!

Встретился Котовский в маленькой комнатке маленького домишка, за чайным столом, за самоваром, чтобы не привлекать внимания хозяев, с очень интересным человеком. Он назвал себя Романом. Григорий Иванович умел разбираться в людях и сразу почувствовал, что

перед ним крупный работник, умница, человек, отдавший всего себя без остатка служению революции.

Самовар похлопывал крышкой, фырчал, пел на разные лады. За перегородкой весело, как воробьи, кричали, возились, ссорились и мирились дети — целый выводок, и все мелюзга. Хозяйка, крупная, складная женщина, наперекор всем громам и молниям, обвалам и катастрофам, растила детей, выпекала лепешки, белила, мыла, скоблила хатенку, топила печи — словом, сохраняла семью. Вот и сейчас она гремела посудой, попутно давала шлепка младшему своему отпрыску или грозно приказывала: «Манька, принеси воды!»

Затем она вошла в комнату и поставила на стол пышущие жаром, румяные, аппетитные лепешки, целую стопочку, наложенную на тарелку:

— Лепешечек свеженьких!

Воспользовавшись приоткрытой дверью, в комнату заглянула девочка, с белыми кудряшками волос, с огромными серыми глазами и перемазанной в масле физиономией.

— Ма-амка!

— Закрой дверь! — цыкнула мать, и снова приветливо: — Кушайте! Уж лучше самим съесть, чем этим грабителям достанется.

— Спасибо, хозяйюшка! — сказал, улыбаясь, Роман. — А грабителям скоро непоздоровится, недолго они повластвуют.

Когда она снова исчезла за дверью и там опять зашипела сковорода и загалдели ребята, товарищ Роман сказал:

— Мне даны полномочия неотложные вопросы решать на месте. Я очень рад, что встретился с вами, — обратился он к Котовскому, но ни разу не произнес его имени, что свидетельствовало о большой его осторожности. — Партия решила послать вас на ответственный участок, туда мы направляем лучших наших людей. В Одессе уничтожен подпольный губком. Сейчас будут направлены по подбору ЦК новые работники. У вас, как мы знаем, большой опыт подпольной работы. Мы знаем о вас и по Румынскому фронту, и по Кишиневу. Отправляйтесь в Одессу. К сожалению, некоторые явки провалились... Запоминайте адрес, фамилии, пароль. Записывать ничего не надо. Начнете с этого, а там уста-

новите связь с нашими товарищами и будете работать по их заданиям. Только... — товарищ Роман несколько замялся, — только не надо особенно рисковать, у вас есть эта черточка... Вы не обижайтесь, это не просто мой дружеский совет, но и указание партии. Вы не один. Никакой бравады. Ну, а храбрости у вас хоть отбавляй. Мне говорили о вас в Москве. Вас знают.

Котовский несколько не удивился, что ему, беспартийному, поручают такие задания. Он считал себя в партии. В Кишиневе он всегда согласовывал свои действия с Гарькавым и работал под руководством фронт-отдела. В Галаце он присоединился к установкам большевиков. В Тирасполе был под командой беззаветно преданного революции Венедиктова. И сейчас безоговорочно принял новое задание.

2

Весело, без минутного колебания, даже с каким-то задором и любопытством отправлялся в опасную дорогу Григорий Иванович. Конечно, он понимал, что каждую минуту будет рисковать головой. Вот это как раз ему и нравилось! Это напоминало молодые годы, романтику его юношеских дней. Только в те годы он по собственному почину и по своему разумению взял на себя роль народного мстителя, а сейчас предстояло ему связаться с красным подпольем, с партизанами, и там, в стане врагов, вести борьбу.

Так складывается жизнь! Вчера он еще не знал, что будет с ним. А сейчас в кармане Котовского документы, из которых явствует, что предъявитель их — помещик Золотарев. И если бы Марков мог видеть в поезде, направлявшемся в Одессу, плотного человека в штатском — в летнем чесучевом костюме, в соломенной, далеко не модной шляпе, — никогда не признал бы он в этом добродушном толстяке своего командира.

Нет! Это был совсем другой человек! Ну просто гоголевский какой-нибудь Шпонька или Иван Никифорович! Так и казалось, что он или обзовет кого-нибудь гусяком, или достанет из своих бесконечных баулов дыню и примется за нее с завидным аппетитом, нарезывая длинными ломтями.

Он отнюдь не неряшлив, нет, он даже щеголеват, но по-провинциальному щеголеват, как щеголяют где-нибудь в Прилуках или же на Диканьке. Он провинциально шикарен и провинциально любопытен. Таким людям приятно рассказывать новости: всему верят и все выслушивают с неослабевающим интересом.

Поезд громыхал через степь.

Степь была знойная, и сколько поезд ни уходил на юг, все стояло перед глазами одно облачко, большое, скучное, снулое, разомлевшее от жары.

Да есть ли конец у этой степи? И схлынет ли наконец эта жара? Уже которые сутки поезд громыхает по стыкам рельсов — и не может добраться до какой-нибудь мало-мальски приличной станции!

Не обращая никакого внимания ни на грохот колес вагона, ни на пьяные выкрики, два старичка, оба седенькие, оба шустрые, проворные, очень довольные, что нашли один в другом по душе собеседника, говорили о рыбной ловле и спорили, когда лучше ловится рыба — до дождя или после дождя.

Помещик Золотарев принял участие в их споре и горячо настаивал, что рыба лучше ловится после дождя.

— Но позвольте! — не унимался старичок, придерживавшийся противоположного мнения. — Рыба — она первная, она заранее чувствует погоду. К тому же перед дождем мошки, стрекозы ложатся на воду...

В вагоне много мешков, оружия и табачного дыма.

Офицеры и солдаты, неизвестных частей и неизвестно куда и зачем едущие, спекулянты (ну, эти-то как раз знали отлично, куда и зачем ехали!), простоволосые, несчастные женщины, разыскивающие пропавших без вести мужей, старухи, бог весть каким образом затесавшиеся в общую сутолоку, — все это разместилось по полкам и изнемогало от жары.

— Пресвятая богородица, до чего же дождя надо!

Когда поезд останавливался, все спрашивали друг друга, какая это станция и долго ли поезд будет здесь стоять. Но никто не знал ни названия станции, ни продолжительности остановки. На станции уныло бродил человек с фонарем. Никли пыльные акации. Пассажиры выходили на раскаленные плиты перрона и покупали молоко в бутылках зеленого цвета. Молоко было разбавлено водой

и приправлено кусочком масла. Горячий паровоз шипел. Сердитый машинист поглядывал на пассажиров.

— Скажите, машинист, долго ли тут стоять будем?

— До второго пришествия!

Он с превеликим удовольствием спустил бы под откос этот состав, наполненный деникинским офицером. Но к машинисту приставлен часовой. И поезд дает отправной свисток, поезд движется дальше. Часовой присматривает за машинистом, машинист присматривает за паровозом... и мимо мелькают степи, степи, неоглядные степи!..

Котовский великолепно играет роль провинциала-помещика. И ничего нет подозрительного, что он заговаривает с одним, другим, главным образом расспрашивая относительно цен на хлеб.

— Позвольте полюбопытствовать... — говорит он. — Извините за беспокойство...

Случайно перехватывает внимательный взгляд одного пассажира, которого раньше и не приметил. У открытого окна сидит молоденький офицер с фронтовым загаром и какой-то грустью и усталостью в глазах. Офицер этот чем-то располагает к себе, и он так не походит на всю эту пьяную ватагу, на этих хлещущих коньяк, орущих, безобразничающих деникинских головорезов, которыми полон вагон!

Лицо знакомое... У Котовского отличная память. Он вспомнил, кто этот офицер у окна вагона. Но хотелось бы знать, какова зрительная память офицера? Времени прошло очень много. Узнает или не узнает? Встречались они во время оно в имении Скоповского. Офицерик в те времена был гимназистом Колей и приезжал на летние каникулы вместе со Всеволодом Скоповским из Питера. Конечно, он выглядел тогда иначе. Да и встречались они с этим гимназистом редко и мимоходом. Котовский вспомнил: «Да, да, точно! Орешников его фамилия! Коля Орешников! Он еще всегда с удочками таскался!»

Как поступить? Перейти в другой вагон? Отстать от поезда?

Котовский вместо того сел рядышком с молоденьким офицером. Он всегда предпочитал смотреть опасности в лицо. Во всяком случае, он точно удостоверится, узнали ли его, каково настроение этого поручика, каков он сам, а тогда уж можно решить, как действовать.

С минуту оба молчали. Только поручик вежливо подвинулся, давая место у окна.

Они заговорили о том, что жарко, что хлеба выгорели, что, впрочем, это не имеет никакого значения, потому что все равно некому убирать.

«Кажется, не узнал, — думал между тем Котовский, внимательно слушая и внимательно разглядывая собеседника. — Не мог бы он так прикидываться!»

Действительно, голос поручика звучал так искренне. Сам он производил впечатление человека издерганного, усталого. Говорил отрывочно, перескакивал без всякой связи с одной темы на другую. Голос у него был приятный, а когда он улыбался, глаза его оставались грустными и не участвовали в улыбке.

«Нет, не хитрит. Явно не узнал, да и не разглядывает особенно, и, видимо, я все же изменился за это время. Но почему так смотрел?»

Поручик рассказывал о падении дисциплины в армии, о том, что мечтает об одном: как по приезде в Одессу заберется в ванну и смоет фронтовую грязь.

— Что в Одессе? — полюбопытствовал Котовский.

— Бедлам. Вы разве давно там не были?

— Давненько.

— Увидите много интересного и поучительного. Если же вы русский человек к тому же и любите то, что известно было когда-то под названием «родины», то переживете много унижения и стыда.

Котовский с любопытством посмотрел на офицера.

— Вот как? Унижения и стыда? Сильно сказано!

— Сказано недостаточно сильно и недостаточно громко, да и вы сами видите: кому говорить?

Котовский повел глазами на горланящих песни, на играющих в карты пьяных офицеров, заполнивших вагон.

— В Одессе сейчас есть всевозможные черт их знает откуда взявшиеся на нашу голову хозяева положения, — продолжал поручик. — Днем идет напропалую торговля, причем всё продают и всё покупают: табак, кокаин, родину, чины и военные тайны! Ночью на улицах патрули, а в ресторанах дебош, свинство! Пьют все: бывшие министры, бывшие журналисты, бывшие депутаты Государственной думы... Одни пьют потому, что стыдно, другие — потому, что утратили стыд. И везде и всюду на

первом месте иностранцы! Может быть, те иностранцы, которые живут где-то там, у себя, — хорошие люди, даже обязательно так. Но иностранцы, которые понаехали в Одессу, — отвратительны. Они, видите ли, хозяева! Платят и хотят за свои денежки получать проценты послушания! Они презирают нас и не скрывают этого.

— Вероятно, они недовольны, что плохо воюют?

— Разумеется! Да и нельзя отрицать, что Добровольческая армия все больше превращается в жалкий сброд. Иностранцы чувствуют это и начинают беспокоиться за вложенные ими денежки, за добычу, которая уплывает.

— Гм... а вы думаете, что уплывает?

— Я ничего не думаю. Они думают.

— В вас много задора. Вы мне нравитесь, молодой человек! Простите, с кем имею честь?

— Николай Орешников. Недоучка. Собирался быть путейцем по примеру брата, а вышел из меня непутевый офицер. По глупой русской привычке — храбр, но не знаю, к месту ли. По глупой русской привычке — занимаюсь самобичеванием и браню русских, но, честное слово, мы лучше многих чванливых так называемых европейцев! Впрочем, я говорю много глупостей. В душе такая боль, а слова получаются жалкие. Чем это объяснить? Приятно было с вами побеседовать, душу отвести. Простите, вы не из Петербурга?

— Помещик Золотарев. Здешний. Впрочем, бывал и в Петербурге.

— А имя-отчество? Интеллигентская привычка, без имени-отчества трудно разговаривать с человеком. Ага! Петр Петрович? Очень приятно! А меня зовут Николай Лаврентьевич. Я вот сейчас думал, Петр Петрович... как бы это проще сказать, без ложного пафоса... Я считаю, что нет никакой выгоды трусливо жить. Ну, просто вот нет ровно никакой выгоды! А? Вы согласны? Ведь как ни сился, не наскрести больше, чем отпущено. А отпущено до смешного мало! Обыкновенный стул, например, может прожить дольше, чем пять маститых стариков, умирающих с почестями и с седыми бородами. Ну разве же это не свинство?! На одной чаше весов — пять академиков, движущих вперед науку, а на другой чаше **весов** — дурацкий стул! Вы возразите мне: стул — нео-

душевленный предмет. Хорошо. Черепаха живучее человека! А? Как это вам нравится? Че-ре-па-ха! Одушевленный предмет — черепаха! Конечно, все это очень трафаретные вещи, но каждый человек в определенном возрасте непременно должен пройти через эти бесплодные мудрствования, как ребенок должен переболеть корью...

Котовский слушал и чуть-чуть улыбался: ему нравилась запальчивость собеседника.

Орешников задумался и замолчал. Лицо у него осунулось, скулы заострились. Так они некоторое время молчали, и Котовский думал, почему, собственно говоря, этот офицер не мог бы быть с ними, если бы внести ясность в его мысли и мироощущение? В нем есть что-то такое, бродит. Но в людях разбирается плохо: с какой стати, например, отводить душу с каким-то помещиком Золотаревым? По-мальчишески получается! Но, конечно, не узнал.

Рядом с ними спала какая-то крупная, дородная женщина со спутанными волосами, и мухи все время лезли в ее полуоткрытый рот. На верхней полке, над ней, скрючась и обливаясь потом, играли в карты три казака, причем один из них при каждом ходе смачно и с явным удовольствием ругался. По соседству собралась шумная, пьяная компания. В основном это были офицеры. Они пели, пили коньяк, которого у них были, по-видимому, неистощимые запасы. Встрепанный, потерявший человеческое обличье капитан в расстегнутом кителе, с налитыми кровью глазами, подтаскивал приятеля — уже совсем осоловевшего, оседавшего, как куль с мякиной, человечка — к открытому окну и иступленно кричал:

— Гр-риш-ка! Смотри в окно, мер-рзавец! Гр-риша! Смотр-ри, Гриш-ша! Как-кая кр-расота!

— М-м... — мычал Гриша.

— Гри-риш-ша! М-мы недостойны этой кр-ра-соты! Пей, Гр-риша!

— Н-не могу.

И на него напала икота.

— Какая-нибудь паршивая звезда, захудалая необитаемая планетишка третьего сорта, которой, в сущности, абсолютно все равно, существовать или не существовать, — она может болтаться в безвоздушном пространстве миллиарды, чертову прорву лет! А человек цеп-

ляется за свои пять коротеньких десятков лет, кашляет, страдает от ревматических болей, но хочет еще и еще, ну хоть денечек еще! А что, собственно говоря, еще? Ведь уже выцвела жизнь, вылиняли чувства, ощущения... Ведь уже и человека-то нет, в сущности говоря. Одна оболочка!

— Выводы? — спросил Котовский.

— Выводы? Человеческая жизнь должна измеряться иначе. Бывает мера веса, мера объема... А здесь — мера дел. Осуществить себя! Наивно очень? Да? Мне эти мысли все чаще стали приходить именно теперь, когда я вижу вокруг себя смерть, смерть, систематическое истребление нации... Когда это кончится? Во мне столько накопилось вопросов, сомнений, что вам и слушать надоест, а между тем мы подъезжаем к Одессе...

Раздельная... Карпово... Пригородные дачи. Да, это уже Одесса!

Пассажиры толпятся у окон, стаскивают с верхних полок чемоданы. Только два старичка рыболова, ничего не замечая, продолжают беседовать о преимуществе мотыля, об утреннем клеве и прелестях ершовой ухи.

Когда поезд подходит к перрону и пассажиры бросаются к выходу, Орешников чуть слышно говорит:

— Что-то сейчас в «Валя-Карбунэ»? Хорошо там рыба ловилась. Вы не беспокойтесь, я никогда не лезу в чужие дела... Петр Петрович. А вы мне особенно понравились, когда я узнал, что вы вышвырнули Скоповского из окна. Это, по-моему, очень красиво. Я уважаю людей последовательных и принципиальных. А вы тогда действительно гремели на всю Бессарабию! Вашим именем пугали маленьких помещичьих детей!

«Черт побери, оказывается, узнал! Выдержанный человек. Вот почему он и откровенничал со мной!»

На лице Котовского мелькнула немножечко хитрая и в то же время добродушная улыбка:

— Я надеюсь на вашу порядочность, поручик. Вы знаете только Золотарева. Ясно? Вы вот говорили, что надо достойно жить. Я хочу прожить достойно. А как же иначе? Все мы так должны жить!

И без всякой связи добавил:

— Как же вы все-таки меня узнали? Очень мне это любопытно!

— Рыбка! — засмеялся Орешников. — Что ловится после дождя. Ведь вы и мне когда-то это самое доказывали. Если бы не рыбка — никогда мне вас не узнать бы. А тут меня как осенило.

Вагон уже опустел, они тоже вышли. И вскоре потеряли друг друга из виду в этой текучей толпе.

3

В центре города Золотарев заходит в магазины, останавливается перед витринами, читает афиши, просматривает приказы. С большой тщательностью он убеждается, что за ним нет никакого «хвоста». Очевидно, Орешников будет молчать. Но даже если бы и не молчал? Слежки нет, это бесспорно.

Одесса купается в солнце. Стоит немного отдалиться от центра — и уже тишина, безлюдье. Самое жаркое время дня. Даже быстrokрылые щурики не летают в это время. В эти часы или спят, наглухо закрыв ставни, или, изнывая от жары, пьют на улицах воду на льду и виноградный сок.

Приезжего не интересовали ни особняки на Французском бульваре, с их башенками, беседками, верандами, лепными вазами на фронтонах и агавами, лилиями вдоль садовых дорожек; ни пышный памятник Ришелье на Николаевском бульваре; ни тенты, сохраняющие прохладу в кафе Фанкони; ни каштановые аллеи; ни блестящий Ланжерон; ни Золотой берег с его купальнями.

Он рассеянно взглянул на морскую даль, на жалкие лачуги внизу, по обрыву. Ему захотелось пройти мимо здания Военно-окружного суда, с его высокими нишами. Не так давно вошел он в одну из этих огромных дверей, чтобы выслушать в мрачном зале приговор холодных судей. И вот он снова пришел сюда. Его руки не стягивают леденящие обручи, кандалы не звенят на ногах. Он теперь на свободе и пришел, чтобы бороться и победить.

Так, блуждая по безлюдному в этот час городу, Золотарев добрался наконец до нужного места.

Ришельевская улица. Молочная «Неаполь». Сбитые сливки, болгарская простокваша, кефир. Белейшие скатерти на столиках, белейший костюм у добродушного толстяка, хозяина молочного заведения. Ложечки, стаканчики, бутылки с сиропом — все начищено, намыто и сверкает чистотой.

Но сколько пооткрывали этих молочных, закусовых, почных кабачков! Поэтому они и пустуют.

Помещик Золотарев входит в молочную. Медленно приближается к прилавку, осматривая окна, стены и пустующие столики.

Хозяин молочной даже не переменил позы. Он спокойно ждет, что закажет посетитель. Торопиться некуда, и к тому же такая духота!

— Две простокваши с корицей и сахарным песком, — произнес наконец посетитель. — Терпеть не могу эту простоквашу, но дал слово моей тете, Серафиме Антоновне, что буду соблюдать диету и заботиться о желудке. Что вы поделаете с этими женщинами!

Безразличие исчезает с лица хозяина молочной «Неаполь». Он осторожно спрашивает:

— Минуточку! Что-то очень знакомое имя. Случайно, она не сродни известному коннозаводчику Талалаеву?

— Как же, как же! А вы его знаете?

— Боже милостивый. И он еще спрашивает! Знаю ли я Талалаева! Да если уж я его не знаю, тогда кто же все-таки его знает?! Тогда его просто никто не знает! Да вы зайдите в мою конторку, я вас очень прошу! Господи! Талалаев! Сережа Талалаев!

В задней комнате они пожимают друг другу руки.

— Котовский, — говорит помещик Золотарев. — Прислан к вам для постоянной работы.

Ослепительно белы скатерти на столиках молочной «Неаполь». И посетителей — ни души. Приоткрыв дверь в зал, они могут спокойно поговорить обо всем.

Милый, очаровательный Кузьма Иванович Гуца! Котовский полюбил его сразу.

Когда Кузьма Иванович обстоятельно рассказал обо всем, что произошло в Одессе, выговорился сам, выспросил в мельчайших подробностях обо всем, что слышал Котовский о Москве, о положении на фронтах и о тысяче других вещей, которые его волновали, тогда он на-

конец со вздохом сожаления отпустил Котовского:

— Ну, ладненько, с дороги вы, конечно, то да се, устали и тому подобное. Больше я вас мучить не стану. Теперь вы устройтесь в гостинице, встретитесь с Самойловым... А сейчас я вас буду кормить. И не возражайте, пожалуйста, это бесполезно. Пока что никто еще не уходил от Кузьмы Ивановича голодным.

Тут волей-неволей Котовскому пришлось познакомиться со всем ассортиментом блюд, какие изготавливались в молочной «Неаполь». Только убедившись, что гость действительно сыт и не может уже проглотить ни крошки, Кузьма Иванович отпустил Котовского, дав ему много практических советов и указаний, как держаться на улице, где есть проходные дворы и каковы порядки у шпиков контрразведки.

4

Три французских эмигранта участвовали в закладке города Одессы: Дерибас, герцог Арман дю Плесси де Ришелье и Ланжерон, скончавшийся от холеры.

Город получался веселый, нарядный. На месте татарского села Хаджибей выросли форштадты. На рейде встали торговые иностранные суда, прибывшие из всех частей света.

Стало шумно, людно.

Одна за другой возникли прямые улицы, вознеслись ввысь белые колокольни. Маяк бросил луч в необъятный морской простор. Приморский бульвар наполнили моряки — плечистые, загорелые, в белых кителях, щеголеватые, молодые. По гранитной лестнице побежали здоровые, голенастые дети. Прилетели чайки и стали кружить вдоль берега. Крытый рынок наполнился выкриками торговков и гулом голосов, и на Куликовом поле засверкали стеклярусом карусели народных гуляний...

Большой портовый город жил полнокровно, шумно, по-южному крикливо.

А в 1918 году, когда приехал сюда Котовский, Одесса была битком набита бежавшими из России чиновниками, архимиллионерами, генералами и земскими деятелями. Кого только тут не было! Фрейлины и кокотки, архиереи и мукомолы. Царский министр Криво-

шеин и лидер эсеров Кулябко-Корецкий, весь расшитый позументами Дзьяволтовский и бравый генерал Гришин-Алмазов, звезда экрана Вера Холодная и рыхлый банкир Третьяков... Понаехали отовсюду всевозможные представители, коммёрсанты, атташе, авантюристы всех мастей, шпионы, воры и проповедники. И наконец, Одесса кишмя кишела военными, полицией, войсковыми частями...

Три французских эмигранта участвовали в закладке города Одессы. А теперь, в 1918 году, в Одессу пожаловали французы, чтобы участвовать не в постройке нарядного города, а в ограблении. Они явились сюда как захватчики, как завоеватели.

— Пять тысяч штыков! — похвалялся консул Энно. — Недурно для начала, как вы полагаете?

— Но почему среди них так много черномазых? — удивлялся вновь назначенный военный губернатор Одессы Гришин-Алмазов.

— Вы имеете в виду зуавов и сенегальцев? — хитро улыбался Энно. — Зато пусть-ка попробуют распропагандировать большевики этих африканцев!

Темнели силуэты французских кораблей «Мирабо», «Жюль Мишле», «Жюстис». Стоял под парами итальянский крейсер «Аккордан». Английский дредноут «Сюперб» демонстрировал силу Великобритании. В Воронцовском дворце поселился французский консул Энно. В гостинице «Лондонская» скучал английский адмирал Боллард и пьянствовал американский разведчик полковник Риггс.

Да, нечего говорить, — вся, с позволения сказать, «цивилизованная» Европа не жалела ни сил, ни расходов, чтобы сообща погасить пожар, вспыхнувший в этой нескладной, непонятной, вечно преподносящей неожиданности, загадочной России!

Одесса кишмя кишела войсками, разведками, полицией.

А в это время Центральный Комитет Коммунистической партии с исключительной тщательностью отбирал в Москве кадры подпольщиков, направляемых в Одессу. Владимир Ильич дал указание посылать лучших.

Чего стоил один только Иван Федорович Смирнов — бесстрашный, неутомимый, страстный революционер! Его знали как товарища Николая, Николая Ласточкина.

Вместе с ним приехали Иван Клименко, Елена Соколовская (под именем Светловой) и еще несколько опытных подпольщиков. Губком был воссоздан, и снова закипела работа, несколько ослабшая после недавних провалов. В революционном подполье действовала уже целая армия, насчитывавшая в общей сложности до двух тысяч человек. В самом стане врагов, вот тут, в центре города, можно сказать, под самым носом контрразведки, работала советская подпольная организация, сложная, разветвленная, налаженная, постоянно поддерживающая связь с Москвой, руководимая Центральным Комитетом Коммунистической партии.

5

С Самойловым Григорий Иванович познакомился в тот же день.

Из молочной «Неаполь» Котовский отправился в гостиницу, на Екатерининскую улицу. Две-три условные фразы — и посетителя повели показывать свободный номер.

— Очень рады вас видеть. Так вам устроить встречу с Самойловым? Будет сделано. А вы пока отдохните с дороги. Располагайтесь как дома. В будущем у вас редко выберется свободный денек. Вот здесь умывальник. Можно душ. Белье на постели чистое.

Какие приветливые люди! И как просто, точно и быстро выполняют свою опасную работу!

Котовский растирался мохнатым полотенцем после душа, когда вошел невысокого роста человек, весь какой-то уж очень изящный, холеный, благоухающий одеколоном, с тонкими чертами продолговатого лица. У него была черная как смоль, лопаточкой бородка, за которой он, по-видимому, ухаживал.

«Бородатый ассириец», — подумал Котовский.

— Самойлов, — произнес пришедший. — Будем знакомы.

Он оказался чрезвычайно интересным и приятным человеком. Сдержанный, он обнаруживал неукротимость. Умница, он никогда не давал почувствовать своего превосходства. Он объехал весь мир, знал несколько языков.

Самойлов с явным удовольствием разглядывал мощную фигуру Котовского:

— Вы, по-видимому, очень здоровый и очень сильный человек. Это в нашей трудной работе пригодится. Военный мундир носить умеете? Есть превосходные документы, и все данные у вас подходят.

— Мне все подходит, что требуется в решительный момент.

Самойлов познакомил Котовского с некоторыми особенностями подпольной работы.

— Редко где можно встретить такое скопление сыщиков, провокаторов, как в Одессе, — рассказывал «ассириец», поглаживая бороду. — К счастью, действуют они несогласованно, враждуют и считают всех, исключая самих себя, круглыми идиотами, способными только испортить дело.

Умные глаза Самойлова искрились усмешкой.

— Ну-с... Кто у нас здесь есть? Кроме белогвардейской разведки в городе действуют — каждый на свой страх и риск и каждый, опираясь на свой аппарат и свою агентуру, — и французское «Дезьем бюро», и «Двуйка» ясновельможной Польши, и румынская «Сигуранца», и американское «Эф-Би-Ай» — всех не перечеислишь, и все одинаково изощрены и безжалостны.

Самойлов курил. Голубой дымок сигареты скрывал иногда его лицо. После длительного молчания он сказал очень теплым, задушевым голосом:

— Вот. У вас будет самый трудный участок. Впрочем, в подполье все участки трудные. С обстановкой, в которой вам придется работать, постепенно познакомитесь. Разумеется, вы сами подберете себе помощников, сами постройте свою работу так, как вам удобней. Но для начала вы встретитесь с двумя нашими разведчиками. Славные ребята, но немножко любят играть с опасностью. Кстати сказать, в прошлый период вашей деятельности у вас был тот же грешок. Но тогда вы сами за себя отвечали, а теперь вы включились в огромное коллективное дело. Тогда вы были, так сказать, дичком, действовали на свой страх и риск, по своему разумению, и это было тогда хорошо — вести партизанскую войну, заражать своим примером запуганные массы...

Котовский усмехнулся:

— Меня всегда ругают за это. И Гарькавый ругал. И другие мне то же самое говорили. За одно могу поручиться: никого не подведу.

— Ну, действуйте, сами все увидите на деле. Со мной будете встречаться разве что только там, в «обществе», — у меня ведь совсем особая работа, я занимаю большую должность у них, у белых... Я буду оказывать вам всякое содействие. А пока пожелаю успеха. Всего хорошего!

Пришли к Котовскому будущие его два помощника. Вася был высокий, порывистый, нетерпеливый. Это сказывалось даже в том, как он ерошил свои светлые, золотистые волосы и все приговаривал:

— Картина ясна! Вопросов нет, суду все ясно!

Михаил был поменьше ростом, спокойный и молчаливый. Вася над ним даже подтрунивал. Когда Михаил на все вопросы отвечал только какими-то междометиями или отрывочными «да», «нет», «точно не помню» и все в этом роде, то Вася наконец терял терпение и восклицал:

— Михаил, перестань тараторить! Ты никому не даешь слова сказать! Сам посуди, другим-то тоже хочется высказаться, а ты ни на минуту не прекратишь своей болтовни.

Все смеялись, а Михаил краснел и добродушно просил:

— Ну ладно уж, какой уж есть. Не люблю я много разговаривать.

Вася любил стихи и знал наизусть всего «Евгения Онегина». Вася был незаменим, когда приходилось действовать через женщин.

Михаил славился хладнокровием в решительную минуту и своим бесстрашием. Боялся он только женщин.

Для отдельных вылазок и задач трудно было бы найти лучших исполнителей, чем Михаил и Вася. Разве что мог с ними соперничать одессит Самуил. Это были уши и глаза Котовского. Что бы Котовский ни делал, что бы ни затевал, он всегда был уверен, что где-то поблизости, даже и для него невидимые, фланируют его ребята, готовые выручить, известить, предупредить. Это было очень важно.

Вначале набралось тридцать храбрецов, тридцать отважных смельчаков, готовых идти за Котовским

в огонь и в воду. И все невидимки: и есть они, и нет никого. Тридцать храбрецов, и к ним присоединились еще тридцать, еще тридцать... Отряд вырос в конце концов до двухсот пятидесяти человек.

Город безмятежно шумит, веселится, торгует... Мчатся по улицам великолепные автомобили с иностранными флажками на радиаторах... Живет шумной жизнью порт... Рестораны полны нарядными женщинами и блестящими офицерами, предпочитающими ресторанный столик грязным и неудобным окопам... А ведь революционное подполье-то есть! Это не выдумка газетных репортеров! Оно есть, и потому-то бывает так тревожно дельцам и начальникам: кто их знает, где они, эти большевики, в данный момент и что они замышляют?

6

Когда Котовский впервые переоделся в гостинице в форму капитана и вышел показаться Васе и Михаилу, оба они схватились за оружие, потом переглянулись, снова посмотрели на «капитана» и принялись восторгаться и хохотать.

— Господин офицер! Пройдитесь по комнате! — умолял Вася.

— Замечательно! И походка совсем другая! Никогда бы не подумал! Если бы на улице встретил, не узнал бы ни за что! — бормотал Михаил. (От удивления он даже стал разговорчивым!)

— Вы курите, капитан?

— Пардон?.. Благодарю вас, у меня сигареты...

Опять взрыв восторга.

— Григорий Иванович, но как вы умеете? Все равно я вот и знаю, что это вы, а между тем это совсем не вы!

— Эх, в театре бы вам выступать!

Котовский был доволен впечатлением, которое произвел на своих друзей.

В подрывном отделе Одесского подпольного ревкома Котовского ценили, очень любили и каждый раз, когда он был в деле, тревожились за него, хотя скрывали друг от друга тревогу, уверяя один другого, что за кого-кого, а за Григория Ивановича они спокойны, что Григорий Иванович как заговоренный или уж такая удача ему во всем.

Ничего так не любит Котовский, как сложное и опасное задание, полученное от ревкома. Каждое задание он тщательно продумает, разработает — и, глядишь, появляется в городе торговец Беркович, хозяин овощной лавки. Он шепчется со спекулянтами, приценивается, дает взятки... и собирает необходимые сведения.

Есть определенный круг людей, который знает торговца Берковича. Есть люди, которым знаком только помещик Золотарев — любитель бильярда и знаток лошадей. Есть общество, где свой человек — капитан Королевский, игрок, покоритель дамских сердец и прожигатель жизни. Немало пациентов принимает почтеннейший доктор Скоропостижный на Базарной улице. И славится своей образованностью некий агроном Онищук — все тот же Котовский в десяти лицах...

— Вы слышали? — шушукаются в отелях, в гостиницах, в особняках. — Говорят, этот Котовский опять сделал какой-то дерзкий налет... Столько полиции, а Котовский разгуливает по городу, как у себя дома! Это просто ни на что не похоже! Что смотрят иностранцы?!

Вполне разделяет эти страхи и красавец Королевский, хотя он выражает уверенность, что «старая полицейская лиса — наш милейший полковник Сковородин, — разумеется, примет надлежащие меры».

Капитан Королевский! От него сходят с ума светские женщины. О, конечно, его ждет прекрасное будущее! Как он красиво ухаживает, как хорошо танцует! Какое обхождение! И, говорят, сказочно богат... Капиталы своевременно перевел за границу, а дома, а земли... Ну, конечно, пока это недосягаемо, где-то не то в Рязанской, не то в Тульской... Впрочем, он, кажется, и сейчас обделывает крупные дела...

Сам градоначальник высказывался о нем в весьма лестных выражениях (правда, всем известно, что мнение его превосходительства всегда совпадает с мнением его супруги), но говорят, что и среди иностранцев Королевский известен как деловой человек и джентльмен...

Котовский в полной матросской форме разгуливает по набережной, мирно беседует с матросской бражкой и сидит в кабачке «Белый парус» с друзьями-приятелями... Котовский торгует зеленью на базаре и попутно получает сведения о партизанских отрядах... Поздним вечером он снова капитан Королевский. Он проводит

время среди золотой молодежи, девиз которой «вино, женщины и карты», и попутно узнает много полезных вещей, которые выбалтывают пьяные офицеры...

Сюда, в «Олимп», к Робину — в самые модные и самые фешенебельные рестораны — являются и контрразведчики. Они приходят поздно ночью, потрудившись над избиением, калечением своих жертв. От них еще пахнет кровью этих несчастных. На кулаках у них ссадины, а в глазах еще не остыла переходящая за пределы всех общечеловеческих норм и даже здравого смысла сатанинская ярость садистов, настоящее безумие. Их серые физиономии перекошены, они охрипли от бешеных выкриков, угроз и площадной брани. Они уже не люди, они опасны для человеческого общества, их ждет конец или в психиатрической, или от пули в лоб, которую они сами преподнесут себе как избавление от кровавого тумана и преследующих их страшных призраков.

Приходил в ресторан полковник Сковородин, приходили страшные, с бледными, полубезумными лицами капитаны, поручики. Мрачно лили в глотки спирт и коньяк и с ужасом убеждались, что не пьянеют, не могут опьянеть, не могут никаким спиртом залить ошалелый мозг, обезумевший от всей этой крови, от вывороченных суставов, от искромсанного человеческого мяса...

И это видел Котовский. Ненависть сжимала ему горло. Но он находил в себе силы поднимать бокал и отвечать загадочной улыбкой какой-нибудь сомнительной красавице, приехавшей в Одессу или шпионить, или соблазнять престарелого, но влюбчивого богача.

На отдых не оставалось времени. Даже заглянуть в молочную «Неаполь», поесть болгарской простокваши под добродушное ворчание милейшего Кузьмы Ивановича и то удавалось редко.

Котовский менял обличье, появлялся в самых неожиданных местах, располагал полнейшей осведомленностью о всех намерениях и замыслах врага. Котовский жил десятью жизнями и всеми десятью рисковал.

7

Не раз появлялся в одесском обществе и поручик Орешников. И вот встретились Котовский-Королевский и Орешников на званом обеде у французского военного атташе. Они чокались звонкими настоящими баккара

после предложенного хозяином дома тоста за новую Россию, и Орешников опять откровенно и изумленно вглядывался в лицо «капитана». Все ясно! Орешников опять узнал его! Оставалось решить вопрос: как настроен теперь Орешников? Враг он или друг?

Военный атташе занимал прекрасное, просторное здание в центре города, на Французском бульваре. Вокруг дома был сад. Столовая, где они сейчас находились, вся была в зеленых отсветах от деревьев, которые забирались ветвями в распахнутые настежь окна. Дверь на веранду... В крайнем случае можно перепрыгнуть через низкую балюстраду... и отстреливаться, отступая, в саду...

Котовский внимательно оглядел всех сидевших за столом. Офицеры... сановники... нарядные женщины... Вот! Так и есть: по меньшей мере, эти двое, с водянистыми глазами и нездоровой кожей, — несомненно, переодетые сотрудники «Дезъем бюро»!

Котовский достал носовой платок и попутно убедился, что револьвер на месте. Достаточно условного сигнала — дать два выстрела подряд — и дружинники не замедлят прийти на помощь под видом ли патруля или городской полиции.

Но вот уже принесли сладкое блюдо. И у военного атташе блестят глаза. И красивая дама, соседка Орешникова, смеется громче, чем полагается по хорошему тону. Орешников любезничает с ней и не обращает ни на кого внимания...

Вот гости шумно выходят из-за стола. Мужчины на веранде курят. Орешников о чем-то беседует с одним из этих подозрительных французов. Котовский сознательно держится около Орешникова и следит за каждым его движением...

Когда Орешников спустился по широким ступеням веранды в сад, проследовал за ним и Котовский. Здесь они остановились около клумбы. На них пахнули ароматы роз и резеды. И вдруг Орешников, не оглядываясь на Котовского, склоняясь над кустом розы и нюхая развернувшийся цветок, произнес внятным шепотом:

— Немедленно скрывайтесь! Вас схватят при выходе, когда гости будут расходиться...

Орешников произнес это и быстро удалился, пошел навстречу очень милой, но слишком уж декольтированной особе и направился с ней к беседке.

Котовский мигом очутился в аллее. Отсюда во всех подробностях была видна веранда, и Котовский заметил одного переодетого субъекта из «Дезъем бюро»: он торопливо пробирался через толпу, встревоженный, явно кого-то разыскивая. Кого же? Да, совершенно очевидно: он разыскивал Королевского! Нельзя медлить ни секунды!

Немного времени потребовалось Котовскому на то, чтобы очутиться в соседнем саду, а затем — в переулке. Место было знакомое, здесь неподалеку была одна из конспиративных квартир, где можно переодеться. С Королевским придется покончить раз и навсегда... Как они докопались?

Котовский скорее почувствовал, чем услышал... Так и есть! Погоня! Вот и слева хрустнула ветка... Кажется, они подняли на ноги всю свору. Котовский ускорил шаг. Мелькнула шинель на пересеченной им улице... Котовский не оглядывался, но ему казалось, что погоня совсем близко, чуть ли не слышно учащенное дыхание, звяканье шпор, оружия...

Но вот и калитка дома! Если она не заперта... Котовский одним прыжком очутился в знакомом дворике. Он держал револьвер наготове, но никто не ворвался следом. Очевидно, они хотят по всем правилам полицейской науки оцепить со всех сторон двор, расставить повсюду засады и тогда уже ворваться в помещение и живым или мертвым взять намеченное лицо...

Когда из калитки этого дворика вышел священник в лиловой рясе, весь пропахший ладаном и благочестием, тихий, со светлой бородкой и длинной гривой волос, — военный из контрразведки преградил ему путь:

— Батюшка! Вернитесь назад!

— Не могу, дорогой. Следую во храм божий для отправления церковной службы.

— Ничего не знаю. Нельзя.

— Господин военный! Вы сражаетесь за избавление нашего отечества от супостатов, а мы, скромные служители церкви, молим всевышнего о ниспослании вам победы...

— *Que diable!* Что там такое? — спросил французский офицер и подошел поближе. — Кто там спорит?

Но, увидев священника, офицер вежливо козырнул и попросил объяснить, о чем они разговаривают.

— Батюшка вышел из этого двора, я сказал, что нельзя сейчас, сначала проверим документы, а он...

И вдруг у офицера идея:

— Господин священник! Вы живете здесь. Не встретили ли вы кого-нибудь во дворе, когда выходили? Подумайте, припомните, прежде чем отвечать! Для нас это очень важно!

— Как же! Как же! — просиял священник. — Лице-зрел безумца, едва не сбившего меня с ног. Не хочу оскорбительно отзываться о воинстве нашем, но опасуюсь, извините, что сей агнец, аки Ной, упился винами до бесстыдства и вел себя непозволительно в отношении духовного пастыря!

— Что он говорит? — наморщил лоб француз. Для него эта смесь славянских и русских слов была почти недоступна, хотя он довольно прилично знал русский язык. — Какое воинство? Какой, к черту, Ной? Где Ной?

— Он говорит, что его чуть не сбил с ног военный. Он показался батюшке пьяным.

— Очень хорошо! Но где же этот пьяный?

— Там, — показал священник на небо.

— Отдал богу душу? Застрелился?! — завонил француз. Его вовсе не устраивало получить Котовского мертвым.

— Нет, зачем же. Он полез вверх, все вверх по лестнице, извините за выражение, на чердак.

— Ну, тогда он от нас не уйдет!

И офицер со всей любезностью, одновременно вынимая из кобуры кольт, предложил священнику убираться:

— Идите, идите, святой отец! Да помолитесь за упокой души грешника Григория!

Довольный своей остротой, француз похлопал по плечу священника и, больше не обращая на него внимания, стал отдавать распоряжения отряду контрразведчиков, подкрепленному агентами «Дезьем бюро».

Святой отец поспешно удалился, осеняя себя крестным знаменiem. Контрразведчики занялись поимкой Котовского. Подготовка была закончена, кольцо вокруг домика замкнулось.

Но там, на чердаке, стояла невозмутимая тишина. Никому не хотелось лезть на рожон, взбираться на чердак по лестнице, чтобы наверняка получить пулю в лоб. Напрасно кричал офицер, предлагая Котовскому не

стрелять, советуя Котовскому сдаться. Чердак упорно молчал.

Наконец всем надоело прятаться в кустах и толпиться вокруг захудалого дворика. В доме никого не оказалось. Разъяренные контрразведчики вскарабкались на крышу, проникли на чердак, но и там никого не обнаружили. Птичка улетела!..

Как только Котовский скрылся в подъезде дачи французского атташе, Вася и Михаил заняли наблюдательные посты. Михаил стал фланировать по ближайшей улице. Вася забрался в самый сад, надел фартук, отыскал лейку и принялся поливать клумбы на отдаленных аллеях.

Вначале как будто все шло гладко. Гости пошли ужинать, слышно было, как звякала посуда, как выкрикивали тосты. Но вот Вася заметил, что несколько военных вышли на веранду и о чем-то шушукаются, а затем у парадной двери и на улице появились подозрительные фигуры в штатском... Они явно к чему-то готовились, переговаривались, заняли места возле каждого открытого окна... Если бы они охраняли спокойствие званого ужина, то к чему бы им занимать всю улицу?

Вася видел, что Михаил вынужден был уйти в переулок, чтобы не привлекать к себе внимания... Надо предупредить Котовского! Как это сделать? Если одеться лакеем и войти с блюдом? Принести шампанское во льду? Но вот гости выходят из-за стола, высыпали на веранду... Вот и «капитан Королевский»... Ну, теперь надо действовать! Если упустить этот момент, будет поздно.

Вася уже намеревался подойти со своей лейкой к той клумбе, около которой Котовский-Королевский беседовал с офицером... Но тут он заметил что-то странное в поведении Котовского: Котовский быстро пошел по аллее и вдруг перемахнул через забор! Вася еле успел проследить, куда он направился. И тут обнаружил, что вся свора разведчиков тоже ринулась вслед за Котовским...

Теперь наблюдение перешло к Михаилу. Михаил видел, как Котовский скрылся во дворе одного домика. Тотчас подбежал сюда разведчик, но войти во двор не

решился, остался у входа, поджидая других. Вскоре Михаил увидел множество шпииков.

«Оцепляют двор! — догадался Михаил. — Надо звать наших!»

И помчался вызывать дружицу на выручку Григория Ивановича, по дороге встретив и Васю.

Решили отбивать Котовского, внезапно налетев на разведчиков.

Но события обернулись иначе.

И Вася, и Михаил были изумлены, когда в номер гостиницы вошел священник. Священник сорвал бороду, сбросил лиловую рясу и, чертыхаясь, полез в ванну.

— Ну ребятки, сегодня я чуть не влопался! — сообщил Котовский, фыркая и поднимая каскады брызг. — Вот история! Очень неприятно!

— Григорий Иванович! — спросил Вася, влюбленными глазами глядя на Котовского и с нетерпением ожидая подробного рассказа о происшедшем. — Вам принести мохнатое полотенце?

8

На другой день после званого обеда у французского атташе Котовский докладывал Ласточкину, то есть Ивану Федоровичу Смирнову, о добытых им сведениях.

— Вы знаете, — говорил Котовский, — иной раз слушаешь, слушаешь этих господ офицеров и еле сдерживаешься, чтобы не выхватить револьвер и не пристрелить их на месте. До какого падения дошли они в припадке классовой ненависти! И как отвратительно их благоговение перед иностранцами! Мне кажется почему-то, что, не надеясь они на всевозможных заокеанских дядюшек, они нашли бы в себе больше силы для защиты кровных своих интересов. Но вообще-то ничто им не поможет.

Котовский перешел к деловым сообщениям: в Польшу переброшена из Франции армия генерала Галлера, в Западной Украине усердствует по вербовке солдат в галицийскую армию митрополит униатской церкви Шептицкий, в Ужгород прибыла американская военная миссия, возглавляет ее небезызвестный разведчик Паркер и не уступает ему в опытности и рвении некий пастор Гордон.

Еще удалось узнать, что в Одессе новая облава в рабочих районах назначена на такое-то число, что в районе Куяльника, то есть там, где вход в катакомбы и где размещена типография, готовятся массовые обыски.

— Вот как? — встревожился Иван Федорович. — Надо распорядиться, чтобы все дни, пока идут обыски, никто не выходил из типографии и никто туда не входил.

Все сообщенные факты после тщательной проверки использовались для подпольной газеты и листовок. В листовках разоблачались тайные соглашения интервентов и петлюровцев, разъяснялся смысл событий на Украине. Еще пахло от них свежей типографской краской, а они уже летели в города и села, в воинские части и рабочие цеха, в кубрики французских кораблей, в казармы польских legionеров.

— А теперь вот что, — сказал Иван Федорович, когда выслушал сообщения Котовского, — давайте-ка обсудим, что нам предпринять. Дело в том, что помимо десанта, прибывшего морским путем, интервенты ожидают пополнений, следующих маршевым порядком или на поездах через Румынию. В частности, ожидаются греческие войска. Тут нам придется что-нибудь сделать.

— Вы хотите, чтобы их пощипали наши повстанческие отряды?

— Это во-первых. Во-вторых, мы могли бы — как вы полагаете, Григорий Иванович? — могли бы мы кое-где разрушить железнодорожные пути?

— Сегодня начнем? — спросил Котовский, прикидывая уже в уме, где раздобыть взрывчатки и кого взять с собой в первую очередь на эту опасную операцию.

Ночью отправились в путь. Котовский хорошо ориентировался. Ведь здесь они отступали с Венедиктовым, цепляясь за каждый рубеж, отстаивая каждое село, не отдавая без боя ни одной переправы.

Котовский разбил боевую группу на девять самостоятельно действующих звеньев. Каждое звено должно было произвести два взрыва. Одним было поручено взорвать мосты, другим — полотно железной дороги. Сам Котовский, захватив с собой Васю и Михаила, намеревался пустить под откос первый эшелон с солдатами интервен-

тов, который уже миновал Тирасполь и вот-вот должен был прибыть в Одессу.

Распределив силы, Котовский приготовил все необходимое для первого взрыва, который должен был послужить сигналом для всех остальных. Этим достигалась мгновенность выполнения всего задуманного. Когда интервенты опомнятся, все будет уже сделано, а сами дружинники будут далеко.

Все благоприятствовало смельчакам. Ночь выдалась темная. Поднялся ветер, гнал тучи, но тучи пролетали, не пролив ни капли дождя.

— В такую погоду вряд ли кто выйдет на прогулку, — подбадривал Котовский спутников, шагая против ветра с тяжелым грузом.

— Да и обходчики дорог попрячутся в эту ночь по своим будкам, — согласился Вася.

Михаил молча запахивал полы пальто, которые трепали порывы ветра.

Но вот и достигли намеченного места. Здесь был уклон. Поезд будет мчаться навстречу гибели.

— Закладывай, а то опоздаем! — торопил Котовский. — Миша, а ты поглядывай, чтобы кто-нибудь непрошенный не наскочил.

— Готово! — вскоре возвестил Вася и стал спускаться с насыпи, волоча за собой шнур.

Они ждали. Им казалось, что все сроки миновали, что поезд задерживается и вовсе не придет. Руки окоченели.

— Эх, костер бы сейчас!.. И печь бы в золе картошку... — вдруг почему-то вспомнил Вася.

— К-картошку? — удивился Котовский. — Какую картошку?

— Идет! — громким шепотом сообщил Михаил.

Они замолчали и напряженно слушали. Вдали возникал все более усиливающийся звук... Еще минута — и блеснул свет, три огромных глаза... Ближе... ближе...

— Начали! — махнул рукой Котовский.

Быстрый огонек побежал по земле, вскинулся вверх по насыпи... Все трое были уже на опушке леса и мчались тропинкой, спотыкаясь о корни деревьев, изредка поглядывая назад, где творилось что-то невообразимое...

Вслед за первым взрывом прогремел где-то близко второй, за вторым — третий...

Иван Федорович Смирнов никогда не ночевал в одной и той же квартире. Он мало заботился об удобствах. Застанет ночь на заводе — останется на заводе. Или спал у себя в модном ателье, прикорнув в задней комнате на диване. Или устраивал ночлег в сторожке скульптурной мастерской на Княжеской улице, где обычно проводились заседания губернского комитета.

В ту ночь, когда он отправил Котовского и его боевую дружину на опасное задание — взрывать железнодорожные пути на участке от Раздельной до Одессы, — Иван Федорович вообще не спал. Когда ему приходилось самому рисковать, он делал это не задумываясь. Но, поручив опасное дело другим, он всегда места себе не находил. Тем более теперь, когда думал о Котовском. Разве мало он перенес? Можно бы и побережь его. Такой человек должен дожить до будущих дней, когда отгремят орудийные залпы и придет то счастливое время, о котором стараешься даже не думать, так оно прекрасно. Ведь настанет же такой час, когда люди будут постоянно жить в семейном кругу... У Ивана Федоровича есть жена, есть сын, только мало кто об этом знает. Жизнь-то все складывается так, что видеться с семьей почти не удастся: до революции то в тюрьме, то на каторге, вернулся в семнадцатом — сразу послали на работу...

Иван Федорович даже рассердился на себя: вот куда забрели мысли секретаря подпольного губкома!

«Но Котовский, Котовский... — вспомнил он опять, прислушиваясь к завыванию ветра. — Может быть, он будет выращивать сады, увеличивать урожай? Ведь он по специальности агроном. Или будет выхаживать новые породы коней? Он так хорошо про них рассказывал...»

Глухая ночь, а секретарь губкома глаз еще не сомкнул. Голова тяжелая, и, если бы не эти тревожные мысли, кажется, упал бы и заснул мертвым сном... Но сна нет, и все думается, думается...

«Ведь железнодорожные пути охраняются военными частями... Что, если Котовский нарвется на патруль? А если операция пройдет удачно, не следует ли и в дальнейшем держать под угрозой дорогу? Пускать под откос эшелоны, обстреливать воинские поезда?..»

Наутро Котовский докладывал о выполнении боевого задания.

Что творилось в Одессе! К месту катастрофы помчались дрезины, но оказалось, что туда не попасть. В восемнадцати местах было повреждено полотно, взлетело в воздух несколько мостов и виадуков.

В тот же день газета «Коммунист» сообщала, как встречает незваных-непрощеных гостей свободолубивая Советская Украина.

9

Через все фронты, через все заставы, через всю кипевшую восстаниями, полыхавшую пожарами Украину упорно пробирались связисты — посланцы Москвы. Центральный Комитет инструктировал, снабжал людьми и руководил всей работой подполья. Связь никогда не прерывалась. Ехали в поездах, шли пешком от деревни к деревне, ночевали в степи, обходили стороной опасные места и двигались дальше связные.

Так передвигались и эти две молоденькие девушки. Одну звали Тоня, другую — Феля.

Нет, не робкие девушки, а бесстрашные революционерки, отважные комсомолки были Тоня и Феля. Поручение ЦК — доставить Одесскому губкому четыреста тысяч денег, директивные письма и литературу.

В доставленных девушками письмах, между прочим, сообщалось, что ЦК направляет в Одессу, в распоряжение губкома, нескольких товарищей из Иностранного отдела. Предлагалось губкому усилить работу в войсках интервентов с целью их разложения, разъяснять политическую обстановку, призывать к неповиновению под лозунгом «Штык в землю».

И вот прибыла из Иностранного отдела ЦК, из Москвы, Жанна Лябурб. Она была маленькая, нарядная, причем нарядная в любом платье, в любом платочке — так она умела все носить, все приладить, так все ей шло. Ее черные волосы завивались кудряшками на сверкающем белизной, прямом и широком лбу. Глаза у Жанны были яркие и любопытны ко всему миру. Все привлекало ее внимание, все ее радовало, до всего ей было дело.

Кроме нее прибыл из Москвы молодой Жак Елин,

который долго жил в Париже и хорошо знал французский язык. И еще появились новые работники «Иностранной коллегии».

Получив инструкции, они отправились на набережную, разбрелись по кабачкам, по харчевням, замешались в толпы французских матросов и солдат, завели знакомства, дружбу. Это непосредственное общение должно было дать еще бóльшие результаты, чем распространение подпольной литературы. Впрочем, и литература тоже стала передаваться в руки французских матросов и солдат через агитаторов «Иностранной коллегии».

Работу «Иностранной коллегии» объединял президиум. Каждая группа не знала даже о существовании другой. Часто лица, состоявшие в одной группе, не знали своих сотоварищей.

Самой многочисленной была французская группа. Но и в польской группе насчитывалось немало смельчаков во главе с польской коммунисткой Геленой Гжеляк. В румынской группе было пятнадцать человек, среди них выделялся большим опытом Бужор. А в сербской группе были коммунисты Стойко Ратков, Вальман Драган, Живанко Степанович... Была в «Иностранной коллегии» и английская группа.

Но самой рьяной, самой неутомимой из всех деятелей «Иностранной коллегии» была француженка коммунистка Жанна Лябурб. Маленькая Жанна была общей любимицей. Как бережно относились к ней все подпольщики Одессы! А она была так неосторожна! Она совсем не берегла себя!

— Так нельзя, милая Жанна! — упрашивал ее Котовский. — Вы должны быть незаметны, неуловимы, а между тем вы держитесь так, что стали самой популярной личностью в Одессе.

— О! — вскидывала брови Жанна. — Популярной? Как Вера Холодная?

Жанна умела заливчато, заразительно смеяться. Улыбался и Котовский. Но затем Жанна серьезно отвечала:

— А вы? Разве вы не рискуете на каждом шагу?

— У вас особенно сложное положение. Вы должны вступать в беседы с солдатской массой, с матросами, это ваша работа, ваша задача. Но вы никогда не знаете,

нет ли среди ваших собеседников провокатора или даже не провокатора, просто человека других взглядов, службиста, который пойдет и доложит начальству. Вы раздаете листовки. Можете вы быть уверены, что та же рука, которая протягивается за листовками, не наденет на вас наручники?

— Вот видите! — воскликнула Жанна беспечно. — Вы сами же опровергли себя! Доказали, что мне невозможно быть осторожной, что приходится идти на риск... А вообще-то вы правы, — вздохнула она, — мы, пропагандисты «Иностранной коллегии», ходим по канату. Одно неосторожное движение — и... И стоит ли, мой друг, об этом говорить? Умирают ведь только один раз!

Котовский смотрел на маленькую, хрупкую Жанну и думал о том, что женщины-разведчицы, женщины, работающие в подполье, — это самое потрясающее, самое страшное, что он видел на войне. «Наше дело — солдатское, — думал Котовский, — мы исстари выходим на поле брани и действуем мечом, но женщины — пока они не ходят в атаку (этого только не хватает!). А то, что выполняют те девушки-связные или Жанна Лябурб, — разве это не страшнее всякой атаки?»

Котовский гнал от себя даже самую мысль о том, что Жанну могут схватить. Видеть ее здесь, в подполье Одессы, было для него тягостно, тревожно, невыносимо.

«Беречь бы ее, бедняжку, увезти бы как можно дальше от фронтов, от полей сражений, от этого беспечного разгуливания по городу, кишашему контрразведчиками... Ведь ее уже сейчас знает весь французский флот!»

В самом деле, когда Жанна Лябурб проходила по городу, особенно по набережной, французские матросы улыбались ей, кивали и кричали наперебой:

— Добрый вечер, маленькая Жанна!

— Привет, землячка! *Vive la révolution!*

И она им улыбалась и кивала:

— Здравствуйте, Поль! Как дела, Морис? *Comment ça va?*

Жанна знала очень многих матросов. Она беседовала с ними, рассказывала о коммунистах, о том, какую цель коммунисты преследуют, и о том, что в России впервые в истории человечества строится подлинное социалисти-

ческое общество, но что этому хотят воспрепятствовать капиталисты.

Жанна умела, беседуя, незаметно передать пачку листовок. И не одна она занималась этим. Типография губкома выпускала большое количество воззваний, брошюр на французском, английском, польском, греческом и румынском языках. Надо было всю эту огромную массу печатных изданий препроводить к солдатам и матросам оккупационных войск. Задача нелегкая. Но ничего, справлялись.

Генерал д'Ансельм неоднократно вызывал представителей контрразведки для объяснений:

— Надеюсь, вы обратили внимание, господа, что город буквально засыпан подпольной литературой. Сообщите мне, что предпринято, чтобы наконец прекратить это безобразие? До каких пор мы будем терпеть это хозяйничанье большевиков? Буквально все стены оклеены беззастенчивыми призывами... Мне доподлинно известно, что их газеты — и всегда, заметьте, свежие, как будто их разносит обыкновенный почтальон, — появляются как из-под земли на кораблях, миноносцах, в казармах, даже здесь, у меня на письменном столе! Черт побери! Да все официозы — все эти «Одесские почты», «Проюги», «Одесские новости» — и те не поступают так аккуратно!

Контрразведчики выслушивали эти заслуженные упреки. Действительно, как из-под земли вылетают эти листовки, газеты, воззвания!

Одно никак не приходило в голову контрразведчикам, что именно из-под земли появлялась вся эта литература, что там, в куяльницких катакомбах, самоотверженно работали люди, работали не покладая рук, добровольно обрекая себя на трудную жизнь без солнца, без свежего воздуха, потому что они там и жили, никогда не выходя из подземелья. Целыми днями щелкал верстаткой неутомимый наборщик, печатник и метранпаж Яковлев. Фонари «летучая мышь» заменяли дневной свет. День и ночь грохотала плоскопечатная машина — «американка».

Была разработана сложная система, каким способом отпечатанную литературу вывезти, разнести по городу, отправить в окрестности, доставить на военные корабли и в казармы оккупационных войск.

Особенно изобретателем был старый рабочий, которого все в порту звали по имени — дядя Герасим. Он распола-

гал к себе каждого. Балагур, песенник, он весь пропитался запахами моря, дерева, столярного клея и лака.

— Пока что, — говаривал горделиво дядя Герасим, прячывая пачку подпольных газет в ящик с инструментами, — пока что, благодарение господу, ни один транспорт не ушел из Одессы без хорошей порции листовок. Пусть знают, какую позорную роль выполняют они, французские солдаты, кого приехали усмирять! Сами-то они кто? Такие же, как мы, крестьяне и рабочие! А что получается? Я им правду-матку в глаза режу. Я им прямо говорю, по ихнему: «Пуркуа, — говорю, — пожаловали? Аллон занфан восвояси подобру-поздорову». Ничего, понимают. «Требьян, — говорят. — Вив большевик!»

10

Консул Энно смотрел из окна своего кабинета на бесчисленные колонны, в строгом порядке движущиеся по мостовой.

Он вытребовал лидеров одесских профсоюзов. Они явились смущенные, готовые к услугам. Они не прочь были извиняться за рабочую демонстрацию и клятвенно заверяли, что немедленно прекратят забастовку.

В это время французские матросы рассыпались цепью по площади. Рабочие шли молча, стройными рядами. Раздалась команда — и французские моряки дали залп по демонстрантам. Вот упал молодой парень, несший плакат... Вот еще двое рухнули на мостовую...

И вдруг французские матросы увидели Жанну Лябурб — маленькую Жанну, тоже идущую с этими людьми по улице. Она держала в руке древко красного знамени.

— Смотри, а ведь это маленькая Жанна!

— Наша Жанна! Выходит, что мы стреляли в нашу Жанну? Что же это получается?

По цепи французских матросов прошло движение, друг другу передавали: не стрелять!

Жанна увидела, что происходит в цепи. Она счастливо улыбалась. Французские матросы махали ей беретами.

А на следующий день на всех французских военных кораблях появился свежий номер газеты «Коммунист» на

французском языке. В газете помещено было письмо группы французских солдат и матросов. В письме они заявляли, что их обманным путем доставили сюда, в эту страну: говорили, что корабли направляют с мирными целями. Да, вчера они стреляли в демонстрантов! Но теперь поняли, что являются игрушкой в руках прислужников капитала — офицеров. Больше они не совершат этой ошибки. Не будут душить ростки освободительного международного движения. Советская республика одна только является истинно демократической и социалистической республикой, и они хотят поспешить ей на помощь.

Номер этой газеты лежал и на столе консула Энно. Консул только что прочитал письмо французских солдат и моряков. Мысли у него были невеселые. Он думал о том, что большевикам удалось-таки сагитировать добрую половину оккупационных войск.

Консул Энно жадно курил.

«Хотел бы я знать имена этих каналов, которые послали такое письмо в подпольную большевистскую газету. Впрочем, какой толк? Все они в той или иной степени отравлены красной пропагандой. Гораздо спокойнее, когда эти болваны сидят у себя дома во Франции и мирно пьют свой сидр...»

Консул не докурил еще сигарету, как раздался телефонный звонок:

— Большая неприятность, господин консул! На одном из французских военных кораблей матросы связали офицеров и ушли в море, заявив, что решили вернуться во Францию.

— Они немногим предупредили меня, — процедил сквозь зубы Энно.

— Как, господин консул, и вы решили уехать во Францию?!

Консул выругался, впрочем предварительно зажав телефонную трубку: он испытывал острую потребность отвести душу.

— При чем тут я? Я говорю, что сам собирался поднять вопрос об отправке домой этих смутьянов.

— Правильное решение! Можете себе представить, один матрос недавно открыто говорил, что пора и во Франции сделать то же, что сделали большевики в России!

— Эти каналы... — и консул поперхнулся, не закончив фразы.

Не успел он, однако, повесить телефонную трубку, как опять звонок:

— Разрешите доложить: сороковой пехотный полк отказался выполнять боевые приказы своих офицеров.

Этого только не хватало! Скоро, кажется, они примутся ходить по улицам и петь «Интернационал»! Консул Энно схватился за голову. У него явно начиналась мигрень. И зачем только он согласился поехать в эту чертову страну, да еще при его расшатанном здоровье!

— Артиллеристы третьей дивизии не стали стрелять по большевикам, — сообщали усердные служащие своему консулу.

— На крейсере «Вальдек Руссо» подняли красный флаг, — поступило новое сообщение.

И снова звонок:

— Саперы четвертой роты второго батальона седьмого саперного полка...

Но Энно не дослушал, что сделали эти саперы. Он швырнул телефонную трубку на стол и вышел из кабинета.

ВОСЬМАЯ ГЛАВА

1

Бирюзовое море безмятежно. Сколько хватает глаз — ласкают, переливаются нежные оттенки. И хочется смотреть, и смотреть, и вглядываться в эту синеву... На сердце радость, даже какой-то восторг охватывает все существо от этого созерцания громадного покоя, громадной тишины... Прекрасен мир! Жить бы да жить в этом прекрасном мире!

На чистом, много-много раз перемытом морским прибоем и теперь таком рассыпчатым песке лежит человек в тельняшке, в парусиновых брюках. Он смотрит, как прозрачная зеленоватая волна чуть-чуть набегает на берег. Как будто она хочет немного вскосматить гладкий песок.

Набежала и откатилась, оставив темноватый след. Что это там на песке? Раковина или кусок водоросли? Или обломок весла, принесенный из открытого моря?

Тишина. Небо невероятно синее. Как на открытке.

У Котовского здесь назначена встреча с Васей и Михаилом. Котовский уверен, что они не заставят себя долго ждать. И хотя он знает их ловкость, он все же чуточку тревожится за них: как ни говори, головы-то горячие...

Бирюзовое море безмятежно. Котовский слушает плеск волны и всматривается в далекое море. Что это белеет вдали? Чайка или парус? Парус! Еще несколько минут — и лодка врежется в песок.

— Григорий Иванович! Масса новостей! — кричит Вася еще из лодки.

Котовский улыбается.

«Хорошие ребята! — думает он — И вырастут из них люди. Ничего, что трудно. Крепче будут».

— Самая главная новость, — сообщил Вася, — это забастовка на заводе «Нейман и сыновья». Бастуют вторую неделю. Старик Нейман уперся, и ни в какую! Не идет ни на какие уступки! А забастовщикам уже и есть нечего. Форменно голодают. Григорий Иванович! Неужели же сдаваться?

— Сдаваться? Сдаваться вообще нельзя. Ишь какой! Сдаваться! Да как у тебя такое слово-то выговорилось?

— Григорий Иванович, не выдержат, — вздохнул Михаил. — Я сам видел. Дети уже синие.

— А мы им окажем поддержку, — решительно заявил Котовский. — Только надо согласовать с ревкомом, а то опять нам попадет.

— Им прежде всего хлеба надо, бастующим рабочим, — мрачно заявил Михаил.

— Вот-вот. Я п-попробую уговорить Неймана. Сердце-то у него есть?

— Хм... сердце? — удивился Вася. — В первый раз слышу, что у Неймана есть сердце! Может быть, теперь обнаружили? До сих пор не замечалось.

— Нейман?! Он скорее удавится! — уверенно сказал Михаил.

— Как же он пойдет сам против себя? Что вы, Григорий Иванович! Что-то не похоже!

— Ничего. Мы все-таки попробуем.

Как ни упрашивали Вася и Михаил рассказать, что думает делать Григорий Иванович, чтобы свершилось чудо, но Котовский больше не сказал ни слова. Только дал указания, где и как и в какой именно день ждать его появления.

Особняк фабриканта Неймана находился в глубине сада. Окна нижнего этажа были укреплены массивными надежными решетками. Но этого было, по-видимому, недостаточно для сохранения драгоценной жизни миллионера. Особняк охранял чуть ли не целый полк, причем были определенные посты, заставы, караулы. В любую минуту верные стражи готовы были ринуться на защиту. Нейман и этим не удовольствовался. Помимо солдат, которых сам черт не разберет, — сегодня они белые, завтра красные, а послезавтра какие-нибудь зеленые в зависимости от того, кто их разagitирует, — Нейман на всякий пожарный случай содержал за свой счет засаду из полусотни контрразведчиков. Эти-то не подведут, будем надеяться. Нейман был весьма предусмотрительный человек!

Так он и жил, один как перст, со своими миллионами, жил, как в осажденной крепости, запрещая даже прислуге появляться на глаза без вызова, установив внутренние телефоны, секретные звонки и сигнализацию.

В один прекрасный день прямо к месту засады контрразведчиков подкатил великолепный, сверкающий кожей и лаком экипаж. Рысак был чистейшей породы, кучер — само великолепие: шляпа с перьями, кафтан ярко-синий, бородаща, как у Ильи Муромца, и голос самый что ни на есть кучерский — одновременно и нежный и пронзительный.

О барине, который восседал в экипаже, и говорить нечего: красавец, такая жирная бестия! Голос громовой, глаза повелительные и на пальцах такие перстни! Наверное, цены им нет, такие перстни!

Все контрразведчики повыскакивали посмотреть на это четырехколесное воплощение старого режима.

— Эх! — сказал один. — Это я понимаю! Это жизнь!

— Один бы такой перстенок заиметь, дунуть куда-нибудь в Сан-Франциско и жить припеваючи, наплевав на все, — подхватил другой.

— Хватило бы, — убежденно согласился третий.

А барин за пуговицу штабс-капитана из контрразведки схватил:

— Можешь, голубчик, гарантировать безопасность, пока я Соломона Марковича навещу? Дело нешуточное: здесь вот-вот появится Котовский, и я приехал предупредить Соломона Марковича об опасности.

Штабс-капитан покосился на перстни, захлебнулся от счастья:

— Муха не пролетит! Будьте уверены!

— Ты уж и охрану возле дома предупреди! Будь ласков!

И тут, сам не зная почему, штабс-капитан назвал барина «вашим превосходительством»:

— Можете на меня положиться, ваше превосходительство!

Он считал, что никогда не вредно переборщить: лесть никого еще не обижала.

— Видишь ли, — произнес барин тихо, очевидно, чтобы кучер не слышал, — разговор сугубо важный, совершенно секретного характера и в международном плане, так что, можно сказать, решается судьба России... Понял всю ответственность? Как, кстати, твоя фамилия? При случае представлю к награде.

— Щукин, ваше сиятельство! Геннадий Щукин! — воскликнул штабс-капитан, решив, что этот барин — по меньшей мере «ваше сиятельство».

Котовский больше не говорил с осчастливленным Щукиным, но разрешил ему приткнуться на краешке сиденья и довез его до самого особняка.

Затем Котовский проследовал в покои фабриканта, а штабс-капитан проверил все посты и сам лично побеспокоился, чтобы ничто не помешало беседе и встрече в особняке.

А беседа была, для Неймана во всяком случае, далеко не из приятных.

Котовский предстал перед озадаченным фабрикантом, поиграл перстнями, вежливо помахал наганом и крайне корректно сообщил, что ему, Котовскому, стало известно о невыносимом положении бастующих рабочих.

— Вот как? — сумел только промямлить побледневший Нейман.

У него тряслись губы и отнялся язык. Перед ним —

знаменитый Котовский! Вряд ли он выпустит его живым!

— Я знал, что у вас золотое сердце и что напрасно говорят, будто вы изверг рода человеческого. Я просто уверен, что вы, услышав от меня о тяжелом положении бастующих рабочих, сию же минуту пройдете со мной в ваш кабинет, выложите все содержимое вашего сейфа, вручите мне и попросите меня передать от вас рабочим это ваше единовременное пособие.

— Разве я скажу «нет»? Конечно, я скажу «да», — пробормотал фабрикант. — Конечно, поспешу отдать вам свою наличность.

— Я рад, что наши переговоры проходят миролюбиво и при взаимном понимании. И вы, кстати, не нажимайте на кнопку под столом, потому что все равно она не действует.

— А разве я нажал? Честное слово, это чистая случайность!

— Простите, я сначала уберу из вашего письменного стола ваш пистолет. Ну вот и прекрасно! Правда, так-то лучше? А теперь вы достанете ключи, откроете сейф... Нет, нет, сами действуйте! Открыли? Та-ак! Превосходно! Пересчитывать не будем? Здесь все? Могу я вам довериться? Спокойно! Внутренний телефон у вас тоже сейчас отключен. Вот вам моя расписка в получении денег, а затем вам перешлют уведомление от стачечного комитета. Рабочие будут довольны, тем более что завтра вы примете все их условия и они приступят к работе. Не правда ли?

— Не воображайте, — хныкал Нейман, — будто я не знаю, что будет дальше! Вы положите адскую машину и скажете, чтобы я два часа не шевелился. И я буду два часа не шевелиться, чтобы вы могли спокойно себе уйти.

— Боже упаси! Нет, я прошу вас, Соломон Маркович, сразу же после моего ухода позвонить в контрразведку. Чего там стесняться, звоните прямо полковнику Сквородину! Да, и еще одна маленькая просьба: не обижайте этого штабс-капитана Щукина! Это мой большой друг! Как! Вы не знаете, кто такой Щукин? Ну, ваш главный страж и телохранитель! Вспомнили теперь?

— Вспомнил... Но кто бы мог подумать!

— Итак, я еще раз благодарю вас от всей души!

— Вы не будете меня убивать?

— Соломон Маркович! Ну как вам не совестно! С какой стати?!

— В таком случае, — усмехнулся фабрикант, — пожалуй, не стоит жалеть о понесенных... гм... некоторых расходах, чтобы воочию лицезреть знаменитого Котовского. Это не каждому случается... Кстати, вы не обидитесь на один нескромный вопрос: что, камни в перстнях, разумеется, фальшивые?

— Из театрального реквизита. Не смею вас больше беспокоить.

И Котовский уехал на своем рысаке, небрежно кивнув счастливому штабс-капитану. Кучер был толст и румян, в своем ярко-синем кафтане, в шляпе с перьями он был как с картинки. Один из дружинников блестяще сыграл эту роль!

На другой день бастующим было сообщено, что все условия их приняты. Нейман уехал за границу лечиться от нервного потрясения.

А в городе были расклеены объявления, где предлагалась крупная сумма за поимку Котовского. Обращение было подписано каким-то Иваницким. Взбешенный Сковородин подал в отставку после неприятного объяснения с консулом Энно, до которого дошли слухи об этой скандальной истории с Нейманом.

И опять они встретились на песчаной отмели: голубоглазый Вася, неразговорчивый Михаил и полный жизни и силы Котовский. Море опять было безмятежно и бирюзово. И так же ласково разбегалась по отмели прозрачная волна.

— Жизнь прекрасна, — говорил в раздумье Котовский, вглядываясь в лучезарную синеву, — и мы очень хорошо поболтали с этим Нейманом. Оказывается, весьма культурный человек и понимает все с одного намека. Кажется, мы оба друг другу понравились.

— Назначенный на место Сковородина Иваницкий свирепствует, — сообщил Михаил. — Каждую ночь облавы.

— Самойлова взяли! — добавил Вася. — Сегодня ночью взяли...

— Самойлова?! — взметнулся Котовский. — Так что же вы молчите?!

— Мы не молчим.

— Но ведь это такой человек!..

Нахмурился Котовский. И потускнело в его глазах бирюзовое море. Такого крупного работника взяли! И, наверное, будут пытаться... И что же теперь? Надо действовать! Надо выручать!

2

Как ни разведывал Котовский, как ни шныряли вокруг агентов Вася и Михаил, как ни прощупывал Самуил знакомых контрразведчиков, ничего утешительного узнать не удалось. Контрразведчики пожимали плечами, хвалили Иваницкого: этот, кажется, не на шутку взялся за чистку города. Между прочим, говорят, что у Иваницкого новые методы: мало бьют и зачастую пристреливают тут же, при допросе.

Видел Котовский и самого этого Иваницкого. Высокий, сухопарый, абсолютно трезвый. Тяжелый взгляд не предвещает ничего хорошего. Говорили еще, что Иваницкий отменный стрелок и убивает выстрелом в глаз с неизменной шуткой: «Чтобы шкуру не испортить».

Арестовано до шестидесяти подпольщиков. Они приговорены к расстрелу и помещены в трюме баржи, в гавани одесского Карантина. А по городу расклеены огромные объявления:

«Шестьдесят заложников будут расстреляны ровно в полночь, если государственный преступник Котовский не явится добровольно для предания его суду».

«Как бы не так! — размышлял Котовский. — Можно придумать иной выход из положения».

Он повстречался с товарищами-ревкомовцами. Были приняты меры предосторожности. Беседа продолжалась долго. Но даже Вася, всезнающий Вася, который умел проникать в самые глубокие тайны, и тот ничего не мог узнать о происшедших в ревкоме разговорах и суждениях. Поговаривали, что Котовского крепко побранили за эту шумную историю с Нейманом, за его пристрастие к слишком скандальным затеям. Но в то же время видели, что Котовский уехал с этого совещания сияющий и довольный. Значит, кончилось все хорошо? А так как он не-

медленно вызвал к себе Васю и Михаила, ясно было, что ему дано какое-то важное, трудное и срочное задание.

Смертники между тем томились в трюме баржи. В контрразведке разговор с ними был короткий. Их поочередно выводили на допрос. Там сидел сам Иваницкий и безглаголиво разглядывал каждого, кого притаскивали из камеры. Кроме Иваницкого в помещении находился тот самый штабс-капитан, которого Котовский обещал представить к награде. Вид у штабс-капитана был довольно-таки жалкий. Иваницкий, обзрев арестованного с ног до головы, оборачивался в сторону штабс-капитана:

— Не он?

— Никак нет, — отвечал штабс-капитан.

— Вы присмотритесь внимательнее. Должны же вы узнать своего закадычного друга, которого почтительно именовали «ваше сиятельство».

— Введен в заблуждение...

— Значит, не он?

— Абсолютно не он! Даже никакого сходства!

— Ну все равно... Расстрелять! Вы слышите, это о вас идет речь! Расстрелять, и чтобы у меня аккуратно, культурно расстреливать, по европейскому образцу!

Дело в том, что Иваницкий имел пренеприятный разговор с некими высокими представителями некоей иностранной державы. Его отчитывали за кровавые расправы и побоища в контрразведке:

— Никто не говорит, что вы не должны беспощадно истреблять всех этих... ну вы сами понимаете кого. Но делайте это тихо, умно и так, чтобы не приходилось о вас читать жуткие описания в левой заграничной прессе!

Вот почему всех задержанных почти не били и сразу же препровождали в трюм баржи. Их должны были вывезти в открытое море глухой ночью, без лишних свидетелей. Сказано «по-культурному» — значит, и будет «по-культурному». А главное — спрятать концы в воду.

Смертники в трюме молча додумывали свои последние думы. Почти не разговаривали. Кто-то плакал. Кто-то, получив теперь полную возможность отоспаться, крепко спал. Самойлов, оказавшийся тоже здесь, спорил с одним старым партийцем по какому-то принципиальному вопросу.

Темно в трюме. Иногда слышно сквозь стенку журчание, плеск воды. И снова тихо.

— Противно погибать, когда нет табаку! — невесело шутит кто-то.

— Курение вредно для здоровья, — отзывается глухой голос.

Снова воцаряется молчание. Табаку действительно ни у кого нет.

Темно в трюме. Нет никакой возможности определить, скоро ли настанет их последнее утро.

Но вот толчок. Подошел буксирный пароходик. Конвой, охраняющий баржу, продрог и теперь охотно помогал закрепить концы, стараясь согреться.

— Го-то-во-о!

Буксирный пароходик заработал винтом, баржа плавно сдвинулась с места, и морская зыбь зажурчала, разбиваясь об ее обшивку.

В небе дрожали первые отсветы возникающего утра. Мокрый канат хлопал по зеркальной глади, затем он натянулся, зазвенел как струна, и тогда баржа, шедшая как-то боком, взяла курс, взбила морскую пену и пошла, покачиваясь, в одну линию с буксиром.

Слева тянулся мол, справа мигали редкие огни, и не было кругом ни души, ни один взгляд не проводил уходившую в открытое море баржу. Конвоиры пританцовывали на неровной палубе баржи. Им было зябко и хотелось поскорее развязаться с этим грязным делом, добраться до караульного помещения и завалиться спать.

В открытом море буксирный пароходик пришвартовался к борту баржи, дымя, фырча и поднимая волну.

— Выводить? — спросил начальник конвоя.

— Не надо! — ответил Котовский, прыгнул на баржу и в упор выстрелил в начальника конвоя. Дружинники тем временем расправлялись с остальными.

Это заняло какие-нибудь три минуты.

— Да что же вы медлите? Открывайте люк! Каждая секунда дорога! Ведь они не знают, что спасены. А за это время можно поседеть или потерять рассудок!

Как быстро светало! Смертники выходили из заточения один за другим. Некоторые, собрав все душевные силы, приготовились умереть гордо и достойно. Теперь они вдруг ослабли и вместе с нахлынувшей радостью почувствовали свинцовую усталость. Из шестидесяти не спасся

только один малодушный: он еще ночью перерезал себе вены...

Котовский обнял Самойлова:

— Дорогой мой! Как я счастлив!

— Опять жизнь!

Милые, родные лица... Все тут! Все в сборе! Есть ли бóльшая радость, чем отвести от близкого человека костлявую руку смерти!

3

Не раз вспоминал Григорий Иванович про Орешникова. Куда девался этот кающийся дворянин, этот доморощенный философ? С того дня, как Орешников шепнул на ухо слово предупреждения капитану Королевскому, они больше не встречались. Куда он исчез? Может быть, уехал на фронт?

А Николай Орешников тоже часто вспоминал Котовского и размышлял над своей жизнью.

Он походил на щепку, которую подхватило бурное водополье. Казармы... окопы... бои... и та умудренность, что появляется у человека, который заглянул смерти в глаза. Орешников «спасает Россию от красной чумы», воюет со своими же, русскими, и все никак не поймет, где правда, и все обуреваем сомнениями, размышлениями, и странная судьба: он и Котовский неизменно оказываются в противоположных лагерях!

Что же такое знает этот загадочный Котовский? Откуда у него такая уверенность, такая страстность убеждений? И разве это не полная путаница всех понятий, убеждений, мировоззрений, когда Орешников борется против большевиков, одновременно презирает своих соратников и считает бесчестным сообщить куда следует, что капитан Королевский — это не кто иной, как разыскиваемый контрразведкой Котовский? Орешникову кажется, что совершается какая-то непоправимая большая ошибка...

Опять повстречались Орешников и Котовский, и снова при необычном стечении обстоятельств.

Была непроглядная ночь. Разъезжали патрули по улицам Одессы. Котовский возвращался с опасной операции: переправляли оружие партизанам.

Внезапно появился из-за угла патруль. Котовский повернул назад, выискивая какой-нибудь проулок, чтобы

избежать встречи. Все обошлось бы хорошо, если бы вдруг не вынырнул откуда-то автомобиль. Его фары ярко осветили Котовского.

Патруль, огорченный, что ночь кончается, а не удалось поохотиться за каким-нибудь замешкавшимся гулякой, ринулся за Котовским. Эти молодчики не задавались особыми целями. Они просто предвкушали удовольствие пошарить в карманах прохожего, предварительно отправив его в «Могилевскую губернию».

Котовский уже нащупывал револьвер. Кажется, заваривается каша. И вдруг машина резко затормозила, открылась дверца и чей-то звонкий голос, даже как будто и знакомый, окликнул:

— Я вас разыскиваю по всему городу! Садитесь скорее!

Котовский понял, что его принимают за кого-то другого. Одно мгновение он выбирал, где выгоднее: одному против пяти вооруженных головорезов или в кабине «роллс-ройса», где его ждала полная неизвестность.

Патруль в замешательстве остановился. На машине был иностранный флажок, а с этими иностранцами не стоило связываться.

Котовский вскочил в машину, дверца захлопнулась, и машина зашуршала по гравиию по безлюдью спящих улиц.

— Какой черт носит вас по темным улицам да еще и без оружия? — спросил все тот же простой и приятный голос.

«Ясно, — подумал Котовский, — он прощупывает, вооружен я или не вооружен!»

— Во-первых, я с оружием и довольно недурно стреляю. Во-вторых, если б вы не осветили фарами, они бы меня не увидели.

— Простите, вы все еще Петр Петрович?

— Так это опять вы? Но с вами дама...

— Француженка. Парижанка. Не обращайтесь внимания. Она по-русски знает одно только слово «люблю». От скуки я флиртую с иностранками, до некоторой степени уподобляясь Деникину: он тоже флиртует. Но не с красавицами, а с иностранным банком.

— Я вижу, вы все такой же. Все философствуете.

— Да. И еще восхищаюсь вашей неистощимой энергией... Выкрасть заложников, обреченных на смерть! Это буквально всех ошеломило!

— Но как же вы можете восхищаться тем, что наносит вам ущерб и что делает — кто? По сути дела, ваш противник!

— Я не знаю, где мой противник. Иностранцев ненавижу, большевиков страшусь, а этих... лакеев...

Он не закончил и замолчал. Машина приближалась к центру. Женщина рядом с Орешниковым явно скучала и досадовала под своей вуалью. Она не проронила за все время ни слова.

— Вас не затруднит высадить меня на углу Итальянской? — спросил Котовский. — И позвольте поблагодарить вас. Я почему-то уверен, что рано или поздно вы будете с нами.

— С кем — с вами?

— С народом.

Машина остановилась. Шофер получал приказания в специальную разговорную трубку.

— Разрешите пожать вам руку и сказать, что я завидую. Я очень бы хотел иметь убеждения, ради которых стоит рисковать жизнью.

Они распростились. И машина укатила.

4

Агенты контрразведок неистовствовали. Провалилась одна явочная квартира. Решили быть осторожнее. Котовский теперь не встречался с секретарем губкома. Задания и необходимые сведения передавались через связных.

Все ближе подходила Красная Армия к Одессе. Иногда казалось, что слышны раскаты орудийной стрельбы, что еще одно усилие — и красноармейцы будут штурмовать одесские предместья.

Губернский комитет партии требовал усиления борьбы. Партизанские отряды создали второй, внутренний фронт.

Кажется, уже все понимали в деникинской армии, что гибель неминуема. Но Одесса шумела, Одесса развлекалась! Хлопали бутылки шампанского. Визжали скрипки в ночных ресторанах. Офицеры, напившись до бесчувствия, стреляли в потолок, опрокидывали столики. Женский визг... Музыка... «Звук лихой зовет нас в бой, черные гусары!..» «Гип-гип-ура!..» «Ты не ездь, Ванька, к Яру, даром деньги не теряй!..» «Апчхи! Спичка в нос! Тирлим-

бом-бом, тирлим-бом-бом!..» Бац! Бац! И в Одесском порту темные силуэты иностранных пароходов, готовых к отплытию...

Котовскому в эти дни не давала покоя одна мысль. Она его преследовала, мучила, он постоянно говорил об этом и со своими помощниками:

— Понимаешь, Вася, заложников мы спасли, это точно. А ты скажи, чего мы не сделали? Мы оставили их дела их приговоры, их допросы, их имена — все оставили там, в охранке! Понятно?

— Понятно, Григорий Иванович, только маленькая поправка: мы там ничего не оставляли. Просто скажем так: их дела, естественно, находятся в контрразведке.

— Ну да, а надо, чтобы эти дела были в наших руках.

— Здрóрово!

— Что здóрово?

— Не так-то просто взять из этого «богоугодного» заведения хотя бы клочок бумаги.

— Вася, ты все можешь. Мне нужны офицерские шинели, много офицерских шинелей.

— Григорий Иванович! О чем разговор! Если уж в Одессе офицерских шинелей не найти, тогда я не знаю, что сказать! Ведь все белогвардейцы в одесских ресторанах, я даже не понимаю, кто же у них на фронте. Ресторан на Екатерининской улице знаете? На гардеробе там свой человек стоит, ваш солдат из Сто тридцать шестого полка! Значит, будут шинели!

— Вы с Василием прикрывайте наш отход, а я с ребятами буду грузить шинели, — вставил слово и Михаил.

— Правильно! Пока шинели не будут все до единой изъяты, никто не войдет в раздевалку, даже если применит оружие! Об этом позаботимся мы с Григорием Ивановичем. Правда, Григорий Иванович?

К этой операции приступили, не откладывая в долгий ящик. Вася и Котовский отправились в ресторан на Екатерининской улице.

Еще издали они слышали шум голосов, пьяные выкрики, музыку, звон посуды. В открытые окна ресторана валил пар, плыли запахи шашлыка, водки, духов и бифштексов. А когда они вошли, и запахи и звуки стали еще резче. Надсаживались скрипки, рыдало пианино. Потные официанты, совершенно замученные и ошалелые, носились взад и вперед с полными подносами. Кофе-глассе,

полуголая танцовщица, пьяные красные физиономии, пролитое на скатерти вино...

— Нечего сказать, — пробормотал Вася, с отвращением разглядывая зал, — зрелище!

— Барометр показывает приближение бури! — отозвался Котовский, весело улыбаясь.

Ни одного свободного столика! Это как раз входило в их план и в их расчеты. Котовский сует официанту крупную ассигнацию, и столик, как по волшебству, появляется. Вопрос только, где его поставить. Поставить буквально негде. И это тоже входило в программу их действий! Все шло как по-писанному.

— А вот мы сюда его поставим! — решает Котовский, на котором капитанский китель.

— Сюда? А как же пройти в гардеробную?

Но столик уже мелькнул в воздухе и поместился на единственно свободном месте, загородив дверь в раздевалку.

— Браво! — аплодируют в зале двум находчивым офицерам и особенно цирковому жонглерскому номеру, когда увесистый столик так легко вспорхнул в воздух и занял надлежащее место.

— Какой красавец! — любят женщины. — И какой силач!

Итак, дверь забаррикадирована. Официант принес шампанское, фрукты, и вначале все шло гладко, до тех пор, пока какой-то полковник не пожелал выйти:

— Р-разрешите!

Котовский и Вася, один — капитан, другой — поручик, даже не шевельнулись.

— Потрудитесь освободить проход!

Никакого впечатления.

Полковник багровеет, как умеют багроветь одни полковники кадровой царской армии. Но и это не помогает.

За столиками раздается смех. Симпатии разделяются. Одни горячо отстаивают право полковника покинуть ресторан, раз уж ему так хочется. Другие настаивают на том, что никто еще не расходится — ничего, посидит и полковник:

— Куда ему спешить? Пей, пока пьется! Алло! Полковник! Ваше здоровье!

«Славься, славься, наш русский царь!..»

«Белой акации гроздь душистые...»

— Ар-ркашка! Налей полковнику коньяку!

Сначала просто спорили. Затем спор превратился в свалку. И никто не заметил, когда и куда исчезли эти веселые капитан и поручик. Выходило, что и спорить-то не из-за чего.

Столик наконец отодвинули, и побагровевший полковник с достоинством проследовал к вешалке. Но что это значит? Там пусто! Пусто! Ни одной шинели, ни одной шапки... Позвольте! Нет даже швейцара! Что он, пьян? Какое безобразие! И оружия, которое полагалось сдавать на вешалку, тоже нет!

В захваченные офицерские шинели немедленно были обряжены дружинники Котовского. Улицы, прилегающие к помещению контрразведки, никогда еще не видели такого наплыва офицеров. Несмотря на позднее время, отовсюду стекались сюда полковники, капитаны, штабс-капитаны, поручики всех родов оружия и как на подбор — статные и молодые.

Не прошло и часа, как помещение контрразведки было окружено со всех сторон, а все подходы закрыты надежными заслонами.

Котовский, звеня шпорами, направился к входной двери.

— Приказ командующего о вашем аресте! — протянул он дежурному скрепленную подписями и печатями бумагу.

Дежурный побледнел и бросился к телефону:

— Ни с места! Сдать оружие!

Двое контрразведчиков застрелились, остальные позволили себя разоружить и запереть в ту самую камеру, в которую они столько раз швыряли истерзанных ими людей.

Вот уже все помещение контрразведки захвачено дружиной. Котовский перебирает папки, часть захватывает с собой, остальное сжигает.

— В переулке конные!

Дружина отступает в полном порядке.

И все-таки они ее схватили.

Ночью Вася разыскал Котовского:

— Григорий Иванович! Жанну арестовали!

Котовский сразу поднялся с постели. То, чего он давно опасался, произошло!

— Григорий Иванович! Они ее будут мучить!..

И вдруг Вася — тот самый Вася, который не робел перед любой опасностью, — вдруг этот Вася отвернулся и стал старательно вытирать слезы.

Позднее выяснилось, что арестованы кроме Жанны еще несколько человек. Об этом сообщил Котовскому Кузьма Иванович Гуца. И как под влиянием горя изменился этот добрый человек! Осунулся, постарел...

— А кто? Кого они взяли? — допытывался Котовский.

— Елин... и другие... О Жанне я уж не говорю. Как подумаю о ней — сердце кровью обливается... Оказывается, арестовано также несколько французских матросов, встречавшихся с подпольщиками.

— Самуил! — приказал Котовский. — Кровь из зубов, но ты должен выгрызть эту тайну, узнать, где содержат Жанну.

— Хо! — ответил Самуил. — Всего проще!

Он был вхож повсюду, этот Самуил. Он мог соорудить постную физиономию и явиться в синагогу. Он «дружил» с каким-то контрразведчиком и пил с ним наравне, не отставая в счете бутылок, хотя едва ли может кто-нибудь сравняться в этом отношении с контрразведчиками. У Самуила были «уши» в самых разнообразных кругах города. Он путался с контрабандистами, пользовался уважением среди торговцев, ему удалось даже пристроиться на какую-то неопределенную должность в многолюдном штате самого д'Ансельма. Когда Котовский расспрашивал, кем же Самуил числится у генерала, Самуил уклончиво отвечал:

— Как вам сказать... Чтобы я был его личным секретарем, так нет. Но, скорее всего, я что-то среднее между младшим помощником старшего садовника и унтер-курьером при господине курьере.

— Что же ты все-таки делаешь?

— Иногда ищу что-нибудь особенное в комиссионных магазинах... Иногда составляю букеты для столовой господина д'Ансельма, чтобы он мог понюхать во время завтрака культурный запах, например, чайной розы. Почему бы нет?

Но сегодня Самуил не склонен был шутить, а Котовский не склонен был его слушать.

Все дружинники были подняты на ноги. Иван Федорович устроил экстренное совещание губкома. Уже были приняты меры, чтобы известить о случившемся французских матросов. Ведь контрразведчики действовали втихомолку, значит, побаивались неблагоприятного впечатления, которое может произвести эта расправа на солдат и матросов, и без того готовых чуть ли не к восстанию.

Никогда еще Котовский не видел такого лица у секретаря губкома. Глаза его были печальны и гневны, губы сжаты. Да и все подпольщики были потрясены этим событием. Самойлов, который занят был теперь формированием партизанских отрядов, как раз в этот день прибыл в Одессу за инструкциями. Услышав о горестном происшествии, он стиснул кулаки и прошептал:

— Ну ладно же! Дорого они заплатят за это!

Сведения поступали одно за другим. Оказывается, многих избивали при аресте. Оказывается, прибыл специально по этому поводу какой-то крупный чин французской полиции.

Но толком еще никто ничего не знал...

В помещении, куда втолкнули Жанну, была она одна. И вдруг она услышала громкий голос Елина... Значит, схватили и его?

Допрос вел полковник-француз, начальник контрразведки, пожилой и изящный. Тут же присутствовали и белогвардейцы. В роли переводчицы выступала субтильная блондинка. Жак Елин узнал в ней супругу консула Энно: однажды ему показали ее, когда она совершала прогулку. Но теперь он ближе познакомился с этой особой. Убедившись, что Елин ничего не выболтает и никого не назовет, эта дама, взбешенная его упорством, ударила его рукояткой револьвера по голове, что совсем не входило в обязанности «переводчицы». Обливаясь кровью, Жак Елин упал.

Избивали и остальных. Одному выбили глаз, свалили, пинали в живот, затем перешли на более изощренные истязания и пытки. Палачи добивались сведений, где находится подпольная типография, где и когда встречаются подпольщики-большевики. В награду обещали

выезд за границу, деньги. Но ни одной визы не потребовалось. Это и бесило и в то же время приводило в изумление палачей.

Допоздна трудились изящный французский полковник, белокурая дама, похожая на мадонну, и все остальные заплечных дел мастера.

От Жанны вообще не слышали ни слова. Изящный французский полковник утомился, и Жанна была поручена полковнику Иваницкому, прибывшему по приглашению «Дезьем бюро».

— Фамилия? — строго спросил Иваницкий, показывая, что он отнюдь не намерен шутить.

Жанна молчала.

— Фамилия, я тебя спрашиваю! — и тут из уст полковника посыпались отборнейшие ругательства.

Жанна ответила по-французски:

— Я французенка. Вызовите переводчика.

— А черт! Ты превосходно говорила по-русски, когда тебе надо было!

Через переводчика Жанна заявила, что она — французская подданная и требует вызова французского консула. Жанна хотела выиграть время и как-нибудь дать знать о себе французским матросам.

Но Иваницкий был хорошо осведомлен о деятельности Жанны и о ее популярности. Он приказал переводчику удалиться. Он вызвал свидетелей, которые подтвердили, что слышали, как Жанна говорила по-русски.

— Так ты будешь разговаривать? — с ненавистью глядя на гордую революционерку, прохрипел полковник. — погоди, я сам буду твоим переводчиком, и мы чудесно пойдем друг друга!

С этими словами он поднялся и подошел вплотную к Жанне. Так они стояли и смотрели пристально в глаза друг другу. Французский полковник спокойно наблюдал, чем все это кончится и на что решится его коллега.

У Иваницкого не было достаточного навыка в избивании женщин. И он пришел в бешенство именно от своей нерешительности. Он размахнулся и ударил Жанну кулаком в висок.

Жанна упала, потеряв сознание.

«Кажется, я перестарался. Не хватает еще, чтобы

я ее ухлопал с одного удара. Ведь я известен гуманными методами работы!..»

Иваницкий, морщась, смотрел, как охранники возились, приводя в чувство арестованную.

Наконец Жанна открыла глаза.

— Встать! — заревел Иваницкий.

Но Жанна уже поднялась, и полковник еле успел отстраниться, потому что она бросилась на него с явным намерением отхлестать по физиономии.

Ее схватили. И тут началась отвратительная расправа. Несколько здоровенных мужчин истязали маленькую Жанну, приговаривая:

— Будешь драться?.. Будешь говорить?.. Будешь?!

...Перед рассветом арестованных вывели во двор, разместили на двух грузовиках, сюда же взобрались конвоиры, кроме того, четыре французских офицера с майором Андре Бенуа во главе и несколько головорезов из отряда Гришина-Алмазова под личным водительством Бекир-Бек-Масловского.

Машины мчались по спящему городу.

«Куда везут?» — сверлила мысль каждого из арестованных.

Выехали за город. Эта дорога вела к тюрьме, а расстреливали обычно на Стрельбищном поле или в Александровском парке. Если в тюрьму, то еще есть надежда на спасение, могут выручить товарищи.

Но вот возле кладбища машины замедлили ход, и все поняли, что гибель неминуема.

«Умирают только один раз, — вспомнила Жанна свои же слова. — Кажется, этот один раз наступает!»

Силач и здоровяк Стойко Ратков решил попытать счастья: ударил со всего размаха конвоира, стоявшего позади, оттолкнул его и прыгнул через борт автомобиля. Вслед ему стреляли, но разыскивать не решились: в темноте можно растерять и остальных.

Ратков ползком передвигался по каким-то рытвинам и кочкам. Был непроглядный мрак. Черное небо. Черная земля.

Со стороны кладбища слышались выстрелы, предсмертные крики.

«Кончают!..» — с горечью и отчаянием подумал Ратков.

На рассвете он добрался до одной из конспиративных квартир. Слушали его рассказ молча, потрясенные и гневные.

На следующий день весь город уже знал о расстреле и был погружен в траур. Никто не организовывал, само по себе возникло печальное шествие: на кладбище отправились многочисленные делегации. Они несли венки из живых цветов. Рабочие и матросы, профессора и студенты, женщины, школьники, старожилы Одессы, жители пригородов, городская интеллигенция и завсегда-таи порта шли в этот день по направлению к кладбищу, шли медленно, в скорбном молчании.

Неужели и в этот день не поняли незваные пришельцы, руководившие интервенцией, на чьей стороне сочувствие города?

Котовский метался, не находя себе места. Пришел Самуил сообщить новости, но, видя, что Григорий Иванович в таком состоянии, вздохнул и вышел на цыпочках. Вася и Михаил маячили поблизости. Они тоже тяжело переживали это горе.

Котовскому казалось, что он был недостаточно оперативен, что все-таки можно было что-то сделать... Совершал невероятные налеты, смелейшие операции! Ухитрялся сделать то, что казалось невозможным! А вот Жанну не мог спасти!.. И хотя, перебирая все подробности, все, что случилось, умом признавал, что сделать что-нибудь для спасения арестованных было невозможно, все равно винил себя в их гибели.

«Если бы мог я знать о планах контрразведки хотя бы за полчаса до выполнения, — думал он в отчаянии. — Если бы не так быстро все произошло! Я бы сделал нападение, перебил бы охрану... Я бы дал им настоящее сражение на улице... Они бы не успели опомниться, как все было бы выполнено...»

Перед ним стояло лицо Жанны — смелое, с широко открытыми, любопытными ко всему происходящему в мире, приветливыми и привлекающими глазами... А эти задорные мальчишеские кудряшки черных волос на голове! А этот звонкий голос!.. Милая Жанна! Маленькая Жанна! Как странно, что ты уже никогда больше не засмеешься, не встряхнешь непослушными прядями, не крикнешь задорно: «Добрый день, Поль! Здорово, Жюльен! Salut aux matelots!..»

Секретаря губкома Ивана Федоровича Смирнова взяли ночью в его квартире. Услышав стук в дверь, Смирнов сразу понял, что это не к добру.

— Кто там? — спросил он, не отпирая.

— Откройте, срочное дело.

Смирнов, не отвечая, немедленно стал уничтожать бумаги, которые могли бы привести на какой-нибудь след. Он знал по голосу всех своих товарищей. Да и стук у своих был условный. А это были хриплые, чужие голоса.

В дверь ломились. Когда все было готово, Иван Федорович спокойно подошел и откинул крючок.

— Почему не открывали? — ворвались охранники, направляя на него револьверы.

— Мне нужно было успеть кое-что сделать.

— Почему пахнет жженой бумагой?

— Уничтожил лишние документы.

— Ласточкин?

— Ласточкин.

— Давно мы за вами охотились.

— Мухи осенью сильнее кусают. А ваша осень пришла.

Когда закончился обыск и вышли на улицу, Смирнов увидел, что арестовывать его прибыл чуть ли не целый взвод. Сверкали штыки, мелькали шинели.

Была холодная, неприветливая ночь. Но все-таки как прекрасно это небо, как широк мир, как пахнет морем!.. Смирнов прощался с этой красотой, которой ему так редко и так мало приходилось любоваться.

Озабоченно подумал:

«Неужели не сумеют без меня выпустить очередной номер газеты? Выпустят! А там пришлют нового работника, незаменимых нет...»

Вспомнил о жене. Бедняжка. Не сладкая ей выпала жизнь... Сын — сын выбьется в люди. И не придется ему стыдиться отца.

Он не раз обдумывал, как будет держаться в случае провала. Он просто будет молчать. И Смирнов молчал.

Вначале они надеялись заставить его заговорить. Они применили весь ассортимент самых мучительных пыток, изобретенных современными истязателями и палачами

прежних эпох. Они были большими знатоками этого дела. Они потратили на секретаря губкома несколько ночей, каждый раз прекращая свои старания лишь тогда, когда не могли жертву привести в сознание никакими средствами.

Тогда волокли изуродованное тело и бросали на пол в одиночке — полутемном каменном мешке с плесенью на стенах и тяжелым промозглым воздухом, таким, что даже тюремщики отшатывались от двери. Здесь Иван Федорович приходил в себя. Он мучительно вспоминал, что произошло и где он находится. Он не мог пошевелинуть вывихнутыми руками, чтобы вытереть кровь с лица, а главное — с глаз, затянутых кровавой пленкой. Впрочем, все равно не на что было смотреть. Черный мрак! И только мысль, упрямая человеческая мысль пробивалась через этот мрак.

Смирнов проверял себя. Да, он не сдался! Он даже не доставил палачам удовольствия своим криком боли, стоном. Он только скрипел зубами, а потом и этого не было, потому что ему выбили зубы... И на лице, превращенном в один сплошной синяк, в одну кровавую ссадину, мелькало подобие улыбки. Ну что такое все они — усердные палачи, потерявшие в своей отвратительной профессии все человеческое, — что такое все они перед волей большевика?

Обезображенное тело Смирнова было вывезено на моторном катере в открытое море. Волны приняли его в свои ласковые объятия. Черное море стало его величавой могилой. В этот день ветер поднимал штормовые волны. Море хмурилось, море разверзало темные пучины и с грохотом и стоном обрушивало гребень волны...

7

Ревкомовцы собрались, чтобы обсудить положение. Это были люди, привыкшие смотреть смерти в лицо. Но все же события этих дней потрясли их.

Удар нанесен метко. Особенно горестно потерять руководителя подполья сейчас, когда дни интервентов и белогвардейцев сочтены. Вполне объяснима торопливость контрразведчиков: они поспешили прикончить Смирнова, так как не надеялись ни на толстые тюремные стены, ни на решетки, ни на самих себя.

— Здесь предательство! — решили все, нахму-
рясь.

В сознании стоял неотступный вопрос: кто? Все обду-
мали, все припомнили — и сошлись на одном.

...Незадолго до ареста секретаря губкома в одесскую подпольную организацию явился некий Ракитников. Он предъявил документы, довольно убедительно рассказал о себе, о своей работе, о Москве. Люди в подполье были нужны, время было горячее. Новые работники прибывали почти ежедневно, и появление Ракитникова не вызвало никаких подозрений.

Ракитников назвал себя «подрывником» и настойчиво просился «в распоряжение Котовского». К Котовскому его не направили, это делалось совсем не так, в дружину к нему вообще не «направляли», но дали Ракитникову ответственное поручение. Он по этому поводу виделся с товарищем Николаем, получил подробные инструкции, двадцать тысяч рублей на различные расходы и... скрылся. Так как он сам лично беседовал с Ласточкиным, он, конечно, запомнил его и мог препоручить кому-то другому дальнейшую слежку.

Явку в ателье «Джентльмен» тогда же ликвидировали. Но было непростительной неосторожностью, что хотя бы на некоторое время не отправили секретаря губкома в какое-нибудь надежное место, чтобы контрразведчики совсем потеряли его из виду. Но разве Ивана Федоровича уговоришь? Других он распекал за неосторожность, а своей головой постоянно рисковал. Он говорил, что еще точно не известно, может быть, Ракитников запоролся, может быть, он и не шпион...

Никаких сомнений не оставалось: Смирнова отдал в руки контрразведчиков Ракитников. Нужно было его найти.

Котовского вызвали на это совещание ревкома. Он сказал:

— Если только этот н-негодяй н-на поверхности земли — я его отыщу!

Котовский не мог привыкнуть к мысли, что Ивана Федоровича нет и ничего уже нельзя тут сделать. Но поймать и уничтожить предателя — это его прямое дело, его святой долг.

Поиски долго не давали результатов. И вдруг обнаружили Ракитникова в Одессе: видели, как он шел преспо-

койно по улице, раскланивался со знакомыми офицерами, а затем исчез в подъезде ресторана.

— Пока он сядет за столик и закажет украинский борщ и шницель по-гамбургски, мы уже будем там, — сказал Котовский.

Несколько дружинников быстро превратились в военных. Котовский привычно облачился в офицерский китель.

— Пошли! — объявил он, накладывая перед зеркалом грим.

— Если будет сопротивляться — стреляем? — спросил Вася, заранее предвкушая удовольствие пустить пулю в лоб провокатора, предавшего самого Ласточкина...

— Нет, возьмем живьем! — ответил Котовский. — Пусть он сначала все расскажет.

Больше он ничего не добавил. Куда они денут его? Как поведут? Ведь он может крикнуть, позвать на помощь...

В ресторане было много народу. Обстановка пышная. Белые скатерти, толстые метрдотели, позвякивание рюмок, блестящие судки... Это было священнодействие. Разговаривали тихо. Или даже совсем молчали, придерживаясь золотого правила: когда я ем, я глух и нем. В воздухе носились дразнящие запахи лаврового листа, мясного бульона и сочных котлет. Мундиры... фраки... дорогие меха... голые плечи... браслеты...

Рассеянно смотрят посетители, как вваливаются в ресторан военные и топают между столиков. Ракитникову и в голову не приходит, что это имеет к нему какое-нибудь отношение. Он уже приступил ко второму блюду и маленькими глотками пьет белое вино.

— Виноват, — козыряет офицер, склоняясь над ним, — я попрошу вас предъявить паспорт.

— Я? Паспорт? С какой стати? И не подумаю.

— Вы задерживаете нас. Поторопитесь...

— Странно! Паспорт, конечно, у меня есть...

— Фамилия?

— Евтихий Павлович Ракитников.

— С каких пор вы стали Ракитниковым?

— Знаете... это уже слишком!

За столиками перешептываются:

— Кажется, сдавали. Наверное, красный... Какой-нибудь террорист...

— Прекрасно у нас работает контрразведка!

— Так и надо! Нельзя спуска давать! Хватать их без всякой жалости!

— Ха-ха! Слышали? Паспорт на Ракитникова, а сам, вероятно, Сидоров или Петров!

— Я вас попрошу проследовать за мной, — вежливо, но решительно говорит офицер.

— Пожалуйста! — обиженно бормочет Ракитников. — Уверяю вас, что это недоразумение. Меня здесь хорошо знают!

— У меня есть приказ, я не сам выдумал. Выясним — и отпустим. Что делать? Мы обязаны проверять.

Ракитников заранее торжествует. Хорошо же! Он пойдет! Но когда все выяснится, он пожалуется самому Иванцкому! Что это за безобразие?

На улице Ракитникова окружают конвоиры. Он спокоен. Чем скорее его доставят в контрразведку, тем лучше!

— Позвольте! Куда же мы идем?

— Вас будет допрашивать сам главнокомандующий.

— Ничего не понимаю. Я вас прошу об одном: позвоните в контрразведку, капитану Мыльникову.

— Вот Мыльников меня и послал. Однако кончайте разговоры.

Провокатор понял все только тогда, когда его привели на конспиративную квартиру и он увидел представителей ревкома.

Котовский смотрел на его поникшую фигуру. Спросить бы его, почему предал? Исходя из каких-нибудь убеждений? Или за деньги? Или просто по слабости характера: заставили — и пошел?

— Итак, вы были связаны с капитаном Мыльниковым? От него вы и получили задание проникнуть в подпольный губернский комитет?..

Три дня допрашивали Ракитникова. Сначала он предал секретаря губкома. Теперь он, с противной дрожью в голосе, жалкий и ничтожный, выбалтывал все, что знал о деникинской контрразведке.

Через три дня ему объявили приговор революционного суда.

Он был расстрелян.

Ничего не могли понять, не могли приложить никакой мерки к этой огромной стране, к этой силище, к этому народу-сфинксу, к этому восточному богатырю некоторые тонкие, ловкие, прожженные, выдавшие виды иностранные дипломаты, мыслители, торговцы невольниками, атташе, наблюдатели, завоеватели, коммивояжеры. Почему это никак нельзя завоевать, поставить на колени, просто обмануть, наконец, эту, казалось бы, такую простую, добрую, отзывчивую и приветливую страну?

Четырнадцать держав взялись объединенными усилиями покончить с этой неслыханной затеей — построить государство на совершенно новых основах. Ни много ни мало — четырнадцать держав! И все-таки ничего не выходило.

Командующий вооруженными силами Антанты на востоке Франше д'Эспре пригласил к себе децикинских генералов и долго читал им нотацию. Генералы слушали почтительно, с поникшими головами.

— Ваши офицеры имеют скверную репутацию, — отчитывал д'Эспре, — их приходится арестовывать десятками за неприличное поведение! Фи, как нехорошо! Господа! Они получают жалованье! А? И ничего не делают? Они должны побеждать, вот что они обязаны делать! А?

В этом отношении Франше д'Эспре был прав: действительно, офицеры получали жалованье и — не побеждали. Больше того, они терпели поражения! Даже в самой Одессе становилось небезопасно жить! И хотя Франше д'Эспре делал все, чтобы попасть в историю, но даже у себя во Франции не встретил одобрения и России не завоевал.

Единственное, в чем он преуспел, — это в создании при французском командовании российского «совета министров». Ему приходилось торопиться с этим мероприятием, потому что дела на фронте ухудшались с каждым днем. Два дня министры ходили с портфелями, как и полагается настоящим министрам. На третий день, не совершив никаких преобразований, министры в самом срочном порядке погрузились на иностранный пароход: Одесса спешно эвакуировалась.

Красные под Одессой! Город как разворошенный му-

равейник. По улицам мчатся подводы. Люди собираются толпами, и кто-нибудь, опасливо озираясь, выкладывает последние новости. Одни радуются, другие мечутся в безысходном отчаянии. Кто-то хвастается, что у него есть знакомый капитан иностранного парохода. Кто-то уверяет, что «ерунда, союзники не допустят», что «вот увидите сами: подпустят их поближе, а потом ка-ак ударят!».

— Ударят, когда у самих шишка на лбу!

— Обязаны предоставить транспорт для желающего населения!

Но вот уже даже за бешеные деньги невозможно приобрести билет на пароход.

Горячие дни! Губернский комитет партии — военный штаб. Срочное задание — вывезти под самым носом у военных властей все ценности из подвалов Государственного банка.

— Отнеситесь со всей серьезностью к этому поручению, — говорили Котовскому в губкоме. — Нельзя допустить, чтобы наше народное достояние уплыло за границу! Ну, и нужно ли говорить, что желательно произвести эту операцию без потерь. Хватит уж потерь!

На грузовиках, сопровождаемых усиленной вооруженной охраной, подкатили дружинники среди бела дня к массивному зданию Государственного банка. Директора не оказалось.

— Где же он? Разыщите его немедленно! Саботаж? Почему не приняты меры к эвакуации? Что вы тянете? На что рассчитываете? — распоряжался Котовский, одетый в полковничью шинель.

Банковские чиновники засуетились. Зазвонили телефоны.

Выяснилось, что директор банка с семейством погрузился на иностранный пароход. Даже и мебель прихватил! И пуделя! И няню!

Тут прибывшие военные подняли на ноги всех. Они угрожали револьверами, они кричали, что всех переарестуют, перестреляют... Бледные, перепуганные насмерть чиновники сами помогали грузить ценности на машины. И солдаты, охранявшие банк, тоже грузили.

Спустя несколько часов после того, как последняя ма-

шина отъехала от Государственного банка, сюда прибыли генерал, полковник из генштаба в сопровождении иностранцев.

— Все в порядке, ваше превосходительство! — радостно сообщили банковские чиновники. — Ценности вывезены под большой охраной. Можете не беспокоиться. Поработали на совесть!

— Вот как? Похвально, похвально! А вы, полковник, жалуетесь на медлительность нашего аппарата, настаиваете на решительных мерах, а оказывается, все сделано?

Пока они таким образом обменивались любезностями, к банку стали прибывать какие-то грузовые машины, затем явился и сам директор банка в сопровождении целой комиссии по приему ценностей на предмет вывоза их за пределы страны.

— Никита Петрович! Но нам же ясно по телефону сказали...

— Что сказали? Кто сказал? Что вы мне ерунду мелете?

— Но позвольте! Ведь даже такие подробности... что и пудель ваш, Никита Петрович... Я сам лично говорил по телефону...

— «Никита Петрович», «Никита Петрович»! Что вы мне голову морочите?! Короче говоря, приступайте к передаче всех ценностей, и прежде всего золотого запаса. Где Иван Иванович? Давайте его сюда!

— Вы напрасно горячитесь, Никита Петрович, — остановил его полковник из генштаба. — Все уже вывезено, вы немножко опоздали. Я тоже беспокоился, но, оказывается, все в порядке.

Директор банка Никита Петрович Кудрявцев был не померно толст, и, например, в театре для него всегда специально отводилось двойное кресло, так как на одном он не помещался. Но тут он как-то осунулся, обмяк и выслушал терпеливо подробный рассказ, как прибыли грузовые машины, как Никиту Петровича разыскивали по всем телефонам и как, наконец, получили сведения, что Никита Петрович отбыл со всем своим семейством на иностранный пароход...

Но директор уже не слушал. Он все понял. Ценности вывезены, но кем?

— Благодарю вас, — спокойно произнес он. — Попрошу вас, откройте мой кабинет... Мне все ясно.

Он медленно поднялся по роскошной лестнице, устланной ковровой дорожкой, мимо пальм, почтительных каскиров и бухгалтеров. Проследовал в свой шикарный директорский кабинет, вынул из письменного стола никелированный револьвер и застрелился.

В это время на улице слышались выстрелы, застрекотал пулемет.

— Ваше превосходительство! — подошел адъютант к генералу, находившемуся в каком-то оцепенении. — Здесь оставаться небезопасно. Улица обстреливается!

Вся блестящая свита тронулась по направлению к порту. Все смущенно молчали. Испуганно прислушивались к близкой беспорядочной стрельбе.

— Однако... — пробормотал его превосходительство, большой любитель пошутить. — Одесса провожает нас просто с триумфом!

— На-зад! — закричал патруль, вымахивая на взмыленных лошадях из-за угла. — Здесь проезда нет! На чердаках домов засели пулеметчики!

Что творилось в порту! Крики, ругань, вопли, команды...

— Нельзя ли хоть на палубе? — кричал растрепанный жалкий человек в котелке. — Я согласен на палубе! Поймите, наконец, у меня жена!

— У всех жены!

Какие-то дети сидели на перевязанных ремнями корзинах... Кто-то бежал по сходням, и за ним несли кожаные чемоданы... Счастливцев!

Матросы иностранных кораблей безучастно глазели с палубы на все это смятение. Американские журналисты фотографировали берег, толпу и панораму города.

В Одессе расклеен приказ французского командования. В приказе сообщалось, что союзниками принято категорическое решение: Одессы не сдавать!

Но вот уже под самой Одессой после упорных семидневных боев интервентами оставлены укрепленные пункты Очаков и Буялык. Военские части отказываются грузить на корабли орудия и танки. Но даже под обстрелом предприимчивые командиры иностранных войск грабят склады, тащат все, что попадется под руку. Они похитили уцелевшие русские военные суда. Более ста торговых кораблей, нагруженных разным имуществом, угнано из Одесского порта.

Приказ французского командования еще висел, расклеенный по стенам домов и на заборах. А между тем пришло из Парижа указание — срочно эвакуировать войска с Украины «ввиду трудностей снабжения продовольствием», как пояснялось в этом правительственном распоряжении.

Вооруженные отряды рабочих заняли почту, телеграф, помещения штаба и контрразведки. Последний иностранный корабль скрылся за горизонтом.

На одесских улицах идет чистка и уборка. И город кажется еще прекрасней, еще белоснежней, еще милей теперь, когда его освободили от вражеских полчищ. По улицам собирают и увозят трупы. Сдирают вывески несуществующих отныне учреждений.

Какой-то матрос стоит, высоко задрав голову и шевеля губами, и читает приказ французского командования о том, что Одесса не будет сдана.

— Пленум Одесского Совета рабочих депутатов!

— «Известия Одесского Совета рабочих депутатов»! — весело выкликают мальчишки-газетчики, размахивая, как флагами, газетными листами.

Апрельское солнце заглядывает в каждый сквер, в каждый дворик, в каждое окно Одессы.

Не в долгополом сюртуке помещика Золотарева, не в сверкающем нашивками облачении капитана Королевского, не в той роскошной дохе, в которой он однажды навестил напуганного фабриканта, и не в облике священника, спасшем ему когда-то жизнь, — в полном блеске кавалерийской формы шествует Григорий Иванович Котовский по улицам Одессы в сопровождении своих друзей. Какое счастье — вот так, жмурясь на солнце, шагать по широкой улице, по советской освобожденной земле!

— Что будем делать теперь? — спрашивают бойцы нетерпеливо.

Им скорее хочется узнать, что же дальше. Наверное, Григорий Иванович узнал что-нибудь определенное в Одесском военно-окружном комиссариате, куда он сегодня заходил.

— Дорогие друзья! — говорит, останавливаясь, и с большой торжественностью Котовский. — В нашем отряде двести пятьдесят отборных храбрецов. Ревком принял отряд в свое подчинение!

Котовский развернул и показал всем мандат, скреп-

ленный печатями. Мандат гласил, что Котовскому поручается организация боевых частей для освобождения Бессарабии от гнета мирового империализма.

ДЕВЯТАЯ ГЛАВА

1

Записку, которую дал Котовский, Миша крепко держал в руке, блуждая по Москве. Никогда он не думал, что на улицах может быть столько людей, столько шума, грохота, голосов. Миша путался у всех под ногами, всем мешал, его толкали, ему делали внушения: «Молодой человек! Ну как вы не понимаете?» Сколько народу! Все улицы заполнены толпами, и все, не останавливаясь, торопятся, бегут, вскакивают в трамваи... И надо найти среди этой толчеи, среди огромных площадей, улиц, тупиков и переулков эту самую Маросейку. Неужели он когда-нибудь привыкнет и тоже помчится в потоке людей, поймет, что такое кольцо «А» и где тут делать пересадки?

Маросейка оказалась улицей довольно узкой и довольно кривой, так что не сразу и разберешься. Дом номер тринадцать был большим, несуразным, с облупленным серым фасадом, с грязными помойками.

— Квартира сто семьдесят пять? — переспросил Мишу серьезный человек в каракулевой шапке, вышедший из ворот этого дома. — А разве тут есть квартира сто семьдесят пять?

И ушел, оставив Мишу в недоумении.

Оказывается, нужно было миновать первый двор, второй двор, войти под арку, пройти мимо гаража, на воротах которого написано мелом «№ 6», и там подниматься по темной лестнице, распугивая тощих кошек.

Записку прочел усатый черный дядя, товарищ Стефан. Котовский писал:

«Товарищ Стефан! Направляю к тебе в краткосрочный отпуск моего молодого бойца. Он мне скоро понадобится, но временно пристрой, пусть поживет настоящей жизнью, о которой нам, ветеранам, пока что приходится только мечтать».

— Ничего не понял, что он тут пишет. Надолго ты приехал?

— Григорий Иванович насчет этого ничего не говорил.

— Ладно. Я тебя на курсы устрою. Будет хлебная карточка, прикрепиться к столовой. В этой комнате живет человек, но он, хотя здесь и живет, дома никогда не бывает, должность у него разъездная. Вот и помещайся. Примус в кухне. Синий чайник — мой! Я тоже редко бываю. А Григорий Иванович где?

— Остался там... Хотя я одного не понимаю: остался, но ведь там же белые?

— Там всякие есть, и беленькие, и черненькие, а есть самые настоящие люди, он с ними и будет, уж я его знаю! Ордер возьми. Хотел себе купить, да обойдусь. По этому ордеру тебе выдадут одежду. Обмотки свои скинь, не модно. Деньги-то есть? Держи на первое время. Да ты не спорь, раз тебя прислал Григорий Иванович, значит, ты все равно что мой.

И он ушел. Он сказал — на дежурство. И стал Миша Марков жить.

Первое время, попав в Москву, он никак не мог насмотреться, никак не мог насытиться впечатлениями. Перед ним раскинулся неисчерпаемо богатый, изумительно красивый, сверкающий, многообразный мир — мир новых идей, новых чувств, нового сознания. Школа гражданственности, университет творческой мысли, штаб революции. Москва живет стремительно. Здесь все быстрее. Здесь сходятся все линии.

Миша Марков понял теперь, почему Котовский послал его в Москву. Он ходил до изнеможения по улицам, обежал все музеи. Присутствовал на митингах и уже два раза слышал выступления Владимира Ильича. Ильич говорил просто, как будто беседовал, но каждое слово его западало в душу.

Затем Миша приволок ворох книг в свою не блещущую красотой и обстановкой комнату, залез под одеяло (температура в комнате к зиме стала доходить до плюс шести по утрам и до плюс двенадцати к вечеру) — и читал, читал, делал выписки, чем дальше, тем больше убеждался, что многого совсем не знает, даже многих слов, и тогда кидался к словарям... Посещал одно время какие-то курсы, аплодировал футуристам, замирал от

восторга, попав во МХАТ на самую что ни на есть галерку, бывал в Третьяковке...

«Эх, Татьяна бы меня сейчас видела!..» — думал он часто.

И стал Миша Марков настоящим москвичом. И не заметил, как настала зима и как она кончилась.

2

«Москва. Маросейка, 13, квартира 175. Маркову. Выезжай. Формирую конный отряд. Котовский».

Как был взволнован Миша Марков, как обрадован, как гордился! Командир жив, командир помнит о нем, командир зовет! Вот она! Вот она, телеграммочка! Узнает ли Григорий Иванович своего питомца? Миша очень изменился за это время, вырос, повзрослел. Москва — ведь это такая школа!

Телеграмма лежала на столе, на самом видном месте. Это была серая бумажка с наклеенной узкой полоской, неказистая, некрасивая, но такая дорогая.

Как трудно радоваться одному! Радость только тогда и полноценна, когда ею можно поделиться с другими. Мише хочется всем-всем рассказать, что он получил очень важную телеграмму, да вот она, ее можно еще раз прочитать. Дело в том, что его, Мишу Маркова, срочно вызывает Григорий Иванович. Кто такой Григорий Иванович? Вот это действительно вопрос! Григорий Иванович Котовский! Кто же его не знает!

Миша рассказал уже об этом почтальону, затем соседу, затем незнакомой девушке во дворе и жалел, что нет Стефана, что он уехал на фронт.

Разумеется, он немедленно отправится к Котовскому, в этом не может быть никаких сомнений. И кто знает? Может быть, не так далеко то время, когда они прогонят из Бессарабии захватчиков и Миша приедет домой, взбежит на крыльцо, распахнет настежь дверь и крикнет звонким, молодым голосом: «Здравствуй, милая мама! Здравствуй, отец! Как живешь, дорогая сестренка? Принимайте гостя — конника из отряда Котовского, принимайте москвича Мишу Маркова!» И обнимет его мать и будет обливаться счастливыми слезами...

Миша Марков сунул телеграмму в карман гимна-

стерки и помчался к трамвайной остановке: он еще не обедал сегодня. В вагоне трамвая мысленно прощался с Москвой и московскими бульварами, со смешливыми девушками с рабфака, с кольцом «А» и бронзовым Пушкиным, с потемневшими кремлевскими стенами и курантами Спасской башни.

В столовой пахло кислой капустой. Вошел в большой зал, уставленный столиками, осмотрелся и, заметив свободный стул в простенке под портретом Калинина, поспешил его занять.

— Может быть, вы даже спросите, не занято ли это место и можно ли сюда сесть? — спросил длинный юноша в коричневом френче, недружелюбно взглянув на Маркова.

— А разве занято? — спросил простодушно Миша.

— Нет, но я что-то не читал пока декрета об отмене частной вежливости.

— Да ведь вы все равно кончаете обедать.

— Пожалуйста, пожалуйста! Я больше ничего не имею вам сказать.

— Ну и все, и сердиться не на что! Удивительно вы, москвичи, придирчивы!

— А вы, стало быть, не москвич?

— Конечно, нет. И вообще завтра уезжаю.

— Так вот почему вы решили не стесняться! Понимаю! Вы, очевидно, исходите из принципа: все равно нам в этом доме не бывать.

Маркову хотелось, чтобы сердитый незнакомец спросил, куда же именно Марков уезжает, но тот замолчал и, сердито отставив недоеденные щи, принялся за рагу с подозрительно темным картофелем.

Наконец подошла официантка. Молча остановилась перед Марковым. Это, по-видимому, надо было понять как обслуживание посетителя. Марков поспешно выпалил:

— Щи, рагу и клюквенный кисель.

— Кончилось рагу.

— Тогда что-нибудь другое.

— Будут битки. Киселя тоже нету.

Когда она ушла, незнакомец вдруг проникся нежностью к Маркову:

— Красота! «Рагу нет». «Киселя нету». Лопай, что дадут! А рожища-то какая у феи! Вы заметили? Кирпича

просит! Кстати, щи напрасно взяли. Несусветная дрянь.

Марков обрадовался, что незнакомец перестал на него сердиться.

— Эх! — сказал он мечтательно. — С каким бы удовольствием поел я сейчас самой обыкновенной вареной кукурузы, какую делают у нас в Кишиневе!

Незнакомец сначала поднял удивленно брови, затем заинтересованно оглядел Маркова с ног до головы, как будто только теперь его увидел.

— Бывали? — спросил он после длительной паузы.

— Жил.

— Гм... да... В тех краях, вероятно, и сейчас найдется что покушать! А? Как вы думаете?

И без всякого перехода:

— Фамилия?

Миша не сразу понял, о чем это он. Но тот выжидательно молчал, и Миша наконец ответил:

— Моя? Марков.

— Слышал. В Государственной думе был Марков второй. Родственник?

— Не думаю.

— Кто же ваш отец?

— Мой отец — железнодорожник. Рабочий железнодорожных мастерских.

— Мастерских?! Расскажите вы ей! Впрочем, я понимаю вас: дайте мне за рубль с полтиной папу от станка? Bravo, bravo! Честное слово, вы мне начинаете нравиться! Засим разрешите представиться: Скоповский, Всеволод Александрович. Сейчас в ВСНХ.

Тут Скоповский чуть привстал и снова уселся. Тон его совершенно изменился. Он стал любезен и чуточку фамильярен. Всем своим поведением он хотел сказать: мы-то понимаем друг друга, мы-то с вами одного поля ягода.

А Миша Марков от чистого сердца поддерживал беседу. Он был в восторге от нового знакомства. В самом деле, какой милый, какой приятный, и ко всему — еще земляк! Как это чудесно, что они познакомились! Миша нашел уместным похвастаться:

— А я, знаете ли, в отряде Котовского. Не верите? Девятого выезжаю.

— Так-так, — пробормотал собеседник и новый знакомый Маркова. — Понятно.

Удивительно быстро менялось настроение этого человека. Он стал даже как-то суетлив, мало сказать — любезен.

— Минуточку! — сказал он вскакивая. — Я все-таки попытаюсь достать вам заветные рагу и клюквенный кисель. Я, знаете, умею с ними разговаривать.

Пошептался с официанткой, вернулся, потирая руки и хихикая:

— Так-так... Стало быть, едете! Между прочим, картошку не ешьте, мороженная!

И опять:

— Вы хорошо сказали: простая кукуруза в какой-нибудь Бессарабии вкуснее всех блюд, изготовленных в РСФСР...

Марков несколько удивлен был таким бесцеремонным перефразированием его слов. Он ничего подобного не говорил, он только вспомнил, как мать кормила его кукурузой, а так как он был голоден и к тому же соскучился по дому, то, естественно, вареная кукуруза представилась ему сладким видением. Но он опять ничего не возразил. Каждый думает по-своему!

Вместе вышли из столовой и пошли по Тверскому бульвару. Скоповский неожиданно выразил желание зайти к Маркову.

— Хочется посмотреть, как вы живете.

Явно был разочарован невзрачным видом комнаты и всей обстановки. Но и это истолковал по-своему. А когда увидел томик Анатоля Франса, страшно обрадовался и просветлел:

— Ха-ха! Вот тут вы не выдержали стиля! Типичное не то! Сами посудите: железнодорожные мастерские... или как вы там говорили? Слесарно-токарные... автосборочные... и вдруг — Анатолий Франс! Вот вы и выдали себя с головой! Надо, голубчик, на видном месте держать какого-нибудь Демьяна Бедного или кто там у них еще есть?

Затем Скоповский внимательно прочел телеграмму Котовского: Марков, конечно, не мог, чтобы не похвастаться. После телеграммы Скоповский решительно и твердо перешел на «ты».

— Хлопочи, разумеется, литер. Вообще запасайся всякими справками и мандатами.

— Да зачем мне они?

— Не спорь. Знаю, что говорю. Завтра будешь у меня. Запиши адрес.

Когда Миша пришел к Скоповскому, там сидел незнакомый человек. Этот человек что-то читал, причем он согнулся в три погибели и вытянул ноги, такие длинные, что он не знал, куда их девать.

— Юрочка! Это и есть Марков.

— А-а! — сказал человек с длинными ногами.

У него было красивое лицо, упорный, бесцеремонный взгляд, военная выправка.

— Вы отправляетесь девятого? — деловито, небрежно-начальнически спросил этот Юрочка, или Юрий Александрович, — иногда и так называл его Всеволод.

— Да, — ответил Марков и подумал при этом:

«Он уже в курсе!»

Юрочка прошелся по комнате, ловко маневрируя, чтобы не задеть за какую-нибудь вещь. Постоял у окна, потрогал зачем-то лист фикуса.

— Придется отложить на несколько дней.

— Не понимаю.

— Почему же вы не понимаете? Я говорю ясно: придется отсрочить ваш отъезд.

Теперь Марков уже действительно ничего не понимал. Какое дело до его отъезда этому совершенно постороннему человеку? И вообще, кто он такой? И почему он разговаривает таким тоном?

— Я уже дал телеграмму, — ответил Марков как можно спокойнее. — И с какой стати я буду откладывать отъезд? Вы что-то не то говорите, или я не понял вас.

— С той стати, — вмешался в разговор Скоповский, — что, может быть, я тоже поеду с тобой.

— Со мной?

— Да, да, с тобой.

— К Котовскому?

— Разумеется! А то к кому же?

— Но ведь это было бы просто замечательно!

— Ну конечно! А ты чуть было не рассердился!

Так вот почему Скоповский с таким интересом читал телеграмму Котовского! Теперь все становилось понятным. И разве это не великолепно, что Марков не только сам явится по вызову командира, но еще и привезет с собой новое пополнение?

— А вы... вы кавалерист?

— Когда нужно — кавалерист.

— Вот этот ответ мне нравится, — засмеялся весело Марков. — Я тоже так рассуждаю. Требуется жизнь, чтобы мы были кавалеристами, значит, так и будет! Главное, чтобы сердце было горячее!

Ни на минуту не возникло у Маркова сомнения. Мог ли Миша подумать, что в те дни, когда он находился в Москве, там проживало несколько тысяч заговорщиков и был разработан план восстания, причем решено было захватить Совет Народных Комиссаров и немедленно отправить его под конвоем в Архангельск. Предполагалось установить диктатуру из трех лиц. На осуществление этого заговора были ассигнованы огромные средства: десять миллионов предназначалось на расходы по удушению революции! Намечены были главные исполнители этого переворота. Были припасены даже броневики, даже артиллерия...

Мог ли знать обо всем этом Миша Марков?! Могло ли прийти в голову Маркову, что вот он, он сам, сидел за одним столиком, ел рагу и дружески беседовал с подлинным, настоящим врагом своим и своей родины? Что Скоповский спешил с секретными поручениями туда, за рубеж, и Маркова решил использовать как удобную ширму — добрать с ним до определенного пункта, где его уже ждут свои люди, и что Юрий Александрович Бахарев — белый офицер, посланный сюда иностранной разведкой?..

Всеволод Скоповский завладел телеграммой-вызовом, а также и военным литером Маркова. Вскоре оказалось, что, собственно, их обоих вызывают. Так и значилось теперь в документах.

Юрочка уже более приветливо разговаривал с Мишей и даже один раз предложил ему сыграть в шахматы.

Наконец настал день отъезда. Юрочка их провожал.

Когда поезд скрылся, Юрий Александрович стал совершенно другим человеком. Лицо его было теперь озабоченно. Он беспокоился, как Скоповский доберется до места назначения.

Поезд вызвал невольные воспоминания об имении Прохладном, где его ждала Люси. Для нее он рискует жизнью, для нее он ведет ожесточенную борьбу с этой

властью, которая возникла внезапно, придя с заводских окраин, из политической каторги старой России.

С ненавистью смотрел Юрий Александрович на всех встречных прохожих, шагая с вокзала по московским бульварам. Наконец он добрался до дому. Там, не зажигая света, в полумраке сидел какой-то человек.

— Ну как? Уехал Скоповский? — спросил он.

— Да, нашелся простачок... Отправили! — отозвался Юрий Александрович и сразу перешел к делу.

Они стали беседовать вполголоса.

Миша Марков и Всеволод Скоповский ехали без особых приключений.

Кажется, это было в Жмеринке. Вдруг Скоповский исчез. Сначала Марков думал, что он отстал от поезда случайно. Когда поезд тронулся, он даже подумывал, не повернуть ли рычаг для автоматической остановки поезда. Но ему сказали, что ручка все равно не действует и поезд никакими силами не остановить. Возможно, что это было и так. Маркову оставалось только высовываться во все окна и советоваться с пассажирами:

— Как вы думаете, может быть послать телеграмму со следующей станции?

— Какую телеграмму? — спокойно отвечали пассажиры. — Не надо никакой телеграммы, сам приедет.

Проплыли мимо высокие деревья. Загромыхал мост. Марков увидел внизу мощеную дорогу, улицу, какую-то такую простую, обыкновенную, что на мгновение почудилось, будто нет никакой войны, никакой разрухи и просто едут люди по своим частным делам — кто в гости, кто на курорт. Вот и почтовая контора, и козы на завалинке, и собачонка лает на проезжую подводу, а телега так напылила, что облако желтой пыли поднялось выше телеграфных проводов.

И вдруг Миша совершенно явственно увидел Скоповского. Он шагал вдоль насыпи и помахивал своей сумкой.

— Скоповский!

Нет, не оглянулся. Может быть, и не он?

Прежде чем поехать домой, в родное «Валя-Карбунэ», Всеволод Скоповский побывал в Яссах, на одной из

тихих улиц, в трехэтажном доме с наглухо завешенными окнами.

Его немедленно пропустили. Здесь много было таких же, как он, специалистов по переходу любой государственной границы, по фотографированию военных объектов, по выкрадыванию секретных документов.

Внутри здания были узкие коридоры и бесчисленные двери. Стрекотали пишущие машинки. Кто-то кому-то диктовал. Кто-то звонил по телефону.

Всеволод Скоповский вошел в комнату с лаконичной надписью на двери: «Оффис». Беседа с начальником оффиса мистером Петерсоном продолжалась недолго. Всеволод Скоповский распорол воротник и передал сводки, которые посылал Юрий Александрович.

— Когда он приедет? — спросил Петерсон. — Медленно вы там налаживаете дело.

Затем Всеволод Скоповский поехал в Бессарабию. В жаркий, солнечный день прибыл он к отцу, в «Валя-Карбунэ». Удивился, что там все было на прежнем месте, даже бронзовый амур, украшавший клумбу, даже пес Маркиз, который не стал ни старше, ни моложе. Так же садовник Фердинанд приносил рано утром свежие букеты. Тот же повар готовил те же блюда.

Александр Станиславович очень обрадовался приезду сына. Все хлопал его по спине и говорил что-то неопределенное, вроде: «Вот так мы и живем...», «Вот оно дело-то какое...».

Всеволоду встреча эта представлялась более теплой, когда он думал о ней там, в Москве. С удивлением он обнаружил в себе равнодушие, даже некоторый холодок.

«Очерствел я, — огорченно думал Всеволод, — что-то во мне отмерло. Хочу радоваться, умом сознаю, что вернулся, что жив, что это мои родители, а ничего не получается».

Он поместился в комнатах наверху, рядом с отцовским кабинетом, и все уединялся. Александр Станиславович прислушивался: сын ходил взад и вперед, взад и вперед, отмеривая расстояние комнаты.

«Видимо, всякое пришлось пережить», — жалел сына Александр Станиславович и придумывал, как бы отвлечь его от опасной работы и оставить дома.

Часто и ночью просыпался Александр Станиславович и слушал. Ходит! Глухо звучат шаги.

«Совершенно расшатана нервная система! — с горечью думал Александр Станиславович. — И ведь могут же другие жить припеваючи, в полное удовольствие и ничем не поступаться, не жертвовать. Почему я должен все отдать на борьбу с большевиками? Не достаточно ли с меня одной дочери?»

Возвращаясь в свое имение в 1918 году, Скоповский рассчитывал найти там свою утраченную молодость или хотя бы вкус к жизни. Но его ждали запустение, однообразная, растительная жизнь, одни и те же разговоры...

Если что и радовало Александра Станиславовича — это присутствие именитых гостей в его доме. И вдруг все кончилось... Скоповский проводил княгиню в ее имение, вернулся назад — и такая тоска на него напала! Его раздражало все. Он придирался к слугам, чертыхался за обедом.

Но затем нашел отдушину. Решил принять непосредственное участие в борьбе с бунтовщиками. Большую роль в этой перемене его настроения сыграл Ратенау.

Ратенау в свое время привезла Ксения. Они встретились на одном из приморских курортов. Ратенау приехал туда, чтобы сбавить вес, Ксения — чтобы развеять скуку. Вот тогда Ратенау и уговорил ее работать в разведке.

Ксении ничего не стоило обмануть родителей и сказать, что она поступает в музыкальную школу в Мюнхене, чтобы усовершенствоваться в игре на рояле. Вместо музыкальной она поступила в школу диверсантов. Под руководством Ратенау с увлечением училась стрелять, управлять автомобилем, пользоваться шифрами, кодами, миниатюрным фотоаппаратом, вделанным в браслет.

Ратенау был толст и лыс. Он легко передвигал свое грузное тело, а гладко отполированный череп прикрывал элегантной шляпой.

Теперь он стал часто наезжать в «Валя-Карбунэ». О музыке не говорилось ни слова. Обычно они со Скоповским удалялись в кабинет. Ратенау погружался в удобное кресло, и у них начинался странный, какой-то скачкообразный разговор.

— У вас есть сын! — кричал Ратенау, как будто разоблачал тщательно скрываемую тайну или делал открытие.

— Да, — отвечал напыщенно Скоповский, — у меня

действительно, как вы правильно заметили, есть сын. И дочь Ксения.

— Ну, о Ксении не беспокойтесь. Это весьма талантливая и эффектная женщина, — отвечал Ратенау, отдуваясь и ища глазами сифон с содовой водой. — Я лично сам займусь, с вашего разрешения, ею. Красивые женщины — это клад. Вы согласны, что для красивой женщины нет препятствий?

— Но позвольте, однако... моя дочь...

— Глубокоуважаемый Александр Станиславович! Мы живем в страшное время, на нас возложено решение любовых, невероятно сложных задач. Мы живем на переломе... э-э... позвольте... как это Ленин сказал...

— Ленин?! — взревел Скоповский. — Вы сказали, Ленин?!

— Ну да-а. А что же такого? Мы тщательно изучаем их теории. И практику... В общем, смысл тот, что сейчас решается вопрос: мы или они. Вы не согласны? Конечно, так! Мы или они, глубокоуважаемый!

Ратенау одобрительно кивал, когда Скоповский ему рассказывал, что Всеволод в «Обществе спасения России».

— Мы должны вырастить поколение, которое бы не проявляло любопытства к вопросам морали. Это должны быть безмозглые молодчики, которые не простужаются, не читают, а только кутят, спариваются и убивают. Они рождены для славы. Остальное человечество — тьфу, убойный скот, и чем скорее его пустят в расход, тем лучше.

Ратенау развернул перед Скоповским целую программу. А затем снова увез Ксению. Скоповский уже догадывался, в какой «музыкальной» школе она «учится». Ясно: Ксении понравилось то, что она будет рисковать, проникать в чужие тайны, обольщать, ходить по острию ножа...

Почему он так легко поверил этому толстяку? Как это Ратенау удалось расшевелить его? И как он мог допустить, чтобы Ксения уехала? Он больше так и не видел ее.

Вначале и думать об этом было некогда. Скоповского избирали в какие-то комитеты, он заседал, произносил речи... Однажды к дому подкатила машина, и из нее, пыхтя и отдуваясь, вылез Ратенау.

«Он абсолютно похож на черепаху!» — подумал Скоповский, встречая посетителя.

— А Ксения? — спросил он, входя с этим пыхтящим толстяком в дом.

— Не сразу! Не сразу все новости! — ответил Ратенау, поднимаясь по ступенькам веранды. — Дайте опомниться после этой адской дороги!

Он приехал на этот раз, чтобы поставить в известность Скоповского о гибели Ксении. В то же время у него еще теплилась надежда: а вдруг Ксения вырвалась каким-нибудь образом из рук пограничников и он увидит ее в «Карбунэ» живой и невредимой? Но вопрос, с каким встретил его Александр Станиславович, сразу уничтожил эту надежду. Ратенау стал преувеличенно громко отдуваться: ему не хотелось приступать к разговору о Ксении.

— Собачья жара! Я думал, что расплавлюсь и меня доставят к вам в жидком состоянии. Клянусь, в преисподней на два градуса прохладнее!

— Простите, но все-таки где же Ксения?

Вместо того, чтобы просто ответить, что Ксения арестована при переходе советской границы, Ратенау принялся развивать свои любимые темы:

— Именно сейчас, когда считают, что Германия обескровлена, нужно готовиться к новому кровопусканию...

Он так и не рассказал о Ксении. Он только сказал очень важно:

— Положитесь на меня, дорогой.

Александр Станиславович долго хитрил сам с собой и притворялся, что не догадывается о гибели дочери. Ясно было, что Ксении нет в живых. И Скоповский решил бороться за судьбу сына, спасти его. Сын должен наследовать отцовские владения, сын должен жить.

— Почему бы, например, не пойти тебе, Севочка, в артиллерию?.. — начал он разговор, втайне рассчитывая на то, что артиллерист стреляет издали и не лезет в самое пекло, не бежит сломя голову в атаку, прямо на штыки.

Он сам все обдумал, сам сделал все необходимое, сам все охлопотал. Он приготовился спорить, доказывать... И вдруг все устроилось само собой: Всеволод сразу согласился пойти в артиллерийское училище, поехать в Варшаву.

В Раздельной была пересадка. Миша Марков одним из первых влез в вагон. Круглолицые украинские дивчины, все одинаково повязанные платками, все быстроглазые, все украшены бусами... Усатые деды, в бараньих шапках, жилистые, с корявыми посошками... Но больше всего солдат — прифронтовая полоса.

Миша помнил эти места. Всего год назад на этих полях гремели выстрелы, мчались всадники, разрывались снаряды... А вот и немецкая армия убралась прочь. Теперь остается справиться с захватчиками-румынами, вернуть Бессарабию... И вдруг до того захотелось домой!

В отряде встретили хорошо. Вокруг были простые, открытые лица. Обстановка военная. Повсюду разговоры, что скоро начнется наступление и что только бы начать.

Когда Марков рассказал Котовскому, как вез к нему еще одного добровольца, Котовский страшно рассердился. А потом ничего, отошел и даже смеялся над парнем:

— Как же ты его упустил? Скоповский? Молодой из себя? Ну, значит, сын. Могу представить, что это за фрунт! Пойми, он тебя использовал, чтобы прошмыгнуть туда, к своим. Ну да никуда не денется, всех найдем! Всех, кто виновен!

— Кто же он такой? — озабоченно спросил Миша.

— Как «кто»?! Враг. Вероятно, обделывал какие-нибудь подлые делишки в Москве, сговаривался против нас.

— Да нет же, вы ошибаетесь! Он в ВСНХ служит! Он в Москве живет! И очень, знаете, такой... воспитанный. Приятель у него есть, Юрий... Тот несимпатичный, но видно, что образованный человек...

— Эх, мальчик, не знаешь ты ничего! Мы с тобой люди простые, мы солдаты. Мы идем в бой и знаем, что слева у тебя и справа у тебя — верные друзья, и дружба боевая неразрывна. А там, в том мире, так все переплелось, так запуталось, что сам черт ногу сломит! Подкопы, заговоры, шпионаж...

Марков слушал присмирив. Хорошо ему было здесь! Вернулся как домой. Увидел Котовского, большого, крепко сложенного, такого надежного, такого красивого, даже сердце забилося.

Котовский оглядел его с ног до головы и прежде всего распорядился: «Одеть, как полагается, по форме, в бане вымыть, конечно, об этом не надо и говорить, и так ясно, а главное — накормить, посмотрите, какой он тощий!» Расспрашивал Мишу о Москве, о Стефане, обо всем, обо всем.

— Хорошо живут! — сказал в заключение, вздохнув. — И трудно, а хорошо! Хотят измором взять нас враги, а ничего у них не получается. Если по-братски делиться куском, одолеешь все беды. А ты молодец. Вырос, возмужал. Теперь будем из тебя бойца делать.

— А вы, Григорий Иванович? Где были?

— В Одессе, брат. Мы там такие дела закручивали... Но об этом потом...

— А отец мой? Не вернулся?

— Пока нет. И Леонтия нет. Не знаю, что с ними... Ну, ну, сынок! Носа не вешать!

Совсем уже Марков пошел. Но Котовский вернул его и спросил:

— Гимнастику-то делаешь? Нет? Ну, тогда все понятно. Давай, давай, набирайся сил. Работы хоть отбавляй. Дня не хватает. Как же ты, братец, гимнастику не делаешь?

Через час Марков сидел на крыльце маленького деревянного домика, похожего на отцовский. Марков был неузнаваем. Он напарился в бане, оделся по-кавалерийски, затем его накормили, да так, что он еле мог отдышаться. Он сиял! Он был счастлив!

2

Кликнул клич Григорий Иванович Котовский, и никакие кордоны не могли заглушить его голос. Нашли лазы, сумели преодолеть преграды, потянулись в отряд Котовского те, кто хотел, чтобы Бессарабия была свободна.

— Мне до Котовского! — говорили добровольцы.

Бежал из боярско-румынской казармы новобранец, которого избил шомполом взбесившийся от злобы офицер. Уходили за Днестр бессарабские крестьяне. Много старых, обстрелянных солдат, коптевших в окопах в тысяча девятьсот четырнадцатом, хотели теперь проверить, не изменил ли им в меткости глаз, не стала ли дрожать рука. Где же могли они сделать это лучше, чем в отряде Котовского?

Пришел в отряд и Ивась — тот паренек из уничтоженного артиллерийским огнем Дубового Гая, тот хлопец, который стрелял в панскую свадебную процессию. Он ходил в партизанах по украинским просторам, да прослышал о Котовском, отыскал его, сообщил:

— Я не дуже богатый, но не скажу что бедный: частной собственности — винтовка да патронташ. Достаточно, чтобы бить буржуев?

Пришел наконец и Леонтий. Радостно встретил Котовский старого друга. Они не виделись с тех пор, как Леонтий затосковал по дому и попросил отпустить его. Оказывается, он так и не побывал в своей семье. Усмехается, рассказывая об этом, Леонтий, но невеселая эта улыбка, и повествование о постигших его несчастьях — невеселое повествование.

— Перешли мы тогда Днестр благополучно. Пресвятая дева Мария, кто же знает днестровские плавни лучше меня! И сразу же на том берегу начались неприятности. Напоролись на заставу — уже плохо. Тут и расстались мы с Петром Васильевичем, — обернулся он к Маркову, у которого в глазах стоял вопрос. — Да-а... И ведь стрелки-то они какие, а угораздили прямо в ногу. Схватили. Били смертным боем. Это уже там, в камере.

— Бить они умеют.

— Били, били, а потом порадовали: десять лет каторжных работ.

— Крепкий ты. Одно это тебя и выручило.

— Обязательно бы погиб. Но засела мне думка в голову: Котовский все перенес? Должен преодолеть и я!

— Молодец, — похвалил Котовский. — Так и следует жить. Не сдавайся! Полосуют тебя, на куски рубят, а ты стой на своем. Не осият. Не смогут одолеть. А уж если и умереть, то стоя, глядя врагу в лицо.

— Хорошо сказано! — Это сказал Чобра, искусный виноградарь, выросший под сверкающим солнцем Бессарабии. Горячие глаза у Чобры. И сердце горячее. Он совсем недавно в отряде.

— Ну и что же ты сделал дальше? — спросил кто-то Леонтия.

— Что сделал? Убил часового, добыл коня — и сюда, одно у меня место.

Крепкие люди приходили в отряд Котовского, и не было ни одного, чтобы Котовский не знал его по имени,

и откуда он, и как жил раньше, и чего добивается, и за что хочет сражаться. И очень огорчился Котовский, что коней в отряде недостаточно. Когда приводили нового скакуна в отряд — это был праздник. Так радуются только новорожденному в хорошем семействе.

— Вот это конь! На таком коне можно вокруг света обскакать!

— Обскачешь на таком! Держалась кобыла за оглобли, да упала! — поддразнивал кто-нибудь.

— А ты видел, как он идет на рысях?

— Наша Ласточка все же лучше. Как ты думаешь, Василь?

Василь, хозяин иноходца Ласточки, презрительно смеется:

— Моя Ласточка! Такой вы ищите — и на всей земле не сыщете!

— И искать не надо. Буря — вот это конь! Будь у меня миллион — я не задумываясь выложил бы на стол за Бурю! Бурю я бы на двух твоих Ласточек не променял!

Такие разговоры кончались иногда ссорой, и тогда шли к командиру, и его оценку уже никто не оспаривал.

Вот и Леонтий, когда бежал из каторжной тюрьмы, не забыл прихватить с собой в отряд коня. Конь — это нераздельная часть самого конника, первый друг его. В отряде Котовского скорее забудут о себе, но о коне позаботятся.

Каждый день приходили новые пополнения. Из уст в уста переходила весть: Котовский собирает отряд!

Не много есть людей, которые умеют так открыто, так от всей души улыбаться, как Михаил Няга. И что совершенно бесспорно — не было более лихого наездника в Бессарабии. Когда он мчался во весь дух, можно было залюбоваться. Как птица летел он по степным просторам. Он так любил быструю езду! Ни у кого не было таких коней, как в отряде Няги, человека исполинского роста, исполинского сердца и беззаветной храбрости.

А сам Няга ездил на коне чистокровной скаковой английской породы, с таким нежным волосом, с такой кожей, что под ней видна была каждая жилка. Длинношей, с тонкой, как у борзой, мордой, с тонкими ногами и длинными бабками, но с мускулистым крупом и широко расставленными ганахами, Мальчик самой природой был пред-

назначен для быстрой езды. И когда Няга мчался навстречу опасности, черные глаза его, опущенные девичьими длинными ресницами, сияли счастьем, а на сочных губах играла улыбка. Няга скакал в бой, как на праздник. И все он делал по-праздничному. Мир радовал его. Кажется, не было более жизнерадостного человека, чем он.

Котовскому с первого взгляда понравились и конь, и всадник, и то, что темно-гнедой Мальчик расчесан и убран, и то, что всадник красиво держится в седле, и то, что у всадника чистые, ясные глаза, так что видно душу до дна. С таким любо скакать по полю бранному, с таким только и бить врага. С таким только и вести фронтовую дружбу, самую крепкую, какая существует на свете. И Котовский протянул Няге руку:

— Привет тебе, дорогой гость! Радуюсь, что довелось нам встретиться.

— Я ничем не отличаюсь от многих других, — сказал Няга, — но я не трус, и мне не раз случалось слушать, о чем шепчет пуля, задевая волос на голове. И я, и мой конь, и все мои товарищи — мы просим тебя: возьми нас к себе, мы оба станем от этого сильнее!

Взял Котовский в отряд Михаила Нягу. Боевая их дружба длилась долгие годы и не тускнела от времени.

Вслед за Нягой пришли Дубчак, железнодорожник из Хотина, и Николай Слива, бывший столяр, человек, пользовавшийся большим уважением у бойцов. Впоследствии Слива возглавлял партколлектив в первом кавполку.

Привел бравый свой эскадрон бывалый партизан Ка-ленчук Дмитрий Васильевич. Голос у него знаменитый. И очень любил он порядок и лоск. Конь у него был — загляденье, и весь его эскадрон — молодец к молодцу.

Пришел в отряд боевой командир эскадрона Скутельник — чернявый, и хоть ростом невелик, зато душа большая.

Пришли также Владимир Подлубный, отличный разведчик, и Воронянский, знаток конного дела и кавалерийской езды.

И еще многие приходили и приезжали в отряд. Они и составили стаю непобедимых орлов, славное племя котовцев.

Приезжали на гуцульских лошадях, незаменимых в гористой местности, на полукровках и на таких, с позволения сказать, лошаденках, которым и неприлично бы, кажется,

ходить под седлом. Короткие и длинные, всех мастей и оттенков, и холеные и некормленные, и береженные и опоенные — эти кони быстро осваивались в отряде и научались ходить в строю. Они все понимали, а зачастую понимали даже непонятное, отгадывая своим чутьем. Как отлично знали они, когда нужно собрать все силы и мчаться во весь опор вперед, навстречу пулям! Как трогательно они умирали, сраженные в бою!

Отряд Котовского рос.

На абрикосовых деревьях осыпался нежно-розовый цвет. Вечерами роса ложилась на густые пахучие травы. В камышах звенели комары.

В строгом порядке, по-военному, с сигналами горниста, с важной серьезностью кашеваров, с четким и нерушимым распорядком дня жили эти выносливые, неприятельные люди.

Кони в отряде разномастные, да и то не у всех. А откуда взять обмундирование? Оружие? Белогвардейские полчища одевали, снаряжали, обвешивали оружием иностранцы. Но правда была на стороне плохо одетых, вынужденных беречь каждый патрон красноармейцев. Сапоги в те времена были заветной мечтой кавалериста. Кожаная тужурка казалась сказкой, мифом, несбыточным желанием. А уж если обзавелся конник сапогами, он делал адскую смесь молока с сажей, для блеска прибавлял сахару... Летом, бывало, мухи облепляли эти сладкие сапоги. Но слов нет — сапоги блестели!

Котовский был живописен. А если разобратся: красная фуражка сшита из материала, каким обивают диваны; лампасы — те выкроены из рясы. Вот и все его щегольство.

Простая, суровая была жизнь. Вместе рубились, вместе ходили за конями, вместе отдыхали.

Котовский был требователен к другим и требователен к себе. Любил он этих бесхитростных людей. Любил и знал, что в любую минуту может потерять каждого. Знал это и берег, считая, что на войне лучший способ уберечься — это не дать уберечься врагу.

Как пахла трава в эти июньские полдни! Как дышали горячей грудью степные просторы! На солнцепеке раскаля-

лась земля, горячий ветер поднимал пыль на далекой дороге. Степь пела, стрекотала, а сады замирали в истоме. Небо полыхало и вскипало пеной облаков.

Командир сидел у окна. Тень падала на него от грушевого дерева. В комнате жужжали мухи. Перед командиром лежала фуражка, наполненная черешней: Марков позаботился.

Обычно мысли Котовского были заняты будущим, завтрашним днем. Но сегодня как-то вдруг нахлынули на него воспоминания. Может, потому, что он направил по разным делам в Одессу Михаила Нягу и теперь ждал его возвращения?

И вот вспомнились ему одесские друзья... Где-то они все? Разбрелись по белу свету...

Самойлова отозвали в Москву.

Вася и Михаил ушли в армию. Может быть, они сейчас на Кавказе гонят с нашей земли интервентов? Или там, на Урале, нещадно бьют колчаковские армии?

Самуил остался в Одессе.

Нет больше милого старика, хозяина одесской молочной «Неаполь»... Он убит во время уличных боев при освобождении Одессы. Нет больше секретаря губкома Смирнова... И Жанна Лябурб не улыбнется больше своей приветливой улыбкой...

Солнце палит. Тень от грушевого дерева переползла на другое окно, и черешни в фуражке стали теплыми на припеке.

Вдруг Котовский увидел вдали облачко пыли. Конечно, это он! Няга мчит во весь опор на своем быстром Мальчике!

— Большие новости! — кричит он, осаживая коня перед самым окошком. — Хорошие новости!

А через минуту уже появляется в комнате, сияющий, счастливый; черные глаза, опущенные девичьими длинными ресницами, полны ликования. И не потому даже, что новости хороши, это само по себе, а потому, что все его радует в жизни, потому что он влюблен в небо, в деревья, обожает своего коня и гордится дружбой с Котовским.

— Вот, — говорит Няга, — я привез пакет. Большой пакет, наверно, много чего написано!

Новости на самом деле большие: Котовскому поручают формирование пехотной бригады, в бригаду войдут

400, 401, 402-й стрелковые полки, бригада будет включена в 45-ю дивизию, бывший конный отряд Котовского образует в бригаде кавалерийский дивизион.

— Отлично! — поднимается с места Котовский.

И оттого, что он встал во весь свой богатырский рост, в своих ярко-красных галифе, еще больше увеличивающих его объем, со своими сильными, большими руками, так и играющими бицепсами, в комнатухе сразу стало тесно.

— Отлично! — повторил Котовский, перечитывая приказ. — Значит, стали бригадой. А ты, Няга, будешь командиром кавалерийского дивизиона.

Раздумий как не бывало! Раздумья как ветром снесло! Котовский направился к колодцу, облил голову ледяной, колодезной водой.

— Красота! — фыркнул он. — З-замечательно! Поздравляю тебя, товарищ командир кавдивизиона!

Но затем грустно взглянул в сторону Днестра. Солнце все еще сильно припекало. Кусты акации никли темными листьями. Короткие тени не давали прохлады.

— Значит, опять Деникин? Опять заговор? Опять фронт и большая война?

— Война, товарищ комбриг. Очень серьезная война!

— Комбриг... А все-таки это большая ответственность — быть комбригом. Ты только вдумайся в это слово, Няга: комбриг! Это ведь совсем иначе звучит, чем командир отряда!

— Я так считаю: самый высокий чин — быть Котовским! — горячо и от всей души воскликнул Няга.

— Ты всегда меня расхваливаешь, как цыган на ярмарке, — остановил его Котовский.

Няга считал, что он прав, но спорить с комбригом не решился.

— В Одессе говорили, — вспомнил он еще одну новость, — Деникин занял Екатеринослав.

— А Махно?

— По-прежнему разбойничает. Да! Чуть не забыл! Петлюра занял Каменец-Подольск!

— Закружилось воронье! А ведь немного бы — и Бессарабия была бы наша!.. Где будет штаб дивизии?

— В Раздельной. Там же артиллерийский склад. Товарищ комбриг, — дрогнувшим голосом добавил Няга, — что я хочу спросить... Неужели они думают... неуже-

ли надеются победить революцию? Никогда им не победить революцию!

Было душно. Они сели на ступеньку крыльца. Здесь немного обдувало ветерком. Под крыльцом бил блох зубами прижившийся к дому пес, старый, лохматый, со свалявшейся шерстью. Двор, поросший мелкой травой, был пуст — хоть шаром покати. Только у сарая валялась сломанная телега без колес и оглобель. Чувствовалось, что хозяев в доме нет.

Женщина с загорелым лицом прошла с ведрами к колодцу. Белые икры сверкали из-под домотканого подола. Женщина гремела ведрами и не замечала, что черпает воздух, заглядевшись на рослых кавалеристов. Няга сразу же заметил это. Быстро приблизился к колодцу и набрал ей воды:

— Что, красавица, мужа-то нет, наверное?

— Мужа-то? — переспросила женщина.

— Воюет, поди, где-нибудь?

— Убили, — ответила женщина и отвернулась.

— Экое горе! Да оно, пожалуй, и неудивительно: война.

Женщина подумала и добавила:

— Первый-то был — убили белые, второго нашла — убили красные...

— Что делать, — вздохнул Няга, — время такое. Пожди, отвоюем — и тогда выбирай любого.

— Дождешься! — ответила женщина, теребя платок. И ушла, покачивая полными ведрами.

Няга снова подошел к крыльцу. Котовский сосредоточенно склонился над планшеткой и записывал. Он уже расставлял силы, намечал назначения. Няга молча наблюдал, как быстро ходит у него карандаш, как командир причмокивает и снова заносит в записную книжку цифры, имена.

4

Прискакал в Раздельную, в штаб дивизии, залитый кровью парнишка из села Долгое, прискакал и свалился с седла без памяти, успел только сказать:

— Батьки на огородах... окопы роют.... Гаврилу Семенича, председателя.... кончили...

В богатом селе Долгом жило много старообрядцев. Хаты у них были построены просторные, ворота окованы железом. Народ все рослый, здоровый, а в погребах еще с шестнадцатого года винтовки да пулеметы понапряжаны. И хотя носили они благочестивые бороды и осеняли себя крестным знаменем, хотя было в их священных книгах написано: «Возлюби ближнего, как самого себя», — душила их едкая ненависть к Советской власти. Долговская молодежь ушла в Красную Армию, а старшее поколение тянуло назад, к прежним порядкам. Дай им волю, они бы собственными руками передушили всех комбедчиков, незаможников, а батраков опять впрягли бы в кабалу.

В село Долгое явился однажды человек. Одет он был в штатское, но очень смахивал на переодетого офицера. Фамилию у него не спрашивали, звали по имени — Юрий.

После того как не удался заговор в Москве, Юрий Александрович Бахарев получил от своего патрона новую установку: поддерживать с тыла начавшееся большое наступление, поднимать восстания, убивать представителей Советской власти, отрезать фронт от источников питания.

Юрий Александрович Бахарев одобрял эту тактику и даже сам рекомендовал ее Петерсону. Село Долгое показалось Бахареву наиболее подходящим. Солидный народ. Озлоблены невероятно! И Бахарев остановил на этом селе свой выбор.

Очень убедительно умел он говорить. И священное писание знал, цитировал наизусть Библию. Говорил о том, что в деревне есть крестьяне, которые умеют вести хозяйство, а потому у них и земли много, и хлеб родится, и достаток в доме, они настоящие хлеборобы. Завидует им деревенская голытьба: кто работать не хочет, у кого ни кола ни двора, у кого ни гроша за душой. А Советская власть всех хочет сделать пролетариями. А кто такой пролетарий? Кто пролетел, кто вылетел в трубу. Великие державы узнали, в какую беду попала Украина, и решили оказать ей помощь. Сейчас настало время действовать всем сообща. Воевать против Советов — дело благочестивое, потому что большевики — все безбожники и говорят, что бога нет, и креста не носят. Значит, не грех таких и убивать.

Много чего такого говорил этот Юрий. Он в самых богатых семьях на селе с почетом был принят. Его уже не называли Юрий, а все больше Юрий Александрович. И так он полюбился, что упростили его самого руководить восстанием.

— Ты не бойся, Юрий Александрович, нам только начать, за нами вся округа поднимется. Есть у нас старец на селе, сны он вещие видит, откровение ему было, что Советская власть продержится семьдесят семь дён.

И вот началось это дело.

Бунтовались они не спеша, обстоятельно, как обедню служили. Спалили сельсовет. Долго били председателя. Поволокли его за село. Вырыли яму.

— Ложись! — приказал Терентий Белоусов, первый на селе богатей.

Председатель Гаврила Семенович на него и не посмотрел и не удостоил ответом. Да и двигаться все равно он не мог: перебили ему суставы.

— Ложись, говорят тебе, пес! Прости, господи, за такие слова... Против бога пошел, супротив законной власти?! Кончена ваша коммуния, аминь!

— Убивайте, смерти не страшусь, — вдруг осилил нестерпимую боль и заговорил Гаврила Семенович. — Правды не убьете на земле, и не будет того, чтобы жизнь пятиться стала! Не будет по-вашему! Поняли? Никогда еще после четверга среда не приходила, а все пятница!

Страшен был в этот час председатель, ни у кого не хватило духу прервать его. Наконец Терентий перекрестился строгим староверческим крестом — и спихнул пинком ноги председателя в выкопанную яму.

— Можно закапывать, мужики, — сказал он степенно.

В Долгое послали 400-й полк, он стоял в этих местах. В полку было много партийцев с соседних сахарных и маслобойных заводов. Была в нем также и долговская молодежь.

Комиссар полка сказал:

— Которые из Долгого, поговорите с папашами, ведь разные же у вас отцы. С кулаком у нас борьба насмерть, середняки — другое дело, мы не против середняка. Опутали их кулаки. Тут политическая отсталость, пережитки и помимо того — дурман.

Остановился полк на почтительном расстоянии. Дети и отцы вступили в переговоры.

— А ну, складайте оружие, папаши, чтобы случайно не вышло, очень просто, неприятности! Тогда пеняйте на себя! Куркулей кончайте, а которые одумались — отойди в сторону!

— Вы чего пришли? — отзывались с огородов. — Смерти ищете? Уйдите от греха, детки, Христом-богом просим — уйдите!

Но кое-кто действительно отошел.

— Кидайте оружие, говорим! А то порубаем вас, щоб не бунтовались и международной буржуазии на руку не играли!

— Порубать?! Попробуйте! Руки короткие, богоотступники! Каины, крапивное семя! — ругался громче всех Терентий Белоусов.

— Батя, ты не бранись, не советую! И моего революционного сознания не затрагивай! Кто другой, а ты-то известная контра!

Вместо ответа Терентий выстрелил. Метил в сына, однако не попал и убил стоявшего рядом гармониста.

Тогда обе стороны залегли. Надежда, что покончат мирным путем, не оправдалась. Стали стрелять.

Пекло солнце. Мычали протяжно и жалобно коровы на селе. И все тут было знакомое, привычное. Знали каждый колодец, каждую крышу, каждый овин.

И очень уж было жаль гармониста. Беловолосый был такой, и брови и ресницы белые, с золотым отливом, как солома в снопе. И играл хорошо, за душу брал, и песни все знал... И нет его больше, никогда не услышать его музыки...

Наверное, эта мысль сверлила каждого, потому что встал вдруг полк без сигнала, без команды. Встал и пошел.

Командир полка подполз к бане, изловчился и бросил гранату. Из бани даже дым повалил. Заприметил командир: стеклышки бинокля там блеснули. Полевой бинокль? Не иначе как в бане наблюдение установлено, а то и командный пункт находится.

Так оно и оказалось. После, когда баню осматривали, нашли там убитого. Лежит, раскинувшись, ноги длинные, челюсть упрямая и подбритые усики на губе. Был бы тут Миша Марков — сразу бы опознал в убитом того самого

Юрочку, с которым когда-то познакомил его Всеволод Скоповский. Видать, за смертью пришел в село Долгое из Москвы. За смертью пришел — и получил ее.

Полк бросился на окопы, не обращая внимания на выстрелы. Поднялись и старики. Схватились. Крякали. Били прикладом. Кто-то, отбросив винтовку, тащил дреколье из изгороди по стародавней привычке.

Скоро стало заметно, что молодежь одолевает. Расплатся на меже Терентий Белоусов, в новых сапогах, в шелковой рубаше, подпоясанной крученым пояском с кисточками. Рядом ткнулся в землю кум Терентия. Много легло. Огородные гряды были плотно утрамбованы солдатскими сапогами.

Кто уцелел — подпалили село и через кладбище ушли за березовую рощу, к немецким колонистам. Горело село Долгое без дыма. Стали взрываться погреба. Овцы металась по улицам. Выли бабы.

И сгорело село, начисто сгорело.

400-й полк с командиром Колесниковым во главе поступил в распоряжение Котовского.

Принимал комбриг 400-й полк в селе Сербь, возле Кодыма. Обстановка была торжественная, все делалось по форме. Бойцы с жадным любопытством разглядывали Котовского. Так вот он какой!

5

Стоял томительный зной. На горизонте клубились, наливались зловещим лиловым пламенем грозовые тучи. Солнце было странного палевого цвета. В воздухе повисла гнетущая, мешающая дыханию желтая мгла. Вот-вот собирался хлынуть ливень — и снова уползали тучи, не проронив ни одной капли.

Котовский смотрел на лиловое небо, на вспышки далеких молний и хмурился. Он знал: начинается новый поход интервентов. На этот раз они делают ставку на белогвардейские армии, на внутреннюю контрреволюцию. Предстоит упорная борьба. Котовский проверял готовность бригады, проверял и изучал каждого бойца.

Многим запомнилось происшествие с Иваном Белоусовым. Сын Терентия Белоусова, рослый хлопец и признанный в полку силач, исчез бесследно. Разнесся нехороший слухок об Иване: дезертировал.

Вскоре Колесникову все стало известно. Оказывается, нашлись люди, которые уверили Ивана, что его, как сына кулака, сына организатора восстания, расстреляют перед строем.

— У них, у этой власти, такой закон, чтобы по седьмое колено преследовать, — нашептывали Ивану Белоусову какие-то замешавшиеся в толпу погорельцев шептуны. — У них пощады не жди. Беги куда глаза глядят, да и то с оглядкой: не ровен час — выследят!.. Беги, Иван, беги!

Вывел Иван Белоусов лучшего коня из пылающей отцовской конюшни, поскакал, а потом стал разбираться что к чему.

«Как же это получается? За что меня перед строем расстреливать, позору предавать? Разве я какой разбойник и душегуб? Разве я не выступил в поход вместе со своими товарищами-однополчанами? Разве не стрелял в меня самолично мой покойный папаша?»

Так стоял на распутье и раздумывал Иван Белоусов:

«Я вот сын кулацкого отродья, а воспитан в Красной Армии. Кто я есть? Может меня усыновить трудовой народ?»

Колесников доложил о Белоусове Котовскому. Котовский приказал отыскать во что бы то ни стало Ивана Белоусова и чтобы волоска с его головы не слетело!

Отправились гонцы во все стороны, а где искать Ивана? Наконец попали на след. Видели его на дороге в деревню Лиходеевку проезжие крестьяне.

Догнали. Иван Белоусов заперся в клуне, завалил бревнами дверь. Сидит, отстреливаться приготовился.

— Иван! Иди до командира!

— До какого еще командира?

— Как до какого? До Котовского!

— Живым не дамся, — отвечал Иван.

— Вот дурной! Приказано, чтобы волосок на твоей голове не слетел. Понятно?

— Волосок не слетит, а голова слетит. Знаю.

Долго они так переговаривались. Наконец сам командир полка прибыл. Дал честное слово, что никто не тронет Белоусова.

Настала тишина. Молчали парламентары, молчал Иван. Потом стало слышно, как он бревно от забаррикадированного входа откатывает.

Вышел хмурый. Все еще не верил посулам.

— Куда ты? — с тревогой спросили его, когда он вдруг свернул за угол.

— Коня возьму. Конь у меня хороший.

Привел Иван Белоусов коня к Котовскому, ударил себя в грудь и сказал:

— Я — сын кулака Терентия Белоусова, что из села Долгое...

— Слыхал.

— Расстреливай, командир! Если правило по седьмое колено истреблять — стреляй! — И Белоусов разодрал на груди гимнастерку.

С болью смотрел на него Котовский:

— Постой, постой, не горячись. Объясни толком, что тебе в голову втемяшилось? Какое правило? Какое седьмое колено?

Тогда уже тише Иван Белоусов продолжал:

— Я — красноармеец. Я сам стрелял по контрреволюции. Можно меня перед строем расстрелять?

— Кого расстрелять? Откуда ты такое выдумал? Чудишь ты, малый! Ты лучше объясни, чего ты хочешь?

Тогда Белоусов и вовсе успокоился. И высказал заветное желание:

— Припиши, командир, к Няге, в кавалерию. Ездить я горазд.

Котовский посмотрел ему в душу, все беспокойные мысли его прочитал. Стоял Белоусов перед ним, а Котовский читал его, как раскрытую книгу, и все светлел его взор. Понял, что для Ивана Белоусова решается сейчас вопрос жизни. Понял горечь его, понял, почему говорит он так прерывисто. Все понял.

— Каждый решает свою судьбу, — взволнованно сказал Котовский. — Жизнь — не расписание поездов. Мы знаем революционеров, вышедших из чуждых классов. Мы чтим их. И возьмем другое: если весьма ответственный гражданин вырастит по нерадивости дрянного сынка, разве будем мы укрывать такого сынка папочкиным авторитетом? Да мы и отца-то притянем к ответу: как ты мог, ответственный папаша, вырастить такого молодчика?

— Гм-м, — издал неопределенный звук Иван Белоусов, напряженно слушавший командира.

— Звать тебя как?

— Звать Иваном. Уважь, командир!

— У меня кавалеристы знаешь какие люди? Отборные!

— Знаю. Это мы все знаем.

— Ладно, Иван. Иди к Няге, скажешь, я лично прислал. Иди. Не подведи, слышишь, Иван? Надеюсь на тебя, Иван.

Ушел Иван Белоусов, а Котовский все поглядывал вслед да поулыбывался. Славный парень! Вот что значит вовремя помочь человеку!

И опять улыбался Григорий Иванович доброй улыбкой. Любил он людей. И было это чувство похоже на то, как агроном любит хорошо возделанное поле, как садовник любит свой сад.

Немного и времени-то прошло, каких-нибудь два дня. Отпросился Иван Белоусов у Няги в разведку и привел пленных петлюровцев. Где он их добыл, никто так и не узнал. Сам он не рассказывал, а только отмахивался:

— Ну, взял и взял. Велико дело.

Пленные следовали за Белоусовым покорно и не проявляли никаких поползновений к бегству. Возглавлял это печальное шествие сельский учитель, щуплый и в очках.

Привели их в штаб. Котовский стал расспрашивать каждого, кто он, откуда и почему с петлюровцами оказался, по каким взглядам и убеждениям. Еще спрашивал он их, знают ли они, кто такой Петлюра, и кому он служит, и за чьи права борется.

— Давайте, давайте, рассказывайте все, — говорил Котовский спокойно, серьезно, без издевки и даже с болью, с состраданием. — Вот стойте вы передо мной и молчите. Объясните мне, почему вы в меня, в нас стреляли? Какую вы правду отстаивали? Мы вот боремся за рабоче-крестьянское государство, за Советскую власть, за то, чтобы людям лучше жилось. А вы за кого идете? Если мы ошибаемся, объясните нам, тогда и мы вместе с вами будем сражаться...

— Да ладно уж, — тоскливо отозвался один, босой, нескладный, в синей рубахе без пояса, в драных портках. — Расстреливай скорей, не размусоливай...

Бородатый и тощий выглянул из-за его плеча и добавил:

— Мы не добровольцы. Дали нам винтовки: воюй! Вот и воюем.

Котовский подождал, не скажут ли еще чего. Но они замолчали.

— «Расстреливай»! А за что вас расстреливать? За вашу дурость?

— Это конечно... неграмотные мы...

— Зачем зря говорить? — рассердился босой в синей рубахе. — Грамотные, разбираемся! Мы за большевиков, против коммуны. Нечего нюни распускать! «Неграмотные»!

— Вижу, какие вы грамотные, как разбираетесь! Вот и доразбирались до того, что с Петлюрой оказались! А если поглядеть — какие вы петлюровцы? И вовсе вам с ними не по пути. Возьмем такой случай: капиталист. Не наш, иностранный. Но у него в нашей стране деньги вложены, обидно ему деньги потерять, а Советская власть открыто заявляет, что никаких царских долгов она не платит. Вот и начинает этот капиталист дураков искать, чтобы они головы подставляли, эту Советскую власть свалили, денежки ему, капиталисту, вернули — и порядочек! А у вас что, своя торговля была? Капиталы у вас отняли? Золотые прииски? Вон у тебя и сапог-то нет.

Котовский обернулся к учителю:

— Учитель?

— Собственно говоря, да.

— Горькая доля была у сельского учителя в царское время. Вы, может быть, успели запомнить? Глушь, бездорожье, захоlustье. Жалованьишко ничтожное, школа нуждается в ремонте, крыша течет, ребята зимой ходят в опорках, и каждый инспектор унизит, распечет, накричит... Что же ты, учитель?! Опять хочешь старое вернуть? Не вернешь старое, не допустим! Кому прислуживаешь? Ты, образованный человек!

Угрюмо слушали пленные.

— Собственно говоря... — бормотал учитель.

От напряжения у него запотели очки.

— Передать в трибунал? — спросил Колесников, полагая, что разговор окончен.

— Кого в трибунал? — удивился Котовский. — Их в трибунал? Да если они и сейчас ничего не поняли... тогда что же получается? Тогда и жить не хочется на свете! Ведь люди же они! Или кто?

Котовский встал во весь рост — крупный, сильный, эфес сверкает, красные галифе пузырями, широченные,

сапоги начищены до ослепительного блеска, грудь колесом — богатырь, и голос у него зычный, как труба. Встал и отдал команду:

— Беспрекословно выполнять приказания вашего командира! Вот этого! — он показал на учителя, стоявшего с удивленной и растерянной физиономией. — Он сельский учитель, я агроном, а вы — кто вы такие? Простые люди, которым хочется человеческой жизни. Значит, нам с вами по пути. Даю вам задание: выбить петлюровцев из хутора Большие Млины, захватить трофеи и через сутки быть у меня с донесениями. Все ясно? Выдать им оружие, одеть, накормить. Отряд выступит в девятнадцать ноль-ноль. Приступайте к выполнению.

Няга покачивал сомнительно головой. Колесников хмурился. Начальник штаба даже морщился от досады: переборщил! Дал маху на этот раз командир! Ошибся малость!

Пленные перестроились.

— Шагом арш! — скомандовал учитель.

Огненно-рыжий, с зарубцевавшимся шрамом на лбу, кряжистый солдат, когда выдавали ему оружие, прослезился, выругался и сказал, ни к кому не обращаясь, с удивлением:

— Поверил! Мне поверил! Да мне, так-растак, никто еще в жисть не верил с тех пор, как мать меня родила!

Затем они ушли.

— Не вернутся, — определил Колесников.

Котовский вызвал между тем Ивана Белоусова и с глазу на глаз с ним говорил:

— Попросишься в разведку, Белоусов, возьмешь человек пять, кого знаешь, по выбору. Боже упаси, чтобы тебя заметили! Такой обиды они не простят. Ну, и погляди, как они там... чтобы дороги не спутали...

— Понятно!

— Никто не должен знать о нашем разговоре, ни одна душа.

Иван Белоусов вышел от комбрига красный как рак. Это он от гордости раскраснелся, что ему такое поручение дали, а все подумали, не головомойку ли он получил за какой-нибудь проступок: командир любил иной раз, как говорили, «мораль прочитывать».

Вскоре Белоусов и с ним четверо ускакали в степь. И все разбрелись по своим местам. В этот вечер была не-

приятная, напряженная тишина. Любили командира, и не хотелось, чтобы он даже в мелочи оказался неправ. Нельзя, чтобы командир оказался неправ! Как подчиняться тому, кто хотя бы однажды сплеховал? А еще того хуже — кто оказался в смешном положении, кого одурачили!

И каждый старался — для самого себя, а не для других — заранее подыскать оправдание этому промаху, незаметно, деликатно прийти командиру на выручку.

— А хотя бы и не вернутся! — говорил Няга, сверкая глазами и свирепея от одной мысли, что с ним не согласятся и осмелятся осуждать Котовского. — А хотя бы и не вернутся?! Совесть-то он им ранил? Как они теперь пойдут в бой против нас? В бой идут в чистой рубахе! Значит, даже если не вернутся, польза все равно есть!

— Предположим, что они не вернутся; — доказывал Колесников с жаром, но ни к кому в частности не обращаясь. — Хорошо. Но как с ними разговаривали, они расскажут? А что обули-одели их, они расскажут? Пытали их? Расстреливали? Нет, с ними обращались как с людьми и объясняли им, в чем их ошибка, заблуждение, объясняли простыми, доходчивыми словами, которых нельзя не понять, нельзя не запомнить. Я считаю, — говорил твердым голосом Колесников, хотя, может быть, и не считал, — я считаю, что даже лучше, если они не вернутся к нам: они будут живой агитацией, хотят или не хотят, они будут служить делу революции!

Через сутки прискакал Белоусов и доложил Котовскому.

— Идут.

Действительно, отряд шествовал. В ногу, щеголевато, напоказ. Учителя нельзя было узнать: бравый, подтянутый, и очки куда-то девал. Командует звонко, отрапортовал лихо. Да и все остальные преобразились. Торжество было на усталых загорелых лицах.

Эти люди, хлебнувшие разгула и дебоширства петлюровцев, да и сроду не выдавшие ничего, кроме нужды, водки, пьяных драк, собачьей жизни и воловьего труда, — эти люди сами, по доброй воле сдержали слово, оправдали доверие, осмыслили по-новому свою жизнь. Вот почему на их лицах было такое торжество. Нет большего счастья, чем оказаться хорошим, когда никто не верил, что ты хороший.

И все радовались.

Котовский был доволен. Он так бы и обнял и сельского учителя, и вон того, рябого, которого аж пот прошиб, так старался не подкачать, взмахивать по-солдатски рукой и шагать в ногу.

Но вдруг потемнело лицо комбрига и морщины собрались на лбу.

— А этот, — загремел его голос, — такой еще рыжий и со шрамом на лбу? Н-неужели переметнулся к Петлюре?!

— Убит в бою, — ответил учитель. — Пал смертью храбрых.

— Понравился он мне, — тихо произнес Котовский, снимая фуражку. — Вечная память ему и слава. Разудалая, должно быть, голова!

Когда поили коней, Иван Белоусов сказал Маркову:

— И чего вы тут беспокоились? Я слушаю того, слушаю другого — говорят, как о чуде: хорошо, что пленные петлюровцы пришли! Попробовали бы они не прийти! Уж если я один раз взял их в плен, то и в другой раз не растерялся бы! Знаю, чего хотел командир: совести. А чтобы праведник не сбился с пути, поддержи праведника под локоток, помоги ему войти в царствие небесное, в райские врата. Так-то вернее будет!

— Так ты их... тово? Поддержал под локоток? — разочарованно спросил Марков.

— Не понадобилось. Они оказались парни хоть куда! Неужели этот, в очках который был, — просто учитель? А знаешь как командовал! И первый бросился в атаку.

6

Когда вернулся из Бессарабии Леонтий, Миша Марков расстроился, запечалился, что вот вернулся же Леонтий, а где же отец? И хотелось и страшно было заговорить об этом с Леонтием.

И Леонтий избегал Маркова. Жалко было расстраивать парня, а ничего утешительного рассказать он не мог.

Так или иначе, а когда-то надо было начать этот разговор. Однажды Леонтий увидел Маркова, и поразило его грустное лицо Миши.

— Ну! Чего такой скучный?

— Об отце все думаю... Жив или нет?..

— Если бы я что-нибудь точное знал, давно бы сказал. Но так полагаю, что был бы он жив — дал бы о себе знать. Ведь времени прошло немало.

— Вот и я так думаю...

— Кто у тебя еще-то из родни?

Участливо смотрел Леонтий. Оттаяло сердце Миши. Стал рассказывать про свои детские годы, о сестренке, о матери.

Леонтий слушал Маркова, и у самого у него сердце щемило: ведь и он ничего о своем доме не знал, рядом был, а не довелось повидаться...

— Время, сынок, сейчас разлучное. Жены не знают, где их мужья, дети растеряли родителей. Иной ждет-пождет, когда встретится, а его, желанного, родного, и в живых-то давно нет... Бывает и другое: человека в поминальник запишут, а он и явится, жив-здоров! В смятенное время живем.

— А вдруг, — размечтался Миша, — мы сидим, разговариваем, а в это время отец-то и войдет...

— Ничего удивительного!

Миша радостно смеялся, и долго они в тот вечер говорили. С того дня повеселел Миша. И хорошо, что до поры до времени не знал он всей правды...

Петра Васильевича как увели ночью, так больше никто и не видел. Марина куда только не ходила, где только не справлялась! Везде один ответ: не значится. Наконец один старичок сжалился, догнал ее в коридоре.

— Женщина, — говорит, — не терзайте себя. Неужели вы не понимаете, что вашего мужа давным-давно на свете нет? Идите себе домой и примиритесь с сим прискорбным фактом.

Она убежала от этого страшного, беззубого, сморщенного старика, каркавшего, как ворон перед бедой. Он все врал, откуда он мог знать? Он что-то кричал ей вдогонку, но она не слушала. Вернулась домой и поражена была странной тишиной.

Марина взметнулась: где Татьяна? Почему не идет Татьяна?! И тут заметила белое на столе... Сразу почему-то поняла, что это записка и что пришло новое горе.

«Прости, дорогая мамочка, больше не могу, уйду туда, где наш Миша».

Может быть, Марина выдержала бы удар, но, когда все навалилось в один день, чуть не в один час, это было слишком... Марина слегла и больше не встала...

Татьянка была порывиста и нетерпелива. Она никак не могла согласиться, чтобы на земле торжествовало зло.

Конечно, ей бы следовало посоветоваться, прежде чем решиться на такой отчаянный поступок. Она захватила с собой немножечко еды — кусок хлеба и брынзу. Она слыхала, что многие переправляются через Днестр и уходят к красным. Вот и она уйдет к красным. Она будет помогать Ленину устанавливать справедливый порядок на земле, вот что она будет делать!

Татьянка сначала шла открыто, прямо по дороге. Потом стала расспрашивать, как пройти к Днестру, стала наводить разговор на то, как охраняется берег да бывают ли случаи, что переправляются на ту сторону. Дивились деревенские жители на эту странную девочку, предупреждали ее: не так-то просто подойти к Днестру и лучше бы вернуться домой... Понимали, что у нее на том берегу кто-то из родни. Качали головой: неладное затеял ребенок.

И ведь выискала Татьяна безлюдное место! И лодку брошенную нашла, и вместо весла жердь приспособила, и в сумерки оттолкнула от берега лодку...

Но тотчас же по лодке стали стрелять. Страшно было Татьянке и в то же время весело. Уж вот она будет хвататься, когда отыщет Мишу! Ее обстреливали, как настоящего контрабандиста!

Надо только сильнее грести! Ого! Пуля расщепила борт! И вдруг стало темно в глазах, круги, круги пошли... Но ведь если бы попали в нее, было бы больно?

Сильнее, сильнее надо грести! Берег, берег уже видно... Еще одно усилие — и Миша протянет ей руку, и поможет выйти из лодки, и скажет ей: «Молодчина у меня сестренка!»

Но жердь уже давно выпала из рук в воды Днестра. Лодка, делая медленные круги, плыла по течению. Не стало Татьянки, отчаянной, гордой девчонки...

Не знал ничего этого Миша и жил уверенностью, что его ждут, что рано или поздно он встретится со своими родными... Ему часто снилось, что он дома, и

мать заботливо смотрит на него, и Татьяна слушает с обожанием его рассказы, а отец молчит и пыхает своей коротенькой трубкой-носогрейкой... Миша просыпался с улыбкой и все думал, думал о них.

7

Марков получил обозную лошадь. У нее был меланхолический характер, и вся ее внешность свидетельствовала о полном равнодушии к своей судьбе.

Звали ее Зорькой.

Когда Марков вскарабкался на ее спину, она раскорячила мохнатые ноги, поникла головой и распустила губу.

«Я и это перенесу, — говорил ее понурый вид, — мне уже безразлично: тащить ли телегу по непролазной грязи или быть посмешищем кавалеристов. Я очень устала и хотела бы только одного — как можно скорее околеть».

— Ну и животная! — удивился Савелий Кожевников, взглянув на Маркова, проскакавшего мимо. — Прямо форменный верблюд!

Сказал он это без злорадства, а скорее огорченно. У них была настоящая дружба с Марковым. Савелий Кожевников был старше возрастом, но простодушен и чист помыслами, как дитя.

Савелий Кожевников был степенным пензенским мужиком. Как его судьба сюда закинула, он и сам не мог понять. Чудной он был, этот пензяк! Всюду, куда ни попадал, разыщет непременно либо поросшего мхом ветхого старика, либо бойкую молодайку и примется выспрашивать, как анкету заполнять, о видах на урожай, о поголовье скота, когда думают косить — обо всем подробно расспросит. А вот с географией он был не в ладах. Где он находился, на какой точке земного шара, на каком от чего расстоянии — ни в чем этом он никак не мог разобраться и все надеялся, не забредет ли ненароком, вот так-то, воюючи, в свою родную Пензу.

— Как полагаешь, сколько верст отсюда до Москвы? — спрашивал он иногда Маркова, задумчиво глядя в степную даль.

— А тебе зачем, дядя Савелий?

— Так, любопытствую.

- Верст с тысячу.
- С тысячу! А до Волги?
- До Волги еще дальше.
- Вре-ешь! А до Сибири?
- До Сибири и вовсе далеко.
- Но-о?

Савелий некоторое время молчал, мысленно рисуя себе все эти пространства.

— Как человек разбросался по земле!

Савелий Кожевников не меньше Миши был огорчен обличем Зорьки. Когда Марков пускал ее в галоп, зрелище было действительно запоминающееся. Зорька шла боком, как краб. Пускаясь галопом, она почему-то обязательно начинала мотать головой и фыркать, одновременно вскидывая тощим, мухортым задом. При этом она производила необычайный шум. По топоту можно было подумать, что гонят целое стадо. Проскакав некоторое время, Зорька покрывалась испариной, бока ее вваливались, ребра выступали наружу... И тут уже ничем нельзя было ее расшевелить. Несколько минут она еще двигалась вперед по инерции, еле переступая, потом и вовсе останавливалась, уныло уставясь в землю.

Маркова охватывала нестерпимая жалость. Жалко ему было это несчастное, загнанное животное, прошедшее через все испытания: голод, холод, мобилизации всех проходивших через деревню воинских частей, начиная с батьки Махно и кончая разбойничьей шайкой какого-нибудь Лихо или Кириченко. Все ее били, все погоняли, и никто не кормил.

Однако, представив, до чего комична его фигура на этой кляче, Марков испытывал стыд. Приятно ли быть посмешищем, да еще в его возрасте! Чуть не плача от жалости, Марков давал Зорьке шенкеля, рвал ей губу, врезался в бока шпорами... Никакого впечатления! Зорька только мелко подрагивала кожей. Ее и не так били.

— Сенным конем не ездить, соломенным не пахать, — сочувствовали кавалеристы Маркову.

— Что правда, то правда, — вздыхал Савелий Кожевников. — Кляча возит воду. Лошадь боронует и пашет. Добрый конь ходит под седлом. Каждой твари свое назначение.

Марков пробовал кормить Зорьку двойными пор-

циями, памятуя, что коня надо погонять не кнутом, а овсом. Но от обильного корма Зорька только вздувалась, становилась шарообразной и еще более добродушной.

Марков страдал. Каждый раз он еле мог заставить себя появиться перед отрядом. Он скромно занимал свое место, искал случая отправиться куда-нибудь с поручением или уйти в разведку. Да и в разведку его не брали: в разведке вся надежда, что конь вызволит.

Постепенно Марков растил ненависть к Зорьке. Она его оскорбляла! Он ненавидел в ней нечто большее, чем просто плохую лошадь. Он ненавидел в ней все горькое и обидное, все прошлое ненавидел он в ней.

Лучше бы никогда и не было в природе этих жалких выродков, этой злой насмешки, этого шаржа на благородное, красивое животное! Но вот по иронии судьбы появилась такая лошаденка на свет, появилась в жалкой загородке, которую едва ли можно назвать конюшней, в грязном закуте, где не просыхает навозная жижа, где ветер задувает во все щели и хлещет дождь. Что дальше? Скудный корм, надсадная работа, удары кнута, дрянная, натирающая мозоли упряжь... Много раз опоева, редко подкована, копыта сбиты, бока исполосованы, грива спутана, хвост в репьях...

Маркову она даже снилась. Тогда он просыпался, лежал и думал, какой он несчастный, что ему досталась такая лошадь... Но, конечно, и обижаться не приходится, потому что разве можно сравнить его и Котовского! Его и Нягу! По Сеньке и шапка, как говорит пословица.

Савелий Кожевников жалел парня и отвлекал его разговорами. Начнет, начнет рассказывать — век его слушай — не переслушаешь. Марков любил его немудреную речь, его присказки.

Воевал Савелий хозяйственно, степенно, терпеть не мог удалства. И всегда-то он что-то ладил, что-то мастерил, этот Савелий. Ему и другие отдавали то починку, то поделку. Он никогда не отказывал.

— Конечно, приходится, а то бы я ни в жисть не воевал, — рассуждал он, подшивая уздечку. — Война — занятие разрушительное, а я плотник, я строить люблю. Но, по-моему, так: ежели ты уж начал воевать, то воюй прилежно и с пользой для отечества. Надо хорошо воевать. А конь у тебя никудышный, что правда, то правда.

Он... как бы тебе это правильно обсказать... он вроде как мужик, которого напасти одолели. Был у нас на деревне такой. Ну просто удивительно, сколько несчастий выпало человеку! Он и тонул, его и волк брал. Раза три нищал от пожара. Только поправляться начнет — беда бедованная раз его по темечку! Женился — баба в родах померла. Сына вырастил — сына в тюрьму взяли. И все так. Если падеж начался, у него у первого корова падает. Случись недород — у кого, у кого, а у него в поле ни былинки. Пришел как-то ко мне. Смотри, говорит, на меня, сват Савелий. Я, говорит, всю Россию в своем лице представляю, вся Россия такая несчастная. А потом пошел и повесился на сеновале.

Были у Савелия на все случаи такие притчи и примеры из жизни. Большею частью это были невеселые истории. Рассказывал он их певучим, приятным голосом, и сам он был благообразен: волосы расчесывал на прямой пробор, светлая бородка у него была реденькая, но аккуратная, глаза бледно-бледно-голубые, почти бесцветные. У него была иконописная, скитская красота. Казалось, дай ему посошок — пойдет он странствовать, никуда не спеша и умиляясь на красоты природы.

На что уж, кажется, любил Котовского Миша Марков, любил как отца, как учителя, как только может любить и обожать юноша такого героя. И все же понимать по-настоящему Котовского научил его Савелий.

— Это всегда, — говорил он, — для настоящего дела настоящий водитель найдется. Выищется, народная волна поднимает. Вот и наш командир такой: для победы он нужен, чтобы гнать врагов-басурманов, рубить их, окаянных, да так, чтобы и впредь было неповадно.

Слушал эти слова и Иван Белоусов: он тоже часто захаживал и страсть как любил речи Савелия.

— Командир наш в рубашке родился, — сказал он, — удача ему идет!

— Э, браток! Счастье не конь, хомута не наденешь. Вот заприметил я: командир наш всегда, когда ни поглядишь, правую руку то крепко в кулак сожмет, то разожмет. Сам разговаривает, ну, там, приказания дает или так о чем, а рука работает. Как ты думаешь, зачем бы это? А?

— Зачем! Привычка, стало быть. У каждого какая-нибудь своя привычка есть, очень даже просто.

— Привычка? Привычка не рукавичка, на гвоздь не наденешь! Нет, брат, не в привычке дело. Упорство у него. Решил он, к примеру, добиться, чтобы рука у него исключительной силы была, чтобы рубить — так намертво. Понял? И начинает он делать упражнения для руки, в мускуле силу развивает. И становится его рука железной. И так во всем. Каждую жилку, каждое сухожилие, каждую думу, каждую каплю крови для основного, для самого важного в жизни приспособливает. Не разбрасывается туда-сюда, а все бьет в одну точку. Вот и получается — удача! Удачу-то он, как кузнец, молотом выковывает! Изготавливает он удачу в поте и труде.

Вся бригада, все любили Котовского, каждый не задумываясь отдал бы за него свою жизнь. Каждый верил в него и понимал, что действует он так, чтобы вернее сразить врага и уберечь своих. Любили Котовского молча — безрассудно и безоговорочно. А вот объяснить, что они ценят в Котовском, — это сумел всех толковее сделать Савелий Кожевников, незамысловатый, казалось бы, простецкий пензенский мужичок.

Марков, вслушиваясь в его рассуждения, учился оценивать различные явления жизни.

— Дядя Савелий, — спрашивал он, — почему люди живут как бог на душу положит, не задумываясь, не вникая?

— Люди! — откладывает шитье и всплескивает руками Савелий. — Люди революцию сделали, вот тебе и не задумываясь! Чего люди хотят? Хотят до крика истошного, до кровавых горьких слез, до боли сердечной хорошей жизни, хоть махонький кусочек жизни такой урвать. А все нет его, счастья-то настоящего, добывать его надо! Как добывать? Смертию смерть поправ, добывать! Страдальцы большие люди-то. Жалко мне их, вот все нутро изболит иной раз, думаячи о них.

— Так как же быть-то, дядя Савелий? Завоюем счастье?

— Обязательно. А как бы ты думал? Опять я на командира нашего, на Григория Ивановича, укажу. Как считаешь, счастлив он? Али нет?

— Конечно, счастлив! Еще бы! Такая жизнь!

— А какая? Давай разберемся. Я ведь много слышал, и о нем что говорили и сам он что рассказывал.

Давай разберемся, что тут к чему, сынок. Набрили на одного счастливого человека, давай поглядим, откуда же он счастья понабрал. Может, чужую долю присвоил? Ты, никак, земляком ему приходишься? Отец его в Ганчештах жил. Говорят, там сельчане внизу, в долине, жмутся, а на горе высоченной, в самом поднебесье, стоит дворец невиданной красоты, и в том дворце живет богатый-пребогатый князь Манук-бей. И все земли вокруг принадлежат князю Манук-бею. И людишки все ему подвластны, потому — состоят у него в услужении.

— Правда, — пробормотал Миша, — я что-то слышал про Манук-бея.

— И в этом полоне, в самой гуще народа подневольного, служающего, родится гордый человек, мститель, пригодный, чтобы сбросить с высокой горы богатого князя Манук-бея и объявить народу благую весть: живите, люди, на здоровьице, не кланяясь.

— Да ладно, дядя Савелий! Отложи же ты свой чересседельник! После починишь! Рассказывай быстрее, а то скажешь слово — и потом жди, пока откусываешь нитку! Ну, дальше, дальше! Ну, вот он сказал народу: живите и не кланяйтесь....

— Ну вот и все. Чего пристал? Рассказал я тебе все до конца от начала. Чего же дальше рассказывать?

— Как же что дальше? А потом что было?

— Я только говорю, что счастлив человек, если живет для других.

— Но ведь когда-нибудь и для себя надо? Хоть немножко?

— Дурачок ты! Для других — это и есть для себя! Вот и выходит, что ничегошеньки ты не понял из того, что я тебе рассказывал. — Савелий вздохнул, отложил чересседельник и продолжал: — Котовский в молодые годы уже, смотри, выступает против князей нечестивых — манук-беев! Сильно серчают на него манук-беи, обижаются очень. Взять приказывают его, такого-сякого, под стражу. А его и решетки не держат, вот он какой! Дальше посмотрим. Должность он большую искал? От пуль прятался? Сыздала грозил врагу кулаком? Вперед, мол, товарищи? Нет, он сам скачет на коне, первый бросается в битву! Опять же учти: командир, высокое начальство, а вчера смотрю: сам коня чистит. Это и значит — счастливый. Счастливый, потому что людей любит,

людям служит. И нет другого никакого счастья, одно только это...

После бесед с Савелием Марков смотрел на Котовского другими глазами, с удивлением, с острым любопытством.

Марков даже внешне старался подражать Григорию Ивановичу. Зная, какое значение Котовский придает гимнастике, Марков стал каждое утро приседать и размахивать руками... Но мог ли он, тщедушный, тоненький, как хворостинка, хотя бы отдаленно походить на могучего командира, да еще сидя на жестком хребте своей Зорьки и краснея до слез при одной мысли, что командир может заметить его, увидеть эту жалкую картину!

А Котовский давно его заприметил. И сразу понял, что Марков стыдится своего положения, что, еще того хуже, может стать посмешищем и что его надо выручать.

Как-то потребсвали Ивана Белоусова к командиру. Пробыл он там недолго и вернулся сосредоточенный и вместе с тем улыбчивый.

— Чего тебя вызывали?

— Да так... насчет этого... насчет овса...

— Какого овса?

— Обыкновенного — какой бывает овес?

Так и отстали, ничего не добившись.

Вскоре Иван Белоусов, для которого не было ничего невозможного, участвуя в стычке, привел с собой коня.

Это и было поручение Григория Ивановича. Вызвав Ивана Белоусова, он сказал:

— Чего же вы мальчишку-то у меня на какого козла посадили? У себя нет — присмотрите у противника, авось там подходящий конь найдется...

Иван Белоусов отыскал Маркова. Главное, что сам он был больше всего доволен. Крикнул, сияя от восторга:

— Получай! Твоя кобыла. Своими руками ее хозяина, усатого петлюровца, на тот свет отправил вместе с усами. Иди, говорю, к богу в рай, отъездился!

Кобыла была хороша. Ровной голубой масти, она была украшена белым пятном на лбу. Она плясала, косила озорной глаз на Ивана Белоусова, болезненно чуткая к каждому движению и звуку. Навис у нее был чуть светлее стана. И вся она была вытянутая как стрела.

Марков растерянно смотрел на Белоусова, не веря счастью.

— Зачем же ты?.. Я должен сам...

— Получай — и кончен разговор. Только, видать, капризная. С ней намаешься.

Тотчас собрались вокруг несколько ценителей.

— Дурноезжая, — сказал один.

— И, никак, на переднюю ногу западает.

— Жачистая! Ничего!

— Какая бы ни была, все лучше твоей старухи, Зорьки-то этой необразованной!

Кобылу обступили во всех сторон, хлопали ее по бокам, мяти ей суставы, толкали, заглядывали в зубы.

Наконец ей, видимо, надоело. Она прижала уши и попыталась укусить первого попавшегося.

— Балуй! — закричал кавалерист, хлопая ее легонько по розовой морде.

— Не бей! — крикнул Марков. — Не порти мне коня!

Это вызвало дружный одобрителный смех. Марков взял повод и увел кобылу.

Пришел и Котовский посмотреть на приобретение. Он все схватил внимательным глазом: и какова кобылица, и как убрана, и какую чистоту навели Савелий и Миша, и с какой гордостью они смотрели на коня.

Все понравилось комбригу.

— Вижу, — говорит, — конь попал в хорошие руки.

Миша Марков так и расцвел.

Когда укладывались спать, он сообщил Савелию:

— Даю ей имя — Мечта. Потому что она и есть моя заветная мечта, которая осуществилась.

ОДИННАДЦАТАЯ ГЛАВА

1

Савелий Кожевников неожиданно нашел в бригаде земляка: папаша Просвирин был тоже из Пензы. Фейерверкер конной артиллерии, он в 1914 году был на Австрийском фронте, к пушке относился с любовью и уважением, был такой же, как Савелий, хозяйственный, чистюля, любил порядок, благоустройство, в его артиллерийском хозяйстве в бригаде все было начищено

до блеска, как у хорошей молодухи в посудном шкафу.

Приятно было посмотреть на этих двух земляков, когда они в свободный час встречались для дружеской беседы. И говорок у них был особенный, и речь нарядная, как кружева. Когда они заводили беседу о Пензе, так и хотелось посадить их на завалинку, и чтобы кругом ходили куры, и чтобы пахло с поля коноплей.

— У нас в деревне... — начинал разговор Савелий Кожевников.

— Ты мне про тимофеевку отвечай, почему ты не уважаешь тимофеевку? — спорил Просвирин.

На лицах их расплывалось блаженство, они перебирали родню, обычаи, Кожевников пробовал даже петь «тамошние» песни.

Еще любил Михаил Васильевич Просвирин говорить об артиллерии, о германской войне, которую он прошел всю насквозь, от первого дня до последнего.

— Вот была война! Тридцать три государства участвовали! Тысячи дивизий сражались! Это посчитай-ка, сколько одних сапог с голенищами!

— А верно говорят, что если грибов много уродилось, то к войне?

— Грибо-ов? Грибы всегда и война всегда.

— Нет, если вот волки под окном воют, это обязательно к войне, это проверено!

— Если волки эти капиталистические, то можно ручаться, что будет война.

И Просвирин начинал свое любимое повествование о том, как прежде, до войны четырнадцатого года, артиллеристов не ценили и как война научила пушку уважать.

Мастер был папаша Просвирин про войну говорить. Он и про царь-пушку рассказывал, которая не стреляет, и изображал, какой звук издает тяжелый снаряд, когда летит...

Слушали его, слушали побасенки Савелия... Смеялись дружно, в полное удовольствие. И никто не думал о том, что ждет его завтра. Приходил час — шли в бой. Отдых приходил — отдыхали. О чем, спрашивается, размышлять? Это старухи думают о смерти.

Беда свалилась неожиданно-негаданно. Был самый обыкновенный день. Уже кончили хлопотать с конями, почистили, расчесали гривы, съездили на водопой. Уже

солнце высоко поднялось над степью и со стороны походных кухонь доносились дразнящие запахи мясного отвара и каши. Уже Савелий успел сдать заказ — вычинил гимнастерку одному коннику... Вдруг со стороны железнодорожной станции донесся рев оркестра. Чувствовалось, что музыканты дули во всю силу легких. Литавры рассыпались дробью, ухал барабан...

— Что такое? Что случилось? — выскакивали конники на улицу. — Кого это бог посылает?

Отряд высадился из вагонов, построился и так стоял, ожидая, когда его встретят. Впереди красовался командир, знаменитый одесский бандит Мишка Япончик. Слов нет, он был хорош! Так же, впрочем, как и все остальные. В малиновых шароварах, новеньких, с иголки, в ярко-желтых кожаных куртках, в кожаных фуражках...

Отряд прибыл из Одессы. Именовал он себя очень важно: «Отряд свободы». Как глянули командиры, как глянул Котовский — ну и отряд! Такого еще никто не видывал! Все эти вояки поверх своих кожаных курток были обвешаны лимонками, пулеметными лентами, револьверами разных систем... Зрелище было необыкновенное! Нельзя было не улыбнуться, видя этот маскарад. Но тут было не до смеха... И хотя отряд приветствовали, хотя Котовский выразил одобрение, что они отказались от своего позорного ремесла и решили честно служить народу, но Котовский, произнося приветственное слово, видел, как эти «братишечки» хихикают, переглядываются, как Мишка Япончик расхаживает перед строем карманников, напыженный, как индюк...

— Наплачемся мы с этим чертовым отрядом, — сказал сразу же Няга.

Колесников предложил всем быть начеку. Положение складывалось слишком серьезное.

Папаша Просвирин только вздохнул:

— Да-а, дела!...

Котовский молчал, хмурился и все смотрел на золотой эфес.

На кого ни взгляни — весь отряд состоял из бродяг и подзаборников. У того синяк под глазом, у этого шрам на щеке — памятка от удара ножа... Рожищи самые что ни на есть запьянцовские. Глазами зыркают. Ходят вразвалку. В самую пору быть им в гопкомпании с батькой

Махно или орудовать в шайке какого-нибудь Хмары, кричавшего о самостийной Украине и грабившего встречных и поперечных. Набрали этот отряд из числа одесских воров, налетчиков, шаромыжников, из той отпетой шпаны, которая давно уже распростилась со стыдом и совестью и обременяла замлю в ожидании удара финкой под ребро где-нибудь в кабацкой драке.

Пока что они, скучая, рассказывали, как у них называлось, «рóманы» или играли в карты. Тут были и крупные, солидные воры, и мелюзга, прихвостни, так называемые «шестерки», состоявшие на посылках у бандитов «со стажем».

С отрядом прибыл известный в воровском мире Карзубый, хладнокровный убийца, специалист по поножовщине, обошедший все тюрьмы России, и Чума — страшное существо, с ленивыми, сонными глазами, с волосатыми огромными ручищами, которыми он задушил свою жену. Чума славился необыкновенной физической силой, соединенной с необыкновенной неповоротливостью.

Была у них еще знаменитость. Об этой знаменитости они говорили на своем жаргоне:

— Не видать свободы, настоящий актер! Жаль, талант по тюрьмам пропадает!

«Не видать свободы» — по смыслу означало в их среде то же, что «провалиться мне на этом месте» или «клянусь богом».

«Талант» носил на руке перстень и весь был расписан татуировкой: не человек — картинная галерея. Ходил он в белом кителе, натянутом прямо на голое тело. На волосатой груди вытатуированы голая женщина, бутылка и бубновый туз. Надпись, наколотая во всю ширь по животу, гласила: «Вот что губит человека».

Звали этого молодчика Толик Бумбер. У него была отвратная наглая физиономия. Он пел. Но как пел! Ненатуральным, сдавленным голосом, уверенный, что не может не нравиться, горланил так, что кони прядали ушами:

Куплю ти-бе браслетики я с пробой,
На шейку я наблочу медальон!

Пожалуй, всех выразительнее был сам Мишка Япончик. Приземистый, с рваной губой, заплывшими гляделками, скуластый, он напоминал гориллу и походкой и

загребистыми руками, при взгляде на которые становилось не по себе.

— Симпомпончик! — первое что сказал Мишка, обращаясь к Колесникову и потянувшись к нему с козьей ножкой, когда тот зажег спичку. — Полфунта пламени! И быстренько!

— Вот что, Япончик, — сказал ему спокойным, но не предвещавшим ничего хорошего голосом Котовский, — здесь никаких симпомпончиков нет, здесь находятся командиры Красной Армии. Постарайся твердо это запомнить, потому что я не люблю повторять.

— Я могу не только запомнить, но и припомнить, — ответил дерзко Мишка Япончик.

— Пять суток г-гауптвахты! — рявкнул командир. Япончик сразу съежился, попробовал перевести на шутку.

Няга и Колесников переглянулись. Миг — и они были около Япончика.

— Ничего себе, — бормотал явно стухнувший Япончик, — для первого знакомства...

Гауптвахты не было, и надобности в ней пока не встречалось. Однако никто и глазом не моргнул.

Няга сделал шаг вперед:

— Разрешите выполнять?

Тем временем Колесников уже обезоружил Япончика и вызвал двух бойцов. Япончик был отведен в баню и заперт снаружи. У входа поставили охрану, и надо сказать — крепкую. Учитывалось, что могут быть какие-нибудь попытки со стороны всей этой публики напасть на «гауптвахту».

Так оно и оказалось. Не прошло и десяти минут, как к бане направилось человек десять головорезов. Они размахивали руками, щелкали затворами, все враз кричали и виртуозно ругались.

И прямехонько наткнулись на Нягу.

— Стой! — была команда Няги.

И вдруг у этих «симпомпончиков» как рукой сняло и все возбуждение и всю решимость отстоять своего главаря...

Няга говорил с ними спокойно. В отдалении циркулировали «на всякий случай» Иван Белоусов и еще несколько конников.

— Извиняюсь, конечно... — бормотал один из этих

сподвижников Япончика. — Но надо же это утрясти... Обидно... Мы-то ничего... но как отнесутся массы?..

— За что боролись? — выкрикнул второй и спрятался за спины своих приятелей.

— Свобода совести, — вздохнул третий, весь заросший шерстью и из этой заросли вращающий белками глаз, — свобода совести, а тут сажают на гауптвахту!

Он произнес это так, вообще, ни к кому в частности не обращаясь.

Словом, они не пошли освобождать своего вожака, а тихохонько вернулись назад.

В отряд Япончика ходил беседовать Колесников. Так, как будто бы и слушали его, и соглашались... но вернулся Колесников удрученный и разочарованный:

— Не верю я им, не те люди! Глаза у них фальшивые... Начнут говорить — язык какой-то вывернутый, словечки всякие, воровской жаргон, и непрерывно ругаются похабно... — нехорошая публика! Воры у них — люди, все остальные по их понятиям — черти, ффраера, навоз... Случалось мне проводить беседы в различных аудиториях. Ну, например, моряки. Прекрасный народ! Правда, у них тоже встречаются этакие доморощенные «анархисты», с позволения сказать, этакие... «братишечки», которых приходится осаживать... Но это же — люди! Здоровый, молодой, смышленный и настоящий, знаете, русский народ, с его крепким юмором, с его проницательностью, широтой... Приходилось мне разговаривать с крестьянством, с мужичками. Бывали, конечно, и недоразумения... эксцессы, как говорят... С хитрецей мужички и вопросы каверзные иной раз задают... Но там разговариваешь и чувствуешь, что и ты и твои «оппоненты» правды хотят, пусть каждый со своей колокольни судит, но он болеет за родину... он хочет, чтобы было лучше! А эти... я даже не знаю, как их назвать... только не люди... у них родины нет, у них ничего святого! Отца, матери они не помнят, а если бы и помнили — не задумываясь полоснули бы ножом. Самое дорогое каждому человеку, прекрасное слово «мать» — у них только для ругательства... Товарищи! Что же это такое?!

Колесников был взволнован:

— Поймите, товарищи, это подонки! И нужно быть с ними осторожнее, чтобы не поскользнуться!

— Деклассированный элемент, — промолвил Котовский.

Ему невольно вспомнилась Кишиневская тюрьма, и восхищавшая жуликов воровка Женька, и Володя Солнышко...

— И на черта нам их прислали! — раздраженно воскликнул Криворучко. — До каких пор мы будем заигрывать с блатняками? Перестрелять бы их всех без долгих разговоров!..

Беседа была прервана появлением Ивана Белоусова. Он влетел в помещение штаба, опешил в первую минуту, увидев столько народу, а затем одернул гимнастерку и, как полагается, доложил:

— Разрешите обратиться, товарищ командир! Так что в деревне Рогачевке эти бандиты народ грабят!

Слова его прозвучали как взорвавшаяся бомба. Все повскакали с мест, схватились за оружие. Но Котовский встал во весь свой рост, расправил широкую грудь, и голос его покрыл все встревоженные голоса:

— Слушать мою команду!..

2

В Рогачевке дым стоял коромыслом. «Братишки» гуляли. В воздухе стоял истошный вой, площадная ругань, женский визг, выстрелы...

Вот какая-то простоволосая, растрепанная девушка вырвалась из рук солдат и убегает под улюлюканье по грядам... Вот идут в обнимку два приятеля из отряда Япончика, оба еле держатся на ногах, и оба горланят какую-то несурязицу, воображая, по-видимому, что они поют... Из ворот выезжает телега, на которую хозяева наспех наложили подушки, кадочки, узлы с бельем и посудой, сверху посадили выводок детей — девчонок с косичками, голоштаных малышей — и нахлестывают кобылу, надеясь спастись бегством от этого разбоя.

— Дае-ешь!

— Пропадите вы, окаянные!

— Сенька-а! Самогон нашел! Айда сюда, Сенька-а!

Посреди улицы валяется безжизненное тело: не то убитый, не то пьяный. В окраинном домике идет гульба. Захлебывается гармоника, звенит посуда... топот, рев...

весь дом ходуном ходит... Весь гомон перекрывает знакомый уже бригаде сдавленный, мерзкий голос:

Вернись, отравы помириться,
С Косым тебе недолго газовать...

В соседнем дворе происходит «реквизиция». Визжат свиньи, воет, сидя на земле, хозяйка, и висит на перекладине ворот вытянувшийся синий хозяин дома, который не согласился добровольно отдать животину...

— Показывай, что у тебя есть из кулацкого твоего хозяйства! — командует пьяный Чума.

— Ничего там нет!

— Как нет? А кто это мычит? Может быть, я мычу? Я тебе покажу — ничего нет, сука позорная! Не знаешь постановления? Нет, ты скажи, не знаешь постановления?

— Да что уж такое? Где это сказано, что нельзя одной коровенки иметь?

— Коровен-ки! Выводи корову, собачья отравы!

Ветерок шевелит волосы на голове повешенного. Из хаты выглядывают перепуганные насмерть девочки. Раскисший, посоловелый Карзубый с напускной важностью пишет. Он малограмотен. Но делает вид, что составляет «акт»...

Сам Япончик, в дымину пьяный, бродит, шатаясь, по деревне и время от времени разряжает свой кольт, нацеливаясь на окна.

Операцией руководил сам Котовский. Деревня была оцеплена со всех сторон. Когда всадники хлынули в деревню через все закоулки, бандиты моментально протрезвели и стали прятаться по чердакам, по свинарникам. Их выволакивали оттуда и вязали руки.

Один только Мишка Япончик оказал сопротивление. Он отстреливался, затем задними дворами выбрался из деревни, на железнодорожной станции захватил паровоз и с подоспевшими шестью ворюгами из своего отряда пытался удрать в Одессу. На одной из станций их перехватили.

В деревне Рогачевке стояла тишина. Связанные громы были тихи и послушны.

— Я их предупреждал... — хныкал неподражаемый

певец Толик Бумбер. — Я их останавливал... Но разве их остановишь? Грабь, говорят, награбленное... Позвольте, говорю, вы искажаете смысл... Куда там! Нас, деятелей искусства, слушают лишь при исполнении программы!..

«Деятелю искусства» тоже связали руки и вместе со всеми увели под усиленным конвоем. Их набралось порядочно, но после опроса свидетелей отделили пятерых: двух, которые повесили жителя деревни Рогачевка, двух, которые производили обыски и отнимали что заблагорассудится у крестьян, и пятого, гнилозубого, который изнасиловал девушку.

Наутро была построена вся бригада. Котовский перед строем сказал краткое слово — о значении дисциплины, об облике бойца Красной Армии. Затем был прочитан приказ. Перечислялись преступления этих пятерых, стоявших сейчас понуря головы.

Заключительные слова приказа гласили: «...к высшей мере... — расстрелу!»

Еще через минуту прозвучал залп. И в этот же момент прискакал всадник из пикета: петлюровцы!

Раздалась команда. С ходу пошли отбивать наступление. Что-то все чаще начинают пошаливать петлюровцы!

Может быть, оттого, что все были взвинчены, но только обрушились на противника так внезапно и таким грозным шквалом, что сразу же расстроили его ряды и гнали километров десять, усердно работая клинками.

— Ко времени эти петлюровцы появились, — говорил Няга, возвращаясь с поля боя. — Так в груди сдавило, так припекло! Когда это было слыхано, чтобы у нас такого натворили? Воевать, когда защищаешь родину, надо с чистыми руками! Вот почему пришлось расстрелять тех пятерых. Правильно я говорю? У котовцев — незапятнанное знамя! Верно, Колесников?

Отряд Япончика присмирел, но только на какое-то время. В одну из битв в самую решительную минуту «отряд свободы» снялся с позиции. Это могло кончиться плохо: большой участок фронта был внезапно обнажен. Петлюровцы стреляли — ни одного выстрела в ответ. Они решили, что тут какая-то военная хитрость, что готовится ловушка. Момент ими был упущен. Котовский перестроил части.

— Братишки соскучились воевать. Братишки хотят в Одессу-маму, — вежливо пояснил Толик Бумбер.

Они захватили санитарный состав, повыкидывали бинты, медикаменты, убили санитаря, разогнали медперсонал и теперь размышляли, где бы им разжиться паровозом.

— Милорды! Фраера мутной воды! — кричали они красноармейцам. — Похряли в южную сторону? Идите с нами, не пожалеете! Шамовки будет от пуза и исключительно заграничных марок! Спиртяги — вагон и маленькая тележка! Лезьте прямо в тамбур! Голосовать обязательно!

Отбив петлюровцев, котовцы окружили санитарный поезд. После первых же выстрелов бандиты сдались.

— Вы бы сразу сказали, что будете стрелять, — говорили они нагло, — мы бы давно сдались, какая нам разница!

Их разоружили, отправили в штаб дивизии.

Вскоре выяснилось, что поведение «отряда свободы» было не случайно: по-видимому, они каким-то образом успели узнать о меняющейся обстановке на фронте.

3

Лето 1919 года на Украине было знойное. Земля потрескалась. Много непаханных, незасеянных полей зарастало бурьяном. А где колосилась пшеница — некому было убирать. Стояла она под солнцем, никла под ветрами, топтали ее пешие и конные, мяти орудийные колеса...

Новый план нападения на эту, непонятно чем державшуюся Советскую республику приводился в исполнение.

Десант в Одессе высадился на Большом Фонтане. Эскадра била из орудий по вокзалу. Белые ворвались в город, ловили, расстреливали, вешали, сажали в тюрьмы, бесчинствовали...

Началось!

Шарабан мой! Американка!
А я девчонка да шарлатанка!..

Хлынули на просторы Украины. Топтали поля Ку-

бани. Схватились на Дону. С правого берега Днестра били батареи. Петлюра. Буковинский корпус. Галичане. Тютюнник и Махно.

Бандами Волынца и Ляховича разгромлены тылы 1-й стрелковой бригады 45-й советской стрелковой дивизии. Связь с Киевом прервана. Махно занял станцию Помошную.

Стоном стонала Украина. Раскачивались на перекладинах повешенные. Горели скирды хлеба, взлетали в воздух железнодорожные мосты.

Белая армия разливалась широким потоком. И впереди наступающей армии бежали слухи, обгоняя самые быстрые разъезды конницы Мамонтова.

И слухи были предусмотрены в стратегии наступления. И слухи были организованы, субсидированы, оплачены валютой.

По хуторам, по селам ходили какие-то подозрительные люди и нашептывали о «несметных силах деникинской армии», о «союзниках, которые решили все закончить за месяц»... Они терлись возле очередей, шли на рынки и ярмарки... И слухи мчались, мчались вперед, обгоняя события. Тревожные слухи! Ошеломляющие слухи! «Сведения, полученные из достоверных источников...» «Сообщения, услышанные от авторитетных лиц...» Слухи мчались по проселочным дорогам, щелкали подсолнухами на завалинках, гуляли по базарной площади, зашифровывались в дипломатических депешах...

«Шесть кавалерийских дивизий!! Бронемашины!! Паническое бегство!! Вступили в Тамбов!!»

«Пять тысяч коммунистов на фонарных столбах!!»

«Кутепов! Дивизия Слащева!! Ровно в полдень занята Москва!!!»

Одно было верно: белые наступали. В белом стане так велика была уверенность в близкой победе, что донецкие капиталисты обещали приз тому полку деникинской армии, который первым войдет в Москву. Этот полк получит миллион рублей царскими ассигнациями! Ни больше ни меньше!

П р и к а з
по Южной группе
войск 12-й армии.

Действующая армия. 20 августа 1919 г.

Тяжелый, серьезный момент переживает рабоче-крестьянская советская Украина. Ее, недавно освобожденную от цепей германского империализма, от помещичье-буржуазной гетманской диктатуры, снова рвут белые банды Деникина, Петлюры при активной помощи и руководстве англо-американо-французских капиталистов. Молодой Украинской Красной Армии, защитнице трудящихся масс, приходится выдерживать злобный натиск врагов, жаждущих нашей крови, нашего горя, нашего угнетения, и в героической борьбе мы временно отходим с юга Украины с тем, чтобы, собрав свои силы в единый мощный кулак, расшибить врага окончательно, очистить украинскую землю.

Мы пойдем на соединение с нашими братьями под Киевом, красными братьями России.

Южной группе предстоит совершить боевой переход походным порядком по местности, занятой бандами.

Реввоенсовет требует от всех проявления высшей дисциплинированности; дисциплинированная армия, исполняющая незамедлительно все приказы своих руководителей и начальников, легко выйдет из любого положения.

Всякое неисполнение в походе боевого приказа будет признаваться как предательство и дезертирство и должно караться на месте самими красноармейцами и командирами.

Вперед, бойцы, нам не страшны жертвы, не страшен враг, наше дело — дело рабоче-крестьянской Украины — должно победить.

Вперед, герои! К победе, орлы!

Реввоенсовет Южной группы
12-й армии»

В штабе были двое. Котовский задумчиво смотрел в окно и слушал, как начальник штаба излагал свою точку зрения.

Штаб бригады помещался в вагоне. В нем было душно и никогда не выветривался табачный дым.

Из окон вагона можно было видеть перрон, деревья, железнодорожные склады и раскаленное добела небо.

Начальник штаба Каменский любил точность. И он со всей беспристрастностью, со всем хладнокровием обрисовывал создавшееся положение.

В приказе Реввоенсовета все сказано. Вкратце обстановка такова: в тылу белые, на флангах белые, а больше всего их впереди. Галичане, Симон Петлюра, Нестор Махно, атаманы Маруся, Добрый Вечер, Струк, Хмара, Тютюнник, Волюнец, Заболотный и еще добрый десяток — все хотят гибели советских воинов, и особенно гибели Котовского, предвкушают, как будет болтаться на веревке этот здорово насоливший им красный командир. Теперь-то ему закрыты пути-дороги! Теперь он никуда не денется! И они кружат вокруг, как голодная волчья стая.

Начальник штаба говорил обстоятельно, обосновывал свои слова фактами, старался в то же время изложить покороче, и все-таки это было чересчур длинно, если учитывать температуру воздуха и отсутствие ветра.

— Все? — спросил наконец Котовский.

— В основном все.

— Выводы?

— Вывод один: положение безысходно тяжелое.

— И так много слов ради такой маленькой мысли?

— Гриша, но ведь положение действительно таково.

— Доказывать битый час, да еще в такую жару, что нам остается одно: ложись да помирай. Стоило трудиться! Безвыходных положений не бывает, Каменский! Бывают только трудные положения. Это возможно.

Котовский поглядел еще раз в окно.

— Как ты думаешь, сейчас не меньше сорока градусов в тени? Бери бумагу, пиши: «Приказ». Написал? «Боевая слава и героическое прошлое создали в составе бригады непоколебимую веру в нашу непобедимость»

точка. «Сейчас нам предстоит совершить смелый поход и еще раз беспощадно громить врага, превосходящего нас численностью, вооружением, но не силой» точка. «Мы сильнее, и мы победим. Вперед! В наступление!».

— Может быть, вычеркнем последнюю фразу? — мирно предложил начальник штаба. — Ведь то, что мы предполагаем сделать, — это самое настоящее отступление.

— Отступление? Слушай, Каменский, ты случайно не из северных мест? Ты плохо переносишь жару. Что называется отступлением? Отступление — это когда враг перед нами, а мы пятимся. Вот это точно, отступление. Если же тыла нет, а враг повсюду, куда ни сунься, то движение в любую сторону есть самое настоящее наступление на врага. Приказ прочитать в частях. Распорядись, чтобы коням выдали двойные порции овса. Завтра выступаем.

Начальник штаба был по-своему прав. Предстояло тяжелое испытание, и Каменский не закрывал глаз на то, что их ожидало. Деникин наступал со стороны Харькова, южнее стремительно двигался Шкуро, генерал Слащев захватил Николаев, галицкие части заняли Христиновку и Умань, Петлюра уже хозяйничал в Киеве... Нужно было оторваться от железной дороги, что само по себе таило много бед. Нужно было двигаться по грунтовым и шоссейным дорогам, а иногда и без всяких дорог, по степи. Нужно было вести непрерывные бои, пробиваться сквозь сытые, оснащенные вражеские полчища и упорно, наперекор всему идти на север. Да, или пробиться, или погибнуть...

Но Котовский ни при каких обстоятельствах не позволял себе падать духом. Слово «трудно» вызывало в нем протест. И чтобы вести людей почти в безнадежное дело, надо их воодушевить на подвиг, внушить им уверенность, заставить их поверить в свои силы — и тогда они преодолеют все.

Котовский вызвал командира бронепоезда Куценко. Тяжелый предстоял разговор.

Куценко пришел — приземистый, литой, такой же прочный, как и его бронепоезд.

Поздоровались. И вдруг Котовский почувствовал, что не может произнести этих страшных слов, не выго-

вариваются слова никак... Но произнести их было нужно.

— Куценко, — сказал Котовский.

И оба молчали.

— Куценко, мы с тобой много повоевали... Помнишь, к-как в Вапнярке громили врага?..

— Бывало, — сказал Куценко.

Он не был разговорчив. К тому же он понимал, о чем будет речь.

— Куценко, ты, конечно, приказ к-командования знаешь? Завтра выступаем...

— Знаю, — ответил Куценко. — Взрывчатка приготовлена...

Ну вот, и произносить самое трудное не надо. И без того обоим ясно, что надо бронепоезд взрывать.

Котовский и Куценко помолчали. Нелегко им было. Но были оба не изнежены жизнью. Умели владеть собой.

Котовский сказал:

— Пошли?

Куценко, как эхо, отозвался глухим, сдавленным голосом:

— Пошли.

Он думал, что взрывать придется еще не сегодня. Любил он свою «черепашу» нежной любовью. И должен был своей рукой уничтожить.

Они прошли по железнодорожным путям, ступая на раскаленные солнечным зноем рельсы. Вот и бронепоезд. Солидная громадина! Весь поцарапан. Стальные плиты не пробивает снаряд. Весь защищен от ударов. И весь оцетинен орудийными дулами, тонкими стволами пулеметов.

Экипаж, оказывается, предупрежден. Короткие слова команды — и все до единого выстроились перед бронепоездом, молча, без обычных солдатских прибауток. Выстроились — и смотрят, смотрят напоследок на свой бронепоезд.

Затем железнодорожный свисток... Бронепоезд дрогнул, сдвинулся и пополз...

Его вывели далеко за станцию, в степь.

— Готово! — крикнули запальщики.

Куценко махнул фуражкой. Раздался оглушительный взрыв. Огненные столбы взметнулись к небу...

Котовский увидел: у железного командира бронепоезда навернулись слезы. Он не скрывал их.

— Все, — произнес он решительно.

И стал распоряжаться погрузкой имущества бронепоезда на подводы, а Котовский вернулся в штабной вагон: было еще много дела.

Наконец-то, кажется, жара схлынула. Небо зарумянилось, зарозовело, загрузило. Поникшие деревья расправили листву. Пролетел живительный ветерок. Пахло полынью, ночными фиалками, резедой. Здесь около каждого дома палисадник.

Командир идет к выходу. Вечерняя прохлада встречает его, лишь только он спускается с подножки вагона.

Давно подготовлен конь. Командир грузно садится в седло, конь переступает задними ногами, почувствовав седока, подбирает зад, делает скачок и, цокая по мостовой, идет хорошей рысью мимо станционного садика, мимо выстроившихся в длинный ряд ларей, оставляя позади себя вокзал с его запыленными окнами, с пустой буфетной стойкой и билетной кассой, которую за ненужностью начальник станции приспособил под курятник: все равно нет никаких пассажиров и никто не покупает билетов, а только, угрожая наганом, требуют паровозов, которых давно уже нет.

Пустая безлюдная площадь. Ни души. Никто не торопится к поезду, никто не гуляет, никто не приходит на свидание. Попрятались. Тишина. Говорят, будут обстреливать.

«Спаси, господи, люди твоя!..»

Посреди площади Котовский круто останавливает коня. Минуту они неподвижны — и всадник и конь. Мускулы коня напряжены, он ждет малейшего знака — голоса, легкого движения повода, — чтобы с места пойти галопом или двинуться красивым и нетерпеливым шагом, перебирая ногами, как балерина, идущая на пуантах.

Всадник выпрямился, слушает. Какая тишина!

Местечко молчит. Домики жмутся один к другому, стараются быть пониже, этак понезаметнее. Лишь бы не привлечь внимания, лишь бы пронеслись грозные вихри,

прогремели громы, не задев! Ставни закрыты, привернуты в лампах фитили. И собаки не лают, тоже куда-то попрятались. И деревья замерли...

Говорят, будут бить из артиллерийских орудий... Кто их знает, может, и верно... Ставни закрыты на болты.

«Пронеси, господи!..»

Котовский смотрит мимо, через них, притихших, притаившихся человечков. Он слушает далекое. Настороженность передается коню. Поднял прекрасную точеную голову, прядает ушами.

Котовский думает об Одессе, камни которой обрызганы кровью. Он знает, как действуют казачьи сотни, когда врываются в город, с гиканьем, свистом, пьяные и не знающие удержу.

А может быть, он думает и не об Одессе — обо всей нашей священной земле, которую попирают ногами недруги... Который раз!

Когда народу трудно, смелые берут заботу о его судьбе. И не оттого ли, что русские воины не боятся умирать, великий русский народ бессмертен?

Тишина. Закат тлеет, меркнет, удушливо пахнет полынь. Так она, вероятно, пахла и тогда, когда полчища Батыя надвигались, как черная хмара, по степи и снимали наши дозоры...

Молчит степь! Что она таит, что ворожит?

А может быть, даже не о том думал Котовский в этот настороженный вечер. Он слушал далекое, смотрел в будущее, видел победу. Он не умел нести поражения. Это было просто не в его характере. Он умел побеждать.

6

Полки строились и шли. Так начался этот поход. Шли напролом, через стан врагов, по территории, занятой войсками противника.

Из состава, обслуживающего бронепоезд, образовалась отдельная бронерота. Кроме бронероты, возглавляемой Куценко, в состав бригады влился коммунистический отряд бирзульской районной организации. Отряд пополнился коммунистами, советскими работниками, пришедшими из Балты, Ананьева, из окрестных городков и сел. Все партийцы и активисты, не остававшиеся в подполье, присоединялись к бригаде.

Отряд разрастался, и тогда был сформирован сводный коммунистический полк.

У Котовского не было тыловых, не было таких, которые бы руководили, но не сражались сами.

— Всех способных носить оружие поставить в строй, оставить на подводах лишь ездовых! — приказывал он.

И сам успевал всюду. Здесь подбадривал, там проверял. Он действовал решительно и в то же время учитывал все обстоятельства до мелочей. Он любил повторять:

— Победу обеспечивает смелость плюс точный математический расчет.

Котовский сам проверил подготовку к выступлению бригады.

— Мы немножечко обманем противника, — сказал он начальнику штаба. — Зачем же с первых шагов давать возможность наступать нам на пятки? Мы оставим заслон. Пусть они думают, что мы засели, укрепились и решили отбиваться.

Противник, натываясь на мелкие наши группы, принимая их за выставленные впереди основных сил заставы, начал осторожно, планомерно, обстоятельно окружать местечко, потратив на это много времени и слишком поздно разгадав военную хитрость.

Тем временем полки шли. Никто не оглядывался. В первый же день сделали невероятный бросок.

Позади поднимались столбы дыма. Горели склады, голубым пламенем горел спирт. Невесть откуда взявшиеся мужики лезли прямо в огонь, черпали спирт ведрами, картузами, что только попадало в руки. Вспыхивали столбом пламени и катались по земле, и слышно было, как шипело обгорелое мясо. Но это не останавливало других. Черпали, пили, упивались и тут же валялись бесчувственными телами, уставив в небо опаленные бороды. Никто не обращал внимания на разрывы снарядов.

Чьи части подошли к местечку и обстреляли его из орудий? Один снаряд разорвался на перроне. Со звоном и треском посыпались стекла. Начальник станции, кудрявый, черноусый, полз по перрону, оставляя позади себя кровавый след. Он не стонал. Полз молча, сосредоточенно. Кругом не было ни души.

Проскакал эскадрон, замыкавший движение бригады. И уже далеко-далеко плыло над степью розовое облако пыли...

Бригада с тяжелыми непрерывными боями продвигалась вперед. День сменялся ночью, ночь сменялась днем. Они шли. Полыхало засушливое лето. Они шли.

По раскаленной земле, по серым незасеянными пашням шагали молча, упрямо. Вытягивали передки орудий из оврага и снова шли, измученные, с пересохшими губами, глотая горькую пыль.

Солнце пекло. Сухо трещали выстрелы. Что, опять наткнулись на засаду? Кавалеристы мчались прямо на выстрелы. Клинки мелькали в горячем воздухе.

— Ну, как там?

— Можно двигаться дальше!

Ночью бандиты вырезали заставы. Обоз, состоявший главным образом из крестьянских подвод, постепенно укорачивался и редел: крестьяне сбрасывали с телег ящики со снарядами и скрывались. Далеко им не удавалось уйти: на них охотились и атаман Ангел со своей никогда не протрезвляющейся оравой, и Заболотный, стяжавший широкую известность неслыханной жестокостью и изуверством.

— И на что надеются? — удивлялись бойцы. — Ведь на верную гибель идут!

— Надеючись и кобыла дровни лягает, — авторитетно заявлял Савелий.

— Эх, кабы сейчас дождика! — вздыхал кто-нибудь, сплевывая липкую слюну вместе с песком, который набивался в рот, в глаза, в уши.

— Кабы не кабы, стала бы кобыла мерином! — тотчас отзывался Савелий: у него на все случаи были поговорки.

Шутка, присказка, улыбка — и уже легче двигаться дальше.

Котовский заболел малярией, но упорно не поддавался болезни. Даже сам подбадривал других. Папаша Просвирина неумоимо хлопотал около своих пушек, доставлявших много возни. Казалось, совсем не чувствовал жары Няга. Он улыбался и сиял. Мохнатые ресницы его стали серыми от пыли. Конь тяжело дышал и непрерывно жевал железо. А сам Няга ничуть не изменился. Он не меньше прежнего любил солнце, небо, коня и так

же был бесстрашен и неутомим, и голос его был так же звонок. Няга рыскал по окрестностям, никогда не давал застигнуть себя врасплох и нападал сам, не дожидаясь нападения.

— Товарищ комбриг! — ликовал он. — Смотри, какое красивое небо! Как горячая сковородка, честное слово! Можно баранину поджаривать!

Гонялся за бандитами, которых обнаруживала разведка, возвращался и говорил:

— Интересно, куда девались дожди? Наверное, все были израсходованы еще прошлой осенью.

Котовский тоже всегда в прекрасном настроении. Даже тогда, когда у него такого настроения нет. Он должен поддерживать дух бойцов. На него смотрят как на барометр. Бодрое, уверенное лицо у командира — значит, не так уж плохо, значит, нечего и унывать.

— Нам трудно, — говорил Котовский, — нас замучила засуха, извели сухие ветры, нам осточертели тучи песку. Но погода-то одна, что для нас, то и для противника. Значит, и его печет? И ему песком забивает уши, горло, глаза, как и нам? Вперед, друзья! Мы-то перенесем, мы крепкие, и, значит, жара нам в помощь служит, жара за нас, товарищи, против врага!

— Это верно, — соглашались бойцы, вытирая пот, увязая в горячем песке, снимая облупившуюся кожу со лба, — в полдень они редко нападают, все больше вечером, по холодку! Нежные, собаки!

В минуты коротких передышек бойцы подсчитывали свой «расход и приход» в результате боя, то есть сколько истрачено патронов в бою и какими трофеями удалось восполнить свое боевое хозяйство.

Постоянно двигаясь, постоянно оказываясь в самых неожиданных местах, то преследуя противника, то ловко уклоняясь от массированного удара и обманывая врага (это был любимый маневр Котовского), бригада всегда оказывалась далеко от тылов и штабов. Да и то сказать: много ли могла дать фронту республика, которая сама перебивалась на осьмушке хлеба, сама подсчитывала каждый патрон! Котовцы привыкли сами заботиться о пополнении запасов. Убит в бою петлюровец — значит, во-первых, одним вражиной меньше, во-вторых, глядишь, патронами запасешься, а то и гранату добудешь, револьвер заведешь: ведь о гайдамаках-то

все буржуазные страны заботятся, у них всегда полный патронташ. Вот и хорошо получается.

Трудный поход продолжался. Выпадали дни, когда бандиты делали налеты подряд по пять, по десять раз — только успевай закладывать патроны. Одно никогда не удавалось противнику: застать врасплох, вызвать смятение. Еще не удавалось этим многочисленным бандитам разгадать намерения комбрига.

Котовский внезапно менял направление, форсировал с бригадой реки и взрывал мосты... Переправлялся вброд, заставляя противника искать бригаду на том берегу... Котовский появлялся там, где его не ждали, и тут уж не давал пощады. Он первый бросался на расстроенные ряды противника, кавалеристы не отставали — и не выдерживали враги стремительного натиска. Их гнали, преследовали, но только в меру необходимости, чтобы расчистить дорогу, чтобы открыть отступающим частям путь.

Легко сказать — выйти из окружения таким крупным соединением! Выйти и не растерять по пути ни артиллерии, ни обозов!

Постоянно находясь в движении, проверяя состояние обоза, воодушевляя бойцов, давая наказы кавалеристам, Котовский не находил времени для раздумья. И так неожиданно напомнил ему Чобра о том, что было в груди: о Бессарабии, о далекой родине!..

Чобра не видел его. Он медленно двигался по дороге. Конь у него хотя и привык уже ко всем испытаниям, однако сильно сдал — и поступь была не та, что прежде, и глаза стали печальные. Оводы одолевали, но конь и от оводов отбивался лениво.

Чобра не видел Котовского. Он погружен был в свои думы. Он тихо напевал старинную народную песню, молдавскую дойну.

Котовский придержал коня. Ехал так, чтобы Чобра его не заметил. Чобра пел:

Лист зеленый барабоя,
Поет Раду на чимпое...

— Здравствуй, Чобра! — окликнул наконец Котовский. — Тоскуешь?

Чобра ничего не ответил. Только вздохнул.

— Нельзя унывать. Думаешь, мне не трудно? Все равно наша возьмет.

— Конечно, возьмет.

— А поешь ты хорошо. Вот послушал тебя — и легче на душе стало.

— Разве я пел? — удивился Чобра.

Подумал и добавил:

— Мои ноги идут на север. А сердце идет в Молдавию.

— Иногда, чтобы освободить юг, Чобра, следует двигаться на север, — отозвался Котовский и пустил рысью коня.

Небо полыхало зноем. Пахло горькой полынью.

7

Марков мучился со своей норовистой Мечтой. У Мечты заметно портился характер. Она капризничала, упрямилась, злилась. Она выбирала удобный момент и сбрасывала седока. А то закусывала удила и несла Маркова по степи, по кустарникам, по пескам и буеракам. У самой пена разбрызгивается, пот прошибает, но скачет, чтобы досадить.

— Экой ты! — терпеливо объяснял Мише Савелий Кожевников, когда Миша возвращался с такой вынужденной прогулки. — Разве можно так? Руки должны быть мягкие. Руки — поощрение. Ноги — приказ. Ты губу не трогай, она обижается, когда ей губу трогают. И ни за что не показывай, что она вывела тебя из терпения. Она баловать, а ты настаивай, настаивай на своем, твердостью ее подчиняй.

Мечта как будто поставила целью устраивать неприятности Маркову. Она была очень умна, эта бестия! Она изучила все его повадки, знала каждое его движение. Она наперед предугадывала его намерения. Иногда она прикидывалась послушной, уж такой послушной — Марков прямо не нарадуется. Она спокойно давала сесть в седло, шла красивой рысью — а ведь она была красавица, все это признавали! Марков начинал уже думать, что отношения у них налаживаются, и гордая улыбка играла на его лице. Но тут-то она и преподносила ему какую-нибудь каверзу!

Она презирала его. Все ее поведение говорило:

«Что вы мне подсунули какого-то мальчишку? Дайте мне достойного, солидного седока!»

У нее портилось настроение, как только он появлялся поблизости.

С завистью приглядывался Марков, как скачет Котовский. Красивое зрелище! Впечатление получалось такое, что они вместе думают и решают, как поступить дальше — и конь и седок. Это была дружба, фронтовая дружба коня и всадника, когда оба понимают, что выпало серьезное испытание, и нужно его выдержать, и нужно друг друга выручать.

— Человек мелкий, пустяковый никогда не будет ездить, — говорил задумчиво Савелий. — Себя расти, тогда и коня воспитаешь. Характер надо вырабатывать.

— А разве я не вырабатываю? Не хуже других держусь.

В этих горестях и разочарованиях, сменявших рождающуюся надежду, Марков не так тяжело переносил трудности пути. Внимание отвлекалось от личных лишений и невзгод. Он весь поглощен был заботой, как бы приручить к себе непокорную Мечту.

Испытывая жажду, он думал о жажде коня. Небось каково коню сидеть на жесткой норме, на пайке, который устанавливает непреклонный Няга всякий раз, когда они добираются до воды, а это случается далеко не часто! Полведра на коня, котелок на человека! И все равно, любой колодец бывает вычерпан до дна. Хорошо еще, если попадется на пути речка, но и тут не сразу доберешься, потому что все бросаются пить.

Марков неизменно думал сначала о коне, потом уж о себе. Если уставал, то спешил поскорее дать отдых Мечте. Несмотря ни на что, он любил Мечту. Он очень любил ее. Он только и высматривал, где бы раздобыть для нее чего-нибудь вкусного. Не задумываясь над тем, что может нарваться на засаду, отпускал коня на траву, выискивая хорошую поляну. С каким азартом она щипала траву! Как работали ее челюсти! Марков делился с ней хлебом, приучил есть сахар...

Вырвавшись вперед бригады, беспечно мчался он к хутору в один из этих душных, невыносимых дней.

Он умел теперь быстро выхватывать клинок, знал правило: если в тебя прицелились и ты прицелился —

выстрели первый. Он отвык бояться. Выработалась зоркость, появилась наблюдательность, потому что все это было жизненно необходимо, без этого человек быстро погибал.

Завидев хутор, Миша возликовал, дал шенкеля и помчался к хутору прямо через поле, хлебами: он уверен был, что около хутора окажется колодец и что ему удастся первому напоить коня.

Хутор был брошен. Настежь распахнуты двери. У крыльца еще не завял березовый веник. Должно быть, наломан сегодня, но вряд ли успели им подмести пол. Ни кур, ни коровы, ни дворового пса, хотя в собачьей будке еще свежая подстилка. Несколько поленьев валяются у сарая. К толстому чурбану приставлен старый, ржавый колун. Кто-то собирался наколоть дров, но так и не наколот и поспешно покинул хутор. Огород возле дома. И даже сохранились на влажной земле между политых гряд следы башмаков хозяйки дома. Только что отцвел мак. Никнут тяжелые головы подсолнухов.

Какая печальная картина! Какое безмолвие! И каждая вещь рассказывает о чьей-то простой и домовитой жизни.

Марков все это охватил быстрым взглядом. И прежде всего заметил колодец — большой, прочный, с журавлем и ведерком, болтающимся на веревке.

— Есть!

Марков спрыгнул с коня и подбежал к колодцу. Как много воды! Какая приятная свежесть и сырость веет оттуда! Марков слышал уже топот и голоса. Конники были близко.

Зачерпнул ведром, так что расплескалось. Капли, падая вниз, звенели и сверкали в прохладной зеленоватой полутьме, как звезды.

Мечта, подрагивая кожей, чтобы отогнать мух, шагнула ближе и тихо заржала.

— Ах ты, миленькая моя! Небось рада-радехонька? Пей! И зачем ссориться? Небось вкусно? Пей сколько хочешь! Ты знаешь, как я тебя люблю!

Он даже позабыл в этот момент, что сам умирает от жажды. Он так радовался, что Мечта подошла к ведру воды, красиво и трогательно вытягивая шею. Он смотрел, как она пьет. Ведро он поставил на краю колодца

и видел, что голова лошади отражается внизу, в квадрате отсырелых замшелых бревен сруба, там, далеко внизу, где чуть поблескивала вода.

Мечта глотала шумно, громко, с каким-то даже бульканьем в горле и животе. По-видимому, она была очень довольна и благодарна. Она на минуту оторвалась от воды и ткнулась розовой мокрой мордой в рукав гимнастерки Маркова, как бы говоря:

«Ладно, чего поминать старое! В общем-то ты, Марков, хороший парень, и у тебя доброе сердце!»

В это время Марков увидел вдали командира эскадрона. Еще минута — и колодец будет взят под контроль. Полведра воды на коня, котелок воды на человека!

Марков выплеснул остатки воды в ромашки, росшие у колодца, и зачерпнул еще полное ведро. Глаза его неотрывно, жадно смотрели на прекрасную, студеную, прозрачную воду. Не отхлебнуть ли хотя бы глоток самому? Однако он выдержал характер:

«Дам еще ей, а потом уж...»

Он поставил ведро опять на краю сруба:

— Пей, да побыстрее, не то попадем на норму!

Он оглянулся, удивленный, что Мечта медлит. Что это?! Он даже не узнал лошади: глаза у нее помутнели, она как-то странно скалила зубы... Затем стала падать, падать... и рухнула на землю, вытянув ноги...

Марков стоял окаменелый и в ужасе смотрел. Сначала он ничего не понимал. Что случилось?

Она еще была жива. Пена шла у нее изо рта. Они встретились взглядами. Она упрекала!

Что он наделал?! Вода отравлена! Это не первый случай, и ему следовало быть осторожнее. Марков понял весь ужас происшедшего, и отчаяние охватило его:

— Лошадушка! Милая! Прости, ради бога! Ну как же это так? Что я без тебя буду делать?!

...Когда у колодца собрались конники, они увиделидохлую лошадь, которую целовал в морду и в белую звезду на лбу, обливаясь слезами, молодой боец.

Солнце пекло. Небо плавилось, как голубая сталь. Позади движущейся колонны стояло желтое облако пыли.

Колонна упорно двигалась вперед, неуклонно держала путь на север. Котовский говорил бойцам:

— Вы сильные! Вы все можете!

И бойцы верили, что они сильные, что они все могут, Да! Они все могли!

Когда подошли к большой живописной Песчанке, был субботний день и по всей деревне топились бани. Шла война. В кровавых битвах исчезали целые дивизии. С места на место передвигались фронты. Содрогалась земля от взрывов. Но в Песчанке с наступлением субботы (банный день!), невзирая ни на какие мировые потрясения, должны были топиться бани.

Плечистый здоровяк Колесников примчался полный воодушевления к комбригу и уговаривал его попариться:

— Баню я высмотрел — честное слово, лучше не бывает. Полók — белейший, выскоблен, вымыт, так и манит забраться на него и нахлестать спину и бока горячим веником! И чтобы пар стоял такой, что света божьего не видно, и чтобы дух захватывало, и чтобы покрикивать: поддай! поддай еще! Это же сказка!

Мог ли Котовский отказаться от такого удовольствия?

Баня и на самом деле оказалась замечательной: пол деревянный, лавки широкие, котел вделан в печь необъятный, воды сколько душе угодно и веники припасены.

Ну зато и мылись же они! Мыльная пена ручьями стекала под пол. Камни, наложенные в печь, раскаленные, пышущие жаром, шипели, когда в печку выплескивалось с размаху ведро воды. Пар со свистом вырывался оттуда, обжигая ноги, и устремлялся вверх, к потолку.

— Еще ведерко!

— Ну и баня! Красота!

В это время дверь распахнулась, и в клубах пара появился ординарец:

— Товарищ командир! Петлюровцы!

Как бы в подтверждение его слов где-то совсем близко застрекотал пулемет.

— Принесла нелегкая... Жди с конем на опушке! Нечего делать, окатимся да одеваться...

Кто-то проскакал мимо. Где-то ухнула трехдюймовка. Кто-то под самым окном закричал:

— Тикай!.. Тикай, Галья! Щоб воно сказилось!

Котовский застегивал рубашку, когда в баню ворвались двое петлюровцев, оголтелые, сторяча и сдуру. Вбежав с улицы после яркого света, они не могли ничего различить. Да если бы и могли, то не успели бы. Щелкнуло два выстрела, и оба упали и запрудили телами стекавшую мыльную воду.

Котовский и Колесников перепрыгнули через трупы и выскочили в предбанник, а оттуда на улицу.

Какое яркое солнце! Как дышится!

Котовский глянул направо, глянул налево. Он с одного взгляда оценил обстановку: главная улица занята противником, на северной окраине залег полк Колесникова, туда уже помчался и он сам. Это хорошо. Оттуда можно попробовать отбросить противника. Стало быть, добраться огородами и дальше, осиновой рощей, до своих и, не теряя времени, — в атаку.

Очувшись на коне, Котовский вдохнул полной грудью горячий воздух и такие мирные, не вяжущиеся с обстановкой боя запахи укропа, конопли... Котовский поправил фуражку. Его голос, самый вид его, самое его присутствие вносили уверенность и успокоение. Кое-кому уже было неловко за минутную растерянность и отсутствие инициативы.

А вот и сияющий Няга проскакал со своим эскадронном по мелкому кустарнику, отрезая Песчанку с южной стороны.

— Бойцы! — воскликнул Котовский. — Бани натоплены в Песчанке. Неужели париться в них будут эти бандиты, а не мы?! Неужели мы уступим им наши веники?

И так показалось обидно, что срывается отдых, который все предвкушали, вступая в Песчанку...

Бани ли решили дело или вообще котовцы не любили уступать, но к вечеру Песчанка была очищена от петлюровцев.

И еще были бои. Бригада проходила через леса и овраги, мимо сел и городов, с их нарядными улицами, старинными часовнями, с тихими, заросшими бузиной кладбищами, с кирпичными трубами сахарных заводов...

И вдруг натолкнулись на непреодолимое препятствие: станция Попелюхи отбивала все атаки, не давала

даже приблизиться. В обозах 1-й бригады произошла паника, когда начала бить артиллерия противника. Обозы завернули и в беспорядке помчались в сторону Песчанки...

По-видимому, задача противника была заставить Котовского идти не по тому маршруту, какой он избрал и какой был единственно правильным, а так, как было выгоднее для петлюровцев. Они сосредоточили на станции Попелюхи войска, артиллерию, да и позиция давала им преимущества. Между тем Котовский понимал, что идти надо только через Попелюхи. А раз так, значит, они и пойдут через Попелюхи, какой может быть разговор!

Людей было маловато для охвата Попелюх. Котовский создал отряды из своих обозников и штабистов. Всех поставил под ружье. Он сумел их так настроить, что писаря, ездовые — все готовы были доказать, что и они не лыком шиты.

Усталость чувствовалась в бригаде. Котовский объезжал свои части на добытом в пути трофейном «форде». Конечно, он предпочел бы хорошего коня, но «форд» тоже действовал на психику. Котовский говорил бойцам:

— Смотрите, как враги улепетывают, побросали даже свои «форды»! Капиталисты на них не напасутся. А «форды» и нам послужат!

Котовский умел пошутить, вызвать улыбку. Смех освежает, дает бодрость и хорошую зарядку.

Комиссары ежедневно проводили беседы. Умели они затронуть в бойцах какие-то душевные струны. Говорили просто, доходчиво: контра, мировая революция, беднота, золотопогонники... Это были всем понятные слова. Они звали к борьбе и победе.

Вечером Котовский пересаживался с «форда» на пулеметную тачанку и отправлялся прощупывать фланг противника.

— Мы-то пробьемся, — говорил он озабоченно, — обоз бы выручить, без обоза нам никак нельзя!

Во время одной из стычек под Котовским был убит конь. Котовский сменил коня и поскакал дальше. Неподаром враги считают, что его пуля не берет! Одни думают, что он заговоренный, другие уверяют, что у него под рубашкой кольчуга. Котовский только смеется:

— Бойся дальней пули, близкая пуля не убьет.

И вот ему удастся вселить уверенность в каждого бойца, наполнить сердца отвагой, создать такой боевой дух, который пробивает бетон и железо, одолевает каменные стены и глубокие рвы.

Иван Белоусов высмотрел удобный овраг, позволяющий вилотную подойти к позициям противника. Няга уже лазит по тылам и наводит панику на штабы врага. Папаша Просвирин — человек экономный, но на этот раз вздохнул и сказал:

— Разживемся где-нибудь еще, а пока что лупите от всей полноты артиллерийского сердца! Огонь!

Отличительной его способностью было умение использовать свои пушечки, как он говорил, на все сто: пристреливался к цели, а потом обрушивал в эту точку сосредоточенный огонь, такой, что нельзя было различить отдельных выстрелов.

Через двое суток котовцы ворвались на станцию Попелюхи. Да ведь у них и не было другого выхода. Им нужно было пробиться во что бы то ни стало!

Станция взята. Громыхает обоз через переезд. На железнодорожных путях бойцы обливают керосином вагоны и поджигают их. Бронепоезда набивают снарядами и взрывают. Паровозы пускают навстречу один другому. Грохот. Взрывы. Горят пакгаузы. Возле железнодорожной насыпи много трупов, здесь оказано было особенно яростное сопротивление.

Ведь казалось, что совсем замкнулось кольцо, враги были позади и впереди, слева и справа. Но Котовский сумел нащупать уязвимое место, на станции Попелюхи колонна прорвала окружение, уничтожила все, чтобы не досталось врагу, перевалила через железнодорожную линию и двинулась дальше. Противник не успел даже разобраться в обстановке и не понял, что котовцы уже далеко.

— Теперь мы можем сказать уверенно, что достигнем нашей цели! — торжествовал Котовский. — Пока враг почесывает ушибы после Попелюх, мы уже будем за Бугом!

— Эх, снарядов я мало запас в Попелюхах! — ворчал Провирин. — Времени было в обрез, а то бы я, конечно, не растерялся!

Позади слышны были артиллерийские залпы: это, не разобравшись, деникинцы били по петлюровцам, а пет-

люровцы открыли убийственный огонь по деникинским окопам. Своя своих не спознаша.

Несмотря на все трудности, на все потери, на все страдания, люди двигались вперед, враги кружили вокруг, но Котовский избегал столкновения, где ему было это невыгодно, и нападал там, где его не ждали.

Не хотелось врагу выпустить из рук Котовского — вот как не хотелось! Рыскали шакалы, таились в каждой балке, лязгали зубами. Но неизменно отбивалась бригада Котовского и неотступно шла по намеченному пути.

Каждое село, каждую опушку леса приходилось брать с боя. Петлюровцы бросались на них с криками: «Слава!» Неслись на вороных конях махновцы. На черном знамени у них было написано синими буквами: «Мы горе народов утопим в крови». И горя они причиняли много.

Когда в очередной схватке опрокидывали врага, его не преследовали. Зачем? Преследовать не имело смысла. Дальше, дальше! Основная цель — идти на соединение с главными силами, с 44-й дивизией, которая где-то близко. Теперь уже стало ясно, что худшее осталось позади: удалось установить по радио связь с 44-й дивизией, она спешит на выручку Южной группе. Еще одно усилие! Еще переход!

Красноармейцы выходят на шоссе:

— Даешь Житомир!

Опрокинув врага, Котовский опять сумел его перехитрить, внезапно повернув на юг. Форсировал реку Южный Буг у села Хощевата и вывел этим маневром из-под удара группу прикрытия.

Житомиром овладели с ходу.

Отбившись от четырнадцати банд, пройдя четыреста километров по тяжелой, оцетиненной вражьиными штыками дороге, Котовский привел своих славных бойцов к прохладным водам реки Гуйвы.

Здесь котовцы встретились с 44-й дивизией, здесь были основные силы Красной Армии, здесь ждал сладостный отдых.

Какое счастье выбраться из вражьего стана и очутиться снова в родной семье! Несколько дней было общее ликование. Многие встретили знакомых, родных,

земляков. Гомон стоял. Смех вспыхивал то там, то тут.

В этот памятный день Котовский, Няга, Колесников, Криворучко и еще несколько командиров сидели в просторной гостеприимной комнате за фыркающим старомодным самоваром — чистые, распаренные после бани, счастливые, в чистейшем, выданном со складов белье. Как непривычно было обыкновенное человеческое жилище, с голубенькими цветочками обои, фуксии в глиняных горшках на подоконниках!

— Обратите внимание, — говорил Колесников, — вот уже скоро сутки мы находимся здесь — и никто в нас не стреляет. А я уже думал, что нет такого угла на земле, где бы не слышно было пулеметной очереди...

— Хозяюшка, разрешите еще стаканчик чаю!

— Пожалуйста, кушайте на здоровье!

— Обратите внимание! Оказывается, еще есть на свете самовары и приветливые хозяйки!

И все они пили с упоением чай, разглядывали белую домотканую скатерть, чашки с голубой каемочкой...

Да, конечно, было чудом, что они выбрались живыми из этого крошечного ада! Что говорить, не все уцелели, много полегло на пыльных дорогах, в степи, в придорожных кустарниках, в больших и малых столкновениях с врагами. Сейчас, когда все это кончилось, не верилось самим, что они совершили этот удивительный переход, что вырвались из объятий смерти.

На другой день Котовский был на вокзале. Трогательно распрощался он с бирзульскими коммунистами. Их откомандировали для усиления 1-й стрелковой бригады, и они уезжали в Малин.

Много чего испытали вместе. Беды и опасности, пережитые сообща, навеки скрепляют дружбой.

— Товарищи! — сказал Котовский. — В тяжелую минуту вы стойко шли вперед. Опасность угрожала нам со всех сторон, изо всех углов и нор лезли вражьи силы, но вы ни разу не проявили малодушия. Во всем вы были настоящими коммунистами.

Произнося эти слова, Котовский подумал:

«А разве я — не коммунист? Давно бы надо оформить мое вступление в партию...»

Недолго продолжался отдых бригады. Вскоре Котовского вызвали для переговоров.

— Известно ли вам, товарищ Котовский, что революция в опасности, что Деникин подходит уже к Орлу, что Ленин призывает нас на борьбу с Деникиным?

— Известно, — ответил Котовский.

— Теперь дальше. В бане вас помыли? Чистое белье выдали? В смотре вы участвовали? Награды получили? Два дня отдыхали? Можно вас считать свежим пополнением?

— Определенно можно, — ответил, улыбаясь, Котовский.

И котовцам было поручено сменить Третий Интернациональный полк, который отходил на отдых.

— Скажи, пожалуйста! — удивлялись котовцы, занимая позиции Интернационального полка. — Ведь вот кто они? Французы, конечно... ну и там англичане... Есть ведь среди них и англичане, товарищ командир, и немцы тоже? А поди ты — сознательные!

Савелий Кожевников заботливо осмотрел окопы. Сырые, но сделаны опытной рукой.

— Что ж, — рассуждал он, — здесь, безусловно, воевать сподручнее, здесь тебе и окопы, и всякое устройство, опять же тыл.

Котовцы начали с того, что заняли с боем западную часть Новой Гребли. За остальную часть села противник цепко держался.

Теперь две воюющие стороны разделял один ряд деревенских дворов, с плетнями, курятниками и овинами.

Каждому бойцу выдано по пять патронов. Маловато, но достаточно, чтобы победить. Котовский приучил к экономии. Он внушал бойцам: если мало у тебя, бери у врага. Капиталисты поставляют белогвардейцам много оружия. Бей врага его же оружием!

Миша Марков, конник без коня, после гибели Мечты отпросившийся в пехотную роту, уже сделал два выстрела, и двое упали на той стороне. Привыкли там, что по ним мало стреляют, и свободно разгуливали по брустверу.

Марков лежал на животе.

Земля была влажная. Быстро смеркалось, и выпали звезды на небе.

Пулемет строчил где-то слева. Но и это не нарушало величественного спокойствия природы.

Чертовски хотелось курить. В Житомире выдали махорку, по две пачки на человека. Во рту накоплялась слюна. Марков сплевывал. Рядом лежал Савелий. Он все расспрашивал о Киеве:

— Что, ничего город? Ну вот с Одессу или как?

Марков рассеянно слушал. Савелий все удивлялся, как много настроено городов. Савелию хотелось, чтобы и Марков тоже удивлялся этому. Но Марков не удивлялся.

— А за Киевом что? А река здесь какая?

— Днепр.

— Здорово! И песни про него поют, а мы его форсировать будем!

— Сражений здесь хватало. Город-то седой.

И Миша сам вдруг почувствовал волнение. Седой! Дед городов русских!

Здесь шли полчища печенегов. Под Овручем пал в бою прославленный князь Олег. Здесь шли в кольчугах. Рубили мечом.

«Кровавые берега Немига не зерном засеяны, засеяны костями русских сынов... Печалью взошел этот посев на русской земле... На Немиге стелют снопы из голов, молотят булатными цепами, на току жизнь кладут, веют душу от тела...».

Марков подумал, что, может быть, завтра и он... Подумал светло, с грустной гордостью.

Видения былого носились перед его взором. Скрещивались копья. Стрелы, пущенные тугой тетивой, свистели в воздухе. Шел Батый. Один за другим города закрывали крепостные ворота. Бились до последнего. Умирали, чтобы воскреснуть..

Какая короткая ночь! Вот она и кончается. Звезды гаснут...

Марков крепко сжимает винтовку. Сегодня наступление.

Марков расстегивает ворот гимнастерки. Двигает пальцами ног, с удовольствием ощущая новую подметку: только что выдали на бригаду «мозаичные» ботинки, из-

готовленные из обрезков кожи. А некоторые получили тяжелые армейские бутсы, почему-то все на одну ногу.

— Покурить бы! — вздыхает Марков.

— Нельзя, — отзывается Кожевников, — по уставу не положено. Вспышка спички видна за километр, огонек папиросы — за триста метров.

— Знаю.

Бой заглох. Дроздовцы решили выспаться, у них тоже готовили наступление. Они наметили наступление на полдень, с подходом резервов. Разведке Котовского удалось это разузнать. И Котовский решил ударить по врагу на рассвете.

2

В Киеве, на Крещатике, движение. Ярko освещены кафе. Улицы кишат военными. Много духовенства, черных медлительных старух. В церквях горят свечи, идет богослужение. У церковных оград нищие — совсем как в мирное время!

В кондитерских полно народу. Битком набиты и кавказские «Шашлычные», и увеселительные сады «Буфф», и «Трокадеро». Кишмя кишат притоны, кафешантаны и публичные дома.

В Киев съехалось множество самого разнокалиберного сброда. Все хотят наживы, торгуют бриллиантами и вагонами кожи, валютой и женщинами, акциями сахарных трестов и министерскими портфелями... Торгуют и тут же вспрыскивают торговые сделки около буфетных стоек...

Полуголых танцовщиц сменяют прыщавые, в вышитых рубашках балалаечники... И кто-то за столиком, где в шпроты воткнуты окурки и по скатерти разлито красное вино, декламирует сквозь икоту:

Будь же проклят. Ни стоном, ни взглядом
Окаянной души не коснусь,
Но клянусь тебе ангельским садом,
Чудотворной иконой клянусь
И ночей наших пламенных чадам —
Я к тебе никогда не вернусь!

Официант, лавируя, несет поднос с двумя порциями шницеля, фруктами и замороженным шампанским.

Пьяная компания офицеров нестройно горланит:

Да будет бессме-ертен твой царский род.
Да и-им благоде-енствует русский народ!

Бледный, со страшными, безумными глазами капитан дирижирует вилкой.

А рядом с не меньшим усердием опереточные националисты в шароварах, взятых прямиком из гоголевских «Вечеров на хуторе близ Диканьки», тянут пьяными голосами «Ще не вмерла Украина»...

Давно перевалило за полночь, но Киев не спит. Сверкает старое золото Софийского собора, и тускло поблескивают погоны штабных офицеров. Звякают шпоры. Надрываются скрипки в чадных ночных кабаках. Поют церковные певчие. На площади чернеют тяжелые английские орудия, и возле них бродят безмолвные часовые. Где-то на Подоле или у кладбища в Щековицах воет собака...

Брякнул выстрел. И хотя давно все привыкли к стрельбе, но все-таки прислушиваются: что за выстрел? Кого-нибудь расстреляли? Или какой-нибудь пьяный капитан, выйдя из ресторана, выхватил наган и — бац бац! — в воздух, от полноты чувств? А может быть, разъезд наскочил на красных?

Снова тишина. Молоденький офицер, проходя мимо освещенного входа в церковь, вдруг круто свернул, поднялся по каменным ступеням, миновал толпу старух, вошел в церковь и тихо встал у колонны, прислушиваясь к монотонному чтению дьякона и вглядываясь в мерцание восковых свечей перед ликом божьей матери.

Давно перевалило за полночь, но Киев не спит. Во всем — и в пьяном разгуле, и в тишине садов, и в этом не прекращающемся ни днем ни ночью богослужении — напряженность, тревога, нетерпение... Разве можно сомневаться в победе?! Правительства всех цивилизованных государств взялись за это дело и кровно заинтересованы в успехе. Но почему так смутно на душе?

Старухи молятся: «Божья мать нерушимой стены! Спаси и помилуй!» Прозрачный, кружевной Андрей Первозванный высится над городом, как будто возносится в небо. Где-то около лавры бухает трехдюймовка.

В эту ночь на одной из скамеек Бибиковского бульвара, под сенью деревьев, сидели двое. Это была встреча

друзей, шумная, бестолковая, как и все подобные встречи.

Когда-то оба были в Путьском, в Питере.

Всеволод Скоповский учился только потому, что надо было все-таки получить образование. Но образования он так и не получил. В семнадцатом году Всеволод Скоповский еле избежал солдатской расправы, пристроился в Москве на службу, а вскоре нашел тайных покровителей и стал работать на одну иностранную разведку.

Сейчас Всеволод Скоповский на погонах носил два крохотных орудийных ствола, положенных крест-накрест, и шинель у него была очень длинная, и он уже научился презирать все другие рода войск, особенно «пехтуру».

Второй из встретившихся друзей — Николай Орешников, недавно покинувший Одессу.

Этот, напротив, мечтал сделаться новым Кербедзом и строить такие же великолепные мосты. Но жизнь сложилась иначе, он угодил в школу прапорщиков и стал взрывать мосты, вместо того чтобы их строить.

Все это и было предметом их сумбурных разговоров.

— На чем я остановился?

— Ты сказал, что твой отец...

— Да, да... он отхлопотал мне место в артиллерийском училище. Но там особенно не разводили рацеи: раз, раз — и в Арзамас! И я уже на позиции. А ведь папаша-то рассчитывал укрыть меня в училище от всех катастроф и сохранить для продолжения нашего старинного рода!

Оба улыбнулись и некоторое время разглядывали друг друга молча.

Встретились они совершенно случайно. Обнялись, поцеловались, по-мальчишески гоготали, привлекая внимание прохожих. Затем пошли в кафе, выпили пива. Но так как за кружками не успели рассказать и половины того, что хотелось, то решили пройтись. Потом сели на скамейку, чтобы мирно выкурить по сигарете. И опять раздавался вопрос: «Так на чем мы остановились?».

— Сева! А можно тебя спросить о серьезном? Как ты думаешь: мы победим?

— Ну, милейший, я вижу, ты все такой же младенец, как и был! Если для тебя недостаточно убедительно

мое мнение, я могу привести высказывания крупнейших военных авторитетов, политических деятелей, наконец. Да разве ничего не говорит уже один тот факт, что мы с тобой сидим в Киеве, а добровольческие части вот-вот будут под Москвой?

— Очень хочется победить. Или не хочется? Я за последнее время часто задумываюсь над этим: хочется мне победить или не хочется?

— А жить тебе хочется? Числиться европейской страной, а не азиатчиной — хочется?

— Сева, ты пойми, что я прошел все испытания, всё видел. Меня два раза водили на расстрел, я болел тифом, замерзал, был ранен, ходил в психическую атаку... Я истратил все запасы страха, какие могут вмещаться в человеке, и я уже ничего не боюсь. Вместе с тем я столько видел человеческой ворвани, столько гадости и цинизма, что утратил вкус к жизни. Осталось одно астральное любопытство: чем все это кончится и что это есть? Просто хочется осмыслить. А смысла нет. А без смысла трудно. Ты меня понимаешь?

— Я никогда не был философом. Я эстет.

— Разве эстетично, что офицеры военного времени, то есть бывшие студенты, учителя, дерутся с мужиками, нижними чинами, не сумев воздействовать на них разумными доводами, просто превосходством развития?

— Конечно, эстетично! Их и следует бить. Это же быдло...

— И еще. Может ли победить армия, идущая против народа?

— Ну, знаешь! Народ — это хорошо звучит, может быть, в учебниках. А я не люблю жупелов. Кого ты имеешь, в виду, когда благоговейно произносишь это слово «народ»? Этих орангутангов, устраивающих на базарной площади кулачные бои? Кухарок, которые воруют у господ провизию? Сиволапых мужиков, которые привозят на базар сено?

— Я говорю о народе, который строил этот город. О тех, кто создал еще много других изумительных вещей, выпестовал гениев, породил прекраснейшую в мире, непревзойденную литературу... музыку...

— Понял! Кто дал человечеству Пушкина, Исаакиевский собор и Чайковского! Свежо, ново, самобытно, увлекательно! Что лучше: один Пушкин на сто миллио-

нов дикарей или просто культурное общество? Ты, я — это, по-твоему, не народ?

— Мы — только пленка. Тонкая пленка на молоке. Дунул — и нет нас.

— Мы — сливки. Да, если хочешь знать! Сыворотки больше, но сыворотку отдают свиньям!

— Я вижу, тебя ничему не научили эти годы.

— Многому научили. Только бы победить. А уж тогда...

— Договаривай.

— Тогда... — Скоповский мечтательно задумался. — Тогда мы примем меры, чтобы никто не бунтовал. Причешем матушку Россию!

— А у меня нет веры. Вхожу в деревню... то есть врываюсь в деревню с оружием в руках, и вижу: я не освободитель, я — вооруженный оккупант.

Соповский презрительно посвистел:

— Психология! А вот факты: армии настоящей у них нет? Нет. Военные специалисты — у нас? У нас. Какие у них и есть офицеры — и тех они расстреливают. Оружия у них нет? Обмундирования нет? Согласись, что без штанов воевать просто как-то неудобно. Нефти, угля, даже хлеба у них нет! Ничего у них нет!

— Есть.

— Что же?

— Сочувствие народа.

— А вот мы им покажем такое сочувствие... — и Всеволод Скоповский встал, заметив, что в нем накапливается раздражение и он может наговорить дерзостей. — Сейчас, дружище, надо не мыслить, а поступать. Прощай. Мне еще сегодня предстоит путешествие. Наша батарея стоит в Новой Гребле — препаршивое местечко, кстати сказать! Но скоро, скорее, чем ты думаешь, мы двинемся вперед... Короче говоря, адью! В Петербурге увидимся.

И они расстались далеко не друзьями.

Ночь была душная. Теплый ветер пропитался сладчайшими запахами лугов, зелени, яблонь. Откуда-то со стороны Вышгорода ухали гаубицы. Около Цепного моста пулемет пропускал редкие очереди. Иногда пробивалась тишина, и тогда вдруг на мгновение казалось, что

ничего не происходит, просто вечер... просто пахнут яблони... Днепр всплескивает мелкой волной... влюбленные приходят и садятся на траву, на обрыве...

Только зачем так надсадно ноют скрипки в кафе? По улицам громяют подводы... А, это вывозят трупы сыпнотифозных! Говорят, от тифа полезно носить на шее ладанку с нафталином...

Нет, нельзя верить тишине!

Капитан Скоповский в сопровождении ординарца Кузи выезжает из города. Спят холмы. Рощи притаились и заставляют настораживаться. Чем это он расстроен? Ах да, этот... хлюпик!... «Сочувствие народа»! Дурак!

Кони фыркают. Спустились вниз, и сразу пахнуло сыростью. В городе было теплей.

Скоповский терпеть не мог вялости лошади. Он держал собранным коня. В его обращении с животными была жестокость. Он владел конем, но от малейшего неповиновения приходил в бешенство и тогда рвал коню губы, вонзал шпоры в бока...

Ехали молча. Ординарец чуть-чуть отставал. Скоповский молча испытывал неприязнь к ординарцу:

«Такая жалость, что в войне не обойтись без этих сиволапых! Конечно, бывают хорошо вышколенные слуги. Но кто может ручаться за всех этих ванек, по самой своей природе предателей и дезертиров?!»

Скоповский раздраженно прислушивался. Вот у ординарца споткнулся конь. Спит в седле, мерзавец! И чего тащится сзади? Скоповский искал, к чему бы придраться, на чем бы сорвать досаду.

«А впрочем, пусть делает что хочет. Бесполезно перечивать. Эх, добраться бы до места и уснуть!..»

Артиллерийский капитан ежился от сырости.

3

Все было готово. Вечером Котовский изучал карту, и сейчас он отчетливо видел холмы, и рощи, и извивы реки, и расположение противника, и направления, по которым котовцы двинутся завтра в наступление, и даже разветвления, по которым побегут опрокинутые враги.

В черноте ночи скрыты ложбины, но он их видел та-

кими, какие они будут поутру. По ним бежали, стреляли, схватывались врукопашную и падали на пути...

Люди спали на том и на другом берегах. А уже была решена судьба их, и завтрашние покойники последние часы пребывали среди живых...

Когда дроздовцы внезапным ударом опрокинули красных, красные отошли от Киева частью на правобережье, к реке Тетереву, частью на левый берег Днепра, на Чернигов.

По шоссе Чернигов — Гомель бродили банды каких-то головорезов. Они изредка обстреливали проезжих и делали попытки захватить караваны судов, на которых эвакуировались грузы из Киева.

В устье Десны, под самым Вышгородом, стояла красная речная флотилия, прикрывающая эвакуацию.

На реке Тетерев — группа Павлова. У Житомира — прославленная Щорсовская дивизия.

И еще были червонные казаки, партизаны Николая Крапивянского, конный матросский полк Можняка...

Одним из звеньев этого фронта была бригада Котовского. Котовский мысленно оценивал и свое место, и общую расстановку сил противника.

Чуть брезжило. Туман полз, стлался, курился, из молочно-белого становясь розоватым.

Коноводы в отдаленной роще прислушивались.

Кони били копытами, прядали ушами, высоко подняв головы: где же седоки?

Туман был такой густой, что нельзя было различить ни кустарника, ни речки. В душе поселялась тревога: уж не сгинул ли мир, оставив на месте лесов, рек, гаубиц, международных конференций, стратегии, философии и искусства одну сырость, одно облако измельченных брызг?

Невозможно было дышать. Туман ворочался, клубился... Может быть, в этом хаосе возникнет новая вселенная, и, когда эта мерзость рассеется, все увидят какие-нибудь смарагдовые деревья или даже вовсе и не деревья, а что-нибудь небывалое, чего и не было никогда.

Бойцы ползли. Стягивались к мостику через Здвиж. Их ряды пополнил спешенный эскадрон.

Туман клубился. Туман тоже входил в расчеты Котовского и действовал по его плану.

Котовский вглядывался. Все произойдет именно так,

как хотел. И если нет, будут внесены поправки. Но почему не подает сигнала Няга?

Котовский сжимает рукоятку. Слышит, как топают кони у коновязи. Угадывает, где находятся те, кто наступает в пешем строю. Сейчас они должны быть совсем близко... Но даже если не удастся захватить мост, противник, выдвинувшийся на этот берег, не успеет отступить за реку. План настолько бесспорен! Котовский готов подхлестнуть время, пришпорить минуты. Нетерпение охватывает его.

Весь мир кажется призрачным в этом проклятом тумане. Тревожно... Что там? Куст или человек? Кто идет?! Ни звука. Да что они, заблудились там, на том берегу?

...Бойцы ползут. Уже можно различить в рыхлом тумане смутные очертания. Берег. Перила моста.

Пронзительный свист. Это сигнал Няги. Туман наполняется тенями. В атаку!!

Не крикнув, часовой валится в воду. Река издает звук, похожий на тот, когда веслом ударяют по водной глади.

Котовский и все в засаде переглядываются.

Началось!

А вот и выстрелы. Беспорядочная пальба противника. Точные выстрелы наступающих, и вместе с выстрелами гул голосов: крики, проклятия, предсмертный хрип...

Ветер потянул с востока. Туман выстлался лентой, сквозной, как марлевый бинт. С каждым мгновением открывалось все большее пространство, охваченное сражением.

Противник оправился от неожиданности. Рубили. Вонзали штык. Стреляли. Били прикладом. И когда противнику уже казалось, что он начинает одерживать верх, Котовский ударил с фланга.

Марков в это утро полз рядом с Кожевниковым. Вместе поднялись по сигналу, вместе бежали. Марков кричал «ура». Его охватило веселое возбуждение. Он какими-то вспышками осознавал себя.

Куст. Обежать справа. Где Кожевников? Здесь. Туман пронзили солнечные стрелы. Какое искаженное лицо у этого офицера!

В рукопашном бою нужны молниеносные решения.

Действие и решение должны быть одновременны. Упусти миг — и будет уже поздно.

Марков увидел что-то красное, услышал страшный крик, пробившийся через трескотню выстрелов. Кожевников прикладом ударил высокого офицера. Почему они падают вместе?

Одновременно перед Марковым выросли двое. Марков не успел испугаться. Один, с наганом, молоденький, в подобранной в талию гимнастерке, кажется, выстрелил. Другой, с бородкой, замахнулся шашкой. Марков видел, как сверкнуло лезвие. Но вместо того чтобы ударить, офицер странно подскочил, с него свалилась фуражка, он упал, далеко отшвырнув ненужный уже клинок. Молоденький, вместо того чтобы броситься на Маркова, перепрыгнул через убитого и побежал. Он мчался в сторону пулемета. Марков понял: молоденького сейчас убьют.

Это тогда пробежал человек с лицом, залитым кровью? Или это было раньше?

Марков видел, как офицеры прыгают в воду. Марков прицелился и выстрелил. Это был его пятый заряд.

Не выдержав натиска, враги, послушные расчету Котовского, стали отступать в беспорядке к реке, как раз к тому месту, где заранее были установлены пулеметы.

Здесь было топко. Попадавшие сюда вязли в трясине. Чтобы ее миновать, выкарабкивались на бугорок. На бугорке их уничтожали пулеметчики.

...Розовое облако стояло над Здвижем. К мосту течением относило трупы. Началась переправа. Кони красиво отражались в воде. День сиял, небо голубело. Котовский лично руководил переправой. Издали доносился колокольный звон.

4

Батарею Всеволода Скоповского обнаружил разведчик Владимир Подлубный. Батарея стояла за липовой рощей. Подлубный рассмотрел и артиллеристов, и ящики со снарядами, и новенькие английские шестидюймовки.

«Они как раз нам нужны», — хозяйственно подумал он.

Артиллеристы беспечно смеялись. Чей-то голос в офицерской палатке напевал: «Сердце красавицы склонно к измене...»

Рябой бомбардир, сидевший всего в нескольких шагах от Подлубного, вдруг крикнул:

— Тютяев! Хворосту принеси! Опять у тебя погасло, черт сопатый!

От этого неожиданного возгласа Подлубный вздрогнул, а затем поспешно пополз в сторону, в овраг.

Как раз вовремя. Тютяев, голубоглазый, с белесыми ресницами, похожий на годовалого деревенского бычка, поднялся, почесался, постоял в раздумье и направился к тому месту, где только что лежал Подлубный.

Котовский не медлил. Как только Подлубный принес донесение, конники, вытянувшись длинной вереницей, помчались вдоль опушки, мимо сгоревшей мельницы, мимо стогов.

Когда приблизились, артиллеристы дулись в козла, а капитан Скоповский, лежа на топчане, пытался изложить розовощекому прапорщику философию Шпенглера.

На лице прапорщика всегда было удивление. Это получалось потому, что его брови были высоко приподняты, а маленькие глазки были круглые и простодушные. Это выражение подзадоривало и выводило из себя Скоповского. Хотелось говорить прапорщику вздор, нелепицу, чтобы заставить его еще выше поднять брови и округлить глаза.

Скоповский пробовал все: анекдоты, философию. Врал, рассказывал невероятные вещи. Прапорщик, однако, не мог удивиться больше, чем удивился раз навсегда. Он смотрел на Скоповского ясными глазами.

Скоповский начинал злиться. Он придирался, он просто глумился. Может быть, прапорщик хотя бы обидится?

Но прапорщик бормотал:

— Вы это так... вы нарочно... только напускаете на себя. Вы хотите вывести меня из терпения...

— Ваша тарелка, прапорщик Чечулин, с успехом заменяющая вам физиономию, может хоть кого взбесить.

— Дайте ему по морде, Скоповский, — и баста! — советовал третий офицер с бородкой а la Николай Второй, скучая наблюдавший эту сцену.

...Конники окружили холм, на котором располагалась батарея. Роща наполнилась всадниками, но артиллеристы ничего не замечали, полагая, что находятся в тылу, и даже не выставили охранения.

— Итак, вернемся к теории относительности, — разглагольствовал Скоповский. — Все в мире относительно, даже ваша глупость. Прямая линия вовсе не прямая, кратчайшее расстояние — не кратчайшее. Каждая личность — замкнутый в себе мир, который осуществляет заложенные в нем возможности. Мы все трагически разобщены, до ужаса одиноки и даже не можем сообщить о своей боли, как таракан не может поделиться впечатлением с блохой, а пробковый дуб изложить свои взгляды иволге. Вселенная — аквариум. Социализм — утопия. Вы — идиот. И вообще — дайте мне папиросу.

Конники выскочили на поляну. Рябой бомбардир только что собирался покрыть козырным валетом пикового туза наводчика и уже замахнулся, чтобы щелкнуть картой по колоде. Тютяев только что хотел крикнуть, что опять кто-то взял ведро и нечем поить лошадей.

— Руки вверх! — весело крикнул Няга, как будто командовал на параде.

Скоповский, а за ним и другие выскочили из палатки. Ординарец Кузя стоял у костра, подняв кверху руки. Рубаха у него вылезла, и виден был голый живот. Он был особенно неказист в эту минуту.

Прапорщик Чечулин покосился на Скоповского, поднял ли тот руки, чтобы поступить так же, как он. Скоповский был без кителя, он стоял в небрежной позе, засунув руки в карманы. Он стоял, как посторонний зритель, и ждал, что будет дальше.

— Господа артиллеристы! — все так же весело продолжал Няга. — Нижних чинов мы не трогаем, начальство кончайте сами.

Конь Няги так и плясал и мордой едва не касался плеча бомбардира.

Артиллеристы переглянулись. Кто-то сказал:

— Это можно.

И тут все взгляды обратились на офицерскую палатку.

Скоповский вспомнил, что наган лежит в изголовье. Если сделать прыжок, пожалуй, удастся уложить человек пять, прежде чем прикончат.

Но почему-то охватила неизъяснимая вялость.

— Это можно, — повторил голубоглазый.

Бомбардир молчал. Два лычка и собственное достоинство не позволяли ему высказаться определенно.

Обнаженные клинки были красноречивы. Нужно было

сделать что-то, сделать — и это уничтожит гнетущую тоску и превратит все снова в простое и обычное.

— А конечно, — сказал Кузя, с решительным видом хватая винтовку. — Всем, что ли, из-за них пропадать?

«Я их ненавижу, — подумал Скоповский, — и мне совсем не хочется жить, если живут они».

Но вдруг понял, что все рассуждения ничего не стоят, жить хочется ужасно, но нельзя перейти к костру, подняв вместе с Кузей руки и остаться жить, ценой отречения от кого угодно: от бога, от отца, от Дроздовского, от Деникина....

Эти мысли отвлекли. Они хлынули, как вода в люки тонущего судна. Скоповский останавливал себя: нужно думать о действиях, нужно только сообразить... оттолкнуть Чечулина, вбежать в палатку... отстреливаясь, отступать в лес...

Кузя целился.

«Не посмеет. Он мой ординарец. Не посмеет меня... Нужно оттолкнуть Чечулина... затем...»

Пуля прошла навылет. Рядом упал Чечулин. Лицо его стало бледным, румянец исчез. Но брови были все так же удивленно вскинуты, как будто он недоумевал, как могли так легко и просто его убить.

Офицера с бородкой à la Николай Второй пуля настигла на опушке леса. Между тем артиллеристы уже помогали конникам выкатывать пушки.

В этот же день два друга, Николай Дубчак и Николай Слива, с группой бойцов в жаркой схватке захватили три тяжелых девятидюймовых орудия и с полсотни пленных.

Не успевали сообщать в дивизию о новых и новых подвигах котовцев!

5

И вдруг — неожиданность!

Второго ноября Котовского вызвал к аппарату Гарькавый.

— Час назад получен приказ, — сообщил он, — нам приказано отправить эшелоны на юденичский фронт, на помощь петроградским рабочим. Немедленно присту-

пить к исполнению. Погрузка частей на станции Рославль.

Прямо от аппарата Котовский направился в штаб. В Петроград! А у бойцов нет даже обуви! В Житомире дали некоторым «мозаичные» ботинки, и те развалились...

В штабе сидел один Юцевич. Он вынул из стола, запертого на ключ (канцеляристы воровали бумагу), большой бумажный лист отличного качества. Юцевич хранил его для особо важного случая.

Котовский начал диктовать, расхаживая взад и вперед по комнате. Начальник штаба Юцевич усердно писал. А через полчаса пакет летел с нарочным в управление.

Боевая слава и героическое прошлое, говорилось в этой докладной записке, создали в старом составе бригады, состоявшем исключительно из добровольцев, веру в свою непобедимость. Но потери в боях и эпидемия тифа вырвали из рядов много старых бойцов и командиров, пополнения неполноценны. Главная же беда в том, что отсутствует самое элементарное снаряжение, бойцы буквально голы и босы, из рук вон плохо с оружием... Необходимо принять все меры, чтобы сделать бригаду снова боеспособной и страшной для любого противника.

Эффект этого доклада был необычайным. Котовский сам не ожидал, что так получится. Доклад взорвался в управлении, как бомба. Зазвонили телефоны, полетели депеши... Забегали по кабинетам интенданты...

И когда эшелоны бригады подходили к платформе вокзала в Смоленске, там уже точно знали, сколько бойцов в каждом вагоне прибывающего эшелона. Соответственно с этим на перроне были разложены кучами новые, со складов, валенки, полушубки, шапки, гимнастерки, ватные брюки и полные комплекты вооружения. Возле каждой кучи имущества стояли наготове люди. У них были припасены и торбы овса.

— Получай!

В каждый вагон летят валенки и полушубки, хлеб и овес...

Отправление. Свисток паровоза. И дальше летит эшелон, на север, в город немеркнущей славы.

Строгий приказ — эшелоны не задерживать. Свисток.

Семафор открыт. Дальше! Мелькают станции, березовые рощи... Бойцы в новом обмундировании, совсем иной облик.

Бологое.... Детское Село... Парки. Липовые аллеи. Старинные купола и дворцы.

Котовский выстроил полки. Объезжая их, вглядывался в лица бойцов и говорил:

— Великая честь выпала на нашу долю. Нам дана возможность сражаться на величайшем и почетнейшем фронте — защищать Петроград! И мы с честью выполним боевую задачу. Красный Питер вечно будет красным, советским городом. Юденича и его белую банду сотрем с лица земли!

И, несмотря на то, что говорил он обыкновенные слова, и те именно слова, которые и ожидали от него услышать, самый голос его и его облик, который привыкли видеть во всех опасных сражениях как неопровержимое доказательство победы, — все порождало уверенность, что так оно и должно быть, как говорил командир.

Поскрипывал снег под ногами. Деревья стояли в инее. Зима!

— А что, большие морозы бывают в Питере?

— Нет, вы мне скажите: Юденич... это что же за Юденич?

— Обыкновенно: генерал.

— Скажи пожалуйста! Бьем, бьем — и все новые появляются!

— Сказано — гидра. Гидра и есть.

...Основной удар Юденичу питерские рабочие нанесли еще до приезда бригады. Были брошены в бой части особого назначения, отряды коммунистов... Юденич и митрополит Владимир, созерцавшие в бинокль столь близкий и желанный Петроград, еле выскочили из рук подоспевших красных курсантов. Теперь кавалеристы Макаренко и Няги гнали разбитые части противника до самого Ямбурга.

— Хороший генерал этот Юденич! — ликовал Няга. — Замечательно быстро бегают, еле догонишь!

Разместили бригаду в казармах лейб-гвардии.

Отгремели бои. Остатки разбитой армии Юденича убрались восвояси. Тишина. Детскосельские парки запущены снегом.

А ведь явились сюда юденичские полчища как триумфаторы. Впереди войск ехали подводы с белыми булками. Булки бросали в толпу. Дескать, мы вам несем сытую жизнь и благополучие!

Не сразу заметили, что у Котовского пылающее жаром лицо, с лихорадочным блеском глаза. После настойчивых просьб он согласился измерить температуру. Тридцать девять и пять десятых!

Болезнь приковала к больничной койке...

Бригада ушла на деникинский фронт, а Котовский остался. Это было дико. Котовцы без своего командира! Котовский спорил с докторами, требовал, чтобы дали военную карту, чертил по ней красным карандашом, набрасывался на свежие газеты...

— Доктор, вы знаете, что такое город Балта? Балта славилась торговлей сальными свечами и арбузами. Занимает первое место в мире по непролазной грязи. Мы прошли через нее в эту сторону, теперь должны пройти, преследуя врага, в направлении к югу!

— Вы больны, дорогой, у вас крупозное воспаление легких. Это тяжелая болезнь, и вы должны все мысли и все усилия направить на то, чтобы прежде всего выздороветь. А все эти Балты и все ваши походы — это позже. Каждому овощу свое время.

— Как же я болен, когда я даже делаю гимнастику?

— И напрасно. И какие бы то ни было обливания вам категорически запрещены.

— Неловко мне хворать, не так я устроен. Если бы бойцы моей бригады увидели, как я сижу с градусником под мышкой... Неужели вы не понимаете? Не к лицу мне хворать!

Не в силах улежать в постели, Котовский тащился к замерзшему окну, дышал на него, пока не образовывалась наконец круглая проталинка, пытался что-нибудь разглядеть. Видны были только крыши.

Как же бригада без него? Нужно сражаться! Вон сколько их!.. Навалились!.. В атаку!!

Дым застилает окно. Нет, это, видимо, от температуры... Жарко и дышать нечем...

...В середине декабря доктор сказал:

— Ну вот вы и поправляетесь. Железный организм у вас, батенька!

Через три дня Котовский выписался из больницы и отправился догонять бригаду.

Стояла белоснежная, в сугробах и иная, кудрявая зима.

6

Осень окрасила золотом деревья в Прохладном. Пурпурные, ярко-желтые и совсем темные, почти траурные листья шуршали на главной аллее, ведущей к сиротливой, никому не нужной купальне.

Люси бродила по этой листве, отшвыривая кончиком туфли листья клена. Потом направлялась к дому, приставала с вопросами к княгине, которая раскладывала сложный пасьянс, сбивалась и сердилась:

— Не мешай!

— Мама, а почему он не пишет?

— Отстань, дорогая, ты меня спутала. Ну не пишет, не пишет — и напишет...

— А если послать запрос?

— Куда запрос? Кому запрос?

Вот и совсем облетели листья... Говорят, что помещики снова спешно уезжают за границу. Говорят, что по всей Украине движутся партизанские отряды. Говорят, что Деникин разбит под Орлом.

Люси бродила как неприкаянная по комнатам, куталась в пуховый платок...

— Мама, мне скучно!

Садилась за рояль, начинала «Песню гондольеров» Мендельсона, перелистывала толстую тетрадь с нотами...

Захлопывала крышку рояля.

— Мама, он, наверное, совсем не приедет!

И он не приехал.

Вместо него приехал незнакомый человек. От него пахло овчиной.

Он сказал:

— Мне поручено передать, чтобы вы капитана Бахарева Юрия Александровича не ждали.

— Как так не ждала?

— Убит. Вы не расстраивайтесь. Вы его жена?

Люси молчала. А незнакомец, напротив, разговаривался.

Она слушала, что говорит этот человек, но отвечать не могла. И плакать не могла. Она смотрела изумленно: как он может, этот человек, так спокойно, так просто говорить «убит»? Это ложь! Юрий не может быть убит! Он так мечтал жить, с ней жить!.. С ней одной, нераздельно! У них же все продумано, все решено!..

— Впрочем, это неважно, жена вы или не жена. Мне очень трудно было к вам пробраться. Но я должен был сообщить. Вот и сообщил. Ну, а вообще-то... Дело военное. Сейчас умереть — раз плюнуть. Жалко, но что делать. Убит в бою, в селе Долгом, есть такое село — Долгое. А вам бы советовал уезжать, уважаемая. Нечего вам тут делать. А то дождетесь беды... Право, уезжали бы! Я в курсе дела, я на такой же работе, как и Юрий Александрович, мы там вместе были, когда его убили. Я был на селе, в поповском доме. Кстати, не могли бы вы меня покормить? Я очень голоден. Большую трагедию переживает Россия. Да! Чуть не забыл. Вот его блокнот, я сам лично вытащил его из кармана френча Юрия. Тут пятна, запеклась его кровь, я даже колебался, передавать ли...

Он замолк, потому что по приказанию Люси принесли ужищ. Теперь оба молчали. Люси молчала потому, что была в полуобморочном состоянии. Незнакомец молчал потому, что хотел есть. Теперь, когда он сбросил полушубок, он выглядел симпатичнее. У него были молодые глаза, наивные, мальчишеские губы. Лицо его портила щетина: он, по-видимому, давно не брился.

— Роскошно! Давно не ел настоящей пищи! Я хотя и не брит, но ведь тоже дворянин. Небритый дворянин. Как говорится, пошел в народ, опустился, опростился и даже, извините, пропах народом. Сердечно благодарен. Гран мерси! Мерси боку! А этот пирожок я, с вашего позволения, положу в сумку.

Тут незнакомец заспешил. И действительно, было уже за полночь.

— Могу вам сообщить, — остановился он в дверях, — что Юрий Александрович был человек непреклонных убеждений. Он делал ставку на куркуля, то есть на зажиточного крестьянина, на помещика в эмбриональном состоянии. Но вот... Один неосторожный шаг — и осталось незавершенным дело... Не знаю, чем все это кон-

чится... У них — я имею в виду красных — объявились такие военные самородки, как Щорс, Боженко, как Григорий Котовский, который действует не так далеко отсюда... несколько южнее. У нас тоже есть опытные руководители... Но это для вас скучная материя. Все. Я пошел. Извините за беспокойство. Фамилии моей не сообщу. Мы без имени. Псевдонимы!

Он ушел. Если бы не блокнот Юрия, не его пометки, не его почерк, Люси думала бы, что никто не приходил, что она сама все это выдумала, что это бред...

Широко открытыми глазами смотрела на темно-бурые пятна на блокноте. Смотрела и не могла отвести глаз.

Плакать стала значительно позже. Плакала сутками, днем и ночью, плакала горькими слезами, запершись у себя и обнимая подушку Юрия, на которой совсем недавно покоилась его голова...

Потом приехал еще один человек. Это был американец, Гарри Петерсон, как он немедленно отрекомендовался. Он был в военном. И в то же время у него был какой-то невоенный вид. По-видимому, он занимал крупный пост. Но относительно рода своих занятий он в подробности не вдавался.

Рослый, упитанный, со спортивной выправкой, голубоглазый, гладко выбритый, он сразу же понравился княгине. Впрочем, ей вообще нравились крупные мужчины.

Люси в это время находилась в таком отчаянии, что толком не разглядела его.

Гарри отлично говорил по-русски, и если иногда путал падежи или не справлялся с глагольными образованиями, то, пожалуй, больше из кокетства, чтобы показать, что он все-таки иностранец, не кто-нибудь, а подданный Северо-Американских Штатов.

Как многие американцы, Гарри любил титулы, породу, старинные вещи и собирал коллекцию перстней, платя за них бешенные деньги. Вот и теперь княгиня, беседуя с ним, никак не могла понять, почему он глаз не сводит с ее руки.

— Вы извините меня, — говорил Гарри, — что я несколько бесцеремонно явился к вам. Я прибыл, чтобы сообщить печальную весть относительно вашего родст-

венника, насколько мне известно, капитана Бахарева Юрия Александровича.

— Да, да, — ответила грустно княгиня, — мы уже знаем о постигшем нас горе...

Люси же впервые посмотрела внимательно на Гарри, и у нее невольно опять полились слезы.

Гарри сообщил некоторые подробности смерти Юрия Александровича. Гарри, как он пояснил, являлся непосредственным его начальником.

— Поскольку капитан Бахарев работал по моим указаниям, я счел долгом явиться к вам и спросить, не могу ли я быть вам чем-нибудь полезным.

— Спасибо. Это очень любезно с вашей стороны. Рано или поздно всем нам придется предстать перед престолом всевышнего... Но все-таки это так неожиданно... Я и моя дочь так полюбили Юрия... Но здесь человек бессилен. Мы можем только оплакивать эту тяжелую утрату.

Гарри был приглашен к обеду. Он оказался замечательным рассказчиком. Кажется, не было такого уголка на земном шаре, где бы он не побывал. Он рассказывал забавные истории о Турции, о Японии, о Париже.

— Мы, американцы, изменили точку зрения, — весело сообщил он, — прежде мы претендовали на одно полушарие, теперь же нас интересуют оба, и остается только жалеть, что у шара всего два полушария, наших капиталов и нашей энергии хватило бы, пожалуй, на четыре!

Княгиня вежливо согласилась, что американцы — деятельный народ.

После обеда Люси сочла долгом гостеприимства показать гостю Прохладное. Гарри был неизменно весел и разговорчив. Единственное, что не понравилось Люси, — это его манера расценивать все на доллары.

— О! — говорил Гарри. — Такой великолепный сад! Это стоит сто тысяч долларов!

Они осматривали конюшни.

— Прекрасные лошади, и я удивляюсь, как в такое время удалось их сохранить! Я, правда, не знаток, но мне кажется, что такая конюшня стоила бы...

Люси не дала ему досказать свои соображения и повела его к оранжерее.

По странному совпадению именно в оранжерее она заметила, какие глаза у Гарри, а Гарри, помогая ей

пройти мимо разросшихся олеандров, пожал ей руку. Это получилось в точности, как было в «Карбунэ», когда она прогуливалась с Юрием Александровичем!

Люси смутилась, сделав это сопоставление, а потом подумала:

«А что же тут худого? Ведь не уйти же мне теперь в монастырь?!»

Пока они осматривали имение, настал вечер. Гости пригласили ужинать и оставили ночевать.

На другой день Гарри и Люси решили прокатиться в лодке. Пруд был красив осенней, печальной красотой. В одном месте они чуть не опрокинули лодку.

Княгиня обрадовалась, когда через окно услышала, что Люси смеется.

«Любые слезы высушивает ветер», — подумала княгиня.

И за обедом стала осторожно выспрашивать, откуда родом Гарри, женат ли он...

Гарри попросту ответил, что он «стоит семь миллионов долларов» и надеется в ближайшее время удвоить свое состояние, что он хотел бы жениться, если встретит достойную особу, и что он постарался бы сделать счастливой женщину, которую полюбит.

— Разумеется, я предложил бы жене уехать в Америку, потому что Европа... как бы это выразиться... Европа на ближайшие десятилетия — это огнедышащий вулкан. Европа неуютна.

Одним словом, Гарри был очарован, Гарри был потрясен всем великолепием барского дома: всеми этими фамильными сервизами, фамильными портретами... И он не прочь бы дать миллион долларов за все это имение вместе с его обитателями.

Гарри остался еще и еще на день, а затем прямо заявил Люси, что желал бы на ней жениться, что она должна подумать о своем будущем и позаботиться о матери, что она никогда не пожалеет, если даст согласие.

Ночью Люси явилась в спальню матери, бросилась к ней на грудь, обе поплакали, и затем обе по-женски рассудили, что предложение Гарри не так уж оскорбительно, что, конечно, он не знатного рода, но он богат, а у них в Америке доллары заменяют и титулы, и короны...

Гарри оставался в Прохладном. Он перенес сюда и свой оффис, к нему являлись какие-то люди, скакали курьеры. Он отдавал приказания, выслушивал доклады...

Ему предоставили в полное распоряжение кабинет. Кабинет был огромный, весь устланный коврами. В темных шкафах поблескивали корешки старинных книг в тяжелых кожаных переплетах.

Однажды Гарри объявил, что, по полученным им сведениям, здесь небезопасно оставаться. Гарри имел продолжительную беседу с княгиней. Решено было, не соблюдая установленных обычаем сроков, совершить свадебный обряд.

Без всякой пышности и торжественности Гарри и Люси съездили в соседнее село, договорились с находившимся там священником (старенький, читавший такое трогательное нравоучение Юрию Александровичу и Люси, скончался от тифа). Новый священник их обвенчал, даже не справляясь, какого вероисповедания Гарри.

Действительно, оставаться в Прохладном было опасно. Усадьбу соседнего помещика сожгли. Управляющий получил сведения, что собираются поджечь и дом Долгоруковых.

Гарри сам непосредственно руководил укладкой имущества. Забрали все, что было ценного, и отправили длинный обоз под охраной американского конвоя.

— Вы не будете возражать, если мы сейчас поедem в Варшаву? — спросил Гарри.

— В Варшаву? Почему в Варшаву?

— Я вхожу в состав военной миссии, которая в ближайшее время прибудет в полном составе в столицу Польши.

— Мама! Конечно, поедem! Я очень хочу посмотреть Варшаву! Гарри, а это не опасно?

— Где находится подданный Соединенных Штатов Америки, там не опасно, — гордо заявил Гарри. — Имейте в виду, что вы увидите много интересного. В состав военной миссии входит семьсот офицеров и несколько тысяч обслуживающего персонала.

— Почему так много? — удивилась княгиня.

— Нужно, чтобы Польша воевала, — пояснил Гарри, — и она будет воевать. Мы этого добьемся.

— А балы будут? — спросила Люси.

— Балы, банкеты — все это будет обязательно, и моя Люси будет на них блистать.

Гарри был счастлив. Но его сдержанная натура не позволяла ему выйти из рамок деловитости. И только к одному официальному сообщению, отправленному им в Вашингтон, он неожиданно для себя добавил приписку совершенно частного порядка:

«Считаю своим долгом оповестить Вас, сэр, о крупных и внезапных переменах в моей личной жизни. Явившись в имение русских помещиков князей Долгоруковых по совершенно деловому вопросу, я сейчас покидаю имение и отправляюсь в Варшаву женатым человеком! It's an ill wind that blows nobody good¹! Женился я на молодой Долгоруковой, из старинного дворянского рода. Кроме жены я обзавелся крайне своеобразной, можно сказать, уникальной тещей, а также имением, с пашнями, лесами и луговыми покосами не меньше чем в сто акров...»

Настала пора расстаться с Прохладным. Люси обошла все комнаты, держа за руку Гарри. Хотя огромное количество посуды, ковров, серебра, хрусталя, золота было уложено и вывезено, все-таки дом был еще полон вещей. Большая часть мебели оставалась на прежнем месте: шкафы, наполненные книгами, шкафы, наполненные графинами, бокалами, шкафы, наполненные какими-то камзолами, мундирами, фраками, сундуки со старинными шелками и кружевами — все это оставляли здесь, в этом старинном доме, на попечение управляющего и старых слуг.

Осиротевший дом хмурился. В комнатах гулко отдавались шаги. Гарри говорил напыщенные, неуместные слова:

— Это не дом, дорогая моя девочка, это памятник дворянской старине, пышным приемам, помпе, пресыщенной жизни в роскоши и довольстве, среди серой, лапотной Руси...

Люси рассеянно слушала его, вспоминала детство, любимых кукол, неистощимо добрых нянь, легкомысленного папашу, вечно попадавшего впросак со своими маленькими интрижками и любовными похождениями. Как

¹ Плохой тот ветер, который не приносит никому хорошего (англ.).

шумно праздновались дни рождения, именины! Какая кутерьма бывала перед пасхой, пахнувшей кардамоном, куличами и окороком! Люси нежно любила и эту старомодную мебель, и эти молчаливые, задумчивые комнаты.

— Знаешь, что я придумал? — совсем разнежившись и размечтавшись, говорил Гарри. — Мы этот дом вывезем в Америку, вот таким, как он есть, сохранив и паркетные полы, и люстры, укутанные в марлю, и шифоньеры... даже иконы, даже паутину на потолке!..

По рускому обычаю все сели, прежде чем выйти из дому, молча посидели несколько минут, затем княгиня первая встала, перекрестилась и громко сказала:

— Пора. Поедемте, с богом. Прощайте, Рудольф, не поминайте лихом, — обернулась она к управляющему.

Уже вечерело, когда экипажи тронулись.

Люси не плакала. Гарри молчал. Проехали двор, проехали мимо оранжерей, дальше шла широкая березовая аллея, а потом начинались поля.

Вдруг кучер обернулся и сказал, тыча куда-то в воздух кнутовищем:

— Никак у нас зарево... Вон как полыхает!

Все оглянулись в ту сторону, где было Прохладное. Сомнений никаких не было: горел ярким пламенем, почти без дыма только что покинутый дом...

Гарри заволновался и хотел уже повернуть обратно.

— Там ценнейшая библиотека! Музейная мебель! Это варварство! — возмущался он. — Это дикость!

— Барин, — потрогал его за рукав кучер, — ваше благородие! Что с возу упало, то пропало. Огня не погасишь. А вы благодарите господа бога, что сами-то ноги унесли. Дело прошлое, а ведь сегодня ночью должны были вас всех порешить. Прикажите лучше погонять коней, так-то вернее будет!

Зарево все ширилось и охватило уже половину неба. Можно было различить даже отдельные вспышки и снопы искр, по-видимому, в тот момент, когда обрушивалась какая-нибудь балка. Окрестные деревья и поля и те стали розовыми. И на лицах отъезжающих мелькали отсветы пламени.

Кучер ударил кнутом вдоль широкой спины коренника. Лошади рванули и пошли мчать по широкому полю.

Вагон был классный и даже с целыми стеклами, настоящий, красивый пассажирский вагон.

Несколько купе отведено для молодых, новоиспеченных врачей, только что окончивших медицинский факультет. Они отправляются из Москвы добровольцами на фронт, в полевые лазареты. Когда в вагон стучат, они отвечают:

— Вагон специального назначения. Едут врачи на фронт. Пройдите дальше, товарищ!

Крайнее купе вагона закрыто. Там тишина. Там только один пассажир, и первое время он из купе не показывается.

Однако веселье и смех молодежи привлекли его. Он несколько раз прошелся мимо, в синем военного покроя костюме, высокий, плотный. А через некоторое время вошел и попросил стакан кипятку.

Женщина, к которой он обратился, прежде чем наполнить стакан, вымыла его.

— Вот вы какая, — улыбнулся незнакомец. — Сразу заметили, что стакан у меня грязный. Что значит женский глаз!

И затем обернулся ко всем:

— Весело у вас тут, товарищи. Вы, кажется, врачи? Едете на фронт? Это очень хорошо. Знаете, как мы нуждаемся в медицинских работниках! На фронте их очень-очень мало, совершенно недостаточно.

— А вы были на фронте? В каких местах?

— Как там с медикаментами?

— Какие условия жизни?

Незнакомого пассажира закидали вопросами.

Молодые лица. Невероятное количество острот, анекдотов и кипятку. Есть даже свечи. Есть староста вагона. Они получили дипломы, литеры, и каждый вместо золотой медали — буханку хлеба.

Молодая женщина-врач с серьезными серыми глазами и приветливым лицом рассматривает его внимательно:

— Болели? Тифом? Ах, крупозным воспалением легких? Вылечили? Вот как! В петроградском госпитале?

Да вы садитесь с нами чай-то пить. Дайте-ка ваш стакан, я вылью и нового налью, погорячей.

Женщину-врача зовут Ольга Петровна, товарищ Леля. Она снова наливает ему чаю. Чай из поджаренных сухарей, сахару нет, но есть сахарин и даже лимонная кислота. Лимонной кислотой гордятся все обитатели вагона.

Ольга Петровна тоже только что окончила учебное заведение, и тоже выразила желание ехать на фронт, и тоже получила буханку хлеба. И теперь она с интересом расспрашивала этого большого и необычного человека о фронтовой жизни, о раненых, о боях...

— И вы сами, вот этот самый вы — тоже мчались на коне и разрубали людей на две части?!

— Крошил врагов. И буду крошить, пока не покончу со всеми. Разные, Ольга Петровна, у нас профессии: вы лечите, мы калечим. А задача у нас одна — победить.

Когда незнакомец ушел в свое купе, кто-то сказал вполголоса:

— А вы знаете... этот пассажир... кажется, это знаменитый Котовский...

В Брянске была пересадка. Вокзал был переполнен. Прямо на полу, сложив в кучу свой скарб — мешки, баулы, чайники, — спали измученные люди.

Врачи в помещение вокзала не попали и расположились на перроне. Был мороз. По бесконечным рельсовым путям двигались фонари сцепщиков вагонов. Затем подползал, шипя, испуская облако пара, маневровый паровоз, захудалый, весь обросший сосульками. Он пронзительно свистел, в ответ далеко у стрелки размахивали фонарем, машинист высовывался из паровоза, крепко ругался и кого-то называл «черти полосатые». Паровоз начинал пятиться и задним ходом уползал в темноту, чтобы через некоторое время появиться с длинным хвостом цистерн, платформ, груженных лесом, платформ, груженных какими-то колесами, вагонов, идущих порожняком, и вагонов, наполненных углем...

Котовский был еще все-таки слаб. Ольга Петровна заметила, что он продрог, и строгим голосом врача потребовала, чтобы он надел ее меховую шубку, а сама завернулась в его шинель.

— Товарищ Котовский! Хотя вы и знаменитый командир, но сейчас командую я!

Бесстрашный кавалерист, гроза петлюровцев и гайдамаков, сидел в женской меховой шубке и думал с благодарностью, что не так часто случается с ним в жизни, когда о нем проявляют заботу, кутают, говорят простые, сердечные слова... Матери Котовский не помнил. И уже многие годы знал только койку тюремной камеры, случайные пристанища походной жизни да кавалерийское седло. А все-таки какую радость доставляет женская забота!

В эту зимнюю ночь, когда звезды вмерзали в небо, когда пронизывающий ветер мел снежную пыль на унылом перроне, а где-то вдали так грустно тлели зеленые и красные огни, Котовский понял, что ему нужна эта ласка, что ему очень нравится эта молодая женщина, дорог этот милый и простой человек.

И Ольга Петровна поймала себя на мысли, что очень хотела бы, хотя бы на первых порах, работать на фронте с ним, с этим большим, трогательно искренним, порывистым человеком.

Утром Котовский был неузнаваем. Он был силен, здоров, он был находчив, изобретателен.

— Присмотрите за чемоданчиком, — попросил он Ольгу Петровну. — В нем деньги для бригады.

Он облазил все пути и тупики, прибежал торжествующий. Следы перенесенной болезни исчезли, румянец играл на лице.

— Забирайте чемоданы! Две теплушки! Мои бойцы, отставшие от бригады, оказались на этой станции! Нет уж, разрешите, вещи Ольги Петровны я понесу сам. Тем более что у самого-то багажа немного.

— В самом деле, нельзя сказать, чтобы вы очень нуждались в носильщике. Ваши вещи, вероятно, остались в воинской части?

— У меня вообще нет вещей. И не было никогда в жизни. Вот галифе... Это преподнесли бойцы, когда мы в одном городишке захватили склады мануфактуры. А это подарили питерские рабочие...

— Да, движимой собственности у вас, прямо сказать, немного. Кот наплакал.

Котовский подхватил корзину и портплед Ольги Пет-

ровны. Прежде чем уйти, посмотрел на перрон, на вылинявшие огни семафора.

— Да-а, хорошо т-тут было! — вздохнул он, вызвав всеобщее веселье.

— Действительно, воздуху тут было много. И температура поддерживалась ровная — двадцать градусов ниже нуля.

Ольга Петровна встретила взглядом с командиром. Котовский понял: она с ним согласна, что это была памятная, хорошая ночь.

2

Теплушки, занятые бойцами Котовского, оказывается, стояли здесь больше недели. Но теперь Котовский сам пошел говорить об отправке. Через какой-нибудь час их выдвинули на главный путь и прицепили к маршрутному поезду.

На теплушках было написано: «Сорок человек, восемь лошадей». Но лошадей там не было. Кавалеристы кололи дрова возле вагона. Загудела чугунная «буржуйка», раскалилась докрасна. Стало жарко. Доктор с пышной шевелюрой кипятил на «буржуйке» чай.

Резкий толчок. Чай расплескался. Примерзшие колеса взвизгнули. Поезд тронулся и стал набирать скорость.

У кого-то оказалась свеча. Прикрепили ее на чемодане, наполнили кружки чаем...

В теплушках оборудованы нары. В два этажа. Внизу прохладнее. На верхних нарах просторнее и веселее. Можно даже смотреть в окошечко на мелькающие мимо нахохленные, в снежном уборе ели.

Что такое? Поезд остановился, но ни вправо, ни влево не видать никакой станции, только сугробы и безмолвный, бескрайний лес.

— На паровозе кончился уголь, — сообщил красноармеец, ходивший на разведку.

Котовский отправился сам выяснять, что случилось. Вскоре он вернулся.

— Ребятки, пойдемте рубить лес!

«Ребятки» быстро пососкакивали с нар. И врачи не хотели отставать.

Из других вагонов тоже вышли люди. Нашлись топоры. У кого-то оказались даже санки.

Какой пушистый, искристый снег! Полезли всей гурьбой напрямик к лесной опушке. Застучали топоры, с треском падали березки, срубленные смолистые сосны покачивали ветками на снегу. И уже наготовлены дрова!

Котовский распределяет силы, командует, дело спорится, в тендер летят поленья...

Жарко становится от веселой возни! Ольга Петровна тоже вместе со всеми носит охапки. Паровоз дымит, шипит паром. Чумазный машинист сосредоточенно шурует в топке. Тендер доверху набит топливом. Все карабкаются в теплушки, отряхивая снег.

Толчок. Еще толчок. Как гудит раскаленная «буржуйка»! Паровоз рванул, буфера вагонов со звоном стукнулись друг о друга. Двинулись дальше, и вот уже семафор какой-то станции. Паровоз нетерпеливо требует, чтобы семафор открыли.

Доктор с пышной шевелюрой протирает стекло окошечка.

— Леса, — говорит он патетически. — Брянские леса.

— Да что вы! Брянские давно проехали.

— Это неважно, зато звучит красиво: Брянские леса!

В Харькове Котовский требовал в штабе армии, чтобы всех врачей отдали в 45-ю дивизию. Но начсанарм ответил, что об этом не может быть и речи, и дал ему только одного врача — Ольгу Петровну Шакину. Ее оставляли сначала в харьковском госпитале, но она просила направить ее на фронт, на передовую.

До Синельникова ехали почти в том же составе. Но вот настала пора расставаться Ольге Петровне с товарищами по медицинскому факультету. Пожатия рук, пожелания...

Под Екатеринославом разрушен железнодорожный путь. Здесь нужно распрощаться с вагоном. Всюду военные. Завидев Котовского, радостно приветствуют его.

— Это уже наши! — поясняет Котовский Ольге Петровне. — Понимаете, наши! Сорок пятая железная, дикая! Замечательный народ!

Котовскому подали коня. Ольга Петровна с бойцами продолжает путь на подводе.

— Позавчера в городе-то сидел батька Махно. Выбить-то его выбили, да, смотри, мост он напоследок взо-

рвал, беда-а! — рассказывал возница, серьезный, самостоятельный мужичок.

Взорванный мост походил на огромную раненую птицу, раскинувшую крылья. Больно было смотреть на искалеченное, приведенное в негодность такое красивое сооружение.

По сломанному мосту и переброшенным доскам и балкам перебрались на ту сторону.

В городе тоже повсюду следы недавнего боя: выбиты стекла и рамы, дома стали подслеповатыми, сырими... а вот поваленный телеграфный столб лежит поперек улицы, опутанный заиндевевшими проводами... убитая лошадь ощерила зубы, уставила мутные, невидящие глаза в холодное, безучастное небо...

3

К началу 1920 года войска Деникина были разгромлены Красной Армией и отступали к Черному морю. Для преследования противника формировались кавалерийские части. Приказом по 45-й дивизии кавалерийские дивизионы бригад сводились в одну кавалерийскую бригаду в составе двух полков.

Командиром этой бригады назначен Котовский. Он тотчас приступил к формированию. Так радостно было встретиться со своими старыми друзьями и знакомиться с новым пополнением!

Вот Няга прискакал на взмыленном коне, спрыгнул и бросился к командиру, Котовский обнял его:

— Ты все такой же! Рассказывай, как без меня воевал?

— Немножко били Деникина, немножко Махно, — ответил Няга, сверкая черными огневыми глазами. — Ну а теперь совсем другое дело, товарищ комбриг! Вместе я готов хоть в пекло ворваться, всех чертей распугать!

Обрадовался Котовский, увидев Савелия, Мишу Маркова. А вот и Криворучко, и Подлубный — старые соратники и друзья.

— Давно высматривал! Без вас не представляю бригады. А ты, Савелий, по-прежнему уздечки починаяешь, мудреные сказки говоришь? Смотри, Марков-то

какой молодец у нас вырос! Ну, отдыхайте, наш отдых короткий. Впереди еще большие бои.

Очень понравился Котовскому Иван Никитич Макаренко — полный сил, полный энергии молодой командир. Волосы у него вьются, а глаза светлые-светлые. В войну четырнадцатого года Макаренко попал в плен и долго находился в Германии. На родине Макаренко оставил жену и двух детей. Вернулся, но о них ни слуху ни духу — очевидно, погибли. Об этом Макаренко не любил говорить.

Котовский познакомил Ольгу Петровну со всеми своими соратниками. Особенно долго проговорила она с комиссаром Христофоровым. Это был бывший учитель, худощавый, невысокого роста человек, с умными внимательными глазами и располагающей к нему улыбкой. Как политработник он хорошо обрисовал ей чуть ли не каждого бойца и командира, а в заключение сказал:

— Ну а наш комбриг — это просто чудо природы. Чем больше я приглядываюсь к нему, тем сильнее привязываюсь. Его беречь и беречь надо, Ольга Петровна! А то он о себе совсем не думает, беспечно относится к своей судьбе, постоянно рискует... Очень это меня беспокоит...

Ольга Петровна полностью разделяла тревоги Христофорова. Но как его, Котовского, беречь? Что она тут может сделать?

И вдруг Котовский сам облегчил ей задачу. Он смущенно признался ей:

— Товарищи спрашивали... Я сказал, что вы — моя жена...

Ольга Петровна даже растерялась и спросила в некотором замешательстве:

— Жена? Почему же вы так сказали?

Котовский ничего не ответил.

4

Первое задание вновь сформированной кавалерийской бригаде — взять Вознесенск, закрывающий дорогу к Одессе. Разведка сообщила, что в Вознесенске сосредоточено много войска. Кроме 14-й дивизии там 47-й Украинский и 48-й Волынский полки белогвардейцев.

— Ну, Федор Ефимович, — сказал Котовский, пожи-

мая руку Криворучко, — будет нам с тобой куча дел! Как твой Четыреста второй?

— Сейчас полк хорошо укомплектован.

— Погодка отвратная! Когда крещенские морозы полагаются?

— Крещенские уже прошли. Это какая-то добавочная порция, сверх нормы.

В снежную метель шли полки, преодолевая сугробы. Ветер неистовствовал, пурга разыгралась такая, что в двух шагах ничего не было видно. А тут еще белые открыли ураганный огонь из всех батарей, из всех бронепоездов и вслед за тем перешли в наступление.

Стыли замки у орудий, замерзала вода в кожухах пулеметов. Мороз захватывал дух. Снег залеплял глаза, закручивался в бешеной свистопляске. Там, где только что была равнина, вырастали сугробы. Они передвигались, взвихривались, превращались в снежную пыль... Все крутилось, несло, рвались снаряды, где-то брали противника в штыки, где-то кричали «ура», но ветер подхватывал и уносил крик в степные просторы...

На берегу Буга спешили, зарылись в снег. Дали подойти противнику вплотную и встретили пулеметным огнем.

Сама непогода сослужила службу. Прицел артиллерии был из-за метели неверный, снег оказался хорошим средством маскировки — и город был взят.

На станции стояли безмолвные бронепоезда. На улицах валялись неубранные трупы...

Котовский выступал на городском митинге, когда снова слышалась стрельба. Оказывается, противник перешел в контратаку. Густые цепи шли по льду Буга. И снова бросились котовцы в бой. Заработали пулеметы. Перекрестным огнем был полностью уничтожен полк, состоявший из офицеров, студентов и гимназистов. Его сформировал одесский священник.

Вокзал станции Вознесенск-Пассажирский безлюден. Вагоны, вагоны... На перроне битое стекло, припущенные снегом мертвецы... Белыми войсками при отступлении оставлен эшелон раненых. Теперь это эшелон трупов: все раненые замерзли в вагонах, брошенные на произвол судьбы. В буфете, на столиках, еще не убраны бутылки, которые опорожнили перед поспешным бегством господ офицеры.

Ольга Петровна развернула лазарет в бывшей еврейской больнице. У нее уже имелся перевязочный отряд. Но сразу же обнаружилась острая нужда в медикаментах, не было бинтов.

Ольга Петровна поехала в штаб дивизии. Начсандив встретил очень любезно. Но когда узнал, о чем хлопочет врач, прибывший из бригады Котовского, только развел руками:

— Чего нет, того нет! И рад бы в рай, да грехи не пускают!

— Дайте хоть что-нибудь!

— Ни одного бинта сам не имею. Вот обрежу сейчас палец, и придется завязывать — хе-хе — посовым платком. Нет греха хуже бедности!

— Но как же работать?

— Шлем требования, звоним по прямому проводу. Обещают... Но, как говорится, обещанного три года ждут.

Выслушав еще несколько пословиц от начсандива, Ольга Петровна вернулась назад.

Котовский рассмеялся, выслушав ее жалобы:

— Не отчаивайтесь! В Вознесенске взято много трофеев: склады продовольствия, бронепоезд, пулеметы, артиллерия и — что вас особенно должно порадовать — санитарный поезд. Я сейчас уезжаю, а тут останутся наши люди — идите и берите все, что вам понадобится, а то и весь санитарный поезд забирайте целиком.

Котовский уехал. Из опросов крестьян, возивших белогвардейцев в Березовку, он установил, что в самой Березовке находится кавалерийская часть и какие-то пехотные части, что два пехотных полка и полк генерала Бредова на станции Березовка погрузились в вагоны, что в Вормсове пехотный полк при пяти орудиях, а в Колосовке стоит бронепоезд.

Котовский отправился брать Березовку.

Когда Ольга Петровна в сопровождении надежных людей пришла на станцию, из санитарного поезда вышел важный, с седой академической бородкой человек.

— Я главврач санитарного поезда, — сообщил он, не отвечая на приветствие. — Поезд находится под защитой Датского Красного Креста и пользуется неприкосновенностью. Требую немедленной отправки в Одессу. Все. Разговоры окончены.

— Вы правы, санитарный поезд пойдет скоро

в Одессу, — сказала Ольга Петровна. — Ведь Одесса вот-вот будет взята Красной Армией.

— Ну, это бабушка надвое сказала, — ответил главврач, но уже менее уверенным голосом.

Ольга Петровна подумала:

«Странно, и этот изъясняется пословицами!»

— Мы все-таки осмотрим поезд, — твердо сказала Ольга Петровна.

— Не разрешаю. Это может взволновать тяжело-больных.

Однако при осмотре во всех вагонах оказались не тяжелобольные, а здоровые белые офицеры, которых попрятал этот академический главврач, надеясь вывезти их под маркой Красного Креста в распоряжение белых.

Стали выводить офицеров, пересчитали и увели в штаб вместе с главврачом.

— Ну вот, — улыбнулся котовец Ольге Петровне, — теперь вы можете распоряжаться. Тут есть и санитары. У них, конечно, имеются ключи и прочее подобное. Заходите, товарищ доктор. Санитар? — строго спросил он меланхолика в белом халате.

— Так точно! — ответил тот.

— Переходите в распоряжение доктора. Где тут у вас всякие там касторки и перпетуум-мобиле?

— Третий вагон. Медикаменты и перевязочные материалы.

Через несколько дней в этом самом поезде Ольга Петровна отвезла раненых и больных в Одессу. Мрачный меланхолик-санитар оказался расторопным малым. Он старался понравиться Ольге Петровне изо всех сил.

— Чаек вскипятить? У меня есть на заварку настоящий, дореволюционный!

Иногда санитар пускался в рассуждения:

— Медицина в политику не вмешивается. Кто покалечил, кого покалечил — нас это не касается, наше дело забинтовывать. К примеру, за что наш главный врач пострадал? Лез не в свое дело. А разве это хорошо? Не удержался за гриву, так за хвост не лапай!

В Вормсово пришла делегация. Пробрались через все кордоны. У одного было спрятано письмо, конверт

сильно помялся, провонял овчиной. Надпись на нем была, однако, разборчивая:

«Командиру, который наступает на Березовку».

Котовский прочитал надпись и сказал:

— Это мне.

«Господин командир, товарищ красный, — гласило письмо, — в нашем полку вынесено решение в вас не стрелять, а даже стрелять резолюция исключительно в воздух, хотя будем делать вид, что ничего подобного. Одно наше желание — прекратить братоубийство. При сем прилагаем расположение частей в Березовке, а также где какие заставы. Да здравствует рабоче-крестьянская власть!»

Дальше шли подписи.

Котовский побеседовал с делегатами и сказал им:

— Спасибо, дорогие друзья! И от моего имени и от всех, кто борется за народное счастье. Я верю, вы выполните обещанное.

— А как же? Разве мы не понимаем? Кто пойдет насупротив — разговор короткий...

Кавбригада переправилась через Буг. Котовский двинул полки на Березовку.

Ничего не могли понять белые офицеры! Они приказывали не жалеть патронов. Солдаты не жалели патронов. Пули летели через головы наступающих, снаряды ложились далеко позади.

Впрочем, Котовский на случай провокации принял меры: батарея и пулеметчики были наготове.

Когда конники ворвались в Березовку, хвост поезда с бежавшими офицерами был далеко за семафором.

В Березовке происходила обычная кутерьма, какая бывает при занятии населенного пункта. Выстрелов не было уже слышно. Дым шел прямо вверх, столбом, из всех труб, какие только были в Березовке. Это означало, что мороз стоит лютый и что печи повсюду топят.

По дворам бегали со сковородками и кринками дородные хозяйшки, ошалевшие от частой смены красных, зеленых, белых, поочередно захватывавших поселок, так что они все путались, кого называть «товарищи» и кого «господа».

Всюду несмолкаемый говор, вспышки смеха, шутки, прибаутки и крепкий махорочный дым. Конники прежде всего расседлали заиндеветших, запаренных коней.

— Где же офицеры ваши? — спрашивали в штабе солдат.

— Смотались. Один прапорщик Малахов перешел на нашу сторону. Его тут ваши ребята забрали как контру, а только неправильно это: он, Малахов, — душа человек, хоть кого спросите.

— Раз такое дело — выпустят.

Производился учет оружия, наличия коней и вообще имущества. Начдив приказывал принять все меры к захвату железнодорожного моста в целости. Пожалуйста — мост целехонек, и уже выставлена охрана около него.

— Народ за нас, — сказал Котовский, выслушав донесение о захваченных трофеях. — Народ за нас, а это самое главное.

6

Сорок километров осталось до Одессы. Котовский мчался. И мог ли отстать Няга? Одесса! Одесса впереди!

Няга скакал на коне и насвистывал «Миорицу».

Конница неслась — и воздух был уже родной, и небо было понятное, милое небо!

На станции Раздельная находился генерал Шевченко, старый служака, — пора бы и на покой. Все давно поняли, что надежды рухнули и остается только спасти шкуру. Не понял один Шевченко. Он был неизменен в своих привычках. На ночь растирал суставы снадобьем от ревматизма, а скорей всего даже не от ревматизма, а от старости, забывая, что старость неизлечима. Утром шел в штаб и передавал в Одессу очередную сводку. Днем выслушивал доклады, за обедом давал советы, что следует есть, чтобы дожить до его возраста. Словом, он делал все, что полагается делать старому генералу.

Так было и в это утро. Генерал сам лично диктовал телеграфисту. Вызвали Одессу. Но генерал был отрезан. Он никак не хотел этого понять. Он командовал, выставлял охранения, требовал, чтобы офицеры были выбриты. Между тем давно уже не было ни флангов, ни тыла. Просто был выживший из ума старик, упорно действовавший по уставу.

Стук ключа услышал телеграфист, когда возился возле аппарата. Котовский приказал:

— Прими вызов. Кто это там старается?

Генерал Шевченко сообщал, что конница Котовского заняла Березовку (значит, бежавшие офицеры благополучно прибыли). Сообщал генерал и относительно других частей Красной Армии, обнаруживая приличную осведомленность и отставание от действительности всего лишь на несколько суток.

Кончив передачу, генерал спросил, кто принял сводку.

Ответ, который едва решился доложить генералу телеграфист, гласил, что сводку принял Котовский.

— Господа, — обиделся генерал, — мы воюем, а не в пятнашки играем!

И попросил телеграфиста:

— Ответьте, что шутки неуместны и что шутник понесет заслуженное наказание.

Ответ пришел незамедлительно:

— Успокойтесь, ваше превосходительство, поберегите ваши нервы. Никто не собирается шутить. Сводку принял действительно Котовский.

Генерал выслушал этот ответ с некоторым даже удовольствием.

— Я давно слежу за действиями этого Котовского. Если бы у нас была такая конница... А почему бы ему не воевать на нашей стороне? Ведь это чистое недоразумение! Храбрый человек, а не понимает, что следует сражаться за Россию.

Генерал подождал возражений, но телеграфист не возражал и заранее смаковал, как будет рассказывать офицерам, что их генерал доложил сводку не кому-нибудь, а самому Котовскому.

— Отвечайте, — приказал генерал.

Котовский ему представлялся гусаром, и нужно было этого гусара распечь, дать ему для острастки десять суток гауптвахты и затем предложить служить верой и правдой за неимением царя белому командованию, которое генерал, впрочем, сам недолюбливал.

Очень трудно было распекать по телеграфу. Генерал диктовал:

— Так командовать, как вы, может только офицер и дворянин. Значит, вы офицер и дворянин. Но тогда вы изменник и предатель. Поверните вашу конную армию против большевиков. Гарантирую помилование.

Ответ последовал немедленно:

— Бил, быю и буду бить белогвардейцев. Через три часа ждите в Одессе.

В пяти километрах от Одессы Котовский захватил заставу, узнал пропуск и пароль. Он был в нетерпении. Его возбуждение передалось всем. Прикажи он сейчас переплыть море — прыгнули бы и стали переплывать море. Прикажи разбить любое войско — бросились бы разбивать любое войско.

Котовский, однако, не хотел затевать дело вслепую. Он послал Подлубного и с ним еще нескольких человек в Одессу: без данных разведки было бы трудно разобраться в обстановке.

Сведения поступили утешительные. В Одессе идет погрузка всевозможного имущества в бесчисленные составы поездов. Помыслы командования не о том, как объединить силы и дать отпор наступающим красным, — все хотят свалить тяжесть военных действий на другого, в победу никто не верит, но не хочется в то же время бросать на произвол судьбы огромное имущество: оно вот как пригодится за границей! Грузят в вагоны все: пшеницу и мебель, банковское золото и овес, снаряды, импортные товары, гаубицы, личные вещи генерала Бредова и содержимое интендантских складов.

Конница Котовского ринулась вперед. Перед тем как вступить в город, Котовский заставил конников свернуть знамена, снять звездочки. Котовцы превратились в загадочную конницу, которую можно было принять за кого угодно: мало ли войск передвигалось по просторам Киевщины, Полтавщины, по берегам Днепра.

Вот уже и застава, и Пересыпь... Мельница Вайнштейна, завод Шполянского, завод Рестеля... Конница Котовского на улицах Одессы. Здравствуй, белоснежная! Здравствуй, красавица!

Звонко отдавался цокот копыт по одесской мостовой. Следом на полном ходу катили пушки бригады. Дальше тянулся обоз.

— Чья конница? — спрашивали по дороге.

— Мамонтовцы! — не задумываясь, отвечал Котовский.

Офицеры вскакивали на повозки, видя, что часть

движется быстро и стройно, и полагая, что с ней скорее всего удастся проскочить в Румынию.

— Допускать или не допускать? — спросил Макаренко Котовского, заставляя своего иноходца идти рядом с конем Котовского и глазами показывая на повозки. — Насели, как воронье! Просто руки чешутся...

— Ай-ай, какой ты нечуткий, Макаренко! Жалко тебе? Пускай прокатятся господа офицеры.

Офицеры подбегали и без лишних церемоний садились на подводы.

Это было повальное бегство. На Пересыпи происходили еще мелкие стычки. А здесь ехали, шли — кто в боевом порядке, кто без всякого боевого порядка. Бросали имущество штабов и грузили в поезда кресла, трюмо и мешки с урюком. Бесчисленные поезда готовы были к отправлению. Маршрут их был короткий: только бы перевалить границу — и тогда все в порядке!

Конная бригада Котовского, обгоняя все воинские части, промчалась через Одессу и вымахнула к почтовому тракту, ведущему на Овидиополь. Обогнав отступающие части деникинской армии, бригада остановилась. Теперь между границей и Одессой стояли отважные бойцы, готовые испортить настроение любому негодяю, и как раз в ту минуту, когда ему уже кажется, что он спасен!

— Поставить батарею на позиции! Открыть огонь по первому же эшелону, который покажется на железнодорожном пути!

— Что вы делаете?! — взволновались офицеры, сидевшие на подводах: они думали, что эти мамонтовцы рехнулись и в припадке безумия начинают бить по своим.

— Что мы делаем? Мы истребляем тех, кто не прочь пограбить нашу родину, кто разевает рот на чужой каравай!

— Прекратить! — истерически кричит худосочный поручик, который на берегу Днестра вдруг ощутил прилив воинственного пыла. — Где Мамонтов?! Что они смотрят?!

В это время на высокой насыпи показался дымок. Поезд шел медленно, эшелон был нескончаемо длинный, вагоны были набиты русской мукой, снарядами, коврами, каменным углем, мануфактурой... — всем, что можно

было впихнуть в вагоны при такой спешке, — шерстью, листовым железом, амуницией...

— По насыпи беглый огонь!

Офицеров разоружают. Поручик плачет и умоляет отдать ему наган, так как он хочет застрелиться. Другой офицер-артиллерист, залюбовавшись точным прицелом, не выдерживает и кричит:

— Молодцы! По-русски сделано: круто и без жеманства!

По насыпи взвиваются столбы дыма, земли, щепок. Паровоз останавливается, выпускает пар, начинает пятиться, виляет хвостом курчавого дыма и виновато тащится обратно.

Уже подоспели к этому времени местные партизаны. Вошли в Одессу передовые части Красной Армии. Вышел из подполья Одесский военно-революционный комитет. Типография печатала свежие газеты.

Чудо свершилось. Враг был разгромлен. Огромные трофеи не поддавались никакому учету.

7

Затем гнались за остатками отрядов полковника Стесселя. Полковник Стессель застрелил жену и сам застрелился.

Затем разоружали кавалеристов Мамонтова, и Котовский с любопытством взглянул на этого человека, чье имя он использовал, проходя Одессу.

Полковник Мамонтов, однофамилец генерала Мамонтова, был плечистый, с кавалерийскими усами, несколько старомодный, но, по-видимому, храбрый и прямой человек.

«В свое время, — подумал Котовский, — был образцом доблести... Вероятно, нюхнул пороху в четырнадцатом году и не раз приводил в замешательство немецкую пехоту. Как нехорошо он кончает!..»

Мамонтов сдал оружие. Передал своего коня. Видно было, как хотелось Мамонтову торжественности, почетного плена. Он чтит боевые традиции, военный статут и хотел бы передать оружие равному по чину, хотел горделивой смерти и чтобы сказать какое-нибудь значительное слово, до конца остаться храбрецом, не замарать имени, не поругать звания и оружия...

Но ничего торжественного не получилось. И хотя Котовский был вежлив и никто не обидел старого полковника, но на душе у него было все же пакостно.

Почему он, русский, пойман в компании с какими-то шарлатанами, ворующими ковры? Мыслимое ли дело, чтобы боевой полковник русской армии был заодно с шакалами, грузившими в вагоны все, что плохо лежит? Почему он, русский, сдается на милость победителей, и победители эти — русские, защищавшие родную землю, когда он, он, Мамонтов, должен был изгонять врагов со священной русской земли?

Эти мысли угадывал Котовский у многих офицеров, которых ежедневно доставляли ему. Они передавали золотое оружие, сами срывали с себя погоны и очень, по-видимому, страдали от унижения и стыда.

— Прошу беречь коня, — сказал Мамонтов. — Такого второго нет. Зовут Орлик.

Дрались с группой Мартынова около Овидиополя. В колониях Зальц и Кандель девять раз переходили в атаку, изрубили до четырехсот человек. В этих боях среди других храбрецов отличился Николай Криворучко. Здесь же сражался командир пехотного полка Федор Ефимович Криворучко.

Шли бои с крупной группой полковника Самсонова, засевшей в днестровских плавнях...

Николай Криворучко обратился к Котовскому:

— Разрешите, товарищ комбриг, поехать к ним и вступить в переговоры. Мне удалось установить, что именно с этим полковником Самсоновым я был когда-то в одном полку. Мне кажется, если поговорить... пожалуй, выйдет дело... Я ему растолкую и предложу сдаться без боя.

— Попробовать можно, — согласился Котовский, — тем более что мы угрожим много людей в этих плавнях, пока выйдем из них противника.

— Не согласится — тогда другое дело. Перестрелять их никогда не поздно.

— Чего не случается в жизни! Были в одном полку, а теперь... Давай, давай, Николай, проворачивай это дело! Одобрю.

Делегаты во главе с Николаем Криворучко выкинули белый флаг и стали пробираться в зарослях камыша и кустарника. Котовский с тревогой прислушивался. Тихо. Выстрелов не слышно. Очевидно, делегация благополучно прибыла на место и ведет переговоры.

Полковник Самсонов никак не ожидал увидеть в составе делегации котовцев своего вахмистра. Криворучко коротко обрисовал положение. До каких пор самсоновцы могут сидеть в плавнях? На что им надеяться? Прорываться некуда. Драться, чтобы погибнуть с оружием в руках? Ради чего? Деникинский поход кончился провалом. Погибнуть во славу американских капиталистов, которые снабдили Самсонова оружием?

— Знаете что... глубокоуважаемый Николай Николаевич... — остановил полковник Самсонов, — не будем углубляться в дебри политики. Вы знаете меня — я солдат. Скажите лучше, какие условия капитуляции.

Когда разоружали офицеров, сдавшихся в плен, произошла одна неприятная встреча. К Котовскому бросился под ноги какой-то человек. Котовский видел много умирающих людей. Одни, умирая, проклинали, другие встречали смерть молча и даже с некоторым любопытством. Такую мразь Котовский наблюдал впервые.

Человек валялся у него в ногах, и хныкал, и все пытался обнять сапог Котовского. Котовский с отвращением отодвинулся. Кавалеристы стояли вокруг и смотрели на ползающего человека, как смотрят на червя, раздавленного копытом.

Наконец тот встал. Все увидели пожилого лысоватого мужчину с большим сизым носом и маленькими глазками.

— Я в ваших руках, — сказал человек, стряхивая с коленок пыль. — Всецело полагаюсь на ваше благородство.

Котовский взгляделся. Неужели Хаджи-Коли, знаменитый полицейский сыщик, который столько раз гонялся за ним, выслеживал его, сажал в тюрьму?!

— У меня нет с вами личных счетов, — сказал, нахмурясь, Котовский и вспомнил одиночную камеру, решетки, кандалы... — Но у вас есть счета с правительством народа. Вы будете отправлены в тыл вместе со всеми пленными и предстанете перед революционным судом.

Хаджи-Коли увели, но все еще оставалось чувство брезгливости.

Было много дела, нельзя было вырваться ни на минуту. Приходили молдаване с левобережья, из соседних сел, просили разъяснений, как наладить Советскую власть, и Котовский беседовал с ними, давал указания. Шел учет трофейного имущества. Перековывали лошадей.

Но вот, кажется, и все. Котовский приказывает ординарцу подать коня, ну, он знает, какого... того рыжего, золотистого.

Черныш притворяется, что не понимает. Он как иной усердный кассир, который нехотя расстаётся с наличностью, попавшей в его несгораемый ящик:

— Мало ли у нас рыжих коней!

— Рыжих много, а такой один. Будто не понимаешь, о чем я говорю! Ну, крупный такой, Мамонтова.

— Крупный! У нас мелких пока что не водится!

Наконец Черныш уходит в конюшню. Кони на его попечении. Он строго следит, чтобы были они сыты, напоены, проверяет, не хлябают ли подковы, расчесывает хвосты и гривы, щегольски подстригает их.

Иван Черныш редко разговаривает с людьми, зато в конюшне он ворчит на командира, если тот вернется на вспотевшем коне, бранит плохое качество корма, упрекает задиру Звездочку, которая кусает соседа Гладиатора...

— Золотистого! — бормочет Черныш на этот раз. — А может, золотистому дать покой надо, может быть, ему культурный отдых требуется после того, как стоял он, конечно, в болоте и питался, прости господи, утиной травой!

Воркотня не мешает Чернышу быстро действовать, и вскоре Орлик стоит уже перед крыльцом.

Котовский выходит из дому. Его охватывает радостное волнение.

Орлик застоялся и нетерпеливо бьет копытом и грызет перекладину крыльца. Грива волнистая, волос к волосу. Скосил умный глаз: каков-то седок, заслуживает ли уважения?

В каждом движении Котовского — в размахе могучих плеч, в повороте головы — уверенность и сила. Чувствуется, что умеет держать поводья этот богатырски

сложенный человек. Чувствуется, что не раз случилось ему на коне врубаться в колонны вражеского войска, мчаться под ураганным огнем в атаку, сливаясь в одном порыве с испытанным боевым конем.

Котовский вдел ноги в стремяна — и в тот же миг понял, что Орлик будет надежным другом, что не раз ходить им в атаку, что колесить им вместе по раздолью земли.

Под самым Тирасполем, в степи, у немецкой колонии Кандель, там, где летом зреют абрикосы, где изготовляют первосортное виноградное вино и поют сентиментальные немецкие песни, где жили гроссбауэры с помещичьими замашками и помещики с ухватками гроссбауэров, — здесь во время одной из атак погиб славный Христофоров.

Он увидел в последний момент, как белогвардейский офицер целится в Котовского. Христофоров успел заслонить собой командира. Пуля попала ему в сердце, пробив металлический портсигар.

В ту же минуту метким выстрелом Котовского был уничтожен и убийца Христофорова. Но страшное, непоправимое свершилось, и Христофоров лежал теперь строгий, стиснувший зубы, как бы говоривший: «Я шел до конца».

Бесстрашный в боях, неустомимый в походах, верный в делах товарищества... Ну что ж... Это неизбежно... Чем дальше идешь по жизненному пути, тем больше могил остается по обочинам дороги. Но у больших людей и жизнь и смерть значительны.

Хоронили Христофорова в Тирасполе, на городской площади. Котовский начал говорить прощальное слово над дорогой могилой, разрыдался, не закончил речи. Конники видели впервые, как плачет командир. Да и многие из них тоже плакали. Молча, хмуро, торопливо сбрасывали комья земли, и земля грохала о крышку гроба.

Не стало милого, душевного комиссара.

Ушла бригада к новым битвам, к новым победам. Осталась в Тирасполе, на берегу Днестра, молчаливая могила. Тишина склонялась над ней. Прилежные сторо-

жа — зима, весна, лето и осень — посменно несли почетный караул, заботливо убирая могилу то серебряным снегом, то нежной зеленью, то нарядными, пестрыми цветами, то ярко-желтыми листьями, которые так печально шуршат.

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ ГЛАВА

1

Когда было объявлено, что бригаду отправляют в Ананьев на переформирование, бойцы были огорчены.

— И все начальство выдумывает! — ворчал Николай Дубчак. — Мы бы одним махом Бессарабию очистили... А тут — на тебе! — Ананьев!

Нехотя расставались с Тирасполем.

Шли походным порядком. Над степью кружили птицы. Кое-где на полях чернели проталины. Дорога утратила свой прежний блеск накатанной колеи. Сугробы осели, образовали прочный наст. Дорога раскисла и стала желтоватой.

Вдали показались купола и золотые кресты церквей. А затем пошла околица, замелькали переулки, в окнах появились любопытные лица горожан. По-деревенски лаяли собаки, из-за заборов выглядывали ветви яблонь...

Миша Марков и Савелий осматривали город, побывали на базаре.

— Деревню Уклеевку не слышали? — спрашивал Савелий ананьевского жителя, почтенного, благообразного старца, который торговал луком и подсолнухами.

— Какую Уклеевку?

— Обыкновенную Уклеевку. Под Пензой.

— Какая такая Пенза? Я такой и не слыхал.

Это совсем обескуражило Савелия: вон куда заехали! Даже Пензы не знают! Не везет ему с его Уклеевкой. Сколько ни мотаются по свету — все попадают не туда.

Ананьев — тихий, незамысловатый городок. Аккуратные улочки, простенькие домишки, церквушки с зелеными куполами. По вторникам, пятницам и воскресеньям базар — шумный, пестрый, с чубатыми дедами, нарядны-

ми дивчинами, с возами сена, которое торопится ухватить на ходу соседняя коняка. В магазинах пусто, обыватели питаются слухами, в уезде пошаливают, по соседству, в Балте, тоже пошаливают. Атаман бандитов Сергей Сорока вырезает на груди советских работников звезду. Бандит Змеевский убил трех красноармейцев и бросил на съедение собакам. Бандит Черный Ворон накладывает на жителей городов контрибуцию. И еще — по всей округе море разливанное самогона. На самогон тратят самую отборную пшеницу. Торгуют «первачом» из-под полы, а иногда и открыто. У спекулянтов можно достать по бешеной цене любые товары.

Котовский сразу же принялся за все неполадки, какие мог обнаружить, сразу повел борьбу с преступлениями, с чуждыми и враждебными элементами, с нелепыми слухами.

Достоверно было то, что банды в уезде действительно подняли головы и что развелось много шептунов, которые баламутят народ.

Котовский посылал эскадрон-другой поколесить по окрестностям.

— Отправил ребят на прогулку, — говорил он коменданту города Ульриху. — А всех провокаторов, распространителей слухов будем предавать военно-полевому суду.

Ульрих, работая комендантом города, одновременно получил назначение в штаб бригады Котовского. Котовскому он нравится. Нравится и то, что жена Ульриха, молодая, веселая, ездит по всем фронтам вслед за мужем, старается не быть ему в тягость и сама еще заботится о нем. Оба они молодые, оба влюбленные друг в друга. Машенька Ульрих подружилась с Ольгой Петровной. Их присутствие скрашивает трудную походную жизнь, да и помогают они всем, чем только могут: Ольга Петровна в санчасти, Машенька в штабе — печатает на пишущей машинке оперативные сводки и приказы. Любой работой не брезгают. А сейчас, когда выдалось несколько дней передышки, торопятся привести в порядок несложный гардероб своих мужей.

— Вы знаете, — говорила Ольга Петровна, — вначале Григорий Иванович по тактическим соображениям назвал меня своей женой. А в конце концов так оно и получилось.

Машенька Ульрих это затеяла, она все и организовала. Она доказывала мужу:

— Неизвестно, будет ли в дальнейшем хоть один день передышки. Мы же взяли за правило ничего не откладывать. Завтра и устроим вечеринку, отпразднуем свадьбу Ольги Петровны с Григорием Ивановичем. Как раз паек выдали и деньги пришли. Я уже и с квартирными хозяевами согласовала — все забываю их фамилию... ах да! — с Голубятниковыми! Правда, симпатичное семейство?

Ульриху понравилась эта мысль. Стали обсуждать подробности, как все устроить. Машенька взяла карандаш.

— Составим список, кого пригласить, — сказала она. — Их двое, мы, Няга... Вот уже пять, затем все Голубятниковы... Командир взвода пулеметного эскадрона... он еще поет хорошо... Вспомнила! Дубчак! Ну, потом папаша Просвирин, Слива... Это сколько уже получается? И конечно, наш военком Михаил Максимович Жестоканов...

Всего набралось восемнадцать приглашенных. В основном были все военные. Машенька Ульрих где-то разнюхала, что в Анапьеве есть девушка, которая очень нравится Няге. Девушку звали Катя. — Она была чуточку по-провинциальному жеманна, но зато обладала роскошной косой и щедрым румянцем и вообще очень была мила. Машенька уверяла, что прямо-таки влюбилась в нее, и, конечно, пригласила ее на вечеринку.

От Котовского и Ольги Петровны все держали в секрете.

В этот вечер Ольга Петровна занята была изготовлением для госпиталя простынь и белья из добытых полотняных сахарных мешков. Вдруг прибежал ординарец:

— Послали за вами. Ульрих просил.

Ольга Петровна решила, что кто-то заболел. И так, как была, в вязаной верблюжьей кофте и ситцевом платье, помчалась на вызов.

Каково же было ее радостное смущение, когда она застала там в полном сборе всех друзей и ей объявили, что предстоит товарищеский ужин.

Все улыбались и приветствовали ее. Илья Илларионо-

вич Голубятников — глава семейства, ананьевский старожил, ветеринарный врач — был известный хлебосол и любитель общества. У него часто собирались, чтобы сыграть «пульку» в преферанс, и непременно с разбойником и мизером. Он занимал две комнаты во втором этаже кирпичного дома на главной улице, а надо сказать, что двухэтажных домов в Ананьеве раз, два — и обчелся.

Вход в квартиру Голубятниковых был по деревянной лестнице через парадное крыльцо, с перилами, двумя ступеньками, подстилкой для вытирания ног и прорезью для писем в массивной двери. Поднимешься по лестнице — площадка с одним окном, надпись над одной из дверей — 00. Другая обита кошмой и клеенкой, она ведет в прихожую, а из прихожей уже видна первая комната, с фикусами, тюлевыми занавесками, приличным пианино и множеством фотографий в рамках и без рамок на стенах.

— Не обессудьте! — говорил приветливый хозяин и вел гостей в столовую, к накрытому столу.

Когда все уселись и наступило минутное молчание, Макаренко, как старший среди собравшихся, с торжественностью, соответствующей обстоятельствам, произнес, обращаясь к Ольге Петровне:

— Вот что, мамаша, ты столько времени пробыла у нас в бригаде, и мы решили поженить вас с комбригом. Подходите вы друг другу. Теперь отвечай прямо и откровенно: согласна ты?

И так как Ольга Петровна в смущении медлила с ответом, Григорий Иванович сказал:

— Воля народа! Мы должны подчиняться.

Все одобрительно засмеялись, и ужин начался.

Тосты были и за здоровье хозяйки, и особо за Котовского и Ольгу Петровну (при этом не обошлось без традиционного «горько!»), и с хитрой улыбкой за здоровье Няги и его милой соседки Кати, причем начались шутки и остроты, что не пришлось бы в Ананьеве отпраздновать вскорости еще одну свадьбу. Катя очень конфузилась, Няга смеялся, сверкая белыми зубами.

Но это были, так сказать, «тосты на закуску». Прежде всего Котовский поднял тост за мировую революцию, за победу, за славную 45-ю дивизию, за «непобедимую дикую» — Отдельную кавалерийскую бригаду.

Котовский вглядывался в оживленные лица своих

соратников. Хороший народ! Котовский знал их как храбрых воинов, как смелых людей. Они выполняли приказы, они командовали, они мчались на конях, рубились с врагом... Теперь он видел просто приятных, милых людей в домашней обстановке.

Вон военком Жестоканов — какой он душевный, славный, настоящий русский человек! И какие знает народные песни! А Макаренко-то! Макаренко! Как вытанцовывает! Ульрих — петроградец, человек с юридическим образованием. Точный, деловой, дисциплинированный. Но кроме того, этот высокий синеглазый блондин, оказывается, прекрасный собеседник, умница и очень начитанный человек.

«Как прекрасна мирная жизнь! — думал Котовский. — И как хочется людям простых, обыкновенных радостей, и как можно было бы хорошо жить, если бы враги не наседали со всех сторон, если бы не приходилось все время отбиваться и отбиваться от черной своры и гнать ее в три шеи за пределы нашей страны!»

Разошлись поздно, и, уже спускаясь по лестнице, Ульрих и Дубчак исполнили дуэт «Не шуми ты, рожь, спелым колосом». Но Макаренко посоветовал:

— Лучше сами вы не шумите. Неудобно, ведь все спят.

3

Когда Долгоруковы покинули свое имение Прохладное, оставляя позади зарево пожара, Гарри Петерсон после долгого раздумья сказал:

— Час назад этот дом стоил пятьдесят тысяч долларов. Сейчас это куча золы. Но если они сжигают, значит, не надеются навечно закрепить за собой? А? Как вы думаете, мама?..

Пламя не пощадило ничего. К утру на месте помещичьего дома торчали только закопченные печи да дымились головешки. Потом и головни растащили на топливо, разобрали и печи. Остался лишь один кирпичный фундамент. Летом он оброс крапивой, на том месте, где была веранда, теперь разрослась бузина. Настала зима, и все занесло снегом. Конюшни, баня и все остальные надворные постройки тоже давно исчезли. Уцелел флигель, в котором жила Мария, вышедшая замуж за быв-

шего садовника Долгоруковых. Немец-управляющий Рудольф был убит.

Но сами Долгоруковы не видели всего этого. Запомнилось им лишь зловещее зарево да черная ветреная ночь.

Дорога показалась им бесконечной, и все-таки они благополучно добрались до Варшавы.

Гарри заметно волновался, беспрестанно что-то высматривал. Дело в том, что здесь, в Варшаве, был приготовлен для Люси первый сюрприз — особняк, который Гарри заранее приобрел через подчиненных своего офиса в аристократическом квартале города и по сходной цене.

Эффект превзошел все ожидания. Княгиня была в умилении. Люси бросилась на шею супругу и расцеловала его.

— Очень мило, очень мило! — приговаривала княгиня, осматривая светлые, только что отделанные и только что обставленные комнаты. — На какой срок арендовано это прелестное помещение?

— Это — собственность Люси! — воскликнул Гарри, наслаждаясь моментом. — Особняк — маленький подарок моей женушке. Конечно, здесь нет таких красивых львов, как при входе во дворец наместника, возможно, что этот особняк уступает по красоте домам Кронеберга и Блюха, но я выбрал лучшее, что можно было достать!

— Бог милосердный! Но зачем же приобретать дом в Варшаве, которую вы не собираетесь избрать постоянным местожительством? — нежно укоряла княгиня.

— Да, по некоторое время мы здесь задержимся.

Когда осматривали залы, Гарри подвел княгиню к окну и отдернул тяжелую гардину:

— Вы видите вдали Бельведерский дворец — обиталище главы польского правительства пана Пилсудского. Вы, разумеется, познакомитесь с ним и будете неоднократно присутствовать на балах и банкетах, которые состоятся в Бельведерском дворце. Здесь, в семейной обстановке, я могу откровенно сказать, что при Пилсудском имеется достаточное количество американских советников.

Гарри усмехнулся и добавил:

— Вообще, если не кривить душой, надо сказать, что нет ни одного завода, ни одного предприятия в Польше, которое не находилось бы здесь... — Гарри похлопал себя по карману. — Поэтому-то мы можем быть уверены, что

Польша будет делать то, что мы находим необходимым. Я это рассказываю вам для того, милая мама и дорогая Люси, чтобы вы чувствовали себя как дома. Ездите в Уяздовские аллеи, говорят, они не хуже парижских Елисейских полей, ходите в театр, а если есть охота, в собор Святой Троицы... он, кажется, православный... Одним словом, живите, развлекайтесь, наряжайтесь — тут все наше. А я буду делать свои дела.

4

Маленькие люди с большой фантазией занимали посты в польском правительстве. Им мечталось о Сигизмунде Третьем и Стефане Батории, они читали учебники истории, вовсе пропуская главы о времени Ивана Грозного, Петра Великого, но заучивая наизусть воинственные страницы Пассека.

Короче говоря, они хотели воевать. Ведь были же случаи, что их предки одерживали победы! К тому же, если Стефан Баторий, чтобы достать средства на поход против Данцига, заложил свои драгоценности, а королева Мария Гонзаго отдала все свое приданое на ведение войны против турок, то теперь расходы брали на себя европейские и заокеанские друзья.

Пилсудскому показалось, что игра будет беспроигрышная, и он решил вписать в историю свое имя.

13-ю пехотную польскую дивизию формировали, обучали и экипировали во Франции. Французские специалисты призваны были вложить наполеоновский дух в польских солдат. Познанцев муштровали в Германии. Германские правители совали в руки польского солдата оружие и подстрекали его, все еще не утратив веры в Шлиффена и его военные теории. Они были щедры — американские дядюшки, английские кумовья, французские радетели! Все готовы были помочь, снабдить, воодушевить. Новый удар, который подготавливали на Западе, должен быть смертельным для Советской власти!

Александр Станиславович Скоповский был такого же мнения. Получив известие о смерти сына и поняв, что он остался один на свете, никому не нужный, старый, больной, Скоповский не сразу опомнился. Он стал угрюмым, раздражительным. Он часто думал о смерти и приходил

в бешенство от мысли, что наследство достанется каким-то случайным людям.

Узнав о планах нападения на Советскую Россию со стороны Польши, Скоповский оживился, снова стал заниматься политикой, снова стал на что-то надеяться. Может быть, он думал, что после победы над Советами ему удастся найти где-нибудь в тюремных застенках свою несчастную Ксению? Или ему хотелось мстить, мстить за погибшие надежды, за одиночество, за охватывающее все его существо безграничное отчаяние?

Он поехал в Варшаву, восстановил старые связи. Был принят генералом Вейганом. Обрадовался, узнав, что княгиня Долгорукова в Варшаве, и тотчас же навестил ее. Его приняли как близкого человека.

— Княгиня, я потерял за это время сына и дочь, а сейчас хочу на алтарь отечества положить и свои бранные кости, — театрально произнес Скоповский.

— Зачем так мрачно?! Я вполне понимаю ваши переживания. Ведь и мы тоже... Вы знаете о гибели Юрия? Вы мне еще расскажете подробно о своем горе, высказанное горе всегда теряет в весе. Но вы.. вы должны долго жить! Вы еще понадобитесь... ты еще понадобишься России, Александр... и немножечко мне... — добавила княгиня тихо.

Какой дивной музыкой прозвучали эти слова для Александра Станиславовича! Он был горд тем, что еще может быть избранником.

Дальнейший их разговор был бы, может быть, чересчур сентиментальным, если бы не был овеян некоторой грустью. Может быть, они не признались бы в этом даже себе, даже в самые откровенные минуты, но ведь они же знали, знали, в конце концов, что у них все последнее: последние годы жизни, последняя запоздалая любовь, последние надежды... Они были стары, и все, что с ними связано — их замыслы, их мечты, их концепции, — все обветшало, все обречено на слом.

Мария Михайловна рассказала вдруг без всякой связи о своих предках. Зачем? Она и сама не знала.

Скоповский потребовал подробно рассказать о гибели Юрия Александровича.

— Мы сами почти ничего не знаем, — вздохнула Мария Михайловна. — Бедная Люси так плакала, так страдала, я знаю, что она до сих пор его любит...

— Достойнейший человек был Юрий Александрович. Он и еще, не хвастаясь скажу, мой сын — это были лучшие отпрыски нашего сословия, это действительно была надежда России!

— Кажется, он выполнял опасную работу?

— Да, да, я-то ведь знал, но тогда это не подлежало оглашению... Ужасно, ужасно думать об этом, дорогая княгинюшка! Все это невозвратимые утраты! И знаете, я часто думаю об этом... Вот, говорят, естественный отбор: самые здоровые особи выживают, а все хилое и непригодное гибнет... А по-моему, так наоборот: эта ожесточенная война, это бесконечное истребление выхватывает самое жизнеспособное, самое талантливое! Трусы, калеки, чахоточные, хитрые, увертливые — те прижмутся где-нибудь в сторонке, отсидятся, попрятутся, а самые убежденные, самые храбрые, самые цветущие ринутся в драку и погибнут...

— Какие страшные вещи вы говорите, голубчик! По-вашему, выходит, что в результате этого побоища останутся жить одни прохвосты?

— Ну, не совсем так... но нация несет непоправимые убытки.

Они помолчали.

— Ну а этот Гарри? — нерешительно спросил Скоповский и поспешил добавить: — Кажется, вполне порядочный человек? Я слышал, он богат и занимает ответственный пост, хотя и прикидывается просто туристом и бизнесменом?

— Ну что ж Гарри... Я не осуждаю мою девочку... Это ее отвлекло, так она легче перенесет утрату...

— Конечно! Конечно! Я вполне понимаю этот шаг! — заторопился Скоповский.

Скоповский часто стал бывать у Долгоруковых. А вскоре у Гарри и Скоповского появились какие-то общие дела, они куда-то вместе ездили, и, кажется, именно Скоповский содействовал покупке большого имения в Бессарабии. Имение покупал Гарри.

— Хотите посмотреть на Петлюру? — предложил однажды Гарри Скоповскому.

Скоповский, помогая княгине раскладывать послеобеденный пасьянс, ответил, что хотя и не встречался с Петлюрой, но отзывы о нем имел не слишком высокие.

В этот день у Долгоруковых обедал один польский министр. Княгиня умело поддерживала разговор и даже вставляла иной раз острое словечко, если затрагивались какие-нибудь серьезные вопросы. Гарри создал в доме салон. Это было удобно для его работы.

Когда Гарри заговорил о Петлюре, министр подошел поближе, явно заинтересованный разговором.

— Да? — спросил он Скоповского. — Отзывы не слишком высокие?

— Не слишком, — повторил Александр Станиславович. — Мне говорили, что он стал непопулярен на Украине и что его роль сыграна.

— Видите ли, — сказал господин министр несколько напыщенно, как будто он давал интервью иностранным корреспондентам, а не беседовал в частном доме, — в Польше никто с Петлюрой как с политическим деятелем не считается. Мы смотрим на него как на атамана бандитов и как такового используем против большевиков.

— Однако заключаете с ним военную и политическую конвенцию?

— Да, это верно. И предоставляем ему вооружение и полное снаряжение для трех его дивизий, которые будут в подчинении польского командования. Ну и что ж из этого? Петлюра обязуется поставлять для польской армии на территории Украины мясо, крупу, овощи, овес и необходимое количество подвод. Разве это плохо?

— Это очень разумно, — согласился Скоповский. — Все должно служить основной цели.

— Совершенно верно! После мы разберемся, что к чему, а сейчас — Директория так Директория. Лишь бы воду на нашу мельницу.

— Кстати, — оторвалась княгиня от пасьянса, — я до сих пор не пойму, что это такое — «Директория»?

— Украинская Директория, — охотно пояснил Гарри, — была создана в ноябре восемнадцатого года, когда всем стало ясно, что Скоропадский слаб. В декабре гетман Скоропадский переделся в форму немецкого офицера и бежал в Германию, а в январе девятнадцатого года Директория официально объявила войну Советской России.

— И умно сделала! — спокойно заключила этот разговор княгиня, приступая снова к пасьянсу. — И Польше пора последовать ее примеру.

— Мы учтем ваше горячее желание, княгиня, — любезно ответил Гарри, когда министр только еще открыл рот, собираясь ответить княгине тонко и дипломатично.

5

Но войну так и не объявили. Просто двинули войска и стали захватывать города Житомир, Коростень, Бердичев...

Седьмого мая Гарри вернулся домой праздничный, как именинник.

— Сегодня исторический, торжественный день! — объявил он. — Сегодня польские войска вступили в Киев!

— Бог за нас! — ответила княгиня и перекрестилась.

Через несколько дней приехал Скоповский. Он был в настоящем исступлении. Он бросился к Гарри и расцеловал его. Он пожимал всем руки и, захлебываясь, говорил:

— Это уже настоящее! Это вам не мелкие стычки какого-нибудь атамана Зеленого!

— Положим, что и Зеленый делал свое дело исправно, — возразил Гарри. — Я не сторонник жестокости, но помните, как коммунисты послали в Триполье, где был штаб Зеленого, отряд в несколько сотен молодежи для усмирения зеленковского мятежа? Зеленковцы закапывали их живыми в землю или связывали руки и ноги и бросали в Днепр. Чисто по-азиатски, но факт тот, что уничтожили сотни две-три наших врагов!

— По части решительных мер и мы не уступим! — воскликнул Скоповский. — Я только что из освобожденных районов. Помещикам оказывает содействие жандармерия, у крестьян отнимают наши земли, наш скот... Шуточки! В одном только Правобережье Украины польские помещики вернут отнятые у них три миллиона десятин земли! Не подчиняются — запаливают села с четырех концов! Учить надо мерзавцев! Украинскую и русскую школу к черту! Прежнюю администрацию к черту! Всюду только польская речь и польское руководство!

— Вы в самом Киеве были? — с завистью спросила Люси.

— Конечно! И вы можете туда поехать, совершенно безопасно! Извините, это моя маленькая слабость... но

не могу не рассказать... Если бы вы знали, какие еврейские погромчики в некоторых местечках учинены!

— Фи, Александр Станиславович! Это уже некрасиво. Я сама не люблю евреев, но зачем же их бить?

— Евреев бьют при каждом серьезном историческом событии! — философски заметил Гарри.

В это время принесли шампанское, и все выпили за успехи польской шляхты и за скорое посещение освобожденной Москвы.

ПЯТНАДЦАТАЯ ГЛАВА

1

В марте на юг Украины прилетают скворцы. И солнце уже прогревает по-весеннему. И кони успели поправиться: в Ананьеве их кормили первосортным овсом. Бригада отдохнула, получила пополнение и готова была к выступлению. Кончилась передышка! Прощай, тихий городок Ананьев! Спасибо тебе за ласку, за привет.

Приказ — утихомирить бандитов в Ананьевском и Балтском уездах, затем погрузиться в вагоны и прибыть в район Жмеринки.

— Жмеринки? — удивляется Ульрих. — А кто же там появился?

— Поляки! — ответил Котовский. — Новое бедствие обрушилось на нашу страну.

Бригада Котовского выводила коней из вагонов на станции Северинка, между Жмеринкой и Комаровцами. Коней заставляли прямо выпрыгивать из вагона, без мостков. Была ростепель, было бездорожье, разлились реки, затопили низины, кустарники, перелески, широкие луга. Конница построилась и пошла в боевом порядке к станции Комаровцы.

Части белополяков были совсем близко. Но вначале обе стороны приглядывались, не предпринимая решительных шагов.

Первая схватка произошла в пасхальную ночь.

Пахло землей, вешними водами... Около пулемета

в заслоне сидели Марков и Кожевников. В кустарниках рассыпались трелями соловьи. Ночь была непроглядно темная, но, когда Марков освоился, он стал различать очертания деревьев, полосу дороги влево, дальний лес по ту сторону дороги, изгородь... В лесочке, где расположился заслон, темнее, чем на открытом месте, вот почему было легче видеть окружающее пространство.

Марков и Кожевников молчали. Окопы противника близко, приходилось держаться настороже.

Решили поочередно нести дежурство, чтобы один отдыхал, валяясь на земле и глядя в небо, другой прислушивался и приглядывался, был возле пулемета.

Кожевников думал о доме. Бывало, в пасхальную ночь несли в церковь святить куличи. А с утра начиналось веселье. Пили водку. Ели жареное мясо и всяческую стряпню. Девки качались на качелях, развевая пестрые подолы, а гармоника выделявала такие коленца, что ноги сами начинали ходить.

Марков думал о своей жизни. Немалый путь прошел он, и таким, какой он сейчас, выпестован не отцом, не матерью, а Григорием Ивановичем Котовским, который сделал из него вдумчивого человека и выносливого бойца. Как не походил он теперь на боязливого мальчика в Кишиневе, который когда-то так нерешительно спустился по ступенькам домашнего крыльца в бурливую жизнь!

Что это? Почему вдруг замолк соловей?

Да, явственно слышны приглушенные голоса, шорох... не то команда, не то ругань...

Марков услышал, как колотится сердце... Как хорошо, что это произошло именно у его заставы!

Вот и они. Идут прямо по дороге.

Марков дает им выйти на открытое место. Здесь они останавливаются и прислушиваются. Их немного, человек пять, но это только передние.

Вот присоединились трое новых. Они совещаются, стоя у разветвления дороги. Вновь подошедшие, по-видимому, старше по чину, им отдают честь.

«С них и начинать», — решает Марков.

Выпускает пулеметную очередь. Грохот разносится по лесам. Офицеры падают. Остальные залегли в канаве и открыли стрельбу.

Через минуту подоспели на конях котовцы...

Вылазка на этот раз была отбита. Но трудно приходилось котовцам и всем, кто должен был сдерживать наступление врага. Силы были слишком неравные. Полки Пилсудского продвигались, польская артиллерия била по русским городам. И как радовался генерал Вейган каждому сообщению об успешных операциях на фронте!

В Жмеринке, в вагоне, Котовский написал заявление о желании вступить в партию. Он решил больше не откладывать. Предстояли тяжелые бои, мало ли что могло случиться.

«В Котовском, — писал он в автобиографии, — пролетарская революция и Коммунистическая партия имеют одного из самых преданных людей, готового за ее идеалы погибнуть каждую минуту...»

Да, так оно и было. Он не кривил душой, когда писал эти слова.

«А мировая буржуазия, — заканчивал автобиографию Григорий Иванович, — имеет в лице Котовского смертельного, беспощаднейшего врага, который каждую минуту готов к последнему, решительному бою с ней, к последней, решительной схватке, во имя торжества всемирного коммунизма».

Котовского радовало, что оформлял его вступление в партию комиссар Жестоканов, человек с открытой русской душой, пришедший сражаться за правду, за революцию, сам из питерских рабочих, электрик. Из рук этого честного партийца Котовский торжественно, взволнованно принял партбилет.

2

С самолета противника сброшена записка. Котовскому предлагают перейти на сторону поляков — ведь он и сам потомок польской шляхты — в противном случае Котовский будет убит.

Вскоре после этого к Котовскому пришел железнодорожный служащий — телеграфист станции Комаровцы.

— Товарищ Котовский, — сказал он, — мне удалось узнать, что на вас готовится покушение. Решил вас предупредить. Котовского мы, железнодорожники, знаем. Не дадим расправиться. Если бы я не пошел предупре-

дить вас и, не дай бог, что-нибудь случилось, я не простил бы себе этого вовеки.

Он ушел, взволнованный, довольный своим поступком.

На обратном пути его убили. Он обнаружен был недалеко от станции на мостовой. Лежал на спине, такой же чистенький, с аккуратно подстриженными волосами. Лицо было белое, черты заострились. В груди у него торчал воткнутый нож...

На участок, занятый котовцами, брошен «батальон смерти»: все в черных шинелях, у всех значки — скрещенные кости и черепа. Кавбригада ночью окружила батальон и полностью уничтожила. Не выручили даже зловещие скрещенные кости и черепа.

Прибыло в бригаду пополнение — политработники, призванные в армию по партийной мобилизации. Они рассказали, что ЦК партии направляет в Красную Армию много ответственных партийных работников.

— Это хорошо, — сказал Котовский. — А то одно время у нас в дивизии была острая нехватка политработников.

— Да! — басил один из прибывших. — Партия вплотную взялась за это дело, подъем в стране просто невиданный. Мы же не дети, понимаем: не с одной Польшей мы схватились, со всеми силами мировой реакции, — против нас выступают и Франция, и Англия, и Америка. Военный-то план нападения на нас кто у них разрабатывал? Маршал Фош! Французский маршал! А кто доставил в Крым из Константинополя Врангеля, «черного барона»? Доставил его английский военный корабль «Император Индии». Вот и судите сами, чья это стряпня! Откуда приехали пулеметы, предназначенные для нашего истребления? Из Нью-Йорка их привезли, в трюмах американских пароходов.

Котовский, слушая приезжих товарищей, вспомнил другой разговор — с Гарькавым, в те дни, когда они покидали Бессарабию. Гарькавый тогда тоже подчеркивал, что наступают на Советскую республику не одни румынские войска, а вся мировая реакция.

— Перед нами поставлена задача — продержаться до прихода Первой Конной... — Котовский окинул всех быстрым взглядом: — Ну, коли поставлена, значит, и надо продержаться, а как же иначе, товарищи? Двадцать пя-

того апреля поляки начали наступление, хотели отрезать Юго-Западный фронт, чтобы нам не могли послать с севера свежие силы. Тут у них явный просчет: Первая-то Конная идет не с севера, а с юга. Весной к нам прибыла с Урала Башкирская кавбригада под командованием Муртазина — тоже не с севера! Не знаю, как не сообразил этого Пилсудский.

— Да, но Житомир-то они взяли? И Казатин, и Киев тоже? — напомнил губкомовец, и стиснул зубы, и нахмурился, и отвернулся, чтобы не показать горестный взор.

— Плохо Алеше, да бывает и плоше, — отозвался комиссар Жестоканов. — Взяли, конечно взяли, это что и говорить. Только как взяли, так и отдадут. Вы знаете, каковы потери противника, судя по сводке, перехваченной нами? Около четырнадцати тысяч! Чувствительно? А чего они достигли?

В штабе собрались командиры полков, политработники, и все с интересом слушали рассказы приезжих о Девятом съезде партии, о том, что на съезде разрабатывался единый хозяйственный план страны, что Владимир Ильич выдвинул вопрос об электрификации народного хозяйства.

— Электрификации! — воскликнул Макаренко. — Значит, несмотря ни на что, мирные дни близятся!

— Хорошая вещь — электрификация! — говорил Няга. — Ведь если электрификация — значит, много электричества? Я правильно понимаю?

Весело смеются в ответ на это замечание:

— Правильно, Няга! Много электричества! В каждой избе электричество! И чтобы электропоезда! И чтобы пахать электричеством!

В это время пришли разведчики. Последнее сообщение: галичане перекинулись на сторону поляков, создав тем самым опасность прорыва фронта.

— Я давно обратил внимание, — с досадой сказал Котовский, — что галичане занимают один за другим важные стратегические пункты. Оказывается, давно они что-то затевали! А ведь я об этом сигнализировал штабу дивизии.

— Значит, предстоит нам сегодня горячее дельце? Да? — спросил Ульрих.

В тот же день, используя любимый свой прием — внезапность нападения, — Котовский ворвался в Жме-

ринку. Чтобы у мятежников создалось впечатление, что на них обрушились неведомые силы, котовцы мчались по всем улицам и переулкам городишка, поднимая пальбу и взбивая облака пыли. Галичане были ошеломлены. Не дав им опомниться, Котовский захватил штаб галичан в полном составе.

— Надо было видеть эти кислые мины штабистов! — рассказывал Ульрих, заливаясь смехом. — Им показалось в первый момент, что это зрительная галлюцинация.

3

Первая Конная двигалась. Копыта взбивали пыль на проселочных дорогах, и долго висела она желтым облаком над ложбинами, вербами, над прозрачными, чистыми прудами.

Воронье, саврасые, с черной гривой и черным ремнем по хребту, серые в яблоках, в крапинах, или, как говорят, в горчице, — кони всех мастей и возрастов двигались в строю через цветущие степи, через нарядную, ласковую Украину.

Была весна. Пели птицы. Солнце припекало совсем по-летнему. Конники мерно покачивались в седлах — кто в папахе, кто в кубанке, кто в остроконечном шлеме, одни одеты по всей кавалерийской форме, другие в рубашках, в ватниках, в кавказских бурках. У многих были отличные сабли, отбитые у деникинских офицеров.

Проходят полки, дивизии. Изредка в строю у кого-нибудь закапризничает конь и начнет плясать на месте, вскидываться на дыбы. На минуту собьет строй. Перемахнет через придорожную канаву, заросшую мятой да лопухами, и, промчавшись по пашне, по нежно-зеленым всходам бурака, успокоится и пойдет на рысях, храпя, пожевывая мундштук и выслушивая заслуженные попреки и брань хозяина.

Вот уже который день шла походным порядком конница. Повсюду оставили след недавние бои. Железнодорожное полотно было размыто и разворочено, из речной глади торчали железные балки, исковерканные фермы мостов. Вблизи городов ржавели вокруг депо мертвые паровозы, вагоны в тупиках зияли дырами пробоин.

Изредка удавалось погрузиться в эшелоны, и тогда

под присвист, гиканье и песни тащились воинские поезда мимо сожженных станций, взорванных водокачек, мимо белых улыбающихся хат, окруженных цветущими яблонями и шелковицами.

Внезапно в открытом поле останавливался поезд. Паровозу не хватало воды. Тогда выстраивались цепью, протянутой до какой-нибудь извилистой речки, из рук в руки передавали полные ведра. Паровоз, получив запас воды, бодро фырчал. Водоносы прыгали на ходу в теплушки, оттуда торчало сено, конские головы, и поезд отправлялся дальше, попыхивая над степью сиреневым дымком.

На открытых платформах кутались в брезентовые покрывала кургузые трехдюймовки, и рядом, положив голову на зарядный ящик, спали непробудным сном бомбардиры. Громыхали походные кухни, высоко вскидывали оглобли тачанки, громоздился скарб армейского имущества. И были наглухо закрыты вагоны со снарядами. И кое-где в пестром составе мелькали зеленые, желтые классные вагоны с надписями мелом: «Агитпункт», «Штадив», «Санитарный». И вдруг совсем неожиданно заспанный дежурный по станции или телеграфист различали на одной из платформ аэроплан — неуклюжий, выпуска четырнадцатого или пятнадцатого года, какой-нибудь «альбатрос» или «фарман», любезно предоставленный французскими заводчиками Добровольческой армии и отнятый затем у белых красными частями.

Кто не знает, что такое двадцать пятое мая на Киевщине, на Днепре и на Буге! Двадцать пятое мая здесь — это кисти цветущих акаций; запах сладкий до дурноты; ветер теплый, любовный; сонное жужжание рыжего майского жука с мохнатыми лапками... Двадцать пятое мая — это блимканье гитары, песни девушек, всплеск весла... Двадцать пятое мая — это свадьбы и отплясывание веселого гопака, это лунные ночи над зеленым гаем, это дремлющий млин на пригорке... Вот что такое двадцать пятое мая на Киевщине и под Уманью.

Но не тогда, когда рыщут петлюровские банды по глухим дорогам! Не тогда, когда захватчики делят уже предполагаемую добычу — всю нашу родину, — каждый соответственно аппетиту выговаривая смачный кусок!

В нетерпении пляшут боевые кони на берегу Буга. Сбруя начищена. Гривы расчесаны. Волос блестит, как шелк. Конная готова к бою.

Вот прокатила в тачанке отважная пулеметчица Павшина. Мелькнули смуглое, монгольское лицо и белая папаха начдива 4-й кавалерийской Городовикова. Прошла 11-я дивизия.

И уже завязываются бои.

По околицам защелкали выстрелы. Армия расчищала путь к основной линии фронта, торопилась встретиться с белополяками. Было захвачено много пулеметов, винтовок у петлюровских банд, у повстанческого Запорожского полка.

Промчался Дундич — любимец Первой Конной, рубака, наездник и меткий стрелок, славный сподвижник Буденного — Олеко Дундич, Красный Дундич, как прозвали его бойцы.

Прошла боевая 14-я дивизия Пархоменко.

Четыре кавалерийские дивизии и полк особого назначения были в составе Первой Конной. Это были отборные части. Но если Первая Конная покрыла себя неувядаемой славой, то пришедшая с Урала 25-я Чапаевская дивизия тоже знала за собой немало подвигов. Юго-Западный фронт становился грозной силой. У поляков все еще имелся перевес в пехоте, но советская конница была почти втрое многочисленнее, и это сыграло решающую роль.

Какие события совершались к моменту прибытия Первой Конной?

В середине мая наше командование подготавливало наступательную операцию на Западном фронте. Пилсудский готовил контрудар. Но он намечал свои действия на семнадцатое мая, а мы перешли в наступление рано утром четырнадцатого. Это наше наступление не достигло поставленных задач, но вынудило Пилсудского израсходовать значительную часть резервов и ослабить свои силы на Украинском фронте, перебросив войска в Белоруссию.

А на Украинском фронте шла между тем наша подготовка к новому удару по врагу. С двадцать шестого мая по второе июня здесь завязались затяжные кровопролитные бои. При этом удалось точнее определить группировку сил противника и наметить новые методы

наступления Красной Армии, отказавшись от лобовых атак и создав ударную группу для прорыва Польского фронта.

И вот наступило пятое июня. Стоял густой, непроглядный туман. Дождь лил, не переставая, вторые сутки. Стояли сплошные озера на полях, в ложбинах, на проселочных дорогах. Кто мог ожидать, что в такую погоду красные начнут наступление!

На рассвете Первая Конная обрушилась на белополяков. Противник слишком поздно заметил мчавшуюся на них лавину кавалерии. Прошло всего каких-нибудь два часа, как началась эта стремительная атака, а Польский фронт был уже прорван, затем расколот на две части. Первая Конная громила тылы 3-й польской армии.

Польский штаб и вместе с ним Юзеф Пилсудский, сам себя назначивший «начальником государства» и «главнокомандующим польской армии», находились в Житомире. Им пришлось без оглядки бежать и до поры до времени осесть в Новоград-Волынский. Надолго ли?

4-я кавалерийская дивизия, уничтожив гарнизон, захватила Житомир, освободив там пять тысяч наших пленных, которые с ходу включились в боевые действия. В этот же день 11-й кавалерийской дивизией был занят Бердичев, наголову разбита конная группа генерала Савицкого. Глубина прорыва Первой Конной в тыл польских войск достигала ста сорока километров.

Первая Конная перешла в наступление — обстановка на фронте изменилась.

Одновременно действовала ударная группа севернее Киева и Фастовская группа, куда входила и кавбригада Котовского. Геройски сражались и другие воинские части.

12-я и 14-я армии наносили удары противнику. Фастовская группа заняла Белую Церковь и Фастов, Башкирская кавбригада била панов севернее Киева. Чапаяевская дивизия поддерживала ударную группу 12-й армии. Храбро сражались богунцы. Бросались в атаку части червонного казачества. Били непрошенных гостей моряки Днепровской флотилии...

И вот уже форсирован Днепр, Киев очищен от вражеских войск...

Напрасно пытались поляки остановить наступление Красной Армии. Отступление 3-й польской армии вскоре превратилось в бегство. Пилсудский хвастался, что 3-й армии удалось выскочить из окружения. Это бегство Пилсудский готов был рассматривать как победу!

4

Скоповский находился в штабе 2-й польской армии, но, увидев растерянные лица военных, вдруг почувствовал, что ему уже не хочется наказывать Россию за гибель сына, за Ксению. Однако когда он заявил, что ему необходимо срочно отправиться к генералу Вейгану, ему нелюбезно ответили, что с отъездом придется повременить.

— Позвольте, мне на самом деле и очень срочно нужно повидать генерала.

— Вам на самом деле придется обождать.

Тогда Скоповскому совсем уже сделалось худо. А тут еще разболелась печень, и были такие неудобства... Скоповский ругал русскую некультурность, русский климат, русскую весну и все русское.

Но приходилось оставаться в штабе армии.

Тридцать первого мая поступили утешительные сведения: генералу Карницкому поручено перейти в наступление и совместно с группой генерала Савицкого разгромить красную конницу в районе Ново-Фастова.

«Будем надеяться, что разгромают, — размышлял Скоповский. — Генералы-то опытные, военное образование получили в русской военной академии, в Петербурге... И Сальников к нам перекинулся с полком из бывших белых офицеров. Тоже один — ноль в нашу пользу...»

Но уже через сутки расстроенный Скоповский, прислушиваясь к канонаде, писал в Кишинев своему давнему другу:

«В сущности, с этими русскими невозможно воевать. Как тебе, вероятно, известно, есть определенные правила, тактика, стратегия, и специалистам доподлинно известно, как воевали, например, Александр Македонский, Наполеон или Ганнибал. Если эти великие люди, действуя определенным образом, побеждали, то стоит

изучить их приемы — и ты будешь владеть секретом победы, как Фауст владел секретом молодости, а певичка Эльза (помнишь, в Вене?) владела секретом красоты. Представь же себе, что русские, по невежеству не зная, как побеждал Ганнибал, начинают действовать по-своему и путают все карты! Так было и вчера. Наши части проводили отступление по всем правилам военного искусства. Как ты думаешь, что же делают русские? Весь фронт Красной Армии, доселе спокойный, вдруг оживает. Из лесов и деревень, из всех складок местности появляются всадники. В несколько мгновений горизонт, насколько хватает глаз, наводняется буденновцами, которые в огромном облаке пыли, предшествоваемые бронемашинами и прикрываемые огнем артиллерии и пулеметных тачанок, начинают надвигаться на поляков... Конечно, нервы цивилизованного человека не выдерживают, и поляки бегут! И вообще, где это видано, чтобы конные массы самостоятельно решали задачу прорыва фронта?! Я беседовал по этому поводу со штабными офицерами, и они только пожимали плечами. Представь, и мой бывший управляющий Григорий Котовский тоже действует где-то здесь! Воображаю...»

На этом письмо обрывалось, и так и не удалось выяснить, что именно «воображал» Скоповский.

Вопреки правилам и навыкам Александра Македонского, в местных лесах, в тылу польской армии бродили отряды партизан. Один из этих отрядов ворвался в город, перепугал жителей, разогнал, а частью перебил штабных офицеров и скрылся.

Скоповский, увидев из окна, что скачут какие-то всадники, услышав затем «ура» и беспорядочную пальбу, упал в кресло и сделался синим. Нижняя челюсть у него отвисла, показывая вставленные зубы. Он, вытаращив глаза, смотрел перед собой.

Вот она, смерть... Для чего же все усилия, вся борьба, все ухищрения? Только для того, чтобы вот так, в кресле, поникнуть и чтобы в мозгу все смешалось? Ксения... Перед ним стоит Ксения! Но этого же не может быть, она умерла... Жжет! Жжет сердце... Протянуть руку и принять эти капли, они помогают...

Врач определил паралич сердца. Но возможно, Скоповский умер от огорчения, что белопольским уланам никак не удастся победить огромную восточную страну?

Стояли первые солнечные, благоуханные дни. Распустились листья на деревьях, цвели цветы на лугах. Как нарядны были поляны! Как приветливы сады! Как живописны украинские села, с белыми хатами, журавлями колодцев и «садками вишневыми коло хаты»!

Отдельная кавалерийская бригада Котовского шла на стыке Фастовской группы и Первой Конной армии.

Внезапно натолкнулись на пехотную колонну противника, шедшую со стороны Андрушевки. Колонна белополяков, состоявшая из двух рот 50-го пехотного полка, была окружена и уничтожена. Все подходили и осматривали трофеи: четыре полевых французских орудия, шестьдесят подвод со снарядами.

— Хорошие пушки, — хвалил Няга. — Их только повернуть в другую сторону — и бить по панам!

Все это произошло так быстро, что остальные роты белопольского 50-го полка продолжали безмятежно передвигаться. Вскоре были обнаружены еще две роты и тоже уничтожены. От 50-го полка остался, таким образом, один батальон. Он был разбит под деревней Медовкой.

Вслед за этими столкновениями произошел еще ряд боев. А травы цвели своим чередом. Белые акации захлебывались сладким ароматом. Цвела сирень. И было особенно много садов, разомлевших под солнцем, в тихой Ольшанке. Перед окопами была рожь. Она зацветала, среди колосьев синели васильки.

Противник перерезал во ржи проволочные заграждения. Затем, приминая колосья и васильки, подполз к расположению кавалерийской бригады, уничтожил дозор и ворвался в Ольшанку. Это были познанцы Галлера.

Котовцы купали лошадей в ольшанском пруду. Был знойный день. Мошки вились на дороге, листья на деревьях свертывались от жары. Лошади фыркали, блестели на солнце их мокрые спины, галечник хрустел под их копытами, когда выбирались из воды.

Прозвучали выстрелы. И кончился знойный покой. 1-й кавалерийский полк белополяки заставили отступить.

Тарахтел пулемет... Мчались всадники... Метались кони без седоков...

Напрасно будет выходить печальная женщина на крыльцо, возле которого растет груша. Напрасно будут высматривать отца смуглый мальчик и смелая, как мальчишка, девочка. Не вернется в родное село молчаливый Леонтий...

Еще накануне он был встревожен:

— Конь обнюхивает. Видно, убьют.

— У тебя, поди, хлеб в кармане...

— Нет, брат, хлеб ни при чем. Плохая, брат, примета.

Все помолчали, придумывая, что бы сказать утешительного Леонтию:

— Сейчас и боев-то больших нет.

— Да мой Мамай обязательно меня мордой тычет, такая у него привычка. И ничего.

— То мордой тычет, а то обнюхивает. Разница.

Вражья пуля сразила его. Он грохнулся на землю. Земля была горячая. Приник Леонтий к земле, словно слушал...

Котовский мчится навстречу выстрелам. Увидел, как упал Леонтий. Заметил, как Макаренко упал с коня, истекая кровью. Догнал того, кто стрелял в Макаренко. Получивший страшный удар пехотинец пробежал еще несколько шагов и скатился в ложбину.

Раненого Макаренко подхватила бесстрашная медсестра полтавчанка Шура Ляхович. Она всегда оказывалась впереди. Мчатся пулеметные тачанки — и Шура Ляхович с ними, только лицо прятала, чтобы куда угодно ранило, только не в лицо. Скольких бойцов она спасла, вытащила ранеными с поля боя!

— А где же комбриг? — успел только спросить Макаренко.

Потом потерял сознание.

Появились кавалеристы 2-го полка. Они мчались на неоседланных конях, всадники были голые. Они только что выскочили из воды и, не тратя времени, схватились за клинки.

Одновременно завязывался бой у окопов. Увидев раненого Макаренко, увидев трупы на земле, котовцы рассвирепели и долго, ожесточенно крошили врага. Так уж у нас исстари повелось, чтобы «когда неприятель будет сколон, срублен, не давать ему времени ни собираться, ни строиться, невзирая на труды, преследовать

его денно и ночью, до тех пор, пока истреблен не будет», как говорил Суворов.

Познанцев загнали в овраг. Четыреста трупов оставили они под Ольшанкой, четыреста напоминаний насчет вероломства страдающему короткой памятью врагу.

Пришли в лазарет проститься с боевым товарищем. Входили один за другим, озираясь на койки, неловко шагая по чисто вымытым полам. Белый, без единой кровинки, Макаренко. Встал у него в изголовье Котовский. Стопились командиры полков, командиры батарей, комиссары. Были тут Няга, Николай Криворучко, Ульрих...

— Берегите командира, — говорил тихим, но уверенным, непрерывающимся голосом Макаренко. — Ты, Криворучко, вероятно, сменишь меня, так помни мой наказ. Я понимаю, что не выживу, но мы им дали, будут они помнить!

Через два часа он умер.

6

А рожь все равно колосилась. И цвели цветы, несмотря на все кровавые происшествия этих дней.

Однажды Миша Марков, вновь на коне и с отличной выправкой мчавшийся в строю, получил задание: выяснить положение в соседней деревне Якимановке — нет ли там белополяков, уцелело ли местное население. До сих пор такие задачи Котовский давал или Ивану Белосову или Подлубному, и Миша Марков чрезвычайно гордился важным поручением.

Отправился он в путь в сумерки. Благополучно миновал стога, болото, переправился через говорливую речку...

Вот и первые постройки... Но странная тишина вокруг! Ни лая собак, ни мычания коров, ни петушиных переключек...

Маркову показалось это подозрительным.

«Что-то тут не так, — подумал он, останавливая коня на опушке леса. — И дым слишком густой, из печных труб такой не повалит».

Оставив коня в кустарнике, пополз по меже. И вскоре предстала перед ним страшная картина: деревня была сожжена дотла!

Кое-где под обгорелыми бревнами в кучах золы пробегала искра, пожарище было еще теплое. Печально высились закопченные печные трубы, как памятник погибшему счастью. Вились струйки дыма над грудями пепла, как исчезающее воспоминание о человеческом благополучии.

Нехорошо было здесь, и Марков испытывал желание поскорее уйти. А когда он увидел еще и виселицу, и мертвые тела, раскачиваемые ветром, ему стало и вовсе не по себе. Не то чтобы он боялся, он отвык бояться. Но сердце щемило смотреть на это пепелище.

Марков стал выбираться из деревни, вернее, из того, что раньше было деревней. И вдруг он увидел: кто-то живой, кто-то шевелится...

Первое движение было — схватиться за оружие. Но глаза, уже привыкшие к темноте, различили очертания женщины.

Марков окликнул. Ответа не последовало. Он подошел ближе и увидел девушку, с косами, с бусами, милую украинскую девушку.

Так обрадовало его, что на этом пепелище встретил живого человека.

— Ты кто? — спросил он тихо.

— А вот подойди трохи еще, да як хворостиной угощу, будэш знать, хто я!

— А я подойду!

— Так и получи, добродие! — и она изо всей силы ударила Маркова, приготовившись защищаться.

— Чего дерешься? — с досадой проговорил Миша, потирая ушибленное место. — Я же тебе ничего плохого не делаю.

— Не делаю! Бачила я, як вы ничего дурного не робите!

— Так то враги наши, а я-то ведь красный! Это как-никак большая разница!

— Красный! Откуда ты взялся, красный?

— Из бригады Котовского! Не веришь? Честное слово, вот провалиться мне на этом месте, чтобы меня мать не любила. А ты здешняя?

Девушка недоверчиво осмотрела незнакомого парня и вдруг заговорила — торопливо, громким шепотом, с искаженным от ужаса лицом:

— Вот тут наша хата была... А вон там моя мать лежит... А вон отец... а рядом сосед наш... а еще рядом...

И вдруг она остановилась.

— А не брешешь ты? Я видела, я все видела, что тут было! Но я живая не дамся, ты запомни и близко не подходи!

Она была как безумная. То начинала говорить, говорить... захлебываясь, порывисто, быстро... То замолкала и смотрела невидящим взглядом... И снова начинала всхлипывать и рассказывать... и губы у нее дрожали, и вся она дрожала, как тополь в ветреный день...

— Дурочка! Я же говорю тебе: я из бригады Котовского. Слышала такого? У нас никто жителей не обижает, мы сами за них заступаемся. Всем известно, как Котовский обращается! Будьте уверены! Неужто ты не слышала о Котовском?!

— Не слышала.

— Нечего сказать, хороша! Не понимаю, что же ты тогда слышала? Котовский — герой. Его все знают. Тебя как зовут-то?

— Оксана.

— Ну, я так и думал. Оксана, либо Марусенька, либо Галька... А меня Михаилом зовут. Вот и познакомились.

— Познакомились, а теперь иди, откуда пришел.

— И ты со мной пойдешь. Нехорошо девушке в таком страшном месте оставаться.

И тут Миша опять произнес целую речь, из которой явствовало, что Оксана не должна больше драться, должна его слушаться и пойти с ним.

Молодые девушки любопытны. Молодые девушки доверчивы. Постепенно Оксана оттаивала. Миша так ласково говорил с ней. И вскоре на этих развалинах, на черных обгорелых бревнах, в присутствии безмолвных мертвецов Оксана все рассказала Мише.

Оказывается, в деревне поймали партизана, после чего польские легионеры учинили жестокую расправу. Целый день громили, жгли, вешали, издевались над женщинами... а потом ушли, прослышав, что красные близко. У Оксаны была большая семья, и ее уничтожили. Все происходило на ее глазах, одна она успела спрятаться и вот теперь осталась на свете одна-одинешенька...

Миша стал ее утешать. А потом рассказал, что у него семья в Кишиневе:

— Сестренка Татьяна, вот вроде тебя, такая же красивая...

— Откуда ты взял, что я красивая?

— По голосу слышно. А отец у меня железнодорожник. В железнодорожном депо работает.

— У меня отец умел сапоги шить...

Тут она всхлипнула и опять заплакала — тихо и горько. Жалко было Мише эту почти помешанную от горя девушку. Он твердо решил, что не оставит ее здесь.

И вдруг подумалось: а что, если эту девушку им в семью принять? Не знал Миша Марков, что он точно так же, как Оксана, остался один на свете. Не знал, что нет у него ни отца, ни матери, ни милой сестренки, что только в его воображении жили они по-прежнему...

Он стал приглашать Оксану, когда кончится война, в их семейство погостить, а то и вовсе остаться. Он рассказывал ей про Кишинев, какое там солнце, какие яблоки...

— Мама у нас хорошая!

— И у меня была хорошая...

— Моя мама и тебя любить будет!

Так они разговаривали, стоя посреди этих страшных, обгорелых обломков, среди виселиц и обезображенных черных трупов — два молодых, только-только начинавших жить существа.

Когда Марков доставил в бригаду красивую смуглолицую Оксану, все только и толковали, что о «трофейной дивчине».

— Вот тебе и тихий мальчик! — удивлялся Савелий Кожевников. — Смотрите, какую кралоу отыскал! Молодец! Ей-богу, молодец!

Савелий выхаживал Оксану как родную дочку. Она все еще не приходила в себя. Ночью ей снилось все страшное, пережитое ею. И она кричала во сне. Савелий, как маленькой, певучим голосом рассказывал ей сказки да побасенки.

Постепенно Оксана освоилась в новой обстановке. Увидела, что каждый старается сказать ей ласковое слово, подбодрить, утешить, рассмешить. Перестала смотреть исподлобья, перестала дичиться.

— Так вы красные? И все красные такие? Тоже я разное слышала.

Вскоре Марков, придя ее навестить, увидел, что она стирает солдатское белье, взбивая мыльную пену сильными смуглыми руками. А усевшийся вблизи кавалерист, где-то раздобывший расписную трехструнную балалайку, мелодичным треньканьем этого незамысловатого инструмента старается развлечь ее..

Внезапно он вскидывает голову, глаза его делаются бессмысленными и затуманенными. Неожиданно тоненьким голоском он вытягивает:

Милый, чо, да, милый, чо
Не цалуешь горячо?
Али люди чо сказали,
Али сам заметил чо...

Марков несколько не рассердился, что застал около Оксаны кавалериста. Он дал кавалеристу сделать отыгрыш и с напускной серьезностью, как поют в деревнях, тоже исполнил частушку, первую, какая пришла в голову:

Уж я тещу провожал,
Проливал немало слез,
На прощанье целовал
И ее и паровоз...

Балалаечник перегнулся, растопырил локти, ударил по струнам:

— Э-эх! Сегодня пляшем, завтра пашем...

Балалайка затренькала еще заливчатее, еще звонче.

Мише так хотелось рассмешить Оксану, отвлечь ее от невеселых мыслей! Он выбирал самые забавные частушки, но не видел лица Оксаны. Нравится ли ей?

Он выговаривал скороговоркой:

Продавщица магазина
Назвала меня свиньей.
Люди думали — свинина,
Встали в очередь за мной...

Оксана, не прекращая работы, повела только на Мишу взглядом.

Тут еще подошли бойцы. Под лихую «барыню» про-

шелся какой-то молодой щеголь впрыска... И для всех было ясно, что присутствие Оксаны заставляло его выделять особенно замысловатые выкрутасы и кренделя.

Оксана отжала белье, вытерла о подол покрасневшиеся от стирки руки и, любуясь на танец, встала рядом с Мишей Марковым, показывая этим, что разговоры разговорами, а знает она только его одного.

Никем ничего не было сказано, но в молчаливом согласии было установлено, что Оксана — «дивчина Маркова». Поэтому каждый справлялся у Миши, как поживает Оксана, и спрашивал у него разрешения:

— Тут у меня сахар остался. Может, Оксане отнести? Как ты считаешь, Марков?

А сам Марков то просил Савелия сшить новые сапожки для Оксаны, то покупал ей в деревне бусы.

— Ты бы командиру доложил, — советовал Савелий, — а то эдак-то все начнут девчонок приводить.

— Ну ты все-таки полегче, Савелий! «Девчонок»!

— Да ведь я не про тебя. Я только к случаю. Явился бы с ней к командиру и все бы как полагается отрапортовал: так и так, мол, трофейная — и куда прикажете девать.

Миша подумал-подумал и решил послушаться доброго совета.

— Но как же я ему скажу? И еще с Оксаной... Может быть, лучше одному явиться?

— А что такого, если придешь с Оксаной? Кто есть Оксана? Трофей. Какой она элемент? Пострадавшее население. Вот ты эту сторону и оттеняй командиру.

— А вдруг он скажет: направить ее в тыл?

— Не скажет! Наш командир все понимает. Ты еще только к нему собираешься, а он уже, поди, знает, сколько у нее было братьев и сестер.

Савелий вздохнул:

— Не понимаю, что вы за люди! Кто ты есть? Всем ты обязан командиру. А сам не веришь ему! Да какое ты имеешь право на него не надеяться?! А хотя бы и в тыл? Он сразу в корень дела посмотрит! Это уж ты не беспокойся. Рассудит!

Перед Котовским предстали оба: Миша Марков и Оксана.

— Вот, — сказал Марков, — привел...

— Вижу.

— У нее горе...

— Знаю...

— Я хотел бы... — Марков подыскивал слова, — хотел бы взять ее... вообще... в свою семью... Чего она одна? А у меня, по крайней мере, семья... и хорошая, то есть, конечно, в Кишиневе...

— А она как? Согласна?

— По-моему, да.

— Она твоя невеста? Так я понимаю?

Но тут Марков и Оксана так сконфузились, так покраснели оба (причем Оксане это очень шло), что Котовский раскаялся в своих словах:

— Вы не обижайтесь, ребята, я ведь от всего сердца. И если вы по душе окажетесь друг другу... Смотрите, какие вы молодые, какие славные...

— Я ведь только думал... — пробормотал Миша, — она девушка одинокая, и поскольку я ее нашел там, на кладбище, на пустыре, ночью, то обязан о ней заботиться. Кончится война — а ведь она когда-нибудь кончится? — отвезу я ее к моему отцу, к моей маме и скажу им: «Примем ее в дом, как родную?»

Оксана молчала. Она только полыхала стыдливым румянцем. И пожалуй, это было лучше всяких слов.

— Как ее звать? — спросил Котовский. — Оксаной звать? Оксана, неужто тебе не нравится мой орел?

— А разве я сказала, что не нравится?

— Ну вот и хорошо. Он тебе нравится, а у него о тебе мы и спрашивать не будем, достаточно взглянуть на него.

— Товарищ командир!

— Что «товарищ командир»? Правду говорю. Влюбленные всегда как солнцем освещены и сами излучают сияние. Это видно даже издали. И не стыдитесь вы, пожалуйста! Любовь — праздник! Поймите, что мы все взяли за оружие и ведем беспощадную войну с врагами не для каких-то отвлеченных замыслов, а для вас вот: для тебя, Миша, и для тебя, Оксана, чтобы жилось вам привольно, чтобы были вы вот так счастливы, выше головы!

Слушая такие хорошие слова, Оксана и Миша бессознательно, не задумываясь, как бы нечаянно взяли за руки и стояли, как жених и невеста.

И после этого разговора они уже не стеснялись быть вместе и часто разговаривали о будущем, о том, как вместе поедут в Кишинев, и как все будет хорошо, и как они будут радоваться.

Оксану передали в ведение врача Ольги Петровны Котовской в санитарную часть. Оксана пришлась, что называется, ко двору.

— Я ее зачислила сестрой-хозяйкой, — сообщила Ольга Петровна Котовскому.

— Отлично сделала. Девушка хорошая. Мы все должны стать ее семьей, пусть она почувствует это.

И часто справлялся о ней Котовский. Беспокоился, если узнавал, что грустит. Радовался, узнав, что поет песни.

В ведение Оксаны поступили всевозможные грелки, миски, плошки, поварешки. Ее заботой было обеспечение больных всем необходимым для скорейшего излечения.

Впрочем, в боевой обстановке нельзя было строго разграничить обязанности. Приходилось делать все, что понадобится. Оксана была и сиделкой, и прачкой, и санитаркой...

— Оксаночка! — звала Ольга Петровна. — Помоги мне перевязку сделать! Оксаночка, поддержи руку больного! Оксаночка, накапай двадцать пять капель вот из этого пузырька. Оксаночка! Где у нас йод?

И Оксана подавала бинты, йод, ножницы, пока Ольга Петровна осторожно и ловко снимала старую повязку, присохшую к ране и покрывшуюся бурыми пятнами.

Сыпняк гулял по городам и селам, переполненным пришлым народом, при постоянной смене воинских частей, штабов, эвакуационных пунктов и комендатур.

Ольга Петровна принимала решительные меры, чтобы тифозная эпидемия не вспыхнула у них в бригаде. Добилась, чтобы баня и смена белья производились не реже чем раз в неделю. А затем повела кампанию по стрижке волос.

— Ну что это за мода отпускать лихие чубы? — возмущалась она, разглядывая кавалеристов. — Это к лицу каким-нибудь архаровцам, каким-нибудь махновцам, а вы-то ведь в бригаде Котовского!

— Какие такие махновцы? — обижались конники. — Сроду махновцами не были, а тут вдруг!

— А ну-ка без рассуждений садись на стул, и быстро ликвидируем это безобразие.

— Стричь не дам! — упрямылся отчаянный рубака, который так гордился чубом, вылезавшим на лоб из-под кубанки. — И не думай даже, докторша, и не надейся! Ты знаешь чего — ты лечить лечи, за это тебе спасибо, а нигде не написано, чтобы доктора стрижкой занимались!

— А вот мы посмотрим, как нигде не написано! Что за разговоры такие! Разве я зла желаю? Не хватает еще, чтобы вы мне развели вшей! Оксана! Приступай.

И не успел кавалерист ахнуть, как по его голове, от лба к затылку, пролегла дорожка...

Почувствовав холодок от машинки для стрижки волос, кавалерист вскрикнул, рванулся:

— Что ты наделала! Ах ты!..

— Полный порядок. Машинка — нулевой номер! — весело отвечала Оксана. — Теперь хоть сердись, хоть не сердись. Дело сделано. Бачишь? — поднесла она кавалеристу круглое зеркальце — подарок Миши.

Машинкой она действовала, как самый заправский цирюльник. Конечно, не кому-нибудь, а ей была поручена эта процедура.

Так или иначе, Ольге Петровне удалось ввести такой порядок, что каждый поступающий на лечение прежде всего проходит через санобработку и выходит оттуда голлобый, с наголо остриженной головой.

Кавалеристы воспринимали стрижку как кровную обиду, как большое несчастье. Казалось, им легче бы было, если бы отрубили начисто голову! Они стыдливо кутались с головой в одеяло, а некоторые спокойно, без звука давали промывать и обрабатывать страшные зияющие раны, резать куски живой кожи, но горько плакали, увидев на полу безжалостно обкромсанные свои кудри — мужскую красу и кавалерийскую гордость.

Когда же дело дошло до командного состава, то Ольга Петровна наслушалась и грубостей, и оскорблений.

— Да что ты контрреволюцию разводишь! — кричал в ярости какой-нибудь командир эскадрона. — Да чтобы я позволил оболванить себя на посмешище всем конникам?! Дисциплину хочешь подорвать?

— Постой, постой, — остановил его вошедший в этот момент Котовский. — Легче на поворотах!

— А как же иначе, товарищ комбриг?

— Значит, ты своего командира считаешь оболваненным? Значит, я дисциплину подрываю?

Котовский снял шапку и предстал перед всеми со своей по обыкновению гладко выбритой головой.

Тут только все вспомнили, что ведь и на самом деле Котовский-то бреет голову. Как же так получается? И почему же они раньше не задумывались над этим?

На какие жертвы не пойдешь ради любимого командира! Этот же самый ругатель и скандалист смиренно садится на стул и делает знак Оксане:

— Давай! Пропадать, так с музыкой! Делай мне прическу, как у Котовского! Эх, не дай боже, чтобы таким увидела меня жена! Пока не отрастут волосы — буду сражаться!

— Ничего, ничего, — утешал Котовский, пока чирикала машинка в руках Оксаны. — Тут, брат, все равно не отвертишься. Взять хоть меня — комбриг? Командую всей бригадой? А попробуй-ка я не послушаться жены! А если ко всему этому жена — доктор, ну, тогда уж все! Доктора, медицина — это высшая инстанция и обжалованию не подлежит! Хорошо еще, что у меня с давних пор такой порядок заведен, чтобы голову брить. А то бы, пожалуй, с меня и начали санитарную кампанию!

— Ну нет! На командира бы у нее рука не поднялась!

— И подниматься не надо, — вставила свое слово Оксана, подстригая последние волоски на шее кавалериста. — Командир у нас сам пример! Такие-то все бы были!

И тут Оксана спохватилась и страшно переконфузилась, что так смело рассуждает.

— Слыхал? — весело подхватил Котовский. — Даже Оксана меня признала, а на что строгая дивчина!

Прилежно выполняла работу Оксана. Понемногу она стала приходить в себя и даже стала петь. Лучше всяких лекарств помогало раненым просто ее присутствие, просто ее участливое слово — такая она оказалась ласковая да ладная, приветливая ко всем.

А сила в ней какая! Как примется мыть полы в санчасти — только тряпка шлепает да вода журчит! И боже упаси, чтобы кто-нибудь закурил в палате! Будет целый

час лекцию читать, душу вымотает и все равно выгонит с сигаркой в коридор.

7

Противник цеплялся за каждый овраг, за каждую рощу, приходилось выбивать его с каждого рубежа и гнать дальше на запад.

Так было и на этот раз. Слева, задумчивый и призрачный, отражал облака и деревья противоположного берега круглый пруд. Возле пруда — правильные аллеи какого-то заброшенного парка. Конечно, удобная позиция, но долго поляки не удержались. Вот уже гонят их по открытому полю и рубят. И Котовский с любопытством оглядывает старый, заросший кустарником кирпичный фундамент, который враги использовали как удобное, защищенное место. Кроме этого фундамента да разрушенного домишка, без оконных рам, с оторванной и болтающейся на одной петле дверью, — ни одного признака человеческого жилья. Да и фундамент, за которым засели поляки, здорово раздолбал папаша Просвирин своими пушками.

На всем скаку осадил коня возле Котовского молодой кавалерист — голубоглазый, курносый, в веснушках.

— Товарищ командир! Туточки!

Котовский помнил этого хлопца. Он пришел в девятнадцатом году в Тирасполь и с тех пор неотлучно в бригаде. Теперь Котовский все припомнил. Даже как зовут хлопца:

— Что скажешь, Ивась?

— Товарищ командир! Здесь! Матерь святая!

— Что здесь?

— Дубовый Гай здесь! То есть его нет... Но он был...

— Деревня?

— Моя деревня... Ну да. Вон смотрите, видите, вон оно там, в лощине, — дубки растут? Там она и стояла...

Котовский понял теперь, почему так бессвязно Ивась говорит, почему лицо его исказилось, почему голос его прерывается.

Вспомнил Котовский, как рассказывал Ивась о своем выстреле в свадебный поезд помещиков. Вон и дорога вьется...

По ней мчались бешеные тройки с женихом и невестой, с шаферами и почетными гостями... А здесь была усадьба, сверкали люстры, бегали слуги, скатерти слепили белизной, лилось шампанское, музыка играла, и жили беспечно, бессовестно, за народные труды, на народном горе, раздобревшие, сытые, довольные...

И все это сгинуло — нет нищенской деревушки с чечоточными ребятишками по лавкам, нет роскошной усадьбы, и некому, кроме разве что Ивася, даже вспомнить о минувшем. Было, и прошло, и быльем поросло...

Прискакали на потных конях командиры полков. Докладывают:

— Противника гонят за дубовую рощу. Захвачены пулеметы и пленные.

И, не оглядываясь на старое пепелище, помчались всадники дальше.

8

В кавалерийской бригаде условлено, и все это знают: в каком бы селе ни разместился штаб, он разместится в доме священника или ксендза. Это всегда лучшее на селе жилище. И внешне дом священника отличается от других. Любой встречный сразу же укажет, где «живет батюшка». Этому правила котовцы придерживались неизменно. Сюда привозят почту, сюда приходят связные.

Поэтому Няга, прискакав в большое село, раскинувшееся возле раскудрявой березовой рощи, направился напрямик к церкви и быстро нашел поблизости от нее исправный хорошенький домик под железной крышей, с садом и палисадником, амбарами и цепной собакой.

Няга ждал письмаца от одной особы, оставленной им в Ананьеве. Вот почему иной раз усталый, и конь уже еле передвигает ноги, а все же заедет в штаб.

В штабе знают, что командир оставил в Ананьеве невесту, что они после войны должны встретиться, и, завидев его еще в окно, уже роются в пачке писем, ищут на букву «Н». Все полны участия, все переживают эту историю, этот «роман», жалеют Катю, жалеют Михаила Нягу, спорят о том, следовало ли им немедленно пожениться или лучше мучиться и ждать, следят, чтобы он чаще посылал письма...

Слышно, как хлопнули двери в сенцах, как шарят в темноте, отыскивая скобу двери. Няга входит, громахая клинком, позвякивая шпорами.

— Есть! — кричат ему сразу же в несколько голосов и Юцевич, и писари, и Машенька Ульрих.

Он смотрит: где же? Кто из них держит в руке заветный конверт? И хотя конверт обыкновенный, Няге он кажется самым красивым конвертом, совсем особенным, он отличил бы его среди тысячи других.

Тут же торопливо отходит в сторону, останавливается у окошка и разрывает конверт. Штабные работники утыкаются носами в бумаги, делают вид, что знать ничего не знают, и даже значения не придали, — читает и пусть себе читает командир.

«Дорогой Миша! С тех пор как ты уехал, город стал постылым, солнце не сияет, весна не радует. Мама принесла недавно мясо, сделала любимые мои котлеты, а у меня и глаза не глядят, ничто-то мне не мило без тебя, Мишенька, что бы я ни делала — по улице иду или сплю, — все думаю о тебе. Мама спрашивает: «Что с тобой, доченька?» — а я ей ничего не ответила, только вышла в сени и немного поплакала. У нас уже стоял снег, скоро зацветет черемуха, от тебя опять не было письма, и так тревожно за тебя, родной мой, не нахожу места. Я знаю, что ты бы нашел у себя в Бессарабии девушку лучше, чем я, я — самая обыкновенная, но так любить, как я, никто тебя не сможет, потому что сильнее любить невозможно...»

Няга прочел письмо одним махом, да и написано оно было почти без точек, без запятых. Прочел, глубоко вздохнул и принялся еще читать, теперь уже медленно, слово за словом, часто останавливаясь и представляя, как она сидела в комнатке, оклеенной светлыми обоями, и писала это письмо, как она откидывала косу, которая ей мешала, как шла на почту, чтобы бросить письмо в почтовый ящик, и какой был в это время город, какие улицы, какое небо, какие дома, и стояли перед ним ее глаза, смотрели на него внимательно, пытливо: «Приедешь? Я буду ждать». Это она сказала при расставании... Конечно, приедет!

На фронте дела неплохи. Кавчасти противника стремительно отходят... Кончились дожди, установилась погода, не приходится на ночь оставлять коней мокнуть под

дождем... Где это бахают? Со стороны Казатина? Говорят, в Казатине у поляков четыре танка и много пехоты и кавалерии...

Все эти мысли вразброд промелькнули в голове Няги.

«Кончим с поляками, — подумал он, — поеду в Ананьев и увезу Катю с собой...»

Михаил Няга бережно прячет письмо в карман гимнастерки. В нерешительности останавливается на крыльце: прочитать письмо еще раз здесь же, на крыльце, или только дорогой?

Гнедой красавец конь ржет, увидев хозяина.

«Ладно, дорогой, так дорогой!»

Какой тихий вечер! Вдали погромыхивают залпы артиллерии, но от этого тишина не нарушается. По деревенской улице идут гуси, выводок гусей. Вдали баба идет с коромыслом. Вечернее солнце играет и переливается в каждом окне. Может быть, и Катя сейчас прислушивается к тишине вечера и думает о нем? Няга представляет ее всю, милую, с огромной косой...

— Эх!.. — вздыхает он. Вскакивает на коня и рысью минает широкую улицу.

Лицо Няги сияет. Длинные ресницы трепещут. Он так любит жизнь! У него нет будничных дней. Каждый день для него — новый неожиданный праздник, на который он не рассчитывал, что его пригласят, — и вдруг пригласили! Кругом друзья, солнце припекает. Мальчик мчится, еле касаясь земли, в кармане замечательное письмо... Хорошо!

Любар сильно укреплен. Это очень важный узел польской обороны. В Любаре более тысячи польских солдат и офицеров. Поляки ни под каким видом не хотят сдавать Любар. Здесь вдоль реки, по самому берегу, тянутся окопы и проволочные заграждения. Переправы противником уничтожены все. Есть броды, которые обстреливаются сильным пулеметным и ружейным огнем.

Но Любар нужно взять. Нужно во что бы то ни стало.

1-й кавполк ворвался в конном строю в самый поселок, но был выбит противником, открывшим ураганный огонь. Убит пулей в лоб Подлубный, один из лучших бойцов.

— Все равно вышибем! Собаки! — клялся Няга.

2-й кавполк зашел со стороны Гриновец, но там канавы и трясины, нет возможности развернуться кавалерийскому строю. Полк тоже отступил.

Няга повел свой полк в пешем строю, выбил противника, но не мог удержаться и вынужден был снова отступить. И в этот момент он был ранен в правую руку. Рука беспомощно повисла. Страшная боль мутила сознание. Кровью залило карман гимнастерки, где лежало драгоценное письмо...

А там, на поле сражения, все шло своим чередом. И Любар был все-таки взят, противник все-таки был отброшен.

Ольга Петровна внимательно осматривала раненого. Няга следил за выражением ее лица. Так повторялось несколько раз. Наконец Ольга Петровна решилась: надо же когда-нибудь сказать правду, тянуть дольше нельзя, да и он все равно чувствует, в чем дело, кажется, она его достаточно подготовила к этому тяжелому сообщению.

Подойдя к его постели, она села около Няги и тихо, но твердо сказала:

— Я не хочу вас обманывать. Рука ваша в очень плохом состоянии. Раздроблена кость предплечья. Вы человек взрослый, вы понимаете, что это значит. Руку необходимо отнять, чем скорее, тем лучше.

Няга ничего не ответил.

Ольга Петровна еще и еще убеждала его, говорила хорошо, ласково.

Няга молчал.

Потом он лежал на больничной койке. И тоже молчал. Стиснул зубы, боль иногда была такая, что стучало в висках. Он все равно молчал и думал, думал... Он взвесил все.

— Руки резать не дам! — сказал твердо Няга. — Или поправлюсь, ведь доктор не бог, может и ошибиться. Или...

Он не договорил, что «или».

Ему делали перевязки. Приезжала в лазарет Машенька Ульрих и долго уговаривала его.

— Ну как? — спросила ее Ольга Петровна.

— Не соглашается. Вообще эти котовцы... Я бы, на-

пример, с открытой душой приняла мужа без руки или без ноги...

Пришла Оксана с термометром. Она мерила температуру у Няги.

— Сколько? — спросила Ольга Петровна, видя, что Оксана держит в руке термометр и молчит.

— Я не понимаю, — ответила Оксана. — Разве бывает такая температура? Больше сорока?

— Заражение крови, — сказала Ольга Петровна, побледнев.

Мучился он недолго. Бредил. Ночами около него дежурили. Он умер, не приходя в сознание.

Похоронили Нягу в Тараще. Рядом с Макаренко. Вместе воевали, вместе будут и лежать. Глубокая морщина залегла на лбу Котовского. Нет Няги! Удар был жесток. Нет Няги! Как будто померк день...

9

Зацвела липа. Был зеленый июль. Котовцы ночевали в деревне Ивановцы. Ночь была душная, зато утро пришло прозрачное, с курчавыми облаками и обильной росой.

Утром повар из 2-го полка, смешливый человек с круглым, как луна, лицом, выбрил начисто голову Котовского. Повар делал это артистически и не брил, а священнодействовал: что-то такое бормотал, что-то обдумывал, причмокивал языком и долго-долго взбивал мыльную пену, как будто это был гоголь-моголь.

Затем Котовский пошел в сарай делать гимнастику, захватив ведро воды для «водной процедуры».

Примчался Иван Белоусов спросить, что делать с пленными: они просят разрешить им вместе с бригадой бить проклятую шляхту, продавшуюся иностранцам.

Явился о чем-то побеседовать Николай Криворучко. Пришел папаша Просвирина, бесстрашный в бою, но робеющий в присутствии командира в обычной обстановке.

Пока командир не кончит гимнастику, беспокоить его не полагалось. Все прислушивались к шумному дыханию и треску суставов.

— Еще только приседание! — досадовал Криворуч-

ко. — Четвертый номер. Теперь начнется поднимание рук в стороны, сгибание кистей... Канитель, прости господи!

Где-то за сараями слышалась стрельба. Вбежал во двор конник и закричал еще издали:

— Где командир?

— Командир гимнастику делает.

Конник очень расстроился, подумал, подошел к сараю и робко доложил:

— Товарищ комбриг, разрешите доложить: белополяки на околице.

Никакого ответа.

Подбодренный тем, что командир не рассердился, конник вошел в сарай. Котовский ложился на рядно, постланное на полу, и приступал к упражнению номер восемь.

— Уже перестрелка...

— А ну, проваливай из сарая! — пробасил Котовский. — Дыхание только сбиваешь!

Котовский был уверен в своих командирах и бойцах: Просвирин уже бежал к батарее, Криворучко распоряжался насчет коней... В сарае слышался плеск воды и громкое фыркание.

Через две минуты командир явился, спокойно застегивая гимнастерку:

— Ну, теперь за дело!

Всякий раз, когда разгорался бой, врач Котовская приготавливалась к встрече раненых. Прислушивалась к отдаленному грохоту и знала: там бьется с врагами ее муж, каждую минуту подвергая жизнь опасности, там сражаются его честные, прямодушные сотоварищи; которых она полюбила за это время всем сердцем.

Чистые койки, операционный стол, медикаменты, бинты, марля — в каждой мелочи чувствовалась забота, точность, знание дела. А каких трудов стоило все это достать!

Когда санитары приносили первых раненых, подобранных под огнем, как бы ни тяжела была рана, как бы ни мучительна была боль, бойцы рассказывали врачу Котовской о ходе боя, и неизменно узнавала Ольга Петровна, что командир впереди, что командир невредим.

— Не двигай, не двигай рукой, я сама как-нибудь подведу бинт.

— Ничего, мамаша, мы привычные...

— Как ни привычные, а небось больно.

— В прошлый раз, когда мне в ногу угораздило, еще под этой... как ее... где еще коней много взяли.... — куда больней было!

— Так взяли, говоришь, город?

— А как же! Командир сказал: обязательно взять.

«Какое счастье — гордиться любимым человеком!» — думала Ольга Петровна.

Оксана тоже гордится своим Мишей, и оттого только, что Оксана им гордится, Марков никогда бы не оказался трусом.

Котовский с удовольствием наблюдал, как Миша стал тщательно одеваться, как стал обряжать коня, как лихо скачет он, как держится в бою.

«Хорошего бойца вырастили, — думал Котовский, разглядывая своего питомца и весь наполняясь радостью. — Причем многого, чего мы достигали годами, эта черноглазая девчонка добилась в один миг только тем, что восторженно смотрит на своего Мишу. Да ведь, по правде сказать, и Леля, даже ни слова не говоря, самим фактом, что она есть на свете, заставляет меня стараться быть лучше».

Любуется комбриг на своих орлов. Что за народ, в самом деле! Победы бригады слагаются из множества отдельных побед.

Когда встает вопрос о награждении, кажется, всех бы наградил, о каждом бы рассказал в назидание потомкам! Списки на представление к награде составляли сами котовцы и приносили на подпись командиру. Один раз только вычеркнул Котовский из списка фамилию. Это была Ольга Петровна. Как горячо ни доказывали ему, что она достойна награды, Котовский настоял на своем:

— Я знаю, — сказал он решительно, — Ольга Петровна заслуживает самых высоких наград. Но я не хочу, чтобы кто-нибудь мог сказать: «Котовский награждает свою жену». Не нужно этого.

Тяжела походная жизнь даже для привычного ко всему солдата. Еще тяжелее она для женщины. Но никогда не жаловалась Шура Ляхович, безропотно пере-

носила трудности Оксана, всегда была бодрой, распорядительной врач Ольга Петровна Котовская.

Руки Ольги Петровны действуют уверенно и в то же время осторожно. Какие бы ужасные раны ни обнаружила она, разрезав одежду или обувь, обмыв потемневшую, спекшуюся кровь, она никогда не теряла присутствия духа и не утрачивала надежды. В операционной, в палатах она боролась за каждую жизнь.

И вместе с тем неизменно, невольно всякий раз, когда начинался бой, там, в глубине существа, таила тревогу за мужа. Пройдет ли благополучно и сегодня? Ведь не заговоренный же он, в самом деле! Пролетит ли рой пуль снова мимо завидной цели? Удастся ли предупредить и опередить вражеский удар?

Только тогда возвращалось спокойствие, когда узнавала, что бой кончился. Тогда приливал румянец к щекам, лицо горело, и все понимали эту перемену, и все взоры, которые она встречала, говорили ей подбадривающе:

«Ну вот видишь, все обошлось... Ведь мы же знаем, нашего командира не заденет! Иначе не может быть!»

Село Горинка ничем не отличается от многих других украинских сел, с их белыми хатами, пирамидальными тополями и молодыми рощами за околицей.

Ничем не отличается село Горинка. Но сейчас оно заметно тем, что противник оказывает на этом участке сильное сопротивление. Грохочут орудийные залпы, трещит пулемет. С холма, где закрепились котовцы, видны все линии вражеских укреплений.

Дерутся белополяки яростно. Командный состав в плен не сдается. Стреляют друг в друга или кончают самоубийством.

Бои жаркие. Бригада несет большие потери. Выбыло из строя много пулеметчиков.

В конном строю наступать невозможно. Спешились и пошли на окопы противника цепями. Но как только стали спускаться в долину по совершенно открытому месту, поляки начали косить из пулеметов, бить снарядами. Котовцы не выдержали, остановились, залегли.

И как всегда, в решительную минуту появился Котовский. Он скакал галопом на красавце Орлике, спо-

койный, не изменившийся здесь, под артиллерийским обстрелом, ни одной черточкой, разве что более строгий. Он поправил фуражку, и зазвучал его могучий голос, как призыв трубы:

— Красные орлы! В атаку! Вперед! Котовцы не отступают!

Противник заметил всадника и открыл по нему огонь. Видя, что оробели бойцы, Котовский помчался по цветущему полю, как будто это была прогулка, как будто бы и не разрывались снаряды и не взлетали вырванные с корнем кустарники и черные комья земли.

И тогда не могли удержаться, встали бойцы и бросились в атаку. На правом фланге завязался рукопашный бой, и дрогнули белополяки. Но в это время замешкался 2-й полк, где ранило военкома. Противник оправился от смятения и открыл ураганный огонь по наступающим.

— Товарищ командир, не дело тут оставаться, — подъехал к Котовскому Ульрих.

Грохнул выстрел. Снаряд разорвался совсем близко.

— Подтянуть сюда конную батарею! — распорядился Котовский, стряхивая с колен комья земли. — Угостим их прямой наводкой!

Раздался новый взрыв.

Сначала ничего не было видно в клубах горького дыма. Затем все увидели, что командир лежит на земле.

— Убит!.. — пронеслось по рядам бойцов.

Но Котовский поднялся, заставил встать коня и даже вскочил в седло. Тут силы оставили его, и он снова свалился.

Тогда без всякой команды, не обращая внимания на огонь противника, котовцы выпрямились во весь рост и пошли... Пошли несокрушимой лавиной.

Раненых в этот день было много, везли и везли. Ольга Петровна еле успевала делать перевязки. И вот она случайно услышала обрывок разговора.

— Нам-то тут хорошо, а как-то там командир...

Ольга Петровна насторожилась, а бойцы зашикали друг на друга. Тогда Ольга Петровна стала настойчиво спрашивать, а у самой сердце захолонуло, и самые мрачные предположения возникли в мыслях. Наконец кто-то из бойцов, с трудом выговаривая слова, сообщил:

— Говорят, контузило его.

Ольга Петровна выяснила, что Котовский контужен еще днем, а сейчас уже стемнело и прошло столько времени... И хотя вряд ли кто решился бы в такую непроглядную темень, хоть глаз выколи, ехать бог весть куда по невылазной грязи, по бездорожью, но кучер, который постоянно возил Ольгу Петровну, суровый, угрюмый мадьяр по фамилии Сыч, ни слова не возразил. Запряг коней. Взял с собой пук соломы, спички. И вот уже загремела таратайка, ныряя в ухабах и разбрызгивая грязь.

Сверкали молнии, в отдалении раскатывался гром. Казалось еще темней оттого, что в степи полыхали пожары: горели хутора.

Что это темное движется навстречу? Раненого везут. Ольга Петровна сходит с повозки. Грязь по колено. Это коновод Васька, упавший рядом с комбригом.

— Меня потом, — отвел заботливую руку Васька. — Поспешайте, мамаша, к командиру.

Чуть дрогнули руки Ольги Петровны, но она совладала с собой.

— Напрасно... время тратите... — сквозь зубы, корчась от боли, говорил Васька. — Мое дело конченное, угодили в живот...

Сделав перевязку и распорядившись, чтобы Ваську отправили в санчасть, Ольга Петровна поехала дальше.

Вот встретила она Орлика. Его вели на поводу. Он медленно переступал с ноги на ногу. Его шея и голова были изранены шрапнелью.

Это было страшное зрелище: боевой конь не нес своего хозяина. Ольга Петровна уже готовилась услышать самую страшную весть.

— Где командир? — спросила она бойцов.

— Долго не уходил. Уж как мы его просили! А потом увезли его в Катербург санитары батареи.

Ольга Петровна взглянула на них как на чудесных вестников: значит, жив!

Приехали в Катербург. Часовые Ольгу Петровну сразу же провели к Котовскому. Он лежал в топленной по-черному хате, возле него коптил сальный фитилек. Он был в очень плохом состоянии.

Ольга Петровна прежде всего проверила его пульс. Котовский слабо улыбнулся:

— Я знал, что ты приедешь, хотя и не велел тебе говорить.

С большим трудом Ольга Петровна уговорила его отправиться в санчасть, в местечко Ямполь, а потом, передав своим помощникам все дела, повезла Котовского в Одессу.

— Котовский?! — единственное, что спрашивали коменданты станций. Железнодорожники, не дожидаясь распоряжений начальства, бросались в депо. Там тоже долго не расспрашивали. Произносилось только одно слово: «Котовский». Дежурный по станции предупреждал по телефону об отправке экстренного паровоза с прицепленным к нему вагоном, и паровоз мчался. Нигде не задерживали его.

Промелькнули Вапнярка, Бирзула, Раздельная... Ольга Петровна не видела их. Она не отходила от мужа. Он иногда приходил в сознание, спрашивал:

— Взят Кременец? Жив Орлик? Какое сегодня число? Шестнадцатое июля? Сообщи срочно: мой заместитель — Ульрих!..

В Одессе к приезду Котовского была приготовлена дача на Французском бульваре. Самая лучшая, какую только нашли. Из окна открывался широкий вид на море. Веранда выходила в сад. На клумбах цвели розы и гладиолусы. Тенистый сад благоухал.

Котовский лежал прикованный к постели. Врачи собирались вокруг него и затем устраивали консилиумы. Медицинские светила высказывали опасения, не отразится ли контузия на психическом состоянии больного, говорили также о возможной глухоте, указывалась необходимость длительного лечения, клинических наблюдений. В конечном счете приходили к выводу, что надо уповать на могучее здоровье пациента, на то, что с болезнью он справится сам.

Столько солнца было в Одессе, столько воздуха в просторной даче, в благоуханном саду! И такой целебный запах моря долетал с ветром!

Котовский стал поправляться. Выбирался на веранду, садился в плетеное кресло. Солнце доверху наполняло веранду сверкающими потоками. Стекла на веранде

были разноцветными, и на полу, на стенах, на коленях Котовского, на скатерти переливались все цвета: зеленый, желтый, оранжевый, сочно-вишневый.

Котовский закрывал глаза. И тотчас возникали выстрелы, крики «ура», поля сражений... В конном строю идут полки. Вперед!

Каких жертв стоит война! Леонтий... Сколько с ним пройдено дорог! И ведь он спас ему жизнь там, в степи, в холодную ночь... Он отыскал, он, Леонтий! Он приносил передачи в тюрьму, помог совершить побег — неприятельный, молчаливый, верный друг! Славные ребята у него — девочка и мальчик. И хорошая жена. Как они там? Ждут, наверное?..

Мучительные видения преследуют Котовского. И такая тяжесть в голове!

«Это, вероятно, потому, что давно не делаю гимнастику», — думает Котовский.

И вдруг опять острой болью свежая, незажившая рана: неужели нет Няги?! Этого нельзя представить! Неужели он никогда больше не улыбнется, сверкая белыми зубами, не скажет: «Ну и жара! Можно баранину жарить, честное слово!»

Сияет одесское солнце. Пахнет морем. Чья это дача? Вероятно, какого-нибудь Инбер или Родоканаки... или Маразли... Сгинули все, как дурной сон!

Без жертв нельзя. Невозможно. Макаренко, Няга, Христофоров, Леонтий... Жанна, Иван Федорович Ласточкин, Кузьма Иванович Гуща... и тысячи, тысячи славных героев!.. Оценят ли грядущие поколения эти жертвы? Товарищи молодые люди! Ведь вы не пройдете равнодушно мимо могилы маленькой Жанны? Жизнерадостный Михаил Няга — он для вас, только для вас пожертвовал собой, чтобы вам лучше жилось на свете! Стало ли вам лучше? Счастливы ли вы?

— Тебе вредно так долго сидеть на солнце, — говорит жена Ольга Петровна, врач Ольга Петровна, и уводит Котовского в прохладные комнаты.

Как только Григорий Иванович поднялся с постели, появились посетители.

Пришел корреспондент одесской газеты. Пришли почитатели. Пришли старые друзья. Пришли рабочие завода: не может ли он выступить? Хотя бы кратко? Ну,

раз нельзя, так нельзя... Главное, набирайтесь здоровья!

С утра до вечера Котовский занят был приемами. Приходили с подарками, с цветами. Приходил поэт и прочел длинную поэму, посвященную Котовскому, называется «Сверкающие клинки».

Кончилось тем, что Ольга Петровна от всей этой суеты решила увезти Котовского в Тирасполь.

В Тирасполь? Котовский оживился. Да, он хочет поехать в Тирасполь. Обязательно в Тирасполь! Ведь там пахнет садами, рыбой, прибрежными камышами, ведь там плещет полноводный Днестр...

В Тирасполе он по-настоящему отдыхал. Начал понемногу выходить на прогулки. Посетил могилу Христофорова. А там стал приходить на берег Днестра ежедневно. Сидел и смотрел туда, на ту сторону, всматривался, вглядывался... не мог оторвать глаз от голубой дымки, от неясных далеких очертаний.

Быстро разнеслась весть, что в Тирасполе находится Котовский. Посетителей не было, корреспонденты не приходили. Но рано утром появлялись молдаване: из города, из окрестных деревень. Они приходили с корзинами, наполненными лучшими сортавыми яблоками: душистым йонатаном, золотым шафраном, бумажным ранетом, кальвилем. Они ставили корзины на крыльцо и быстро удалялись. Боже упаси! Они не хотели утомлять больного, не жаждали сообщать, от кого именно приношения. И без того известно от кого: от Стефанов и Костаке, Мариул и Христо — от простого трудового народа. Кроме яблок Ольга Петровна находила в корзинах дыни, ранние сорта винограда, сливы и арбузы — все, что выращивала изобильная Молдавия.

В конце августа Котовский засобирался в дорогу:

— Пора, Леля. Бригадир уже подо Львовом.

Котовский еще не поправился. Но больше не в силах был оставаться в бездействии. Двадцать восьмого августа Ульрих вместе с приказами и сводками рассылал радостное сообщение: Котовский вступил в командование! Котовский вернулся в бригаду!

В городе Ананьеве было пыльно и душно. Лето стояло засушливое. Изредка проносились грозы, гремел

гром, теплый ливень обмывал истомленные листья деревьев, по канавам пузырились потоки желтой, мутной воды. И опять пекло солнце.

Катина мать сбилась с ног, поливая гряды и клумбы, вычерпывая до дна колодец. Катя же бегала на почту, дрожащим голосом спрашивала в окошечке «До востребования» и шла домой тоскливая, убитая горем. Она не знала, что и думать! Няга перестал писать...

Произошло объяснение с матерью.

— Ревешь? — спросила мать, когда они уже легли спать и погасили свет.

Катя промолчала.

— Думаешь, не вижу? — в потемках говорила мать. — Вижу. Дочери, конечно, всегда своим умом живут, матери у них в счет не идут, всё по-своему решают. А мнение материнское выслушай.

Катя молчала, но слушала.

— Ты ведь все об этом скучаешь, белозубом цыгане? Глупость одна, брось. Я же его повыспрашивала, он даже вовсе и не Михаил. Иларион.

— Как не Михаил? — возмутилась Катя. — Все ты выдумываешь, мама!

— Ила-ри-он! Сам мне признался. А может, и два у него имени. Одно слово — басурман.

— Пусть два имени! Пусть басурман! Все равно я его люблю!

— Вот когда заговорила! Да что толку от твоей любви? Ты это мне объясни.

Долго гудела мать, все в одну ноту, бесцветно, рассудительно. Но разве докажешь сердцу?

Катя решила поехать и отыскать Михаила Нягу, где бы он ни был, хоть на краю света. В письмах адреса его не было, но когда он уезжал, он говорил, что едет на Жмеринку. Со Жмеринки и начнет она розыски. Неужели бригады Котовского не найдет!

Настал день, когда Катя исчезла из дому. Хватились мать — а постель как была постлана с вечера, так и не тронута. Туда-сюда, думала, у подружки заночевала, но день прошел, другой — не вернулась Катя и письма не оставила. Только подружка забежала, сказала, что поехала Катя своего Михаила разыскивать.

Ехала Катя в теплушках, ехала на площадках вагонов товарных поездов, отмахивалась от солдатских любезностей, спорила с железнодорожниками, упрашивала кондукторов... Так добралась до фронта.

Здесь часто проверяли документы, здесь было строго. Катю не раз задерживали, проводили в Особый отдел. Она подробно рассказывала свою несложную историю.

— Но где же ты своего Михаила найдешь? Ведь у нас Михайлов много, а разгуливать в этих местах не полагается.

— Да это же Няга! Няга-то один? Он в бригаде Котовского, кавалерист, он командир первого полка! — выпаливала Катя.

— В самом деле, есть такой полк в Отдельной кавалерийской бригаде. Командир полка? Так ты ему кем приходишься?

— Жена! Вот кем прихожусь!

— Жена, а между тем он не пишет?

— Может быть, ранен? Я все равно его найду! Вы меня не останавливайте! Уж раз я решила...

— Вот что, гражданка, — сказал ей в одном Особом отделе военный, — я вам дам провожатого, он доставит вас в штаб бригады — это совсем близко, — в штаб бригады Котовского. Вы там знаете кого-нибудь?

— Конечно! Самого Григория Ивановича знаю. Ульриха с женой... и еще...

Она так уверенно назвала фамилии, имена!

Начальник Особого отдела сам решил ее проводить. Кто знает, а может быть, ходит, разнюхивает расположение частей? Но скорее всего, случайная подружка, мимолетная любовь этого самого Михаила...

— Как фамилия вашего мужа? Няга? Он кто по национальности? Ага! Молдаванин? Словом, пошли.

И начальник Особого отдела двинулся вперед первым.

Когда умер Няга, Юцевич подумал, что надо бы известить эту девочку из города Ананьева о случившемся, ведь они переписывались, и это была, может быть, настоящая любовь, может быть, супружеские отношения.

Однако выяснилось, что никто не знал адреса этой Кати, даже ее фамилии. У Няги в бумагах не оказалось

никаких адресов. Сохранилось письмо от Кати, но там, кроме почтового штемпеля ананьевской почты и подписи «Катя», нельзя было найти никаких нитей. Машенька Ульрих тоже не знала ни адреса, ни фамилии. На этом и пришлось успокоиться.

— Подождем, когда сама пришлет запрос.

Но Катя не догадалась прислать запрос. Вместо того сама явилась в штаб, сопровождаемая военным.

Легче было бы написать в извещении, чем вот так, говорить ей прямо в лицо, что того, кого она разыскивает, нет на свете.

Штабисты переглянулись. Наступило напряженное молчание. Начальник Особого отдела сразу понял, что произошло, понял по растерянным, огорченным лицам, по этой затянувшейся паузе.

— Катя! — начал Юцевич, замялся на секунду и продолжал: — Так вот, Катенька, какое дело... Понимаете, что получилось... Я должен сказать, Катя... — И вдруг рассердился на себя, что мямлит, тянет, и резко закончил: — Михаил Няга пал смертью храбрых. Убит.

— Вы сядьте, Катя, — ласково сказала Машенька Ульрих, — мы вам расскажем все подробно. Хотите выпить воды?

Начальник Особого отдела ушел, вздыхая и невольно думая о своей семье, оставленной на Урале, в Пермской губернии. Тоже, поди, ждут, волнуются... Храбрая эта Катюша! Ведь надо же — прикатить на фронт!

Катю оставили переночевать. Катя почти не плакала. Почему-то она всего ждала, только не этого. Она думала, что увидит около Няги другую, похитившую счастье у нее, Кати... Или узнает, что Няга решил почему-то порвать с ней — и тогда она убедит его, докажет, что они предназначены один для другого... А тут... ничего нельзя доказать, ничего нельзя исправить... Ничего!

Через несколько дней Катя уехала.

Когда Котовский возвращался с Ольгой Петровной в бригаду, они заехали попутно в ветеринарный лазарет навестить Орлика.

Стоял он в неубранном, тесном стойле, был нечищен, некормлен, худ. Раны его начинали гноиться.

Услышав голос хозяина, он жалобно заржал. Это была трогательная встреча. Котовский гладил коня, хлопывал его по спине. Орлик смотрел такими разумными, полными страдания, человеческими глазами, и так подрагивал кожей, и так радовался, так верил боевой дружбе!

Котовский говорил коню:

— Я тебя так не оставлю! До чего же тебя довели, бедняга!

И затем обратился к Ольге Петровне:

— Ты можешь вообще лечить лошадей? Ну что я спрашиваю? Конечно, можешь! Заберем Орлика, и ты сама им займись. Не возражаешь?

Таким образом, они прибыли в бригаду вместе с Орликом.

Хотя командиру подробно писали о жизни бригады, пришлось все снова по порядку рассказывать: о том, как бригада вырвалась у Бужей Горы из окружения, о том, что Иван Белоусов после битвы у Горинки «открыл счет» за ранение командира и этот счет непрерывно растет.

— У нас счета с врагами революции давнишние! — сказал Котовский.

И начались новые упорные бои. Стояли горячие дни. Часто противники скрещивали оружие на хлебных полях, и кони топтали тяжелые колосья, мчались по спелой пшенице, так и не дождавшейся жатвы. Котовский совершал рейды по вражеским тылам, перерезывал железнодорожные пути, препятствуя вывозу из Советской страны награбленного противником имущества.

Орлик, как острили в лазарете, разгуливал «по увольнительной». Он поднимался по деревянной лестнице на второй этаж и вдруг заглядывал в штаб, отыскивая там Котовского. Машинистки сначала визжали от неожиданности, а затем угощали незванного посетителя сахаром.

Всюду знали его. Он шел по улице какого-нибудь села — независимый, знающий себе цену. Из дворов кричали:

— Орлик! Орлик!

Он шел не оглядываясь: вполне справедливо, что

его — коня самого Котовского — восторженно приветствует народ.

Ольга Петровна промывала его раны, снимала коросту. Орлик терпеливо переносил боль, только подрагивал кожей да облизывал языком горячие губы.

Ему давали сливы, чтобы чем-нибудь порадовать. Орлик очень любил сливы. Он ел их и выплевывал косточки. Еще он любил крутые яйца.

Бригада Котовского находилась в шести километрах от Львова. В начале июня 1920 года сотысячная армия Врангеля хлынула из Крыма и начала развернутое наступление. Однако даже это не спасло белополяков. Враг был изгнан из пределов нашей земли. Красная Армия освободила Бобруйск, Минск, Вильно, Гродно и подошла к Варшаве.

С какой стороны ни посмотри, у Польши не было больше выбора. И тогда покорный слуга вышел из повиновения хозяину. Так загнанная кляча отказывается тянуть воз, несмотря на удары кнута. Хозяева — империалистические страны — понукали, требовали от Польши новых усилий, хозяева даже угрожали. Но Польша на этот раз ослушалась и вынуждена была пойти на заключение мира с Советской Россией.

В одном из последних сражений, под Милятином, был убит Ульрих.

Машенька плакала на груди Ольги Петровны. Ольга Петровна тихо успокаивала ее. Они провели бессонную ночь, беседуя.

— Жены военных всегда должны быть готовы к неожиданности. Такова наша участь.

— Хотя бы ранило! Хотя бы отняли ногу! — шептала Машенька, глядя красными от слез, опухшими глазами куда-то в стену. — И ведь всего ему было двадцать восемь лет!..

Она перебирала в памяти бесконечные мелочи, маленькие радости, отдельные случаи из их совместной жизни, приобретающие теперь особый смысл. Потом опять плакала — горько и беззвучно.

Похоронили Ульриха в парке Почаевской лавры, под сенью громадных, буйно разросшихся деревьев. Прозвучал залп прощального салюта...

Деревья неумолчно шумели вершинами, вели какой-то свой, важный и серьезный разговор. Почаевская лавра была старинная, пропахшая ладаном и восковыми свечами, наполненная тлением, перезвоном колоколов, церковными песнопениями. Но могучие деревья утверждали расцвет, силу, рост, торжество жизни.

ШЕСТИНАДЦАТАЯ ГЛАВА

1

Когда стало известно о поражении польской армии, о позорном бегстве Пилсудского, княгиня Долгорукова сразу же стала готовиться к отъезду.

— Лучше выбраться заблаговременно, — говорила она горничной, которая была у нее вместо собеседника в тех случаях, когда хотелось наедине думать вслух. — Терпеть не могу оголтелого плебса, беженцев, паники, толпы!

Наиболее предусмотрительные люди давно уже уезжали из Варшавы. Делали они это без шума, умно. Вдруг фабриканту Закружевскому срочно понадобилось побывать в Париже. Вдруг старому русскому сановнику Гагарину захотелось принять морские ванны, и непременно в Италию. Вдруг преосвященный владыка пожелал посетить святые места.

Но вот и мирный договор подписан. Значит, прав был Гарри, что не спешил уезжать?

Теперь недовольна была Люси.

— Мирный договор? — говорила она, и ей как-то не шли такие слова: «мирный», «договор», это не из ее лексикона. — Мама, а где же Москва? Обещали Москву! Ох, уж лучше не слушать этих государственных мужей!

— Что ты от них хочешь! Спасибо еще, Варшаву удержали.

Они теперь часто говорили об Америке. Раз война кончена, Гарри здесь нечего больше делать. Они немножечко побаивались: Америка! Как-то сложится там их житье?

— Говорят, у них небоскребы, небоскребы! — испуганно округляла подведенные глаза княгиня.

Гарри в день подписания мирного договора между Польшей и Советской Россией вернулся домой в таком же отличном расположении духа, как обычно.

— Итак, война окончена! — произнесла трагическим голосом княгиня, не дождавшись, пока Гарри сам начнет этот разговор.

— Кто это вам сказал? — удивился Гарри. — Ах, вы имеете в виду подписание мирного договора! Это — мелочь, маленький эпизод. Может быть, придется подписывать еще много таких договоров. Разве в этом дело? Нет, мама, война никогда не кончится. Сейчас, например, начинается очень интересная, я бы сказал, эпопея. Можно назвать ее «ассорти». Скажу не хвастая: ювелирная работа! Но и это не все. Пока идут малые войны. А вот когда начнутся большие...

— Ну, это в общем масштабе. Но мы — в частности вы, Люси, я — ведь мы теперь поедem в Америку? Не правда ли?

— Если вы ничего не имеете против, мы немного побудем здесь, — скромно ответил Гарри.

— Конечно, Гарри. Я только думала... Очень хорошо! А я уже понемногу начала укладываться... Но если мы остаемся, то лучшего и желать не приходится! И Люси будет довольна.

В Варшаве и не думали оплакивать неудачи. Напротив, все делали вид, что дела обстоят блестяще. Устраивали празднества, иллюминации, назначали балы... Ликовали. Произносили речи. Как говорила княгиня, делали хорошую мину при плохой игре.

Приближалась весна. Произошло семейное совещание в доме Долгоруковых: где и как провести лето.

— А почему бы нам, например, не поехать в Молдавию? — с невинным лицом предложил Гарри.

Вопрос был не случайный. Во-первых, у Гарри в Молдавии было имение, которое он мимоходом приобрел у помещика, когда у того пошатнулись дела. Гарри хотел сюрпризом показать новое приобретение, да и самому взглянуть, что это за покупка, совершенная им еще давно через покойного пана Скоповского (о Скоповском и его смерти в доме не упоминалось, так как это расстраивало княгиню). Во-вторых, у Гарри в Молдавии были дела, и он хотел сочетать приятное с полезным.

Признаться, Люси мечтала о поездке куда-нибудь на курорт, на морские купания, или в Италию, или даже в Америку, чтобы посмотреть наконец на обиталище мужа. Но если Гарри так хочет... Люси была покладистого характера и умела во всем находить удовольствие.

Что касается княгини, она была в эти дни безразлична ко всему. У нее была хандра. Ее мало интересовало, что и как будет в дальнейшем.

Когда скоропостижно скончался Александр Станиславович Скоповский, княгиня очень была опечалена. Ей думалось, что вот кончился последний ее роман, последнее увлечение. И хотя она по-прежнему молодилась, по-прежнему злоупотребляла сильными духами, предпочитая французские, годы брали свое.

Люси понимала женским чутьем переживания матери. Потеря княгини как бы уравнивала положение этих женщин: княгиня потеряла Скоповского, Люси потеряла Юрия. И как-то совсем неожиданно для обеих у них произошел разговор, где обе были откровенны и не ощущали того, что одна из них — мать, другая — дочь.

— Ты любила Юрия? — спросила княгиня.

Люси вздрогнула от неожиданности. Посмотрела, искренне ли, от души ли говорит мать. Но у княгини стояли в глазах слезы, потому что она в это время думала о своем горе.

— Да, мама, я любила его по-настоящему, люблю еще и сейчас. Это может так быть?

— А Гарри?

— Ну что же, Гарри? Гарри хороший, но он... как бы тебе это сказать... Он совсем-совсем американец.

— Это я понимаю, ты мне не объясняй, я это очень понимаю. У нас с тобой одинаковая судьба. Разница только в том, что ты потеряла своего первого, а я потеряла своего последнего. Вот и вся разница.

Итак, все трое поехали в Молдавию. И Гарри снова волновался, предвкушая удовольствие, как Люси и княгиня удивятся, что имение принадлежит им. Правда, оно

значительно хуже Прохладного, но что же делать. Прохладное пока что так же недосыгаемо, как если бы оно находилось на луне.

Коляски хрустели по гравии, и вокруг все цвело, благоухало, радовалось солнцу.

— Налево, налево! — кричал Гарри, полный воодушевления.

— Гарри ужасно любит хвастаться, — шепнула Люси матери, и обе заговорщически засмеялись.

— Дубовая роща, великолепная древесина! — кричал Гарри, как продавец на аукционе, расхваливая свой товар. — Эта дубовая роща уже относится к нашим владениям! — продолжал он, заглянув в план, который был развернут на его коленях. — А вот и дом! Видите? С колоннами! Как вы находите? Честное слово, Тургенев! Настоящий Тургенев!

Имение на самом деле было премиленькое. Тут были сад, и виноградник, и оранжереи. И опять все оказалось приготовленным, предусмотренным, и они отлично разместились, и даже была теннисная площадка, и крокет, и гамаки, подвешенные между деревьями.

Правда, в теннис не с кем было играть, правда, было довольно скучно после шумной Варшавы здесь, в этой зеленой заводи, в этой живописной деревенской глуши. Но Гарри обещал, что осенью они поедут в Ниццу, или даже в Алжир, или в Японию, в экзотическую Японию... Куда угодно!

В Кишиневе находился штаб атамана Гуляй-Гуленко, военного представителя Петлюры при боярском правительстве Румынии. Вот с этим Гуляй-Гуленко и были у Гарри дела.

Гуляй-Гуленко был молод, дерзок, немножко не хватало ему воспитания, образования, лоска, был он какой-то ненастоящий, как будто ряженный, как будто все нарочно, не на самом деле. И одевался он зачем-то не в обычное европейское штатское платье или хотя бы в военную форму. Ходил по улицам, и все глазели на него, как на заморское чудо.

— Просто какой-то запорожец за Дунаем! — говорили о нем в деловых кругах, пожимая плечами.

Может быть, из-за этой его картинности и относились к нему не вполне серьезно, хотя он обделывал большие дела. Он занят был вербовкой белогвардейцев, уголов-

ников, он никем не брезговал. Он формировал свое войско. По совету Гарри была создана румынским правительством специальная вербовочная комиссия, чтобы набрать для Гуляй-Гуленко добровольцев.

Гарри было известно, что в маленьких городках Турции и Румынии скопилось много белогвардейских офицеров, осевших там при эвакуации юга Украины. Им предлагались выгодные условия. А так как все равно им терять было нечего, деваться некуда и многим не нравилось заниматься мелкой спекуляцией, продавать фальшивые бриллианты, наниматься официантами в рестораны или изображать виртуозов игры на баллаке и брэнчать в великорусских оркестрах, то вербовка проходила довольно успешно, даже лучше, чем в Бессарабии и Буковине.

Гарри дал и еще один практический совет атаману:

— Почему бы вам не установить связь с немецкими колонистами под Одессой?

— Я попробую. И не откажусь от вашей помощи, если, например, вы дадите мне явочные точки...

— Никаких точек я вам не дам, но денег получите. И кое-кому будут посланы распоряжения, чтобы оказывали вам содействие. Вы понимаете, атаман: кто-то должен выиграть в лотерею сто тысяч? Вот происходит розыгрыш. Один вытянул билет — пусто. Другой вытянул билет — пусто. Вы человек энергичный, смелый. Почему бы не попробовать? Вдруг вытянете тот самый номер! А?

Офис Гарри Петерсона перебрался в Бухарест. И разве только один офис существовал на свете? Разве только Гарри Петерсон или Ратенау были заняты целесообразным расходом средств, отпущенных на подрывную работу?

— Предположим на минутку, что адмирал Колчак расстрелян, а престарелый Юденич ушел на пенсию, — лениво говорил Гарри Петерсон, принимая некоего Цветковского, малокровного, с тонкой шеей и желтыми, змеиными глазами. — Допустим, что генерал д'Ансельм и генерал Деникин сыграли свою, как говорится, историческую роль. Наш политический дивертисмент не окончен! «Следующий номер программы...» Но за кулисами всегда

должны стоять наготове актеры. Итак, ваш репертуар, господин Цветковский?

— У меня, пан Петерсон, ничего, кроме желания действовать.

— Уже хорошо! Но вот, например, коптит небо такой Артем Анищук. Так у этого Анищука триста штыков и триста сабель. Как вы полагаете, хоть одна сабля кого-нибудь да зарубит? И то хлеб. Молодец Анищук. Хвалю.

— Я понял вас, пан Петерсон. И если бы некоторые материальные возможности....

Гарри назвал сумму. И тогда Цветковский стал яростно торговаться.

Еще был принят Гарри Петерсоном волосатый, сутулый, звероподобный бандит Заболотный. Этот прямо заявил:

— Триста сабель. Говору тильки по-украински. Знаю местность. Можете спросить обо мне Махно.

Гарри не брезговал никакой мелочишкой. Была даже банда под командой некоего джентльмена Прыща. Фамилия не очень звучная, но ведь не в фамилии дело. Фамилии бывали и выразительнее у различных атаманов, батек и главарей. Атаман Музыка! Атаман Чайка! Дудка и Курощекин! Черноус и Якувенко! Темные личности, но стрелять-то умеют? А страшный, хрипатый душегуб Лихо? Он водил по украинским степям двести головорезов, двести всадников на отнятых у мужиков лошадях. Они вырезали советских работников, вешали коммунистов, пьянствовали в чьей-нибудь избе, захватив деревню. Этим и исчерпывалось их политическое «кредо». Правда, были «точки» и покрупнее. Например, у Аверьянова три полка: Кузнецкий, Петровский и Верхоценский. У бывшего урядника Назарова худо-бедно — эскадрон.

Кроме того, Гарри Петерсон вел через посредников переговоры с некоторыми партиями — националистов, социалистов и прочими тому подобными.

Ожидался ответ от братьев Антоновых. По отзывам, деловые люди.

Сверх того, бывали банды, которые возникали стихийно, самотеком...

Все это создавало тревожную, неустойчивую обстановку. Украину лихорадило.

Имение, которое было приобретено в Молдавии, Гарри назвал «Золотой ключ». Название не нравилось Люси. Оно так и не привилось. Люси чаще с некоторой скрытой насмешкой называла имение «Лебединое озеро». Дело в том, что лебеди, заказанные Гарри, так и не появились в его искусственно устроенном озере. Их везли, но они почему-то передохли по дороге.

Гарри все чаще отлучался. Один раз он уехал в Турцию. Именно ему принадлежала, как он выразился в одном докладе, «счастливая идея» засылать на Украину маленькие отряды, причем один отряд не должен был ничего знать о другом, чтобы в случае провала никто никого не мог выдать. Теперь в Константинополе находилась «тройка», которая занималась этой засылкой, занималась прилежно, хозяйственно, как будто торговала турецким табаком.

Вернувшись в свой «Золотой ключ», Гарри привез подарки: турецкие ткани, необыкновенной формы кувшины, золотые чаши.

А вслед за тем опять уехал, на этот раз для встречи с боротьбистами и для устройства типографии, где должны быть отпечатаны листовки — призыв Петлюры к украинскому народу любить только Петлюру и восставать против Советской власти. Эти листовки будет распространять новый ставленник империалистов, новое увлечение Гарри — некий Тютюнник.

— А что ваш Петлюра? — спросила княгиня, слушая рассказы Гарри. — Он действительно выдающийся человек? Я слышала, уж очень его не любят на Украине.

— Что ж такого? А разве любили царя Романова? Вообще это только историки выдумывают, будто когда-нибудь властителя любил народ. Любит ли собака палку? Вздор! И совсем не надо этого. Надо властвовать и кричать на весь мир, что в вас народ души не чает, вот и все.

Когда Гарри опять умчался по своим делам в Кишинев, княгиня позвала Люси в свою спальню, закрыла дверь, опасаясь, не подслушала бы прислуга, и повела разговор, крайне удививший Люси.

— Девочка моя, годы твои уходят, стоит ли тебе жить такой монахиней? Не отшельница же ты какая? Ведь не наложила ты, надеюсь, на себя епитимью?

— Как, мама? Почему монахиней?

— Я ничего не говорю, в Варшаве ты немножко веселилась... Но я давно тебе хотела сказать, да все как-то разговор у нас не клеился. Видишь ли, ты не кто-нибудь, ты Долгорукова. Ты сама-то понимаешь это? Дол-го-рукова! Я старею, скоро помру, и никого у нас на свете нет, кто бы защитил тебя, приголубил... даже кто бы растранижил наше богатство...

— А Гарри?

— Гарри — деляга. Я присматриваюсь к нему, не просто ли он самый обыкновенный полицейский агент или не знаю как у них там называется в Америке...

— Мама! Почему агент? У него очень большое положение. И связи огромные. Ты заметила, как перед ним заискивают?

— Не спорю. И денег у него полно. Только уж ты позволь мне все начистоту выкладывать. Знаешь, у нас, стариков, дурная манера: все хорошо, чай пьем, веселые, шутим... а потом — бац! — и будьте любезны, укладывайте в гроб, хороните с почестями. И хочу я тебе успеть до своей кончины сказать: не соблюдай монашеского чина, не сиди ты возле меня, ради бога! Молодость ко-о-ротенькая! Как заячий хвост, молодость! Что тебе доллары этого Гарри? У тебя у самой миллионы! В английском банке наши денежки! Много, живи — не проживешь!

— Мама, ты что-то знаешь! Гарри изменяет мне?

— Когда ему! Рыщет, как гончая! Ты сама изменяй! Лети, голубка, из голубятни! Поезжай в Париж... Поезжай на морские купания... или в Швейцарию... Гарри — само по себе, замужество необходимо, мужчины только замужних и любят. Ты богата, молода, красива... Ну что тебе сидеть в этой, прости господи, хижине дяди Тома, в этой захудалой Бессарабии, куда Пушкина в старину и то в ссылку отправили, где только свиней разводить! Доченька моя! Последняя ты у нас в роду! Отпразднуй свои женские годы — и пусть все состояние рассыплется прахом! Пусть! Туда ему и дорога!

Люси смотрела на мать с ужасом, с отчаянием. Ей казалось, что мать лишилась рассудка, что у нее буйное

помешательство... Что она говорит?! Что она советует?!

А княгиня все нашептывала, нашептывала... рассказывала о себе такие вещи, о которых дочери и знать бы не следовало... давала такие советы, каких не подсказал бы и сам змей-искуситель, сам сатана!

Нет, княгиня Долгорукова не бредила. Она была страшна, но совсем не походила на умалишенную:

— Пойми, деточка, — несметные богатства! И хоть бы Юрий был жив, тот был бы достойным наследником, и дети бы у вас пошли — дворяне. А то ведь все так без толку пропадет... Никто из нас в живых не останется, и будет в английском банке капитал сам по себе наращивать на себя проценты, разбухать... а потом достанется черт знает кому!.. Нет, нельзя тебе одной ехать, очень ты у меня провинциальная, барышня-крестьянка. Видно, самой мне тебя вывозить в свет. Время-то какое: вся знать, вся верхушка России за границу выплеснута! Да я тебя не за сыщика, я тебя за принца Ольденбургского сосватаю!

— Как же, мама, можно!

— Можно! С деньгами все можно! Поедем, голубка, поедем налегке, довольно мне, как старосветской помещице, в тарантасах передвигаться! Сядем в экспресс — только нас и видели! Я в молодости бывала кое-где... А это разве жизнь, ну ты сама подумай! Мы живем, как какие-то свинопасы. Что возле нас? Одни деревья?

Понемногу княгиня увлекла своими фантазиями Люси. И как совсем еще недавно они мечтали о поездке в Америку, так теперь строили иные планы и все твердили: «Париж! Париж!»

Гарри сначала был обескуражен, когда ему объявили, что обе они уезжают. Он-то никак не мог сейчас бросить дела.

— Ничего, вы приедете! А то Люси у нас совсем захандрила. Ей необходимо рассеяться.

Они собрались в дорогу так поспешно, как будто на пожар.

Гарри примирился с этой затеей. Да и что он мог возразить? Его почти и не спрашивали. Просто ему было объявлено, что они уезжают.

Он сам провожал их.

У него мелькнула мысль:

«Надо приставить к Люси кого-нибудь из опытных... Например, этого, с большими ушами. Мориса!»

Но вслух он сказал:

— Ты у меня прелесть. Я рад, что ты рассеешься.

Когда они сидели в вагоне экспресса и экспресс вот-вот должен был умчать их в Париж, Люси не могла отделаться от странного впечатления, что Гарри стал маленький-маленький, даже какой-то незначительный... И как это она раньше не замечала, что он мизерный, невзрачный человечек, при всей его представительности? Бывают же представительны управляющие, жандармы, швейцары...

Вскоре Гарри стал получать открытки, фотографии, одна нелепее другой. Люси у водопада. Люси верхом на лошади. Люси и мама. Люси без мамы. Мама без Люси. Люси на парусной яхте...

А потом она вообще перестала писать.

СЕМНАДЦАТАЯ ГЛАВА

1

Осенью котовцы били «Третью армию Врангеля» — полки, сформированные в концентрационных лагерях Польши и Румынии. Одиннадцать дней колесили по лесам и оврагам, по невылазной грязи проселочных дорог, одиннадцать дней гонялись за уходившими в леса бандитами, пускались на хитрости, выманивали врага из логовищ, чтобы заставить его принять открытый бой.

Новый комиссар, назначенный в бригаду, Петр Александрович Борисов оказался боевым. В четырнадцатом году воевал, в семнадцатом избран членом армейского комитета. В девятнадцатом — член президиума Вологодского городского Совета рабочих и крестьянских депутатов. А потом по призыву партии отправился на фронт. В бригаде Котовского он сменил Жестоканова. А Жестоканов был переведен в Тирасполь, председателем вербовочной комиссии.

Десятого ноября овладели Белянами, захватили орудия, пленных.

— Дед! — окликнул Котовский Просвирина. — Посмотри пушечки, которые нам достались. Может, тебе что подойдет?

Котовский всегда звал Просвирина Дедом. Любил командира батареи. И вся бригада гордилась батареей: не батарея, а куколка!

Просвирин трофейные орудия осмотрел и ни одного не взял: дрянь! И лошади тоже плохие, упряжь старая, изношенная. Очевидно, петлюровской челяди отдают самые бросовые ошметки!

Одиннадцатого натолкнулись на фроловцев. Захватили пять пулеметов и черный флажок с вышитой на нем серебряной буквой «ф».

Затем бригада двинулась на Проскуров. Застревали колеса орудий в выбоинах. Кони были забрызганы грязью по самые уши. Обоз еле тащился. И все-таки движение было, как всегда, стремительным.

Ноябрь хмурился. Низко ползли свинцовые тучи. Холод был промозглый, ветер пронизывал до костей. Не радовали глаз голые поля, черные, набухшие от непрерывных ливней комья земли, черного пара. И вдруг тихо, бесшумно закружились в воздухе легкие снежинки. Замельтешили, закружились, все больше, все гуще. И сразу все побелело. Стало светлей, нарядней. Вкусно запахло снегом. Бодрость появилась в теле. Вон и крыши поселка в стороне от дороги стали белые, веселые. Кони фыркали, дружно ударяли копытами по стрельчатому ледку луж в выбоинах дороги.

— Ого-го! Зима! — кричал засыпанный снегом папаша Просвирин.

— Пора кончать эту музыку, — говорил Котовский, стряхивая с воротника снег. — Не будем задерживаться в Казимировке. Даешь Проскуров!

Орлик кивнул головой, как бы соглашаясь.

Ранен папаша Просвирин. Он командовал батареей. Нужно было поддержать наступление бригады, и Просвирин добросовестно долбил по городу, по тылам, глушил орудия противника, прижимал передовые линии к земле. Даст прицел одному орудию, а потом приказ:

— Батарея, беглый огонь в пять снарядов!

И пошло! Не сосчитать выстрелов!

Под градом пуль, в грохоте снарядов, он, с обнаженной головой, взмахами фуражки управлял огнем батареи:

— Огонь! Огонь!

Вдруг раздался взрыв, и Просвирина упал. Разорвалось орудие. Просвирину раздробило ребро и ранило ногу выше колена.

Кто в бригаде не знал папашу Просвирина! Когда раненого унесли, каждый взмах шашки был мстью за него. Однако жила уверенность, что он поправится, и все незаметно поглядывали в сторону батареи, не появится ли папаша Просвирин? А уж как ждал его Савелий Кожевников — земляк и приятель!

В одиннадцать часов в городской больнице сказали, что все в порядке. А вечером разнеслась весть: умер. Не верилось, что нет его в живых, не укладывалось в сознании!

Котовский очень грустил по Деду. Между тем нужно было идти вперед, не оглядываться, не задумываться, беспощадно бить врага.

Когда противником был потерян Проскуров, в пограничный город Волочиск ринулись все его бронепоезда, дивизии, обозы, а впереди всех — командование. Сам Петлюра примчался в Волочиск первым и отсюда, чувствуя себя в безопасности, отдал приказ своим войскам немедленно перейти в наступление.

Тем временем спешили перешить рельсы, так как за Волочиском другая ширина колеи железной дороги, а необходимо переправить за рубеж бронепоезда, эшелоны с различным имуществом.

— Не успеют они перешить! — воскликнул Котовский, узнав об этом занятии петлюровцев. — Надо было раньше кроить кафтан по фигуре.

С самого рассвета бригада шла форсированным маршем, сбивала главные силы противника на лед реки Збруч, отрезая их от моста. Буквально из рук вырвала переправляемые на польский берег орудия, эшелоны, захватила много пленных и огромные трофеи.

В Волочиске стоял на путях под парами «правительственный» поезд. В этом поезде намеревался отбыть туда, под защиту иностранных покровителей, проигравший все

ставки Петлюра. Поезд ему пришлось бросить и добираться до Варшавы собственными средствами.

— Ну, кажется, потише стало, — вздохнул Савелий. — Уж очень неинтересно по такой грязи таскаться! У нас в Пензе так давнехонько, поди, зима встала. Зима у нас хорошая, ласковая, снегу много, и ребятишки с гор катаются.

Однако и на Украине зима установилась. Выпал снег, навалило сугробы. Замерзла вода в колодцах, приходилось ведерком пробивать лед. А какие на окнах появились узоры! И как разрумянились щеки девчат!

Настало рождество. В деревнях ходили с колядкой. Савелий отложил все поделки, аккуратно свернул куски кожи, заплатки, рубашки, обмотал нитку вокруг иголки и спрятал ее в спичечную коробку, а сам принарядился, помылся в бане, причесал бороду, сидел и тянул тоненьким голоском рождественский тропарь:

— Рождество твое, Христе боже наш, воссия миру свет разума...

И вдруг неожиданно добавлял:

— Сколько этих самых банд на свете! И что меня удивляет, откуда у них берется оружие? Что у них за такой за интендантский склад, прости господи?

— А меня это ничуть не удивляет, — возразил неизменный собеседник Савелия Миша Марков. — Ведь только имена разные: сегодня атаман Лихо, завтра атаман Хмара, а все эти птенчики из одного гнезда вылетают.

— Слыхал? — спросил Белоусов, сидевший с ним рядом. — Завтра выступаем в боевом порядке. Пришло сообщение, что появился какой-то новый отряд. Говорят, и пулеметы у них, и конница... Я забыл только фамилию, очень трудная... Жгут деревни, убивают сельсоветчиков... Откровенно говоря, я рад, что пойдем в дело!

Из-за рубежа переброшена только что сформированная банда, возглавляемая Гуляй-Гуленко. Ему было дано указание — пополнять свои ряды, вовлекая кулацкие отряды, которые встретятся на пути, и набирая добровольцев по деревням и селам.

— Вы и оглянуться не успеете, как у вас будет армия!

Но оказалось, что на Украине по указанию Фрунзе заранее приняты меры. Этого не учел Гуляй-Гуленко.

Впрочем, первая ласточка: присоединился к Гуляй-Гуленко атаман Грызло.

Котовский, продвигаясь по полям и дорогам, обнаружил Гуляй-Гуленко южнее Умани. Оказывается, Грызло, Цветковский и Гуляй-Гуленко грабили сахарный завод. Каково же было огорчение котовцев, когда после первых стычек с бандитами Котовский отдал приказ отступить.

— Белополяков гнали, а тут испугались! — удивлялись кавалеристы.

— Зря наш командир не будет ничего делать. Что-то тут не так, — толковал Савелий.

Он не ошибся. Это был только маневр. Котовский, отступая, заманивал противника в кольцо окружения. Тем временем разведка все о составе шайки, о вооружении, о слабых ее местах. Кольцо сжималось.

Первым это почувствовал Цветковский и незаметно улизнул. Пусть без него расхлебывают кашу, которую заварили!

Котовцы только ждали сигнала. Затем со всех сторон бросились на опешивших бандитов. Били нещадно. Никто не ушел из этого жестокого боя. Некуда было уйти.

Гуляй-Гуленко забрался на чердак изрешеченной пулями хаты, отстреливался, а потом, не желая сдаться, приложил пистолет к уху и закончил этим свою бесславную деятельность, к немалому огорчению Гарри Петерсона.

2

Они подобрали его во время стремительных своих переходов. Он был голодный, заморенный, несчастный, этот вихрастый мальчуган.

— Есть хочешь? — заботливо спрашивали окружившие его котовцы.

— Хочу. Кто же не хочет есть!

— Правильно!

— Вымыть его сначала надо!

— А ну-ка, примерь эти сапоги... Сойдет! Портянок побольше намотаешь, чтобы не хлябали.

— Нет уж, надо его по всей форме обрядить.

— Тебя звать-то как? Петька? Здорово! Будешь с нами вместилах воевать?

— Возьмете, так буду. Я на трубе могу трубить.

Так появился у котовцев Петька-горнист, общий ба-ловень. Оксана рубаху ему сшила и все снаряжение по-росту приспособила. Очень красиво получилось. Савелий Кожевников объяснял ему воинский устав. Марков учил верховой езде. Котовский показал, как играть сигналы, но особых музыкальных способностей у Петьки не оказа-лось.

Лучше всего у него получался сигнал «В атаку». Впрочем, этого было вполне достаточно. Петька трубил — бойцы шли. И когда уставала рубить рука и не оказы-валось ни одного уцелевшего в рядах противника — это и означало конец атаки, это было ясно и без трубача.

Мчались котовцы вперед. Петька-горнист, трубач Ко-товского, отчаянный милый мальчик, не отставал от командира. Где Орлик, там и серый Бельчик трубача.

Сколько четырнадцатилетних мальчиков мечтало ска-кать на сером жеребце впереди отряда, с красивой се-ребряной трубой! Счастливый Петька достиг этого. Труба сверкала, светлые волосы выбивались из-под фу-ражки, ветер свистел... Вдали пестрели вражеские роты, рассыпавшиеся цепью по бугру...

Жизнь была волшебна, деревья в снежном уборе на-рядны, облака быстролетны. И самое прекрасное было — стремительный бой. Где-то рядом ухали пушки. Через поле мчались конники. И когда врубались они в гущу пехоты и начинали свой страшный танец сверкающие клинки, каждый знал, что рядом Петька, беловолосый мальчик, и всегда вовремя отводили от трубача удар. Была непреклонная уверенность, что его не тронет пуля. Убивают в бою друг друга взрослые люди. А он даже как бы и не конник, он только присутствует при решаю-щих битвах, он — представитель молодых поколений завтрашнего дня.

Так светится и улыбается утренняя заря! Нет ей дела до тающих сумерек, она смотрит вперед, тянется к пол-дню и уже придумывает, какие будут на этот раз весе-лые поляны, какие будут кружиться птицы, какие заме-чательные родятся облака в этот наступающий день...

Его поймали бандиты Заболотного, когда он неосто-рожно отбился от бригады. Они гонялись за ним, как псы за сусликом, их было много, а он один. Наконец им удалось окружить его. Что-то не были они так храбры,

встречаясь с бойцами Котовского! Но ведь это был всего лишь беловолосый мальчик...

Петька увидел совсем близко смеющиеся разбойничьи рожи. Он понял, что убивать будет этот, рыжебородый, он как-то особенно ощерился. Детина, топором тесаный. Опасаясь, как бы не опередили другие, он тихо, просяще произнес:

— Не трожь. Я сам.

Затем взмахнул тяжелой казацкой шашкой...

Петька увидел кусты, серебряный снег, бирюзовое небо... Подумал: «Надо пришпорить коня и держать прямо на дерево, освещенное солнцем. И тогда прыскачу к своим и буду рассказывать, как чуть было не влопался... Вот будут смеяться! Все будут смеяться, даже хмурый ординарец командира Черныш. Савелий и тот станет посмеиваться в бороду... а уж Марков как зальется! Черныш заставит повторить рассказ несколько раз подряд и только тогда ухнет, как филин, и это будет означать смех...»

Все это успел подумать трубач Петька. Но его уже не было...

Котовцы нашли изуродованный труп. Петькины глаза были выпучены. Белые волосы слиплись. Лицо потемнело. Голова была почти отрублена и как-то особенно горестно склонялась набок.

Котовский долго вглядывался в это лицо.

— Бедный м-мальчик!.. — прошептал он.

Сердце горело, рука сжимала эфес. Таких вещей не прощают.

Банду Заболотного удалось настигнуть на привале в деревне. Невозможно было остановить общего гнева! И после того как промчались по деревенским улицам конники, разя направо и налево, от Заболотного ничего не осталось. О банде Заболотного теперь можно узнать только понаслышке. Пленных не было. Спасшихся тоже.

Самого Заболотного нашли спрятавшимся в колодце. Он висел на веревке, усевшись верхом на колодезную бадью. Вытащили за рыжую бороду и прикончили тут же, у колодца.

И только когда все было сделано, перевели дух.

Прошло много времени. Все избегали говорить о Петьке. Так няня чувствует себя виноватой, если не доглядит и дитя упадет, ушибется, набьет шишку на лбу.

Большое горе молчаливо, настоящее чувство скрытно и застенчиво.

Однажды бригада стояла в поселке. Как всегда, деревенские мальчишки окружили Котовского. Особенно один, беловолосый, шустрый, так и не сводил очарованных глаз с большого дяди. Он восхищенно разглядывал и его сильные руки, и золотой эфес, и черные смелые глаза.

И вдруг командир произнес что-то непонятное, не относящееся к делу:

— Глупый мальчишка! И куда его понесло? И чего мы смотрели?..

Голос командира был теплый. Потом он поднялся, как бы стряхивая грустные мысли.

Деревенские мальчишки смотрели на высокого дядю с восхищением. А вскоре появился в бригаде трубач Шурка — способный и бойкий. И снова зазвучал боевой призыв-сигнал «В атаку».

3

Рождественские морозы. Серебряный месяц как елочное украшение. Небо густо-синее, от этого еще белее кажется снег. Ходит дед-мороз по березнячку, по задворкам, палочкой постукивает. Ну и мороз загнул! Дух захватывает! Снег под ногами хрустит, каждый шаг звонко отдается в обледенелом воздухе.

Крепкие морозы стоят на Украине. А там еще жди крещенских! Дым из печных труб уходит вверх узеньким столбиком. Звезды вмерзли в небо. Тишина. А потом как налетит ветер, как начнет по селам гулять метелица, света божьего не видно, от соседа до соседа не доберешься, такие наметет сугробы, с острыми гребнями, с зализами. Налетит и утихнет — разбирайся как хочешь!

Тридцать первого декабря, под самый Новый год, Котовский вступил в командование 17-й кавалерийской дивизией. И в тот же день получил приказание преследовать банду Махно.

Нестор Махно не украсил памяти о себе славными делами. Черное имя его проклинали на Украине. Ни один атаман из всей батьковщины времен гражданской войны не совершил столько казней, погромов, как Нестор Махно. Свиреп был Махно, не было предела его

вероломству. Никаких убеждений у него не было. Самый что ни на есть отъявленный бандит. «Идеи» ему придумывала окружавшая его свита: махровые анархисты, эсеры, с бычьей злобой кулачье и просто сорви-головы. Так и прослыл Махно сторонником анархизма.

Котовский, приступая к действиям по ликвидации этой банды, вспомнил почему-то, как он в кокорозенской школе вступил в единоборство с быком. Бык был дьявольски силен, наполнен яростью и злобой, но все-таки это был всего лишь бык, и Котовский победил его.

Вся зима и весна прошли в изнурительной погоне за бандитами, а в середине лета Махно был тяжело ранен. Тогда он распустил своих головорезов, предоставив каждому заботиться о дальнейшей своей судьбе. Сам пробрался за границу. Встречали его в Бухаресте, позднее он появился в Париже. Даже дал интервью газетчикам. Они спрашивали:

— Намерены ли вы, мосье, возобновить войну с Советами?

— Я думаю, что нет, — отвечал Махно. — С меня, кажется, довольно. Пусть другие дураки занимаются этим делом.

Растаяла, как тяжелый сон, махновщина, и только плачут вдовы по своим растерзанным бандитами мужьям да чернеют остовы домов сельсоветов, сожженных этими мнимыми защитниками справедливости.

Исчез Махно. Но возникают в вечерних сумерках другие разбойничьи рожи. Вот напали на ссыпной пункт в селе Кошеватое. Вот появился Лихо в Китайгородских лесах. Предприимчивый Цветковский насобирал где-то сто восемь отпетых убийц. Вот бродят бандиты Иво, одетые в красноармейскую форму...

Они совершали нападение и тотчас прятались. Они были наглы и трусливы. Они изматывали силы красноармейцев, вредили из-за угла, не давали спокойно работать населению.

— Коней только замучили! — досадовал Савелий Кожевников. — И куда они лезут с такой мелочью? Собери миллион солдат, тогда и пробуй.

— Чудак ты, Савелий, — удивлялся Марков. — Да они же нарочно так действуют, чтобы досаждать, беспокоить... Это и называется — малая форма войны.

— И не стыдно им такой пакостью заниматься? Разве это война!

И Савелий неодобрительно покрутил головой.

Однажды вернулся из разведки Белоусов и сообщил, что влево от дороги, в деревне Казимировке, стоит какая-то удивительная белогвардейская часть: на всех плащи, а на фуражках белые кресты нашиты.

— Может, монахи какие?

— Не похоже, чтобы монахи. И пулеметов много.

Свернули на Казимировку. Здесь дорога была еще хуже. Ухаб на ухабе. Вскоре показалась деревня. Котовцев встретили ружейным и пулеметным огнем.

Один эскадрон спешился и пошел в атаку. Дело привычное, воевали не первый год. Да и белокрестиков, видать, немного. Однако огонь был жесток. Атакующие откатились. Пошли второй раз, третий. И снова неудачно.

— А ведь и вправду удивительные! Виданное ли дело, чтобы мы по три раза в атаку ходили? Да у них и артиллерии нет, да мы не таких в бегство обращали!

Выкатили орудия, грохнули. Молчат! Стали с флангов щупать пулеметами. Начали наконец злиться: тоже неприступная крепость нашлась, соломенная Казимировка! Решили бросить роту в обход, выгнать их из деревни, на чистом месте покончить канитель привычной конной атакой. Но и тут белокрестики подпустили не сразу.

Ну, тогда бросились конники на «ура», до того-то действовали с прохладцей. И, конечно, вскоре по всему выгону возле Казимировки только фуражки с белыми крестами валялись. Очень рассердились конники.

А белокрестики, как увидели, что конец, сами стали расстреливать себя из винтовок. А не то приставят запыленную гранату к голове — трах, и готово. Осколками многих котовцев переранили.

Часть белокрестиков взяли котовцы в плен и решили тут же расстрелять их за нанесение урона. Поставили к забору. Только что собрался кто-то произнести им краткое напутственное слово, как прискакал на взмыленном коне Котовский с обнаженным клинком:

— Отставить! Уж не у Махно ли вы научились обра-

щаться с пленными? Да такого достойного противника надо за урок благодарить! Кто так умеет драться? Т-только русские!

И Котовский протянул огромную ручищу бледному офицеру, стоявшему впереди.

Тот поднял взгляд. И вдруг на его лице появилось удивление:

— Котовский?! Вот это встреча!

— Я же говорил, что мы встретимся. Насколько я помню, в последний раз мы расстались в Одессе, на Итальянской улице. Вы спасли меня в тот раз от патруля и сказали, что завидуете моей вере в народ, в свободу, в справедливость...

— Да, да, я помню все это...

Бойцы ничего не понимали. Чуть не пустили в расход хорошего человека!.. Белокрестики — и уважать! Пленные — и командир пожимает руку!

Но дальше произошли еще более удивительные события.

— Кто старший по чину? — спросил пленных Котовский.

— Я, — выступил вперед Орешников.

— Вот и хорошо. Предлагаю, капитан Орешников, под личную ответственность и ваше честное слово доставить пленных в штаб и явиться с донесением о выполнении задания.

Вскоре Орешников был зачислен в пехотную дивизию. Вначале ему казалось, что все относятся к нему с подозрением. Он пристально приглядывался к каждому, и в любом слове ему чудился какой-то намек, что-то касающееся его, обидное и оскорбительное.

Между тем никто и не думал на что-нибудь намекать или чему-нибудь удивляться.

— Рассказывают, в Одессе Котовскому помогал! Значит, не очень-то белый.

— Надо же! Из офицеров, а какой обходительный!

— А что же, по-твоему? Не все же они четвероногие!

Орешников сначала работал в штабе. Делал все скромно, без лишних разговоров. Даже старый писарь

Онищенко проникся к нему расположением, на что уж отличался неуживчивым характером.

Вскоре Орешников отпросился в строй. Ему дали сначала взвод, а потом он стал командовать ротой. И хороший командир из него получился!

— Радуюсь, что мы наконец в одном лагере, Николай Лаврентьевич, — сказал однажды Котовский, случайно встретив его. — Вы знаете, у меня всегда было убеждение, что мы шли врозь только по недоразумению. Как вы себя чувствуете? Обжились маленько?

— Откровенно говоря, все еще никак не могу акклиматизироваться, — признался Орешников. — Наш брат интеллигенция очень мнительны...

— И щепетильны.

— Да, да, и это есть. И с болезненным самолюбием.

— И с вечным самоанализом. Знаю!

— То мне думается, не слишком ли я подыгрываюсь. То грызут сомнения, что не лучше ли было так и умереть белым, даже в том случае, если это была непростительная ошибка...

— Ничего, это пройдет. Главное, запомните, что вы совсем не являетесь редким исключением. Очень много офицеров царской армии с первых же дней революции сражаются в наших рядах. И еще как сражаются! Немало царских генералов, и, заметьте, талантливых, в Реввоенсовете, в академиях. Обучают новые кадры, разрабатывают стратегические планы... Ведь не одни же на свете деникины да колчаки? Есть и генерал Александров, и генерал Николаев, гнавшие Юденича. А Шапошников? А Егоров?

Несмотря на то что жила дивизия самым обыкновенным образом, строго, деловито, по-военному, Николаю Орешникову все казалось необычным, все вызывало острый интерес.

«Вот они какие, красные, — думал он постоянно. — Вот они какие, большевики!»

Совершенно особое впечатление произвел на Орешникова «Интернационал». Он присутствовал на митинг-концерте. Лектор ему не понравился, концерт был посредственный. Но вот по предложению председательствующего был исполнен гимн... Орешникова поразили даже не самый мотив, не слова, а выражение лиц исполнявших гимн. Пели все присутствующие, весь зал,

причем все встали, и была в этом пении суровая торжественность и, как казалось Орешникову, что-то религиозное, восторженное.

Общее настроение увлекло его, и он сам незаметно стал подтягивать:

Добьемся мы освобожденья
Своею собственной рукой!..

Когда дивизия участвовала в ликвидации бандитских шаяк и Орешникову пришлось на деле столкнуться с возмутительными фактами, самому увидеть жестокость, дикость бандитов, самому снимать с виселиц пойманных бандитами комсомольцев, председателей сельсоветов, сельских активистов, когда самому Орешникову пришлось и вылавливать этих разбойников и даже выдержать несколько настоящих сражений с ними, — Орешников утратил чувство настороженности.

И когда в числе других он был награжден орденом, он уже с полным достоинством и удовлетворением принял эту награду.

Его от души поздравляли.

— Служу трудовому народу! — отчетливо и громко произнес он.

4

Начинали сеять хлеб на полях. Котовский настоятельно требовал, чтобы Красная Армия помогала трудовому крестьянству.

— Мы должны и подводу дать бедняку, у которого бандиты лошадь угнали, и сами встать рядом с ним, поработать. Нужно, чтобы народ полюбил красноармейца, чтобы понял, что красноармеец — его друг и защитник.

Однако в посевной кампании котовцы не успели принять участия. Перед ними была поставлена новая трудная задача: ехать в Тамбовщину для борьбы с кулацкими бандитами Антонова. Бригаду Котовского посылали на этот участок по рекомендации Фрунзе.

— Если ему поручить — значит, дело будет сделано. У него на врагов революции тяжелая рука! — говорил Фрунзе, выдвигая эту кандидатуру.

И вот уже отпечатаны на машинке строки приказа: «24 апреля начать отправку в Тамбовщину бывшей От-

дельной кавбригады, выделив ее из состава 17-й дивизии».

Поданы вагоны. Отдельная бригада размещает коней. Некоторые кони спокойно занимают свои места в новом стойле на колесах. Другие встают на дыбы, отбиваются, шарахаются от железнодорожного состава... Хохот... окрики... ржание... топот копыт...

Котовский сам наблюдает за погрузкой.

— Не сюда, не сюда! — кричит он, поглядывая на платформу. — В следующий вагон заводите!

Свисток паровоза. Тронулся последний эшелон. Замелькали поля.

Эх, миленький, усатенький,
В рубашке полосатенькой,
Шапочка с наборчиком,
Гармошка с колокольчиком!

Заливается песня, переборы двухрядки такие, что хватает от разъезда до разъезда. Каждая теплушка поет. В каждой своя песня.

Зеленеют озими. Садят картошку на огородах. Летят, спешат облака, а все отстают от поезда.

Летит эшелон мимо полей, мимо пашен. Смотрит, смотрит на мелькающие березы, избы, речки, лужайки сосредоточенный, растревоженный Савелий. Выспрашивает на больших станциях железнодорожников, ларечников, торговков всякой снедью:

— А что, родимые, Пенза тут далече будет?

— Какая тебе Пенза? Курск скоро будет. Курские соловьи.

Над штабным вагоном развевается флаг. Многие теплушки украшены свежими ветками березы. А в теплушках тренькает балалайка, звенят молодые голоса:

...Белая армия, черный барон
Снова готовят нам царский трон...

Плакаты на железнодорожных станциях. Красные полотнища на вагонах:

«Да здравствует Первое мая — смотр мировой революции!»

«Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем!»

Котовский поздравляет бойцов с праздником. Походные кухни работают полным ходом. Выданы сверх

пайка спички и папиросы. Достали двадцать пять ящиков яблок. Одним словом, настоящий праздник.

Миновали Курск. Миновали Елец. Грохочут колеса. Покачиваются рыжие теплушки. Поезд мчится мимо стогов сена, мимо березовых рощ, мимо полей. В каждом вагоне шумно и весело. Смех, песни, шутки!.. Как будто не в опасное дело отправляются котовцы. Как будто никогда им и близко не приходилось видеть разрывы снарядов, пулеметные очереди, свинцовые ливни, никогда не случалось под бешеным огнем мчаться в атаку развернутым строем.

В Тамбове свили гнездо эсеры. Даже Советская власть здесь сформировалась с запозданием — лишь в конце января восемнадцатого года, и то только под нажимом рабочих и солдат-фронтовиков. Кулацкие восстания не прекращались чуть не во всех двенадцати уездах губернии. Стало небезопасно на железнодорожной линии, северные лесистые районы были целиком в руках повстанцев.

В эти дни эсер Антонов по заданию эсеровского центра, а также по указанию из-за рубежа пробрался на должность начальника милиции Кирсановского уезда. Он все использовал для подготовки мятежа. Попадали в милицию дезертиры, уголовники — Антонов их вербовал в сообщники. Нашлись у него дружки в аппарате губвоенкомата — он стал получать оружие с военных складов. Дутов и Мамонтов, проходя в этих местах, тоже оставили немало винтовок, патронов. Все это припрятывалось в кулацких овинах, в погребах некоторых «батюшек», служителей церкви, отцов никодимов да отцов феофилов... Появились в уездах шайки Карася, Короля, Маруси, их тоже объединил Антонов. Жестокими расправами он терроризировал местное население и насильственно заставлял крестьян вступать в ряды повстанческой армии. И уже появились при штабе Антонова иностранные представители «союзников» (тут как тут!).

К осени двадцатого года у Антонова числилось до пятидесяти тысяч человек, и планы его простирались очень далеко: вслед за Тамбовщиной захватить Москву... ну и так далее и так далее — голова у Антонова шла кругом от мечтаний. Его бандиты грабили эшелоны

с хлебом, разгоняли Советы, убивали комбедчиков, коммунистов, перерезали Юго-восточную железную дорогу, препятствуя поставке хлеба в центр... Красной Армии было не до них: шли бои с армиями Колчака, Деникина, с белополяками и Врангелем. Против антоновцев выступали только небольшие отряды местных коммунистов, ЧОН да курсанты.

Однако долго такое положение не могло оставаться. Управились с белополяками — занялись Тамбовщиной. Ликвидацию антоновщины поручили Тухачевскому. Прибыла бригада Димитренко, бронепоезда, автобронечасты. Круто взялись за дело.

Второго мая 1921 года прибыли котовцы.

И началась боевая жизнь бригады. Ежедневные стычки, почти ежедневные бои.

Южнее Большой Сосновки, не отвечая на выстрелы, бросились в атаку и гнали бандитов до самого леса. Отобранных у бандитов лошадей возвращали населению. Недалеко от Тамбова гнали 8-й и 15-й повстанческие полки.

Обнаружили в овраге, близ одного хутора, около сотни антоновской кавалерии. Бандитов ликвидировали.

Разбили 16-й повстанческий полк, захватили штаб, оперативные документы.

Каждый день приносил что-нибудь новое.

Сводный отряд под командой Криворучко ворвался в село Покровское без единого выстрела, захватил там несколько бандитов, получил от них сведения, что в Шереметьевке находится группа Селянского в тысячу конных. Сводный отряд атаковал банду. В течение дня было уничтожено свыше семисот человек.

Самое крупное соединение — 2-я армия. Ее возглавлял сам Антонов. Частям кавбригады Котовского приданы курсанты школы ВЧК. 2-ю армию взяли в кольцо. Антонов пытался выбраться из окружения. У села Бакуры наш автоотряд отрезал бандитам путь к отступлению. Антоновские банды вынуждены были принять бой, причем потеряли почти все пулеметы, около восьмисот лошадей и девятьсот человек убитыми и ранеными.

Уцелевшая часть 2-й армии пробила в Кирсановский уезд. Здесь их опять настигли. Понеся большие потери, бандиты скрылись в Шибряевском лесу. Ночью

разразилась гроза, хлынул ливень. Это помогло ускользнуть группе антоновцев, но вскоре и они были настигнуты.

Под Бакурами убит соратник Антонова Богуславский. Антонов ранен. Исчез, как канул на дно. Однако позднее все-таки был обнаружен.

Их было два брата — Александр и Дмитрий. Увидев, что все их планы рухнули, а из восстания ничего не получилось, Антоновы решили спрятаться в Борисоглебском уезде, в селе Верхний Шибряк. Напрасно они надеялись на расположение к ним крестьян. Крестьяне сообщили о них. Их окружили в доме, где они укрывались. Братья Антоновы отстреливались и были во время перестрелки убиты.

Можно бы считать, что это конец всей эсеровской авантюры, если бы не банды, укрывшиеся в лесах, все еще верившие в какое-то чудо, в помощь или с Дона, или хотя бы от бродивших где-то поблизости мелких банд.

5

В жаркий июльский полдень прискакал в штаб бригады Котовского всадник. Конь его был весь в мыле, да и седок, видимо, устал. Вся спина его гимнастерки потемнела от пота, а лицо было странно заgrimировано дорожной пылью, осевшей вокруг глаз, около ушей.

Он спрыгнул с коня, привязал его к перилам крылечка и направился в штаб. Не сразу смог заговорить, так запорошило ему глаза и горло горячей пылью. Молча протянул пакет, на пакете было написано: «Аллюр 3».

Котовский вскрыл пакет. Это был приказ начальника шестого боевого участка: явиться к шестнадцати часам комбригу Котовскому, выслать кавалерийский дивизион.

Котовский и комиссар Борисов тотчас стали собираться в путь. Была вызвана машина. Хотя и не так далеко до Инжавина, куда вызывали, но всегда в дороге может оказаться непредвиденная задержка: мимолетная стычка, перестрелка, вылазка врага.

Так оно и получилось: под Серебрянкой, примерно на половине пути, машину обстреляли засевшие за скирдой соломы бандиты. Две пули попали в кузов. В ма-

шине стоял наготове пулемет. Несколько коротких пулеметных очередей — и скирда замолчала. Некогда было искать этих разбойников.

— Газани, дружище! — приказал Котовский.

Начиналась шоссейная и не слишком разбитая передвижением войск дорога. Шофер промолвил молодецки:

— Есть газануть, товарищ комбриг!

И машина понеслась мимо зеленых лужаек, мимо задумчивых берез и поникших в зное колосьев пшеницы.

Вот и Инжавино, раскинувшееся в лощине по обоим берегам бормотливой речушки Ржаксы. Котовский успел глянуть на мелкий галечник и расставленные там и тут вдоль берега рыболовные снасти, на стадо коров, неподвижное, забредшее в воду, чтобы спастись от оводов, на ребятишек, барахтающихся у самого моста, на бабу, полощущую белье, на стаю облаков, которые замерли над рекой, заглядевшись на свое отражение... Благодать!

Штаб шестого боевого участка занимал несколько домиков. Там Котовского и Борисова встретил начальник штаба участка:

— Пройдемте, товарищи.

И повел их в глубь двора, в избу с решетчатыми ставнями, стоявшую на отшибе, среди высоких деревьев. Здесь находился подстражный и несколько военных с нашивками чекистов.

Вскоре пришел и командующий товарищ Тухачевский — высокий, совсем еще молодой, но с пробивающейся на висках сединой.

Чекисты... Уединенная изба с закрытыми ставнями... Вызов самого командующего... Котовский нетерпеливо ждал: по-видимому, предстояло какое-то интересное дело.

Командующий поздоровался и предложил всем сесть.

— Из Москвы получена строжайшая директива, — сказал он, сразу приступая к делу. — Речь идет об ускорении ликвидации антоновщины. Мы должны принять ряд решительных мер. Одну из операций по выполнению этой директивы я хочу поручить вам. Я обдумал это, советовался вот... с товарищами, — он взглядом показал на присутствующих при разговоре чекистов, — и мы пришли к выводу, что никто не выполнит задачи лучше, чем Котовский. Как вы увидите, поручение будет несколько необычное. Вы проведете секретную боевую

операцию. Для успешности дела я вам передаю доставленную к нам из Москвы некую личность...

Комисар Борисов бросил быстрый взгляд на комбрига. Котовский весь уже загорелся, уже понял из слов командующего, в чем тут суть, и, кажется, уже обдумывал детали предстоящей операции.

— Основные силы Антонова в настоящий момент — это дивизия Матюхина, — продолжал Тухачевский. — Эта бандитская группа засела в лесах, запаслась достаточным количеством продовольствия и намерена держаться до зимы, чего мы никак допустить не можем. Все операции по ликвидации антоновщины мы должны закончить не позднее сентября. Следовательно, мы должны в срочном порядке, но умело и без больших жертв не только нащупать, но и уничтожить эту группу.

Командующий замолк и вопросительно посмотрел на Котовского. Все присутствующие тоже смотрели на Котовского с любопытством и большим уважением.

— Тут рассуждать не приходится, — прищурив свои блестящие, яркие глаза и хорошо, дружески улыбаясь, произнес Котовский. — Предложение командующего понимаю как приказ, к-который подлежит немедленному исполнению.

Командующий, по-видимому, и не ждал другого ответа. Он продолжал:

— Вы теперь же возьмете с собой личность, о которой я упоминал. Это начальник штаба войск Антонова капитан Эктов, арестованный в Москве. Он прислан ВЧК, и я передам вам его под вашу ответственность. Эктов обещал помочь нам, за что ему и его семье обещана жизнь и свобода. Сумейте его использовать в интересах дела. Остальное предоставляется вашей инициативе. Обдумайте детально, как все это выполнить, с какого конца начинать. Ну, — улыбнулся командующий, — тут «помещику Золотареву» и «капитану Королевскому» и карты в руки! План представить в ближайшие два дня.

Когда Котовский и Борисов вышли на улицу, они заметили, что изба, в которой происходило необычное совещание, тщательно охраняется: два-три человека в военных шинелях маячили между деревьями, тот прогуливался, этот сидел на пеньке...

Котовский обхватил плечи Борисова своей сильной рукой:

— Комиссар, вот это работа! А? Это как раз по мне!

Тут они увидели во дворе, около штаба, телегу. В телеге сидел и как-то осторожно, исподлобья посматривал вокруг человек в штатском. Это и был Эктов.

Котовский подозвал командира дивизиона, который только что прибыл и не успел даже сделать привала:

— Чистяков! Дивизион под твоим командованием должен доставить в наш штаб вон того человека, который в телеге. Задание понятно? Помни, Чистяков, будешь отвечать за него головой! Можешь выполнять.

Борисов присоединился к дивизиону Чистякова. А Котовский без промедления направился к машине. Шофер уже ждал. Машина была в порядке, даже почищена от пыли и грязи, пулемет выглядывал из кузова, смотровое стекло сверкало в лучах заходящего солнца.

— Поедем, Петя, — сказал Котовский, — по холодку.

Машина зафырчала, затарахтела, оставила во дворе облако бензинного чада и вымахнула за ворота.

— Первое условие, — сказал Котовский, когда они вечером остались вдвоем в своем штабе, — первое условие — абсолютная тайна.

Борисов с удовольствием отметил, какие предосторожности предпринимал Котовский при обсуждении плана. В нем проснулся старый конспиратор. Он проверил, не стоит ли кто-нибудь в сенцах, за дверью, не остался ли кто случайно в самом штабе, в соседней комнате. Малейшая неосторожность могла испортить все дело.

— До известного момента, — заявил Котовский, — ни один человек не должен ничего знать, даже работники штаба, даже старший комполитсостав.

Капитан Эктов тоже был доставлен в штаб так, что не привлек ничьего внимания. Понимали только, что задержан какой-то крупный бандит.

Эктова поместили в отдельном доме. На значительном расстоянии от дома, чтобы не привлекать к нему внимания, стоял пост. Ночью дом охранялся кавалерийским взводом.

Котовский навестил Эктова. Эктов был сдержанный, внешне спокойный человек с умным лицом и неверным ускользающим взглядом. В душе у него, видимо, был полный разлад. Он хотел жить, во что бы то ни стало жить. В то же время его мучила мысль, какой ценой он покупает свое спасение.

— Я выполню все, что обещал, — сказал Эктов Котовскому, — можете не беспокоиться.

План был продуман и разработан детально. Кажется, предусмотрено все, каждая мелочь. Тщательно изучена обстановка, местность, точно намечены участники операции по спискам личного состава.

Ровно через два дня план операции был представлен командованию и получил одобрение. Тухачевский на прощание пожал руку Котовскому. Голос его дрогнул, когда он сказал:

— Желаю вам успеха и чтобы все благополучно кончилось.

— Или победим или умрем.

— Лучше победите. Не надо умирать. Буду нетерпеливо ждать завершения этого опасного предприятия. Смело, но красиво задумано!

Бывший фельдфебель царской армии, хитрый, матерый, свирепый волк Матюхин надежно засел в Тамбовских трущобах, где он знал каждую тропинку, каждый овраг, каждый куст. Знали эти места и его сообщники. Необходимо было сломить недоверие, настороженность опытных врагов, выманить их из лесных дебрей на открытое место и здесь уничтожить в коротком и беспощадном бою.

План был таков: сформировать из лучших бойцов бригады небольшой отряд и сделать вид, что это белогвардейцы-казаки. Из донесений разведки известно, что Матюхин ожидает подкреплений со стороны Кубани. В расчеты Антонова входило объединение с повстанческими силами Кубани и Дона. Антонов надеялся захватить таким образом самые хлебные районы, затем поднять казачество... расширить район восстания, может быть выбраться к Черному морю, к грозненской нефти и Баку. Следовательно, Матюхин не должен удивиться, узнав, что к нему пробилась с боями группа белых казаков. Ведь они вели даже переговоры с представителями Дона. Они ждали. Появление свежего подкрепления

должно их воодушевить. Сейчас положение у них отчаянное.

Психологический расчет был правильный. Но вообще весь план был смел до чрезвычайности и требовал выдержки, сознательности, находчивости и умения не от одного, не от двух каких-нибудь лиц, а от большого коллектива.

Ближайшие помощники Матюхина были в большинстве старые эсеровские заправилы, их не так просто было ввести в заблуждение.

Трудность и риск заключались в том, что не оставалось времени на особую подготовку для выступления в новой роли, в новом облики. А ведь бойцы и командиры должны были на время операции перевоплотиться. Малейшее неосторожное слово... какой-нибудь пустяк, которого нельзя заранее предусмотреть...

И Котовский еще и еще раз просматривал список участников этой грандиозной инсценировки. Все хорошо испытанный, боевой народ. Большинство из них проделали с ним весь ратный путь. Каждый сумел бы отбиться от любой вражеской своры, каждый был находчив, смел, и все беззаветно преданы своему командиру. Но ведь это — одна сторона дела. Сумеют ли они, прямодушные, облечься в личину «станичников»? Не брякнет ли кто-нибудь из них «товарищ комбриг» вместо полагающегося сейчас «господин атаман»?

Большой козырь в руках Котовского — Эктов. Но не предаст ли он в последнюю минуту? Стоит ему только мигнуть, сделать малейший знак — и все будет раскрыто, гибель неминуема, а успех дела сомнителен...

Да, это была загадка. Как поведет себя Эктов? И насколько он авторитетен для Матюхина?

Неудобство заключалось еще в том, что Эктов был старшим по чину. Он должен был числиться главарем, якобы командовать отрядом «кубанцев». Правда, он уверял, что «делает все искренне», что пересмотрел свои убеждения. Но...

— Я вполне понимаю ваши опасения, — говорил он в беседе с Котовским, ускользая взглядом и морщась при мысли, что для своего спасения он приносит в жертву несколько сот недавних своих друзей: ведь каких-нибудь две недели назад он стоял во главе антоновской

армии, и матюхинская дивизия была у него в подчинении.

— Я иду на риск, — ответил Котовский Эктову, — рискуя головой. Но и вы знайте, что при малейшей вашей попытке предать меня вы будете немедленно убиты. Я все время буду рядом с вами. Вам это понятно?

Эктов усмехнулся:

— Очень даже понятно. Однако давайте рассуждать здраво. Если бы мне хотелось умереть, я с успехом мог умереть значительно раньше. Мне стесняться нечего, и я не хочу перед вами вставать в позу. Я безумно люблю жену. У меня дети, у меня сестры, мать еще жива. Они являются как бы заложниками. Они являются и моим оправданием перед самим собой: почему, спрашивается, я должен предпочесть жизнь этого засевшего в лесу си-волапого мужичья и совсем несимпатичного мне фельд-фебеля Матюхина — жизни моих детей, моей Нины... Если хотите знать, Матюхин вызывает у меня чувство безразличия. Звероподобное существо.

Эктов задумался. Вспомнились ему в этот момент лица его детей и умоляющий взгляд жены при последнем свидании?

— Я много думал о смерти, о жизни, — промолвил он после некоторого раздумья и вдруг как-то неожиданно и не к месту рассмеялся. Жуткий был это смех. — Вы скажете: цинизм, но будем откровенны, можно быть хоть раз в жизни откровенным? Какой мне толк от идей, мировоззрений, грез человечества, от порывов, подвигов, патриотического восторга, от всей этой мишуры с того часа, как меня, вот этого меня, сидящего на этом деревенском неказистом стуле, единственного реального меня, не будет на свете, а будет только куча гнилого мяса и грустное воспоминание родственников?

— Неустойчивая натура, истерик, — сказал Котовский комиссару Борисову после свидания с философствующим капитаном. — Ищет себе оправдания, цепляется за жизнь, и никогда нельзя предвидеть, как он поступит через минуту.

— Должен он понимать, — нахмурился Борисов, — так или этак, все равно дни Матюхина сочтены. Вся их игра проиграна. Богуславского нет, Антонова нет, армии

нет, Матюхин в окружении... Таким образом, Эктон только ускоряет, так сказать, процесс, а вовсе не обрекает на смерть своих сподвижников. Они и без того обречены. Какой у него может быть выигрыш от новой измены? Погубить нас? Но он этой гибели даже не успеет увидеть! Между тем в случае нашего успеха он получает много преимуществ в жизни. Мне кажется, он все это взвесил, прежде чем выехать сюда из Москвы.

— Мы с вами ничего не можем тут предпринять, — заключил разговор Котовский. — Сделаем все для победы. Мы понимаем, что это задание командования — не просто приказ. Это — решение партии, требование Советского правительства. И мы его выполним, не колеблясь.

Он ушел, а Борисов сел сочинять «доклад»: ему назначалась трудная роль изображать «правого эсера».

Нужно было незаметно, не вызывая никаких подозрений, заготовить необходимый «реквизит». Нужны кубанки. Нужны казачьи лампасы, синие штаны. Что еще? Какие-нибудь «люльки» по образцу Тараса Бульбы? В конце концов, это же не казачья часть регулярной армии? Просто сброд. Могли примкнуть к подобному отряду дезертиры? Или бандиты, уцелевшие от разбитых армий Петлюры и Махно? Могли. Итак, это — авангард казачьих соединений, возглавляемых войсковым старшиной Фроловым, тем самым Фроловым, которого не так давно Криворучко собственной рукой раскроил ударом клинка в бою под деревней Вендичаны. Тогда же было захвачено кавбригадой знамя фроловцев, которое теперь так же, как и черный флажок с вышитой на нем серебряной буквой «ф», могло пригодиться,

6

Настал вечер пятнадцатого июля. Отобранный именно отряд был выведен за деревню. Бойцы переговаривались между собой, строя разные предположения.

— Не иначе как разведка нащупала, где прячутся гады!

— Поедем, пожелаем им доброй ночи!

Некоторые из отряда уже успели улечься спать, когда их вызвали. Они поеживались от вечерней сырости, которой тянуло из соседнего болота.

— Комаров много, — сонным голосом бурчал помкомвзвода Криворотенко. — К дождю.

Небо было грустное-грустное. Розовые, оранжевые переливы постепенно тускнели и гасли на западе. Лес слился в одно темное пятно, лиловые тени легли по земле. Налетели комары и зазвенели на различные голоса. Кони прядали ушами, мотали головами, били себя по бокам хвостами.

Котовский и комиссар не заставили себя долго ждать.

— Братцы! — обратился Котовский к кавалеристам. — Командование поставило перед нами задачу, и мы ее выполним. Я расскажу вам подробно, что мы должны делать. Только котовцы и могут совладать с такой операцией, что нам предстоит! Говорят, чудес не бывает. Бывают чудеса! Мы это много раз доказывали, постараемся и на этот раз не ударить лицом в грязь!

Тут Котовский стал подробно разъяснять бойцам, что они должны делать. Чем больше он говорил, тем больше вытягивались лица котовцев. Все молчали и слушали в недоумении. Какие же они кубанцы? Сроду не были белыми! Били и будут бить бандитов!

— Отныне мы будем называться не красной кавалерийской бригадой, а будем именовать себя войском атамана Фролова, прорвавшимся с Дона и Кубани на соединение с отрядами антоновских банд для совместных действий против Красной Армии, против Советов...

— Вот так здорово! — крикнул кто-то из рядов. — Беляками заделаемся!

— Тетя Мотя! — осадил его Криворотенко. — Не понимаешь, что ли? Это военная хитрость! А еще разведчик!

— Правильно, Криворотенко! — подтвердил Котовский. — Наша задача — выманить Матюхина из лесу и тогда расправиться с ним. Вот с этой-то целью на время операции я буду именоваться атаманом Фроловым, командиры полков — есаулами, а вы, красноармейцы, — станичниками.

— Чудно как-то!

— Политрукам, коммунистам и комсомольцам быть примером, — говорил далее комбриг, — и всем твердо помнить, что оплошность одного погубит всех. Ни между собой, ни тихо, ни громко, ни случайно, ни намеком ни один из вас не должен выдать наших планов. Имейте в виду, что нас будут проверять, исподтишка подслушивать и разведывать, кто мы такие.

— Проще говоря, как в театре, представление представлять? — воскликнул опять кто-то из бойцов и начал хохотать.

— Здравия желаю! — во все горло крикнул другой и тоже залился смехом.

— Послушайте меня, — снова заговорил Котовский, наблюдавший всю эту картину, — вы поняли теперь, какое трудное и опасное дело нам предстоит? Вот тебе смешно, — обратился он к остряку, и у того сразу исчезло смешливое настроение, — а между тем так вы и должны отвечать: «Здравия желаю, господин капитан». Спутается только один — и выдаст с головой нас всех бандитам. Первым погубите меня, да и всем остальным придется солоно.

Вскоре общее недоумение сменилось дружной подготовкой к походу. Снимали красные банты, красноармейские звездочки. Проверяли друг друга, не забыта ли какая-нибудь примета, не подведет ли он товарищей. Некоторые тут же тренировались, как отдавать честь, как обращаться к «господам офицерам» и друг к другу.

Несмотря на наступающую темноту, повытаскивали приколотые на внутренней подкладке заветные солдатские иголки да вощенные нитки, из околышков фуражек изготавливали великолепные казачьи лампасы. Криворучко раздавал шапки-кубанки с красными и белыми верхами. Кое-кто облачался в зипуны, в пиджаки, сбрасывали гимнастерки, на пуговицах которых были выбиты пятиконечные звездочки.

Через какой-нибудь час отряд было не узнать.

— Ну как? — спрашивал Данилов, который с особым азартом занимался переодеванием бойцов.

— Хороши! — признался комиссар.

— Я бы сам, — заявил Котовский, — встретить я такое воинство, первый бы врезался в него и стал бы рубить направо и налево белогвардейцев!

Бойцы принимали теперь такой отзыв как высшую похвалу. Кое-кто старался припомнить излюбленные казачьи песни. Свернули эскадронные флаги. Знамя фроловцев и черный флажок с серебряной буквой «ф» совершили превращение отряда.

К этому времени прибыли пять чекистов и с ними Эктов. Конь у капитана Эктова донской породы и с виду хороший, но, кто разбирается в этом деле, видит, что на таком коне далеко не ускачешь. Сбоку у капитана висит кобура и в ней револьвер. Но револьвер не только без патронов, но даже и без барабана. Вряд ли хоть один капитан за все времена, что существуют капитаны, был так неважно вооружен!

Однако капитан Эктов был представлен отряду как начальство, и его дружно приветствовали.

Выступили поздно вечером. И хотя капитан был уже не капитан, а «станичники» сроду не были станичниками, двигались в строгом порядке, молча. Каждый осознал всю серьезность предстоящих действий и теперь обдумывал, как он будет поступать в том или ином случае в соответствии с полученными подробными инструкциями, описанием места действий, перечислением условных сигналов и команд.

Была темная, безлунная ночь. В деревнях, мимо которых проезжали, не мелькало ни единого огонька. Приплывала струя теплого, парного воздуха, напоенного запахами клевера, гречихи, полей и лугов. Потом вдруг веяло свежестью и сыростью из лощины. Звезды мерцали. Цокали копыта о сухую, еще не остывшую после дневного зноя землю да звякали иногда стремена.

Вдруг из темноты выскочил конный. Промчался вдоль колонны, на скаку возвещая:

— Красные слева, красные слева!

И только он скрылся, слева раздались выстрелы. Негромкая команда, голова отряда быстрым аллюром уходит вперед, прикрытие приготовилось к бою. Из темноты уже строчил пулемет, отряд тоже отвечал пулеметными очередями. Затем все затихло, и колонна продолжала свой путь.

Весь этот бой был инсценирован с ведома высшего командования тоже в соответствии с планом. Обе стороны стреляли в воздух. Дивизия Матюхина, его разъ-

езды не могли не слышать этой перестрелки. Надо было показать, что фроловцы прорываются через расположение красных.

Было уже далеко за полночь, когда показалась впереди деревня Кобылинка, у которой было еще и второе наименование — Дмитровское.

Где-то на горизонте чуть посветлела, чуть тронулась одна сторона неба. Но еще не начинался рассвет. Звезды поблекли, небо заголубело. Густо пахло болотными травами. Большая Медведица играла семью самоцветами высоко над головой.

Колонна двигалась все так же молча. Снова команда. Отряд разместился, заняв наиболее выгодную позицию.

«Молодцы кавалеристы!» — подумал Котовский, наблюдая, как выполняются все указания, полученные прежде чем двинуться в путь.

К деревне приблизились только несколько человек. Тут Эктов как-то по-особенному свистнул, и тотчас откуда-то взялся молодой деревенский парень.

Капитан Эктов строго приказал:

— Скачи к Ивану Сергеевичу, пусть со всеми силами явится сюда.

Эктов передал парню заранее заготовленный комиссаром Борисовым приказ от имени Эктова и за его подписью. В приказе Матюхину предлагалось прибыть в деревню Кобылинку в ночь с девятнадцатого на двадцатое июля для совместного обсуждения резолюций «Всероссийского съезда» и установления контакта в работе в связи с прибытием донцов и кубанцев, а также делегатов съезда.

Парень как внезапно появился, так внезапно теперь исчез с пакетом, ни слова не говоря.

На случай какой-нибудь неожиданности или измены были выставлены посты и дозоры. Но пока что все было тихо.

Эктов, по-видимому, нервничал. Он непрерывно курил. Кончик его папиросы то вспыхивал, то заволакивался пеплом. Неотступно возле Эктова находился Котовский, в кубанке и новом одеянии изменившийся настолько, что даже комиссар еле узнавал его. Пять чекистов с револьверами наготове тоже курсировали поблизости.

Кажется, Матюхин находится рядом, потому что через небольшой промежуток времени тот же парень снова вынырнул как из-под земли и подал Эктову записку.

Матюхин писал, что подчиняется приказу, но должен предварительно убедиться, что приказ на самом деле исходит от начальника штаба, так как давно уже нет ни слуху ни духу ни об Антонове, ни о Богуславском, ни вообще о 2-й армии. Поэтому Матюхин предварительно вышлет своих представителей, кои явятся в деревню Кобылинку, как и предлагает капитан Эктов, в ночь с девятнадцатого на двадцатое июля.

— В-вороний корм! — тихо выругался Котовский, прочитав записку.

Уж не разгадал ли Матюхин всю махинацию, весь план? Не пронюхал ли, что за «донцы» и «кубанцы» пришли к нему на соединение?

С самого начала дело неожиданно осложнялось. Но пока что ничего нельзя было больше предпринять. Нужно было ждать до девятнадцатого и посмотреть, что это за представители, которых вышлет Матюхин.

«Так или иначе заставлю его приехать, у меня он не отвертится», — решил Котовский.

Строго наказав комиссару и командирам не спускать глаз с капитана Эктова, Котовский с начальником полевого штаба и дивизионом кавалеристов помчался обратно в Медное, заставил всех, кто понимал в портняжном деле, круглые сутки работать над изготовлением кубанок, над шитьем казацких шаровар. Теперь он включил в операцию всю бригаду. 1-й полк переодет в кубанцев, 2-й полк — донцы.

На рассвете девятнадцатого июля бригада прибыла в деревню. Был приказ: кто попытается проникнуть в деревню и кто попытается из нее выйти — уничтожать. С этого момента Кобылинка, гнездо матюхинцев, отрезана от всего мира. Никто не выйдет за ее пределы, никаких сведений она не получит извне.

Теперь можно было встретиться с противником при любых обстоятельствах. Тем временем пытаться настоять на своем и вытребовать Матюхина, в соответствии с первоначально намеченным планом.

Командир дивизиона 14-го матюхинского полка, оказывается, скрывался с тремя бандитами в овраге, под самой деревней. Они высматривали, что там творится. Они должны были разведать, что за донцы и кубанцы появились в Кобылинке.

Когда Эктон спросил все того же парня, по-видимому, работавшего связным, где же наконец делегация Матюхина, парень простодушно ответил:

— Эвона, за деревней, в яру.

— Зови, — с досадой приказал Эктон.

Затем обратился к Котовскому:

— Атаман Фролов, прикажите построить часть.

— Слушаюсь, господин капитан! — молодцевато ответил Котовский и в свою очередь отдал распоряжение: — Построиться!

Господа делегаты вылезли из своего наблюдательного пункта. Эктон предложил:

— Познакомьтесь, господа, без лишних церемоний.

Сразу же пошли смотреть построенную конницу. Один из представителей Матюхина, хмурый, волосатый, с медвежьими глазками, особенно внимательно вглядывался в каждую мелочь. Он все разглядел, обходя фронт: и лица, и оружие, и одежду кавалеристов.

Отряд выстроился как положено, бойцы стояли каждый у головы своей лошади.

Вдруг этот, с медвежьими глазками, проворчал:

— Такой большой переход, а какие справные кони.

— Да, — подхватил другой представитель Матюхина, — после такого перехода у коней ввалились бы бока.

Котовский сощурился. В нем кипела ярость. Но он молча следовал за этими бандитами и тихо посвистывал.

Комиссар Борисов с досадой думал:

«Все мелочи как будто предусмотрели, а вот, поди ж ты, подметили правильно, доложат Матюхину и могут расстроить весь план».

Борисов собирался ответить, что кони, в самом деле, сытые, но нельзя забывать, что казацкие кони привыкли к большим переходам... Но Борисова опередил один из красноармейцев.

— Справные! — проворчал он, ни к кому в частности не обращаясь. — Посмотрели бы, какие они были справные! Еле ноги передвигали. А как мы стояли две недели

в лесах, пока на след ваш напали, тут и кони нагулялись, слава богу.

Ответ успокоил матюхинцев.

Обернулись к «атаману Фролову»:

— А мы тут с самим Котовским схватились, дали ему жару!

— Что Котовский! — отозвался мнимый атаман Фролов. — Видали мы кое-что пострашнее. Вот погодите, главные силы наши подойдут... Весь мир завоюем! Казацкие сабли не ржавеют!

Совсем повеселели матюхинцы. Спросили «атамана Фролова»:

— Что же доложить нашему командиру? Он требует, чтобы вы прибыли с отрядом в лес, в районе Тамбова.

— Куда же я в лес с моим обозом, с моими пулеметными тачанками? Меня там красные запросто с кашей скушают, — ответил «атаман Фролов». — Казаки — люди степные, простор любят. Да вот я тут все это Матюхину подробно отписал.

Один из представителей делегации был родным братом Матюхина. Котовский вежливо обращался к нему по имени-отчеству:

— Михаил Сергеевич! Передайте брату о моем уважении к нему. Человек он военный, поймет. Расскажите о вашем личном впечатлении от моих станичников. Кажется, народ подходящий. А вы еще увидите, как они дерутся! Как львы!

Не откладывая, тут же отправились двое матюхинцев с докладом к своему командиру. С ними поехали двое котовцев. Они везли новое послание «атамана Фролова». Фролов снова приглашал Матюхина прибыть в Кобылинку. Фролов упрекал:

«Вольное казачество протягивает вам руку, — писал он, — а вы как будто уклоняетесь от встречи, предлагаете мне загнать в лес пулеметные тачанки, обоз. Конницу, способную принять бой только в открытом поле, зовете куда-то в медвежью берлогу. С какой целью? Чтобы без пользы погубить ее? Считаю вашу боязнь выйти из лесу простой трусостью. Довольно прятаться в лесу! Вперед! На Москву! Не хотите вместе с нами, мы и одни ее завоюем!»

Послание подписали «атаман Фролов» и Эктов.

Котовский проснулся от духоты. Несмотря на открытые настежь окна, нечем было дышать. Ни ветерка. Замерли в истоме деревья. Воздух нагретый, неподвижный. В постели жарко. Котовский проснулся и прислушался. Тишина! Спит глухим сном деревня, спят бойцы, только дозоры, вероятно, вглядываются в темноту и ждут с нетерпением смены.

«Наверное, будет гроза», — подумал Котовский.

Встал, в темноте нащупал двери, вышел на крыльцо. Здесь было немного свежее. Эка, сколько высыпало звезд! Слышно, как дышит в хлеву корова, как жует сено конь.

Котовский стоял на крыльце, глубоко вдыхал в себя ночной воздух и думал о предстоящих событиях, о наступающем дне. Он не заметил перемены, между тем она произошла вот сейчас, за тот короткий промежуток, пока он стоял на крыльце. Как будто раздвинулся легкий, кисейный занавес. Зарозовело, зарумянилось небо на востоке. Скромная, застенчивая заря! Утренний, предрассветный ветерок промчался по деревне, вспорхнул на крыльцо. Качнулись ветви березы. Сквозные полосы тумана поднялись, перепоясали лес и растаяли.

Котовский намеревался уже вернуться в избу и попробовать еще уснуть. Вдруг он услышал конский топот. Еще секунда — и уже был виден всадник, скачущий во весь опор по пустынной улице. Круто осадил коня перед крыльцом и не сказал, а выдохнул:

— Идут...

Хотел промолвить привычное «товарищ комбриг», но осекся и закончил как полагается:

— Идут, господин атаман!

И взял под козырек.

— Кто идет? — усмехнулся Котовский. — Ты говори толком.

— Матюхин идет. Всем войском.

Иван Матюхин двигался с 14-м и 16-м полками по направлению к деревне. Но в двух верстах от заставы остановился и потребовал, чтобы атаман Фролов и начальник штаба антоновских войск Эктов явились к нему для личных переговоров.

Отказываться нельзя. Надо ехать. Котовский оседлал

испытанного Орлика. Эктов отправился на своем опоенном донце.

Когда выехали из села, Котовский сказал Эктову:

— Я трезво учитываю положение, капитан, отдаю отчет в своих действиях и на безумный шаг иду сознательно. Но еще раз предупреждаю: при первой же попытке предательства я убью вас, в этом можете не сомневаться. Не отрывайтесь от меня ни на секунду, чтобы я чувствовал ваше стремя, иначе вас ждет немедленная смерть. Договорились?

— Я сказал уже вам, что выполню обещанное, — ответил Эктов сдержанно. — Отчего бы я мог передумать?

Больше они не разговаривали. Впереди уже виден был в сиянии утреннего солнца конный отряд. Это дожидался их приезда Иван Матюхин со своей свитой: в антоновской армии тоже были свои «комиссары», «политруки», «волостные организаторы».

Из березовой рощи слева появилась группа всадников, около пятидесяти. Они окружили «представителей казачества», пожимали руку Эктову, козыряли «Фролову» и всей гурьбой направились навстречу Матюхину.

Теперь Котовский был окружен врагами. Правда, там, позади, стояла вся кавалерийская бригада. Каждый строго занимал свое место. Котовцы проверили состояние пулеметов и прицел, подтянули подпруги у седел, попробовали, легко ли вынимаются сабли из ножен, осмотрели свои карабины, поправили патронташи, артиллеристы проверили орудия. Все было готово к бою. Стоило дать сигнал — и бандитские части были бы засыпаны снарядами, прочесаны пулеметными очередями. Но могли ли котовцы спасти этим своего командира?

Вот уже можно разглядеть, с кем имеет дело Котовский. Всадники построены колонной по шести. А вот и сам Иван Матюхин — рослый, несколько сутулый, черты лица грубые, свирепые глаза налиты кровью. Да, этот звероподобный бандит мог произвести впечатление на своих подчиненных, мог навести страх на беззащитных жителей сел и деревень! Окружающие Матюхина комиссары, наоборот, выглядели интеллигентными, походили на каких-нибудь сельских писарей или учителей.

Котовский не ждал, когда заговорит Матюхин, и не обращал внимания на его недобрый, подозрительный взгляд. Подъехал смело, крепко пожал бандиту руку,

дав ему при этом почувствовать силу своего рукопожатия, и сразу, с первых слов осыпал его упреками, дружескими, но бесцеремонными:

— Что же мы теряем драгоценное время, Иван Сергеевич? Кто же станет делать дело за нас? Уж не думаешь ли ты, что за нас станет сражаться Пушкин Александр Сергеевич?

Эта незамысловатая шутка невольно вызвала улыбку матюхинских комиссаров. Они неотрывно смотрели на прибывшего и взвешивали каждое его слово. Не улыбался только один матюхинский соратник — тамбовский комиссар. Он вообще держался обособленно и не скрывал своего недоверия, своей неприязни.

Матюхин что-то такое буркнул, а сам сверлил глазами «атамана Фролова».

— У меня, Иван Сергеевич, кони застоялись, давай начинать. Что недоделал Антонов, доделаем мы!

И тут Котовский резко повернул Орлика и пригласил следовать за собой.

Раздалась команда:

— Справа по три, шагом марш!

Колонна тронулась. Слева от Котовского командир четвертой группы антоновских войск Матюхин, справа — Эктов, сзади — вся матюхинская свита.

Котовский, не умолкая, говорил. Густо хохотал, шутил, клялся, что «сам зарубит Котовского, только бы встретить», говорил о Савинкове, тут же приплел «делегата Всероссийского съезда» Борисова:

— Вот послушаем, что он нам расскажет!

Котовский говорит, а сам нащупывает в кармане наган и поглядывает на Эктова. Эктов бледен, на лице его выражение мучительной внутренней борьбы: и страх смерти, и желание разоблачить Котовского. Но вот он чувствует нажим стремени на его ногу, ловит угрожающий взгляд...

— Стой! Кто едет? — раздается окрик заставы.

Котовский мельком видит лица своих бойцов. Ни один из них и глазом не поведет! Вытянулись, как полагается по форме. Пропуск сегодня бандитский, тот, который передан из их штаба. Все идет пока что как положено. Заставе отвечают:

— «Киев».

Начальник заставы спрашивает:

— Что отзыв?

Следует незамедлительный ответ:

— «Корсунь».

В селе прибывших встречают «станичники»-квартирьеры.

Матюхин спрашивает:

— Как у вас с охранением? Есть ли за селом заставы?

— Об этом спросите одного из тех, кто привозил ваше письмо, они сами видели наши охранения.

Но тут опять выручает боец-котовец. Он подскакивает на коне, козыряет.

«Это они чересчур», — думает Котовский.

Но, кажется, Матюхину все это нравится.

— Не извольте беспокоиться! — оглушительно рявкает боец. — Муха не пролетит, ни одна красная собака не пролезет!

Матюхин произносит что-то вроде «хм».

— Дисциплинка! — переговариваются между собой матюхинские комиссары.

— Что вы хотите? Казаки!

Котовский познакомил Матюхина с Борисовым, отрекомендовав его как делегата эсеровского съезда. Борисов спросил:

— Вас, наверное, интересуют результаты съезда? Очень решительные резолюции.

— Нам не резолюции, нам солдаты нужны, — отрезал Матюхин.

Тогда Борисов обратился к матюхинским комиссарам:

— Передаю вам горячий привет от Савинкова!

Комиссары тоже вяло отозвались на это сообщение.

Когда квартирьеры, проинструктированные Котовским, спросили Матюхина, не желает ли он одну из своих частей поместить вместе с фроловцами, Матюхин задумался и потом ответил:

— Мы народ русский, а вы с Украины. Национальность разная, могут посориться. Давайте расположимся отдельно.

И тут же, не стесняясь присутствия «атамана Фролова», отдал приказ: коней не расседлывать, в конюшни не ставить. И со всей своей свитой отправился расставлять и инструктировать свои полки.

Котовский слышал этот разговор, но ничем на него не отозвался. Не расседывать так не расседывать! Не ставить в конюшни? Пусть будет по-вашему! Осторожен матерый волк! Видимо, еще не вполне верит!

Когда матюхинцы наконец вернулись от своих воинских частей, где хвастались перед «атаманом Фроловым» резвостью своих коней, богатым вооружением, Котовский преспокойно предложил:

— Давайте начинать.

Но матюхинцы долго еще медлили.

— Мы привыкли стрелять, а не заседать, — сказал Матюхин. — Где же, атаман, твои пулеметные тачанки? — добавил он с напускным добродушием.

«Ага, — подумал Котовский, — значит, братец сделал ему обстоятельный доклад!»

— Пулеметные тачанки? Если хотите, пойдем и посмотрим. Люблю товар лицом показывать! — И он рассмеялся: — Чуть-чуть все до одной не потерял, когда пробивался к вам через красные заслоны!

Тачанки Матюхину понравились. Все его соратники тоже не могли скрыть своего удивления и восторга:

— По выправке, молодцеватости и геройскому виду эти бойцы больше похожи на офицеров, чем на солдат!

А Котовский не мог нарадоваться на своих бойцов и командиров. Они вели себя безупречно.

«Комар носа не подточит!» — подумал он, наблюдая, как бойцы строят бессмысленные «солдатские» физиономии, гаркают «здравия желаю», отвечают «так точно», «никак нет», как командиры эскадронов дают самые подходящие ловкие ответы матюхинским комиссарам.

«Пусть не расседывают коней, — подумал при этом Котовский. — Отказаться сесть с нами за стол они уже не могут».

Матюхинцы вернулись со смотра, столпились на улице и все еще выпрашивали, задавали, как им казалось, «коварные» вопросы. Котовский снова предложил начать заседание. И тогда Эктов громко провозгласил:

— Командиры и комиссары соединяющихся частей! Открываю совещание! Прошу следовать за мной!

Котовский, как вежливый хозяин, пропустил «гостей» вперед. В просторной избе за двумя составленными

вдоль столами, накрытыми деревенскими скатертями, разместились одиннадцать котовцев и шестнадцать матюхинских начальников.

В помещении было три окна. «Красный угол» до самого потолка был убран иконами. Здесь были и старинные большие образа под стеклом с заложенными под стекло венчальными свечками, и множество маленьких иконок с изображением божьей матери с младенцем, распятого Христа, Николая-угодника с небольшой бородкой. Были тут и лубочные лакированные листы, порядочно засиженные мухами и тараканами, с Серафимом Саровским, с какими-то еще святыми, что видно было по светлым кругам вокруг их голов.

Перед иконами на медных цепочках висела, слегка покачиваясь, лампада из цветного стекла, тут же лежали засохшие просфоры и крашеные пасхальные яйца, а за икону были заткнуты деловые бумаги, налоговые квитанции и письма от сына, убитого в четырнадцатом году на войне.

Столы были расставлены продуманно, оставалось только разместить матюхинцев в соответствии с наметленным планом.

С шутками и присказками, что «начальству первое место», что «гостям честь и почет», бандитских главарей усадили в угол, под образами. Сами разместились ближе к окнам и двери, а также между матюхинцами. Все расселись в конечном результате так, как это нужно было для осуществления замысла.

Заупрямился только один. Это был опять-таки тот самый тамбовский комиссар, с нездоровым, серым лицом и горящими нехорошими глазами. Он вообще наотрез отказался сесть за стол и расположился прямо на полу, убранном сеном, причем положил винтовку к себе на колени. Его даже плохо было видно при свете керосиновой лампы, подвешенной к потолку.

Котовский видел и это, но опять якобы не заметил.

Тем временем хозяин дома, степенный мужик с пышной бородой, кроткими светлыми глазами, в широкой голубой рубахе и в жилете поверх нее, вместе с суетливой бабой, в чепце, в коричневой кофте с оборками, расставляли на столе обильные закуски: жареного поросенка, гусятину, пироги с кашей и всякую другую снедь, приговаривая:

— Кушайте на здоровье, гостюшки! Не красна изба углами, а красна пирогами!

Но на них никто не обращал внимания.

В заключение хозяин принес бутылки самогона. Тут некоторые из матюхинцев стали громко выражать восторг. Но Матюхин тихо, однако очень решительно сказал:

— Воздержитесь.

Котовский и этого будто бы не заметил, но со своей стороны громогласно предложил:

— Господа! Я думаю, что поднять чарки и выпить за победу мы еще успеем, а пока без тостов и выпивки проведем деловую часть совещания.

Это его предложение опять как будто уменьшило подозрительность бандитов, которые могли подумать, что их хотят подпоить.

— Ну, ну, — отозвался Матюхин. — Что верно, то верно.

Тамбовский комиссар только сощурил глаза и поправил винтовку на коленях, но ничего не сказал.

Капитан Эктов сидел бледный, сосредоточенный. Он-то знал, догадывался, что игра приходит к концу, что ему уже поздно идти на попятный, нужно только постараться уцелеть во всей предстоящей свалке и передраге. Он не мог не заметить и того, как поставлен стол, как размещены скамейки, как главари шайки втиснуты в угол, где им не повернуться... Эктов выбрал для себя место за столом поудобнее, так, чтобы можно было в случае чего выбраться одному из первых... Впрочем, обо всем он мог строить только догадки. Как все произойдет? Когда? При каких обстоятельствах?

Во всех смотрах да разговорах незаметно и день пролетел. Когда разместились, уселись, после некоторых пререканий и шутливых споров, наступили уже сумерки. Лампа светила тускло. Хозяин дома принес еще зажженный сальник. Он нес его бережно, осторожно, чтобы не загасить. Сальник освещал его лицо, его бороду, и степенный мужичок-кулачок сам в этот момент походил на какого-то святого угодника, освещаемого лампадой.

Капитан Эктов встал. Он открывал совещание:

— Я, господа командиры, не буду делать доклада.

Поручаю сделать это представителю братской группы Савинкова Борису. Нет возражений?

Все молчали. Свежая струя воздуха хлынула в открытые окна, принося запах близкого дождя. Свет сальника заколебался, тени забегали по стенам.

Борисов встал. И хотя был он опытный оратор и часто проводил беседы, выступал на собраниях, но тут на короткое мгновение растерял все мысли и пришел в замешательство. Чтобы скрыть это, он переменил место и встал поближе к свету, держа сочиненную им «резолюцию съезда» в чуть дрожащей руке.

— Господа командиры! — начал Борисов, и тут сразу окреп его голос, и он продолжал: — Читать всю резолюцию или изложить основные мысли?

— А ты нам попроще да поближе к делу, — сказал Матюхин, заметно важничая. — Не рассусоливай!

— Вот именно! — поддакнул тамбовский комиссар. — Здесь война, а не говорильня.

— Я тоже солдат, — поддержал их Котовский. — По мне, чем меньше болтовни, тем лучше.

Борисов говорил горячо и вскоре увлек всех слушателей. Он предрекал белому движению победы, намекал на поддержку извне, расхваливал до небес Савинкова, перечислял какие-то несуществующие отряды и готовые по первому слову подняться против Советов крестьянские массы...

Речь его привела бандитов в возбуждение. Все они уже потеряли надежды на спасение, думали только, как бы отсидеться в лесу до зимы и потом выбраться отсюда, уйти подобра-поздорову. А тут вдруг развертывались блестящие перспективы!

И у них без всякого самогона развязались языки. Они хотели теперь показать, что и они чего-нибудь стоят! Один перед другим выхвалялись своими успехами, несуществующими резервами. В пылу таких разговоров, забыв всякую осторожность, выбалтывали некоторые тайны, называли свои явки, указывали на источники, откуда они достают оружие, подковы, снаряжение...

Котовский подзадоривал их, выражая сомнение, недоверие и называя фантастические цифры повстанческих кубанских отрядов.

Эктов молчал. Он поневоле присутствовал при всем этом и поневоле созерцал обширность своей измены не-

давним единомышленникам. Он видел, как матюхинцы губят все, выдают в руки красных все нити своей организации.

После беспорядочного и оживленного обмена мнениями взял слово Котовский.

— В основном, я одобряю доклад, — сказал он, сверкая глазами и с веселым задором поглядывая на врагов, — хотя я должен откровенно сказать докладчику: улита едет, когда-то будет. Так вот, господа, вы сами убедились, насколько бесподобна моя воинская часть, а вы не забывайте, это всего лишь авангард. Поэтому я думаю, что не встречу возражений, если предложу командование объединенными силами возложить на меня.

Это вызвало шум и возгласы матюхинцев. Некоторые даже повскакивали с мест.

— Мы вообще не собираемся соединяться! — крикнул тамбовский комиссар с какой-то даже злобой.

— Господа донцы и кубанцы! — поднялся Матюхин, жестом руки останавливая своих командиров. — Вас небольшой отряд, вполне понятно, что он вольется в главные силы. Да вы и местность не знаете! Тут не может быть и разговоров, командование я оставляю за собой. Меня знает вся Тамбовщина! Да вы знаете, кто я такой?!

Матюхин все больше распалялся, он кричал хриплым голосом, стучал по столу страшным волосатым кулаком:

— Я Матюхин! Спросите кого угодно — знают ли они меня? Да я своими руками... — он уже рычал, а не говорил. — Вот этими руками выкручиваю головы пленным красноармейцам! В плен не беру! У нас они умирают в страшных муках! Для чего я это делаю? Чтобы мое имя наводило панику. Вот кто я такой! А вы еще не огляделись, а хотите уже верховодить. Смешно даже слушать! Да вы знаете... Я сегодня же начну наступление! Да вы знаете, сколько у меня оружия в одном только Лопатинском овраге!..

И тут он начал в запальчивости выбалтывать, где и какие у него склады, где размещены другие его отряды... клялся, что за короткий срок соберет десятитысячную армию...

Кажется, все. Больше от них ничего не выведаешь.

К этому времени Котовский получил условный сигнал, что бригада готова к выступлению. Он решил, что можно идти к финалу.

Все котовцы это почувствовали. Каждый точно наметил первого противника.

Были еще выступления от несуществующего в действительности «представителя махновского полка», от «анархистских организаций Дона и Кавказа». Но их уже слушали рассеянно.

Когда Котовский поднялся для заключительного слова, поднялись и Гажалов, и Борисов, и Данилов, и все остальные котовцы, а тогда встали и матюхинцы, думая, что это будет нечто вроде клятвы, приветствия или присяги. Поднялся и бледный Эктов.

Котовский вместо какой-нибудь речи взмахнул рукой — это был условный сигнал, — крикнул:

— Довольно комедии! Я — Котовский! Расстрелять эту сволочь!

И в этот момент направил дуло нагана в Ивана Матюхина.

Ошеломленные бандиты еще не могли понять, что происходит, и от ужаса оцепенели. Матюхин закрыл голову обеими руками. На столе жалобно звякнули наполненные самогоном нетронутые бутылки. Тарелки и блюда со снедью поползли вместе со скатертью.

Котовский нажал курок — осечка. Снова нажал — осечка! Три раза подряд осечка в такой момент!..

Тогда он отшвырнул наган в сторону, отскочил к стене и начал отстегивать маузер.

Между тем уже прогремел залп, уже упали первые из бандитов. Тамбовский комиссар тоже выстрелил, и Котовский почувствовал резкую боль в плече. В тот же момент тамбовский комиссар дернулся и упал навзничь, забрызгав кровью свежее сено, разбросанное на полу.

Комната наполнилась едким дымом. С потолка сыпалась труха. Со звоном летели стекла из окон. Лампа погасла. Только сальник, колеблемый ветром, слабо мерцал.

Эктов при первых же выстрелах нырнул под стол и переполз на сторону котовцев. В темноте все еще продолжалась стрельба.

— Данилов ранен! — крикнул кто-то в дверях.

— Идите! Они в амбаре! — раздался еще голос.

Оказывается, Матюхин, командир 16-го полка Назаров и еще несколько матюхинских соратников выскочили через окно, заперлись в амбаре и открыли оттуда бешеный огонь.

Во дворе тоже произошла короткая схватка, охрана котовцев приканчивала матюхинских коноводов.

Опасаясь, что в общей сумятице и его прикончат, Эктов старался быть возле Котовского. И теперь он тоже выбрался на крыльцо.

— Никогда ничего подобного не видел, — бормотал он, опираясь на перила и разговаривая сам с собой. — Это что-то безумное! Я не трус, но у меня до сих пор нервная дрожь... И ведь я очень и очень подозревал, что меня используют, а затем безжалостно пристрелят...

— Сдавайтесь! — крикнул Котовский засевшим в амбаре, а сам зажимал рану левой рукой.

В ответ слышались только выстрелы. К амбару, сбоку заложенному поленницей дров, подполз один из бойцов. Чиркнула спичка, весело затрещала солома, а потом разом пламя охватило амбар... Трещали доски. Летели искры. Пламя озарило соседние избы, окрасило в розовый цвет березы, опажнуло жаром окружавших амбар котовцев. Некоторое время двор был ярко освещен. Метались на привязи лошади. Пламя лизало листья ольхи, взвивалось к небу и раскачивалось, причудливо озаряя надвинувшуюся дождевую тучу, уходящую под пригорок улицу, играя и переливаясь в стеклах соседних домов.

Занялась заря. И уже трудно было понять, где зарево пожара, где сияние возникающего дня.

Выстрелы из амбара прекратились. Чья-то рука пыталась изнутри распахнуть двери, но обгоревшая стена накренилась и наглухо заклинила выход. А потом рухнули пылающие перекрытия крыши.

Никто не пришел из деревни гасить пожар. Пламя сникло. Люди стояли вокруг и смотрели на это очистительное пламя, раз навсегда выжигающее из памяти имя свирепого палача и душегуба.

А за деревней уже защелкали выстрелы, заговорили пулеметы. Началось уничтожение всей банды, растерявшейся без своих командиров.

Из всех матюхинцев спаслись и скрылись в лесу не более пятнадцати человек.

Арбат весь испещрен маленькими улочками и переулками. Кажется, ни в одном районе Москвы нет столько изгибов и поворотов!

В Серебряном переулке находилась образцовая клиника профессора-хирурга Мартынова. Вот в эту клинику и поступил на излечение Котовский. Ольга Петровна самолично освидетельствовала его рану. Ранено правое плечо с оскольчатым переломом плечевой кости. Ольга Петровна наложила гипсовую повязку и повезла мужа в Москву.

— Вы, конечно, понимаете, — спросил Котовский седого, маститого профессора, — что рука мне нужна?

— А как же! — серьезно посмотрел на него профессор. — Каждому человеку очень нужна рука. Но ведь никто вопроса об ампутации и не поднимает. Будем лечить вашу руку. Приложим все старания.

В сентябре Котовский выписался из клиники, сердечно поблагодарил профессора и отправился в свою бригаду.

Первое, что ждало Котовского в бригаде, — приказ Реввоенсовета республики о награждении за смелую операцию у деревни Дмитровское-Кобылинка Почетным революционным оружием.

Орденом Красного Знамени за отличия в боях при ликвидации банды Антонова награждены сто восемьдесят пять котовцев.

Котовский назначается командиром 9-й Крымской кавалерийской дивизии имени Совнаркома Украины.

Когда он пришел в штаб и весть о его приезде облетела бригаду, к нему кинулись пожимать руку, приветствовать по уставу и не по уставу или хотя бы просто взглянуть на него все его друзья и соратники, все его орлы, однополчане, а сейчас, в обычное время, простые, сердечные, непритязательные люди.

— Привет, товарищ комдив!

— Григорий Иванович! Наконец-то! Заждались мы тебя тут!

— Приказ-то! А? Сто восемьдесят пять награжденных!

— И на фронтах затишье, Григорий Иванович! Так что можно будет перевести дух и послушать тишину. Красотища!

Но мечты о мирном труде и о спокойной жизни пришлось опять отложить. Еще один генерал объявился!

Гарри Петерсон очень волновался, отправляя в поход Тютюнника. Гарри долго беседовал с ним с глазу на глаз. Тютюнник пыжился, надувал щеки, говорил высокопарно и невразумительно. Это крайне огорчало мистера Петерсона.

— Скажите, генерал, положив руку на сердце: сколько раз вас уже били вместе с вашими отрядами в Советской России?

— То есть как били? — удивился Тютюнник. — Учитывая обстановку и численное превосходство противника...

— Мы вас поддержим. Как вы считаете: поддержка солидная? И ведь вы же, черт возьми, генерал, не правда ли? Например, кто такой Петлюра? По сути дела, дилетант. Или взять Махно — он даже совсем и не военный! Ведь правда? Вы же абсолютно стопроцентный генерал, мы вам даем стопроцентное, опытное, кадровое офицерство, даем медикаменты, деньги, наконец, с вами едут крупные государственные чиновники... Мы на вас полагаемся, генерал! Вы... как бы это сказать... вы зародыш нового украинского государства... Вам понятна моя мысль?

— Хе-хе. Очень остроумно. Непременно расскажу министру Красовскому. Зародыш! Ха-ха-ха! Хо-хо! Пardon, как вы изволили выразиться? Хе-хе! Золотое яичко! А? Которое снесла курочка... — pardon, вы не обидитесь? — курочка Петерсон! А?

Генерал залился беззвучным смехом. И смех, и остроумие, и медленная сообразительность — все было подлинно генеральское. И шинель у него была с красной подкладкой. А папах! Одна его папах — полная гарантия, что он победит!

Прежде чем двинуть войско генерала Тютюнника, перебросили через границу мелкие группы, которые дол-

жны были расчистить путь, подготовить почву для вступления главных сил.

В ночь на пятое ноября перешли границу и главные силы Тютюнника, снабженные в достаточном количестве пулеметами, артиллерией и антисоветской литературой. У Тютюнника было более тысячи человек, в том числе много кадровых солдат и офицеров. За рубежом спешно готовились новые и новые части ему на пополнение. Кроме того, в некоторых городах и местечках Украины были созданы подпольные белогвардейские очаги, которые могли в нужный момент выйти из подполья.

— Я хочу действовать наверняка, — говорил генерал Тютюнник осаждавшим его газетным репортерам, перед тем как отправиться в поход.

Все было продумано. В обозе этого воинства ехали по обыкновению петлюровские министры — уже который раз! Они должны были немедленно по освобождении хотя бы небольшой территории создать власть, принять, так сказать, бразды правления.

Стояла лютая зима. Время для завоеваний было отнюдь не располагающим. Настроение в войске Тютюнника оставляло желать лучшего. Впрочем, сам Тютюнник был полон радужных надежд. У него были даже заготовлены собственные портреты-литографии для распространения среди народа. Он говорил, выпячивая грудь колесом:

— А что? Многие диктаторы начинали даже с низших чинов!

Настроение его заметно испортилось, когда разведка донесла, что на них движется 9-я кавалерийская дивизия.

— Кто там командует? Что-то я о такой дивизии не слышал.

— Котовский командует.

— «Котовский, Котовский»! — рассвирепел атаман. — Что вы меня пугаете Котовским? По мне хоть рас-Котовский!

Однако немедленно дал приказ — от решительных боев уклоняться, отступать в северо-западном направлении, где такая лесистая местность. Железнодорожные мосты взрывать. Местных жителей снабжать ложной информацией о направлении, взятом отрядом.

Бригада Котовского следовала по пятам Тютюнника. Тютюнник несколько раз менял направление, забирался в леса, укрывался в оврагах. Кавалерийская бригада передвигалась по глубоким сугробам, по лесным дорогам и проселкам.

Тютюнник выжидал, когда придет подкрепление. Он совсем не так представлял свое появление на Украине. Он думал, что его будут встречать с колокольным звоном, преподносить на вышитых украинским крестиком полотняных полотенцах хлеб-соль, что благодарные крестьяне станут ловить и целовать ему руку, а он будет отдергивать руку и говорить: «Зачем это? Не надо! Я сделал лишь то, что подсказывал мне долг...» В действительности все получалось иначе. Хлеб-соль никто не подносил. Красные наседали. Петлюровские министры мерзли, направляли представителей к генералу и спрашивали, скоро ли он займет хоть какой-нибудь город, где можно было бы расположиться и начать управлять..

Семнадцатого ноября выяснилось, что банда Тютюнника движется лесной дорогой к деревням Большие и Малые Минки.

— Наконец-то, — сказал Котовский. — Наконец-то мы их нащупали!

И хотя все были достаточно измотаны дорогой и уже который день не получали горячей пищи, да и с одеждой дело обстояло плохо, но сообщение разведки вызвало общее оживление: котовцы больше всего тяготились бездействием. Настроение поднялось. Пулеметчики принялись проверять запасы лент, командиры эскадронов оглядывали людей, оценивая их силы и готовность к бою.

В этот день грянул сильный мороз. Лес стоял как заколдованный, опушенный инеем. Вдруг где-то в глубине его раздавался треск. Падала ли это шишка с высокой ели, или лопалась береста, или ветка обламывалась под тяжестью снега... И опять наступало безмолвие, как будто лес задумывался, стоял и вспоминал о летней поре, о золотых закатах, о тихих зорях, о цветении трав...

— Повод! Рысью! — раздалась команда.

И бригада двинулась вперед догонять противника. Лесная опушка. Болото. Деревня Малые Минки.

Орлик почувствовал шпоры. Котовский повернулся к колонне и на ходу подал команду:

— Тачанки... вперед!

Наконец-то желанные слова! Шестьсот храбрецов понесли на врага.

На опушке появился разъезд неприятеля. Заметив колонну, круто повернули и скрылись в лесу.

Выслан был взвод под командой Панасенко: нужно было перехватить разъезд, не дать ему предупредить о появлении бригады.

Лес все так же величав и молчалив. Кавалеристы, приняв влево, пропустили мчавшуюся тачанку. Пулеметчики на полном ходу готовили пулеметную ленту.

Между тем противник поспешно выходил из деревни Звиздаль, соблюдая строевой порядок и выставив прикрытие в несколько пулеметов, установленных на розвальнях.

Котовцы полагали, что ударом в лоб пойдут на прорыв, на уничтожение противника. Но Котовский молниеносно изменил тактику. Он отдал команду:

— Полки с фланга в обход!

В лобовую атаку он бросил только эскадрон под командой Панасенко. Теперь даже в том случае, если бы противник не принял боя, он все равно попадал в ловушку: путь отхода Тютюннику Котовский оставил только один — в незамерзающее болото.

Командиры полков не сразу оценили маневр Котовского. Один из командиров не сумел разобраться в обстановке и застрял в деревне. Полк топтался в конном строю, а группа противника была ему во фланг.

Котовский заметил замешательство комполка и сам повел полк. Охватывая фланг главных сил Тютюнника, опрокинув вражеские пулеметы, он двинулся влево к лесной опушке, а комиссару Борисову приказал идти в обход справа, чтобы сомкнуть кольцо.

Эскадрон Панасенко дважды бросался в атаку, отвлекая главные силы противника.

Послышалось «ура» с левого фланга врага: это Котовский, меняя рысь на карьер, теснил банду. Тютюнниковские офицеры пытались открыть огонь из оставшихся пулеметов, но было уже поздно. Они еле успели сделать несколько выстрелов и бросить несколько «лимонок».

Командир взвода пулеметной команды уже устанавливал на санях отнятые у врага пулеметы.

Очень злы были кавалеристы, что их заставили столько времени гоняться за противником и лазить по оврагам. Теперь пришло время разрядить эту ярость в жаркой схватке.

Уже многие тютюнниковские солдаты бросали оружие и кричали:

— Да здравствуют паны Советы!

— Шашки в ножны! — гремел мощный голос Котовского.

Но не сразу удалось остановить кавалеристов.

Эскадрон Панасенко опрокинул врага, но самого Панасенко уже не было: он был убит наповал.

Бой кончился. Банда была уничтожена.

Во время боя покончил самоубийством один из министров. «Начальник гражданского управления» Куриленко и «министр торговли» Красовский, так и не побывав министрами, попали в плен — в своих тяжелых дохах, каракулевых шапках, в бурках выше колен.

Вместе с министрами были захвачены секретные документы, относящиеся к переписке Петлюры с некоторыми иностранными государствами, семьсот миллионов карбованцев петлюровских денег и армейская аптека с медикаментами импортного происхождения.

Вскоре Котовский выступал в Киеве на партийном собрании Печерского района.

— В то время, — говорил он, — как вы здесь обсуждаете вопросы, связанные с Пятой губпартконференцией, быть может атаман Тютюнник делает печальный доклад своему патрону. Из тысячи двухсот пятидесяти бандитов, проникших на нашу территорию, едва спаслось тридцать пять человек. Опыт ликвидации этой банды доказал, что часть, крепко сцементированная единым коммунистическим духом, может совершать чудеса. Пусть знают закордонные бандиты, что если попытаются еще раз мешать нашей мирной работе, то их ждет такая же участь, какая постигла банду Тютюнника.

А генерал-хорунжий Тютюнник действительно докладывал Гарри Петерсону о событиях последних дней. Он уже почистился, отогрелся с дороги и принял прежний бравый вид.

— Надеюсь, мистер Петерсон, — сказал он, — мои небольшие неудачи не заставят вас усомниться в конечной

победе. Войско уничтожено, но для того и войско, чтобы его уничтожали. Можно набрать новое. Важно, что я остался жив и невредим.

Гарри Петерсон, хотя и видывал многое, был несколько озадачен такой постановкой вопроса. Он ожидал, что генерал будет — пусть даже не очень искренне — каяться и извиняться.

— Набрать новое? — переспросил он голосом, не предвещавшим ничего хорошего. — А куда вы дели министров? Где архивы, черт вас подери?

Генерал был все так же величествен. Он не понимал.

— Хорошо, — прервал свою раздраженную речь Гарри, — теперь поздно говорить об этом. Мы найдем и более тонкие и более эффективные методы борьбы с опасностью коммунизма. Вашей драгоценной особой я больше не смею рисковать!

КНИГА ВТОРАЯ

ЭСТАФЕТА ЖИЗНИ

ПЕРВАЯ ГЛАВА

1

Когда можно считать, что кончилась в Советской России гражданская война? Когда прозвучал последний выстрел? Самый последний, после которого действительно настала тишина?

Григорий Иванович Котовский часто размышлял об этом, перебирая в памяти отгремевшие бои, минувшие атаки, походы, треск вырвавшихся вперед пулеметных тачанок, сверкание обнаженных клинков.

Кончилась ли гражданская война в тот день, когда генерал Деникин, бросив свою разбитую армию на произвол судьбы, отплыл из Новороссийска на французском военном корабле? Это был март 1920 года. Генерал избегал смотреть в глаза своим унылым адъютантам. А французские матросы еле сдерживали смех, глядя на побитого белого генерала.

Впрочем, может быть, гражданская война прекратилась в тот день, когда в феврале 1920 года Иркутский ревком вынес смертный приговор Колчаку за измену отечеству? Тогда иркутский финотдел принял по описи 5143 ящика и 1680 мешков с золотыми слитками, которые хотел увезти с собой Колчак, прихватив это золото, видимо, на память о любимой родине.

А может быть, считать концом гражданской войны взятие Блюхером Перекопа? Или тот знаменательный

день 15 ноября 1920 года, когда французский адмирал прислал на крейсер «Корнилов» барону Врангелю насмешливую радиogramму: «С почтительным приветствием желаю счастливого пути до Константинополя»? Или тот блистательный день 16 ноября 1920 года, когда командующий Южным фронтом Фрунзе телеграфировал Ленину: «Сегодня нашей конницей занята Керчь. Южный фронт ливидирован»?

Но пулеметные очереди продолжали прорезывать тишину, выстрелы из-за угла продолжали выхватывать из советских рядов лучших людей...

Вот тут и определи, когда кончилась гражданская война!

Ну хорошо. Управились с Петлюрой. Гонялись за бандой Грызло, истребили Гуляй-Гуленко и еще десяток-другой «гуляев». Кажется, все? Можно заняться мирным трудом? Не тут-то было!

Сгинул черный барон, но гуляет по Северной Таврии батька Махно со своим сподручным — анархистом Волиным-Эйхенбаумом. Убийства, грабежи...

Помнит все передраги этой изнурительной степной войны Григорий Иванович. Задача поставлена — в кратчайший срок очистить от банд Украину. Включились в это дело 1-я Конная, 2-я Конная, 4-я армии. Хорошо поработали богучарцы. Решительно действовала Интернациональная кавалерийская бригада.

Вот вы и прикиньте! Всего лишь Махно, а возни сколько? Считать ли эти кровавые стычки продолжением гражданской войны? Считать ли, что гражданская война кончена, если в одну только Тамбовскую губернию понадобилось отправить против эсера Антонова кроме бригады котовцев отряд особого назначения, взвод батареи, полк кавалерии, полк особого назначения ВЧК, автоброневой отряд имени Петросовета...

Редко удастся Григорию Ивановичу размышлять обо всем этом в одиночестве. Новое ответственное задание, новая работа: Котовский назначен командиром 2-го конного корпуса. Он растит воинов, политически развитых, физически неустойчивых, владеющих и оружием и конем. Котовский еще и кандидат в члены ЦИК СССР, делегат многих съездов и конференций. Он выступает в печати, борется за чистоту ленинского учения, живет полной, многогранной жизнью.

Тишина... Это было так непривычно! Не грохочут артиллерийские залпы, не строчит, захлебываясь короткими очередями, пулемет, не раздается раскатистое «ура», не мчится во весь опор конница, сверкая клинками. Тишина. Сколько ни прислушивайся — не слышно лязгающей, злобной поступи войны. Тихо на границах. Не прячутся в лесных трущобах бандитские шайки. Спокойно работают на полях земледельцы. Торопливо стучат топоры, обтесывая бревна. Нужны доски. Нужны кирпичи. Много кирпичей. Страна отстраивается.

Никто не верит тишине на границах. Конечно, это только передышка, враги не успокоятся. Но все-таки это тишина. Кажется, даже с кем-то мы наладили торговые отношения... Кажется, некоторые дипломаты, кисло улыбаясь, протягивают нам руку и говорят о миролюбии...

Советская республика знает цену этому «миролюбию» и заботливо укрепляет военную мощь. Да, конечно, нужно, чтобы были заводы, электростанции. Но одновременно требуется и другое. Котовский отлично это понимает. Нужно использовать передышку, сделать как можно больше для обороны страны. Котовский стремится к тому, чтобы сделать свой корпус отличным, боеспособным, образцовым.

В Умани, где находится управление корпуса, в квартире Котовского всегда людно: соратники, боевые друзья. Всегда кто-нибудь да заглянет: тот пришел за советом, этот с жалобой. Приезжали старые соратники по боевым походам. Григорий Иванович успел приглядеться к каждому. Когда он высмотрел, что у мальчика, прибившегося к бригаде еще в Тирасполе, — у Кости Гарбаря — музыкальные способности? Когда заметил, что Миша Марков любит писать, и составил для него план будущего? Когда решил послать командира Николая Криворучко на военные академические курсы?

Григорий Иванович Котовский рассылал по всем направлениям своих кавалеристов. Эти по возрасту демобилизованы, так пусть разводят сады, выращивают сахарную свеклу — скоро стране будет нужно много опытных красных агрономов. Те пусть едут получать образование.

Котовский, как сеятель, разбрасывал семена, как садовник, делал прививку диким яблоням. Пусть растут

люди, пусть учатся, много понадобится верных ленинцев для построения социализма.

2

Проводил он в учение и Мишу Маркова с Оксаной. Пришли они прощаться...

Оксана и Ольга Петровна стали накрывать на стол, возились по хозяйству и беседовали, причем попутно Оксана получила множество практических советов.

— Непременно учись, — говорила Ольга Петровна, протирая тарелки, — сейчас вся Россия учится. Дорожи каждым часом, ничего не откладывай, чтобы после не жалеть. Кто знает, что еще будет? Всякое может быть.

Мишу Маркова увел к себе Григорий Иванович.

Глянул Миша в кабинете Григория Ивановича на огромную, во всю стену географическую карту. Вот она, Советская держава, раскинулась! Дороги, дороги, куда хочешь, туда и поворачивай.

Котовский сразу поймал его пытливый взгляд.

— Хороша? — широким жестом охватил он цветные пятна губерний, голубые извилины рек, кругляшочками обозначенные города и села. — Наша!

В голосе его звучала гордость. Так хозяин показывает свои угодья — леса, пасеки, пастбища.

Марков уезжал в Петроград. Он уже знал Москву, поэтому ему не так страшно было ехать в большой незнакомый город. И потом — ведь с ним Оксана!

Котовский говорил и как будто вглядывался во что-то, что еще не ясно видно:

— У капиталистов все держится на необразованности. Когда народ мало знает, его легче обманывать. Что ни набреши, всему поверят. А нашей стране нужны умные, образованные люди. Я заметил — ты пишешь дневники. Раз у человека потребность записывать мелькнувшие мысли, значит, у него писательская жилка. Учти. Писатель — это знаешь что такое? Это, брат, звание! И ответственность! И труд! Не все выдерживают, а ты выдержишь. Уж если такие походы одолел, значит, луженый, значит, силен.

Котовский задумчиво смотрел на Мишу.

— Конечно, талант нужен. Есть у нас дуболомы, воображают, что в писатели можно назначать, — выдал

ему направление, дал справку об уплате членских взносов — и готов Лев Толстой. А дело-то, видать, посложнее. Тут с кондачка нельзя подходить. Вот если бы по садоводству, я бы тебе все растолковал. А насчет писательства — это пускай с тобой Крутойяров опытом делится. В гражданскую он военным корреспондентом разъезжал, тогда мы с ним и познакомились. Занятный мужик. Толковый. Спрашиваю, какие курсы надо кончать, чтобы в писатели удариться? Для этого полагается, отвечает, чтобы жизнь трепада, чтобы живого места на тебе не осталось, чтобы ты сто профессий перепробовал, сто раз умирал, да не умер, и голода хватил и достатка... Я его останавливаю — не довольно ли, а он мне еще двадцать статей перебрал: и что язык свой надо так понимать, чтобы каждое слово факелом горело, и что все знать — все ремесла, все науки, всю историю, знать больше, чем все академики, вместе взятые, больше, чем лесорубы, рыбаки, охотники, сталевары, акушеры, звездоплыватели... Спрашиваю — ну а сам-то он так-таки все и знает? Все превзошел? А он мне по-латыни: *scio quod nihil scio* — единственное, что знаю, — что ничего не знаю. Дело, говорит, в том, что все это яйца выеденного не стоит, если нет таланта. Спрашиваю, а что такое талант? Этого никто не знает, и если, говорит, кто-нибудь будет уверять, что знает, врет, собачий сын.

— Может быть, критики знают? — робко спросил Марков.

— Критики? Едва ли.

— И вы, Григорий Иванович, не знаете? — совсем упал духом Марков.

— Ну, я-то знаю. Талант — это от большой души. Как пение птицы. Только и талант ни черта не стоит, если направлен во зло человеку. Талант предназначен, чтобы правде служить, революции. А если талант хитрит, виляет, на сторону мировой буржуазии переметнется — будь он проклят такой талант, пропади он пропадом. Понятно?

— Конечно понятно. Если, например, живет в каком-нибудь городе изобретатель. Думает-думает — и для смертной казни электрический стул изобретет...

— Вот-вот! На нем на первом и надо этот стул испытывать!

Когда настал час расставания, Миша почувствовал, что у него что-то защемило в горле. И как ни храбрился, робость его охватила, так бы, кажется, бросился к мамаше Котовцев Ольге Петровне и спрятался у нее, как маленький, в коленях от всех бед.

Опять — и уже в который раз! — все летело кувыркoм, все рушилось, ломалось. Ведь как ни воевал Миша, как ни щеголял отвагой и выправкой, в душе он все еще был юнцом и постоянно чувствовал спокойное руководство и опору, всегда знал, что рядом — Котовский, что Котовский не ошибется, Котовский выручит. Котовский — и командир, и отец родной, и начальник, и воспитатель — изберет самый правильный путь и поведет по нему.

И вдруг теперь Марков будет сам по себе. Все нужно решать самому. Страшно и непривычно!

Давно ли это произошло, когда они с отцом с лихорадочной поспешностью собрались и ушли из дому? В тот день кончилось лазоревое детство. В один миг разлетелось вдребезги глубокое детское убеждение, что домашний мир неподвижен, нерушим, что мама, сестренка, пятнистая кошка Марта, пыльная улица в железнодорожном поселке Кишинева и пыхающий дымогарной трубкой отец — все это установлено раз и навсегда, на вечные времена, как Птолomeева система, что все это создано специально для Миши, чтобы ему было удобно и хорошо.

Потом и с отцом разлучились. Тоже как-то внезапно. Был отец — и нет его. Все изменилось, все исчезло, все растаяло, как клоч дима на пронизывающем ветру. Где он? Жив ли он? Хуже всего неизвестность!

Хорошо быть составной частью чего-то незыблемо прочного. Котовцы. Раз навсегда установленный уклад. А теперь... Сможет ли он примениться к новым условиям? Завершалась еще одна полоса жизни, а впереди все было так неясно!

И почему это жизнь так устроена, как будто все время перебираешься в ледоход через широкую реку? Льдины плывут, сталкиваются, крошатся. Еле успеешь прыгнуть на новую льдину, как та, на которой стоял, дает трещину, расползается и исчезает бесследно в бурлящей пучине, как будто и не было ее никогда.

Григорий Иванович смотрит понимающими грустными глазами: разлетаются соколы!

— Адрес написан на конверте. Письмо хорошенько спрячь. Да чего там, найдешь и без адреса, не маленький. Язык до Киева доведет. Едешь ты к настоящему человеку. Писатель. Книги пишет. Неужели ты его не видел, когда он к нам приезжал? Тогда прошел слух, что бригаду расформируют, что бригада не нужна, а он после такую статью накатал — любо-дорого! Вознес до небес, а злопыхателей уж так раздраконил, только перья летели. Не помнишь? Небритый такой. В очках. На всякий случай запомни фамилию: Крутояров. Иван Сергеевич. А то письмо потеряешь — будешь, как в лесу, по Питеру бродить. Большой город, я там бывал. Знаю.

— Значит, Оксана, договорились: пиши сразу же, как доберетесь до места, — в свою очередь наказывала Ольга Петровна. — Все запомнила?

— Все, Ольга Петровна! И что улицы надо не дуже швидко переходить, сначала подывись влево, потом подывись вправо... и что домашнюю хозяйку из себя не строить, получить специальность... и что обязательно в Эрмитаж сходить...

— Забудешь что — в письме спрашивай. Постой, хоть поцелую тебя! И тебя, Миша! Не робейте, ребята!

— Да, да! Не робеть! Не хныкать! Марш-марш! Колонна — по два! В атаку! Ура! Фамилию запомнил? Крутояров!

Миша Марков подхватил несложную поклажу, взял за руку Оксану, и они пошли.

И долго еще стояли на крыльце и махали им родные, близкие, дорогие — комкор Котовский и Ольга Петровна.

Вокзал был рядом. На перроне было безлюдно.

— Как же мы теперь? — спросила Оксана, растерянно озираясь.

— Держись за меня! — ответил Миша, храбрясь. — Была команда — не хныкать. Вопросов нет?

Можно ли без песни побеждать? Можно ли без песни вообще жить? Песня сопровождала бойцов Котовского во всех походах. Бывало, как зальются, как уйдут в верха

запевалы — будто за сердце схватят и не выпускают до последнего словечка песни.

Каждый, кто пришел в бригаду, принес и щедрой рукой подарил всем на радость свои превосходные песни.

Савелий мастер был запевать, а песен знал без счету. Зажмурится, сморщится, а как откроет глаза — это уж другой Савелий, стряхнувший с себя все мелочи, отодвинувший все пустые заботы, Савелий — вдохновенный певец.

Не кокуй-ко ты, моя кукушка,
Не кокуй-ко ты, моя рябая! —

Савелию только начать. Закончил одну, наперебой заказывают другую. Сначала пристанет к пению несколько голосов, потом больше, больше. Присоединятся к любителям пения украинцы... А кто встречал хоть одного украинца, который не знал бы множества изумительных украинских песен и не владел самым превосходным голосом? Они научили бойцов петь «Ой у лузи», «Реве та стогне», научили песне о вдове, которая «брала лук дрибненький».

Из поездки в Петроград, куда ходили бить Юденича, котовцы привезли новые песни, которым научили питерские рабочие, сражавшиеся в одном с котовцами строю. Полюбились с тех пор бойцам песня про кузнецов, чей дух молод, «Смело, товарищи, в ногу», с большим чувством, стройно и торжественно исполняли «Интернационал».

И где бы ни заводили песни, везде непременно оказывался юный пулеметчик Первого кавполка, общий любимец Костя Гарбарь.

Он старался быть достойным звания котовца. Выполнял важные поручения, пробираясь в тылы врага. Однажды попал в плен, не растерялся, бежал и принес сообщение о расположении войск белополяков, за что был награжден орденом Красного Знамени. Он уже не ограничивался тем, что подносил патроны. Он стал пулеметчиком и участвовал во всех боях.

Но вот кончался бой, и Костя снова превращался в застенчивого паренька, со звонким голосом, удивительным слухом и впечатлительной душой. Ольга Петровна часто видела, как он слушал пение птиц, не перестававших петь даже в те грохочущие годы. Костя испытывал неизъяснимую любовь к пернатым. То он бросал им крошки где-нибудь на задворках деревни, то мастерил скво-

речник... А когда в освобожденном от вражеской своры городе политотдел бригады проводил митинг, устраивал спектакль, тут уж никогда не обходилось без живейшего участия Кости.

Заветной мечтой Григория Ивановича было создать духовой оркестр. Он распорядился, чтобы выискали среди бойцов таких, кто умел играть на чем-нибудь. Второй приказ — бережно собирать музыкальные инструменты, какие попадутся среди трофейного имущества.

— Что попорчено — починим. Что непригодно — выбросим, — говорил Котовский командирам полков и эскадронов. — А музыка вот как нам нужна! Музыка дух поднимает, музыка — это знаете какое великое дело!

И ведь добился своего Григорий Иванович! Уже в двадцатом году — на что трудный год! — в бригаде появился оркестр, свой великолепный оркестр. В нем было человек четырнадцать — пятнадцать музыкантов, и когда они принимались с усердием за работу, получалось очень внушительно: стекла дрожали.

Устраивали иногда и спектакли. Обычно на спектакль приходили и местные жители, и бойцы. Перед началом оркестр играл революционные песни, особенно хорошо получалась «Варшавянка». Исполнялись также старинные марши. Начинался митинг с вопроса о текущем моменте, потом выступали ораторы по темам: «Что такое капитализм», «О бюрократизме», «За что мы боремся». После выступлений пели «Интернационал», а затем шла пьеса — «Червонный огонь», или «Мартын Боруля», или «Сватанье на Гончаривцах».

Костя был одним из самых усердных участников шумового оркестра и хоровой декламации «По рельсам дней». Он старательно выговаривал:

Звуков гроза!
Враз тормоза
Грохнули, грянули,
Дрогнули, прянули —
В даль! — говорят.
В путь! — говорят.
В даль! В даль! В даль!

По окончании спектакля непременно устраивались танцы, и тогда оркестр, к полному удовольствию местных красавиц, старательно отбивал такты падеспани, краковя-

ка, играл вальсы «На сопках Маньчжурии», «Оборванные струны» и в заключение при шумном одобрении присутствующих наяживал русскую барыню и украинский гопак.

Как любил свою «музыку», так он называл оркестр, Григорий Иванович Котовский! Как гордился своим детищем! Иногда он сам присоединялся к оркестрантам и играл на кларнете. Лицо его делалось серьезным, сосредоточенным. А музыкантов до того воодушевляло участие в оркестре командира, что они буквально творили чудеса. Играя на слух, они вскоре разучили попурри из оперы «Запорожец за Дунаем» и фантазию «Колосья» на темы русских народных песен.

— Слыхали? — спрашивал Котовский. — Орлы! Даже из оперы могут! Квалификация!

После одного концерта Григорий Иванович вызвал к себе Гарбаря, обнял его за плечи:

— Молодец, Костя! Здорово у тебя получается! А я все смотрел-смотрел на тебя и думал — а ведь у парня талант, у парня музыкальные способности обнаружились, нельзя, думаю, зарывать их в землю.

Костя слушал, похвалы ему нравились, но дальнейшие слова командира заставили его насторожиться.

— Так вот, Костя. Я все взвесил, все обдумал и считаю, что настало время тебя в люди выводить. Что говорить, приятно послушать «На сопках Маньчжурии», хорошо этот вальс звучит. Но это еще узенькая тропинка у подножия высоченных утесов. Давай, Константин Андреевич, брать неприступные выси, крутые подъемы. Ты мой питомец, и я позабочусь, чтобы ты серьезно занялся музыкой, чтобы ты стал настоящим музыкантом.

Этот разговор расстроил Костю. Не подшутил ли над ним командир? Не мог же он на самом деле посоветовать учиться музыке? И кому посоветовать? Пулеметчику! Бойцу, прошедшему все военные дороги! Коннику Котовского!

Думал, думал, да и позабыл об этом разговоре. Вдруг вызывают в штаб.

Явился. Порядок знает.

А в штабе ему сообщают, что по приказу командира корпуса Константина Гарбаря переводят в музыкантскую команду.

Кровь прилила к щекам Кости. Он почувствовал себя оскорбленным, униженным, как будто его ударили по лицу.

Выскочил из штаба и даже не может сообразить, в какую сторону ему надо. В музыкантскую команду! Да за что же это, за какую провинность?

В полном расстройстве чувств, весь опустошенный, окаменевший, шагал Константин Гарбарь по улице. Удар казался ему тем более болезненным, что исходил от обожаемого командира, которому он беспредельно верил.

Однако приказ есть приказ, и надо его выполнять.

Явился, как полагается, к краскому Сорокину и отрапоровал четко, бесстрастным голосом, что «прибыл в ваше распоряжение такой-то, такой-то боец-пулеметчик Первого кавполка». Отрапоровал, но голос зазвенел и осекся, подступили непрошенные слезы. Это привело в еще большее отчаяние: не хватает, чтобы разревелся, как мальчишка!

Но встретил ласковые, умные, чуть улыбающиеся, все понимающие глаза капельмейстера полка Ивана Дмитриевича Сорокина. Казалось, он проникает в самые сокровенные мысли, участливо расспрашивая Костю о его родных, о его детстве, рассказывая о себе:

— Вы знаете, Гарбарь, мне так посчастливилось: я получил назначение в прославленную воинскую часть, повстречал здесь истинных ценителей музыки.

Сначала Гарбарь слушал капельмейстера насупясь. Но Иван Дмитриевич так самозабвенно, даже исступленно любил музыку, что невольно заражал этой любовью других.

Прошло немного времени, и Гарбарь перестал стыдиться своего нового назначения, понял, что не зря Котовский откомандировал его в музыкантскую команду. Теперь Константин Гарбарь недоумевал, как он мог обидеться на то, что его сделали избранником, поверили в его талант?

Начались настойчивые, упорные занятия. Сорокин учил Костю игре на трубе. Он был требователен, не довольствовался малым, не любил делать кое-как, лишь бы что-нибудь получилось. Он хотел, чтобы музыкант не только овладел инструментом, но и глубоко знал свое дело. Костя узнал от учителя множество таких вещей, о каких раньше не имел и понятия. Костя занимался эле-

ментарной теорией, изучал историю музыки. И удивлялся: как же он мог жить, ничего этого не зная?

Так вот и шли дни. И шла учеба. И складывались определенные вкусы, определенные взгляды. Константин Гарбарь становился взрослым. А Котовский, оказывается, глаз с него не спускал, был в курсе всех его переживаний и успехов. Вызвал его как-то и говорит:

— Поздравляю, товарищ музыкант! Теперь перед тобой открыта широкая дорога. Иди и не робей! Отправляем тебя в Москву, все уже согласовано и утрясено. Будешь слушателем военно-капельмейстерского класса. Дальше сам посмотришь, что и как. Мой же наказ один: всегда находишься в гуще сражений!

4

Что касается Савелия Кожевникова, то тут вопрос был ясным. Савелий благополучно добрался до своей Уклеевки — деревни на шестьдесят дворов, раскинувшихся на косогоре.

Это случилось в феврале, а февраль — бокогрей, широкие дороги, он предчувствует весну, солнечные деньки, цветущее раздолье. Встретили Савелия с почетом: герой! Ни одной избы не миновал Савелий, у всех откусал хлеба-соли. И все приговаривал:

— Наша кобылка ни одних ворот мимо не проедет, все заворачивает!

А кругом братья да сватья, одни близкие, другие дальние родственники, что называется, нашему огороду двоюродный плетень. Блинами потчуют. Савелий давно блинов не едал, но знает, как макать блины в сметану:

— Где блины, там и мы! Накладывай!

Однако видит: живет народ не густо. Совсем разорен, землю-то засеяли осколками да минами — пустырь! Все надо начинать сначала. Спасибо товарищу Ленину: продразверстку заменил справедливым натуральным налогом. А то отощали до последней крайности: день не варим, два не варим, день погодим да опять не варим. И это где? В Пензе, испокон веку славившейся урожаями!

Савелий за годы скитаний чудес слышался, повидал жизнь. Рассказывает землякам:

— Теперь все по-новому будет. Не так, как в старину, все по приметам да на глазок: ранний сев яро-

вого начинали с Юрия, средний — с Николы, поздний — с Ивана, огурцы сажали на Леонтия-огуречника, а овес полагалось сеять, когда босая нога на пашне не зябнет. Или взять, к примеру, садовое дело. В наших краях выходили в полночь потрясти яблони — это считалось для пользы урожая. А какая в том польза? Дело будет вернее, коли руки приложить, а поработаешь до поту — так и поешь в охоту, и будет чего поесть.

Правильно рассуждал Савелий, одного не учел: безлошадной стала Пензенщина. А без лошади какое хозяйство? Слыхать, тракторы будут выданы, а до той поры хоть пропадай.

И вот надумал Савелий написать Котовскому, слезно просить о подмоге.

«Дорогой отец и товарищ командир! — писал Савелий. — Вел ты нас в бой, учил побеждать, а теперь пришло время одерживать победы над недородом. Мелка река, да круты берега. Ответишь отказом — не обижусь, а только вся надежда на тебя. Мы знаем, что всегда ты откликался на людское горе. Без коня, сам знаешь, трудно поправиться. На чужом коне в гости не ездят, а без коня и одной борозды не проведешь. После полного разорения мы вроде как погорельцы...»

Письмо было обстоятельное. Савелий рассказывал о всех деревенских делах, полный отчет представил своему любимому командиру. Сообщил, что межи в Уклеевке уничтожили, хозяйевать будут по-социалистически, что отстраиваются, и лес в сельсовете уже отпущен, и что он, Савелий, по поручению схода передает красному командиру революционный привет.

Получив письмо от уклеевского председателя, Котовский тотчас справился, нет ли в корпусе лошадей, ставших непригодными к боевой службе. Такие лошади нашлись.

— Если нашлись лошади, — решил Котовский, — то должно найтись и зерно «Рассвету» для посева!

Савелию сообщили, что он может приезжать за подарком. Он приоделся, расчесал бороду и приехал важный, представительный, в сопровождении приемочной комиссии, состоящей всего из двух человек, как он отреккомендовал их, — два брата Кондрата.

От зерна долго отказывался, а когда уломали, стал вымерять, прежде чем дать расписку в получении.

Котовскому было приятно видеть, как человек стал иным только потому, что при своем основном деле. Повадки другие, сознание, что отныне положение уравнилось: Котовский над корпусом, а он, Савелий, над урожаем командир.

Однако за степенностью просвечивали, как солнечные зайчики сквозь облачную хмурь, прочная любовь и уважение.

— Теперь уж вы к нам наведаетесь, — говорил он, — не погнушайтесь. Не все такая сермяжная жизнь будет, ужо поправимся. Кабы не проклятая война, давно бы расцвела Расеюшка лазоревым цветом на свободе.

А потом, как бы по секрету, добавил:

— Мое соображение такое: они, подлюки, — те, кто с интервенцией лезет, — для того нас и ворошат, для того нас и от дела отрывают, чтобы после Советскую власть охаять: вот, мол, глядите, люди добрые, ничего у них из социализму этого не получается! Ай неправильно говорю? Скажи?

— Не пройдет у них этот номер! — жестко ответил Котовский. — Мы пушечки-то приготовим, чтобы неповадно было нос к нам совать.

— Это-то да! Свинье в огороде одна честь — полено...

— Пушечки приготовим, а тем временем и по хозяйству сообразим. Такая расчудесная жизнь у нас пойдет, что любому-каждому станет ясно — вот какое устройство надобно для всех на земле. А что капиталисты злобятся — так им на роду это написано.

— Всю ночь собака на луну пролаяла, а луне и невдомек, — поддакивал Савелий.

— Луна далека, а мы и близко, да не укусишь.

Погрузили в вагоны лошадей, которых корпус передавал коллективу «Рассвет». Савелий распрощался, прослезился напоследок:

— Многих ты человеком сделал, дорогой наш командир! Ох многих!

Забрался в вагон, вспомнил что-то и выпрыгнул снова на платформу.

— А что, правда или нет, будто международная буржуазия жалуется, большие, дескать, убытки понесли они в России, что, дескать, очень это им обидно?

— Пишут, восемь миллиардов всадили.

— Еще бы немного — вся Россия — фьють?

— Вроде того.

— Плачутся?

И наклонясь к самому уху командира корпуса:

— Когда волк примется хныкать, жаловаться на горькую волчью судьбу и проливать горючие слезы, держись подальше от волчьей пасти, не заслушайся, смотри, сожрет!

— Знаю! — отозвался Котовский. — Я это хорошо знаю!

Савелий с минуту смотрел ему в лицо и, видимо, вполне успокоенный и удовлетворенный, снова полез в вагон.

Поезд все не трогался. Савелий подошел к окну. Котовский смотрел на пензенского чудодея, любовался и гордился им.

«Какая цельная натура! Какое сердце! — думал он, улыбаясь. — Кабы не уймища обязанностей, кабы не корпус, не все заботы и неотложные хлопоты — махнул бы с ним в деревню и работал бы агрономом! Вот бы свеклицу вырастили! Вот бы поставляли государству хлеба! Такие бы дела заворачивали, что любо-дорого посмотреть, что небу жарко бы стало!».

Савелий как будто догадался, о чем думка у его командира, крикнул из окна:

— Благодать у нас в Уклеевке! Греча цветет! Эх, командир, нам бы с тобой вместе действовать! Ведь земля — она памятная, она благодарственная, она на ласковое слово сторицею воздает. Ты не обижайся на меня, старого болтуна. Любя я! Разве не понимаю, что ты птица большого полета? Очень даже понимаю и чувствую!

Как бы одобрительно отзываясь на слова Савелия, раскатисто закричал паровоз:

— Ого-го-о!

Вагон качнулся, лязгнул и двинулся.

ВТОРАЯ ГЛАВА

1

Тишина... Полная тишина... Советская страна занята мирным трудом: исправляет взорванные мосты,

очищает пашни от осколков снарядов. Она походит на жилище, в котором только что похозяйничала шайка грабителей. Все перепортила, переломала, что могла разворовала, растащила и ушла с мешками награбленного, перешагнув через лужи крови, стынувшие у порога.

Тишина была обманчивой! Коварной была тишина! Правда, уже никто не засылал войска на нашу землю, не выгружал оружие в наших портах. Но там, за рубежом, отливали новые пушки, готовя нападение на Страну Советов, разрабатывали новые планы, вынашивали новые заговоры.

«Русский Рокфеллер», как называли его в парижской прессе, известный в коммерческих кругах фабрикант Рябинин был одним из тех, кто создал в 1920 году в Париже Русский торговый, финансовый и промышленный комитет, так называемый Торгпром. В Торгпром входили бежавшие из России банкиры, промышленники, нефтяные короли. Торгпром располагал огромными средствами. И хотя он объявил, что будет бороться с большевиками на экономическом фронте, на самом деле отнюдь не ограничивался одним экономическим фронтом, участвуя в любом мероприятии, направленном против красной Москвы.

Живя в Париже, Рябинин подчеркнуто говорил только на русском языке, хотя владел и французским, и английским, и немецким. Будучи вхож в самые аристократические круги эмиграции, он с нарочитой грубостью заявлял:

— Вы тут, поди, только по-французски? Ножкой шаркаете? Вот и прошаркали матушку Россию.

Рябинин — что греха таить — недолюбливал французов, недолюбливал Америку, уверял, что американцы — даже не нация, а так, какое-то ассорти. Но больше всего ненавидел немцев. Считая, что он так богат, что может позволить себе не стесняться в выражениях, Рябинин бранил всех, но упрямо доказывал, что русские правители, русские «хозяева жизни», как он называл, — превосходные, достойные люди. Ведь Рябинин не терял надежды, что в России еще вернутся старые порядки, что Рябинин России еще понадобится.

На званом ужине у какой-нибудь графини Потоцкой или княгини Долгоруковой Рябинин любил произносить длинные тосты. С бокалом шампанского в руках он ора-

торствовал и не обращал внимания, что кое-кто из присутствующих пожимает плечами. Если это скучно и неинтересно хорошенькой дочке княгини Долгоруковой, то найдутся и серьезные люди... Пусть послушают! Это им полезно!

— Коммунистические ораторы, — пускался в рассуждения Рябинин, — уверяют, что все мы дураки. Царь у них болван, министры — кретины, помещики ходят с плетками и лупят крестьян. Для темного народа это, может быть, лестно, что все дураки, а посему — бей буржуазею, товарищи, ура. Но, господа, неверно же это! Вот недалеко от меня сидит Феликс Феликсович Юсупов. Нуждается ли он в ликвидации неграмотности? Да он Оксфордский университет окончил! Вот мы и объединили в Торгпроме наши капиталы и наши сердца, чтобы вернуть Россию, сбившуюся с дороги, на правильный путь — на путь капитализма!

Рябинин говорил на эти темы всюду, где только бывал. Ему казалось, что этим он поддерживает затухающую надежду русской эмиграции. Но Рябинин не ограничивался одними словами. Недаром он встречался с некими весьма подозрительными субъектами, вроде известного главаря русских эсеров Сальникова, недаром заседал на конференциях различных обществ, комитетов, совещался с председателем Русско-Азиатского банка Путиловым, прикидывавшимся этаким рязанским мужичком, со знаменитым миллиардером — худощавым брюнетом Жоржем Манделем, который известен всему миру как Ротшильд, наконец, бывал даже в таких организациях, как кутеповский «Союз галлиполийцев»...

Вся жизнь Рябинина была посвящена одному: борьбе с непонятным, новым и ненавистным, имя чему — коммунизм.

2

Десятый съезд Российской Коммунистической партии (большевиков) не успел начать своей работы, как пришло сообщение из Петрограда: в Кронштадте поднят мятеж, на город наведены жерла орудий.

В целом план восстания был разработан опытными людьми. Вдохновителями являлись как выражаются

в дипломатическом мире, «некоторые иностранные государства», руководителями — обиженные на революцию царские военные, а подстрекателями — все те же меньшевики и эсеры.

Как оживились некоторые правители! Как зашевелились эмигрантские круги! Торгпром прислал из Парижа два миллиона финских марок, считая, что на такое дело денег не жалко. Проявил трогательную заботу и французский посол в Финляндии... Иностранцам было глубоко безразлично, кто будет управлять Россией в случае переворота: немудрый царь или плохонький президент, лишь бы они слушались и давали потачку «деловым людям».

Известие о кронштадтском мятеже не вызвало растерянности у депутатов Десятого съезда: не впервые приходится отражать вылазки врага. По предложению Ленина для ликвидации мятежа были немедленно направлены в Петроград триста депутатов съезда.

Весна в 1921 году была поздняя. В марте на московских улицах было еще совсем по-зимнему. Но Петроград встретил сырыми туманами, коварной оттепелью.

Делегаты съезда спокойно и решительно приступили к делу. План был разработан еще в Москве. Сопровождения проходили также в пути, в вагонах. Этим людям казалось, что они не предпринимают ничего необычного, невероятного. Надо штурмовать. А как штурмовать? Только по льду. Выбора-то нет! И никому из них даже в голову не пришло, что подобный штурм многими был бы сочтен немыслимым.

Да, они шли по тающему льду Финского залива на штурм неприступной Кронштадтской крепости, расположенной на острове и, казалось бы, недоступной для сухопутных сил. Они шли по тающему льду на штурм крепостных бастионов острова Котлин — эти неистовые большевики! Они были, видимо, из той породы, о которой гласила надпись на медали, выбитой при Петре в честь славной победы над шведской эскадрой: «Небывалое бывает».

Да, они шли по тающему льду... Иногда лед проваливался. По наступающим били из орудий, били наугад, ночная тьма не позволяла вести прицельный огонь, а те, кто наступали, облачились в белые маскировочные халаты и двигались одновременно с нескольких направле-

ний: от Ораниенбаума, от Красной Горки, от Сестрорецка, от устья Невы.

Когда снаряду все-таки удавалось попасть в цель и два-три человека исчезали в пробоине, те, кто шли рядом, смыкались, и цепь неуклонно двигалась дальше.

Восемнадцатого марта над Кронштадтской крепостью снова взвился красный флаг. Делегаты съезда, петроградские коммунисты, курсанты военных училищ, красноармейцы 501-го Рогожского полка, 499-го Лефортовского полка, славные участники боев с колчаковской армией и еще многие участники этого штурма, может быть, сами себе не верили, что могли совершить такие чудеса.

3

В дни кронштадтского мятежа одним из первых прибыл в Гельсингфорс хлопотливый, непоседливый американский резидент Гарри Петерсон. Он за последнее время осунулся, почернел, движения его стали порывистей, скулы острее, голос резче: борьба, которой он посвятил жизнь, — борьба против Советской России, — пока не давала никаких результатов, и в личной жизни была полная неразбериха.

Гарри помнил наперечет все мероприятия, затеваемые за последние годы для уничтожения коммунизма. Нельзя сказать, чтобы эти заговоры, военные походы и восстания были бездарны, непродуманны. Нет! В них было вложено немало тонкого расчета и кругленьких сумм. Разве недостаточно популярны были Керенский и Краснов, и разве плохо их финансировали? А монархическая организация Пуришкевича?

Петерсон горько призадумался:

«Олл райт! Краснов... Пуришкевич... А какие результаты?»

Гарри откусывает кончик сигары и выплевывает его.

«Какие же выводы? Пункт А: белые вожди непопулярны. Пункт Б: использование наемных убийц и ничем не брезгующих проходимцев — лучший способ поддержать пошатнувшийся престиж».

Гарри Петерсон самодовольно ухмыльнулся, очевидно вспомнив кое-какие моменты из собственной

практики: может быть, убийцу Урицкого — Канегиссера, может быть, выстрелы в Ленина террористки Фанни Каплан... может быть, банды, которые он перебрасывал через границу в Советскую Россию, или предстоящую посылку в Россию полковника Свежинского с заданием убить Ленина.

Так размышлял Гарри Петерсон, скучая в чистеньком номере гельсингфорской гостиницы, помещавшейся на главной улице — Эспланаде, и поджидая вестей из Кронштадта, где вот уже сутки шло сражение.

Когда надоело торчать в номере, Гарри вышел прогуляться. Погода была отвратительная, с моря дул пронизывающий ветер, налетая какими-то шквалами. Памятник Рунебергу, мокрый и унылый, тускло поблескивал на пьедестале. Прохожие быстро шли по панели в резиновых плащах или с зонтиками, вот-вот готовыми вырваться из рук и взмыть в безнадежно-серое непроглядное небо.

Продрогнув, Петерсон вернулся назад. Город ему не нравился, погода не нравилась, все раздражало. Прошел в ресторан, с неприязнью оглядел пустующие столы и потребовал бутылку вермута. Придрался к чему-то и сделал замечание официанту. Пить расхотелось, вернулся в номер, лег на диван, стараясь думать о чем-нибудь постороннем, не относящемся к делу, о чем-нибудь игривом, легкомысленном. Но ничего такого не приходило в голову.

«Я правильно сделал, что включился в кронштадтское мероприятие. Тут пахнет жареным, и надо держать ухо востро, мигом кто-нибудь перехватит самые жирные куски. И в Архангельске, когда там высаживался десант, и в грандиозной ставке на Колчака, и в Одессе — всюду только и гляди, что утянут пол-России из-под носа. А как же? Не каждый день представляется случай заглатывать такой лакомый кусочек! Ведь вот в Сибири, например, как все шло успешно до самого этого города с трудным названием... как его? Бу-гу-руслан. А потом... Всем известно, что было потом. Хотел бы я посмотреть, что это за птица — этот красный полководец с трудной фамилией... как его? Фр... Фрунзе. Откуда он только взялся?»

Размышления Петерсона прервал стук в дверь. Петерсон все понял, лишь только увидел пришельца: это

явился генерал Козловский собственной персоной. У него был несколько обескураженный вид, но свое смущение он старался прикрыть бравадой:

— Милль пардон... Вас, может быть, удивляет столь внезапное вторжение? С корабля, выражаясь фигурально, на бал! Впрочем, не с корабля, а с катера!

Один ус у него был спален. Рука забинтована — он поцарапал руку, прыгая в шлюпку.

— Не рассказывайте! — остановил генерала Гарри Петерсон, едва тот собрался докладывать. — Я сам расскажу, что вы намерены сообщить: все шло сначала успешно, потом неуспешно. В заключение появился какой-нибудь Фрунзе...

— Как! Вы уже знаете? — изумился генерал. — Вот это, милль пардон, по-американски! Да, именно так и было. Первое наступление мы отбили. Они вызвали курсантов, пригласили делегатов какого-то, милль пардон, коммунистического съезда... Насчет Фрунзе — не знаю, а Тухачевский — да, Тухачевский там был. Это у них восходящая звезда... И еще, как его?.. Ворошилов. Луганский рабочий, говорят. И какой-то Фабрициус... Или Фаброниус... У меня имеется полный список, если пожелаете ознакомиться...

— Скажите, пожалуйста! Суворовы!

— Бр-р! Не хотел бы я им в руки попасть!

— А этот... долговязый? Погиб? Бывший командир линкора?

— Вилькен? Мы отбыли из Кронштадта в одном катере, и как раз вовремя. Вилькен продрог, потребовал к себе в номер коньяку и принимает, милль пардон, ванну.

Гарри Петерсон сухо попрощался с генералом. Давно ли он так же выслушивал неутешительные вести от Тюнника?

Собственно говоря, теперь можно было со спокойной совестью уезжать. В этом скучном городе делать больше нечего. Гарри Петерсон всю ночь проворочался, вздыхая и охая. Он не любил неясности. Что за дьявольщина? Кронштадт неприступен? Так или не так? Какая же сила заставила этих господ усмирителей бунта идти на верную смерть? Проваливаться под лед? Гибнуть под пулеметным огнем? Выполнять чей-то абсурдный, ни с чем не совместимый безумный план наступления?

Петерсон понимает, когда выходят на ринг два опытных профессиональных боксера. Оба отличаются бычьей силой, оба с ограниченным, примитивным умом, но с железными бицепсами. Оба хотят разбогатеть, стремятся получить денежное вознаграждение, выбиться в люди, хорошо есть, хорошо одеваться, щеголять, разукрасив грудь медалями и жетонами, покупать женщин, нанимать репортеров — словом, шикарно жить. Естественно, что при таких условиях они ставят на карту все, идут ва-банк. Это Петерсону понятно, тут есть логика, тут есть последовательность, тут есть смысл. А тем что надо, голытьбе? Допустим, одних перестреляли, оставшиеся завладели Кронштадтом. Что дальше? Какая выгода? Завтра опять тот же скудный паек, те же лишения. Что ими движет? Страху на них нагнали? Поставили позади идущих на штурм пулеметы? Голова может лопнуть от таких размышлений! Ничего не понять! Абракадабра!

Агентура добыла обширнейшие материалы — книги, газетные статьи, стенограммы, даже секретные приказы и шифрованные телеграммы. Тоже ничего не уловить. Какое-то неистовство! Дерзость невероятная! Другой давно бы спасовал. Фронты. Подвохи. Измена. Бунты. Кроме того — зверский голод, надо же это понять, — полнейшая разруха — ни патронов, ни топлива — форменным образом ничего, ноль, пустое голое место...

Гарри устал думать, строить догадки. Голова как свинцовая. Главное, сколько ни думай, ничего не понять, все иррационально, дико, в других каких-то плоскостях...

Гарри встает с постели, подходит к окну и прижимается лбом к холодному стеклу, а потом вглядывается в мутную мглу, как в провал, в дыру мироздания.

Кажется, все-таки светает. С трудом, но светает. Нет! Довольно! Сегодня же прочь отсюда! Иначе в самом деле сойдешь с ума!

Перед отъездом у Гарри Петерсона состоялась встреча с Сальниковым, которого он знал ранее и который вдруг вынырнул как из-под земли. Петерсону

нравился этот худощавый щеголь с вкрадчивым голосом и холодными глазами, да и не удивительно, что нравился: оба они любили рисковать, оба с увлечением плели бесконечные интриги, оба находили прелесть в темных заговорах и — как это называется в кругах уголовных преступников — в «мокрых» делах.

Петерсон был сдержаннее, пожалуй, бесцветнее. Сальников отличался отчаянной дерзостью, бурным темпераментом, вел крупную игру, не останавливался перед самыми бесстыдными сделками, полагая, что в борьбе все средства хороши.

Кажется, не было на свете человека, который не знал бы этого, на первый взгляд заурядного имени. Кто-то из журналистов даже называл его в обширных обзорах «авантюрист номер один». Его элегантный сюртук и лакированные ботинки видывали в приемных министерств и правительственных учреждений то в Лондоне, то в Париже, то в Копенгагене, то в Вашингтоне. Он внезапно появлялся и так же внезапно исчезал. Для него, казалось бы, не существовало ни пограничных кордонов, ни обязательных виз. То он разгуливал по Москве, то инструктировал мятежников в Ярославле. Сегодня вел конфиденциальную беседу с генералом Гайдой, обосновавшимся в Праге после разгрома Колчака. На завтра оказывался в Италии.

Он бывал всюду, где можно встретить сочувствие борьбе с коммунизмом, его лично знали правители государств, мечтавшие о превращении России в колонию, матерые шпионы, орудовавшие на советской земле, белогвардейские генералы...

Петерсон хотя и не подал виду, но очень обрадовался встрече. Даже скука прошла! Даже этот маленький городишко с большими претензиями, даже эта богомерзкая погода — на все он взглянул другими глазами. Вот когда можно узнать самые свежие новости! Вот когда можно поговорить с человеком своего круга.

Впрочем, маленькая поправка: с человеком своего круга, но отнюдь не заслуживающим полного доверия. Нет, Гарри Петерсон никому не доверяет и придерживается того взгляда, что можно сколько угодно считать всех без исключения честными, но жить среди них следует так, словно все они отъявленные негодяи и

мошенники. Гарри даже подумал, приветливо здороваясь с посетителем и как будто бы широко, открыто, доверчиво улыбаясь:

«Нельзя поручиться, что регистрационная карточка на этого субъекта не хранится в секретных сейфах французского «Дезьем-бюро»... Не исключена возможность, что он связан и с английским Интеллидженс сервис.. Но это еще туда-сюда. Однако я надеюсь, что он не состоит агентом Чека? Это было бы уже слишком!»

Для Гарри Петерсона имело большое значение, что Сальников — русский, уже одно это взвинчивало. Что бы Гарри ни говорил, что бы ни делал, в нем всегда сидела, как заноза, мысль о Люси, которая, теперь непонятно даже, была жена его или не жена. Он помнил каждое слово, каждое движение мускула на лице Люси и на физиономии княгини Долгоруковой в тот памятный день расставания. Он много думал об этом, все взвесил, все расценил. Для него было громом среди ясного неба сообщение, что мать и дочь решили ехать в Париж. Гарри догадывался, что все это — штучки дорогой мамочки. Люси никогда бы не додумалась. Люси — премиленькая дурочка, и это ей очень к лицу. А чертовой княгинюшке захотелось тряхнуть стариной, покрасоваться в тех сферах, где она как рыба в воде. Чего лучше — Париж! Там русских графов и князей больше, чем правоверных в Мекке. Ну и ехала бы одна, гладенькой дорожки, что называется! Так нет же, и дочку потащила! Видите ли, девочка хандрит, девочке необходимо рассеяться! Чума бы тебя забрала с твоим рассеянием! И он-то хорош! Надо было воспротивиться! Главное, Люси не выпускать из рук, на худой конец даже отправиться с ними, а через недельку княгиню оставить где-нибудь в Марокко, или на Мадагаскаре, или в Конго, где-нибудь в малярных болотах, а взбалмошную девчонку увезти. Теперь поздно обо всем этом думать, упорхнули птички! И что он скажет патрону? Расхвастался: «Роскошное имение!.. Старинный род!..» Вот тебе и имение! Вот тебе и старинный род! По сей день Гарри не может придумать, как распутать всю эту историю. Как нарочно, все время приходится иметь дело с русскими, говорить по-русски, да Гарри и сам любит щеголять хорошим произношением, русскими народными поговорками, идио-

мами... И каждый раз где-то в тайниках его сердца отзывается: «Люси»...

— От всей души сочувствую вашим неприятностям! — любезно улыбаясь и безупречно владея голосовыми средствами, мимикой, интонацией, произнес Сальников.

Гарри вздрогнул, на миг почудилось, что Сальников выражает сочувствие по поводу семейных невзгод, а не по поводу неудавшейся кронштадтской авантюры.

— Мои неприятности — это и ваши неприятности, — в тон собеседнику ответил Гарри, вполне овладевая собой.

— Тем более досадно проиграть этот тур. Ведь удалось поднять Кронштадт и одновременно раздуть разногласия внутри коммунистической партии. Этаким «двойной нельсон»! Представляете? Сознайтесь, сделано это умелыми руками.

Гарри усмехнулся. В голосе Сальникова прозвучали горделивые нотки автора, довольного своим произведением.

— А разве плохо была задумана, — возразил Гарри, — например, операция, охватывающая чуть не два материка — Европу и Азию, когда адмирал Колчак ринулся с востока, а с тыла ударила армия Юденича? Было учтено все, вплоть до солдатских портянок. Но какой-то злой рок висит над нами. Всякий раз повторяется одно и то же: прекрасное начало и плачевный конец.

— Сэр, — перешел на английский язык Сальников, — эта гостиница... как вы полагаете, — вполне удобное место для откровенных разговоров?

— Можете быть спокойны на этот счет, — развеселился Гарри, в свою очередь хвастая техникой и предусмотрительностью. — Я всюду вожу с собой специалиста по электрическим установкам и микрофонам, не говоря о том, что смежные номера всегда занимают мои сотрудники, а перед окнами и в коридоре дежурят мои люди.

Сальников несколько раз пытался перейти на английский, полагая, что Петерсону легче будет на родном языке выражать сокровенные мысли. Но Гарри снова возвращался к русскому языку, показывая, что

в совершенстве владеет им и даже не растягивает «а» и вполне справляется с буквой «ч».

— Вы упомянули о разногласиях внутри коммунистической партии. Очевидно, вы имеете в виду «децистов», троцкистов, «буферную» платформу и прочее в этом же духе? Не кажется ли вам, что значение этих разногласий несколько преувеличивается?

— Надо брать весь комплекс явлений в их совокупности, чтобы составить суждение о данной ситуации, — теряя легкость построения фразы, начал тоном лектора Сальников. — Давайте вспомним, что этому предшествовало. Когда Ленин выступал на съезде Советов и совершенно определенно говорил о временном отступлении, то Лев Давыдович Троцкий резюмировал, что кукушка прокуковала конец Советской власти. Тут имелось в виду все, вместе взятое: и голод, и разруха, и восстания в деревне, и усталость.

— Но ведь господин Троцкий и сам коммунист?

— Троцкий — все что угодно по мере надобности. Когда ему удобно — и коммунист. Был момент, когда бундовцы возлагали на него надежды. Напрасно. Бундовцы для него недостаточно масштабны. Но если будет выгодно, он, не задумываясь, установит для евреев черту оседлости. Троцкий — это прежде всего Троцкий. Я так полагаю, сэр.

— Да, да, я знаю характеристики этого деятеля, сделанные многими, в том числе отзывы Ленина.

— Ленина?! — переспросил Сальников, думая, что ослышался. Он никак не ожидал со стороны Петерсона ссылки на такой авторитет.

Но Гарри не обратил внимания на вопрос, будто не слышал его, и продолжал, щеголяя памятью и осведомленностью:

— В юности Троцкий ходил по Одессе в синей блузе и писал психологическую драму. В тысяча девятьсот третьем году был меньшевиком. В девятьсот четвертом порвал с меньшевиками, в пятом снова примкнул. Ленин отмечал его ультрареволюционную фразу и отсутствие мировоззрения. А зачем умному человеку мировоззрение? У вас, господин Сальников, есть мировоззрение?.. Но продолжим о Троцком. Блок ликвидаторов. Противник Ленина. Впередовцы. А в девятьсот семнадцатом примкнул к Ленину. В Брест-Литовске поступил

вопреки директиве Ленина. Приехав из Брест-Литовска, публично признал свою ошибку. И тут же сколотил оппозицию. И кажется, снова признал ошибку? Или не признал? Мне кажется, эта маневренность говорит в его пользу. Ведь так? В мировой прессе его окрестили «красным Наполеоном». Не кончит ли он островом Святой Елены? А вы какого мнения о нем? Фигура это или не фигура — вот что меня интересует.

— Если вы позволите напомнить, — с напускной скромностью вкрадчиво промолвил Сальников, — один далеко не глупый англичанин выразился примерно так: Троцкий так же не способен равняться с Лениным, как блоха со слоном.

— Я знаю, о каком англичанине вы говорите: Локкарт. Остроумно. Но блохи кусаются.

И Гарри понял, что от Сальникова нельзя ожидать другой оценки Троцкого, так как Сальников сам мечтает стать диктатором России. Он замолк и стал внимательно разглядывать Сальникова, решая вопрос, годится ли в диктаторы этот поджарый джентльмен — хладнокровный убийца, талантливый мистификатор и прирожденный дипломат.

Сальников в свою очередь изучал Петерсона. Насколько влиятельны деловые круги, которые представляет этот американец? Денег у него много. Но ведь у голландца Детердинга их еще больше!.. Что касается appetitов, то у всех они хорошие. Пасть, пожалуй, шире всего открыта у немцев... Эти с удовольствием заглотали бы весь божий мир и запили его кружкой пива...

Так оба долго молчали и обнюхивались, как собаки, встретившиеся на дороге. Сальников при этом осторожно отмечал, что не всякий гриб в кузов кладут, а Петерсон пришел к неопределенному выводу, что *qui vivra, verra*: поживем — увидим.

Гарри Петерсон первым прервал молчание:

— Господин Сальников! Вы не обидитесь, если я признаюсь в своих сомнениях относительно очень популярной в России партии, — я имею в виду эсеров...

Сальников вежливо слушал. Но Гарри заметил какое-то движение, какой-то жест, выражающий протест.

— Знаю о ваших контактах с эсерами, но вы — особая статья: если вам понадобится, вы образуете еще

десять таких партий и придумаете для них недурненькие платформы. В сущности, партия — это когда один говорит, а все остальные поддакивают. Не считите за комплимент — я не умею говорить комплименты, — вы из той породы, которая делает игру. Так устроен мир.

Сальников опять шевельнулся, как бы протестуя против слишком откровенной похвалы. Гарри ответил на это афоризмом:

— Скромность — результат опытности, сэр! Так говорят на моей родине. Но продолжим об эсерах. Я по должности изучал русские политические течения и нахожу большое сходство между русскими эсерами и русскими анархистами. Только анархисты призывали убивать всех подряд, а эсеры — на выбор. Лучше бы вам, мистер Сальников, свою, новую партию создать, чтобы на ней не висели тени прошлого. Как вы думаете?

— Я так и поступил, сэр. Только у меня не партия, у меня армия: зеленые братья. Вы правы, когда говорите, что эсеры — это и устарело и дурно пахнет. К чему такая бравада: спрятать в дамскую сумочку браунинг, подойти, выстрелить и затем терпеливо ждать, когда для тебя намылят веревку.

— Значит, вы отрицаете террор?

— Террор — да, но не политическое убийство.

— Да-да. Я в общих чертах представляю этот новый стиль работы. Например, предупредил поручик Соловьев советские органы о готовящемся перевороте в Ярославле, а через несколько дней Соловьева случайно убили в гостинице. Или комиссар печати Володарский... Кажется, тоже ваша работа?

— Милостивый бог! Вы даже такие мелочи храните в памяти? Но это же обычная вещь!

— В какой-то степени вы правы, — примирительно промямлил Гарри. — Кстати, троцкисты тоже не брезгуют этим... стилем?

— В политической борьбе, сэр, нет недозволенных приемов.

— Извините, я, вероятно, утомил вас. Но хочется, знаете ли, во всем разобраться. Да! Что я хотел еще спросить... Вы сами лично видели Тухачевского?

— Михаила Николаевича? Конечно. Его, как и Фрунзе, на самые опасные участки посылают. На врангелевском фронте он командовал Первой и Пятой армиями.

Я слышал, что его прочат на пост начальника Военной академии. Последнее, что я знаю, впрочем так же, как и вы, что он командовал войсками, взявшими Кронштадт.

— Вот поэтому-то мне и хочется составить о нем полное представление. Фрунзе — тоже бывший офицер?

— Каторжанин. Никакого отношения к военному делу не имеет.

— А кто такой Фабрициус?

— Коммунист. Работал в подполье. Это все, как бы вам сказать — ленинская гвардия. Ленин их выискал, Ленин их воспитал.

— А Котовский? Слыхали о таком?

— Еще бы! Крупный такой мужчина. Я его один только раз видел. В Одессе. Между прочим, друг Фрунзе. Одного поля ягода. Хорош.

— Все они хороши. Скажите, но разве плохой генерал, например, Ханжин? Разве не безумно храбр Капцель?

— Сэр! Плохо глиняному горшку, если на него падает камень. Не лучше, если он падает на камень сам.

— Вы все отшучиваетесь. Но в чем же все-таки тут дело? Я допускаю, что пустой номер — Тютюник, что слаб Пилсудский. Но сколько кричали о Колчаке! Боже мой! Министр Сазонов называл его русским Вашингтоном! Сэр Сэмюэль Хор кричал, что Колчак — джентльмен. Черчилль клялся, что Колчак неподкупен. «Нью-Йорк таймс» воспевала на все лады этого «сильного и честного человека». Где он, этот сильный и честный человек? В какой гниет канаве? И почему, объясните, опытных кадровых генералов колотят и колотят голодные, плохо одетые мужики, которыми командуют агроном Котовский, ссыльно-каторжный Фрунзе и кто еще там? Какой-то Тухачевский? Какой-то Буденный? Примаков? Егоров?

Редко случалось, чтобы Гарри Петерсон приходил в такое возбуждение. А Сальников вежливо улыбался, вежливо слушал, пил маленькими глотками вино и сверкал лакированными ботинками.

Впрочем, вежливо слушая, он думал:

«Вряд ли ты, голубчик, на самом деле взволнован! Мы оба из того сорта людей, которые уже ничего не

делают искренне. Мы всегда, как на сцене, даже наедине с собой».

Кажется, он был прав. Гарри Петерсон, внезапно успокоившись и вдруг позабыв о печальной участи Колчака, которая за минуту до того его так тревожила, сказал с самым простодушным видом, хлопнув Сальникова по колену:

— Ленин утверждает, что есть два борющихся лагеря и нет третьего, не может существовать третья линия, это иллюзия, обман или самообман. Есть французская песенка «Entre les deux mon coeur balance»¹.

Так вот что я хотел бы, мистер Сальников, с вашего разрешения сказать: раз уж вы ненавидите коммунистический строй — а вы его ненавидите, — значит, ваше сердце с нами, и вовсе оно не балансирует между двумя непримиримыми мирами. Следовательно, задача у нас с вами одна — свержение Советской власти. Сто фронтов наших разбито, сто надежд рухнуло, сто вариантов не удались? Примемся за сто первый! Так?

5

Генерал Козловский сразу же после ликвидации кронштадтского мятежа и встречи с Петерсоном отправился отчитываться в Париж. Это вошло в обычай: проиграв очередную кампанию в борьбе с большевиками, являться в Париж с повинной, искать новых покровителей или садиться писать мемуары.

Прежде всего Козловский поехал к князю Хилкову, которого знал еще по Петербургу.

— Победителей не судят, — сказал он вместо приветствия, — а что делают, милль пардон, с побежденным? Браните, позорьте, что хотите делайте, пришел с повинной, не обессудьте.

— Не вы первый, не вы последний, — снисходительно ответил князь. — Вы уже были у Рябинина? Это обязательно. И не откладываете. Сегодня же. А вечером будьте у княгини Долгоруковой. Если вы ей понравитесь, ваша репутация спасена. У нее политический салон...

И особо доверительно добавил:

¹ Сердце мое между двух балансирует (франц).

— Запросто бывает даже великий князь Дмитрий Павлович... Да вы сами все увидите. Очень милый дом. Чисто русское гостеприимство.

Рябинин тоже встретил Козловского довольно благодушно:

— А! Отвоевали? Подробности можете не рассказывать: почтеннейшая французская газета «Матэн» за две недели до начала кронштадтского восстания уже сообщила подробнейше, что восстание произошло, и очень успешно. Словом, выболтала все секреты, как последняя сплетница. Вот после этого и делай невинное лицо, что мы знать ничего не знаем, что восстание вспыхнуло стихийно и никакого генерала Козловского мы не посылали. Не унывайте, генерал. Вы понесли поражение и славы не стяжали. Зато мы, коммерсанты и промышленники, одержали крупную победу. Только что получены вести из России: новая экономическая политика! Нэп! Не слышали? Еще услышите. Смена вех, вот что такое новая экономическая политика. Нас, людей дела, вынуждены позвать на выручку! Я всегда говорил, что Ленин — умный человек. Он понял, что без нас не обойтись. Теперь вопрос только времени. Будут и иностранные концессии. Все будет. Образумились! Поняли, наконец, что без Рябинина у них ни черта не получится!

Выслушав все эти горделивые мечтания «русского Рокфеллера», Козловский направился к великолепному особняку Долгоруковой, у Елисейских полей, в центре Парижа.

6

Княгиня Мария Михайловна Долгорукова весьма удачно и ловко увезла свою дочь Люси из Молдавии, от нудного Гарри Петерсона, избавив ее от неудачного замужества, а себя от невыносимой скуки. Мать и дочь Долгоруковы поселились в Париже и быстро освоились с новой обстановкой, блестяще демонстрируя непревзойденное искусство ничегонеделанья. В этом оказывал им посильную помощь князь Хилков, постоянный их спутник и завсегдатай в доме.

Князь Хилков тоже обретался в Париже в числе эмигрантов, покинувших петербургские гостиные, бросивших на произвол судьбы тульские, рязанские и прочих

губерний имения. Так как он держал изрядные суммы в заграничных банках, то сейчас ему не было надобности пускаться в сомнительные аферы, работать каким-нибудь официантом или шофером такси. Князь умеренно ругал красных и позволял себе скептически относиться к бесчисленным рецептам спасения России. В эмигрантских кругах осуждали за это князя. Находились и защитники, уверявшие, что он просто бравирует.

На четвергах княгини Долгоруковой князь Хилков охотно выслушивал ретивых сторонников крестового похода против коммунистического мира. Но с не меньшим удовольствием слушал он сонаты и ноктюрны, которые поверхностно, но в общем довольно прилично исполняла на рояле Люси. Он любовался этой ветренной, пустой девчонкой и почтительно ухаживал за ее тапан.

При всей видимости рассеянной светской жизни в доме княгини Долгоруковой вершились и другие дела. Здесь удобно было устраивать полезные деловые встречи. Очень часто, чокаясь хрустальными бокалами, посетители княгини обсуждали новые замыслы, новые походы против коммунистов. Недаром здесь появлялся то мрачный вешатель генерал Меллер-Закомельский, с его пышными усами и подусниками, то какой-нибудь скользкий пронырливый молодой человек, явно связанный с «Дезьем-бюро», то рыжеватый немец фон дер Рооп, который прихлебывал из рюмки, словно это был не лафит, а баварское пиво. И ни для кого не было секретом, что Меллер-Закомельский ищет протекции, пронырливый молодой человек назначил здесь кому-то встречу, а фон дер Рооп, всегда считающий единственно правильной только свою точку зрения, хлопочет о поддержке какой-то новой нацистской партии, которая в конце 1920 года приобрела газету «Фелькишер беобахтер», и в этой газете обещает завоевать весь мир.

Мария Михайловна прилагала немало усилий, чтобы ее приемы походили на приемы петербургской знати. Она старалась каждый раз преподнести нечто примечательное: какую-нибудь знаменитость, какую-нибудь сверхкрасавицу. Князь Хилков понимал, что для Марии Михайловны ее журфиксы стали страстью, и тоже делал все, чтобы четверги в доме Долгоруковых были популярны в Париже.

Один раз им удалось залучить балерину Кшесинскую, которая открыла в Париже балетную студию и вообще сумела удержаться на поверхности, не пойти ко дну. Мария Михайловна демонстрировала ее, как выигравшую приз скаковую лошадь.

В другой раз намечено было пригласить Юсупова. Он успел промотать все состояние и теперь открыл в Париже ателье мод. Но все-таки он был персоной: ведь он женат на племяннице Николая Романова! Царя!

Привел как-то князь Хилков и писателя Бобровникова.

— Очень известный романист, — говорил князь. — Выпустил массу книг. Я-то не читал, но по отзывам прессы... Впрочем, прессу я тоже не читал.

Бобровников Марии Михайловне не понравился:

— Почему у него такой не писательский вид?

— Чем незначительнее писатель, тем у него более «писательский» вид, — пояснил князь. — А этот, значит, настоящий.

Бобровников присоединялся то к одной группе людей, то к другой, но явно чувствовал себя не в своей тарелке. Какая чепуха все эти пересуды парижских будней, анекдотов, сплетен! И что за таинственные беседы где-нибудь в отдаленной гостиной каких-то подозрительных субъектов? Тоже мне — салон толстовской мадам Шерер!

Бобровников исподлобья разглядывал это сборище разношерстных людей и придумывал, как бы он изобразил их в своем произведении. Если подойти с этой точки зрения — богатый материал для наблюдения!

Все остальные чувствовали себя, как видно, преотлично. Русские фабриканты без фабрик, сахарозаводчики без сахарных заводов и нефтяные короли без нефти разглядывали картины на стенах или оживленно беседовали. Несколько дам, сверкающих вывезенными из России бриллиантами, с преувеличенным вниманием рассматривали, расспрашивали, тормошили очаровательную Люси. Так скучающие гости в ожидании ужина играют с хозяйским котёнком.

Вскоре появился великий князь Дмитрий Павлович, двоюродный брат царя. Он понимал свое двусмысленное положение, так как и царя уже не было, и сам он теперь не великий и не князь. Он несколько даже

переигрывал в скромность и демократизм. Как-то торопливо здоровался, зачем-то усиленно кланялся. Его явно стесняло особое положение, и он передвигался по залу затрудненной походкой, будто внезапно очутился среди толпы совершенно голым и теперь не знал, как прикрыть грешную наготу.

Дмитрий Павлович неоднократно просил не выделять его, не соваться с неуместным в данном случае придворным этикетом. И все-таки дамы млели и дурели в его присутствии, говорили, как на сцене, неестественно громкими голосами, некстати приседали и дарили великого князя преданными верноподданническими улыбками. Мужчины же становились не в меру серьезными, натянутыми и, как на похоронах, говорили вполголоса и грустно.

Только представители делового мира не чувствовали никакого стеснения. Иностранцы откровенно разглядывали августейшего гостя, как редчайший музейный экспонат, добытый при раскопках древнего кургана. А русские промышленники и банкиры попросту не замечали его.

Когда у Долгоруковой впервые должен был появиться Рябинин, Мария Михайловна опасалась, что явится мужичок в поддевке, стриженный под горшок, в русских сапогах со скрипом, — что-нибудь вроде ее подрядчика в имении Прохладное.

Но князь Хилков дал ему блестящую характеристику:

— Если хотите, это аристократ нового типа. Не знаю, насколько он породист, но можете не сомневаться, что это высокообразованный, воспитанный человек.

— Не скажете ли вы еще, что он был в институте благородных девиц, что для него нанимали бонн и гувернеров? — съязвила Мария Михайловна. — Откуда у него возьмется воспитание? Скажите спасибо, если его сапоги не смазаны дегтем!

— Вы угадали, княгиня, у него именно были бонны и гувернеры. Учился он в Сорбонне, денег прорва, сейчас состоит в Торгпроме вместе с самыми что ни на есть воротилами. Словом, фигура. За манеры можно не беспокоиться, владеет несколькими языками, изъездил весь свет. Не скрою, есть у него странности, да кто же из нас безгрешен? Он чуточку — как бы сказать... рисуется тем, что он русский, что может себе позволить удовольствие

быть русским и требовать уважения к его русским вкусам, взглядам и привычкам.

— Но это не так уж плохо! Я тоже люблю, например, чтобы на столе у меня были не только французские вина, но и русская водка и малороссийская запеканка с отплясывающим вприсядку запорожцем на яркой этикетке...

— Тем более вы поймете Рябинина. По размаху он вполне бы мог занять место президента в России. При иной ситуации, конечно.

Опасения Марии Михайловны оказались напрасными.

Пришел действительно элегантный, прекрасно одетый, представительный человек. Держался он свободно и даже несколько властно.

В дальнейшем Рябинин стал бывать у Долгоруковой запросто. Он хотя и презирал аристократов, но вместе с тем искал у них популярности. И когда явился на этот раз почти одновременно с генералом Козловским, то только и было разговоров, что о перемене курса в России, о новой экономической политике и новых надеждах.

ТРЕТЬЯ ГЛАВА

1

— Как ты считаешь, Леля, можно жить, если не веришь в человека? По-моему, нельзя. Ведь если не верить, то что же тогда останется?

— Надо верить! — твердо отвечала Ольга Петровна.

Котовский задавал такой вопрос всем. Криворучко на это мрачно отозвался, что человеку отчего бы и не поверить, а если это не человек, а только притворяется человеком?

Однажды заехал к Котовскому Мосолов, бывший командир одной воинской части, знававший в те годы Григория Ивановича.

— Ничего, ничего, подходяще устроился, — осматривал он квартиру. — А ты ко мне приезжай, у меня-то лучше! Тебе бы еще от корпуса отбояриться. Никак не мог?

— От корпуса?! — удивился Котовский.

— А уж каким я квасом тебя угостил бы! — продолжал свое Мосолов. И, взглянув на Котовского, тотчас стал пояснять: — Осуждаешь? Квас, говорю, осуждаешь? А я так смотрю: ну, гражданская, ну, скакали на конях, ну, рисковали. Но теперь-то можно пожить для себя, для себя лично? Когда-то разрешается урвать хоть кусочек махонький для своей потребности?

— Вон ты какой стал... А растить ленинцев? — гневно спросил Котовский. — А строить дороги? А укреплять армию? Кто будет это все делать?

— Тю! Куда повернул! Ну, предположим, мы роем канаву. Для примера говорю. Я и ты выполнили норму. Имеем право на перекур?

— Не имеем.

— Всё. Вопросов больше нет. Кстати, мне пора, не опоздать бы на поезд.

— Нет, подожди, — Котовский подошел к нему вплотную. — Я так думаю, — произнес он серьезно, строго, со страстным убеждением, — если жить только для себя, то вообще не стоит жить!

Не раз и не два — очень часто возвращался впоследствии Котовский к этому эпизоду:

— Леля, ты не помнишь, как звали пехотного командира, который сожалел, что мне не удалось отбояриться от корпуса?

— Это Мосолов, что ли? — откликнулась Ольга Петровна из соседней комнаты. — Как не помнить!

Котовский и сам помнил, что Мосолов. Но у него была такая манера: если ему человек не нравился, он нарочно путал, перевирали его фамилию, а то уверял, что и вообще ее запомнил.

— Мосолов? Ты точно помнишь? А не Мозгляков? Ишь ты! Выполнили, говорит, заданную норму по защите революции. Гадость какая! Вот ведь и командир, и даже коммунист, кажется, а как рассуждает! Леля! Как это у Ленина говорится? Мелкобуржуазная стихия страшнее всяких деникиных? Верно. Хорошо сказано! Еще кровь после гражданской войны не засохла, этот Моргунов — или как его? — уже, извольте ли видеть, требует перекура! Нет, голубчик! Коммунистом нельзя быть от сих до сих, только от восьми утра до пяти пополудни. Коммунистом нужно быть всегда и во всем, в каждом поступке, в каждом помысле. Иначе ты не будешь коммунистом...

С отвращением и ужасом смотрел Котовский на лодыря, негодяя, способного есть чужой хлеб, выскивающего теплое местечко и провозгласившего девиз: «Что бы ни делать, лишь бы ничего не делать». Котовский недоумевал, глядя на такого нравственного уродя: как это можно продрембезжать через всю жизнь порожняком?

Но у него никогда не опускались руки, он всегда надеялся, что проснется в человеке то хорошее, что ему присуще, он верил каждому человеческому существу.

Сколько, например, возился и нянчился Котовский с Зайдером, человеком с темным прошлым и грязной душой!

Когда в Одессе была установлена Советская власть, Зайдер пришел к Котовскому и попросил принять его в отряд. Кем? Кем угодно! И начал он в бригаде вроде как по снабжению орудовать. И так орудовал, что вскоре на него стали поступать жалобы: там незаконно отобрал, тут незаконно взял — словом, мародерством занимается. Несколько раз вызывал его Котовский, усовещал, предупреждал, что так дело не пойдет. Зайдер клялся и божился, что это в последний раз, что больше это не повторится, а если уж пошло на откровенность, то для кого он старался? Овес забрал у мужика? Так ведь сам-то Зайдер овса не ест? Овес-то Орлику достался?

Увы, Зайдер не исправлялся. Опять и опять всплывали на поверхность некрасивые его дела. Посоветовался Котовский с комиссаром. Решили, что нельзя этого человека в бригаде оставлять. Удалось пристроить Зайдера в военизированной охране сахарного завода.

Зайдеру новое назначение понравилось:

— Люблю сахарок. Могу и вам в случае чего подбросить. По старой дружбе. А что?

— Ничего подбрасывать мне не надо, а если это шутка, то плохая. Постарайтесь оправдать доверие на новой работе.

Ушел Зайдер, как всегда, с сознанием своего превосходства, с непоколебимой уверенностью, что уж он-то умеет жить.

А Котовский размышлял после его ухода:

«Скользкий он какой-то. Услужливо-нагловат и наглогато-услужлив. Выгнать бы его в три шеи к чертовой бабушке, но тогда он и вовсе по наклонной плоскости

покатится. А тут все-таки при деле, все-таки среди трудового народа. Приглядится, обживется, может быть и усвоит советский стиль работы».

Всякая несправедливость, всякое пренебрежение в работе и распущенность в личной жизни приводили Котовского в бешенство.

Хотя и закончилась гражданская война, но и теперь не унимается вражеская рука. То там, то здесь появляются бандитские шайки. Топливный кризис принял угрожающий характер. Голод в Поволжье. Надо срочно спасать людей, надо помочь голодающим, надо поделиться с Поволжьем избытками, а находятся такие куркули, что скрывают фактически засеянные площади, показывают меньшие, да и по тем не выполняют нормы продналога.

Снова Котовский круто берется за дело. И хотя сейчас не приходится скакать во весь опор под посвист пуль, врубаться во вражеские ряды, но сражения с неуступчивым, въедливым прошлым происходят на каждом шагу. Не так-то легко стряхнуть с наших ног прах старого мира.

Тревожный сигнал: пьянство в дивизии. Котовский отмечает в приказе, что это тем более преступно в настоящий момент, когда республика бьется в тисках голода, когда от каждого человека ждут сознательности, дружных усилий!

Или как назвать — изменником или глупцом — начсандива, который во время боевой операции против банд оставил всех врачей в тылу, при обозе второго разряда, и отправил с действующими частями только фельдшера да лекпомов?

Ольга Петровна знала, как заполнены хлопотами и заботами дни ее мужа, какими вопросами он занят, какие дела его волнуют. И все-таки она не смогла бы перечислить всего, что делал Котовский. Может быть, другому человеку все эти будничные дела показались бы скучными, мелкими. Прославленный легендарный командир — и вдруг: дрова, борьба с пьяницами, наблюдение за действиями начсандива. «Да провались они пропадом! — сказал бы другой. — Подай мне дело по плечу, чтобы действовать — самое меньшее — в мировом масштабе!» Но Котовский был другого склада человек. Он с увлечением занимался самыми обыкновен-

ными, житейскими делами и вкладывал в них всю душу.

Утром, еще до гимнастики, Котовский припоминает все неотложное, что следует выполнить сегодня, диктует Ольге Петровне, и она записывает в блокнот.

— Проверить ход контрактации свеклы. Записала? А то не проверять, так после наплачешься. Ленин учит, что если ты отдал распоряжение, то обязательно проверь, выполняется ли оно. Иначе ты будешь выглядеть болтуном. А те, кто пренебрегли твоим распоряжением, будут хихихать за твоей спиной.

Ольга Петровна записывает. Солнце светит в окно. Котовский продолжает диктовать:

— Проверить торговлю военно-кооперативных лавок. Как я здорово прижал частников! Одобряешь? Взвинтили цены на мясо так, что мясо стало дороже шоколада. А мы пустили мясо в своих лавках сначала даже себе в убыток. Понимаешь, какой ход? Это все равно что зайти противнику во фланг, ударить конницей по его тылам.

Котовский приступает к гимнастическим упражнениям. Наступает молчание. Ольга Петровна смотрит в окно, залюбовалась затейливым зеленым убранством сада. Какая свежесть хлынула в комнату! Солнце поднялось уже над деревьями, все сверкает, переливается. Птичий гомон — величайшее музыкальное произведение природы — порождает бодрость, согласованность, наэлектризованность души. И вдруг Котовский что-то вспомнил, прервал упражнения:

— Самое важное! Запиши, Леля, и подчеркни: в президиуме горсовета поднять вопрос о восстановлении кирпичного завода в городе. Ты ничего об историческом прошлом нашей Умани не читала? А я читал. Там только одно не записано — что наша бригада в районе Умани поставила точку разбою бандитов Грызло и Гуляй-Гуленко. Ну ничего, об этом в следующем издании добавят. А об Умани ты прочитай, занятно. Оказывается, никто не знает, когда Умань основана, знают только, что давно. Зато хорошо известно, что ее частенько истребляли. Один раз всех жителей Умани вырезал гетман Дорошенко, в другой раз приложил руку Гонта. Но это не главное. Истреблять и вырезывать с давних пор водятся мастера. Главное другое: оказы-

вается, до революции в Умани черт-те что было, даже табачная фабрика, можешь представить?! Две паровые мельницы, три вальцовые. Маслобойные заводишки тоже были, а что меня интересовало — здесь было шесть кирпичных заводов, мал мала меньше, но шесть. А мы теперь один, да хороший откроем. Кирпич нам вот как нужен!

— И как тебя на все хватает, удивляюсь. Смотри, у тебя целый трест образовался: и лавки, и сахарный завод, и кожевенный, а теперь еще за кирпич взялся.

— Надо, Леля. Ты мне вчера читала, как у Ленина говорится? Что мы нагоним другие государства с такой быстротой, о которой они и не мечтали? Ты веришь в это? Я так ни минуты не сомневаюсь. Да! Запиши еще, Леля: «Тринадцать ноль-ноль — полковник Ухач-Угарович».

— Что, все-таки согласился работать в корпусе?

— Человек был — ни много ни мало — профессором в Академии генерального штаба! Тоже вроде развалин кирпичного завода! Сто лет как в отставке, а предложил я ему вести занятия, он даже прослезился. Надо верить в людей! Каждый кирпич пустить в стройку! Ухач-Угарович! Фамилия водевильная, а старик хоть куда!

Котовский приступает к водной процедуре. Плеск воды. Фыркание. Уханье. Затем свист туго натянутого полотенца, когда им со всей силой растирают спину, плечи, грудь...

— Помнишь, как меня Троцкий вызвал и перевод в Тамбов предложил? Нехорошо он тогда говорил, на моем самолюбии хотел играть, а у меня самолюбие — не скрипка, чтобы на нем играть. «Вас не ценят! Вас не понимают!» Еле тогда Фрунзе меня вызволил. Ушел я от него и думаю: «Нет, не коммунист Троцкий. Кто угодно, только не коммунист».

Растирание закончено. Кожа горит. Даже шея стала красной. Свежий, бодрый, пружинящей походкой входит Котовский в столовую и садится за стол.

— Как ты считаешь, Леля, хорошо это — на низменных чувствах играть? Я тебе откровенно скажу: дюжину таких проходимцев я бы на одного Ухач-Угаровича не променял..

Завтрак несложен: холодная вареная картошка, крепко посоленное крутое яйцо и холодные, запотевшие, с пупырышками, свежие огурцы — прямо из погреба.

Солнце так и заплескивает, так и хлещет в настежь открытые окна — форменное наводнение. И какой крик подняли воробьи в кустах акации!

— Теперь на стадион? — спрашивает Ольга Петровна.

— На стадион. А оттуда в школу младших командиров. Как ты считаешь, Леля, чудесная штука — жизнь?

После трудового дня Григорий Иванович просил Ольгу Петровну читать ему вслух, закрывал глаза и слушал. Читали русских классиков, читали произведения Ленина. А потом разговаривали. Ольгу Петровну изумляло, какие простосердечные вопросы иной раз задавал Григорий Иванович. Попервоначально его вопрос, бывало, покажется наивным-наивным. А потом выясняется, что не так-то наивно он рассуждает, за самую суть берет, только по-своему, очень своеобразно подходит к любому предмету.

— Леля! Лев Толстой — граф? Ведь граф? У него даже и поместье было? А как он солдатскую душу разгадал, как мужика понимает!

— Гений!

— Гений — это кто задумывается и вглядывается. Пристально вглядывается.

— И трудится.

— И трудится. Согласен. Великие люди — это великие труженики прежде всего.

Оба молчат. Оба думают. Ольга Петровна думает о том, какое выпало ей счастье и какая лежит на ней ответственность: разделять все горести и радости, все труды и заботы с этим необыкновенным человеком.

— Леля! А вот Колчак. Тоже ведь в какой-то степени человек? Скажем, были у него родители, все честь честью. Наверное, даже был женат! А? Как ты думаешь? Был? И имя-отчество — все как у людей. Его Александр Васильевич звали? Сашенька! Саша! Удивительно все-таки.

— Что удивительно-то? — недоумевает Ольга Петровна.

— Удивительно, как он ровным счетом ничего не понимал. Не понимал, да и только! Ведь возьмем, к примеру, монархистов. И у монархистов есть на плечах голова? Так можно же, черт возьми, понять, что всему свое время, что монархия давным-давно свой век отжила, что вслед за ней капитализм одряхлел, осунулся и стал спотыкаться. Ведь все до того ясно, все до того разжевано! Что они, Ленина не читают?

Ольга Петровна озадаченно смотрит на мужа. Иронизирует он или все это совершенно серьезно? Но на лице Григория Ивановича недоумение, скорбь, даже отчаяние.

— Вообще-то я не о Колчаке в данном случае. Колчак — предатель, а ведь это самое тяжкое преступление — изменить своему народу. Это равносильно тому, что родную мать ножом зарезать. А? Как ты думаешь? Я лично больше всего презираю людей, которые у нас же живут, от нас, можно сказать, кормятся и нас же люто ненавидят, нам же готовы любую подлость подстроить, да еще о нашей некультурности кричат, гады! Другие уехали — и борются с нами. Они считают, что их обидели, обездолили — и лезут в драку. Ну это еще туда-сюда. Но уж если ты остался, живешь здесь — так и потрудись по-нашему жить, по-советски. Я так понимаю. Не носи нож за пазухой! Не злобствуй! Не марай гнездо, в котором птенцов выводил! Вот ты мне читаешь, что написал Ленин, а я все думаю. И сколько я ни думаю, вижу, что самая суть ленинского учения — доброта. Ты возразишь, что доброта-то доброта, а ты мол, голубчик, сколько белогвардейцев зарубил? Но ведь вынуждают, Леля! Совсем как в народной сказке: прут на тебя и прут! Отрубишь гадине голову — вырастают две.

Через несколько дней он опять вернулся к этому разговору:

— Мне рассказали, Леля, об одном командире линкора, я фамилию не запомнил. Линкор стоял в заграничном порту, когда вспыхнула революция. Командир, несмотря на уговоры иностранцев, привел корабль в наши воды: «Россия доверила мне линкор, передаю его той власти, которая в настоящее время возглавляет государство». Ему говорят: «Приветствуем вашу сознательность и просим вас остаться на должности командира линкора, как были». — «Нет, — отвечает, — я не разде-

ляю ваших убеждений и оставаться у вас на службе не могу».

— Так и ушел?

— Ушел. Не знаю, что с ним дальше было. Но ведь честно поступил? Ты как считаешь, Леля? А я хочу сообщить тебе сенсационную новость. Сколько я порубал на своем веку полковников и подполковников царского производства, сколько царевых генералов... А теперь с одним генералом царского времени подружился. Можешь себе представить? Диалектика!

— Это с кем же, кого ты имеешь в виду?

— Федор Федорович Новицкий. Изумительный человек! Достаточно сказать, что его ценит сам Фрунзе!

Котовский некоторое время ждет, что Ольга Петровна выскажет свое удивление. Но Ольга Петровна, видимо, не удивлена. Тогда Котовский продолжает:

— Как ты думаешь, Леля, это что-нибудь да значит, если сам Фрунзе хвалит человека? Уж он-то не ошибется! Что ж такого, что Федор Федорович Новицкий — бывший царский генерал? Это ему простительно.

Пауза. Ольга Петровна молча слушает.

— Если хорошенько разобраться... Например, будь я, скажем, царский генерал. Допустим на минутку, ладно? Но я просто генерал, а не буржуй проклятый, у меня нет имений, фабрик, миллионов в банке на текущем счету. Бывают такие генералы? Бывают. Предположим, что я именно такой. И вот я начинаю здраво рассуждать. Что, думаю я, сделали большевики? Выгнали дармоедов из страны. Хорошо это? Хорошо. Ликвидируют неграмотность. Обидно это моему генеральскому самолюбию? Ничуть. Лучше стало в моей России или хуже от того, что установлена Советская власть? Лучше. Вот и выходит, Леля, что, если любой белогвардеец не дурак и не самая последняя скотина, он придет и скажет: извините, скажет, меня, дубину стоеросовую, заблуждался. Ведь может так быть?

2

Сообщение о том, что родился сын, застало Котовского в отъезде, в Москве. С этого момента Григорий Иванович погрузился в некое сияние, в блаженный туман. Его спрашивают:

— Когда вы сможете приехать следующий раз?

Он отвечает:

— Здорово! Молодец Лелька!

— Простите? — озадаченно смотрят на его счастливое лицо.

— Я что-то невпопад ответил? Видите ли, только что получил известие. У меня сын родился.

Григорий Иванович не помнит, как он примчался со станции домой, как вывалил на стол игрушечный барабан, плюшевого мишку, зайца, свистульки, домик... и даже картонную коробку с кубиками... даже букварь.

Бледная, похудевшая, но с сияющими, гордыми глазами встретила мужа Ольга Петровна. Очень смеялась над его покупками:

— Да ведь ребенку исполнилась всего неделя! А ты уже — букварь! Смешной ты, право. Пока что понадобятся только соска и побрякушка. Но — как говорят в народе — мне не дорог твой подарок, дорога твоя любовь!

— Ничего, все пригодится, — упавшим голосом пробормотал Григорий Иванович, — а со временем потребуются и хорошие книги, и добрый конь, и клинок... А если кое-что я приготовил заранее, так запас мешку не порча, как говорится.

Отплатив жене пословицей за пословицу, Котовский приступил к самому главному: внимательно и придирчиво, восторженно и благоговейно — долго и в полном молчании рассматривал крохотное существо. Сильный, могучий, он боялся причинить боль ребенку и брал его на руки только на подушке, как берут драгоценное ювелирное изделие, любуясь им, но остерегаясь трогать.

— Ничего парень. А? Как ты думаешь, Леля? Малость легковат, мог бы быть покрупнее, да ведь не все сразу. А? Как ты думаешь, Леля? Вырастет?

Котовский долго решал, какое дать имя сыну.

— Задача нешуточная, — озабоченно говорил он. — Дать имя просто, а ведь человеку-то с этим именем ходить всю жизнь. Слов нет, не имя решает дело, каждое имя хорошо, если человек хороший. А все-таки есть такие загвоздистые имена на свете, что не выговоришь. Салафиил! Филагрий! Меласипп! Елпидифор! Дашь такое имя, а потом будет сыночек недобрым словом вспоминать, вот, скажет, удружил папаша!

— Что это такое — Салафийл! Это уж слишком! — возмутилась Ольга Петровна. — Таких имен и не бывает, это ты сам выдумал!

— Нет, не выдумал! Я в Москве все справочники перерыл, все календари проштудировал. Есть! Есть всякие имена! Некоторые и не выговорить! Варахиил! Не веришь? И Варахиил есть и Истукарий...

— Вот и назови сына Истукарием, — рассердилась Ольга Петровна.

Григорий Иванович после долгого раздумья предложил:

— Знаешь что, Леля... Назовем его Гришей? Если какому-нибудь бандиту удастся когда-нибудь прикончить меня, пусть не радуются враги — вырастет второй Григорий Котовский! Кто знает, может быть, и внук появится на свет, и тоже Григорий... А уж ты позаботишься, чтобы они выросли достойными людьми.

На этом и порешили. Пусть самое имя подскажет сыну, по какому пути следует ему идти. Этот путь прямой, без извилин, путь служения народу, революции — путь коммуниста.

Маленький мальчик безмятежно спал. Что ждет его? Какие он найдет перекрестки? Какие совершит поступки? Какую пользу принесет людям? Какие радости всколыхнут его сердце? Говорят, молодость без увлечений так же печальна, как старость без опыта. Какие увлечения будут владеть этим новым, вторым Григорием Котовским? Какие задачи поставит перед ним эпоха? Совладает ли? Каких отыщет друзей маленький мальчик-загадка? Каких сокрушит врагов?

В одном Григорий Иванович был твердо уверен: что сын его вырастет хорошим, даже очень хорошим. Иначе не может быть.

Но разве у Котовского один сын? У него много сыновей и питомцев. То он подберет заморыша, толкавшегося возле полковой кухни в поисках объедков, то приютит побирушку с улицы. Приведет домой, Ольга Петровна вымоет его, смастерит ему белье, рубашонки, вылечит болячки, и становится он равноправным членом семьи, пока не окончит школу и не выйдет в люди.

Митюшку Григорий Иванович заприметил давненько. Это был мальчик на посылках, «коридорный» в

гостинице «Красная», в той гостинице, где Котовский останавливался всякий раз, как приезжал в Харьков.

Гостиница была не из образцовых, но старалась быть не хуже других. В номерах пахло керосином и невыветрившимся табачным дымом. В ресторане при гостинице кормили плохо и дорого. Зато здесь было от всего близко: от театра, где ставились и Чехов, и мелодрама «За монастырской стеной», от вокзала, наполненного круглые сутки гамом и шумом, и от квартиры Фрунзе, к которому, собственно, и приезжал Григорий Иванович по делам или просто чтобы повидаться.

Митюшка был невероятно белобрыс, даже ресницы у него были, как у теленка, белые, а космы на голове, никак не поддававшиеся гребенке, походили на овсяный сноп в сильный ветер.

— Митюшка! Одна нога здесь, другая там! Газеты в киоске на углу! Быстренько!

— Мить! Пива! Две! Жигулевского!

— Митрий! Сроду тебя не дозваться! Покличь буфетчика, знаешь? В семнадцатый! Водки пусть еще принесет. Не хватило.

И Митюшка мчался опрометью в киоск на углу, в семнадцатый на втором этаже, на почту и во множество других самых неожиданных и невероятных мест. Он спешил, во-первых, потому, что хотел быстро выполнить поручение, во-вторых, потому, что было как раз самое интересное место в книге, которую он в это время читал. Он всегда читал, как только выгадывалась минутка затишья. Книжки добывал всюду. Выпрашивал у жены буфетчика, у нее были исключительно трогательные переводные романы. Брал в библиотеке, где молоденькая библиотекарша Таисия Федоровна сама подбирала ему, что читать. Многие, уезжая, оставляли в номере книги, журналы, чтобы не везти лишней тяжести, — это тоже поступало в распоряжение коридорного. Митюшка не читал, а проглатывал все, что удавалось раздобыть.

Вот эта страсть мальчугана к чтению и привлекла к нему внимание Котовского.

— Что это у тебя?

— «Суд идет». Ух и интересно! Не читали? Про Леньку Пантелеева! Про налетчика!

На следующий день Григорий Иванович застал его

за чтением стихов Крайского. Крайского сменил Гоголь. Потом «Серебряные коньки» Доджа. Потом географический этюд «Почва и ее история». Потом «Королева Марго». Потом — Блок... Невероятная смесь! Читает все, что попадет в руки! И где же ему во всем разобраться, все осмыслить?

В один из приездов Котовский застал Митюшку в слезах.

— Разве вы не знаете? Короленко умер, в Полтаве! Тот самый, который «Слепого музыканта» написал! И как это позволяют, чтобы писатели умирали? Неужели не найдется кого, чтобы умирать?

В другой раз Котовский узнал, что швейцар гостиницы — горький пьяница — угощает Митюшку:

— Ты кто есть? Коридорный. А коридорным по штату положено пить еще со времен Адама.

«Ох, пропадет парень! — с горечью думал Котовский. — А ведь есть в нем искра...»

Как-то он натолкнулся на Митюшку, мчавшегося по улице во весь опор.

— Куда?

— Из шестого номера велели барышень прислать.

— Постой, каких еще барышень?

— Каких! Ну, таких... обыкновенных.

— Вот что, Митя. погоди, не спеши, разговор будет серьезный. Ты откуда родом? Беженец из Галиции? Понятно! Отец с матерью у тебя есть? Не имеется? В гостинице не нравится? Вижу. А учиться хочешь? Хочешь человеком стать? Так слушай, малец, мою резолюцию. Завтра я возвращаюсь домой поездом в семь пятнадцать. И тебя захвачу. Поедешь? Сначала мы тебя в порядок приведем, вон какая на тебе рубаха и вообще — вихры, например. С осени отдадим на рабфак. Решено и подписано?

Ольга Петровна ничуть не удивилась. Не впервые Григорий Иванович подбирал заброшенных, несчастных ребятишек.

— Вот тебе еще один сын, — сказал он жене по приезде. — Голодный, поди. Прежде всего накормить надо. Понимаешь, нельзя было его так оставить — что бы из него получилось? В жизни каждого человека бывает момент, когда он останавливается на распутье и не знает, что выбрать. Вот тут-то и надо вовремя подоспеть.

— Ясно, — спокойно отозвалась Ольга Петровна. Опытным глазом осмотрела Митюшку и определила: — Начнем с бани. А смену белья конфискуем из запасов Григория Ивановича.

И стало у Котовских одним членом семейства больше.

3

Насчет «запасов» Григория Ивановича было сказано слишком громко. Запасов, собственно говоря, не было. Из года в год шло неравное состязание: Ольга Петровна выкраивала, мудрила, совещалась с начальником снабжения Гусаревым, а позднее, в корпусе, с интендантом Верховским, но все ее усилия разбивались о беспечность Григория Ивановича.

Особенно переживала Ольга Петровна, когда он отдал отличные, мастерски сшитые, совершенно новые, ненадеванные сапоги.

Известно, что сапоги — гордость кавалериста. Красивые сапоги — заветнейшая мечта. Это все равно что лента для девушки, «совсем как настоящий» пистолет для мальчишки или трубка вишневого дерева для заядлого курильщика.

И вот после долгих хлопот Ольге Петровне удалось сшить для мужа роскошные, с козырьком, на каблуках сапоги — не сапоги, а загляденье. Котовский был в восторге. Щупал, мял, примерял сапоги, прохаживался по комнате. Решил обновить их в Октябрьские праздники.

Но тут пришел к Котовскому жалкий, оборванный, исхудалый незнакомец, страшное существо, на которое и смотреть-то было мучительно. Оказывается, белый офицер, перешедший на сторону красных. Явление довольно обычное. Перебежчиков проверяли в Чека и отпускали на все четыре стороны. Но человек оказался не у дел, не мог найти ни пристанища, ни заработка, дошел до бродяжничества, после долгих скитаний набрел на Котовского и поведал ему свою печальную историю.

С работой вопрос решен был моментально: Котовский направил просителя делопроизводителем в корпусной совхоз.

— Но как же вы в таком виде явитесь на работу? Знаете что, примерьте-ка вот этот френч. Гм, пожалуй,

подойдет. Как ты считаешь, Леля? Только вот на ногах у вас ничего нет... Идея! Наденьте-ка мои сапоги! Впору?

С потерей френча Ольга Петровна еще кое-как примирилась. Но когда она увидела, что будущий делопроизводитель засовывает ноги в шикарные сверкающие сапоги Григория Ивановича, стоившие ей стольких волнений, хлопот и расходов, у нее захолонуло сердце. А что она могла сказать? «Не давай»?

Правда, юноша долго отказывался, уверял, что он «что-нибудь придумает», что в крайнем случае предпочел бы не такие новые, не такие великолепные сапоги, как эти, а что-нибудь похуже...

— А почему похуже? — возразил Котовский. — Надо, чтобы все было получше, а не похуже. Не жмут? Ну и хорошо. И потом, согласитесь, мне все-таки легче достать сапоги!

— Чем я смогу отблагодарить вас за чуткость и заботу?

— Честным трудом на благо советского народа! — ответил Котовский.

Ольга Петровна молча, с отчаянием смотрела, как этот человек уходил, солидно поскрипывая великолепными сапогами.

Когда Ольга Петровна и Григорий Иванович остались одни, наступило неловкое молчание. У Ольги Петровны не поворачивался язык, чтобы упрекнуть мужа. А Григорий Иванович понимал, что заслужил в какой-то мере ее упреки, понимал и то, что ей — такой бескорыстной, щедрой! — не сапог жалко, а жалко забот, нежности, которые вложены были в эти злосчастные сапоги.

Григорий Иванович заговорил первым:

— Расстроил я тебя?

— Нет, отчего же.

— Верно. Сапоги, Леля, даже самые добротные, — все-таки мелочь. Как ты думаешь, Леля?

— Тебе-то мелочь. А знаешь, как это трудно?

— Знаю! Но ведь нельзя, Леля. Ты это чувствуешь? Есть такие моменты, когда не следует задумываться, а следует поступать. Например, в бою. Задумайся на секунду — и твое раздумье будет стоить тебе жизни.

— Да сейчас-то не бой, надеюсь?

— Бой. Бой ни на минуту не прекращается. А мы сражаемся-то за что? За справедливость. За человека. Как ты думаешь, Леля?

— Гриша, но согласишься, что сапоги...

— Что сапоги?

— Я понимаю твою мысль. И все, что ты говоришь, — бесспорно. Но посмотри, в какие высокие материи ты заехал. Ведь сапоги все-таки остаются только сапогами, ни больше ни меньше. И вполне понятно, что я огорчена... Чуть-чуть, но огорчена. И ты должен меня понять... Это так просто, житейски просто, Гриша.

— Ты не помнишь, был у нас такой в бригаде... Попов, кажется... Или Павлов... Высокий такой, с пышными бровями...

— Ну и что же?

— У нас, ты знаешь, трусы в бригаде не водились. А тут наскочили на нас петлюровцы, а он в бане спрятался. «Что ж ты, говорю, такой-сякой, подкачал? Твои товарищи на врага, а ты в кусты?» — «Я, говорит, товарищ командир, за революцию в огонь и в воду. А тут что? Разве какое решающее сражение? Стычка пустяковая! И без меня справятся, а я сдуру буду голову в петлю совать!»

Выслушала все это Ольга Петровна, рассмеялась и головой покачала:

— Ладно уж. Что с возу упало, то пропало. Тебя не переделаешь.

И так во всем. Долгое время Ольга Петровна и не подозревала, например, что Григорию Ивановичу причитается великолепный правительственный паек. Большую долю его он раздавал, считая, что ему вполне хватает зарплаты, а паек — это лишняя роскошь.

Случилось однажды, что Григорий Иванович был в отъезде. Гусарев этим воспользовался и весь паек доставил Ольге Петровне. Она даже растерялась, увидев такое количество продуктов.

Впрочем, хитрость Гусарева не удалась. Приехал Котовский, узнал, что паек доставлен на квартиру, и теперь с записочками потянулись к Ольге Петровне.

«Выдай такому-то столько-то муки, очень нуждается. Гриша».

«Прошу тебя, отсыпь сахару подателю сего, у него тетка больная...» Постскриптум: «И две банки тушенки!

Не сердись! Обойдемся и без тушенки! Как ты считаешь? Твой Г.».

Вскоре Ольга Петровна сообщила Григорию Ивановичу, что все роздано, поэтому она просит с записочками больше никого не присылать.

Так оно и было на самом деле. Весь паек был роздан. Ольга Петровна не сердилась. Можно ли сердиться на Григория Ивановича? Уж такой он человек!

Или история с буркой. Удалось Ольге Петровне раздобыть для Григория Ивановича бурку.

— Это что? Это мне? А не лучше ли пустить это на подстилку Фоксу? — предложил Григорий Иванович, упорно не называя бурку и говоря «это». Упомянув о Фоксе, он имел в виду бродячего пса, который самостоятельно выбрал себе хозяев и прочно прижился у Котовских, платя им глубокой собачьей преданностью и любовью.

— Как это Фоксу? — возмутилась Ольга Петровна. — Прекрасная бурка, и тебе она будет очень к лицу.

Долго бурка висела, пылилась, не находя применения, но однажды Ольге Петровне удалось настоять, чтобы Григорий Иванович ее надел: была отвратительная осенняя слякоть, дул холодный ветер, сыпалась с неба мерзлая изморось, а Котовскому как раз предстояло ехать на конференцию в Киев.

Возвращаясь обратно, Котовский понял, что бурка была очень кстати. Хотя снегу еще не было, но земля промерзла, таратайку так и подбрасывало на мерзлых комьях грязи, а ветер неистовствовал, завывал, свистел, взвизгивал гриву коня и трепал кожух кучера Алешки.

— Стой! — крикнул вдруг Котовский.

На обочине дороги он увидел пастуха. Парнишка был в одной холщовой рубахе, босиком, и укрыться бедняге было негде — куда ни глянь, голая равнина, черные перепаханные поля да узкие межи и трава, подернутая инеем. Пастушонок прижался к мерзлому суглинку и не двигался. Понуро стояли в поле и не пытались даже щипать траву худоребрые рыжие коровы, сумрачно подставляя бока беспощадному ветру.

— Эй, дружище, поди-ка сюда!

Кучер недовольно наблюдал, что будет дальше. Зачем понадобился командиру несчастный заморыш? И вообще — к чему эта задержка, добраться бы поскорей

до места да погреться чайком в жарко натопленной хате.

Однако то, что увидел кучер, привело его в такое негодование, что он забыл про холод: командир сбросил с плеч бурку и протянул ее пастуху. Парень ошалело смотрел на военного и не двигался.

— Бери, а то пропадешь в такую проклятую непогоду.

— Да что вы, товарищ командир! — не выдержал кучер. — Мыслимое ли дело! Что я буду говорить мамаше нашей, Ольге Петровне? Скажет, а ты чего смотрел, дурак?

— Пропадешь, говорю. Надевай без разговоров! — настаивал Котовский.

Пастух наконец решился, взял бурку, хотя все еще не мог ничего понять и осмыслить.

— Трогай, Алеша, а я малость разомнусь, буду бежать рядом, чтобы не замерзнуть. Тут уже недалеко. Ты не серчай, ведь я не какой-нибудь барин-помещик, чтобы прокатить мимо на вороных и глазом не моргнуть: нехай околевает.

— Добрый ты, командир, ох добрый! — сокрушенно вздохнул Алешка, подхлестывая лошадь и подбирая вожжи. — И чего ты такой добрый, не пойму...

— Я не добрый. Я — коммунист. Добрые да жалостливые бывали московские купчихи, что нищих на паперти наделяли. На рубль обманут — на копейку подадут.

4

Вскоре приехал Белоусов.

— Дорогой гость! — встретил его Григорий Иванович.

— А, Ванечка! Вот радость! — подхватила Ольга Петровна.

Когда кончилась гражданская война, Котовский отправил своего питомца Ивана Белоусова в Одесщину сеять хлеб, налаживать хозяйство. Белоусов часто наезжал к Котовскому — то посоветоваться, то просто повидаться. Котовский любил этого напористого парня. И было радостно сознавать, что весь он, от начала до конца, — творение Котовского, его продолжение в жизни, как ветка от основного куста.

Однажды Белоусов сообщил:

— Григорий Иванович! Вступил в партию.

В другой свой приезд еще на пороге возвестил:

— Григорий Иванович! Не знаю, одобрите или не одобрите: работаю в Чека.

На этот раз Котовский сразу заметил, что у Белоусова какая-то забота: он хмурился, хотя и старался казаться веселым, болтая о всяких пустяках — о дорожных встречах, о погоде, и, видимо, только выжидал случая, чтобы поговорить с Котовским с глазу на глаз.

Поздно вечером они заперлись в кабинете Григория Ивановича. Белоусов почтительно посмотрел на огромную, во всю стену карту, на скромную обстановку, на множество книг.

— Устали вы, наверное, Григорий Иванович, и все же надо об одном дельце потолковать, а утренним поездом я дальше.

Котовский спокойно, внимательно разглядывал Белоусова. Хорош! Подтянутый, движения точные, лицо приятное. Вот только исхудал и синяки под глазами, видимо мало спит...

— Это что у вас — паренек этот бойкий — новый питомец? — начал разговор Белоусов.

— Новый, — подтвердил Котовский, — из Харькова привез. Ужо отдадим в учение. Думаю, по юридической части пойдет. Заметил я — быстро схватывает и умеет из разрозненных фактов правильное заключение выводить. Аналитический ум.

— Это хорошо, — согласился Белоусов. — Есть у вас, Григорий Иванович, удивительная черта: в каждом человеке ищите хорошее и, ухватив, стараетесь развить. Меня-то вы как на самом краю пропасти подхватили! Двести лет буду жить — двести лет не забуду!

— Ну-ну, ладно, об этом уже было говорено. Ведь не ошибся же!

— Мне хочется, чтобы на этот раз было так. Стараюсь.

— Ага, в общем, все это только предисловие, как я понимаю. Догадываюсь, речь пойдет о какой-то моей ошибке. Ну, выкладывай, в чем дело? Если о хищениях по линии кооперации, то я уже потребовал произвести ревизию и жулики отданы под суд. Шипит кое-кто, да ведь и гуси — на что птица — и то шипят...

— Григорий Иванович! Я приехал не как следователь, а как преданный вам по гроб жизни ваш питомец. Какая кооперация? Какие хищения? Ничего этого не слышал! Кто там шипит? Да если когда-нибудь найдется подлец, который хоть одно слово скажет о вас плохое... пусть прахом летит вся моя безупречная служба, но я этого субчика своими руками удушю!

— Ну, завел! Сел на своего конька!

— Хорошо, перехожу к сути. Я хочу поговорить о так называемом Майорчике.

— О Зайдере? Знаю. Прошное у него неважное.

— Помните, когда вы его взяли в бригаду, на него посыпались жалобы: забирает все, что попадет под руку, грабит местных жителей... угнал лошадей... реквизиrowал кур... грозил одному человеку какими-то разоблачениями и заставлял его уплатить крупную сумму за молчание...

— Да, а сейчас работает начальником охраны сахарного завода. И кажется, неплохо.

— Он и поныне бывает у вас?

— Был один раз. А что? Натворил что-нибудь опять? Это на него похоже!

— Изучая один вопрос, мы случайно узнали подробности о прошлой жизни Зайдера. Вы что-нибудь знаете о том, кем был раньше Зайдер?

— Знаю. В Одессе у него был кабачок «Не рыдай».

— А до Одессы?

— Не спрашивал.

— Слышали что-нибудь о «зухерах?» Зайдер, оказывается, жил в Константинополе и занимался торговлей «женским товаром». Женщинами. Стаж обитательниц притонов невелик, через пять-шесть лет их выбрасывают на улицу, и требуются все новые пополнения. Доверчивых девушек заманивают в ловушку разными приемами. Зайдер действовал так: заводил знакомство, женился, но, конечно, по фальшивому паспорту, ехал с молодой женой в «свадебное путешествие» за границу... А затем новобрачная оказывалась где-нибудь в константинопольском гареме, или в доме свиданий портового города. Высокая цена на белых женщин держалась в Буэнос-Айресе. В Аргентине за женщину платили до двухсот фунтов стерлингов. В царской России они шли по сорок — пятьдесят рублей...

— Ну и гадина! Не знал.

— И сообразителен! Болтает без умолку, но ни слова о себе! — продолжал Белоусов. — Я присматривался к нему еще раньше, в бригаде. Мне врезалось в память его лицо — угодливое и хитрое, пресыщенное и жадное. Он ловок, изобретателен, в этом ему нельзя отказать. Дока! Почти неграмотен, зато может быстро считать. Знает несколько слов по-французски, несколько слов по-турецки, немного болтает по-румынски и, не спотыкаясь, шпарит «по новой фене», на языке блатных. Вот это последнее немножко настораживает... Допустим, что все остальное — это, как вы выразились, давнее дело, но с блатными он якшается и сейчас.

Котовский выжидательно посматривал на собеседника.

— Вы думаете, я еще что-нибудь скажу? Нет. Я все рассказал, причем и это между нами. Это просто мои личные соображения. Ведь Зайдер ни в чем не замешан, не участвует в каких-либо политических группировках, враждебных Советской власти. Да он и не признает никакой политики. Газет не читает. Он точно формулирует свое отношение к жизни: «Я интересуюсь только за доход».

— Насчет дохода он соображает!

— Вот-вот. Одно, может быть, не совсем вяжется: работает на скромной должности начальника охраны, а живет на широкую ногу. В Одессе у него прекрасная квартира, тихое, почтенное семейство, жена ведет борьбу с ожирением и делает косметический массаж, ходит с прислугой на рынок, у сына гувернантка, в гостиной шредеровский рояль и картина Каульбаха «Мадонна со слезой»...

— Если бы художник изобразил эту мадонну без слезы, она все равно бы прослезилась, попав в квартиру такого проходимца! — рассмеялся Котовский. И сразу опять посерьезнел: — Ладно. Понял. Так считаешь, ошибка это моя, что нянчился с такой дрянью, да? Может, и ошибка... Значит, выгнать его с треском, коли опять ко мне сунется?

— Можно и без треска. Можно и совсем не выгонять, но отвадить. Уж очень нечистоплотная личность. На черта он вам нужен?! Лучше держать его на расстоянии.

— Хорошо, учту твой совет. Спасибо, Иван Терентьевич, — впервые назвал Котовский по имени-отчеству Белоусова. — Большое спасибо.

— За что же, Григорий Иванович?

— Трудная, опасная у вас работа. Куда проще идти в атаку и рубать. Хоть врага видно.

— Это — да. Если бы я стал рассказывать, чего последнее время наслышался, чего насмотрелся, в каких переделках побывал... Большую книгу можно было бы написать и над каждой страницей читатель и слезу бы пролил и крепко призадумался.

Оба помолчали.

— Да, — в раздумье сказал Котовский, — мы говорим — затишье, война кончилась. А ведь у вас нередко и выстрелы слышны? Может, ко мне в корпус переберешься, Ваня? Тут проще, а то ведь душа заболит? — ласково спросил Котовский.

— Что вы, Григорий Иванович! Ни за что не уйду! Я ведь вашей школы — непреклонный. Сейчас в Одессу еду. Дело там интересное. Я ведь к вам только на вечерок завернул, попутно. Хотелось мне поговорить с вами об этом типе. Давно хотелось!

ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА

1

Когда Марков и Оксана распрощались с Котовскими и сели в вагон, им сразу стало одиноко и сиротливо. Всю дорогу не проходило это чувство, и всю дорогу они были молчаливы.

Но вот и конец путешествия. Поезд остановился. Марков и Оксана вышли из вагона. Петроград!

Перрон был заполнен людьми. Маркова и Оксану подхватил общий поток. Все очень торопились, почти бежали, волоча чемоданы, узлы, баулы, разнообразнейшую поклажу, судя по напряженным лицам и вздувшимся жилам на руках, — тяжелую.

— Не отставай! — командовал Миша, устремляясь вслед за всеми.

Потоком людей их выхлестнуло на площадь. Серое

небо, громадные дома, бесконечные улицы и проспекты... Жутко! Оба оробели и стояли, озираясь по сторонам. Вот он — Петроград!

Денек выдался кислый, вроде как собирался дождь, но все никак не мог собраться. Серый, каменный, гранитный — город казался в мутной дымке еще неразгаданней. Не поймешь, хмурится он или спокоен и безмятежен? И есть ли где-нибудь его окончание или он тянется без конца? Что он сулит? Как примет?

Оба не знали, куда ехать, на чем ехать и далеко ли ехать, да и денег у них было не густо. Трамваи мчались в одну, в другую сторону, звякали, громыхали, выбивали электрические голубые искры, а на какой из них садиться — одному богу известно. Как будто еще продолжался перрон. Все та же бешено мчащаяся толпа, те же озабоченные лица, говор, спешка, суeta. И полное безразличие к двум существам, которые стояли у стены и широко раскрытыми глазами смотрели на это столпотворение.

По их виду вокзальные завсегдатаи сразу определили, что́ им нужно.

— Доведем? — предложил хмурый дядя, громадный, заскорузлый, волосатый, похожий на лесного разбойника. Он так свирепо посмотрел, что они сразу согласились.

— Сампсониевский проспект, дом номер шесть, — робея сообщил Миша. — А сколько будет стоить?

— Не дороже денег! — прохрипел верзила и стал складывать пожитки на неказистую, сборной конструкции тележку: колеса — от тарантаса, кузов — из досок, нетесанных, сучковатых, — не кузов, а гроб для похорон по второму разряду.

Погрузив вещи, хмурый дядя с неожиданной прытью помчался вперед. Миша и Оксана ринулись за ним, стараясь не отставать. Тележка дребезжала, взвизгивала и подпрыгивала. Миша перебирал в памяти, что же у них ценного в багаже, но ценного ничего не припомнил. Были сушеные груши, их дала Оксане на дорогу квартирная хозяйка. Груш было довольно много, и это, пожалуй, самое существенное, что они везли. Было ли хотя бы одно одеяло? Нет, только перовая подушка, и то почему-то одна. Еще были Мишины тетради и два платья Оксаны... И все же это был багаж, и жалко

было бы его лишиться. Миша и Оксана мчались следом за этим Соловьем-разбойником, боясь потерять его из виду, и испуганно озирались на толпы прохожих, на нескончаемые вереницы домов.

«Неужели во всех в них живут? — мелькали тревожные мысли у Оксаны. — Это сколько же получится народу?»

За всю дорогу не проронили ни слова. Миша и Оксана были подавлены, напуганы, ошеломлены, но Миша и виду не подавал. Он бодро шагал по тротуару.

Вступили на мост, очень красивый, с чугунными жещинами по перилам. Мост показался бесконечным, а Нева сразу понравилась и очаровала, спокойная, уверенная в своей силе. Пройдя мост, свернули влево и вскоре добрались до Сампсониевского проспекта, оказавшегося обыкновенным проспектом, как и все.

Вот он, дом. Шесть этажей, не как-нибудь! В таком и пожить интересно! На шестом этаже живет писатель Крутойров. Встретил радушно, действительно был в очках, как описывал Котовский, и действительно был небрит.

— Познакомьтесь. Жена.

Жена оказалась маленькой, щупленькой женщиной, похожей на птичку-невеличку.

Крутойров подумал-подумал и добавил:

— Стихи пишет. — И решил, что теперь-то уж жене дана исчерпывающая характеристика. — А это, — сделал он широкий жест в сторону величественного, толстого кота, — это Бен-Али-Оглы-Мурза-паша Первый, а сокращенно просто Мурза, Мурзик. Лодырь и обжора. Ну, вот вам и все наше семейство, в полном составе.

Квартира Крутойрова была просторна, даже, пожалуй, чересчур. Крутойров бродил по комнатам, как бурый медведь по мелколесью. Он еще не освоился с положением известного писателя и не знал, что делать с деньгами, со славой, со своими книжками.

Маркову с Оксаной отвели комнату — длинную, узкую и не слишком заставленную мебелью. Вскоре вошел к ним Крутойров.

— Ну как? Расположились? Все собираюсь купить мебель, да оно и так ладно, не в мебели счастье. Вот, почитайте. Книги. Я написал. Как там Григорий Иванович? Командует? Чудеснейший человечина, богатая на-

тура и редчайшая душа! Что? Корпус формирует? Дело. Эх, давно надо бы к нему съездить, да никак не соберешься: суета.

Марков, рассказывая о Котовском, осторожно взял в руку книгу Крутоярова в зеленой обложке. «Перевалы». Должно быть, интересная! Оксана смотрела с уважением, она чувствовала, что видит нечто необычное, совсем необычное, здорово ей повезло, если она сама, своими глазами видит живого писателя!

За вечерним чаем Крутояров разговорился. Ведь и Григорий Иванович просил его в письме «объяснить все» Маркову, вот Крутояров и приступил к пространному изложению, что такое советская литература и что требуется сейчас от писателя.

Миша слушал, затаив дыхание, ловил каждое слово. Оксана не сводила глаз с рассказчика, хотя едва ли знала хоть одно из перечисленных Крутояровым имен.

— Иногда братья-писатели, — ораторствовал Крутояров, — начинали с очаровательных домашних стихотворений, разрабатывающих на все лады незатейливую тему: «Буря мглою небо кроет». Или под руководством гувернантки изготовляли торжественные оды ко дню рождения бабушки: «Поздравляю, поздравляю, много счастья желаю». Но, конечно, не это типично для нашего поколения. Кого ни возьми... Ляшко взялся впервые за перо в тюремной камере. Новиков-Прибой начал писать в японском плену, после Цусимы... Да-а... Наше поколение прошло через все грозы и непогоды, нас продували все свирепые сквозняки, все порывы ветра. А в детские годы мы если и писали, то о горестях, о нужде. Федор Гладков, например, рассказывает, что в детстве писал стихи, полные проклятий богачам и мучителям. Четырнадцатилетний Бахметьев сам переплел тетрадь и принялся за «роман», который назывался ни больше ни меньше как «Проклятая судьба».

— А сам-то ты? — вдруг заговорила Надежда Антоновна, и ее малокровное лицо помолодело, посвежело. — Почему не расскажешь о себе?

— Не хочу у биографов хлеб отбивать, — отмахнулся Крутояров. — О себе как-нибудь в другой раз. Вот состарюсь и напишу мемуары, как лавровым листом, сдобренные отсебятиной. Многие так пишут. Так вот,

о чем я говорил? А, о нашем поколении! Удивительное поколение! Литературоведы, возможно, надергают для своего удобства из всей массы десятков имен, у них на все случаи обоймы. Остальных предадут забвению. А между тем о становлении советской литературы можно говорить только целиком, ничего не умалчивая. Тут все значительно! Я позволю себе высказать одну ересь: мне иногда кажется — может быть, хорошо, что кое-кто бежал от революции за границу. Воздух чище. Хватает возни и с внутренними эмигрантами, честное слово. А на мой характер, так я бы роман написал о писателях нашего времени. Получилась бы волнующая книга! Кто самый первый напечатался в первых же номерах «Правды» в семнадцатом году? Я уже теперь не помню. Кириллов? Или Бердников? Нет, пожалуй, Демьян Бедный и Есенин. Какие замечательные биографии у моих современников! Поэт Аросев был командующим войсками Московского военного революционного комитета, председателем Верховного трибунала. Иван Доронин брал Перекоп. Сергей Малашкин в девятьсот пятом штурмовал жандармов, засевших в ресторане «Волна». Кем только не был талантливый милейший Неверов! А Федин? Ему довелось быть и актером, и хористом... Пришвин работал агрономом, Борисоглебский писал иконы. И разве не познакомился с одиночкой Таганки Окулов? Не сидел в «Крестах» Садофьев? Фадеев бил атамана Семенова, Зощенко был добровольцем в Красной Армии, Фурманов брал Уфу, Александр Прокофьев сражался с Юденичем...

На Мишу Маркова уморительно было смотреть. Он слушал, что называется, взхлеб, смотрел, благоговел, запоминал, все было для него откровением, все казалось именно таким, как изображал Крутойяров. Когда Крутойяров начал перечислять писателей, Марков выхватил из кармана гимнастерки помятый блокнот, намереваясь все записывать. Но разве успеешь! Столько незнакомых имен! И он оставил это намерение, опасаясь что-то пропустить в рассказе Крутойярова, а сам думал, что все это надо ему непременно прочесть.

— Д-да-а! Таково наше поколение, и вы, Миша, вполне подходите в этом отношении. Разве не великолепно звучит в биографии писателя: «Воевал у Котовского?» Писателем по заказу не делают, но попробо-

вать следует, раз есть желание. Это не так уж сложно, главное, надо писать, работать. Ну и еще кое-что надо — прежде всего глубокое знание языка, а то иной раз читаешь книгу и думаешь: «С какого это языка перевод? И почему такой плохой переводчик?» Кроме языка обязательны образование, кругозор, знание жизни, убеждения...

— Поехал! — остановила Надежда Антоновна. — Зачем человека запугивать? Все приложится, достаточно одного: таланта.

— Вот видишь ты какая? Я умышленно ничего не говорил о необходимости таланта, потому что таланта в гастрономическом магазине не купишь и в литературном институте не приобретешь. В общем, так, дорогой товарищ: программа-минимум — поступаете на рабфак, получаете стипендию, хотите в одну из литстудий (их в нашем городе больше, чем булочных), живете, смотрите, привыкаете, а там — видно будет.

2

Так вот и началась новая жизнь Миши и Оксаны. И какое неоценимое счастье, что с первых же шагов Марков получил опору, помощь, руководство от такого незаурядного человека, как Крутойяров!

— Для начала в театр сходите, — наказывал Крутойяров. — Слыхали об Александринке? Там Гоголь ставил «Ревизора». Пьеса с треском провалилась, партер был взбешен, автор в отчаянии... Сейчас этот театр на перепутье. «Антония и Клеопатру» ставит... Знаете что? Начните лучше с Мариинки, сходите на «Дон-Кихота». Декорации Головина и Коровина — прелесть!

Только что поговорили о театре и Марков записал, как доехать до Мариинского театра, как снова пришел Крутойяров, держа в руках журнал.

— Слушайте, прочитаю стихотворение. Нет, не все, а четыре строчки из середины!

Крутойяров не по-модному, не нараспев, а просто и прочувствованно прочитал:

Распахну окно, раскрою настежь двери,
Чтобы солнца золотая нить
Комнату мою могла измерить,
Темные углы озолотить.

Прочитал, победоносно оглядел Маркова и Оксану:
— Каково? По-моему, превосходно. Крайский. Пролетарский поэт. А уж как на них сейчас всех собак вешают!

— Кто вешает? — удивился Марков.

— Как «кто»? — удивился в свою очередь Крутойяров. — Эти, «многоуважаемые»...

Видя, что Марков в полном недоумении, Крутойяров пояснил:

— Битва сейчас идет. Не затихающая ни на миг битва. В редакциях издательств, на литературных диспутах, да что там: в каждом доме, на каждой улице — всюду. Такие же фронты, как колчаковский и деникинский, только обстановка еще сложнее. Вам, Миша, сразу во всей этой сумятице не разобраться. Но, конечно, вам с такими, как Замятин, никак не по пути.

— Замятин? — переспросил Марков. На лице его был написан такой испуг, такая растерянность, что Крутойяров весело расхохотался.

— Замятин, — повторил он наконец. — Это еще дореволюционный писатель. Был когда-то коммунистом, в квартире у него была подпольная типография. А сейчас — шипит. Слушал я его «Сказочку» недавно на одном литературном вечере. Жили-были, говорит, тараканы у почтальона. Считали почтальона богом. Почтальон спяна уронил таракана со стены в свою «скробыхалу».

— Скробыхалу? — удивилась Оксана, слушавшая весь разговор очень внимательно.

— Я тоже не знаю, что это за скробыхала, — признался Крутойяров, — но так у него написано. Так вот, упал таракан в скробыхалу, думал, что погиб, а почтальон взял его да и вытащил. Обрадовался таракан: велик бог! Милосерд!

— И что же дальше?

— А ничего. Вся сказка. И смысл этой сказки таков: смахнула вас революция в скробыхалу, а тут — нэп! Снова вас на стену посадили, живите. Вот вам и весь смысл революции, по мнению писателя Замятина.

— Так это что же? Как же такое позволяют? — негодовал Марков.

— Мой мальчик, — усмехнулся Крутойяров, любуясь его молодым задором, — это еще что! Замятинские ска-

зочки, говоря на военном языке, — это атака в лоб, а существуют и более хитрые ходы, наносят и фланговый удар, нападают и с тыла. Меня забавляет один приемчик этих недоброжелателей. Когда-то принято было переходить на французский язык, если входит лакей: лакеи не должны принимать хотя бы и безмолвного участия в беседе господ, их лакейское дело — наливать в бокалы шампанское. Настала новая эра. Мы служим народу. А некоторым мнится, что они — избранники, что они хранители — от кого хранители? для кого хранители? — священных устоев культуры. А вокруг них — разгулявшаяся метелица, вылезший из стойла бессмысленный скот — народ. Как же изъясняться им, образованным, изысканным, в присутствии этого быдла? Ах, только по-французски! Только щеголяя туманными терминами и напускной ученостью!

Крутояров хитровато глянул на Маркова:

— У меня есть заветная записная книжечка, я туда всякие мелочишки заношу, для памяти и в назидание потомству... Вот я вам прочту несколько прелюбопытнейших выписок...

Он стал быстро перелистывать листочки записной книжки.

— М-м-да... «Не хочу коммуны без лежанки»... Это Ключев изрек в недавно вышедшей книжице. А это его же: «К деду-боженьке, рыдая, я щекой прильну». Это он сейчас щекой прильнул, в годы величайшей из революций! Вот уж поистине — кому что! А ведь талантлив! М-м-да... Не то, не то... Все это не то... Вот дьявольщина! Где же эта цитата у меня? «О том кукушка и кукует, что своего гнезда нет» — пословица мне понравилась, я и записал, пригодится когда-нибудь... «Прочестъ Федорченко «Народ на войне» — это я просто для памяти черкнул. Василий Васильевич Князев хвалил мне очень эту книжку... Но это опять не то... Стоп! Нашел! Вот оно! Есть на свете один страшно эрудированный, страшно образованный литератор, он выпустил в одном частном издательстве (а этих частных издательств наоткрывали сейчас около полутораста!) монографию о Пушкине — толстая такая книга, в роскошном переплете, и цена роскошная... Я купил ее, можете взять почитать, если поинтересуетесь, и тогда узнаете... э-э... сейчас пайду выписку... что «дендизм являл одну из попыток придать

взбаламученной русской жизни и расплывчатым отечественным правам законченный чекан и определяющую граненость...».

Прочитав, Крутойров залился смехом.

— Законченный чекан! — выкрикивал он сквозь смех. — Определяющая! Граненость!.. Ох, не могу. Был бы жив Пушкин, он бы его тростью побил! Правда, роскошно? Абсолютно непонятно, совершенно бессмысленно, но роскошно! И расплывчатые нравы тоже недурны! Когда у меня плохое настроение, я достаю записную книжку, читаю этот абзац и хохочу. Вот вам первый совет: никогда так не пишите! Или еще: «речечовка словоконструктора»... альманах «Абраксас»...

Конечно, это все шелуха, отпадет со временем. Чехов говорил, что богатые люди всегда имеют около себя приживалок. Русская литература богата, поэтому и приживалок много. И если приживалка не станет говорить «мерси боку», антраша выделявать, шутов гороховых строить, какая же она будет приживалка? Вот она и пыжится, из кожи лезет: «Абраксас! — кричит. — Законченный чекан!»

Слушая Крутойрова, Миша Марков чувствовал себя невеждой. Очутившись в самой стремнине потока, в самой гуще жизни, полной своих каких-то порывов, устремлений, полной поисков и борьбы, Миша Марков только растерянно озираясь, как неуклюжий провинциал, попавший в движущуюся толпу на главной магистрали большого города.

Впрочем, Марков не оробел. Он слушал Крутойрова, слушал руководителя литературной студии — борода-того, авторитетного, слушал сотоварища по студии — вспыльчивого, нетерпеливого Женю Стрижова, который, по-видимому, был в курсе всех дел, все понимал и все знал, — слушал и наматывал на ус.

Возвращаясь домой, хватался за книгу. Читал яростно, запоем. Оксана просыпалась ночью и обнаруживала, что Миша все еще не ложился. Она его укоряла, просила, а он только отмахивался и продолжал листать страницу за страницей.

— Подожди, Ксаночка! Как раз самое интересное место! Ты не беспокойся, я лягу. А ты спи!

— Как же спать, когда свет прямо в глаза?!

— А я газетой загорожу лампочку. Хочешь? Теперь

хорошо? Не сердись, пожалуйста, надо же наверстывать! Ведь я, оказывается, ничего не читал, ничему не учился, ничего не знаю! Только на коне умею ездить!

Однажды Крутойров объявил, что сегодня они отправятся по книжным лавкам. Марков как раз получил стипендию, и у него завелись кой-какие деньжата. А деньги в 1923 году были разные. Ежедневно объявлялся курс только что введенного в обиход советского червонца. То, что получено вчера в старых «миллионах», или, как тогда называли их в обиходе, «лимонах», на сегодняшний день падало в цене. Например, в тот день, когда Марков и Крутойров отправились по книжным ларям и магазинам, курс червонца был два миллиона семьсот тысяч. И нужно было торопиться тратить старые купюры.

Для Миши это не составляло затруднения: «купюр» у него было не густо, — рад бы тратить, да печего. Финансовые дела Маркова были на первых порах очень неважные, проще говоря, едва сводили концы с концами. Если бы не помощь Крутойрова и в этом отношении, незаметная, но повседневная помощь то тем, то другим, туго бы пришлось Мише и Оксане в Петрограде.

— Готов? — заглянул в комнату Миши Крутойров.

Миша быстро накинул выдавшую виды куртку, и они принялись выстукивать каблуками по ступенькам лестницы, из пролета в пролет, все шесть этажей: лифт в доме был, но не работал.

Петроград улыбался по-осеннему, как умеет улыбаться только Петроград. Это было умиротворение, умудренность и вместе с тем комсомольский задор. Ведь город был одновременно и старым, помнящим очень многое, и вместе с тем отчаянно молодым, только теперь начинающим жить. Как сверкало старинное золото! Как переливалась мириадами солнечных бликов могучая многоводная Нева!

Крутойров острым взглядом окидывал просторы, открывшиеся с Литейного моста. Уходил в голубую высь шпиль Петропавловской крепости. Сверкали на солнце фасады домов вдоль набережной. Здесь отовсюду смотрела история. Вот дом, где жил фельдмаршал Кутузов... Вот решетка Летнего сада и массивные ворота, возле которых Каракозов стрелял в царя... Там, в гуще деревьев,

затерялся скромный домик Петра... А вот Марсово поле — место парадов, блеска придворной знати, мундиров и эполет...

Миша слушал, широко раскрытыми глазами глядел вокруг и удивлялся, как много знает Крутойяров.

Какой необыкновенный город! Прислушиваешься, и слышатся голоса промелькнувших столетий. Нужно только уметь слушать. Для Миши в равной степени были реальными и те, кто жил в этом городе, и те, кто на проспекты города сошел со страниц произведений. Разве не всматриваешься, грустя, в черную воду возле Зимней канавки, где утопилась Лиза? Разве не видишь, как наяву, князя Мышкина, который входит с жалким узелочком в руках в парадный подъезд дома генерала Епанчина?..

Миша и Крутойяров начали с букиниста около «книжного угла», на Литейном, недалеко от цирка. Крутойяров зарылся в груды книг и оттуда беседовал с букинистом — старым книголюбом, знатоком книжного рынка и, по выражению Крутойярова, «последним из могикан». Здесь была отложена порядочная стопка книг. Среди них «Гавриилиада» Пушкина — стоимостью в пятьдесят миллионов, Георгий Чулков — стихи и драмы, издание «Шиповника» — пятьдесят миллионов и «Номо sapiens» Пшибышевского — сто миллионов рублей.

Затем посетили книжный магазин «Дома литераторов» на Бассейной улице и тщательно обследовали книжные лари в выемке возле Мариинской больницы. После этого отправились на Васильевский остров, на 6-ю линию. И как ликовал Крутойяров, приобретя за две-сти миллионов «Стихи о прекрасной даме» Блока в издании «Гриф», да еще с автографом самого Блока! Что касается Миши Маркова, то он принес домой словарь рифм, который решил подарить Женьке Стрижову, а для себя выбрал «Лекции по истории русской литературы» Сиповского и был удивлен, узнав от Крутойярова, что Сиповский жив и находится здесь, в Петрограде.

Маркову представлялось почему-то, что писатели, книги которых он встречал в школьной библиотеке, жили когда-то давно, даже очень давно. Отчасти он был прав: ведь с тех пор успела смениться эпоха. Как было представить, что Федор Сологуб, написавший «Мелкого беса», и сейчас здравствует и даже председательствует

в Союзе писателей на Фонтанке, в доме № 50? А Чарская! Лидия Чарская с ее слащавой «Княжной Джавахой» — замужем за бухгалтером и живет где-то около Пяти углов!

Вскоре Маркову представилось немало удобных случаев, чтобы недоумевать, восклицать, изумляться. Например, как это могло случиться, что сейчас, в 1923 году, когда Коммунистическая партия отмечает свое двадцатилетие, когда отгремели бои под Вознесенском, очищена Одесса, стерты с лица земли и Врангель, и Колчак, — вот, полюбуйтесь: на Невском, дом 60, находится «Ложка вольных Каменщиков» и там недавно состоялся диспут по докладу некоего Миклашевского «Гипертрофия искусства»!

— Какие каменщики? Какая гипертрофия? — спрашивал всех Марков, но вразумительного ответа не получал.

Ходили вчетвером — супруги Крутояровы, Марков и Оксана — на выставку в Академию художеств.

Вскоре после выставки Марков и Стрижов побывали на устном альманахе рабфаковцев «Певучая банда», где голубоглазый, весь в веснушках, с задорным хохолком Евгений Панфилов читал:

Пусть туман и пуля-лиходейка,
В сердце страх не выищет угла!
Жизнь легка, как праздничная вейка,
И напевна, как колокола!

После «Певучей банды» посетили литературный вечер «Серапионовых братьев». Хлопали Тихонову. Он читал «Брагу». Он сказал: «Меня сделала поэтом Октябрьская революция». Освистали докладчика Замятина. Замятин уверял: «Железный поток» сусален, Сергей Семенов пошл... Только сам себе Замятин нравился!

Посетили затем «Экспериментальный театр» в помещении городской думы... Потом слушали лекцию Луначарского...

А однажды Стрижов таинственно сообщил:

— Сегодня ты умрешь от восторга! Пошли!

— Куда!

— А вот увидишь. Пошли, говорю!

Петроградское объединение писателей «Содружество» устраивало по четвергам литературные чтения, они

происходили у одного из «содружников». Каждый четверг вечером в квартире на Спасской улице, дом 5, были гостеприимно открыты двери для всех желающих. Хозяин встречал каждого и провожал в ярко освещенную комнату, где было много стульев, в углу сверкал крышкой рояль, на столе для посетителей был налит чай, тут же предусмотрительно положена стопка чистой бумаги и с десяток остро отточенных карандашей — для заметок при чтении, если кто не запасся блокнотом.

Стрижов, оказывается, знал здесь всех наперечет. Он негромко называл Мише фамилии, а Миша ахал, удивлялся и смотрел во все глаза.

— Видишь, с такой буйной шевелюрой и глубокими пролысинами на лбу? Свентицкий, критик. Рядом с ним Лавренев, у которого кот на коленях. Читал «Сорок первый»?

— А эта, с челкой? Низенькая?

— Сейфуллина. Неужели не узнал? Ее портреты есть в журналах. А тот, у окна, худощавый, — это поэт Браун, он сегодня будет новые стихи читать. А с бородой, кряжистый — Шишков Вячеслав Яковлевич. Вот мастер свои произведения читать! Заслушаешься! А к нему подошел, разговаривает... видишь, с усиками? Это Михаил Козаков. Рассказы пишет. Рождественского чего-то нет сегодня. Хотя он всегда опаздывает.

— Удивительно все-таки, — вздохнул Марков, — вот состаримся мы и будем вспоминать: такого-то впервые я встретил, помнится, в таком-то году...

— Ну вот еще! — вдруг обиделся Стрижов. — Мы никогда не состаримся!

В этот вечер приятели очень поздно возвращались домой. Стрижов провожал Мишу до самых дверей парадного и непрерывно декламировал: он знал множество стихотворений, особенно современных поэтов.

Что же! Смотреть и молчать?
Жить и в борьбу не втянуться?

— Женька! А ведь здорово? Ты мне завтра напости, я себе в тетрадь запишу. Чье это? Александровского? А он где? В Москве? Знаешь, мне ужасно понравилось на «четверге»! Вот уж никак не думал, что Сейфуллина здесь живет!

— На улице Халтурина. Лавренев — на набережной Рошаля.

— А Крайский?

— У Крайского я сколько раз бывал. Он на проспекте Маклина. Он ведь все с молодежью возится.

— А сегодня в «Содружестве»? Там и курсанты были, и матрос один был, студента знакомого я видел...

Марков остановился на Литейном мосту.

— Женья! А ведь хорошо жить! Как ты думаешь?.. Сейчас у нас двадцатый век. А в двадцать первом коммунизм устроят?

— Чудик! Тоже мне — в двадцать первом! Да он буквально в преддверии! Вот-вот мировая революция грянет. Ты что думаешь — в других странах рабочие дураки? Смотреть будут?

— Я в газете читал — буржуазия у них опять шевелится, опять войну готовит.

— Ну и готовит! Ну и пожалуйста! Одну войну устроят — четверть мира осознает. Вторую войну устроят — все люди осознают. На том песенка капиталистов и будет спета.

Маркову нравилась решительность Стрижова. И хотя сам он знал все то, что говорил Стрижов, сам был тех же взглядов, но Маркову нравилось слушать. Когда другой приводил эти доводы, Маркову они казались еще несомненнее, еще тверже.

Ночь стояла холодная, на Неве ветер так и пронизывал. Одетые один в плохонькую курточку, другой в перешитое из отцовского, нелепого цвета пальто, ветром подбитое, оба голодные (даже не решились выпить чаю с печеньем, хотя им предлагали), оба без копейки в кармане и без каких-нибудь перспектив на этот счет в ближайшем будущем, с одними только широкими планами и мечтами, они беспрекословно верили в несокрушимость советского строя, в неминуемую гибель капитализма, в мировую революцию. Жизнь была им впору, невзгодами их трудно было напугать — всякое видали, всякого хлебнули. Молодые, но прошедшие уже длинный боевой путь и жестокие испытания, они были полны гордости, уверенности, сознания силы, они вглядывались в беспокойную водную пучину, в сердитое черное небо — и до иступления, до того, что зубы стискивались, кровь

прилиwała к лицу, хотели поторопить, подтолкнуть время. Скорей же! Ну же, скорей!

Поэтому и сами они торопились. Все увидеть! Все впитать!

Выставка фарфора. Выставка кружев в бывшем особняке Бобринского. Диспут в клубе «Коминтерн» на Невском. Воспоминания о Тургеневе знаменитого Кони в Пушкинском доме. Лекция приехавшего из Москвы Маяковского «А ну вас к черту». Всюду надо успеть. Все захватывает.

Марков помнит, как они весь день потратили, участвуя в праздновании пятилетнего юбилея Петрогосиздата. Сначала был парад моряков-курсантов. Парад собрал много зрителей, весь Невский был запружен толпой. Парад начался у Дома Книги. Потом направились ко Дворцу Труда. Было нарядно, живописно, красочно. После митинга перед Дворцом Труда карнавальное шествие двинулось на Петроградскую сторону, на Гатчинскую улицу к типографии «Печатный двор». Вечером было чествование героев труда и в заключение концерт.

А потом Марков ездил в Москву. Что было раньше, что было позже, он уже и сам не разбирался. Он все время мчался, летел, торопился, и все впечатления у него сливались в один пестрый водоворот. Но поездку в Москву он отлично запомнил!

Он был ошеломлен, обескуражен, не знал, что думать, попав в кафе «Стойло Пегаса». В Петрограде он как-то не сталкивался с нэпманами, с ресторанной обстановкой. И вдруг — «Стойло Пегаса»! Пьяный разгул подозрительных субъектов с испитыми физиономиями, не то бывших фельетонистов из черносотенного «Нового времени», не то матерых спекулянтов шкурками каракульчи... Изобилие спиртных напитков и низкопробных остроумий... Пристанище вызывающе-пестрых женщин...

Нет, «Стойло Пегаса» ничем не напоминало Литературной студии или устных альманахов, которые устраивают в Петрограде на шестом этаже в доме 2 по Екатерининской улице. Марков больше бы сказал: это полная противоположность! Там влюбленная в поэзию, боевая, дерзкая молодежь — грызущие гранит науки при более чем скромном пайке студенты, рабфаковцы, курсанты, начинающие поэты, молодые, с острым глазом художники, воинственные журналисты. Все бодро отсчитывают сту-

пени на самое верхотурье по плохо освещенной лестнице. И начинается то, чего никогда не забудет, не выкинет из сердца тот, кто хоть раз побывал на этих пиршествах вдохновения. Выходят один за другим поэты, прозаики, критики, литературоведы, читают свои произведения и получают в награду бурные овации. Затем начинается обсуждение. Высказываются смело, открыто, без реверансов, со всей прямоотой и страстностью юности. Спорят до хрипоты. Поднимают очень важные, очень большие вопросы, явно волнующие всех: о форме и содержании, о верности революции, о формализме, о жанрах... Да, это совсем не «Стойло Пегаса!» Ничего похожего. Марков наивно полагал, что в советской действительности немислимы «стойла пегасов», это у Маркова никак не вязалось со всеми его представлениями о жизни.

Он вернулся из Москвы оглушенный, расстроенный и к тому же без копейки денег. Оксана так обрадовалась ему, так слушала его рассказы о Москве, так извинялась, что у нее нечем даже покормить его...

Кончилось тем, что Оксана расплакалась. Миша стал ее утешать и очень смеялся, когда она сквозь слезы причитала:

— Ты такой труд принимаешь, легкое ли дело сочинять из головы... А-я тебя го-олодом морю!

3

Они очень любили друг друга. Миша Марков так хотел окружить заботами и нежностью Оксану! Ведь она, бедняжка, совсем-совсем одна на белом свете! Миша должен заменить ей и мать, и отца, и братьев. Хотя у него у самого было мало житейского опыта, все же он брал на себя роль старшего, рассказывал, что такое Петроград, объяснял, как ездят в трамваях, советовал не робеть. Оксана воспринимала все, что он ей говорил, восторженно и благоговейно: какой он умный, все-то он знает, обо всем может рассуждать!

Оксана, со своей стороны, готова была сделать все, чтобы ему было хорошо. Миша слабо сопротивлялся, но она с таким наслаждением стирала его рубашки, с таким торжеством сама отыскала рынок, сама покупала продукты, сама варила обед.

Так и образовалось само собой, что Оксана мыла пол, стирала, стряпала, бегала, в булочную, а Миша ходил на рабфак, в литературную студию и, придя домой, с аппетитом поедал картошку с постным маслом и подробно рассказывал, что видел и слышал за день, какой умный у них «руковод» в студии, что такое ассонанс и что такое новелла.

— Почему вы нигде не учитесь? — спросила Оксану Надежда Антоновна. — У вас какое образование?

— Что вы! Когда же учиться? — удивилась Оксана. — Миша приходит когда в пять, когда в семь...

— А хотя бы и в десять! И вы приходите в десять. А потом: я вас ни разу не видела с книгой. Обязательно читайте! Вы приглядитесь: все сейчас читают — в трамваях, в парках — повсюду. А питаться можно и в столовой, ничего страшного.

— Что вы! Миша терпеть не может столовых!

Очевидно, Надежда Антоновна поговорила об этом и с мужем, потому что он однажды предложил:

— Не хотите ли устроить Оксану на работу? Есть место секретарши в Государственном издательстве.

Марков удивился:

— А вы думаете, что ей надо работать? Разве, когда я стану писателем, мы не проживем на мой гонорар?

И вдруг, как гром среди ясного неба: письмо от Ольги Петровны. На первый взгляд она ничего особенного не писала. Рада, что у Миши и Оксаны бодрое настроение, рада, что они живут в таком замечательном городе, благодарит, что пишут и не забыли о ней и Григории Ивановиче. И так, вроде как между прочим, спрашивает, все ли письма доходят? Что-то ни в одном письме от них не сообщается, а где же учится Оксана и каковы ее успехи.

Миша словно прозрел. Ему представилось, с каким сожалением смотрит на него Григорий Иванович Котовский, как неодобрительно покачивает головой Ольга Петровна: «Не оправдал надежды, подвел, осрамил! По старинке семью строит, не по-советски!»

Подумав об этом, Миша немедленно перевернул все вверх дном. Примчался домой, а Оксана как раз с увлечением, с превеликим усердием раскатывала тесто.

— Стряпашь? — влетел в кухню Марков. — Хороша, нечего сказать! Полюбуйтесь на нее!

— А что? Що зробилось?

— «Зробилось»! То зробилось, что тебе не пампушками меня угощать, а в морду мне дать!

Оксана не могла понять, что он говорит, почему сердится, чем она не угодила. Она стояла, опустив голову, и машинально сковыривала тесто, прилипшее к рукам. Лицо и волосы у нее были в муке, в другую минуту Миша бы досыта над ней посмеялся. Но сейчас Миша был серьезен.

— Чего же ты молчишь? — продолжал он. — Возмущайся! Я оказался последним подлецом, мне стыдно будет в глаза посмотреть Григорию Ивановичу!

— Что же ты наделал? — всполошилась Оксана. — Говори уж, признавайся во всем!

— То наделал, что окончательный домострой у нас получился!

— Який домострой?

— А как же? Для того ли я привез тебя в этот город, чтобы буржуазно угнетать и эксплуатировать, как последний сукин сын — буржуй? Нечего сказать: котовец!

— Як же ты меня угнетаешь?

— Очень просто: угнетаю, и все! И еще — извольте полюбоваться — гимнастику по утрам делаю, пока ты поджариваешь яичницу с колбасой... Упражнение номер первый — встаньте прямо, раздвиньте ноги на уровне плеч, начинаем! Содействует развитию грудной клетки, укрепляет брюшной пресс! А не угодно ли, господин муж, глубокоуважаемая персона Марков, сбегать на Сытный рынок за картошкой? Очень содействует развитию бицепсов и развивает инициативу! Не желательно ли вам подмести пол — это укрепляет брюшной пресс и вместе с тем успокаивает совесть! Какой дурак выдумал, что стирка белья — женское занятие? Это типично мужское занятие, стиркой занимался даже Мартин Иден, что не мешало ему стать писателем!

Оксана слушала, с ужасом, смотрела на Мишу и только всплескивала руками:

— Ой, матенько! Дывься як вин расходився!

— Подведем итоги! — ораторствовал Миша. — Отныне белье стираю я, а ты его утюжишь, пол подметаю я, а ты вытираешь пыль с предметов домашнего обихода,

постель заправляю я, а ты пришиваешь пуговицы. На рынок ходим вместе, стряпаем по очереди.

— Ой, матенько!

— А еще лучше — стряпню отменяем, питаемся в столовке, а постель вообще можно не заправлять, все равно вечером опять ложиться!

— Ой, матенько!

— И наконец, сам напрашивается вывод: ты поступаешь в медицинский институт и, кроме того, ходишь со мной в Литературную студию! Точка. Таким образом, из тебя получится новая Ольга Петровна — выдающийся врач, образованная, передовая советская женщина, а из меня — пусть хоть не Котовский, а восьмушка Котовского. И то будет славно, и то я буду преддоволен!

— Ты, мабуть, сказывся? То Котовский, то Ольга Петровна, а то мы с тобой! Сравнил!

— А что! Погоди, у нас вырастут еще такие люди — весь мир разинет рот от удивления! И Григорий Иванович то же говорил, помнишь?

Наутро Оксана долго и тщательно умывалась, затем так же долго и старательно причесывалась, наглаживала платье раскаленным утюгом, позаимствованным у Надежды Антоновны, и наконец, торжественно настроенные Миша и Оксана вышли из дому. По дороге захватили Стрижова, который все знал: и в каком трамвае ехать, и где выйти, и где канцелярия фельдшерских курсов...

Вскоре Оксана стала студенткой, и с ней стали свершаться чудесные превращения.

Началось с пустяков: Оксана перестала дичиться, перестала бояться переходить улицу, стала задавать то Мише, то Ивану Сергеевичу Крутоярову, а чаще всего Надежде Антоновне удивительные вопросы:

— Неужели Гоголь сам, своими руками сжег свое сочинение?

— А вы знаете, сколько у человека костей?

— Оказывается, Карл Двенадцатый был совсем мальчишка! Вот не думала!

— Вы не знаете, Мария Петровна Голубева жива?

Относительно Карла Двенадцатого Надежда Антоновна готова была согласиться, но при чем тут Голубева? Какая Голубева?

Оксана возмущалась:

— Карл Двенадцатый — это сам по себе разговор, а Голубева — это уже совсем другое. Значит, вы ничего не знаете о Голубевой? Вот странно! Как же так не знать о Голубевой?

— Но, дорогая девочка, — смущенно оправдывалась Надежда Антоновна, — откуда же мне знать о некой Голубевой? Это что, учительница у вас на курсах?

Оксана не верила, думала, что Надежда Антоновна притворяется. Вмешивался в разговор Иван Сергеевич, он тоже не знал.

— Мария Петровна Голубева — такая гордая, непокорная. Глаза серые, прическа гладкая-гладкая, на прямой пробор, взгляд внимательный, взыскующий. Платье глухое, строгое, с белым воротничком. Я на портрете видела. Ведь это известная революционерка, замечательная женщина, большевичка, конечно.

— Где же вы ее портрет видели?

— Нам показывали. Лекция была. В тысяча девятьсот пятом году она жила на углу Большой Монетной и Малой Монетной, и в ее квартире помещался штаб Петербургского комитета партии. Бомбы и револьверы складывали под детские кроватки, а прокламации, напечатанные, конечно, на папиросной бумаге, запрятывали в фарфоровые головки кукол...

Слушали Оксану и переглядывались: да что это такое? Как подменили, совсем другая стала наша Оксаничка! И слова, обратите внимание, другие: «прокламации»... «Петербургский комитет»... «взыскующий»... Вдруг оказалось, что у нее удивительная память, удивительные способности. На курсах долго не могли понять, откуда эта молодая особа набралась таких знаний? Потом все объяснилось: ведь Оксана работала в госпитале под руководством врача Ольги Петровны Котовской! А Ольга Петровна отнюдь не довольствовалась тем, что заставляла свою помощницу раны бинтовать да измерять температуру.

Вскоре Оксана явилась сияющая и сообщила:

— Предлагают в больнице работать. Дала согласие. И учиться, конечно, продолжать, одно другому не мешает.

Совсем незаметно, как-то само собой получилось, что Крутойяров стал называть Оксану Ксения Гервасьевна. Только Надежда Антоновна чисто по-родственному, по-

матерински называла ее Ксаной, доченькой. Женька Стрижов — тот вообще никак не обращался к Оксане. Обычно, появляясь в дверях, он восклицал:

— Здравствуй, племя младое, незнакомое!

— Да уж знакомы, — отзывалась Оксана. — А Миша еще не приходил. Мы теперь все записками обмениваемся, заняты оба очень.

— Сейчас все заняты. «В жизни слишком много дела, слишком краток срок. Надо выполнить умело заданный урок!»

— Сами сочинили?

— Нет, Дмитрий Цензор.

— А я думала, вы. Есть хотите?

— Наивный вопрос. Я всегда хочу есть. Ого! У вас сегодня и первое и второе на обед? Богато живете!

4

Когда Марков задумался впервые, о чем и как написать, он почувствовал непреодолимое желание написать рассказ о том, как ушел с отцом из родного дома, когда Молдавию захватили интервенты.

Марков очень часто думал о доме — о матери, о сестре, об отце. Снова и снова рассказывал он Оксане о своей семье и мечтал о том, как Молдавия будет освобождена и как они поедут к его родителям...

— Это ужасно, что я так долго не могу повидать их! Странно, что вот и рядом они, кажется, только руку протянуть, и так далеко... как на другой планете! Ни поехать, ни написать — за рубежом...

Да, Мише запала эта мысль — написать рассказ о том, как он уходил из дому — в страшную неизвестность, в темноту, в непонятную жизнь.

В студии они как раз изучали законы сюжета, архитектонику короткого рассказа. Руководитель студии принес книжечку Генри и прочел вслух новеллу «Дары волхвов». Речь там шла о молодых супругах. Они хотели сделать друг другу подарки к Новому году, а денег ни у того, ни у другого не было. И вот муж продал свои часы и купил на эти деньги черепаховый гребень жене. Она же продала свои роскошные волосы и на вырученные деньги купила для мужниных часов прекрасную платиновую цепочку.

В студию в числе других ходили пожилые рабочие электростанции. И вот растерявшийся руководитель и смущенная молодежь увидели, что рассказ потряс этих старых солидных рабочих, они слушали и плакали, форменно плакали и не стеснялись слез... И теперь, приступая к рассказу, Марков хотел, чтобы его рассказ тоже потрясал, чтобы он доходил до каждого, а для этого надо передать все, что он чувствовал, всю душу открыть перед читателем, как если бы он поведал о пережитом самому близкому человеку. В то же время Маркову хотелось, чтобы рассказ был написан по всем правилам, с нарастанием действия, с логическим и все-таки неожиданным концом, когда читатель узнает все, лишь прочитав последние строки.

Рассказ написался одним махом, хотя и провел Марков за этим занятием всю ночь напролет. Утром Оксана, вскочив по звонку будильника, увидела счастливого и как будто выспавшегося Мишу.

— Ты уже встал? А я и не слышала.

— Ксана! — торжественно возвестил Миша. — Я написал рассказ!

— Сумасшедший! — воскликнула Оксана. — Он еще не ложился!

Однако рассказ был тут же немедленно прочитан, хотя Миша и опасался, что сюжет он не построил, никаких неожиданных поворотов действия не придумал и Оксана разочарованно заявит, что это просто давно известное ей происшествие с Мишей, а вовсе не рассказ.

Миша испугался, даже замолк и перестал было читать, когда увидел, что Оксана сидит на кровати в одной рубашке и ревя ревет, и вытирает слезы рукавом, а слезы опять набегают, и Оксана не видит Миши, не отдает отчета, что сейчас утро, что ей пора мчаться на курсы, что ей холодно и что ведь ничего на самом деле нет, а есть только одно сочинение.

Осталась недочитанной одна страница, и Миша, сам растрогавшись — не своим рассказом а растроганностью Оксаны, — дочитал рассказ. Кончил, положил локти на исписанные листки бумаги, — ему было ужасно жалко Оксану и он укорял себя, что так расстроил ее.

Но слезы Оксаны были совсем особого рода. Это было душевное потрясение от художественной правды,

совсем отличное от того, если бы Оксана узнала о каком-нибудь действительном печальном происшествии.

Вот она, еще не осушив слезы, босая, непричесанная, с таким теплым после сна телом, с отлежанной щекой, на которой отпечатался узор наволочки, подбежала к Мише, обняла его и стала целовать.

— Да ты у меня и на самом деле писатель! Ой, ма-
тенько!

И они еще долго говорили о рассказе, о том, что, бесспорно, его немедленно напечатают и что как это удивительно, что она, Оксана, — самая обыкновенная, а между тем — жена такого удивительного человека. И Миша наполнился гордостью, торжеством. Да, он и сам чувствует, что рассказ удался!

Впервые за все время учения на фельдшерских курсах Оксана опоздала на занятия.

Самое страшное было впереди. Когда Крутояровы проснулись и за стеной слышалось последовательно шлепанье ночных туфель, потом фыркание около умывальника и, наконец, звяканье посуды, — рассказ с предисловием, извинениями и оговорками был передан на суд Ивану Сергеевичу.

Оксана уже ушла. В наступившей во всем доме полной и, как казалось Мише, зловещей тишине он не находил себе места, то садился, то вставал и слонялся по своей длинной нескладной комнате.

«Неужели так долго читает? Или вовсе не начинал? Кажется, сел бриться! Как будто трудно было прочесть такой короткий рассказ!»

Но дверь открылась, и Крутояров вошел в комнату. В руке у него была рукопись. Он вошел не спеша, прошагал зачем-то к окошку. Зачем мучить человека? Не решается сразу все выложить! Ясно, рассказ не понравился, да Миша и сам сознает, что рассказ слабоват, что и над языком надо поработать, и сюжет сыроват...

— Ну что ж, — произнес наконец Крутояров, — моему, недурственно. Мне понравилось, и Надя говорит, что искренне написано.

— Как! И Надежда Антоновна уже прочитала? — воскликнул Миша, больше из-за того, что неловко было молчать.

— Я вот думал, — медленно заговорил Крутояров, —

что в этом рассказе главное? Свежесть? Непосредственность?

Миша молчал.

— Помните, мы были на выставке картин и букет сирени разглядывали? Нам понравилось (он говорил «нам», хотя это именно ему понравилось, и он тогда объяснял, почему понравилось), нам понравилось, что в картине есть идея, есть глубина. Не просто букет, ведь букет и сфотографировать можно. Важна мысль! Вот и в вашем рассказе есть большая человеческая скорбь, то, что найдет отклик в сердцах людей, потому что это типично для нашей эпохи. Понимаете? Типично! Пережитое нами десятилетие — это толпы беженцев, толпы изгнанников, спугнутые со своих гнезд стаи, это пепелища, это затерянные на чужбине, это без вести пропавшие, это души, тоскующие в плену...

Крутойаров сел было, но сразу же встал, видимо вспомнив о каком-то своем деле.

— Ну, — подошел он к Маркову, — дайте руку. Поздравляю. Хороший рассказ. Я вам после покажу, там есть кое-какие мелочи, как мы называем — блохи. Но это чепуха. Если хотите, я сам отвезу рассказ в редакцию.

В тот же день, только позже, Крутойаров снова зашел.

— Давайте рассказ. Надежда Антоновна берется его настукать на машинке. Редакторы не любят читать написанное от руки. Не возражаете, если заодно она, кое-что подправит? Чисто стилистическое. И мои замечания учтет. В «Зори» отнесу ваш рассказ. Хороший есть журнал — «Зори»! А Ксения Гервасьевна все учится? Молодчага она у вас. Вообще вы оба молодцы.

ПЯТАЯ ГЛАВА

1

Первый написанный Марковым рассказ был напечатан. За ним последовал еще один — из времен гражданской войны. Хотелось Маркову также написать о своей лошади, о той, которую ему вручил Белоусов и

которой Миша дал имя «Мечта». Марков часто думал об этом, но не знал, как подступиться к такому рассказу. Смущало и то обстоятельство, что были уже написаны изумительные, недостижимо прекрасные рассказы о лошади — такие, как «Холстомер» или «Изумруд».

Беседы с Крутояровым запоминались, будоражили мысль. Иногда, робея, Марков подумывал о том, что хорошо бы написать книгу о Котовском, но страшно браться за такую сложную работу. Или, например, о Няге. Няга нравился Мише. Или о комиссаре Христофорове... Или о военном враче Ольге Петровне... Какие все характеры!

Размышляя об этих вещах, перечитывая фурмановского «Чапаева», Марков пришел к выводу, что следует написать книгу о самом-самом обыкновенном советском человеке и доказать, что он необыкновенный, достойный прославления человек.

Такими путями Марков пришел к решению написать повесть или даже, пожалуй, роман... о своем приятеле Женьке Стрижове! С тех пор Марков пристально приглядывался к Стрижову, расспрашивал его, специально «для материалов» заходил к нему домой и беседовал с его матерью, хозяйственной, доброй, приветливой Анной Кондратьевной, женщиной с грустными глазами.

А этот самый-самый обыкновенный Женька Стрижов оказался совсем не таким обыкновенным. Он был неумным, неуравновешенным, этот Женька Стрижов. У него был беспокойный характер.

— И все ты чего-то шебутишь! — ворчала на сына Анна Кондратьевна. — Посмотри, какой Мишенька — серьезный, рассудительный, а ведь вы почти ровесники!

— Ох и любят же матери в пример кого-нибудь ставить! — смеялся Стрижов, обернувшись к Маркову.

Маркову нравился Стрижов, нравилась и Анна Кондратьевна. Ее муж, известный хирург, в первый же год гражданской войны уехал с военным госпиталем и не вернулся. Настал черед сына. Евгений восемнадцатилетним студентом-первокурсником поехал на Восточный фронт, был ранен под Уфой во время памятной психической атаки белогвардейцев, признан негодным к службе. Так вот и получилось, что в двадцать один год от роду он стал ветераном войны, одновременно молодым и возмужалым. Больше всего он любил стихи. А поступил в ме-

дицинский, чтобы угодить матери: ей хотелось, чтобы сын пошел по стопам отца.

Что касается Маркова, этот мечтал стать романистом.

— Кто, кроме нас, расскажет о старшем поколении, — говорил он, — об этих удивительных людях, умевших побеждать? Пройдет каких-нибудь пятьдесят — шестьдесят лет — и придется копаться в архивах, стараясь понять то, что нам, современникам и очевидцам, досконально известно!

Марков мог без конца говорить на эту тему, но Евгения и убеждать не требовалось, он только вносил поправку, что очевидец — самый ненадежный свидетель, потому что каждый видит по-своему, а если это к тому же еще и участник, то и у него обязательное смещение перспективы и непоколебимая уверенность, что он-то как раз и является главным действующим лицом, центром всех событий. Кроме того, Евгений считал, что наряду со строителями революции необходимо показать в литературе и мерзкий облик врагов.

— Это зачем же? — удивлялся Марков.

— А попробуй одной белой краской написать картину, — отстаивал свою мысль Евгений, — ничего не получится! Должны быть свет и тени! А главное — иметь мировоззрение! — авторитетно заключал он, не замечая, как со многими в жизни случается, что повторяет мысль, которую часто слышал от отца.

Споры молодых людей никогда не переходили в ссору. В сущности, они придерживались одинакового мнения во многих вещах. Споры их были скорее совместным обсуждением одного и того же предмета.

Евгений хотел бы написать поэму о новой эре человечества, только не знал, как приступить. Иногда ему думалось, что это произведение будет посвящено его отцу. Тогда он вглядывался в очертания родного лица на портрете в золотой овальной раме, висевшем в столовой, около стенных часов. Спокойные глаза, высокий лоб, русая докторская бородка...

2

Евгений много-много раз как бы заново восстанавливал в памяти подробности злополучного дня. Откуда он тогда возвращался? То ли от школьного товарища Киры Рукавишникова, то ли из библиотеки...

Нигде вы не встретите таких пленительных зимних дней, какие бывают в Петрограде под самый Новый год. Легкий морозец пощипывает уши и наполняет все существо неизъяснимой бодростью, и вы вдруг ловите себя на мысли: «Эх, хорошо бы сейчас на лыжах... где-нибудь в Кавголове... По мелколесью, по ельнику!...».

Город сказочно красив! Город удивительно наряден! Пушит снег. У прохожих засыпаны снегом воротники, шапки. Все женщины сегодня как на маскараде: и узнаешь и не узнаешь. По Неве метет поземка, швыряя в морды гранитных сфинксов пригоршни снега.

Сквозь мелькающие снежинки проглядывает дивный облик города: то на какой-то миг возникнет силуэт Адмиралтейства и памятник победы над Наполеоном — величайший в мире гранитный монумент — Александровская колонна, почти пятидесятиметровая громадина, свободно поставленная на пьедестал, ничем не прикрепленная, так что держится она исключительно своей тяжестью; то явственно обозначится колоннада Казанского собора, как хоровод исполинов. И тут же — бывший Зингеровский магазин швейных машин, с его нелепым шишом над крышей.

Вдруг попадает в поле зрения реклама: «Перуин дляращения волос»... «Пейте какао Жорж Борман»... А затем яркие пятна бесчисленных синематографов: «Мулен-Руж»... «Паризиана»... «Пикадилли»... «Фоли-Бержер»... наряду с вывесками нотариусов, мастерских корсетов, «coiffeur» и кондитерских. И снова очертания величественных зданий: тяжеловесного Строгановского дворца, несравненного ансамбля Александринского театра, монументальной Публичной библиотеки...

Евгений Стрижов очень бы удивился, если бы его спросили, любит ли он свой город. Он не отдавал себе отчета в том, как привязан к нему. Чтобы понять, как любишь, надо разлучиться.

Снег мельтешит. И в этом мелькании все становится неожиданным, эфемерным. Что это? Кони Клодта на Аничковом мосту? Смешались видения прошлого с явью сегодняшнего, подлинное с вымыслом. Евгений не удивился бы, если бы натолкнулся на Акакия Акакиевича, бредущего с поднятым воротником шинели; не был бы озадачен, если бы в легких санках с медвежьей полостью промчался мимо гуляка и бретер блестящий граф Шува-

лов в свой особняк на Фонтанке. А это что? Не вышли ли из дома купца Лаптева на углу Невского и Фонтанки часто бывавшие здесь Белинский и Панаев? Не звонит ли в снежной пурге тяжелый колокол Исаакия, отлитый из старых медных монет с прибавлением двадцати фунтов золота и пяти пудов серебра?..

Да, он очень любил свой город, восемнадцатилетний Стрижов. Любил и знал. Его неизменно потрясало, что вот здесь, на месте Адмиралтейства, была некогда русская деревня Гавгуева, состоявшая из двух дворов, и хотя это было до основания Петербурга, но Евгению казалось, что он сам видел эту деревню! Ему нравилось, что река Карповка называлась «Еловой речкой», Фонтанка — «Безымянным Ериком», а Васильевский остров именовался «Оленьим островом».

По глубокому убеждению Стрижова, в родном его городе все особенное: все запахи, все звуки, все оттенки — и грусть белых ночей, и благоухание антоновских яблок на «Щукином дворе», и прохлада «Стрелки» на Островах, и опрокинутые отражения домов в Екатерининском канале, и ослепительные лужайки в Михайловском саду.

А снег все идет и идет... мельтешат и мельтешат снежинки... Евгений Стрижов вдыхает полной грудью холодный воздух.

Зияла пробоина Зимнего дворца. Особняки аристократов, бежавших за рубеж, зарастали инеем и паутиной. Был на исходе 1918 год. Белели неубранные сугробы на улицах, дымили костры на перекрестках. Проходили, поправляя на плече ремень винтовки, матросские патрули, маршировали рабочие отряды, строгие, направлявшиеся куда-то деловым твердым шагом людей, знающих, чего они хотят.

Стрижов все это видел, все это впитывал в себя — и все принимал. Да, молчат паровозы на вокзалах. Это понятно: нет угля. И еще — нет хлеба. Голодный тиф косит людей. Почти остановились заводы. Кажется, вот-вот совсем замрет жизнь. Но нет! Город и не думает умирать! Напротив, только теперь он и начинает жить по-настоящему!

...Евгений чувствовал, что пора бы вернуться домой. Он проходил по Аничкову мосту, но не сворачивал на Фонтанку к своему дому. Было так хорошо, что не хотелось уходить. И он бродил без усталости, слушая шорох па-

дающего снега и мягкие шаги прохожих. Может быть, инстинкт подсказывал это желание продлить безмятежное неведение, эту блаженную тишину? Падает снег... Тихо... Ясно на душе...

Наконец Евгений устал и решительно направился на Фонтанку, к дому, большому, пятиэтажному, с темной подворотней и длинным проходным двором, пахнущим дровами и помоями.

Долго не открывали, это Анна Кондратьевна старалась привести себя в равновесие и скрыть следы слез. Наконец она впустила сына. Он сразу же почувствовал что-то неладное, а когда вошел в столовую, понял, что свершилось то непоправимое, чего в глубине сознания давно опасался, но всякий раз отгонял даже самую мысль об этом.

Анна Кондратьевна молча показала на распечатанное письмо, лежавшее на столе, на холодной клеенке, на которой еще сохранились коричневые пятнышки от папиросы, которую отец клал рядом с собой, читая газету.

Прежде чем взять в руки письмо, Евгений взглянул на портрет в овальной раме. Все такие же глаза, все та же добрая русская докторская борода. Да, на портрете отец был все так же спокоен... а ведь его уже не было на свете!

Почему-то Стрижову долгое время казалось, что стоит написать поэму, страшную в своей простоте (как то фронтовое письмо, присланное начальником госпиталя, извещавшее о гибели доктора Стрижова при обстреле госпиталя), стоит рассказать, как он, Евгений, вернулся домой в зимний нарядный день и увидел заплаканное лицо матери, — и встанет перед взором читателя во весь рост страшная и величественная эпоха — эпоха борьбы, неисчислимых жертв, эпоха обвалов, катастроф и побед, добытых ценою крови.

В декабре 1918 года пришло извещение о смерти отца, а в апреле 1919-го Стрижов записался добровольцем. Из всех городов ехали на фронт коммунистические полки, комсомольские отряды.

Молодежь! Порывистая, отзывчивая! Не ты ли всегда впереди, не ты ли первая бросаешься туда, где всего настоятельнее требуется отвага, дерзание, где нужно приложить энергию, может быть, пожертвовать жизнью?

Евгений Стрижов записался в отряд одним из первых. Заставила болезненно сморщиться мысль: «А как мама?» — но тут же пришла уверенность: «Поймет!»

Как все стремительно произошло! Весь мир стал выглядеть иначе. Резкой гранью отгородилось сегодня от вчера. Вчера был просто юноша Евгений Стрижов. Вчера он мог прогуливаться хотя бы вот там, вдоль канавки у Летнего сада. А сегодня...

Из окна Павловских казарм видно огромное пространство Марсова поля. Слева можно увидеть краешек Мраморного дворца и уходящий на Петроградскую сторону Троицкий мост. Справа — шпиль Инженерного замка и очертания Лебяжьей канавки... Вдали Летний сад. Казалось бы, он совсем близко, но нет, он недосыгаемо далеко, а прогулки возле него кажутся немыслимыми, нелепыми.

Короче говоря, — казарменное положение. Усиленные занятия, маршировка, разборка и чистка винтовки. Ездили в Стрельну, стреляли в мишень. Солдатская жизнь! А мама действительно поняла и только сказала:

— Сыночек мой!

Ожидали каждый день и все же неожиданно прозвучало: завтра отправка. И завтра настало. Построились. Старались держаться молодцами. Лихо прошагали мимо чугунной решетки с черными царскими орлами, около Летнего сада, перешли Фонтанку по одному из пятисот петроградских мостов. Школа Штиглица поблескивает стеклянной крышей. Церковь святого Пантелеймона хмурится и смотрит подслеповатыми окнами на шагающую молодежь. Ясный погожий денек. На Литейном — толпа любопытных. Тверже шаг!

Духовой оркестр сразу рванул и начал отчетливо, маршевым темпом выговаривать военный марш. Удивительное действие оказывает музыка! Под военные марши ноги сами идут туда, куда послала родина: на неприступные кручи Шипки, на ошетиненные стены крепости Измаил, на равнину Полтавщины, чтобы разбить наголову заносчивого короля Карла Двенадцатого, на Бородинское поле, чтобы сбить спесь с Наполеона.

Добровольцы, отправлявшиеся на Восточный фронт, прошли стройными рядами по Литейному проспекту. По обеим сторонам шествующей на фронт колонны с узелками, сверточками, озабоченные и гордые, спешили,

старались не отстать родственники. А безусые курносые защитники революции шагали с серьезным видом: винтовка на ремне через плечо, походные вещевые мешки за спиной — левой, левой, левой!

Вот и Невский проспект — пятиэтажные дома, зеркальные стекла витрин, вывески, рассказывающие о прошлом. На перекрестке Невского и Литейного, который по ту сторону уже становится Владимирским проспектом, высится домина, напоминающий сразу о трех богатеях: Палкине, с его рестораном, Соловьеве, с его торговлей, и Филиппове, с его кондитерской и «филипповскими» пирожками. Стрижов особенно хорошо был осведомлен о последнем — о пирожках.

Нет больше филипповых, нет палкиных и соловьевых. Ничего, что сейчас опустели витрины магазинов! Ничего, что окна забиты фанерой! Здесь еще расцветет, зарасуется невиданный город! За то, чтобы непременно, во что бы то ни стало сбылись все чаяния, идет сражаться славная питерская молодежь.

С того момента, как молодые люди перешли на казарменное положение, они как будто вступили в свой, отличающийся от всего остального, особенный мир. Та жизнь, которая складывалась до казармы, вдруг отодвинулась и стала бестелесным видением, смутным воспоминанием. Да, это, конечно, было: и мама, и университетские коридоры, и встречи с друзьями. Например, Кира Рукавишников. Конечно он был! Стрижов помнил его улыбку, его вихор, который покачивался, когда Кира играл на гитаре вальс «Лесная сказка». Но все это казалось теперь чем-то давним, похожим на блески далекого детства. Начиналась большая, суровая, подлинно взрослая жизнь.

Колонна шагала, оркестр громыхал. Никогда еще Стрижову не казался таким прекрасным этот город, его город, город, где он родился, где оставались все его привязанности, город, который он покидал.

Выйдя на площадь перед вокзалом, отряд по знаку командира грянул «Все тучки, тучки понависли». Пели не столько стройно, сколько молодо и задорно. Некоторые хотя и пели со всем усердием, но безбожно ввали. Однако это несколько не портило торжественности.

На вокзал к отправке эшелона прибыли представители от городского комитета партии, от военного командования.

Панюшкин в своей речи сказал:

— Мы верим, что вы не опозорите красного Питера, колыбели революции. Мы посылаем лучших сынов для полного разгрома наймита международной реакции — махрового мракобеса Колчака. Он держится только подачками империалистов и жиреет на чужих кормах. Но помните, товарищи красноармейцы, чем больше свиньи жиреют, тем ближе они к гибели. Смерть Колчаку! Ура!

3

Все эти переживания Стрижова были вполне понятны Маркову, поэтому он мог бы их изобразить. Даже то обстоятельство, что сам Марков родом из маленького Кишинева, а детство Стрижова прошло здесь, в столичном го-моне и шуме, — и это не смущало юного романиста. Теперь он знал Петроград, хорошо знал и успел полюбить этот удивительный, какой-то вдохновенный, песенный, с горделивой осанкой, с широтой и размахом и, несмотря на старинные здания, архитектурные ансамбли, памятники, — неиссякаемо молодой город. Поэтому ему не трудно будет поместить героя своего будущего романа в доме на Фонтанке и самому как бы превратиться в питерского паренька.

Но дальше Маркову встретились, кажется, непреодолимые трудности. Уж он ли не испытал все, что человек испытывает в обстановке боя! Он ли не был участником отчаянных атак, осторожных обходных операций, тяжелого похода, когда они прорывались из окружения... он ли не наблюдал изо дня в день, как талантливо, вдохновенно ведет свою бригаду на врага и одерживает победы Котовский! А вот представить и живо, достоверно, убедительно изобразить самарскую степь, каппелевский корпус, Уфу, Башкирию он никак бы не решился.

— Погрузили вас в воинский эшелон, и вы поехали, — спрашивал Марков у своего предполагаемого героя. — А что потом?

— Приехали в Самару, — охотно пускался в воспоминания Стрижов, — а там веселенькая картинка: искалеченные артиллерийским обстрелом дома, забитые фанерой окна, черные головешки пожарищ... Одним словом, война. У войны ведь безобразная морда. Помню, куда ни поглядишь, — мотки колючей проволоки, наполовину за-

сыпанные снегом. На берегу реки Самары, на Хлебной площади в центре, на дамбе напротив элеватора и вообще везде — поперек улиц и площадей — борозды окопов, иди да гляди под ноги. Ведь только что здесь шел бой, прямо на улицах. На той стороне белогвардейцы-учредилловцы, на этой — только что сформированные части Красной Армии... Пальба, кровь, трупы валяются... Кипящий котел! Старые царские чиновники саботируют, эсеры устраивают восстания... Сегодня мы, завтра они — так и переходило из рук в руки. Просто сказать: одержали победу. Каждый дом — неприступная крепость, из каждого куста — пулеметная очередь. А что творили там анархисты — уму непостижимо! Однажды они взорвали здание, где заседал ревком. Половина дома взлетела на воздух, а во второй половине, в той, что не взлетела, как раз и находились ревкомовцы. А тут Дутов. А тут разagitировали братишек — матросскую часть какую-то, и пошла потеха. Выпустили из тюрьмы уголовников — представляешь, как они гульнули?

— Не очень, но представляю, — пробормотал Марков. — А рассказываешь ты — дух захватывает, так и видишь всю картину. Жаль, что ты стихотворец, у тебя бы в прозе получалось!

Стрижов был польщен.

— Так вот. Захватили анархисты телеграф, телефонную станцию. Но больше грабили, чем воевали. Наш штаб находился на Заводской улице, в клубе коммунистов. Подоспели железнодорожники со станции Кинель. Ну, тут бунтовщиков разоружили. Только порядок наладили — а в это время подступила к Самаре десятитысячная чехословацкая дивизия...

— Десятитысячная?! — воскликнул Марков, увлекшись повествованием и совсем забыв, что собирает материалы для романа.

— Десятитысячная! Самое меньшее! А у нас и трех тысяч на всем протяжении от Самары до Сызрани не наберется. Представляешь, какая музыка получается? Сколько тут погибло дружинников под пулеметным огнем, сколько потонуло в речушке Татьянке, никто не подсчитывал. Разве подсчитаешь?

— Ты сам-то Куйбышева видел?

— А как же? Вот так он, вот так мы. Нас ведь, как прибыли, на пополнение пустили. Одних в пятую армию,

а я попал в ту партию, которую определили в двести двадцатый полк, ткачи там, иваново-вознесенцы. Шикарное знамя у них, им иваново-вознесенские мастерицы золотом и шелками его разузорили.

— А еще кого видел? Фрунзе видел?

— Да. На переправе. Но там некогда было разглядывать. Лошадь у него была красивая. Лидка. Убило ее.

Стрижов призадумался. Углы губ у него страдальчески опустились, глаза подернулись слезой.

— Сколько лошадей за войну погибло! Люди дерутся, а лошади чем виноваты? Жалко лошадей.

— А людей?

— И людей, конечно...

Разговоров было много, но с собиранием материалов в общем не получалось. Нельзя же считать достаточным для того, чтобы писать роман, увлекательных, но крайне сбивчивых рассказов Стрижова. О Бугуруслане он сумел сообщить только, что этот город стоит на высоком утесистом берегу, что в Бугуруслане и в Бугульме раньше были женские монастыри, но монахини все разбежались. Рассказал еще кое-что, но отрывочно, бессвязно. Что у красноармейцев была поговорка, когда белые отступили в Уфу, стоящую на берегу реки Белой: «Белые спрятались за Белую». Что в городе Пугачевске был сформирован полк имени Красной Звезды.

Марков понял, что ему придется изучать военное искусство, чтобы толково рассказать о скромном красноармейце Стрижове. Он начал собирать газетные и журнальные статьи, касающиеся этого периода, а также военные обзоры и воспоминания участников, которые начали появляться в печати. Он записался в Публичную библиотеку, стал проводить в ней целые дни, полюбил ее громадные залы, шелест страниц, и необыкновенную, совсем особенную тишину, и стеклянные шкафы, наполненные книгами, строгие, думающие свою думу, хранящие много тайн, много разгадок, множество формул, справок, исповедей и творческого вдохновения.

А Стрижов — Женька Стрижов, неунывающий парень, вечно бормочущий стихотворные строки, шумный и непоседливый, — жил прежней жизнью.

Если у Маркова помещали в каком-нибудь журнале рассказ, они шли со Стрижовым в столовую или даже в «Кафе де гурме» на Невском, где были ебитые сливки

со свежей земляникой, кофе и горячие пирожки, которые подавала хорошенькая официантка — не официантка, а живая реклама новой экономической политики, как утверждал Стрижов.

Стрижов восклицал, усаживаясь за мраморный столик:

— Гарсон! Симпровизируй блестящий файв-о-клок!

Официантка улыбалась, а Марков вглядывался, вглядывался в своего избранника, будущего героя ненаписанного романа.

Веселый парень. Его ничуть не портит маленькая хромота — результат ранения. Стихов пишет мало, еще меньше его печатают. Он не унывает. Говорит, что мать делает какие-то вышивки и продает. На это они в основном и существуют.

— Михаила Кузьмина тоже мало печатают, — беспечно философствует Стрижов. — Что поделаешь? Не все годится, в каждую эпоху различный спрос.

И Стрижов декламирует:

Я старика не корю:
Что тут поделаешь, если
Не подошли Октябрю
Александрйские песни!

— Это — о Кузьмине? А о тебе?

— Обо мне тоже есть:

Не пиши ты ни элегий,
Ни стихов про небеса;
Пропадай твоя телега,
Все четыре колеса!

— Женька! А ты разве про небеса пишешь?

И тут, за столиком кафе, доедая третью порцию сбитых сливок, облюбованный Марковым герой вдруг обнаружил какую-то трещинку. Это встревожило Маркова. Его герой явно сворачивал куда-то не туда! Что за меланхолия? Что за мрачные нотки? Что за жалобы на эпоху? Сказано: не пищать!

Они расплатились (то есть Марков расплатился, у Стрижова, по обыкновению, не было ни гроша) и вышли на улицу. На улицах продавали пучки верб и ярко-желтые веточки мимозы, пахнувшей сладко и томительно.

Стрижов продекламировал:

Вербы распутившуюся ветку,
Улыбаясь, носим мы в руках.

— Нет, — несговорчиво промолвил Марков, — ты погоди с вербами, ты мне насчет пропадающей телеги объясни. Для меня это ново, что ты кислятину разводишь и с эпохой в разладе!

Стрижов неестественно громко рассмеялся:

— Всякое бывает. Ты романистом собираешься стать, а как стать романистом без конфликтов?

И Стрижов долго, путанно и как-то надрывно говорил, что вот этой улыбающейся официантке и жирной бабще у кассы, хозяйке кафе, он бы с удовольствием по физиономии съездил:

— Купцы! Спекулянты! Хари самодовольные! Тебе что! Малюешь одной краской — розовой — и пребываешь в некоем кудрявеньком облачке, как херувимчик на иконостасе. Не видишь разве, что вокруг творится? Впрочем, конечно, не видишь и не слышишь — на глазах шоры и уши ватой заткнул...

Марков слушал с ужасом — его герой, как плохой актер, перехватывал чьи-то чужие реплики. Весь замысел романа летел в тартарары! И что с ним случилось? Ведь всегда они были едины во взглядах и настроениях?!

Стрижов говорил, говорил... Они прохаживались по Невскому, мимо Екатерининского сквера, мимо Сада Отдыха, мимо Аничкова дворца, по мосту с флотовскими конями, доходили до Владимирского проспекта и поворачивали назад. Весеннее солнце пригревало, носились терпкие запахи мимозы и тополей, в сквере капали внешние капли с мантии Екатерины Второй прямо на Дашкову, на Потемкина, на Румянцева... А приятели все бродили и бродили.

Марков больше слушал, и ему начинало казаться, что, может быть, в чем-то Стрижов и прав? Очень уж не вяжется новый облик города с тем, что они привыкли видеть в годы фронтовой жизни, в годы гражданской войны. И действительно, противная харя у хозяйки кафе, это он тоже заметил. Чье это стихотворение «Черная пена» продекламировал Стрижов? И где слышал Марков стереотипную фразу, которую Стрижов настойчиво повторял: «За что боролись?» И откуда у него эти поговорки, которые он произносит с надсадной злостью: «Хорошо затынул, да осекся» или «Спросили бы гуся, не зябнут ли

ноги»... Это он к чему же? И что это вдруг в прозе заговорил?

4

Миша Марков стал с некоторых пор Михаилом Марковым и даже Михаилом Петровичем Марковым, начинающим писателем, автором небезызвестного рассказа «Отчий дом», который так понравился Крутоярову.

Однако, несмотря на то что он был Михаил Петрович и автор небезызвестного рассказа, ему здорово пошло от того же самого Крутоярова.

Откровенно говоря, и стоило. Маркову вовсе не свойственно было унывать, хныкать, его никогда не обуревали сомнения. Он и теперь не имел в виду себя, а пустился в рассуждения вообще и в частности:

— Хорошо тем, кто участвовал в гражданской войне! Вот когда можно было совершать сколько угодно подвигов и моментально сделаться героем! А попробуй проявить героизм сейчас, во время нэпа! Разве что прославиться как лучшему директору универмага?

— Эка сказанул! Абсолютная чушь! — сразу вспылil Крутояров. — Вообще нет такого времени, когда человек не мог бы совершать славных полезных дел. А уж сейчас тем более. Ведь это только говорится, что настало мирное время. Ни черта оно не настало! Идет самая ожесточенная схватка нового и старого, и, как говорится, с переменным успехом.

— Да какая же это схватка, Иван Сергеевич, — взмолился Марков, — если уж дошло до того, что прежних лавочников пригласили разворачивать торговлю!

— Милейший, да ведь это же маневр! Как не понять этого? А еще военный! Чистейшей воды маневр, обходное движение: заставить самого врага собственными же руками подкрепить силы революции, залатать дыры, образовавшиеся за годы войны, привлечь на свою сторону мужичка с его двойственной натурой... Вряд ли за всю историю человечества совершался более мудрый государственный акт. Вместе с тем нэп — хо-орошенькая проверка. Если в тебе жива обывательская закваска, ты сразу клюнешь на нэповские калачи!

— А если не клюнешь? Какие же подвиги совершать? Поругивать нэпманов?

— Строить! Воспитывать! Господи боже мой! Прорва дел! Не воображаете же вы, что у нас одни пресвятые угодники, что за границу уехали все контрреволюционеры, все подхалимы, все взяточники? Предостаточно осталось и здесь! И элементарных дураков немало, и пришившихся вражин, и полный комплект обывателей... Эх, Марков, Марков! Тут еще десятилетиями придется пни выкорчевывать! И опять же не могу не вспомнить Котовского. Вот человек действия! Он не пускается в рассуждения, он действует. Не дожидается каких-то гигантских сверхмероприятий, с жаром берется за всякое дело, если видит в том пользу, или, как он называет, политический эффект. С этой точки зрения он и есть новое явление, новый человек. А для нашего брата писателя не первейшая ли задача подмечать, подхватывать ростки нового и новое прославлять? Так вот, дружище, никто вас не назначает директором универмага, и не так просто быть директором универмага, как вам представляется. К вашему сведению, сейчас многие командиры-коммунисты пошли на хозяйственные посты. Да и Григорий Иванович, я слышал, пооткрывал корпусные лавки, наладил кожаный завод, изготавливает сахар и даже делает кирпичи. Стыдно ничего не делать, а делать полезное — почетно!

Долго отчитывал Мишу Крутойяров. Миша молчал и сгорал со стыда. Вот так романист! Меж двух сосен запутался, чуть не оказался на поводу у своего предполагаемого героя! Вот так котовец! Растерялся перед нэпманшей из «Кафе де гурме»! Не разобрался в обстановке! Надо читать, голубчик, газеты надо читать, подковываться надо! Сам же Стрижов как-то говорил, что человек должен иметь мировоззрение. Какое у него мировоззрение? Куда его повернуло? Ведь это троцкисты кричат, что революция перерождается? Ведь это эмигранты потирают раньше времени руки?

После разговора с Крутойяровым Марков стал настороженно относиться к приятелю. Тот почувствовал сразу, что между ними пробежала черная кошка. Они стали реже встречаться, меньше беседовать. Стрижов при встрече не стал громогласно читать стихи. А однажды Марков сделал еще одно неприятное открытие: когда они сидели рядом в литстудии, от Стрижова пахло водкой.

Все более в отношениях Маркова и Стрижова нарастал холодок.

ШЕСТАЯ ГЛАВА

1

Казалось бы, все складывалось как нельзя лучше у Николая Лаврентьевича Орешникова. Он мог быть доволен своим служебным положением. Сокращение Красной Армии и демобилизация его не коснулись. Он так и остался, как был, командиром полка. В полк пришли новобранцы, и Орешников с увлечением занялся настойчивым воспитанием молодежи.

Большой радостью было узнать, что и родители Орешникова живы-здоровы, как жили, так и живут в Петрограде, на Васильевском острове, на 3-й линии, недалеко от кирки. А сестры повыходили замуж и разъехались в разные города.

Орешников даже ездил в Петроград навестить стариков. Мать плакала от радости, отец делал «гым-гум», которое у него принимало разные оттенки и могло выражать удивление, удовольствие или сомнение, неодобрение. Николай Лаврентьевич рассказал им не очень подробно, выбирая не самое страшное и трудное, о своей мятежной жизни: о том, каким образом попал в деникинскую армию, о том, какая была в то время Одесса, о том, как у него произошли встречи со знаменитым Котовским, подпольщиком и революционером, а затем, совсем уже кратко, как попал в плен и был спасен от расстрела тем же Котовским.

— Совсем как в «Капитанской дочке» Пушкина, гым-гум, — подал голос отец.

А мать нашла вполне подходящим момент, чтобы снова расплакаться. Она, как всегда вообще, так и сейчас, ровно ничего не понимала в происходящем вокруг. И зачем это русские сражаются с такими же русскими? Отчего это вдруг стало мало продуктов, куда они подевались? Отчего это снова стало много продуктов, но денег стало мало? Она была очень старенькая, и весь круг ее интересов сосредоточивался на «папе», как она

называла супруга: почему это у него стал плохой аппетит... и вот опять кашлять стал больше, наверное под форточкой сидел...

В общем, Орешников был рад, что мать и отец живы, что даже мебель в квартире как стояла до революции, так стоит и сейчас, только одну комнату присоединили к соседней квартире, пробив в стене дверь и замуровав отсюда.

— Так даже лучше, — примирительно говорила скороговоркой старушка, — дров меньше идет, а то ведь не напасешься. Двух комнат нам предостаточно, танцевать не приходится. В одной комнате мы студентку поселили, куда ж ей деваться? Да и очень за нее Красовские просили. А в другой мы с папой. Танцевать не приходится.

Орешников познакомился с квартиранткой-студенткой, белокурая такая. Раз они поговорили, два поговорили, а когда отправились вместе в театр, тут Капитолина Ивановна и догадалась:

— Папа, никак нам свадьбу в доме играть, а у меня и рюмки все мухами засижены.

Она не ошиблась. Еще отпуск у Николая Лаврентьевича не кончился, когда он сообщил, будто случайно, за столом, передавая тарелку с хлебом:

— Дорогие родители, можете поздравить нас, мы с Любашей записались сегодня в загсе.

Женитьба принесла много радостей Орешникову, а еще больше — Капитолине Ивановне. И с детьми ждать ее молодожены не заставили. Родился Вовка, беловолосый, в мать, глаза голубовато-серые, голос пронзительный, даже через замурованную дверь к соседним жильцам проникает, и там всегда знают, спит Вова или бодрствует.

Орешников бывал дома наездами. Любаша не хотела бросать университет, а бабушка не хотела расстаться с внуком. Тем не менее семья у Орешникова получилась дружная, и все было хорошо.

Но все-таки, все-таки была у него ссадина на душе: все ему казалось, что он пасынок в армии, что ему не доверяют. Пленный! Белогвардеец! Золотопогонник! Военспец! Чужой! А какой черт чужой? Отец — старый интеллигент, ни своих магазинов, ни своих имений у них не заветалось. Нашли эксплуататора! Всю жизнь лямку тянул... А сам Орешников? Недоучка, скороспелый офи-

цер... Швыряло его как щепку. Разве он по своей воле покинул Путейский институт? Забрали и отправили в школу прапорщиков. Разве он пробирался, переодетый, к Краснову или еще куда-нибудь, на Дон, на юг, в стан очередного незадачливого белого генерала? Ничего подобного, всех офицеров, под метелку, забирали тогда в ряды белых. Но даже если бы сам пошел? Ведь простили? Сколько же раз судить за одну и ту же вину? Разве не доказал он с тех пор всей своей деятельностью, что служит и будет служить новой России, не изменит, не продаст, не совершит ни одного бесчестного поступка? Так зачем же косые взгляды, недомолвки, уколы самолюбия на каждом шагу, постоянное отгораживание: вот здесь вы, а с этой черты мы, просим не смешивать!

Иногда Орешников придирчиво проверял себя: не излишняя ли мнительность у него развилась? Не выдумывает ли он все эти уколы и недомолвки? Нет, не выдумывает! И необычайно болезненно воспринимает! Становится неестественным, постоянно настороженным. Становится обидчивым, самолюбивым. Становится не самим собой, а вследствие этого еще более отчужденным. Постоянное ощущение, что ты чужой, что ты — кто тебя знает — может быть, примазываешься, может быть, за тайлся? — все это изводило Орешникова.

2

Узнав, что Григорий Иванович Котовский формирует корпус и постоянно проживает в Умани, Орешников решил поехать к нему, чтобы поговорить обо всем начистоту, со всей прямоотой и откровенностью, отвести, что называется, душу.

Котовский встретил радушно, оставил у себя ночевать, потчевал обедом, даже показал сына, чего не каждый удостоивался.

— Вот, брат, растет смена!

— Да ведь и у меня, Григорий Иванович, сын.

— Неужели! Поздравляю! Что же вы не известили хотя бы письмом? Леля! Слышишь, какая новость? У Николая Лаврентьевича сын! Сколько же ему? Леля! Ты слышишь? Уже скоро четыре года! Молодец! Имя какое выбрали? Леля! Ты слышишь? Вовка у них! Уди-

вительное дело все-таки... Представляете, пройдет столько-то лет, нас уже не будет, Вовка будет уже не Вовка, а Владимир Николаевич, мой Гришутка будет уже не Гришутка, а Григорий Григорьевич... И будет у них своя какая-то жизнь, своя судьба, может быть даже не предусмотренная нами, своя собственная... Встретятся, скажут: «Кажется, наши отцы знали друг друга? Постоите-ка, давайте разберемся — значит, и мы с вами через отцов вроде как знакомы? Не правда ли?» И ничего плохого о нас не скажут, даже, может быть, похвалят: дескать, папы у нас были что надо! Удивительно все это получается!

— Немножко не так, — поправил Орешников. — Ваш-то, безусловно, скажет: «Славную жизнь прожил мой отец, с благодарностью вспоминают его люди!», а мой Вовка вздохнет и виновато признается: «А у меня отец, знаете ли, из белогвардейцев, чуждого класса. Но был помилован великодушной Советской властью».

Котовский пристально посмотрел на Николая Лаврентьевича, и мечтательная улыбка растаяла у него на лице. Ах вот оно что! Ущемлен человек, что-то у него не клеится!

— Что-нибудь случилось? Обидел кто? Давайте, давайте, выкладывайте без обиняков.

Орешников стал рассказывать. И как только стал рассказывать, самому вдруг представилось все таким мелочным, пустяковым. Даже неловко было — ради чего же он специально приехал к Котовскому? На что жаловаться? Где факты? Ничего конкретного нет! И на хорошем счету, и орденом награжден...

Но Котовский понял, не нашел жалобу Орешникова мелочной, уловил даже то, что осталось невысказанным в сбивчивом и взволнованном его рассказе.

— Есть! Есть это у нас! — с огорчением говорил Котовский, морщась, как от боли. — Есть это комчванство и хвастание пролетарским происхождением! Отвратительная черта! Слава богу, от души поздравляю, очень за тебя рад, если ты родился в семье свинопаса, или молотобойца, или волжского грузчика. Это похвально, это ценно. Но расскажи еще, что ты делаешь для революции, как ты живешь? Не шкурничаешь ли? Не пьешь ли запоем? Не бьешь ли смертным боем жену? Да, рабочий класс в содружестве с крестьянством ведет нас к побе-

дам. Это факт. Но если человек и из чуждого класса встал на сторону революции, зачем же упрекать его происхождением?! Недавно я в Москве с Куйбышевым встретился — какой деятель, какой революционер! А происхождения непролетарского. Или Коллонтай — дочь генерала, а мы ее полпредом в Норвегию послали. Мало ли таких? А вот я другого знаю — командир, член партии, и происхождение отличное, а копни глубже — дрянцо порядочное. Как видите, здесь нужен сугубо индивидуальный подход. У меня начальник штаба корпуса — в прошлом царский полковник, а как работает! Товарищ Фрунзе организовал в Харькове общество ревнителей военных знаний, и там есть бывшие царские офицеры...

— Обидно читать, когда нашего брата, военных специалистов, обзывают «холопами всякой власти» да говорят, что нас можно использовать только в роли денщиков.

— Где это вы вычитали?

— Отец подшивает комплекты газет. Он и показал мне «Петроградскую правду». Кажется, Лашевич и Зиновьев обрушиваются.

— Так это давнишнее дело! За какой год подшивка? За восемнадцатый? Вот это вы удосужились прочитать, а как Ленин высказался на этот счет в письме ЦК, где призыв на борьбу с Деникиным, — этого не знаете? А там прямое осуждение такого неверного тона по отношению к военспецам и заявление, что партия будет исправлять эти ошибки. Так вот, Николай Лаврентьевич, всем, кто хочет добросовестно у нас работать, широко открыты двери. И мне все-таки кажется, что вы немножко предвзято смотрите на отношение к вам. Конечно, со временем Красную Армию постараются обеспечить командирами из народа. Это ведь вполне законное стремление. Но многие царские офицеры служили и служат в Красной Армии. А уж вас-то, я не знаю, кто мог чем-нибудь попрекнуть?

— Как! А служба в белой армии?

— Я-то об этом лучше других знаю!

— Потому что взяли меня в плен?

— Нет, не поэтому. А потому, что белый офицер Орешников узнал переодетого подпольщика Котовского и не подумал даже выдать его! Даже глазом не морг-

нул, хотя ехал с ним в одном вагоне и беседовал всю дорогу на возвышенные темы!

— Ах, это? Но ведь у интеллигенции есть особый род предрассудка: стыдно доносить. Даже в школьные годы у нас никто так жестоко не преследовался, как ябеды и фискалы.

— Хорошо. А какой предрассудок заставил вас выручить меня, когда я отбивался от деникинского патруля в Одессе? Какие соображения подсказали вам предупредить меня на званом обеде у французского военного атташе? Нет, Николай Лаврентьевич, не преуменьшайте ваших достоинств. И не проявляйте излишней скромности. Что вы мне твердите про белую армию?! Выводы: сейчас мы познакомимся с кулинарным искусством Ольги Петровны, а затем, если не возражаете, махнем в Харьков, к Михаилу Васильевичу Фрунзе.

— Что вы! Это неудобно...

— Что именно неудобно? Позавтракать? Или поехать к Фрунзе? Так позвольте вам сказать, что и то и другое и удобно, и приятно, и необходимо.

3

Все волновало в эти годы! Большое дело — одержать победы на всех фронтах, разбить армии Май-Маевского, Сидорина, Врангеля, уничтожить Колчака, выгнать Пепеляева, разбить в пух и прах Пилсудского, вернуть стране леса и степи, города и доли... Но как только образовалась передышка, так обнаружилось столько неотложных нужд, столько сложностей, затруднений!

Об этом велись нескончаемые беседы на квартире Михаила Васильевича Фрунзе, в бытность его в Харькове на посту командующего всеми вооруженными силами Украины и Крыма. Да и о чем только не велись там разговоры!

Григорий Иванович Котовский частенько навещался в Харьков. Приезжал он не только по долгу службы, но и по личному влечению к семейству Фрунзе.

— Много вопросов накопилось, — оправдывался Григорий Иванович, появляясь в приветливом доме Фрунзе. — Да и соскучился о всех вас. Уж больно хорошо чувствуешь себя в вашем доме!

— Говори прямо: захотелось сибирских пельменей отведать! — смеялся Михаил Васильевич, радушно встречая гостя.

Удивительное дело: были они большие друзья, по своему складу подходили друг к другу, но, как ни настаивал Фрунзе, чтобы они перешли на «ты», как ни договаривались об этом, даже пили на брудершафт со всей подобающей церемонией, Котовский снова сбивался и называл Фрунзе на «вы», а Фрунзе, раз навсегда признав Котовского верным другом и полюбив его, не мог к нему обращаться иначе как на «ты», что вызывало много шуток и добродушных пререканий.

— Я же понимаю, — подмигивал жене Фрунзе, — ты, Григорий Иванович, не можешь иначе: ведь я как-никак начальство!

— Не в том дело, — возражал Котовский. — Уважаю я вас. Уж на что, кажется, я не тихоня, но не получается у меня. Я вот старше вас на четыре года, а вы мне представляетесь ровно бы старше меня — старшим братом, учителем...

— Довольно вам объясняться в любви, — смеялась Софья Алексеевна. — Пельмени остынут!

Даже и в этом очень сходны друзья: как у Котовского, так и у Фрунзе не переводятся в доме люди — приезжие и местные, старые и молодые, сослуживцы и знакомые. Так же, как и Котовский, они души не чаяли во Фрунзе и были закадычными приятелями его детей — бойкой Танюшки и солидного, серьезного Тимура. И когда выпадали коротенькие минуты отдыха, в доме царило согласие, щебетали дети, звучал раскатистый смех. Так хотелось, чтобы дети не знали передрыг, опасностей, трудностей, с какими сталкивались их отцы!

Командиры, знававшие посвист пуль и грохот оружейной пальбы, сами становились детьми. Начальник штаба Новицкий великолепно изображал слона. Сиротинский с неподражаемым искусством мяукал. И кто бы сказал в этот момент, что солидный усатый папа — это и есть командующий всеми вооруженными силами Украины и Крыма! Тимур, восседая на его плечах, был глубоко уверен, что это не папа, а самолет, на котором Тимур мчится в заоблачные выси...

Часто присоединялся к этой компании Котовский. И тогда непременно заставляли его рассказать о том, как

он организовал отряд мстителей, как совершил побег с каторги, как выбрался из железной башни Кишиневской тюрьмы, как ворвался в Одессу, занятую белогвардейцами, как истребил тютюнниковскую банду.

— Ух и ненавидят же тебя во вражеском стане! — с удовольствием отмечал Фрунзе.

— Если враг люто ненавидит, значит, ты правильно действуешь. Верный признак!

Котовский, увлекшись, рассказывал одну историю за другой. Доходила очередь до Фрунзе. Но как только он принимался рассказывать о камере смертников, о каторжной тюрьме, тотчас появлялась Софья Алексеевна:

— Пелевельнем? — с лукавой улыбкой спрашивала она мужа.

И если кто-нибудь из присутствующих не знал еще происхождения этого «пелевельнем», ему спешили сообщить.

Дочери Танюшке Софья Алексеевна читала на сон грядущий сказки. Когда девочка стала подрастать, Софья Алексеевна придумала не столь редкий воспитательный прием, к которому любят прибегать молодые матери. Она вкладывала в книжку написанный ею листок, в этой самодельной сказке описывалась некая русоголовая девочка... не Таня, а Тамара или Тася. Из дальнейшего содержания сказки выяснялось, что эта самая Тамара или Тася, подозрительно смахивающая на Танюшку, не слушалась маму, разбила чашку, бегала по садику без пальто и могла простудиться... Наконец терпение слушательницы исчерпывалось. Танюша, хитро поглядывая на мать, мусолила пальчик и предлагала: «Пелевельнем?» — то есть: перевернем эту страницу, где такие противные намеки и такие прозрачные описания.

Это «пелевельнем» вошло в обиход и имело большой успех в семействе Фрунзе. Когда требовалось переменить нежелательную тему, закончить неприятный или утомительный разговор, кто-нибудь из домашних предлагал:

— Пелевельнем!

И тогда общая напряженность рассеивалась, все улыбались и, весело балагурия, шли пить чай.

Хорошо, необыкновенно хорошо дышится в семье Фрунзе. Друзья, соратники Михаила Васильевича любят бывать у него. Даже совсем посторонние люди ста-

раются под каким-нибудь предлогом побывать у Фрунзе и свести с ним знакомство.

Местный старожил, профессор-историк Зиновий Лукьянович Кирпичев начал с того, что попросил какую-то книгу. Затем пришел, чтобы ее вернуть. Затем просто зашел «на огонек».

— Книгу-то я у вас брал только ради предлога, чтобы познакомиться со столь выдающейся личностью, — признался он. — В университетской библиотеке у нас, если угодно знать, давненько перевалило за сто пятьдесят тысяч томов, да и моя личная библиотека — может, когда поинтересуетесь? — тоже не из последних.

Кирпичев при этом пристально поглядел на Михаила Васильевича из-под мохнатых седых бровей и отрывисто спросил:

— Командующий всеми вооруженными силами Украины и Крыма? Уполномоченный Революционного военного совета республики? Так я понимаю?

— Так, — подтвердил Фрунзе, с любопытством наблюдая посетителя и не понимая, куда он клонит.

— Всеми вооруженными силами! Всеми! Надо же! Простите, я штатский человек... Такое звание ведь будет куда выше звания харьковского губернатора?

— То совсем иное.

— Но масштабы-то, масштабы несоизмеримы? Я к тому, что мы сидим, как ни в чем не бывало, разговариваем, и чаю вы предложили... А князь Оболенский... да разве можно было помыслить... Я к нему как-то обращался по поводу университетской библиотеки... Боже милостивый, какая помпа!

— При чем же тут Оболенский?

— Как при чем? Очень даже при чем! Когда Оболенский был харьковским губернатором, он задавал такого фасону! Принц! Да что там принц! Падишах! Фараон египетский! Надо, впрочем, признать, что внешность его импонировала. В том числе импонировала сыну...

Кирпичев не любил не договаривать:

— Мой сын... Он из их стаи. От него я и знаю, чем кончил Оболенский. Его пристрелил казак, молодой хлопец, у которого князь заporол когда-то до смерти невесту... Ну, это долгая история и к нашему разговору не

имеет отношения... Я только о сыне... Тут такое сплетение обстоятельств. Видите ли, он присутствовал в девятьсот пятом при экзекуции, когда поролли эту дивчину... он же в гражданскую войну, находясь у белых, во врангелевской свите, сам видел, как Оболенский, убитый наповал, свалился с лошади... и затем он же, мой сын, самолично расправился с этим хлопцем... Одним словом, что я хочу сказать... Я штатский человек, Михаил Васильевич. Раньше не очень-то разбирался. Вы знаете, когда получаешь более чем скромный паек, с большим трудом добываешь сырые дрова, испытываешь все неудобства, если можно так выразиться, исторически сложившегося переходного периода, то не сразу охватишь умом, что к чему и чем кончится. А сейчас немножко кумекаю. И раз уж я коснулся этой темы, я должен доложить вам все до конца, без увиливания. А именно: сын профессора Кирпичева — белогвардеец. То есть — враг. Враг революции.

— А-а! — только и мог произнести Фрунзе, никак не ожидая такого признания.

— Но если сын за отца не ответчик, — поспешил добавить Кирпичев, — то и отец за сына — тоже?

— Да-а, — в раздумье произнес Фрунзе, — смятенное время! Всякое бывает!

И не стал расспрашивать, каким образом сын профессора очутился у Врангеля и какова его дальнейшая судьба.

Кирпичев стал часто бывать у Фрунзе, и вскоре все уже знали и то, что Зиновий Лукьянович любит крепкий чай, и то, что Зиновий Лукьянович тридцать лет безвыездно живет в Харькове, и даже то, что вот уже давно пишет он труд «Харьковский университет, его настоящее и прошлое».

— Полный кворум! — смеялся Фрунзе, когда в доме собирался народ. — Только Зиновия Лукьяновича не хватает! — и посылал одного из гостей за Кирпичевым.

4

— Итак, едем к Фрунзе, Николай Лаврентьевич! — повторил Котовский.

И они отправились после завтрака на вокзал, предварительно изучив расписание поездов. Орешников от-

говаривался и по мере приближения к цели все более смущался.

— Ну что я ему скажу? Зачем явился?

— Я буду говорить.

Однако тотчас, как очутились они в уютной квартире Михаила Васильевича, смущение прошло, осталось лишь светлое чувство радости, ощущение семейного согласия, атмосферы деятельности и творческого горения.

У Котовского было достаточно такта, чтобы не поставить человека в неудобное положение, когда в его присутствии рассказывают о его же добродетели и благородных поступках.

— Познакомьтесь! Мой старый друг, заядлый рыболов, знакомы еще по Кишиневу. Николай Лаврентьевич Орешников. Прошу любить и жаловать.

— Очень приятно познакомиться, — отозвался, улыбаясь, Фрунзе. — Рыболов, говорите? Чудесное занятие! Если рыболов, значит, и природу любите, значит, знаете, что такое роса на траве, полосы тумана, сонная гладь реки... и такая свежесть пронизывает... Я люблю пред-рассветные часы в лесу — я, к вашему сведению, заядлый охотник.

— Мы приехали разрешить спорный вопрос... — продолжал Котовский.

Орешников покраснел, полагая, что вот сейчас и начнется повествование о том, как благородно поступил Орешников, как выручил из беды подпольщика Котовского-Королевского.

— Сделаю все, что в моих силах! — отозвался Фрунзе, пока еще ничего не понимая, но заметив, как вспыхнул Орешников и как готов был протестовать.

Котовский продолжал с самым серьезным видом:

— Вот уже несколько лет мы с ним спорим и не можем прийти ни к какому решению. Скажите, Михаил Васильевич, когда рыба лучше клюет — перед дождем или после дождя?

От неожиданности расхохотались и Фрунзе, и Орешников, а вошедшая в этот момент Софья Алексеевна с благодарностью посмотрела на Котовского и с удовольствием на мужа.

Сразу исчезла напряженность, всем стало просто и приятно. Орешников разговорился и рассказал о рыбной

ловле множество наблюдений и примет. И так же беззаботно рассказал Котовский о своих встречах с Орешниковым, пересыпая рассказ смешными словечками, острыми характеристиками.

Фрунзе все понял, это видно было по его умным глазам, в которых искрилось веселое лукавство.

— Ну что ж, товарищи рыбаки, мы все это обсудим. А мне тоже кое о чем надо посоветоваться...

И завязался оживленный обмен мнениями. Фрунзе рассказывал о перестройке Красной Армии, Котовский — о жизни 2-го корпуса, Орешников — о новом призыве в ряды армии, об удачах и неполадках, о перевооружении, о военной технике.

Когда Орешникову было представлено младшее поколение семьи — Танечка, смотревшая на незнакомого человека исподлобья, и беззаботно-оживленный Тимур, — Котовский немедленно сообщил, что у Орешникова тоже сын — четырехлетний Вова.

— А где он? — заинтересованно спросил Тимур, на что Танюша по-взрослому, с той снисходительностью, с какой девочки разговаривают с младшими братьями и сестрами в присутствии старших, пояснила, что дядя здесь не живет, приехал из другого города — ту-ту-ту! — и поэтому Вова не может прийти к ним в гости.

— Пусть он приедет на поезде! — безапелляционно решил Тимур.

Всем понравилась железная логика его рассуждений.

— У них на все своя точка зрения! — воскликнул оживившийся Орешников. И не утерпел, чтобы не рассказать о своем Вовке: — Недавно моя жена растолковывала за обеденным столом всем домашним, какое будет устройство в коммунистическом обществе. Бабушка наша недоверчиво поджимала губы, отец издавал неопределенное «гым-гум» (такая у него привычка), а Вовка слушал крайне внимательно, видимо ухватывая самую суть. И вдруг он спросил: «И все будут давать бесплатно?» — «Да, Вова, — с гордостью ответила Люба (это моя жена), — и ты это время увидишь». — «И хлеб бесплатно? И ездить в трамвае бесплатно?» Мы смотрели на Вову с любопытством и с некоторым самодовольством подтвердили: «Ну конечно, Вова! И в театр бесплатно, и квартира бесплатно, и одежда бесплатно». Наш Вова был в полном восторге. С минуту он мысленно

прикидывал и вдруг выпалил при общем молчании: «Вот здорово! А деньги копить будем!»

— Черт возьми! — хохотал Фрунзе. — Вот это сказал! А вы говорите!

— Что-что? — вернулась из кухни Софья Алексеевна. — Я немножко недослышала... Как он сказал? Что копить?

Орешникова заставили повторить все сначала, и снова все от души смеялись.

Детей отправили спать, и разговор снова принял другое направление. Котовский, отнюдь не ссылаясь на Орешникова, изобразил Михаилу Васильевичу двусмысленное положение военспецов, находящихся в рядах Красной Армии.

— Почему, собственно, они должны быть пасынками? — с обычной горячностью и напористостью говорил Котовский. — Право умирать рядом с нами в бою мы им предоставили, тем самым они стали с нами вровень, нельзя их считать вторым сортом, нельзя допускать уколов их самолюбию!

— Конечно, — согласился Фрунзе. — Я об этом говорил и говорю, да так оно и будет в ближайшем будущем.

Софья Алексеевна, то накрывая на стол, то возясь в кухне, все время в хлопотах, поминутно входила и выходила, но не теряла нити разговора.

— Ну, товарищи, вы теперь пропали! — объявила она, услышав последние слова мужа. — Теперь вам придется выслушать доклад о единой доктрине, о реорганизации армии, это у нас целые дни до глубокой ночи, а затем Михаил Васильевич закрывается в кабинете, и это уже до утра... О единоначалии не говорили? Подождите, будет и о единоначалии!

Фрунзе лукаво посмотрел на жену:

— Софья Алексеевна не ошиблась, о единоначалии я не могу не заговорить. Казалось бы, дело очевидное, а сколько споров, сколько шумихи вокруг этого вопроса, и все под маркой блюстителей революционности!

— Троцкий, конечно? — спросил Котовский отрывисто и хмурясь.

— Да, и он. Все норовят Ленина подправить и свои куцые идейки протащить! Приглядишься — и что же видишь? Оказывается, с кем эта публика солидаризируется — с реакционерами, выступавшими на страницах

покойного журнала «Военное дело»! Ведь и они, как Троцкий, утверждали, что мы плохо воевали, то есть не по тем правилам, которые преподавали в Академии генерального штаба при царе.

— Плохо воевали, а морду всем набили, и баронам и адмиралам, — проворчал Котовский.

— Дореволюционным военным кругам, — напомнил Орешников, — было присуще поклонение иностранным образчикам, особенно немецким. Только лучшая часть русского офицерства училась военному делу у Суворова и Кутузова, у Румянцева и Петра Первого.

Орешников затронул вопрос, волновавший Михаила Васильевича.

— Я изучал постановку военного дела за рубежом. Основа германской военной доктрины — ярко выраженный наступательный дух. Это хищническое государство готовит армию для захвата, для грызни с конкурентами. В упоении германская военщина утрачивает чувство реальности. Клаузевиц полагал, что военный успех зависит исключительно от разума полководца. Но ведь есть еще экономика, техника — тоже немаловажные факторы! А народ?! Недооценка противника, преувеличение роли внезапности, излишний апломб — вот порочная сердцевина германской доктрины. А для Франции характерны неуверенность в своих силах, неспособность смело искать решения боя. Надо отметить переобременение французской армии новой формации элементами техники. Батальонам придаются танковые взводы, ротам — огромное количество пулеметов... И это не случайно: капиталисты больше надеются на мертвую технику, чем на живых людей, — кто их знает, этих людей. Очень своеобразно решает военный вопрос Англия. У нее установка — иметь флот, равный соединенным флотам двух сильнейших морских держав. С появлением на мировой арене такого соперника, как Соединенные Штаты, Англии придется придумывать что-нибудь новое...

— Если будет перечислено еще несколько держав, — вмешалась в разговор Софья Алексеевна, — то твои гости умрут с голоду, а ты будешь за это отвечать.

— В самом деле, товарищи, — спохватился Фрунзе, — чего это мы стоим? Идемте к столу!

— Софья Алексеевна! Мы же еще не поговорили о единоначалии, — рассмеялся Котовский.

— Подождите. Продолжение, вероятно, еще следует!

Предсказание Софьи Алексеевны сбылось: Михаил Васильевич вернулся к этому разговору. Он рассказал о том, что еще в 1920 году Ленин решительно высказывался за переход армии к единоначалию, как единственно правильной постановке работы. Коснулся Михаил Васильевич и споров с оппозиционерами. Наконец сообщил, что единоначалие в Красной Армии — вопрос решенный.

— Ведение боя, — говорил он с убеждением человека, выносившего свои идеи, — есть в конце концов творческий акт, который только тогда наиболее продуктивен, когда командиру, получившему приказ вышестоящего начальника, обеспечено единство командования, полнота власти над подчиненными.

— А если командир беспартийный? Как же быть с политическим руководством? — настойчиво спрашивал Орешников, имея в виду, конечно, себя.

Фрунзе внимательно посмотрел на Орешникова:

— Вы спрашиваете о беспартийных командирах? Но ведь советских? Но ведь наших? Но ведь пополняющих знания и, значит, изучающих марксизм?

— Да! — искренне рассмеялся Орешников. — Вы очень хорошо ответили на мой вопрос! А вот о военной доктрине — я имею в виду нашу военную доктрину — в чем ее суть?

— Представьте, Николай Лаврентьевич, выступаешь иной раз на совещании, присутствует исключительно командный и комиссарский состав, а приходится защищать, казалось бы, бесспорное положение: что для командного состава необходимо единство взглядов. А ведь это и есть единая военная доктрина.

— Понятно!

— Некоторым слово «доктрина» не нравится. Но дело-то не в названии? Как вы думаете?

— Как же назовешь иначе? Я под единой военной доктриной подразумеваю определенный выработанный взгляд на весь комплекс порядков, методов, задач армии, принятый в том или ином государстве.

Сказал это Орешников и смутился.

— Как? Как вы сказали? — оживился Фрунзе. — Чуть-точку скомкали, но в основном, кажется, верно. У Германии свои установки, у Франции свои. А наша еди-

ная военная доктрина тем более должна существенно отличаться от других, ведь и Советская держава — государственное образование совершенно нового типа.

Фрунзе рассказал, какие споры поднимались по этому поводу, как некоторые люди договаривались до того, что никаких доктрин нам не надо и что вообще военной науки не существует...

— Да уж, не существует! — проворчал Котовский. — Я вот корплю иногда целыми ночами, хотя всего лишь заочник... Легче легкого безответственные фразы запускать!

Беседа перекинулась на другие темы. И вдруг, без всякой видимой связи, Фрунзе обернулся к Орешникову и спросил:

— Вы бы не возражали, Николай Лаврентьевич, против перевода в Петроград? Тем более что и семья у вас там...

Орешников даже вспыхнул от столь неожиданного и лестного предложения, особенно когда Фрунзе назвал при этом довольно высокий пост.

— Но ведь я беспартийный...

— Об этом мы, по-моему, уже толковали. У нас сейчас очень высокий процент партийных среди командного состава. Но о многих беспартийных, которые работают с нами, смело можно сказать: хорошо было бы иметь побольше таких партийцев, как эти беспартийные!

И в эту минуту Орешников понял, что — помимо общих рассуждений о военной доктрине, о кадрах — между Котовским и Фрунзе шел еще другой разговор. Котовский «между строк» рассказал о всех переживаниях Орешникова и дал свою рекомендацию, а Фрунзе тотчас прикинул, где и как можно использовать толкового и приемлемого идеологически офицера. Орешников был восхищен и этим тактом и этой оперативностью.

Когда они с Котовским вышли на улицу, уже стемнело. Харьков переливался бесчисленными точками освещенных окон и уличных фонарей. Каменные фасады, асфальт, даже перила мостов все еще не остыли после знойного дня и дышали теплом. А от густой листвы деревьев и от реки наплывала благоуханная прохлада.

Котовский шумно набрал полную грудь этого вкусного воздуха. Делая выдох, воскликнул:

— Экая благодать!

Он, конечно, сразу заметил, какое впечатление произвела на Орешникова встреча с Фрунзе.

— Все понял с одного намека! — удовлетворенно подытожил он. — Редчайший человек, такие делают эпоху. Увидите, он создаст вполне современную армию. Если он за что берется, можно считать, что дело сделано. А вас я поздравляю. Поезжайте в свой полк, укладывайте чемодан, сидите на нем и ждите приказа о переводе.

— Даже не это главное, — ответил глубоко взволнованный Орешников. — Главное, он видит в человеке человека. А ведь обычно начальство имеет в виду подчиненных, а не людей. Если бы меня даже никуда не перевели и вообще мною больше не занимались, я все-таки счастлив, что познакомился с редкостным человеком.

СЕДЬМАЯ ГЛАВА

1

Маркову было странно, что никто не догадывается об удивительном происшествии, о великом событии, которое совершилось в природе. Такие же будничные лица у прохожих, так же обыкновенно, спокойно жужжат трамваи, так же судачат на скамейках в сквере няни, предоставив самим себе нарядных ребятишек. А у него, у Маркова, напечатана книжка, первая книжка!

Марков вышел из издательства «Прибой». Во всем его существе было смятение, в сознании полный кавардак. Марков остановился, зажмурился от солнца, бывшего прямо в глаза. Под мышкой у него была довольно солидная кипа: издательство выдавало автору бесплатно двадцать пять экземпляров книги — авторские экземпляры.

Марков оглянулся направо, налево.

«Как же это они не знают, что у меня издана

книжка?! Не в журнале, не в сборнике среди других мой рассказ, а целая книга моих рассказов, моя собственная книга! Вот она, даже типографской краской и керосином пахнет. «Крутые повороты». Рассказы. Двести тридцать семь страниц. Моя!»

В трамвае Маркову казалось, что пассажиры на него с любопытством поглядывают, а кондукторша с особым почтением дала ему сдачу и оторвала билет. Догадываются все-таки! Марков силился соорудить скромное, заурядное лицо — дескать, мне что, мне не привыкать стать выпускать книги! Но физиономия сама собой расплывалась в счастливую улыбку. Трамвай громыхал. Так они и ехали через весь солнечный город: начинающий писатель Марков и будущие его читатели.

Едва ли не самым чутким, отзывчивым и благодарным читателем была Оксана. Сначала она долго переворачивала во все стороны книжку, посмотрела и на корешок, и на титульный лист, хороша ли бумага, хороша ли обложка, прочитала, в какой типографии напечатано.

— Так! — сказала она удовлетворенно. — Теперь, значит, почитаем!

— Да ты все читала, все как есть!

— Мало ли что. Читала просто так, а это в книжке напечатано. Ой, матенько! «Михаил Марков»! — так и написано! Неужели это ты?

Крутойярову была вручена книга с трогательной надписью автора. Надежда Антоновна получила книгу отдельно.

Крутойяров понимающе усмехнулся, глядя на растерянное от гордости и счастья лицо Маркова.

— Первая книга! — вздохнул он чуточку с завистью. — Это, брат, как первая любовь.

Ушел к себе читать книгу, а потом долго расхаживал по квартире, то останавливаясь перед этажеркой и машинально поправляя на ней салфеточку, то сосредоточенно разглядывая что-то в окно.

В этот вечер Оксану и Мишу пригласили поужинать вместе. Пока Надежда Антоновна гремела тарелками, Крутойяров тихо, задумчиво рассказывал о работе, о себе, о том интимном, о чем никогда не говорится, разве только вот так, нечаянно, под настроение.

— Я не знаю более глубокого наслаждения, чем работа за письменным столом, чем часы творчества. По мере

того как я вглядываюсь в моих героев, завеса приподымается предо мной, и я вдруг догадываюсь о некоей сущности, о силах, которые двигают этими людьми, о непреклонности их поступков... Не подумайте, что могу распоряжаться их судьбами по своему произволу. В романе никто даже улыбнуться не может, если ему не положено. В романе, брат, строго!

Все слушали Крутоярова с острым вниманием. Оксана была вся переполнена бузудержной гордостью, что в конце концов и она тоже не лыком шита, тоже жена настоящего писателя. Оксана даже и сидела как-то неестественно выпрямься, в неудобной позе. И лицо у нее было надменное, что ей вовсе не шло. Она только выжидала удобный момент, чтобы со своей стороны вернуть словечко — насчет того, что вот и Миша тоже... Впрочем, не Миша — зачем Миша?! — вот и Михаил Петрович тоже... Оксана уже и зайкнулась было что-то сказать, но Марков так взглянул на нее, что она прикусила язык, даже не окончив фразы.

Крутояров продолжал свой задушевный рассказ:

— Литературный труд — это подвиг, это труд, помноженный на умение сосредоточиться, подобно тому, как полководец на определенном участке сосредоточивает основные силы и прорывает фронт. Ну, и плюс еще умение воплощаться в различнейших людей, проникать в помыслы и стремления старика, ребенка, женщины, отставного генерала, бюрократа-чиновника, труса и рубаки, шпиона и сенатора... Я знал одного гипнотизера... некий Михаил Михайлович Лединский... он жаловался, что ему страшно среди людей: они перед ним как стеклянные, он видит все их побуждения, читает все их мысли... Нечто похожее испытывает писатель. Даже очень похожее! Странно, что это не приходило мне в голову раньше... Я понял это сейчас, в этот момент...

Он вынул записную книжку, с которой никогда не расставался, и что-то записал в ней. Потом заговорил опять:

— Хорошо работать ночью! Попробуйте, советую. Тишина изумительна в таком громадном городе. Еще я заметил: если тишина звенит, это сигналы мозга — усталость. Тогда надо подняться, пройтись из угла в угол, сделать несколько энергичных движений, а еще лучше — распахнуть настежь окно. Все это занимает несколько

минут, а мысль все работает, связывает какие-то нити, находит образы, слова... Можно приниматься за перо! Зеленый абажур, как светофор, приглашает: «Путь открыт! Двигайся дальше!» Я дружу со своим рабочим столом. Мерно отсчитывают минуты настольные часы в чугунной рамке. Они, как метроном музыканту, не дают сбиться с такта. Веточка мимозы в вазе — это Надя принесла с Невского. Рядом с мимозой бокал, наполненный множеством пестрых карандашей, среди них и цветные — зеленые, красные, коричневые, они удобны для пометок, для обозначения глав, для вставок или для правки рукописи, когда уже негде вписать хотя бы одно слово, а необходимо выделить какую-нибудь мысль. Непременно купите цветные карандаши, Миша! Или, еще лучше, у меня есть запасные, я вам подарю!

Крутойяров тут же помчался в кабинет, принес коробку цветных карандашей, а затем все уселись ужинать. И только тут у Миши мелькнула догадка, что Крутойяров нарочно рассказывал о творческой работе, о карандашах и абажуре, чтобы избежать банальных восклицаний по поводу выхода Мишиной книги: «В добрый час!», «Лиха беда начало!», «От души поздравляем!» и все в этом же роде. За ужином больше говорили о том, что у Надежды Антоновны плохой аппетит, что надо улыбаться, когда передаешь соль, иначе может произойти ссора...

Надежда Антоновна нашла все же неудобным ничего не сказать о выходе книги, об ее авторе.

— Приятная книга, — просто и доброжелательно промолвила она. — Вам нравится писать короткие рассказы? А нет желания попробовать силы над чем-нибудь монументальным?

— Роман! Роман! Обязательно надо писать роман! Сейчас время больших полотен! — воскликнул Крутойяров.

Маркову нравилось, что его не похлопывают по плечу, не корчат из себя наставников, покровителей, а разговаривают как с равным. Вообще Маркову сегодня нравилось все: и Крутойяровы, и гордая за своего Мишу Оксана, и севрюга горячего копчения, и крепкий, «по-крутойяровски» чай.

Когда уже прощались и желали друг другу спокойной ночи, Марков неожиданно признался:

— Пишу, Иван Сергеевич. Роман-то. Только трудно. Прямо мозги скрипят, как трудно!

2

— Орешникова знаете? — спросил Крутойяров Мишу на другой день.

— Орешникова? Нет, не встречал.

— Как же так? Он говорит, вы в плен его брали.

— Я?

— Не вы лично, но котовцы.

— А! Тогда другое дело! Может быть. Мы многих брали в плен... из тех, кто оставался в живых.

— Встретил его сегодня. Да разве вы его не знаете? Такой симпатичный, с усиками.

— С усиками? — силился припомнить Марков, но ничего не припоминал.

— «Как! — говорит. — Из бригады Котовского? И книгу выпустил?!» Одним словом, пришлось его пригласить. Так что вы того... надпишите ему книжечку и преподнесите. Зовут его Николай Лаврентьевич.

— А куда вы его пригласили? — все еще не понимал Миша.

— Как куда! Вот это вопрос! Пригласил в ресторан «Кахетия». На дружескую встречу по случаю выхода вашей книги. Чего вы таращите на меня глаза? Человек выпустил книгу, а все ограничится чаепитием? Нет, брат, мы отправимся всей честной компанией в самый шикарный ресторан и будем пить шампанское! Имейте в виду, что все дальнейшие книги, какие вы издадите, будут просто книги, а эта, одна эта — первая! Григорию Ивановичу, надеюсь, послали?

— Нет. Хочу сам отвезти.

— Одобряю. Непременно отвезите. Если не возражаете, и я с вами увяжусь.

— Вы? Неужели?! Вот было бы расчудесно! Только вряд ли вы соберетесь...

— Соберусь, вот увидите — соберусь. Вы меня не знаете, Михаил Петрович, я прирожденный бродяга, страшный непоседа и легок на подъем. Я вот скоро вообще из Питера уеду, подамся в Москву.

— Как?! — испугался Марков. — Совсем?

— Совсем. А вам эту квартиру оставляю. Чем плохо?

И вид на Неву, и вообще. Но это пока лишь в проекте. Так не забудьте о сегодняшнем. Орешников спрашивает, когда, я отвечаю, что часов в девять вечера. «Двадцать один поль-поль, — повторил он на свой лад. — Буду точно». Стало быть, и нам нельзя опаздывать.

«Кахетия» находится на Невском, рядом с Казанским собором. Вход ярко освещен, три ступеньки вниз — и вы оказываетесь в своеобразном помещении: сводчатые потолки, стены расписаны масляной краской, ковры, картины, люстры, задрапированный яркой материей помост для оркестра и сольных выступлений, на помосте рояль.

Оказывается, под руководством Надежды Антоновны Оксана сшила специально к сегодняшнему вечеру платье — голубое, шелковое. Оксана как облачилась в него, так даже походка у нее стала другая и вся она стала непохожей на обычную Оксану. Марков смотрел восхищенно, растерянно. Грызла совесть: как это он первый не догадался, что Оксане следует сшить новое платье, ведь додумалась же сделать Надежда Антоновна?!

— Когда вы успели? В один день?

— Что вы! — рассмеялась Надежда Антоновна. — Книга еще только пошла в набор, а у нас уже было совещание, как отпразднуем ее выход.

Не успели они войти в общий зал, как навстречу им двинулись два щеголеватых краскома. Тут произошла некоторая толчея, все познакомились, здоровались. Марков убедился, что еще раз не проявил достаточной распорядительности: оказывается, Крутойров заранее заказал столики — вот как это делается! Два столика сдвинуты рядом, официанты только и ждали их появления, тотчас принесли меню в красивых, специально отпечатанных книжечках, и Крутойров таинственно стал совещаться с официантом, а тот понимающе кивал головой:

— Так-так-так. Понятно. Не беспокойтесь! Сегодня у нас цыплята чудесные. Так-так-так.

— Почему же не пришла ваша супруга? — спросила между тем Надежда Антоновна.

— Любаша у меня дикарка, никак не мог уговорить ее пойти. Зато вот брата притащил. Он у Блюхера, на Дальнем Востоке, приехал всего на несколько дней, а мы не виделись... Володя! С каких это пор? Пожалуй, с тех пор, как ты уехал из госпиталя?

Братья не походили друг на друга. Старший был выше ростом, черноволос и как бы картинно-красив, а младший был белокурый, голубоглазый и казался более душевным.

— Да, да, последняя весточка от тебя была из Челябинска. Но какой же ты молодчага, что жив и даже мало изменился! Впрочем, еще успеем наговориться. Сейчас мы с тобой, я уже тебе объяснял, в писательской среде. С Иваном Сергеевичем Крутояровым я познакомился, когда он приезжал к нам в часть на литературный вечер. А потом вот в Петрограде встретились. А это Марков — виновник сегодняшнего торжества. Михаил Петрович прошел весь путь со знаменитым Котовским. А сейчас писатель. Пишет. Вот и мне книгу преподнес. Надежда Антоновна тоже выступала на литературном вечере. Со стихами. Уж так мне понравились ваши стихи, Надежда Антоновна! А раньше, каюсь, не встречал, невежда. Есть у нас такой грешок: дальше носа ничего не видим. Инженер уткнулся только в технику, наш брат военный ушел с головой в военную учебу... Фрунзе не такой! О чем ни заговори — всем интересуется, за литературной жизнью следит, технику любит.

— Вы знакомы с Фрунзе? — подала голос Надежда Васильевна.

— Как же! Мне вообще в жизни везет: с Котовским встречался, с Фрунзе, теперь с писателями свел знакомство. По сути дела, следовало бы мне вести записи... До того богатые впечатления! Впрочем, у кого сейчас впечатления не богатые? Вот и мой братишка. Чего не повидал! А если бы знали, какой ветреный и пустой был мальчишка! Только и делал, что за юбками гонялся! А сейчас начнет рассказывать о Блюхере — всю ночь бы слушал и слушать не устал!

Крутояров как раз кончил совещаться с официантами, и на стол начали ставить приборы, рюмки, бокалы, хлеб. Услышав, что разговор идет о Блюхере, Иван Сергеевич тотчас и сам вставил словцо:

— Вы знаете, в белой печати распространяли слухи, что Блюхер — немецкий генерал, нанятый за бешеные деньги Совнаркомом.

— Василий Константинович — рабочий Мытищинского завода, русский человек на все сто, — дал справку Орешников-старший.

— А если бы даже и немец? На сторону Октября встают честные люди всех национальностей.

— Чем объяснить, что наша эпоха породила столько героев, столько удивительных людей?

Крутойров только что собирался дать обстоятельный ответ на этот вопрос, но принесли цыплят, а Николай Лаврентьевич стал наполнять рюмки.

Оксана давно уже смотрела с нескрываемой враждебностью на нарядные бутылки. Особенно ей не нравилась большая, с серебряной головкой, завернутая в салфетку и поданная в специальной серебряной посудине. Оксана в жизни не сделала глотка спиртного. В деревне у них, правда, пили горилку, но больше дядьки. Оксана считала мужчин слабыми, неустойчивыми существами, падкими на соблазны. То примутся курить поганый табачище и уверяют, что никак не могут бросить, то начнут пить запоем. Однако Оксана уважала Ивана Сергеевича и очень доверяла Надежде Антоновне. Если они — ничего, то и она — ничего. Кроме того, нельзя же портить компанию!

Все взяли рюмки в руки, взяла и Надежда Антоновна, взял и Миша. После короткого колебания взяла и Оксана. Была не была!

Крутойров произнес несколько теплых слов, все заулыбались Маркову, Марков сконфузился и немножко пролил из рюмки, чему Оксана обрадовалась: все меньше в рюмке останется, значит, меньше выпьет, меньше опьянеет.

Мужчины выпили сразу до дна. Надежда Антоновна только отхлебнула. Оксана покосилась на нее, вытянула губы трубочкой и тоже потянула в себя красную прозрачную жидкость. Ничего! Даже вкусно!

Вскоре разговором завладел Крутойров. Развивая мысль о том, что наша эпоха знает много выдающихся людей, он доказывал, что, спору нет, революция разбудила дремлющие силы, но он такого мнения, что на Руси и всегда было немало талантов, только многие гибли в условиях царского гнета, а даже и тех, кто выбивался, мы зачастую пренебрежительно предавали забвению.

— Однако Льва Толстого и Достоевского чтит весь мир? И где не звучит волнующая музыка Чайковского? — возразил Орешников-старший.

— Еще бы! А вот кто из вас ответит: кем создан памятник Пушкину, что в Москве на Тверском бульваре?

Чье творение памятник тысячелетию России в Новгороде? Что создал русский скульптор Орловский? Как фамилия первого русского авиатора? Жив ли русский изобретатель радио и как его зовут?

Крутойров еще долго перечислял загадки своеобразной викторины. Надежде Антоновне он не позволил отвечать:

— Нет, ты погоди, дай молодежи высказаться.

Николай Лаврентьевич назвал фамилию изобретателя радио Попова, но имени-отчества его не помнил, жив ли он или умер — тоже не знал. Владимир Лаврентьевич сообщил, что Орловский изваял ангела на колонне на Дворцовой площади. Ни скульптора Опекушина, ни живописца и соорудителя скульптурных монументов Микешина они не знали.

В отместку Николай Лаврентьевич в свою очередь задал вопрос, припомнив свое пребывание в Путейском институте:

— А кто был Мельников? Кербедз? Тимонов?

— А что вы расскажете о Вострецове? — поднял одну бровь и уставился на Крутойрова Орешников-старший.

— Братья Орешниковы перешли в наступление! — воскликнул Марков.

— Вострецов? Гм... Это я что-то читал!

— Степан Сергеевич Вострецов, — нравоучительно пояснил Орешников-старший, — это Вторая Приамурская дивизия. Это Спасск. Это мастер внезапного удара. Это тот, кто живьем взял в плен Пепеляева.

— Здорово вы меня в переплет взяли! — расхохотался Крутойров. — Вдвоем на одного! Так не пойдет! А вот кто из вас знает, кто сочинил стихи про москвичей и питерцев...

И Крутойров прочитал:

И здесь не реже
Газет грехи,
Романы те же,
И те ж стихи,
Журналы, книги,
Слова, слова,
И те ж интриги,
И та ж молва...

Крутойров споткнулся, припоминая, и вдруг за соседним столиком задорный голос продолжил:

Те ж драматурги,
Звон медных фраз,
Как в Петербурге,
Так и у нас!

— Мятилев!

Крутояров и все остальные оглянулись. За соседним столиком в компании излишне развязных мужчин и пестро одетых женщин сидел пьяный, взъерошенный, с горячно-красным лицом и дико блуждающими глазами Евгений Стрижов.

Только тут участники импровизированного банкета, собравшиеся чествовать Маркова, отвлеклись от своих рюмок, суфле, цыплят и гарнира. Они увидели, что обстановка вокруг совершенно изменилась. И публика за столиками была совсем иная, и цены на вина и закуски иные. Появились обрюзглые физиономии не то «бывших», не то «концессионеров». Требовали их ублажать (чего душа хочет!) разбогатевшие гостинодворцы, шептались, сдвинувшись в кучку лбами, юркие спекулянты, хлынули в ресторан и соответствующего сорта женщины, как морские чайки, с криком летящие за нэповским кораблем, чтобы подобрать крошки.

А вот и на эстраде началось оживление. Сначала вышел какой-то кривой сумрачный субъект и разложил по пюпитрам ноты. Потом потянулись и музыканты, кашляя, сморкаясь, топая по сколоченным начерно ступенькам, ведущим на сцену. Пианист с сизыми непробритыми щеками и глазами с поволокой тихо переругивался с контрабасом — громадным мужчиной с отвислыми брылами, изобличающими склонность к спиртным напиткам.

Музыканты разместились, тупо посмотрели на жующих, чокающихся посетителей ресторана и рывкнули нечто бурное и нестройное, работая разом на всех инструментах и извлекая из них все, на что они способны. Наконец, последний рев, и оркестранты замолкли, стали вытирать пот со лба.

— Вот это отчубучили! — в наступившей тишине отчеканил Стрижов.

Возглас был покрыт развеселым хохотом всего зала. Нэпманы веселились.

Тогда откуда-то из глубины ресторана возник директор — прямой, негибаемый, во фраке, но с непристойной

богомерзкой образиной. Возник и исчез. Полного скандала нет? Нет. Смеяться не возбраняется.

На эстраду вышел завитой крупным барашком нарумяненный брюнет.

— Ich küsse Ihre Hand, madam!¹ — запел он вкрадчивым, сладким голосом, в точности подражая граммофонной пластинке.

На столик Крутоярова тем временем подали пломбир. И всем показалось, что он переслащен.

Затем бы как кто-то выкрикнул, «фоксик». Между столиками танцевали. После «фоксика» на эстраду вышел оборванец со взъерошенной копной волос. Он цел, изображая вора, бандита, налетчика:

Ремеслом избрал я кражу,
Из тюрьмы я не вылажу,
Исправдом скучает без меня!

Элегантно одетые в шевииот и коверкот, чисто выбритые, попрысканные одеколоном «Эллада» воры, бандиты и налетчики сидели за столиками, кушали тетерок и зернистую икру, снисходительно улыбались и переглядывались беглыми неувловимыми взглядами.

Хлопнула пробка шампанского. Оксана вскрикнула. Официант принес фрукты. Крутояров расплачивался. Марков и Орешников с ним спорили, требуя, чтобы и они приняли участие, но Крутояров настоял на своем.

Вечер можно было считать удачным. Даже Женька Стрижов не испортил его, не подошел и вообще не совал носа, если не считать его декламации. Но в самую последнюю минуту произошло нечто неожиданное.

Сначала пианист — он же конференсье — объявил, что будет исполнена «Авиа-Мария», вместо «Ave Maria», чем насмешил Крутоярова до слез. Затем оркестр приготовился преподнести публике очередной опус, но вдруг пьяный голос прорезал воздух:

— М-маэстро! Сыграй мне «П-па-оследний нонешний денечек»! Вот! Гонорар!

И все увидели военного, нетвердой походкой направившегося к музыкантам.

Нэпманы даже перестали жевать. Что ж. Неплохо

¹ Ich küsse Ihre Hand, madam! — я целую вашу ручку, мадам (нем).

придуманно. Почему же человека не уважить, не сыграть на заказ? Смутила всех только слишком толстая пачка бумажек. Видать, очумел человек.

Музыканты же, видя, что куш предвидится порядочный, колебались: любезно согласиться или с негодованием отвергнуть?

Оба Орешникова и еще двое-трое военных, находившихся в зале, готовы были вмешаться, но надеялись, что как-нибудь все уладится.

И вдруг Марков прошептал:

— Да ведь это Мосолов! Он приезжал к Григорию Ивановичу!

— Какой Мосолов? Вы, наверное, что-нибудь путаете!

— Ничего не путаю. Командир полка. Григорий Иванович так его разделал, что Мосолов поспешил ноги унести, говорит, к поезду опаздываю.

— А что, если его вызвать в раздевалку и посоветовать уйти? — предложил Николай Лаврентьевич.

— В сущности, он ничего такого не делает, — примирительно пробормотал Орешников-старший. — Захотелось человеку русскую песню послушать. По-моему, так пожалуйста.

— Деньгами сорит. Пьян до бесчувствия.

— Его деньги. Хочет сорить — и сорит.

Мосолов будто услышал их спор и решил внести полную ясность:

— Слушай, маэстро! Как человека прошу! Финята комедия! Смекнул? Отгулял Павел Архипович! А деньги бери, не стесняйся — казенные! Четыре дня пропивал — пропить не мог! Во, валюта!

— Ну и нализался! — взвизгнула девица в немодной юбке. — Как бэгэмот!

— Дело-то, кажется, совсем дрянь. Не позвонить ли в комендатуру? — нервничал Николай Лаврентьевич.

Музыканты пошептались, пианист скроил улыбку, сделал ручкой, взял пачку у Мосолова и сунул в карман. Затем дал тон — и оркестр, привирая, с грехом пополам начал мотив заказанной песни, а Мосолов сел на краешек эстрады и заплакал.

Эти слезы воодушевили музыкантов. Они уже более слаженно стали выводить: «А завтра рано чуть светочек». Скрипка так буквально рыдала. Но в целом оркестр

не мог преодолеть привычного фокстротного ритма, настолько четкого, что две-три пары попробовали даже танцевать.

— Все! — вдруг выкрикнул Мосолов и ринулся к выходу.

— Слава богу, догадался! Давно пора! — облегченно вздохнул Николай Лаврентьевич. — Проспится, а наутро, если и впрямь нагрешил, явится по начальству и доложит.

— Не пора ли нам домой? — предложила Надежда Антоновна. — Оксана совсем раскисла.

В это время прозвучал выстрел. Один. И какой-то непохожий, как в театре. Но многие вздрогнули.

— Он! — сразу догадался Марков.

Оба Орешникова и еще несколько военных быстро вышли из зала. Почти бегом проследовал через зал директор.

— Grimасы нэпа, — вздохнул Крутойаров.

«Надо написать Котовскому», — подумал Марков.

Публика толпилась между столиками. Лица были не столько встревоженные, сколько любопытные.

Один только Стрижов ничего не слышал. Уронив голову на стол, он спал крепким сном. Его соломенного цвета вихры обмакивались в соус провансаль. Он спал и даже посапывал.

Маркову вдруг стало жалко его.

«Парень свихнулся, а я сразу отвернулся от него, бросил его в беде... Отвезу ему завтра книжку с дружеской надписью!»

3

Вышли на улицу — и замерли. До чего красива ночь! Решили идти пешком. До Марсова поля добрались по бывшей Миллионной, а там пошли по набережной, где лунная ночь особенно сверкала и переливалась, а город за рекой тонул в голубоватой дымке.

Надежда Антоновна чувствовала, что за весь вечер мало внимания было уделено виновнику торжества. И теперь она подхватила Маркова под руку и повела разговор о стиле, о ритме, о том, что ей нравится музыкальность Маркова, о том, что в прозаическом произведении

сохраняются все требования, предъявляемые к стихам, за исключением свойственных стихотворным произведениям всевозможных ямбов и хореев и еще за исключением рифмы.

Марков слушал и иногда произносил:

— Да... Да-да... Совершенно верно.

Оксана плавала в странном блаженном тумане и все время улыбалась, а Крутойяров всю дорогу молчал, видимо занятый какими-то своими мыслями.

Поднявшись на шестой этаж и войдя в прихожую, все почувствовали, что, несмотря на поздний час, не хочется расходиться по своим комнатам.

— А что, если мы выпьем по стакану крепкого чая? — предложил Крутойяров. — Неплохая мысль? Честного, настоящего, домашнего чая!

Все четверо вошли в столовую. Иван Сергеевич собственноручно включил электрический чайник и накрыл на стол.

Чай действительно был крепкий и вкусный. А после прогулки обнаружилось, что все хотят есть. Извлекли откуда-то колбасу, сыр, копченого сига, шпроты и принялись за обе щеки уписывать всю эту снедь, смеясь над собой, что из ресторана да сразу за еду.

Крутойяров выпил только чай, встал из-за стола и стал прохаживаться взад и вперед. Был час, когда у него по вкоренившейся многолетней привычке начиналось рабочее время, когда его заполняли мысли, образы, сопоставления...

— Надюша, — остановился перед женой Крутойяров, — не припомнишь ли ты, чей это рассказик был еще в дореволюционное время, он вызвал много шума... Вертится в голове фамилия... Не то Анатолий Каменский, не то Арцыбашев...

— Да о чем хоть рассказ-то? Как называется?

— Не совсем к месту за ужином... Рассказ о том, как школьник идет вечером по улице — и вдруг бочки, ассенизационный обоз, «золотари» их тогда называли...

— Что это тебе вспомнилось?

— Так вот, тянется по улице обоз, а гимназистик, подросток, испытывает какое-то извращенное наслаждение от хлынувшего зловония. Он бежит за обозом вслед и нюхает, и втягивает в себя омерзительный запах...

— Неужели был такой рассказ? — удивился Марков.

— Был. Скорее всего Каменского. Но не в авторе дело.

— А в чем же? — Надежда Антоновна встревоженно смотрела на мужа: не опьянел ли с кахетинского? Но поняла, что у него зародилась какая-то мысль и она ему представляется значительной, вот почему он и заговорил об этом, и кажется, разговор предстоит большой. Между тем Оксана совсем спала, сидя на стуле, а ей завтра рано вставать...

Оксану успали спать, Марков ее проводил, а затем снова уселся на место и вопросительно посмотрел на Крутоярова.

— В чем? — как будто бы и не было паузы, переспросил Крутояров. — Меня поразила ночная жизнь в ресторане. Охвостье, которое сидит у нас, в стране дерзновенных исканий, в стране рождающегося нового, с наслаждением принохивается к ассенизационным бочкам Запада! И добро бы нэпманы! Нет! Молодежь!

— По-моему, ты не прав, Ваня. Надо разобраться, какая молодежь. Нэпманчата? Отщепенцы? Порченые сынки?

— Главное, ведь они как все изображают? Отцы устарели. У отцов узкая дорожка. Они, видите ли, рвутся в неизведанное, туда, где синеют горы! Какие горы? Где синеют? Новое здесь, у нас, повсюду, на каждом шагу, а там, за этими самыми горами, угасает, но никак не даст закрыть крышку гроба старый дряхлый мир, который ничего нового уже не создаст, нового стиля не придумает, от него уже тянет смрадным душком разложения! Заткните нос, господа псевдоноваторы!

— Они уверяют, что в искусстве должно быть многообразие изобразительных средств, — примирительно сказала Надежда Антоновна и тут же пожалела об этом.

Лицо Крутоярова исказилось гневом, и Надежда Антоновна уже не помышляла больше о судьбах искусства, а только старалась припомнить, где стоит пузырек с сердечными каплями, прописанными Ивану Сергеевичу.

— Многообразие?! — закричал Крутояров. — Пожалуйста! Будьте настолько любезны! Желаете сказ? Фантастику? Юмор? Но вражеские десанты, парашютисты под флагом свободного искусства — этот номер не пройдет! Не для того революцию делали! Вот же человек, —

показал он на Маркова, — написал нормальную, хорошую книгу, без всяких выкрутасов и вывертов. И подвиги у него в рассказах изображены настоящие, и герои подлинные...

Крутойяров увидел испуганное лицо жены, понял, что сейчас она предложит ему принять лекарство, и сразу уговорился. Он терпеть не мог сердечные капли!

Часы в столовой, большие, в дубовой оправе с затейливой резьбой, пробили три.

— А вообще-то, — подытожил Иван Сергеевич, — черт бы побрал всех диверсантов, мечтающих пролезть через форточку искусства! Давайте, друзья, спать. Извините, что нашумел, что, по своему обыкновению, говорил длинно и бессвязно. У Владимира Ильича надо учиться, у него регламент: пять минут — и очисти место для следующего оратора!

Марков поднялся, встала и Надежда Антоновна. У всех были зеленые, усталые лица. Марков стал благодарить, уверять, что этот день навсегда останется у него в памяти...

— Ладно уж... Чего уж там... — оправдывался Крутойяров. — Вышло не так, как хотелось бы... Пожалуй, и Орешниковы были в данном случае ни к селу ни к городу, зря я пригласил. Позвать бы двух-трех писателей... Например, Чапыгина — обязательно познакомьтесь с ним! Или Борисов — он интересно прокладывал путь в литературу: напечатал в двадцать первом году на машинке восемьдесят пять экземпляров сборника своих стихов — так сказать, издал своими средствами! И что же? Рецензии были! В магазинах на прилавке лежала! Разве не замечательно? Какая впоследствии библиографическая редкость будет! Вот пригласить бы его... Ну, ничего. Еще будет у вас впереди достаточно банкетов и юбилеев, даже надоест. А пока как вышло, так и ладно.

Марков растрогался. До чего же милые люди! И какое счастье, что он повстречал их! А все Григорий Иванович! Обязательно надо к нему поехать, просто не хватает его для такого торжества!

Марков на цыпочках, стараясь не разбудить Оксану, пробрался в свою комнату, быстро разделся и улегся в постель. Как только он погасил электрическую лампочку, в окно хлынул такой лунный свет, что даже удивительно

было, как способна светить и сиять одна-единственная луна. Уж не высыпало ли их на небо сразу с десятков?

Иван Сергеевич Крутойяров был необычайно впечатлителен. Он воспринимал все по-своему. Воспринимал и помещал где-то в картотеке мозга, в огромном образохранилище, до востребования. Чего только не хранилось здесь — бережно, нетленно: и какие-то детские истории, и факты, наблюдения, зарисовки из школьной жизни. Рядом с громадными замыслами, построениями каких-то произведений, может быть романов, которые никогда не будут написаны, рядом с запасами излюбленных афоризмов или подхваченных на лету крылатых словечек, рядом со всем этим — тонкие, почти неуловимые, но вместе с тем немеркнущие яркие и выпуклые записи каких-то запахов, какой-то тишины, какой-то тропинки, по которой когда-то шел и вдруг увидел у самой дороги ядреный белый гриб... какого-то дождя, и как тогда пахло мокрыми листьями березы...

Крутойяров садился за письменный стол поздним вечером. В доме воцарялась тишина, давно уже все спали. Только сытый кот Мурза, с тигровыми рыжими полосами, пышным загривком и белоснежными лапками, — с сознанием не только права, но даже и долга — располагался прямо на рукописях, под самой лампой с зеленым абажуром. И начиналась творческая работа. Оживали на белом листе бумаги и жили своей особенной жизнью герои романа. По непреложным законам сюжета, осторожно, но твердо направляемые путями творческого замысла, они шли к завершению своей судьбы. Неожиданно давний и, казалось бы, начисто забытый дождь вдруг срочно требовался со всеми своими мельчайшими приметами, не дождь вообще, а именно этот, конкретный, бережно хранимый в архивах памяти дождь. И теперь этот дождь промачивал насквозь героя романа и даже содействовал движению событий, раскрытию определенных черт, выявлению образа героя...

Однако уже скоро утро. Надо ложиться спать. Кот Мурза поднимает голову, щурится и смотрит недоволь-

ными зелеными глазами: «Что случилось? Что за беспорядок?»

Удивительное дело: Крутойяров крепко спал, а мозг, видимо, продолжал свою работу — сопоставлял, анализировал. В момент пробуждения Крутойяров, оказывается, отлично все знал и помнил, что-то сочинил, что-то исправил и бесповоротно решил, чем кончится глава, написанная ночью.

Даже какой-нибудь мелкий, казалось бы незначительный случай — или мимолетный трамвайный разговор, или виденная на улице сценка, или сообщение, вычитанное в газете, — прочно врезались в его память, и долго ходил он под впечатлением этого, обдумывал, додумывал то, что осталось, так сказать, за рамками наблюдения, сочинял на этой почве целую историю и сам же бывал ею потрясен.

Что же сказать о крупных явлениях, о больших травмах?

Случаются в жизни человека события, которые производят полное опустошение, оставляют тяжелый, неизгладимый след. Такие раны долго не зарубцовываются. Иногда в результате подобной катастрофы изменяется весь ход мыслей, вся направленность, человек как бы прозревает, приобретает умудренность, переоценивает многие свои прежние взгляды. Некоторые под тяжестью неизбывного горя сгибаются, теряют душевное равновесие и больше уже никогда не могут оправиться от удара. Другие, наоборот, встречают испытание судьбы с гордо поднятой головой и в ответ дают клятву идти еще тверже, бороться еще настойчивей.

Смерть Ленина была потрясением, горем — таким, какое накладывает на лицо глубокие морщины и проступает седой прядью волос. В траур облачилось все, что способно чувствовать, мыслить, все прогрессивное и честное на земле.

В доме Крутойярова горе было немногословно, таким и бывает настоящее глубокое чувство. Не стыдно было и не трудно быть всем вместе — и Надежде Антоновне, и Ивану Сергеевичу, и Маркову с Оксаной, — быть вместе и молчать и думать горькую думу.

Читали вслух обращение ЦК. Слушали радио.

— Ведь знали, что это неизбежно, — проговорил Крутойяров, может быть даже не сознавая, что произносит

вслух, — знали... А как невыносимо тяжело, когда это все-таки случилось...

Снова молчание. Снова погруженные в себя, в свои мысли сидели все, собравшись в столовой, но сидели не за общим столом, а кто где.

— До чего же мы бессильны, до чего маломощна медицина! — снова заговорил Крутойяров. — Такого человека не сохранить! Ведь всего пятьдесят четыре года... А какая-нибудь мозолящая глаза ничтожность тянет до столетия!

— Не умеем мы гениальных людей беречь, это правда, — согласилась Надежда Антоновна. — Убивать придумали тысячи приемов, а вот жизнь отстоять...

— Довели его, — охрипшим голосом сказал Марков. — Сверхчеловеческий груз поднял. Разве можно вынести?

Крутойяров не мог оставаться дома. Бесцельно слонялся по улицам, вглядываясь в каждое встречное лицо и стараясь угадать: радуется втайне этот человек или наполнен большой скорбью и горечью? Все лица были печальными.

Крутойяров, остановившись, слушал приглушенные шумы города. Как будто город ходил на цыпочках и говорил вполголоса в эту горестную минуту. Врезались в память рубленые строчки стихотворения, напечатанного в эти дни в петроградской «Красной газете»:

Город дрогнул. Гудки окраин
Провожали тело Ильича.
Город кричал, словно больно ранен
Был в этот час.

Стихи выражали чувства, охватившие Крутойярова, и он все повторял:

Город кричал, словно больно ранен
Был в этот час.

«Да, город ранен. Но раны зарубцуются, а воля к победе станет непреодолимей!»

Вечером Крутойяров выехал в Москву.

Первым, кого встретил, выйдя в Москве из вагона, был Марков. Оказывается, они приехали одним поездом.

— В таком случае, пошли, — предложил Крутойяров.

И они пошли рядом, молча, вглядываясь в лица встречных.

А потом оба были на Красной площади.

В этот день гроб с телом Ильича был перенесен из Дома Союзов на Красную площадь. Там гроб поместили на особом постаменте. Прощаясь с Ильичем, проходили мимо в скорбном молчании москвичи, и делегации, и просто люди, которые так же, как Марков и Крутойяров, не размышляя, бросив все, приехали в Москву.

В четыре часа дня объединенный оркестр грянул душераздирающие аккорды Чайковского. Одновременно с оркестром тысячи гудков фабрик и заводов слились с залпами прощального салюта орудий. На пять минут остановились автомобили и пешеходы, заводские станки и поезда. Пять минут молчания. Пять минут горького раздумья.

Гроб с телом Ленина перенесен в Мавзолей.

Ночным экспрессом Крутойяров и Марков вернулись в город, отныне носящий имя Ленина. Вышли на обширную площадь перед вокзалом. Здесь когда-то стояли приехавшие из Умани Марков и Оксана. Не так много времени прошло с тех пор, но как все изменилось. И город не казался теперь Маркову страшным и непонятным. Марков знал его и любил.

Было утро. Холод и по-утреннему прозрачный и ясный воздух вливали бодрость в дряблое, уставшее после дороги тело.

Крутойяров остановился, приглядываясь, прислушиваясь. Город погрохатывал, жил, шумел.

— Вот так-то, Михаил Петрович, — громко, отчетливо произнес Крутойяров. — Что ж, будем продолжать жить.

Человек не может долгое время находиться в состоянии безумного отчаяния, болезненно-неистового возбуждения, даже сосредоточения и внимания. Наступает реакция. Приходит утомление. Организм отключает переживание, которое было бы пагубным, если бы еще его продлить. Нельзя упрекнуть близких людей умершего, если в их отчаянии происходит перелом. С кладбища родные и близкие возвращаются печальными, но умиротворенными. Скорбь об утрате должна выливаться в деятельность: в служение тому делу, которое не закончил умерший, в заботы об увековечении его памяти.

— Будем продолжать жить, — повторил Крутойяров, Мимо них хлынул поток людей. Очевидно, прибыл

какой-то поезд. Люди спешили, оживленно о чем-то говорили, несли сумки, свертки, чемоданы. Вымахнув из здания вокзала, они веером растекались в разные стороны: кто пешком на Старо-Невский, кто в сторону остановки трамваев на Лиговке, кто прямо — на Невский проспект.

Крутойаров внимательно смотрел на людской поток, на соотечественников, на братьев, на жителей прекрасного города прекрасной страны. Это были его современники, однополчане, те, с кем рядом он шел по дорогам войны и по дорогам свершений. Вот они — простые и в то же время необыкновенные, казалось бы, самые будничные и заурядные, но между тем способные творить чудеса.

Вглядываясь в их лица, в их уверенные движения, вслушиваясь в их говор, в их бодрые голоса, Крутойаров осознал в этом что-то значительное, что отвечало на самые трудные, недоуменные вопросы бытия — вопросы смерти и жизни, мимолетности и вечности.

— Жизненный процесс — как эстафета, — медленно произнес Крутойаров. — Те, кто уходит навсегда, передают наказ оставшимся: продолжать жить, завершать незаконченное, продумывать новое, искать неотысканное...

Марков молчал. Он понимал, что Крутойаров в раздумье, и боялся ему помешать.

...Прошел январь 1924 года. За январем промелькнул коротенький февраль... Мир жил, хлопотал, боролся...

ВОСЬМАЯ ГЛАВА

1

Писатель Бобровников вдруг стал темой номер один, знаменитостью, о нем заговорил весь эмигрантский Париж. И не потому, что он написал замечательный роман или поставил в театре экстравагантное ревю. Тут было другое: он уезжал в Россию, в Советскую Россию, кажется, уже получил визу, словом — сам лез в пасть ГПУ. Одни бранили его, обвиняли, позорили, другие втайне завидовали. Всем интересно было, что из этого получится. Расстреляют? Или простят?

Мария Михайловна Долгорукова уже не говорила о Бобровникове, что у него неписательский вид, что он ей не нравится. Теперь он ее интересовал, и она даже требовала, чтобы князь Хилков во что бы то ни стало привел его, только как-нибудь так, вроде бы случайно, и чтобы без лишних свидетелей, — неудобно все-таки, переметнулся на ту сторону. Но у Марии Михайловны есть к нему одно дело... думаете, насчет «Прохладного»? Нет, совсем другое, очень личное и очень важное, очень.

У князя Хилкова была маленькая тайная страстишка: он любил посещать кабачки, низкопробные кабаре. Ему нравилось смотреть на пьяных, разухабистых женщин, на шумных собеседников за столиками, уставленными бутылками... За последнее время он особенно пристрастился к одному из бесчисленных русских кафе, какие пооткрывали бывшие сенаторы, бывшие помещики, бывшие врангелевские полковники, стремясь заработать хлеб насущный.

Это кафе носило название, которое сразу привлекало внимание: «У самовара я и моя Маша», и около названия на вывеске был изображен сверкающий медью самовар — бокастый, с кружевной конфоркой и расписным чайником, со струйкой пара, поднимающейся вверх. Словом, не хватало только связки бубликов, чтобы представить былую российскую «обжорку», канувшую в Лету вместе с царским двуглавым орлом, хоругвями и крестными ходами.

Сюда-то и приходил князь Хилков, усаживался где-нибудь в уголке и, рискуя испортить желудок, заказывал порцию гречишных блинов или московские расстегаи.

И вот как-то, пробираясь между столиками и разглядывая скатерти, вышитые петухами, князь набрел на Бобровникова. Если бы не настоятельные просьбы Марии Михайловны, он бы сделал вид, что не узнал писателя, или же ограничился бы легким поклоном и быстро ретировался. Но теперь он принял другое решение. Вот когда он сумеет выполнить поручение Марии Михайловны и под каким-нибудь предлогом пригласит Бобровникова!

С непринужденностью, какая вырабатывается годами светской жизни, князь Хилков приветствовал романиста, с подчеркнутым удовольствием принял приглашение «разделить компанию» и несколькими удобными, обте-

каемыми, ничего не значащими фразами устранил неловкость, которую заметил в Бобровникове, так как тот восседал один на один с наполовину опорожненной бутылкой водки, по внешнему виду в точности такой, какой была царская сорокаградусная с белой головкой.

— Тоже любите заглянуть в эти злчные места? — игриво спросил князь Хилков, ничем не показывая, что сервировка столика ему не по душе.

— Завсегдатай этих «стиль рюсс!» — ответил Бобровников. — Только предупреждаю: водка здесь форменная дрянь. Не советую.

— В самом деле? — спросил озабоченно князь, хотя отнюдь и не собирался заказывать водку. — Тогда я рискну, если позволите, потребовать бутылочку шабли? Рад встретиться, слышал, что уезжаете? Надеюсь, придете попрощаться? Мария Михайловна уполномочила меня передать, что будет рада вас видеть. Например, что вы скажете, если во вторник, часов в одиннадцать?

Бобровников не удивился приглашению. За последнее время он только и делает, что встречается, выслушивает предостережения, отвечает на расспросы, огрызается, когда начинают бранить, и повертывается спиной, услышав угрозы.

— Во вторник? Зайти, конечно, могу, только чего это я понадобился княгине? Мода! Вы думаете, зачем я здесь сижу? Удостоился приглашения от самого Сергея Степановича Рябина. Вот как у нас! «Не угодно ли вам будет посидеть со мной за рюмкой вина?» — «С превеликим удовольствием!» — «Хотелось бы, знаете ли, в тихом уголке, где нам никто не помешает, поболтать о том о сем!» — «Помилуйте, в Париже таких уголков множество!» — и предложил я ему вот это самоварное захоlustье, нарочно выбрал самое невзрачное, — это миллионеру-то! Воротиле российскому!

— Я, кажется, буду не совсем кстати...

— Напротив, поприсутствуйте, получите феноменальное удовольствие. Я Рябина знаю еще по Петербургу, он там журнал издавал, на веленовой бумаге, с виньетками. «Эллада». Курс на разбогатевших лавочников и присяжных поверенных. И платил, сукин сын, хорошо. Созвал как-то раз писательскую братию, не кое-каких — маститейших. Ему чего церемониться? У него деньги! Усмехнулся наглецки и вылепил нам в глаза: «По-мое-

му, что писатели, что продажные твари — разницы никакой. У них товар — у нас деньги. Заплати — и будьте любезны, что прикажете». Оскорбились мы тогда, хотели бойкотировать его «Элладу», да так как-то не получилось, не собрались. Вот вы — человек из другого мира, только кораблекрушение выбросило нас на один остров... Скажите объективно: разве хорошо так оскорблять? Ведь он нас с грязью смешал! А мы молчали... Чувствовали, видимо, что грубо, а какая-то доля правды в его словах все-таки есть... Есть или нет? Вы режьте начистоту, по-русски. Ну?

— Если хотите знать мою точку зрения... — замялся князь, — я вообще невысокого мнения о человеческой породе. Например, собаки, на мой взгляд, куда интеллигентнее. Умные, честные. Не предадут. А слоны? А лошади? Особенно лошади!

Князь Хилков мечтательно задумался, но тут же спохватился и стал отнекиваться:

— Парадоксы! Не обращайтесь на меня внимания... Я ничего не смыслю, ничего не знаю, а главное — не стремлюсь знать.

— Но что вы скажете о Рябинине? — настаивал Бобровников. — Не увиливайте от прямого ответа.

— Господин Рябинин, как мне кажется, узко поставил вопрос. Судите сами, разве по сути вопрос поставлен неправильно? Все мы продажные твари! Все на свете продается, только цены разные.

— Д-да-а! — выдохнул Бобровников, отодвигая рюмку и почти с ужасом разглядывая князя. — Вот вы какой! Не зна-ал. Простите за откровенность — считал вас пустым местом... Эх, Рябинин не слышал! Нет уж, вы, пожалуйста, не уходите. Имейте в виду: Рябинин умен! Какой он там ни есть, а умен, чертушка. Кстати, вот он и сам пожаловал, теперь уж вам этикет не позволит испариться.

Рябинин вошел хмурый, сосредоточенный. Он привык, где бы ни появился, вызывать шумный восторг и теперь только досадливо отмахнулся от хозяина этой

чайнушки, забывшего о своих орденах, какие он носил в былые времена, о своем полковничьем чине и превратившегося в безобидного хлопотливого хозяйчика, раболепно встречающего богатых клиентов.

— Лестно, весьма лестно! Конечно, у нас не «Пайяр», не «Ларю», зато все русское! — бормотал он, мельтеша перед Рябининым и мешая ему пройти. — Добро пожаловать, Сергей Степанович! Удачно! *Par excellence*¹ сегодня, к блинам! *Faute de mieux*...²

— Бобровников не приходил? — не здороваясь, спросил Рябинин, но тут же увидел писателя и направился к нему.

Ничуть не удивился присутствию князя Хилкова. Выражение его лица говорило: «Хилков так Хилков. Какая разница». Но галантно подскочившего и звякнувшего шпорами завитого и нафабренного гусара без всякого стеснения прогнал:

— Ладно, ладно, без тебя обойдется. Не мешай.

— Виноват, Сергей Степанович... Я только хотел...

— Проваливай, проваливай, брат. У нас тут дело... Развелось этой шушеры! — обернулся Рябинин к Бобровникову и Хилкову. — Нигде не укрыться! На Невском у Палкина и то было сподручнее... Так как? Едем? — глянул он на Бобровникова. — Уже были и на Рю-де-Греннель? В полпредстве? У Красина?

— Еду, Сергей Степанович. Завтра иду визу получать, и — на Северный вокзал!

— Выходит, перебежчик?

— Нет, это называется по-другому: возвращение блудного сына. С меня довольно, не могу больше на это гнилое болото глядеть. Такая мерзость. Думал, так и пропаду. И вдруг — как солнце брызнуло. Пускают! В Россию!

— России нет. Есть Совдепия.

Рябинин сел напротив, долго молча тяжелым взглядом смотрел на Бобровникова, потом без злорадства, даже с грустью добавил:

— Расстреляют они вас. Как пить дать расстреляют. А эти наши молодчики — из кутеповского «Союза галли-

¹ В особенности (франц.).

² За неимением лучшего (франц.).

полийцев», — эти ерунду придумали. Пойдем, говорят, на вокзал и морду ему набьем. Это вам то есть. Мальчишество. Ведь не гимназисты. Я, собственно, и пришел об этом вас предупредить. Но коммунисты — серьезный народ. Вот увидите — обязательно расстреляют.

Бобровников молчал. Рябинин тоже замолк, молча придвинул бутылку водки, хозяин чайнушки мигом распорядился подать ему рюмку из особого — для почетных гостей — советского хрустального сервиза, купленного в 1923 году в Лионе, на международной ярмарке в советском павильоне. Рябинин налил, выпил и чертыхнулся:

— Ну и мерзость. Дайте-ка коньяку.

Князь Хилков, прямой, вежливый, внимательный, сидел, как в театральной ложе, слушал и поочередно смотрел то на Бобровникова, то на Рябинина. Его не тяготило, что он молчал. По-видимому, он чувствовал себя превосходно и слушал с нескрываемым удовольствием, так и казалось, что вот-вот он заплодирует.

Принесли бутылку коньяку и еще три рюмки. Рябинин повертел рюмку в руках:

— Завод имени Ломоносова? Понятно. Бывший императорский. Помню.

Опять молчание.

— Почти достигли довоенного уровня? Я говорю о Советской России. Допустим. Но чем? Ограбили банки. Потом ограбили церкви, даже колокола стибрили, даже ризы с икон содрали. Что дальше? Наладили промышленность? Ну, это туда-сюда, но доходы-то кому? Государству? Наладили дело на приисках — все золото опять государству, весь уголь, никель, все железо, вообще все, даже прибыль от каждого фунта сахара — все в одни руки... Это, конечно, один-ноль в пользу Советской власти, не спорю. М-да. Тут есть над чем задуматься. Для них один-ноль, а для меня? Нет! Не приемлю! Верую, господи, помоги моему неверию! При социализме полная возможность государству лезть в любой частный карман. С кем спорить? На кого жаловаться? Дери прямые, дери косвенные налоги, устанавливай какой вздумается нищенский оклад — все сойдет, все стерпят. В природе человека в свою пятерню загребать, копить, наживать, а у них как? В общий котел? Да тогда на какой ляд и работать? Тогда и воровать не стыдно, казенное всегда тянут. Тогда — из-

вините, пожалуйста, — пусть другие работают, работа дураков любит, а я уж погожу... Нет, не понимаю я этого, честно говорю, не понимаю! Человек — хищное животное, ему хочется живое мясо рвать, а тут его пичкают травкой социализма. Ничего у них не получится с социализмом! А чтобы наверняка не получилось, мы со своей стороны тоже постараемся. Где под руку подтолкнем, где в бочку меду ложку дегтя прибавим. Теперь, без Ленина, это будет проще, легче. А как же, господин... то бишь товарищ Бобровников? Сочтем своим долгом!

— У вас безвыходное положение, вот и злобствуете. Вы — макулатура. Знаете, тряпичники собирают обрезки, всякий хлам, и это идет в перемол, на бумажную фабрику...

— Заговорил! — усмехнулся Рябинин, подмигивая князю Хилкову. — За живое задело!

Бобровникова и вправду задело. Он подумал, слушая Рябинина, что хватит, почитал Рябинин мораль в былое время в Петербурге. И чего примчался? Чего ему надо? Предупредить, что морду хотят набить какие-то молодчики? Вряд ли. Это предлог. Утешения для себя ищет! На душе-то скребет, вот и мечется. Так получай же, почтеннейший издатель «Эллады»! Кушай на здоровье!

— Ваша дочь, господин Рябинин, вышла замуж за норвежца. Пройдет несколько лет — и она разучится говорить по-русски. Да и вы-то сами по-русски разучитесь, по-французски не научитесь... Вы... как бы это сказать... рассосетесь, сойдете на нет. Эта ваша величайшая трагедия, вы не меньше, чем я, тоскуете по родине, наверное плачете по ночам, во сне Литейный проспект снится да Адмиралтейство, локти кусаете, но вот какая оказия: я могу вернуться, а вы нет, вы вышвырнуты навечно. Я нагрешил, наделал глупостей, но все, что наделал, поправимо. Меня примут, мне поверят. И Куприн может вернуться, даже Бунин может! А вам пути отрезаны, батенька, и, конечно, вам это невыносимо, мучительно, больно. А колокола... что ж? Они сделаны народом, он хозяин, хочет — на колокольне их вешает, хочет — переплавит на снаряды, чтобы по вас бить...

Упоминанием о дочери Бобровников попал в самое больное место. Рябинин так и взвился, но тотчас овладел собой, сел, даже весь багровый стал и жилы надулись.

Рябинин больше всего боялся, что его дети забудут Россию, родной язык. Ведь Рябинин верил (или притворялся, что верит?) в скорое свое возвращение, в скорое падение советского режима.

В сущности, дочка пошла вся в отца, была такая же взбалмошная и порывистая. Рябинину не на что было жаловаться. Взять даже и сегодняшний случай: ну зачем понадобился Рябинину Бобровников? Но Рябинин не привык ни в чем себе отказывать. Вздумалось посмотреть на вновь испеченного советского гражданина — выполнил свой каприз.

Бобровников не первый, кто возвращался из эмиграции в Советскую Россию. Это стало распространенным явлением. Но Рябинин читал резкие антисоветские статьи Бобровникова. Что же случилось? Изменились взгляды? Ведь никто Бобровникову не предлагал каких-то особенных материальных выгод, никто не уговаривал его, напротив, сам он каялся и проклинал день, в который решился покинуть родную страну, не разобравшись, что в ней происходит. Рябинин внимательно прочел новые выступления в печати Бобровникова. Как будто они искренни. Бобровников старается во всем разобратся, ничего не замалчивает, ничего не скрывает и с какой неприязнью пишет об эмигрантах!

Прочитав эти саморазоблачения, Рябинин спросил себя, мог бы он, Рябинин, отказаться от своих взглядов, убеждений и пойти работать в Советской России, где-нибудь в ВСНХ? Никогда! Сколько он будет жить на свете, столько будет бороться всеми доступными ему средствами против коммунистов! Рябинин во многом разделял мнение Бобровникова, когда речь шла об эмигрантах. Рябинин и сам презирал всех этих ни на что не способных графов и князей, сам считал бездарью белых генералов, так позорно проигравших все до одной кампании. Но Рябинин считал, что борьба не кончена. Все впереди. Еще будет сказано последнее слово.

Писатель Бобровников талантлив и пишет только то, в чем убежден. Рябинину хотелось добиться в сознании этого писателя этакой трещинки. Дал высказаться Бобровникову, нетерпеливо махнул рукой некоторым субъектам за соседними столиками, чтобы не наостряли уши и не вмешивались. Затем сказал:

— А может быть, вас и не расстреляют большевики, с писателя спрос невелик, но мы, когда придем в Россию, уж обязательно вас повесим.

— Я и не сомневаюсь, что вы повесили бы. Что делать! От смерти не посторонишься. Только очень сомневаюсь, что вам удастся прийти. Кто вам поможет? Антон Иванович Деникин? Но он уже мемуарист — сидит пишет исповедь. Или Врангель? Кажется, всех перепробовали.

— Понадобятся, как видно, иностранные штыки.

— Кто же? Немцы?

— Хотя бы.

— Это вы, Сергей Степанович, только сгоряча могли сказать. Даже отпрыск царской фамилии, великий князь Дмитрий Павлович — уж его-то заподозрить в симпатиях к коммунистам трудно — и тот заявил, что в случае войны с Германией эмиграция должна встать на сторону Советской России.

— Мы немцев только используем.

— Ой ли? Смотрите, как бы они не обвели вас вокруг пальца. Вообще же... — Бобровников вдруг споткнулся, пораженный какой-то мыслью, и замолк.

Рябинин выжидательно смотрел. Князь Хилков был невозмутим и явно не намеревался и в дальнейшем произнести хотя бы слово.

Наконец Бобровников сформулировал осенившую его мысль и уже без запальчивости, даже как-то устало произнес:

— Собственно, зачем спорить? Зачем весь этот разговор, да еще в таких нервных тонах? Не собираемся же мы в чем-то один другого убедить? Вы меня не поймете, я вас. Больше скажу, я и сам-то себя не понимаю. Получил недавно письмо — оттуда, из города на Неве, от Крутоярова — слышали про такого? Писатель, выпустил не один десяток книг. Так вот пишет он мне, словно я несмышленный и, как говорится, трудный младенец. Он старается доступно объяснить мне, что оторваться от родины для писателя — смерти подобно. Ничего, говорит, вы не напишете, если немедленно не приедете сюда. Объяснять, говорит, долго и сложно, сами поймете, когда приедете. Нельзя, говорит, русскому писателю в такое время не быть на Родине. И так он написал, что у меня все нутро перевернуло. Ведь мы ничего не знаем

о том, что в России свершается, ничего. Вся эта писанина эмигрантской прессы только мозги засоряет. А поэзия? Боже мой! Бежать, бежать отсюда без оглядки! Я русский, понимаете вы это? И я хочу отдать своему народу все силы, все способности. Я ничего не знаю об Октябрьской революции, о новой России. Вероятно, мои убеждения наивны, но и того, что я понял, достаточно, чтобы любить эту новую Россию. Вы вот сказали, что готовы усмирять революцию германскими штыками. А знаете, какой роман я издам, приехав в Москву? Называется — «Бескровное вторжение», я и материал собрал, шесть глав написано. Из вороха газетных вырезок, очерков, монографий в роман войдет сотая доля. А жаль! Авторам исторических романов следовало бы одновременно с самим романом издавать все собранные для работы выписки, заметки, справки — какое было бы богатство для изучающего ту или иную эпоху!

— Вы бы без предисловия рассказывали о своем романе, ведь вам именно этого хочется.

— Я и расскажу, вам это полезно послушать. Мой роман «Бескровное вторжение» — это суровое обвинение вам, властителям предреволюционной России. Место действия — Питер, провинция, фронт. Время действия — четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый годы.

— Да? В советских издательствах не напечатают. Им подавай революцию. Придется вам романчик-то сюда прислать, мы издадим.

— Вряд ли он вам по нутру придется. В нем речь о том, как вы продали Россию, всю, с потрохами. О том, как у русской императрицы, истощно ненавидевшей Россию немки, были в руках все государственные тайны. Выпускалась тогда секретная военная карта с обозначением расположения наших войск. Выпускалась в двух экземплярах — один лично для Николая, другой — для начальника штаба генерала Алексеева. А впоследствии нашли в бумагах царицы эту карту, оказывается, у нее каким-то образом очутился третий экземпляр! Это у немки-то, родственницы Вильгельма!

— Да это же всем известно, это в мемуарах Деникина напечатано!

— А известно ли вам, что Прибалтийский край немцы называют попросту: Erste deutsche Überseekolo-

nie»¹, что им покою не дает идея: «Das grössere Deutschland»², что они ко времени мировой войны тысяча девятьсот четырнадцатого года успели уже захватить ключевые позиции в царской России, завладели русской нефтью, русскими железными дорогами? Куда ни ткнись — немец! Генералы и полковники — немцы, аптекари — немцы, продавцы в магазинах, музыканты, фабриканты, зубные врачи — немцы, немцы, немцы...

— Известно, — с деланно безразличным видом отозвался Рябинин. — Все это известно. Боюсь, что ваш роман будет скучноват.

— Известно ли вам, что помещение у нас германских капиталов носило завоевательный характер? Что вместе с капиталом засылались и банкиры, чтобы захватить все сферы влияния?

Бобровников перевел дух и обрушил новый поток фактов. Видимо, в нем еще не перекипели собранные для романа и еще полностью не осмысленные материалы, раз он так разговорился. Но он увидел скучающее лицо Рябинина и полное невозмутимого равнодушия пергаментное лицо князя Хилкова и замолк, рассмеявшись неожиданно добродушным и извиняющимся смехом.

— Эка прорвало меня. Но я вам объясню. Я вижу большой, глубокий смысл во всем этом. Судя по тому, какую ярость вызывает новый строй России в сердцах американских, немецких и прочих и прочих правителей, этот строй сулит им мало хорошего. Но если взять только одну сторону — освобождение России от всяческих бескровных завоевателей, от иностранного ига и пробуждение ее национальных сил, то и это одно на веки вечные прославит советских освободителей. Вы, господин Рябинин, бьете себя в грудь и клянетесь, что любите Россию. Но вы повинны в тяжком преступлении, вы продали родину, разбазарили ее, если не сами, то попустительствовали этому, а новые правители России вернули народу все, что у него было раскрадено. Вот это и будет идеей моего романа.

— Bravo! — не выдержал наконец князь Хилков. — Крепко сказано! Брависсимо!

¹ Первая немецкая колония (нем.).

² Великая Германия (нем.).

— Да обвинение-то прокурора в равной степени относится и к вам! — раздосадованно крикнул Рябинин.

— Я не участвую в человеческой комедии, разыгрывающейся на земной планете, — галантно пояснил князь Хилков. — Я только зритель.

3

Перед отъездом в Советскую Россию Бобровников, выполняя обещание, побывал у Марии Михайловны. Она встретила его с меланхолическим видом, пояснила, что ей нездоровится, грустным голосом предложила чаю. Кроме Бобровникова, никого не было. Ему подали чай. В доме была какая-то гнетущая тишина. В огромных комнатах холодно и неуютно. Мария Михайловна говорила тихим упавшим голосом, куталась в пуховый платок, глаза ее припухли, будто она только что плакала.

— Очень любезно, что вы не отказались навестить несчастную одинокую женщину. Ваш отъезд всколыхнул в памяти давнее прошлое. Так странно, что вы спокойно сядете в поезд и поедете... туда! Мне всегда представлялось, что там давно уже ничего нет, пустота, провал... Мне как-то в голову не приходило, что туда можно вот так запросто — сесть в купе и поехать. России нет... То есть я имею в виду — той, нашей России. Та Россия, как град Китеж, погрузилась на дно озера, сгинула, исчезла...

Она говорила медленно и не очень связно. Как будто бредила. Она еще не опомнилась от недавнего сильного потрясения.

Приехал в Париж московский Большой театр — советский балет и советская опера. Мария Михайловна сидела в ложе. На сцене помещичьи девки собирали малину и пели «Девицы-красавицы»... На сцене варили варенье... и Татьяна Ларина назначала свидание Онегину... Прекрасные голоса, изумительная музыка Чайковского... Зрительный зал был наполнен разнаряженными женщинами. Сверкали кольца, серьги, браслеты, кулоны, которые каким-то чудом еще уцелели от прежних времен... Сверкали лысины мужчин, неуклонно стареющих, доживающих дни здесь, в эмиграции, не у дел, в ненастоящей, на холостом ходу вертящейся жизни... Мария Михайловна, потрясенная, растерянная, сидела в ложе и плакала, плакала неутешно, горько, обиженно.

У нее было впечатление, что она из загробного мира, из могильного склепа ухитрилась подслушать явственно долетающие до нее звуки той, настоящей, благоухающей жизни.

Не ходи подслушивать,
Не ходи подглядывать
Игры наши девичьи... —

пели помещичьи девушки.

Сердце разрывало это стройное пение. Нет больше помещичьих девушек! Нет больше добрых нянь и соседей-помещиков! Ничего нет, миф, мираж, пустота...

Этот спектакль был рубежом в жизни Марии Михайловны. На следующее утро она поняла как-то сразу, внезапно, что пришла ее старость, что она безнадежно постарела, что не стоит больше притворяться и обманывать себя несбыточными надеждами, пудрой и косметическим массажем...

Люси теперь почти никогда не бывала дома. Она пропадала у графини Потоцкой. Друг дома неизменно корректный князь Хилков, дорогой Жан, по-прежнему приходил, с тревогой смотрел на Марию Михайловну, понимал ее переживания, но избегал затрагивать болезную тему.

Мария Михайловна стала исступленно-религиозной. В доме появились какие-то тихие черные женщины. Мария Михайловна не пропускала ни одной службы в церквушке на Рю-Дарю. И вот в ту пору ее стала преследовать мысль, что нельзя допустить, чтобы на крышку ее гроба сбрасывали комья чужой, французской земли...

Напоив чаем Бобровникова, она сразу приступила к делу.

— Вы вправе пренебречь моей просьбой, господин Бобровников, но если бы вы знали, как это для меня важно... Это, пожалуй, уже последнее, что я хочу получить от жизни...

— Вы хотите что-нибудь послать со мной в Россию? У вас там есть родственники? — попытался помочь княгине Бобровников, видя, в каком она затруднении.

— Напротив. Я хотела бы получить оттуда... землю. Мою землю.

— Позвольте, — совсем растерялся Бобровников, с опаской поглядывая, не рехнулась ли эта светская

старуха, — но всем известно, что помещичьи земли в Советской России конфискованы, переданы народу!

— Вы не поняли меня. Мне нужно совсем немного земли, горсточку, какой-нибудь, знаете ли, мешочек...

Бобровников все еще ничего не понимал.

— Горсточку? То есть как горсточку?

Когда княгиня Долгорукова пояснила, сколько ей нужно земли — родной священной русской земли — и для какой цели, Бобровников смутился, растрогался и долго уверял, что выполнит эту необычную просьбу.

— Обязательно пришлю! Сочту долгом! — повторял он, уже прощаясь.

Он и на самом деле не забыл о своем обещании. Опомнившись от первых встреч и первых впечатлений в Ленинграде, Бобровников отправился однажды к Таврическому саду. Там, почти на углу Шпалерной улицы, которая именовалась теперь улицей Воинова, он нашел маленький магазинчик, где продавали цветы, саженцы, а также землю специально для комнатных растений.

— Будете довольны, товарищ! — приговаривала розовощекая бойкая бабенка, наполняя землей принесенный Бобровниковым холщовый мешок. — Чудная земля, вы только потрогайте — пух!

Бобровников не сразу нашел способ, как переслать свою посылочку в Париж. И как же обрадовалась подарку Мария Михайловна! Как благодарила!

4

Слух о том, что княгиней Долгоруковой получена подлинная русская земля, с быстротой молнии разнесся по Парижу. В дом Долгоруковой потянулись породистые, чопорные, элегантные старухи, сухощавые, еле передвигающие ноги, усохшие, с обвислыми щеками, с тусклыми пустыми слезящимися глазами.

Мария Михайловна особо держала неприкосновенный запас — исключительно для себя. Выделила малую толику и на богоугодные благотворительные цели. А самым близким и самым именитым — столбовым дворянам, внесенным в «Бархатную книгу», сенаторам, предводителям дворянства, рюриковичам, гедиминовичам — выдавала,

как особый дар, щепоточку земли, отмеривая ее старинной серебряной ложечкой с вензелем и короной.

Только и слышали в эти годы сообщения: умер такой-то; скончалась такая-то... Это стало постоянной темой разговоров: смерть, смерть, смерть. Дошла очередь и до князя Хилкова. Он умер как-то нечаянно, мимоходом, только что собираясь побриться. Его нашли мертвым и уже закоченевшим, с одной намыленной щекой.

После его смерти Мария Михайловна стала совсем придурковатой, замечали даже, что она заговаривается. Жила теперь она совсем одна в огромной и холодной, как склеп, квартире. Люси укатила в Америку. Она после многих и многих приключений вышла замуж за американского архимиллионера, поставляющего в армию бомбардировщики.

Зачастил к Марии Михайловне некий Рихард Гук. Он говорил на нескольких языках, и на всех с акцентом. Одни думали, что он тайный немецкий агент, другие намекали на его связи с неким засекреченным учреждением Соединенных Штатов.

Рихард Гук способен был часами доказывать Марии Михайловне бессмысленность человеческой жизни, полной тревог и обманов, тем более что видимого мира попросту нет, все существующее — только плод нашего больного воображения. Рихард Гук клятвенно уверял, что для человечества было бы выгоднее всего погибнуть в пламени войны. И быстро, и надежно! А если так, то почему бы не начать поход против коммунизма? И почему бы ей, Марии Михайловне, не завещать свое состояние на это дело?

Мария Михайловна слушала странного проповедника со смутной тревогой, смешанной с религиозным восторгом. Но она никак не могла запомнить мудреного названия этого нового учения: экзистенциализм.

Рихарду Гуку начинало казаться, что его работа не пропадет даром, что он достаточно подготовил эту чертову куклу — русскую княгиню и можно приступить к оформлению денежных дел. Однажды Рихард Гук пришел не один, а в сопровождении некоего джентльмена.

— Тысяча извинений! — расшаркался Рихард Гук. — Осмелился без особого на то разрешения прихватить

с собой мосье Кадо, юрисконсульта нашей фирмы. Осмелюсь напомнить о вашем, княгиня, искреннем желании принять посильное участие в крестовом походе против антихристов двадцатого века — коммунистов...

— Участие? — удивилась Мария Михайловна. И вдруг, переходя на «ты», отчеканила: — Да ты никак очумел, милый человек! Никак ты меня полковым командиром хочешь сделать!

— Виноват, — обиженно поднял брови Рихард Гук. — Я про деньги...

— Ах, про деньги?! Вот что я тебе скажу. Проповеди ты читаешь хорошо, вроде как про второе пришествие и что все погибнут в геенне огненной... А денег я тебе не дам. Не обессудь.

И княгиня встала, показывая, что разговор окончен.

— Дура душой, а к денежкам не подберешься! — злился Рихард Гук, направляясь в прихожую.

5

Виталий Павлович Сальников был поистине неутомим. Внешне невозмутимый, корректный, готовый каждого выслушать, ни при каких обстоятельствах не терявший самообладания, он был снедаем всепожирающей страстью. Он был жертвой дьявольского честолюбия, а ведь это страшнее, чем картежная игра или рулетка! Сальников плел политическую паутину, как упрямый паук.

Сколько сил, изобретательности, денег, красноречия затратил он на подготовку грандиозной акции! Как тщательно все продумал! Взять только одну схему антисоветской организации, созданную им: все действуют, но никто никого не знает. Существуют звенья, «пятерки», каждые пять человек знают только друг друга, руководитель «пятерки» тайно связан с одним, только с одним из другой пятерки. В случае провала выходят из игры пятеро, но в целом организация остается нераскрытой. И только у одного Сальникова хранится строжайше зашифрованный список всех точек на территории Советской России.

Сальников пришел к убеждению, что государственный переворот возможен только изнутри. Восстание начинается одновременно в нескольких районах. После захвата хотя бы небольшой территории Сальников объяв-

ляет себя диктатором новой России и обращается за дружеской помощью к иностранным государствам. Те признают Сальникова и двигают заранее подготовленные войска, чтобы поддержать «фактического правителя России».

«Гениально? — спрашивал сам себя Сальников и сам отвечал: — Гениально!»

Виталий Павлович Сальников несколько не заблуждался в отношении белой эмиграции. Единственное, на что они способны, считал он, это слать проклятия на голову коммунистов да скулить о погибшей России. Как никчемны были все эти князья, светлейшие и несветлейшие, зачастую потомки деятельных и одаренных людей! Сальников помнит, что который-то из Шереметевых сражался со шведами, один из Шуваловых участвовал в штурме Очакова, один из Гагариных открыл в Париже «Musée Slave», а кто-то из Волконских был основателем русского генерального штаба. А эти, что образовали так называемую русскую за границу? Вздорные, бездеятельные, не способные не только отстаивать свои права, но даже натянуть штаны без помощи лакея, — они просаживали свои состояния и ждали, когда им преподнесут на блюде в готовеньком виде снова, как прежде, покорную и безответную Россию.

Сальников надеялся только на себя да на свою зеленую гвардию. Эти не подведут! Эти способны на все! Головорезы!

Поистине Сальников был сыном своего века. И почему бы Сальникову не претендовать на роль русского диктатора, формирующего с помощью иностранных штыков новую, вполне приемлемую для делового мира Россию?

Ведь это было время, когда нефтяной промышленник Детердинг один, самолично объявлял войну Советской стране — огромному, многомиллионному государству, строй которого, видите ли, ему не нравился. Ведь это было время, когда несколько никому не известных молодых, необразованных, морально неустойчивых людей в Германии готовились ни больше ни меньше как захватить весь мир и орали об этом во всех пивных Мюнхена. Ведь это было время, когда в Японии вынашивались сумасбродные планы о некоем азиатском веке, грядущем на смену нынешнему. Когда американские бизне-

смены откровенно заявляли, что согласны зачислить Европу в качестве еще одного штата в состав Соединенных Штатов Америки. Когда капитулировавшая Германия у всех на виду вооружалась, вопреки условиям мира, и фирма Борзиг в лесу под Берлином открыла секретную лабораторию, где готовили оружие для новой войны. Их смертоносные творения вскоре должны были предстать перед ошеломленным человечеством.

Казалось, мир неудержимо приближается к страшной катастрофе, готовой смести все накопленные веками материальные и духовные ценности.

Капиталистический мир буксует, работает на холостом ходу. Колеса вертятся, государственные мужи заседают, рабочие трудятся, ученые проводят бессонные ночи — и все впустую. Ведь оттого, что будет изготовлено еще столько-то снарядов, народ не станет лучше жить.

Старый мир, как неудачный наследник, просаживающий отцовские накопления, живет за счет прошлого! Давно минула его пора! Склеротическая старость сковывает движения. Слабеет рассудок. Все чаще случаются просчеты. Тускнеет взор. Уже не видит капитализм того, что впереди. Тычется невпопад. В припадке ярости наносит удары вслепую, отрицает даже то, что очевидно, восстает против здравого смысла и никак не может поверить, что пришел его конец.

Но разве видел и понимал это Сальников, ослепленный всепоглощающей манией величия, охваченный жаждой власти? Поистине он был сыном своего века, когда из небытия, из неизвестности, путем одних интриг и вздорных деклараций выскакивали, как мыльные пузыри, диктаторы, «батьки», «спасители России», чтобы тут же бесследно исчезнуть. Каждому из них казалось, что те, до него, — бездарные выскочки, неудачники, а он — совсем другое дело.

Вот и Сальников непоколебимо верил в свою звезду.

6

— В Париже первым, кого встретил Сальников, был фон дер Рооп. Он просил устроить ему свидание с господином Рябининым. Сальников охотно согласился: если к его посредничеству обратились, значит, он будет при-

существовать при встрече, а Сальников любил знать все тайные нити, весь клубок интриг. Недаром Сальников даже Гарри Петерсона порой удивлял своей осведомленностью.

Рябинин, выслушав Сальникова, не выразил особого восторга:

— Чего они там? Полковник Вальтер Николаи что-нибудь выдумывает? Деньги понадобились? Обеднели Крупп и Тиссен? Фирма Борзиг обанкротилась со своей секретной лабораторией под Берлином?

«Оказывается, знает о лаборатории!» — с удовольствием отметил Сальников.

Рябинин был его маленькой слабостью. Сальников считал его очень и очень толковым, даже намечал на министерский пост в своем будущем российском правительстве.

— На каком языке будем разговаривать? — спросил Рябинин, когда они расположились в роскошном раззолоченном салоне гостиницы «Континенталь», так сказать, на нейтральной почве.

Сальников поспешно пояснил:

— Господин фон дер Рооп предпочитает говорить по-немецки, он об этом меня просил, но готов перейти на французский или английский, как будет удобнее вам, Сергей Степанович.

— Я буду говорить только по-русски, — отрезал Рябинин.

— Я буду переводить, — усмехнулся Сальников, — для меня это не составит никакого труда.

Фон дер Рооп начал с комплиментов. Он много слышал о деятельности Рябинина, об уме Рябинина, о высоком положении Рябинина. Он счастлив, что Рябинин был настолько любезен... и так далее и так далее.

Сальников с большой тщательностью переводил, но не придерживался дословного перевода, сохраняя только общий смысл.

Рябинин слушал с чуть затаенной насмешкой. Его вид говорил: «Слыхали мы эти штучки. Выкладывал бы сразу суть».

Но фон дер Рооп поспешно заявил, что ничьих поручений не имеет, не предполагает ни о чем просить, а хотел бы только проконсультироваться по некоторым вопросам и выслушать авторитетное... компетентное... цен-

ное... мнение глубокоуважаемого, выдающегося, досто-
почтенного герра Рябинина...

Тут Рябинин специально для Сальникова, но отнюдь
не для того, чтобы это было переведено, вернул:

— Лай не лай, а хвостом виляй. Так, что ли, полу-
чается?

— Was? — переспросил фон дер Рооп, осекшись.

Сальников опять усмехнулся и перевел, что господин
Рябинин привел русскую пословицу, суть которой заклю-
чается в том... тут Сальников на какой-то миг приоста-
новился и бодро закончил, что суть пословицы прибли-
зительно такова: «Всякая встреча начинается с привет-
ствий».

— O! Bitte schön! O! Kolossal!.. — закивал фон дер
Рооп, чем сильно насмешил Рябинина.

Далее начался более содержательный разговор. Фон
дер Рооп стал излагать достаточно известную и доста-
точно нелепую теорию о том, что на Германии лежит не-
кая историческая миссия спасения цивилизации, что не-
равенство — закон природы, что история — это борьба
рас и сильная раса должна господствовать над сла-
бой, что материализм — философия низших классов,
что жизнь есть воля к власти и что рабство необхо-
димо.

— Простите, — прервал его наконец Рябинин, — не
думаете ли вы, герр фон дер Рооп, убедить меня, чтобы
я вступил в вашу партию?

И Рябинин принялся с большим удовольствием поно-
сить немецкие нравы, ругать немецкую политику.

Фон дер Рооп смотрел с явным интересом, Сальни-
ков забыл об обязанностях переводчика и тоже внима-
тельно слушал.

— Вам самим кажется, что вы очень хитрые. А ведь
все у вас белыми нитками шито. Бросились вы вслед за
другими живоглотами прибирать к рукам африканские
земли и рвать друг у друга из рук золотые россыпи
в верховьях реки Фоле, алмазы в нижнем течении
Вааля, всяческие Занзибары, Камеруны и Сомали... Тот-
час нашлись у вас почтеннейшие профессора, которые,
как снисходительные исповедники, дали вам отпущение
грехов. «Вы безжалостно истребляете негритянские пле-
мена? — вопрошали они. — Ничего, это можно, ведь
негры даже не люди. Иначе ими не торговали бы, как

всяким другим товаром — слонами, бананами, лошадьми». И вот уже вам кажется, что ничего преступного нет в истреблении негритянских племен: ведь это оправдывает этот... ваш профессор... Иоганн Фридрих Блюменфельд!

— Не Блюменфельд, а Блюменбах, вы хотите сказать? — вдруг на чистейшем русском языке поправил фон дер Рооп.

— Пусть Блюменбах, — согласился Рябинин. — Но какого лешего вы прикидывались, будто не говорите по-русски? А вы, Виталий Павлович, — напустился он на Сальникова, — разве не знали, что господин фон дер Рооп владеет русским языком?

— Конечно знал, — невозмутимо ответил Сальников. — Как же не знать, если мне известно, что господин фон дер Рооп родился под Ревелем, учился в Петербурге и только в девятнадцатом году стал, так сказать, иностранцем.

— Если вас не затруднит, — обратился фон дер Рооп к Рябинину, — можете быть, вы продолжите ваши любопытные экскурсии в историю? Мы остановились на Иоганне Фридрихе Блюменбахе... Что же этот Блюменбах?

— Блюменбаху уплатили, и он старается лгать на всю уплаченную сумму. Он готов заявить что угодно, даже что все расы, кроме белой, зря обременяют землю.

— Может быть, так оно и есть?

— Дело в том, что у вас этот прием повторяется. Сейчас вам хочется слопать Францию, поэтому вы в своих сочинениях утверждаете, что французы — это помесь негра с евреем... По тем же соображениям вы клянетесь, что чехи и поляки неполноценны, что русских следует истребить... Вы посмотрите на себя в зеркало — я не хочу ничего обидного сказать о вашей наружности, но не можете же вы отрицать, что вы самый, что называется, брюнет, а как же быть с выкриками ваших единомышленников в Германии, что историю творят блондины?

Видимо, фон дер Роопу трудно было привести в замешательство. Он снисходительно улыбнулся и стал объяснять Рябинину, как непонятливому ученику:

— Но боже мой! Ведь вы же, господин Рябинин, умный человек! Да, мы проповедуем, что представители

северной германской расы высоки и стройны, ноги у них длинные, но не слишком, глаза голубые или серые... Что германская раса — носитель культуры, что низшие расы не способны подняться на высшую ступень развития, что древний германец — вот высокий идеал... Но теория — одно, практическая политика — другое. Истины, которые мы провозглашаем, святы для толпы, не подлежат обсуждению и должны бездумно приниматься чернью. Но не считаете ли вы нас такими идиотами, чтобы серьезно верить, будто французы никуда не годятся, будто русские не создали величайшие ценности культуры... Это все пропаганда. Массы в общем ограничены, тупы, им надо давать броские, ошеломляющие лозунги. Иначе как же мы заставим наших солдат убивать детей, женщин, стариков — все подряд население России?

— А вы хотите их заставить делать это?

— Хм... Э-э... — спохватился фон дер Рооп, сообразив, что беседует с двумя русскими, а не сидит за кружкой пива в кругу мюнхенских друзей где-нибудь в Аугустинербрау или Францисканербрау. Но тут же с чисто немецкой невозмутимостью продолжал: — Глубокоуважаемый господин Рябинин! Будем называть кошку кошкой. В конце концов разве вы сами не даете указание какому-нибудь Деникину или Колчаку, Иванову-Ринову или Калмыкову безжалостно убивать ваших соотечественников? А вы, господин Сальников, разве не стреляете в своих земляков из-за угла? Убивать — это прирожденное свойство человека. Убивать — это благородно. Война — самая захватывающая из страстей. Без войны не обойтись. А если без войны не обойтись, как вы обойдетесь без Германии? Понятие войны вечно.

— Это все так, господин фон дер Рооп. Только если оглянуться на историю, у вас часто случается просчет. И еще имейте в виду: вам до зарезу хочется завладеть миром — а кому этого не хочется? Америке приспичило создать империю. Японии тоже, все спят и видят зацапать вселенную. Поэтому возможны самые невероятные вещи. Нет, серьезно! Ну кто вам позволит лезть до самого Томска, заглотать такой кусок? Не испортите желудка, герр фон дер Рооп!

Рябинин все ждал, когда же немец попросит у Торг-

прома ссуду. Но тот так и не попросил, а Рябинин так и не понял, зачем он ему был нужен.

Свиданием остался доволен один только Сальников. Он учел, что немцы новейшей формации щупают почву, примеряются, прежде чем ринуться в очередную военную авантюру. Он понял, что торгпромовские воротилы не слишком жалуют немецких искателей «пространства». Сальникову казалось, что ни тот, ни другой не имеют ясного представления о Советском Союзе, о состоянии Красной Армии, о готовности русских к войне. Только он, Сальников, учитывает все возможности. Только он все знает.

Фон дер Рооп откланялся и оставил Рябинина и Сальникова продолжать беседу вдвоем.

Рябинин был задумчив. Весь вечер ему вспоминался разговор с Бобровниковым, и он чувствовал, что насчет немцев тот был прав.

— Да-а, с одной стороны, конечно, без них не обойтись. Но пусть не воображают, что приберут завоеванную Россию к рукам. Вооруженная борьба за освобождение России будет отнесена к одной из справедливейших и наиболее полезных войн. Но время, по-видимому, еще не настало...

— А внутренний плацдарм, который я берусь обеспечить, — возразил Сальников, — разве это не упростит задачу?

— Наивный народ! У всех у вас путаница в голове. Вы смешиваете то, что вам хотелось бы, с тем, что осуществимо. Немцы заладили свой «блиц». Вы тоже надеетесь на какое-то чудо. Скажите откровенно, сколько времени, по вашему мнению, потребуется вам, чтобы где-то там, в некоем районе, при самых благоприятных обстоятельствах захватить солидный, как вы изволили выразиться, плацдарм? Захватить, укрепиться на нем и объявить себя верховным правителем, с которым иностранные державы могли бы установить дипломатические отношения?

— Сейчас трудно сказать... Может быть, год... или два...

— Год или два? Реально! И, я считаю, рентабельно! Я человек коммерческий, и деятели Европы — тоже люди здравого ума. Никто никогда не пойдет на заведомо нерентабельное предприятие. Донкихотов в деловом мире

нет. Ну что ж. Действуйте, Виталий Павлович, с богом, как говорится. Я со своей стороны буду ратовать за вас.

На следующий день Сальников присутствовал на сверхсекретнейшем совещании представителей деловых кругов и некоторых военных.

«Кажется, все. Теперь действовать!» — сказал Сальников, возвратясь с совещания к себе в отель и разглядывая в зеркало свое лицо, бледное, напряженное, с синими тенями под глазами.

ДЕВЯТАЯ ГЛАВА

1

Отправляясь по делам службы в Киев, а затем на съезд Советов в Москву, Котовский временно возложил командование корпусом на начальника штаба Гукова.

Вернулся Григорий Иванович только 24 февраля. Вернулся совсем особенный: в голосе стальные нотки, движения четкие, как будто вот-вот взорвется ракета — сигнал атаки.

— Они там ничего не знают, — говорил он встретившим его командирам. — Они думают, мы после смерти Ильича руки опустим. А мы стиснем зубы, проглотим слезы и будем еще крепче!

Командиры молчали. Кто «они», которые «ничего не знают»? О ком говорит Котовский? Ну да, это там, за рубежом, те, что все еще надеются задушить советский строй.

— Товарищи! — гремел голос Котовского, и его соратникам чудилось былое: «Вперед, орлы!» — Делом, и только делом, мы можем выразить нашу скорбь. Не хныкать! Действовать! Жить! Искать новые скорости! Шагать!

И он был полон жизни, полон энергии. Рассказывал о съезде, о том, как встречена была весть о кончине Ленина, о поездке в Харьков к Фрунзе, о том, как много потребуется от них всех, чтобы выполнить свой долг. Котовский говорил:

— Когда ты берешь в руки лопату, чтобы вскопать гряды, когда ты встаешь у станка, выезжаешь в поле на

тракторе, открываешь учебник, сидя за партой, когда ты строишь дом, или готовишь обед для артели, или просто подметаешь улицу, или судишь преступника, или ведешь в открытом море торговое судно, или испытываешь новой конструкции самолет, — помни, ты строишь новое, социалистическое общество! — Помолчав, он заключил: — Ну, а теперь давайте рассказывайте, как и что у вас?

Котовский входил во все дела корпуса, его интересовало все без исключения, он не упускал ни одной мелочи. Да и существуют ли мелочи в таком ответственном деле, как военная выучка? Слишком дорого может обойтись впоследствии малейшее упущение. В военном деле мелочей нет.

Григорий Иванович с удовольствием беседовал с Гуковым. Вот бесценный старик! Работает азартно. Дело знает. С таким легко и спокойно: не подведет.

«Хороший старикан!» — думает Котовский, любуясь им. Однако вслух этого не произносит. Знает по себе, как неприятно выслушивать похвалы. Котовский так рассуждает: нельзя хвалить за то, что ты хороший, честный, храбрый, что ты выполняешь долг. Ведь все это — обязательные качества человека.

Выслушав Гукова, Котовский сказал:

— Значит, опять эскадрон связи подкачал? Снова отлынивает от физической подготовки?

Физическую подготовку, ежедневную гимнастику Котовский считал непременным условием военной учебы. В корпусе он начал с того, что отобрал по несколько человек из каждой дивизии и стал заниматься с ними, приглашая к себе, знакомя их с литературой по физическому воспитанию, объясняя значение спорта и гимнастики, рассказывая о своей личной практике и демонстрируя перед ними весь цикл упражнений по системе доктора Анохина.

Таким образом удалось подготовить первых инструкторов в корпусе.

В гимнастическом зале корпусной школы ежедневно проходили занятия. Гимнастика и спорт были обязательными предметами. Зимой по указанию Котовского постепенно снижали температуру в гимнастическом зале. Когда курсанты были достаточно подготовлены и закалены, гимнастику перенесли на свежий воздух, стали де-

лать упражнения, стоя на снегу, в трусах и тапочках. Котовский показывал пример. Надо сказать, что на курсантов школы можно было полюбоваться, это были здоровяки на подбор, с отличной мускулатурой и отличным настроением.

Относительно же эскадрона связи Котовский говорил: — В семье не без урода. Но будем надеяться, что и наши связисты поймут значение спорта. Вы знаете, Владимир Матвеевич, я убежден, что физическое воспитание — это первый шаг к воспитанию характера, к воспитанию вообще. Это — самодисциплина. С этого начинается человек. Вежливость, внимание к людям, уважение к женщине, добросовестность во всех делах и поступках, привычка быть хозяином своего слова, обязательность — все это, вместе взятое, и есть, по сути, привычка мыть руки перед едой и привычка начинать день с гимнастики. Это все равно, что не забыть утром завести часы: забудешь — остановятся. А можно ли ждать от неаккуратного или нечистоплотного человека, что он окажется хорошим гражданином? Что он не свихнется? Что он не напутает?

— Ого, куда вы повели! Но пожалуй, вы правы. Человек, который задолжал вам и не отдал рубль, может подвести и на тысячу, — согласился Гуков.

— Эскадрон связи пренебрегает физическим воспитанием. Хотите, пойдем и посмотрим, не отразилось ли это на всем их отношении к своим обязанностям?

До эскадрона связи рукой подать. Котовский появился в конюшнях эскадрона рано утром.

— Свалился как снег на голову! — рассказывали потом связисты. — Знали бы, что придет, все бы сверкало, как стеклышко!

От Котовского ничто не ускользнуло. Сопровождавший его начальник штаба еле успевал записывать:

— Лошади вычищены скверно, шерсть забита пылью. Записали? Не стыдно ли так обращаться с лошадьми, ведь лошадь — первейший наш друг в бою! Это записывать не нужно, и так ясно... А стремена, видели стремена? Ржавчина!

— Да это же просто глина, товарищ комкор! — обиделся командир эскадрона.

— И глины хватает, и ржавчина. Значит, после езды как было, так и бросили. Хороши голубчики! На коже

слой пыли толщиной с палец, можно подумать, что седла лежат без движения со времен похода Александра Македонского. Днища кормушек проедены, железная обивка отстает, а эти гвозди — они же могут поранить лошадей!

— Уже приняты меры, — вступился командир эскадрона. — Не верите? У меня уже и отношение написано, после того как дневальный доложил.

— Кстати, где дневальный? Кто может ответить на этот вопрос?

Выяснилось, что дневальный до того увлекся чтением, что не заметил прихода командира корпуса.

— Конечно, непорядок, — примирительно пробормотал Гуков, — но в пользу дневального говорит, что он не спал, не играл в «козла», а читал книгу. Ведь мы именно сейчас проводим кампанию по внедрению в армию книги!

Это замечание вызвало смех. Рассмеялся и Котовский. Установили, что дневальный читает «Королеву Марго».

— Эх ты, тютя! — расстроился комиссар эскадрона. — Нет чтобы читать «Азбуку коммунизма»! Учишь вас! На кой ляд сдалась тебе эта «Королева»!

— «Королева Марго» — тоже неплохо, — решительно заявил Котовский. — погоди, я тебе «Анну Каренину» пришлю. Не читал? А эту, как прочтешь, товарищу комиссару передай, пусть и он прочтает, а после мне доложит, что там написано. Ясно? Я, например, так зачитался этой «Королевой» — всю ночь напролет читал, пока не кончил... Только я-то читал не в рабочее время и тем паче не на дежурстве. Ясно? Дайте ему три наряда вне очереди, чтобы у него было время обдумать мои слова.

Осмотрев конюшни эскадрона, прилегающие к Торговой улице, отправились на улицу Октябрьской революции, в помещение канцелярии эскадрона.

Гуков снова взялся за карандаш.

— Смотрите! — вскричал Котовский. — Смотрите, что делается у них в общежитии сотрудников канцелярии эскадрона! Грязища, немытая посуда! Вот этот котелок с остатками вчерашней каши мы захватим с собой! Экспонат! А ведь докладывают мне, что в эскадроне все в должном порядке! Чуть было не объявили их образцовой частью! Вот какие ловкачи... И уж, конечно, проню-

хай они, что к ним комкор с начальником штаба собираются, — букеты бы на столах расставили, коврики бы разостлали. Видимо, очковтирательство еще бытует в нашем эскадроне связи, как вы полагаете, товарищ начальник штаба?

После такого конфуза в эскадроне три дня и три ночи скоблили и чистили. Дневального, зачитавшегося книгой, так и прозвали «Королевой Марго». Командир эскадрона, получив в приказе выговор, ходил к командиру корпуса и выпрашивал обратно котелок, в который заглядывали поочередно все краскомы, даже те, что приезжали из Гайсина и Тульчина, из Бердичева и Киева.

2

Было совершенно очевидным, что работа Котовского не пропадает даром. Корпус по справедливости можно было назвать образцовым. И когда на осенних кавалерийских маневрах в Подолии проносились в строю бойцы 9-й Крымской дивизии в фуражках с желтым околышем и синим верхом, когда выполняли сложные перемещения бойцы 3-й Бессарабской в фуражках с желтым околышем и красным верхом, Котовский любовался своими питомцами.

Харьковская газета «Коммунист», сообщая об этих маневрах, отмечала хорошую подготовленность корпуса. В отчетной статье подчеркивалось, что во время маневров совершались стоверстные переходы и ни одна лошадь не вышла из строя, что сбор конно-пулеметного эскадрона производился в четыре минуты, а сбор кавалерийского полка в шесть минут.

Эту статью Ольга Петровна знала наизусть, потому что при появлении в доме каждого нового человека Григорий Иванович якобы случайно вспоминал о маневрах и просил Ольгу Петровну прочесть статью.

Спорт — это венец физической подготовки. Об этом и шла речь в приказе по корпусу — о постановке физической подготовки в частях и организации конно-спортивных и стрелковых кружков.

Это и Фрунзе одобрил:

— Дело нужное, это мы везде введем, в обязательном порядке. Это привьется не только в армии, этим духом будет пронизано все воспитание молодежи. Нам

нужно здоровое, бодрое поколение, сильные, волевые люди, а не размазни и хлюпики!

Котовский взялся за новое дело с обычным жаром. Он сам во всем показывал пример. В конно-спортивных кружках проводятся состязания. Владение холодным оружием. Сменная фигурная езда. Конкурсная езда. Состязания на выравнивание аллюров на отмеренной версте разными колоннами и развернутым строем. Полевые галопы без препятствий и с препятствиями. Парфорсная охота.

Конный спорт становился на новые основы.

Котовский все свои планы, замыслы, размышления о трудностях, о радости успехов — все это излагал дома внимательной слушательнице Ольге Петровне. Григорий Иванович перед ней развивал мысли о необходимости учебы кавалеристов, о значении стрелкового спорта, о твердом его решении сделать кавалерийский корпус стальным. Отличнейшим! Безупречнейшим!

Григорий Иванович бросал на стол ложку, забывал о супе, который стынет в тарелке, и, вскакивая и начиная кружить вокруг стола, горячо доказывал:

— И он будет отличный, будет безупречный, будет стальной! Ты веришь этому, Леля?

Леля верила. Но она хотела, чтобы муж хоть изредка отдыхал и уж во всяком случае съел суп, пока он еще окончательно не остыл.

— Верю, но высказывай свои надежды не так громко: Гришутка спит.

— И Гришутка у нас будет отличный! Как ты думаешь, Леля?

Сыну исполнилось два года.

— Вот вырастешь — и тебя посажу на боевого коня, — говорил ему Григорий Иванович, — и будешь ты скакать галопом навстречу ветру. Может быть, к этому времени мы уже победим всех врагов? Или еще не победим? Как ты думаешь?

Маленький Гриша смотрел на отца серьезно и внимательно, как будто и в самом деле обдумывал этот сложный вопрос.

Затем начинались игры. Все летело вверх дном в квартире! Григорий Иванович изображал тигров и леопардов, великанов и людоедов, они устраивали показа-

тельные бои, маленький Гриша визжал от восторга. Но трудно было решить, кто получал больше удовольствия и кто сильнее увлекался забавами — маленький Гриша или большой.

3

Сравнительно легко было разрешить вопрос с жизнеустройством таких людей, как Савелий, Марков, Гарбарь, Криворучко, Белоусов. Но куда денутся, где преклонят головы после демобилизации те бобыли, которые и семью за войну потеряли, и дом у них сожжен, да и все селение исчезло, выгорело дотла? Специальности никакой, единственно, что они умеют — сеять хлеб, пусть дедовскими приемами, с сохой и лукошком, но все же умеют. Только ведь у них нет и земли! А те, что пришли из Молдавии? Их родина захвачена врагами. Их землю топчут сапоги интервентов. Что делать им? Куда податься?

Григорий Иванович придумал кое-что, но сначала решил посоветоваться с Фрунзе.

Фрунзе выслушал его со вниманием, Григорий Иванович видел, что он одобряет, что ему нравится затея.

— А что? — воодушевился Фрунзе. — Пусть трудятся и вместе с тем пропагандируют новое социалистическое земледелие! По-моему, прекрасная мысль! Только необходимо, Григорий Иванович, так подготовить коммуну, чтобы не оскандалиться на первых же шагах. Вот что. Я поговорю в ЦК, а ты, Григорий Иванович, продумай, подготовь, ты агроном по образованию, все прикинь: что и как, откуда изыскать средства и все такое.

— Средства? — подхватил Котовский. — У меня уже все обмозговано! Средства корпус предоставит, поддержим, пока не встанут на ноги! Главное — политический эффект! Вокруг крестьянство, мелкие, единоличные, раздробленные хозяйства — и вдруг коммуна! Все вместе, сообща... Это знаете какое впечатление произведет? Куркули взбесятся, беднота призадумается.

В ЦК одобрили замысел группового трудового устройства демобилизованных бессарабцев. А Котовский уже и место присмотрел: в Подолии, поблизости от городка Тульчина, еще ближе к городку Бершадь.

Коммуна получила от военсовхоза шестьсот десятин

земли, жилые и хозяйственные постройки, небольшой запас овощей, зерна и фуража. Помимо двадцати двух лошадей коммуна получила быка-производителя, корову Царицу и кровного рысака Бандита.

Так и начала свое существование шестого августа 1924 года Бессарабская сельскохозяйственная коммуна — детище Котовского.

Как радовался созданию коммуны Котовский! Как торжествовал! Что ни маленькая победа коммунаров, то ликование Григория Ивановича:

— Электростанцию пустили! Вот молодцы! Пусть поглядывают куркули из окрестных деревень: светится, сияет хозяйство коммуны!

Проходило еще некоторое время.

— Леля! Ты слышала? Наши-то в Ободовке купили тридцать коров! Представляешь, как это важно!

А нетерпеливая мысль Котовского шла дальше и дальше. Котовский уже зондировал почву относительно создания Молдавской Автономной Советской Социалистической Республики на левом берегу Днестра, под боком у поработанной чужеземцами Бессарабии.

— Пусть наша автономная Молдавская республика светит, как маяк, призывает тех, что за Днестром, к борьбе, к счастью! — говорил Котовский, подавая докладную записку в ЦК партии.

Так он мечтал, так он государственно мыслил и всегда встречал поддержку и одобрение у своего друга и вдумчивого руководителя — Михаила Васильевича Фрунзе.

Создать автономную Молдавскую республику у самой границы, перед самым носом империалистических держиморд — разве это не блестящая идея? И какой смелый эксперимент — устройство сельскохозяйственной коммуны! И когда — в 1924 году!

Корпус шефствует над комсомолом Днепропетровска. Корпус открывает свои мастерские, заводы, совхозы, «лавки Котовского» уверенно выбивают из седла частных торговцев, и те просят пощады, так как не могут по тем же ценам продавать — себе в убыток.

На все Григорий Иванович Котовский находил время, во все вкладывал душу. Бережно выращивал людей!

Много надежд возлагал Котовский на хорошего командира и фантастического храбреца Криворучко.

— Мы сделаем из него такого командира, какого еще свет не видывал! — уверял Котовский, отправляя его учиться.

Но отослали Криворучко в Москву не сразу. Сначала он был передан на попечение Ольги Петровны. Ей не впервой устраивать школу на дому, через ее руки прошло много людей. Обучала она и Оксану, подготавливала к поступлению на рабфак Митю Пащенко... Бывало, свихнется человек, натворит чего-нибудь — Котовский и его вручает Ольге Петровне: перевоспитывай, научи уму-разуму.

С Николаем Николаевичем Криворучко пришлось начинать с грамматики. Надо отдать справедливость, это был прилежный и выносливый ученик. Иногда он удивлял неожиданными ответами. Особенно любил историю. Ольга Петровна поражалась его памяти: раз прочтет — и на всю жизнь запомнит. Отличная память!

Закончилась подготовка, отправили Криворучко в Москву, как будто все получилось — лучше не надо. Котовский заранее провел все переговоры, даже комнату нашел для своего питомца. И вдруг Криворучко прислал Ольге Петровне отчаянное письмо: «Передайте, мамаша, комкору, чтобы отозвал меня отсюда, а не то я застрелюсь».

Это письмо всполошило все семейство. Вот тогда и вызван был на семейный совет Гуков.

— Что делать, Владимир Матвеевич? — спрашивала Ольга Петровна. — Застрелиться он не застрелится, а бросить учебу и сбежать может.

— Нельзя этого допустить. Надо учиться. Обязательно надо учиться! — хмурился Котовский.

Владимир Матвеевич понимал, что, если к нему обращаются с таким вопросом, значит, именно он может спасти положение. Уговаривать старика не понадобилось.

— Все ясно, — решительно произнес он. — Парень не в силах справиться один. Надо спасать! Спасти могу только я, ведь не напрасно же я оканчивал когда-то Академию генерального штаба. Короче говоря, когда прикажете выехать?

Сначала, как сообщал Гуков, дело у них не ладилось. Криворучко фырчал, брыкался, жаловался на генералов, которые важничают на Высших академических курсах,

на ВАКе, как они в практике именовались. Однако с таким человеком, как Владимир Матвеевич, трудно было не поладить. У него был удивительно мягкий характер и достаточно обширные знания по военным вопросам. Когда Криворучко жаловался на преподавательский состав, Гуков принимался рассказывать про свою учебу.

Криворучко вздыхал и ничего не отвечал. Однако слушал с интересом.

— Да-с, Николай Николаевич!.. Теперь что? Благодарить! Бывало, как заведет полковник Золотарев свою волюнку, начнет перечислять речушки мелкие, речушки покрупнее, ручьи и болота в пограничной полосе с Германией и Австро-Венгрией... Силы небесные! Тощища! А вынесли? Все вынесли! А сейчас и время такое — только учиться! Нет, Николай Николаевич, вам унывать и отчаиваться никак нельзя! Давайте вместе разберемся, если что вам кажется непонятным. Ну те-ка, покажите, какая у вас задача?

Криворучко еще раз вздыхал, и занятия начинались.

Зимой Владимир Матвеевич приехал в Умань отчитываться. Прежде всего извлек из старомодного, с какими-то медными застежками чемодана два свертка.

— Это, Ольга Петровна, вам. Московские гостинцы. А это ваше, Григорий Иванович. Часть вновь полученных из ВАКа программ, а также работа товарища Криворучко по обороне. Работа выполнена при моем участии, но и он попотел, бедняга. Вообще Криворучко не узнать. Стал относиться к нашим занятиям с несомненным интересом.

— Стреляться больше не собирается?

— Не скрою, трудновато ему приходится. На езду много времени уходит. А вообще — молодец.

Гуков деликатно, исподволь указал Григорию Ивановичу, какими источниками следует пользоваться для работы ему самому.

— Заочникам куда сложнее! Вот даже и книги ведь не все вы найдете в Умани. Напишите, пришлю из Москвы. А еще лучше — сделаю подборки самого главного.

Помолчал, помолчал и добавил:

— Удивительный вы человек. Такую нагрузку, как у вас, не всякий выдержит.

Котовский побарабанил пальцами по письменному столу, видимо придумывая, как перевести разговор на другое: он не любил, когда его хвалили.

— Сына хотите посмотреть?

4

Когда приехал Белоусов, Григорий Иванович и Ольга Петровна очень ему обрадовались.

— Не забываете нас, — приговаривала Ольга Петровна, наливая ему чаю.

— Ну что вы, Ольга Петровна! Вы для меня всё — и родители, и воспитатели, и самые дорогие на свете люди!

И без предисловия приступил к самой сути:

— Григорий Иванович! Я приехал с довольно неприятным делом. Однако нами своевременно приняты меры.

— Понятно! — произнес Котовский. — Какое же это дело?

— Ольга Петровна, я попрошу и вас послушать, дело серьезное и касается нас троих.

Ольга Петровна заметила, что правая рука Котовского то сжимается в кулак, то разжимается. Это было дурным признаком. Ольга Петровна подчеркнуто спокойным голосом ответила:

— Ну что ж, послушаем, что у вас за новости.

Белоусов сжато, точно сообщил, что органами ГПУ дважды задержаны диверсионные террористические группы, заброшенные из-за рубежа с заданием убить Котовского.

Сообщение было выслушано молча. Ни реплик, ни восклицаний. Только рука Котовского машинально еще энергичнее заработала, как бы хватаясь за эфес, а Ольга Петровна сидела бледная, с плотно сжатыми губами.

— Это наемная рвань, — продолжал Белоусов, — долго не запиралась и все нам выложила: кто посылал, и какие указания давал, и сколько обещано за работу, и какие явки и пароли были сообщены. Мы проверили, действительно все так, как они говорят, и нам удалось, используя их пароли и адреса, выловить и их сообщников.

— Понятно! — снова промолвил Котовский. — Жаль, что они не добрались до Умани. Я бы с ними поговорил по душам.

— Хорошо вести прямой разговор в бою, лицом к лицу с противником, — возразил Белоусов, — а эти подонки рода человеческого стреляют из-за угла.

— Не отлита еще та пуля, которая сразит Котовского, — ответил Григорий Иванович, все более наполняясь гневом. — Сунулись бы в дом — я бы их перестрелял, как рябчиков.

— Только этого не хватает! — всполошилась Ольга Петровна. — Ты забыл про Гришутку, ведь можно насмерть перепугать ребенка! Поднять стрельбу!

— Ничего, ему надо привыкать, на его век еще хватит выстрелов.

— Да ведь это теперь отпадает, — примирительно остановил их спор Белоусов. — Бандиты пойманы и получают по заслугам. Но я приехал, во-первых, рассказать о том, что было, во-вторых, для принятия, так сказать, профилактических мер.

— Вы думаете, что это еще не все? — насторожилась Ольга Петровна.

— Разве можно ручаться за эту... за этих паразитов? У них же ассигнования! На подлость, на убийство — на все ассигнования. Раз уж деньги ассигнованы, их нужно тратить. Ведь так? Ну а наша задача — смотреть в оба.

— Смотреть! Ведь Григория Ивановича не удержишь, он повсюду разъезжает, повсюду бывает...

— Задержанные в один голос заявляют: нам дали адрес. Они даже знают, что это каменный дом и при доме сад. Довольно точное описание. Ну и револьверы, деньги у них, конечно... даже фотокарточка Григория Ивановича...

— Ужасно! — вырвалось у Ольги Петровны.

— Они там, за рубежом, не учитывают, что теперь не восемнадцатый год, границы мы охраняем, не разгуляешься. А все-таки надо предусмотрительными быть. Вдруг проскочат? Вот мы и решили около вашего дома специальный пост установить.

И, заметив протестующий жест Котовского, поспешно добавил:

— Временно, Григорий Иванович. Для проверки...

Белоусов замялся было, затем пояснил:

— Один из них проговорился, что сформирована еще одна группа. Может быть, врет, скорее всего что врет, никто ему не стал бы докладывать, что там сформировано. Его дело маленькое: нанялся — выполняй. Но так как намек все-таки был, мы обязаны подготовиться. Ну и пограничникам даны указания, и еще некоторые меры приняты.

— На меня и в Жмеринке нацеливались, как вы, вероятно, помните... И с самолетов сбрасывали угрожающие записки, — рассмеялся Котовский. — А зачем? Я ведь не прятался, я был на виду — милости просим, пожалуйте в бой, там всегда представится случай повстречаться. Все, Иван Тереньевич. Спасибо за предупреждение. Отрадно, что чекисты у нас службу знают. А теперь давайте-ка спать.

— Григорий Иванович! — настойчиво заговорил Белоусов. — У меня есть приказ, я должен его выполнять. Вы разрешите установить наблюдательный пункт. Временно, может быть, недельки на три... Мы наведем справки... уточним — и если окажется, что все в порядке, то и слава богу.

— Что с вами делать! Устанавливайте, я не могу вмешиваться в ваши дела. Но мнение-то я могу иметь? Считаю, что напрасная трата трудов и времени.

— Спасибо, Григорий Иванович, — облегченно вздохнул Белоусов. — Значит, с этим утрясено, улажено. А я и ребяток с собой привез. Фактически пост уже установлен. В саду. Никто и знать ничего не будет.

Перед сном Белоусов и Котовский вышли на крыльцо, хотелось полной грудью вдохнуть напоенный запахами цветов и трав благодатный уманский воздух. Составил им компанию и Фокс — самый серьезный пес, какие только водились на свете.

Ночь была великолепна. Сверкало в небе такое количество ярких, как бы мигающих звезд, как будто прибыло новое пополнение. Деревья стояли темные, неподвижные, не шелохнулся ни один листок. Задумались они о чем или спали?

— А все-таки они там, значит, обо мне помнят, — удовлетворенно пробасил Котовский. — Специально высылают, так сказать, именные банды диверсантов. Лестно.

Жизнь шла своим чередом. Сады цвели, люди трудились, отдыхали, строили планы, мечтали, любили, радовались, печалились, растили детей, сооружали дома, прокладывали дороги, жили.

Как всегда, Котовский просыпался в пять утра. Делал гимнастику, обливался водой. Затем отправлялся на городской стадион, построенный по его настоянию и при его живейшем участии. А потом шло одно за другим — и все казалось срочным и неотложным. Котовский следил за ходом обучения призывников, навещался и на курсы штабной службы, где подготавливались штабные работники. Не оставалась без внимания и корпусная школа младшего комсостава. Котовский шефствовал над школой сельской молодежи под Уманью...

Словом, дел хватало, и все дни были заполнены до отказа. И никогда не видели Котовского усталым, невнимательным, бездеятельным. Он все делал со страстным увлечением и своей стремительностью увлекал других.

Ольга Петровна всегда умела улучшить момент, чтобы зазвать к себе домой и покормить дежуривших посменно круглые сутки военных, одетых в штатское. Белоусов же поселился в общежитии красных командиров, питался в столовой повторных курсов и старался как можно реже появляться у Котовских.

Через некоторое время он пришел сияющий и довольный: получено приказание пост снять, оставить только наблюдение за приезжающими в Умань лицами, поручив это местным работникам.

Как будто инцидент можно было считать исчерпанным. Но тревога осталась. Особенно беспокоилась Ольга Петровна. И главное, она чувствовала свое полное бессилие. Что она может сделать? Что предпринять?

А Григорий Иванович вскоре перестал и думать об этом эпизоде.

ДЕСЯТАЯ ГЛАВА

1

Немало времени прошло с тех пор, как Марков увидел бывшего своего друга Женьку Стрижова в ресто-

ране «Кахетия», увидел — проникся к нему жалостью и решил непременно побывать у него и попробовать наладить отношения.

Однако всякий раз, как намечал он это несложное мероприятие, обязательно что-нибудь мешало. А ведь так просто — пойти на Фонтанку, войти в знакомый-презнакомый двор, где столько раз бывал, где знает и помнит все-все: и ржавые брусья, сваленные в углу рядом с кучей битого кирпича, и поленницы дров — много и каждая на особицу, потому что каждая — принадлежность такого-то жильца такой-то квартиры... Марков даже знал, что, если пройти этим двором, окажется поворот, затем как бы вторые ворота уже другого дома, затем площадка, где выбивают ковры, сушат матрацы и стеганные одеяла, затем опять длинный узкий двор, по которому выйдешь совсем неожиданно к Александринскому театру. Марков помнил все изгибы и повороты этого проходного двора, так же отлично помнил темную лестницу, пахнущую котами, дверь, обитую клеенкой...

Настал 1924 год. И тут отодвинула все другие дела и помыслы смерть Владимира Ильича Ленина. Неожданная встреча на Московском вокзале с Крутояровым, траурный день, проведенный ими в Москве... а затем томительный вечер в столовой у Крутояровых... Грустили, говорили о Ленине. Все это сроднило Маркова с Иваном Сергеевичем... и опять заслонило воспоминания о Евгении Стрижове, о тех днях, когда они, бывало, не разлучались.

Напомнила о Стрижове, и весьма решительно, Надежда Антоновна:

— Что это у вас не видно того симпатичного паренька, он у вас часто бывал. Уехал куда-нибудь? В командировке?

Спросила и так посмотрела на Маркова, будто насквозь пронзила. Казалось бы, вопрос самый невинный, но почему же Марков вдруг покраснел?

— Видите ли, Надежда Антоновна...

— Да?

— Он водку стал пить... а я не выношу пьяных...

— Водку стал пить? С чего бы это?

— Тут сложная история... Если в двух словах — он в революции разочаровался. Нэп его возмутил, нэповщина.

— Что-о? В революции разочаровался?! Да вы приведите его сюда! Потолкуем, Ивана Сергеевича пустим в ход — тяжелую артиллерию...

На следующий день Михаил Марков шагал по набережной Фонтанки, любуясь на кроны тополей, хорошеньких, подстриженных ершом, похожих на кокетливых краснофлотцев, собирающихся на танцевальный вечер. Из кармана Маркова торчала книга, его собственная, с заранее заготовленной надписью наискось на титульном листе: «Дорогому Евгению Стрижову от автора. Дружба не ржавеет».

Марков шагал по набережной Фонтанки и размышлял о разных разностях: о том, что надпись на книге звучит иронически, так как дружба у них изрядно проржавела... о том, что неизвестно, как его встретит Стрижов, не покажет ли ему на дверь.

«Как должен я поступить в этом случае? Повернуться и уйти? Пробовать урезонить?»

Так ни на чем не остановившись, Марков подошел к клеенчатой двери и позвонил.

2

— Кого я вижу! Мишенька! Сколько лет, сколько зим! До чего же я рада вам!

Анна Кондратьевна захлопотала, заохала, уж она и разглядывала Маркова со всех сторон, и похлопывала его, и восхищалась его костюмом, прической, уверяла, что он возмужал, похорошел, и все это со всей искренностью, со всем радушием.

«Какой я был идиот, что столько времени сюда не шел! И что за дрянная привычка считаться только с мужчиной, «главой дома», и уж если ты порвал с «главой», то само собой разумеется, что ты порвал со всеми его чадами и домочадцами. А разве у меня нет самых сердечных отношений с чудесной Анной Кондратьевной? Но мне и в голову не пришло навестить ее. Скотина я, вот кто!»

Марков уселся в очень знакомое, в каком не раз сиживал, старомодное кресло, вероятно, еще из приданого Анны Кондратьевны, и стал рассказывать о своих делах.

Опять взрыв восторгов, одобрения, похвал. Но странно, она ни слова не сказала о Евгении.

— А что, — осторожно спросил наконец Марков, — Евгений еще в институте? Все человеческие недуги изучает?

— На заводе он! Какие там недуги, он давно уже медицинский-то бросил. А вы что, разве не знали?

— Видите ли... мы с ним давненько не встречались...

— А-а! Тогда вы ничего не знаете. А у нас много всякого было.

Анна Кондратьевна придвинулась ближе и громким шепотом стала рассказывать:

— Совсем ведь было свихнулся парень, пить начал, сколько я слез пролила. Никогда у нас в роду такого не водилось. Пить, пить стал, самым настоящим образом! Придет пьяненький и начнет каяться да всякую ересь молоть...

— Вы знаете, Анна Кондратьевна, из-за этого у нас и дружба пошла врозь, откровенно говоря. Неприятно как-то...

— Вполне понимаю вас! Кому удовольствие с пьянчужой да забулдыгой якшаться? А я — мать...

— И во взглядах у нас несогласие. Он говорит, у него разочарование в революции получилось, что революция на попятный пошла, перед буржуазией капитулировала. Анна Кондратьевна, каково мне было слушать? Я хоть и недоучка, может, в чем и не разбираюсь, но я вырос на том... Понимаете, Анна Кондратьевна? Для меня Родина — революция, а революция — Родина. В общем, трудно это объяснить...

— И объяснять не надо, я и так понимаю. Что-то святое должно быть у человека. Устойчивость.

— Совершенно верно. И стало нам не о чем говорить... все реже стали видеться... так и оборвалось...

— Вот оно что! А мой-то ведь молчал. Ничего про то не рассказывал... Вон какая история!

Маркову удивительно легко было рассказывать и во всем признаваться этой милой женщине с грустными глазами. Даже легче, чем Евгению. И Марков испытывал удовольствие от того, что говорил со всей прямоотой, не щадя ни Евгения, ни своего самолюбия. Некоторые обстоятельства ему самому стали ясны только теперь, когда он объяснял другому.

— Меня упрекали, — продолжал он свою исповедь, — говорили, что нельзя отдергивать руку, если человек падает в пропасть. Справедливый упрек. Малодушие? Малодушие! Но видите ли, Анна Кондратьевна, здесь есть еще одно обстоятельство, которое мне трудно вам объяснить...

Марков имел в виду свой творческий замысел. В самом деле, этого не объяснить, не рассказать. Для самого Маркова было тут много неясностей. Он часто размышлял об этом. Считал первой своей ошибкой, что надумал конкретного человека, живущего рядом, подвергающегося всяким случайностям, мало того, далеко еще не сложившегося, — вдруг сделать героем книги. Какая наивность! Какая неопытность! Стрижов может, например, простудиться, заболеть и умереть. Может попасть под трамвай. Может утонуть, купаясь в реке. Между тем герой художественного произведения хотя и совсем настоящий, совсем такой, как в жизни, но вместе с тем совсем не такой! Писатель — вовсе не фотограф, и писательский труд куда сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Это Марков почувствовал, приступив к писательской работе.

И еще было одно соображение: Марков страшно обиделся, что его герой ведет себя не так, как должен вести по замыслу автора. Марков хотел изобразить Евгения Стрижова совсем-совсем обыкновенным. Мальчик. Читает книжки, взятые из библиотеки. Катается на коньках. Огорчает маму, нахватав троек по геометрии. И вдруг этот почти еще мальчик — становится мужчиной, едет на фронт, никаких особенных подвигов не совершает, но не хуже других сражается, не менее других храбр, воодушевлен. Происходит сражение, о котором впоследствии будут писать, которое войдет в историю. Герой Маркова опять ничем особенным не выделяется. Такой, как все. Маркову именно хотелось провести эту мысль: не хуже и не лучше, но всем им — безыменным, обыкновенным — вечная слава и благодарность народа, потому что все они — безыменные, обыкновенные — удивительные герои, вставшие на защиту правды на земле. И весь этот план перечеркнул сам Женька Стрижов, споткнувшись, оказавшись неустойчивым, принявшись бить себя в грудь кулаком и кричать: «За что боролись!»

Время шло. Разочарованный романист порвал со своим героем. А мысль работала. Ее не остановить. Вдруг, неожиданно для самого себя, Марков подумал:

«А почему бы мне не взять Стрижова от сих до сих, а дальше сделать своего Стрижова, какой мне кажется наиболее типичным для нашего времени? Могу же я делать такого Стрижова, какого мне надо, а не списывать в точности, буква в букву, с житейского подстрочника?! С другой стороны, почему бы моему герою и не ошибиться? Чего я, собственно говоря, так переполошился? Почему у него не может быть какого-то изъяна? Разве все сразу разобрались что к чему? Может быть, именно это и поможет создать убедительный образ? Может быть, именно это и будет типично?»

...Анна Кондратьевна смотрела на Маркова благожелательно, слушала, говорила со всей искренностью. Марков тоже хотел быть вполне искренним, но оказался в затруднении: он не сумел бы пояснить ей всех своих сомнений, может быть, несколько смешных поползновений не попросту дружить с Евгением, а рассматривать его как некий экспонат и сердиться, что Евгений не совпадает с эталоном. Да и вряд ли она поняла бы его путанные рассуждения. И он просто сказал:

— Можно сердиться, можно спорить, но дружбой кидаться нельзя. Я это понял и вот — пришел. И книгу принес. С автографом. Мою.

— Спасибо. Сами написали? Подумать только! Мне бы сроду не написать. Заявление писала недавно в жакт, что дрова у нас крадут, и то намучилась.

— Да. Так вы говорите, медицинский бросил? Ушел на завод? Плохо.

— Уж не знаю, плохо или хорошо. Мне-то хотелось, чтобы он по стопам отца шел. А детки не всегда по стопам-то ходят.

— Что ж это он? Без специальности? Чернорабочим?

— Что вы, голубчик мой! — замахала Анна Кондратьевна на Маркова руками. — В технику ударился, днем работает, вечером учится. Да он сам все расскажет, вот-вот обедать прибежит.

— Как же его держат на заводе, если вы сами говорите, что он пьет?

— Я говорю? Очкнитесь, батюшка! Женя в рот не берет проклятушей этой водки. И в доме не держим.

— Вот те на! Да вы только что сами же сказали...

— Сказала. Пил, безобразничал, с отпетой шпаной водился. «Все равно, мама, жизнь пропала!» А я ему все нашатырного спирту нюхать давала, не нравилось, отворачивался, а я ему: «Нюхай, несчастный!» И все это шло до самого дня, когда нас горе постигло.

— Горе? — дрогнувшим голосом спросил Марков.

— Горе. Владимир Ильич скончался. Великое горе. А надо сказать, Евгений-то сильно Ленина уважал. Как громом нас ударило. Опасалась — руки на себя наложит. «Мама, кричит, презирайте меня, предатель я, последний я человек». Думала я, ну, теперь окончательно покатится сынок под горку, не остановишь. А вышло наоборот. Весь день где-то шатался, я, конечно, по своей дурости полагала — по кабакам. Пришел серьезный такой, молчаливый. «Мама, я в партию записался. Многие сейчас в партию вступают, Ленинский призыв». — «Ну что ж, говорю, сыночек, поступай, как совесть подсказывает, только привычки-то у тебя больно беспартийные». — «С этим, мама, покончено. Дурь, говорит, на меня напала, а теперь все выветрилось». Пришли его «жоржики» приглашать на танцульку, а он их за дверь выпроводил: «Я, говорит, больше вам не компания»... Вот как у нас!

Марков сидел в оцепенении. Всего он ожидал: и жалоб, и слез, и проклятий по адресу непутевого сына, но только не того, что рассказала Анна Кондратьевна. Она замолкла, смотрела на него торжествующе и была несколько обижена, что он не выразил радости по поводу внезапного превращения Жени.

Наконец Марков пришел в себя. Буря мыслей, чувств пронеслась у него в голове. Он бросился к Анне Кондратьевне, обнял ее, расцеловал и только бормотал:

— Анна Кондратьевна! Анна Кондратьевна! Что же это такое?.. И главное, какой сюжетный поворот, это же чудо! Самому бы никогда не выдумать.

3

Может быть, Марков долго бы еще кричал, вопил и силился объяснить Анне Кондратьевне законы сюжета, но в этот момент раздался звонок.

— Батюшки, а я и суп не поставила подогреть,

заговорила с вами... Пришел, пришел мой сыночек! Ключ, что ли, забыл? Чего звонит?

— О чем шумите вы, народные витии? — вошел Евгений Стрижов, совсем не тот, что был, совсем непохожий Стрижов. — Я еще на лестнице слышал...

Друзья обнялись, никаких объяснений у них не последовало, заговорили так, будто вчера только расстались. Марков сел с ними обедать, а уж до чего Стрижов книжке обрадовался:

— Вот это да! Вот это отколол номер! Я видел, читал, даже купил твою книжечку — вот она! Но это совсем другое дело — с надписью! А я ведь часто о тебе думал. О том, какую книгу следует тебе написать. Конечно, трудно будет, но если поднатужиться, потрудиться в поте лица...

— Ты разговаривай, а сам ешь в поте лица, — пододвинула ему тарелку Анна Кондратьевна.

— Какую же книгу?

— О самой сути: о всех нас.

— Хватил! О всех нас еще сто лет писать будут и материала не исчерпают.

— Пускай себе пишут, в добрый час. А ты не через сто лет, а сейчас, не откладывая, напиши. Мама, я супу больше не хочу, не подливай. Что у тебя еще? Котлеты? Вот это дело! Я тебе очень советую, послушайся меня.

— Советуешь, а сам даже рассказать не можешь, о чем же советуешь написать. Разве так советуют? Хочешь, сознаюсь? Я уже давно задумал — о тебе роман написать.

— Ну-у, брат!..

— А что? По-моему, так интересно.

— Нет, брось ты чудить, давай серьезно. Слушай меня. Значит, так. Я тебе все с самого начала. Наша эпоха. Ленин. Понятно? Или нет, я начну издалека. Вот Михаил Васильевич Фрунзе. Почему он разгромил Колчака? Изучил обстановку. Все продумал. Сосредоточил всю силу в один пункт, в одну точку. Так?

— Так.

— И нанес сокрушительный удар. Вот и книгу назови «Сокрушительный удар».

— Никто и читать не станет книги с таким названием!

— А как лучшие произведения называли? Самым простейшим образом: «Дым», «Обрыв», «Война и мир», «Маскарад». Чем хуже — «Сокрушительный удар»!

— Значит, ты предлагаешь написать роман о Фрунзе? Я так тебя понял?

— И так и не так. Я тебе один пример привел. А вот второй: Котовский с горсточкой людей захватывает Одессу, десятками берет в плен генералов, тысячами солдат и офицеров...

— Понимаю, не объясняй: произвел разведку, установил обстановку, точно рассчитал и нанес сокрушительный удар. Так?

— Так.

— Значит, ты мне рекомендуешь еще раз написать «Искусство побеждать»?

— Ни черта ты не понял. Знаешь, как Ленин предупредил ЦК партии: двадцать четвертого октября совершать переворот слишком рано, двадцать шестого октября — слишком поздно. Было выбрано двадцать пятое октября семнадцатого года. Теперь я все тебе сказал. Напиши роман о коммунистах, роман о советском народе, об Октябре, о новой эре человечества.

— И все сразу охватить? Этого не сумел бы сделать даже Лев Толстой.

— Он, конечно, не сумел бы. А ты должен суметь.

Такая решительность рассмешила не только Маркова, но и Анну Кондратьевну. Евгений посмотрел-посмотрел на обоих и тоже начал хохотать, даже вилку уронил на пол.

Но вот он перестал смеяться. Марков еще раз выслушал рассказ о том, как смерть Ленина заставила Стрижова одуматься, понять свои заблуждения и резко изменить жизнь.

— Не могу себе простить, что был таким дураком, не разобрался в очевидно ясной вещи! Ну ничего. Бывает. Ум за разум зашел. Теперь все. На всю жизнь. И знаешь: я счастлив.

— Ты мне еще не рассказал, на каком заводе работаешь.

— На ленинградском.

— А-а, понимаю. На энском?

— Вот-вот. Технику изучаю. Нашел свое призвание.

— И делаете вы энские изделия для военных целей. Понял, больше вопросов нет.

— Нас недавно Фрунзе навещал. Хвалил.

Стрижову пора было отправляться на курсы. Марков проводил приятеля, и тот, по старой привычке, всю дорогу декламировал.

— Значит, стихам не изменил?

— Я не понимаю людей, которые уткнулись в технику и отрицают поэзию, литературу, музыку. Где же еще и учиться взлетам фантазии и вдохновению?.. Ну, так тебе куда? Направо? Жму руку, дружище. Скоро навещу.

4

Он сдержал слово и вскоре появился на Выборгской, в квартире Крутоярова. И пришел не один. С Орешниковым!

— Где вы познакомились? — встретил их Марков.

— Как где? Вот это вопрос! Николай Лаврентьевич? Да он у нас на заводе как дома, их заказы-то выполняем. А Иван Сергеевич дома?

— Сейчас выясним. Оксана! Принимай гостей!

В комнате послышался голос Оксаны: «А-а, пропащая душа! Ну-ка, ну-ка, где вы тут?» А Миша пошел к Крутояровым.

Надежда Антоновна встретила его у порога и шепнула:

— Ну как? Будем перевоспитывать юного чапаевца?

— Да нет, он уже, кажется, выправил линию. Все в порядке.

Иван Сергеевич, видимо, прилег вздремнуть на диване (он говорил: «Люблю спать в неудобной позе и невзначай!»), но услышал голоса и явился в своем великолепном, с кисточками, халате.

За ним, важничая и лениво потягиваясь, проследовал почтеннейший кот Мурза. Он щурил глаза и всем своим видом выказывал недовольство, что их с Иваном Сергеевичем потревожили.

И конечно же, всех потащили в крутояровскую столовую, за большой овальный стол с низко висящим над ним сиреневым абажуром. И конечно же, Надежда Антоновна быстро организовала чай.

Стрижов улучил момент, чтобы сообщить Маркову:

— Нарочно притащил этого человека. Видал он всего перевидал! Ты непременно познакомься с ним — материалов получишь кучу!

— Ты чудак, Евгений, — так же тихо ответил ему Марков. — Николая Лаврентьевича я, наверное, лучше, чем ты, знаю. А насчет материалов — так разве же я сумею охватить такие горизонты?

— Дерзать надо!

— Чего вы там шепчетесь?

— Ругаю его, — пояснил Стрижов, — и велю дерзать.

— Дерзать? Надо! — подхватил Крутойяров и с увлечением стал развивать эту мысль.

Затем общим вниманием завладел Орешников. Он рассказывал о Деникине, о белых. У него был острый глаз и большая наблюдательность, рассказы его захватили всех. Крутойяров буквально набросился на него, выпрашивая, пытая, поощряя:

— Михаил Петрович! Ваша тема, мотайте на ус!

Орешников смутился и сразу стал менее красноречив, стал говорить вычурно, тщательно подбирать слова. Вскоре всем стало неинтересно и даже неловко за рассказчика.

Крутойяров знал, как рискованно говорить людям, что их слова, их жизнь, их непосредственные живые рассказы могут превратиться в материал для художественного произведения. Часто бывает достаточно сообщить, что здесь присутствует писатель, чтобы нарушить всю прелесть беседы.

Крутойяров попробовал исправить свою оплошность:

— Вы не совсем правильно поняли меня, Николай Лаврентьевич. Марков не собирается идти по стопам Булгакова и писать «Дни Турбиных». Но он, вероятно, соберется когда-нибудь написать о Котовском. И ему полезно послушать ваши интересные рассказы.

— Я так и понял, — скромно ответил Орешников.

Стали говорить о литературе. Стрижов возмущался, что становится хорошим тоном ругать пролетарскую поэзию времен военного коммунизма. Она, видите ли, отвлечена, она агитка, пустоцвет!..

— Неверно, ну неверно же это! — горячился он. — Она очень хорошо отражала настроение этих лет. Правда, она мыслила в мировом масштабе. Но и мы мыслили в мировом масштабе. Мы подумывали об уничтожении денег, пробовали распустить налоговое управление, вводили

бесплатность почтовых услуг... Это была романтика. Мы жили в розовом тумане, усталые, нестриженные и небритые, мы были чисты мыслью и сердцем. Как же можно так быстро забыть все это? И поэзия была такая же, она отражала наши чувства, порывы, чаяния.

— Да-а! — задумчиво сказал Крутойяров. — Пройдет лет пятьдесят, и будут читать о наших днях, как о необузданной фантастике. Может быть, будут смеяться, узнав, что комсомольская молодежь отказывалась носить галстуки, так как галстук есть украшение буржуя? Что чапаевцы отказывались от орденов, заявляя, что все они равны и в победе и в смерти?

Крутойяров окинул всех торжествующим взглядом: — А? Ведь хорошо? В замечательное время, товарищи, мы живем! В неповторимое! В чудесное! Жизнь в двенадцать баллов, так и перехлестывает через край. Бывало и голодно, и холодно, и неумоготу, только я ни на какую другую эпоху наше время не променял бы!

5

Вот когда Марков понял, что такое писательский труд. Все казалось невероятно сложным. Марков часто приходил в отчаяние и намеревался все бросить и отказаться от своего замысла.

Целыми днями просиживал в прохладных тихих залах Публичной библиотеки. Со всех полок на него смотрела история. Давнее прошлое, седая старина соседствовала там с трепетными бурлящими днями нового времени. Многолетние и многотомные труды пребывали рядом со скорописью исповедей, объяснительных записок, опровержений...

Марков казался себе микроскопическим существом перед всей этой громадой ума и вдохновения. Выписки, цитаты... новые и новые книги... новые и новые названия... уточнения... разноречивых мнений и оценок... факты, факты, множество фактов! Ими захлебываешься, и начинают расплываться контуры первоначального плана.

Несколько раз Марков изменял всю структуру задуманного романа. Попробовал составить список действующих в романе лиц. Вспомнил, как поступал Золя, сочиняя о каждом даже незначительном лице подробнейшие биографические очерки... Но это уводило в такие дебри, что пришлось бросить затею.

Встречаясь со Стрижовым, Марков непременно принимался обсуждать свой план, свои намерения. Но Стрижов предъявлял какие-то странные претензии, говорил общими фразами и, пожалуй, даже сбивал с толку.

Например, его мысль о сокрушительном ударе. Стрижов считал, что этой стратегией концентрации сил на важнейшем участке пронизана вся революционная жизнь, вся советская действительность. Ударные стройки. Ударные бригады. Нацеливание всех усилий на ту или иную важнейшую в данный момент область производства... В таких выражениях Стрижов излагал свою заветную мысль. А попробуй воплоти это в романе!

Крутойаров, если с ним заговорить о своих замыслах, невольно начинал сам фантазировать и сочинять. Это были талантливые экспромты, но Марков совсем иначе чувствовал и иначе все представлял.

Всего легче было говорить о будущем романе с Оксаной. Ей все нравилось, ее все восхищало. Она, увлекаясь, подсказывала вдруг простое и правильное решение задачи. Она не умела отвлеченно мыслить, сразу же все переводила на людей, на повседневное и даже приводила примеры из собственной жизни или из того, что попадало в поле ее зрения в поликлинике, в школе. Марков любил с ней советоваться, слушать ее.

Оксане жалко было беднягу: сидит ночи напролет, утром лицо вытянутое, глаза красные от утомления. Оксана спросит осторожно:

— Ну как?

Марков молча покажет на корзину для мусора, доверху наполненную скомканными листами.

— Вот. Тут вся четвертая глава. Ты помнишь Торопова? Я тебе рассказывал, у меня в романе будет такой Торопов. Комбат.

— Ну-ну. Конечно, помню. Ты рассказывал, как он женится на телеграфистке, они встретились на фронте.

— Так вот, я хотел его женить, а теперь вижу, что не женить его, сукина сына, а расстрелять надо перед фронтом, ведь он какое дело прошляпил!

— Какое? — испуганно спрашивает Оксана.

— Там, по ходу действия, долго рассказывать. Замучился я с Тороповым. Главное, и мужик-то он неплохой...

Все эти муки и поиски, вся эта изорванная в клочья четвертая глава, все эти тревоги за несуществующего,

выдуманного им же самим Торопова, все эти бессонные ночи, то отчаяние, то удачная находка, — все это и составляло теперь непередаваемое, ни с чем не сравнимое, огромное, как мир, счастье Михаила Маркова.

ОДИННАДЦАТАЯ ГЛАВА

1

Фрунзе последние месяцы нездоровилось. Он крепился, не подавал виду, но особенно трудно было обмануть Софью Алексеевну. Михаил Васильевич преувеличенно громко смеялся, вовсю шутил, даже ел то, что врачи запрещали, чтобы показать, до чего он отлично себя чувствует. Абсолютно здоров!

Хворать было нельзя. Не хватало времени на хворь. Каждый час был дорог.

Троцкий не прекращал антипартийную возню. На Тринадцатом партийном съезде в мае 1924 года он поставил на голосование свою платформу. Не получил ни одного голоса. Ни одного! Хотя на съезде присутствовало семьсот сорок восемь коммунистов. Но Троцкий не успокоился. Он сколачивал блок, устраивал секретные, подпольные совещания, мутил воду и никак не унимался.

В январе 1925 года Объединенный пленум ЦК и ЦКК собрался, чтобы обсудить поведение Троцкого. Пленум осудил новую вылазку Троцкого, всю его деятельность квалифицировал как попытку подменить ленинизм троцкизмом.

Выступления на пленуме были одно другого резче. Терпение коммунистов иссякало.

— Не хватит ли, товарищи? — говорили ораторы. — Не пора ли делать выводы?

И пленум снял Троцкого с работы в Реввоенсовете. Вместо него председателем Реввоенсовета СССР был назначен Михаил Васильевич Фрунзе. Он переехал в Москву и немедленно включился в работу.

Москва была шумная. Михаилу Васильевичу она пришлась по нутру. Как и в Харькове, у Фрунзе постоянно бывали его друзья и соратники. Приезжал Котовский, завсегдатаями были Федор Федорович Новиц-

кий и Сергей Аркадьевич Сиротинский. А вообще у Фрунзе всегдалюдно, всегда интересно и весело.

Надо сказать, что дело у Фрунзе ладилось. Каждый месяц давал ощутимые перемены к лучшему. Когда Фрунзе натыкался на сопротивление, даже на попытки сорвать проводимую работу, он беспощадно разоблачал троцкистов и их подпевал. Это было довольно щекотливое мероприятие: очистить армию от всех разлагающих элементов. У Фрунзе не было еще случая, чтобы дрогнула рука. Начав, он доводил дело до победного конца. Придя к решению, он уже не отступал, пока все не выполнит.

Троцкисты жаловались, вопили, бегали по инстанциям, обвиняли Фрунзе во всех смертных грехах. Это не останавливало Фрунзе.

Однажды приехал Котовский и сразу, с места в карьер, еще в прихожей, не раздевшись, заговорил о самом больном:

— Михаил Васильевич, да уберите вы у меня этих чертовых троцкистов! Я призываю красноармейцев и командиров к культуре, напоминаю, что надо изживать нашу привычку ругаться последними словами, но с этой публикой я не ручаюсь за себя, я могу и выругаться! Кого угодно выведут из терпения!

— Одной руганью не поможешь, — нахмурился Фрунзе. — Гнать их надо поганой метлой из армии, оздоровить надо наши ряды. Вот она — мирная, тихая жизнь! Твердим, что фронтов нет, что выдалась передышка, а какая там передышка? Незатихающие сражения, только война приняла более сложные формы, а враг стал более вертким, да стратегия его стала хитрей... Пока на земле есть хоть одно капиталистическое государство, не будет покоя.

Оба озабоченно призадумались. Невесело было на душе. Котовский предложил:

— Нагрузить бы ими воз — да туда, за рубеж, к их хозяевам, вывалить всю кучу во двор буржуазии! Получайте!

— Там-то их встретили бы с распростертыми объятиями!.. Нет, Гриша. Здесь, у себя, повоюем с ними! Сейчас идет очень большая перестройка. За какой-нибудь год армия будет неузнаваемой. И до троцкистов доберемся!

Год назад Фрунзе был по совместительству назначен начальником Академии генерального штаба. По своему обыкновению, он, вступая в эту должность, прежде всего изучил историю академии со дня ее основания, то есть с 1832 года.

По предложению Фрунзе академия стала называться Военной академией Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Может быть, кому-нибудь не по душе были слова «рабоче-крестьянской». Однако потребовалось немного времени, чтобы убедиться, что наименование соответствует и содержанию. Остряки говорили — конечно, шепотком! — что Фрунзе взял штурмом неприступные стены старой академии. Дореволюционный душок был выветрен. Окна были распахнуты настежь. Академия стала подлинно советским учреждением, как и должно было быть.

Фрунзе не упускает ни одной возможности, чтобы напоминать, напоминать и доказывать, что без сильной, хорошо оснащенной, сознательной, дисциплинированной армии мы рискуем потерять все завоевания Октября, все дорогой ценой завоеванные нами позиции.

Об этом речь шла на съезде партии. Лучшим представителям военного командования было поручено сколачивать боеспособную армию, позаботиться об оснащении армии новейшей техникой. Это было ответственнейшее дело, то, от чего зависело, может быть, даже существование Советского государства. И Фрунзе вместе с другими боролся с беспечностью, с легкомысленным отношением к вопросам нашей обороны.

Чего совсем не умел Фрунзе — это сидеть в кабинете и отдавать распоряжения. У него и кабинет был местом споров, совещаний, разработки проектов. А вообще — Фрунзе любил все видеть сам, все ощупать, представить, а главное — поговорить с людьми, понять людей и поверить им. А поверив, проверить и поторопить.

То он выступает на заседании, посвященном двухлетию Общества друзей Воздушного Флота, то проводит совещание кавалерийских начальников армии и еле успевает перекинуться двумя-тремя словами с Григорием Ивановичем Котовским. А там — совещание Военно-на-

учного общества, где Фрунзе говорит о характере будущей войны, о значении психотехники, о подборе наиболее пригодных людей во все рода войск, так как не всякий может быть, например, летчиком или моряком...

Разве можно не побывать на заводе «Икар», где изготавливается первый советский авиационный мотор? А бронетанковые части? И он, и Егоров уделяют им много внимания, в то же время приветствуя советское тракторостроение: пусть трудятся наши тракторы на полях в мирное время, а придет война — из них получатся прекрасные тягачи.

Еще одно нововведение: полковая артиллерия. Насколько сильнее стала пехота! И как это пригодится в случае войны!

Но нельзя не позаботиться также о пулемете. Не пора ли избавиться от заграничных пулеметов Максима и Дризе, которые с давних пор на вооружении нашей армии? Не пора ли создать свой, отечественный, русский пулемет, и чтобы он был не хуже иностранных?

Может быть, самым острым вопросом становилось налаживание высокоразвитой, передовой военной промышленности. Это было самое болезненное место. Фрунзе был крайне озабочен тем, чтобы мы не только освободились от ввоза изделий из-за границы, но и научились сами изготавливать безупречные изделия. Недаром же в кабинете Фрунзе так часто появлялись военные инженеры, конструкторы, изобретатели. Из небольшой, созданной по указанию Ленина «Летучей лаборатории» вырос солидный Аэрогидродинамический институт, именуемый сокращенно ЦАГИ. Здесь Фрунзе был частым гостем. И какой радостью наполнялось его сердце, когда он любовался фигурами высшего пилотажа при испытании первого советского истребителя, созданного конструктором Поликарповым. Самолет был послушен в руках отличного летчика-испытателя Владимира Филиппова.

— То ли еще будет! — басил стоявший рядом с Михаилом Васильевичем Поликарпов, скромник и труженик.

И он был прав. Усилиями Фрунзе дан толчок, поставлено дело на правильные рельсы. Теперь оно пойдет, теперь не остановишь!

«И все до последнего винтика — все наше, отечественное! — размышлял Михаил Васильевич. — Те капи-

талистические страны, которые упорно не желали нам ни в чем помочь, оказали нам большую услугу: поняв, что нам рассчитывать не на кого, мы поднатужились, приналегли и сами стали налаживать все необходимое».

— Вы чего-то улыбаетесь, товарищ Фрунзе, — подошел летчик Громов и показал в небо на делающий мертвую петлю самолет. — Неплохо, а? Одобряете?

— То ли еще будет! — повторил Фрунзе понравившиеся ему слова Поликарпова.

3

Работа, работа, напряжение всех помыслов и сил.

Двадцать четвертого февраля 1925 года Фрунзе выступает на торжественном заседании расширенного пленума Ленинградского губисполкома. Заседание посвящено 7-й годовщине существования Красной Армии.

Настроение у всех приподнятое, праздничное. Как там ни говорите, а дела идут успешно, усилия всего народа, всей страны не напрасны. И всем без исключения нравится этот коренастый, деловитый, без всякой позы и аффектации человек.

Как тепло он говорит о Ленинграде:

— Каждая улица, каждый камень на его мостовых являются свидетелями величайших событий и могут многое рассказать нашим грядущим поколениям.

Да! Конечно! Все ленинградцы любят свой город и любят, когда о нем говорят хорошо.

Заканчивая речь, Фрунзе с большим подъемом провозглашает здравицу:

— Вашему городу, стальному городу Ленина, живому горячему сердцу революции, оплоту и надежде наших октябрьских заветов — слава и наш братский привет от Красной Армии!

Умеет Фрунзе затронуть большие чувства в душе человека, умеет воодушевить. Среди присутствующих и Николай Лаврентьевич Орешников, уж ему-то больно по душе слова Фрунзе.

Крупными мазками набрасывает Фрунзе облик страны, определяет задачи Красной Армии. Затем делает обзор международных событий.

До чего хотелось бы Орешникову поговорить с Фрунзе! Но куда там! До Фрунзе и не добратся! Его окружили, его засыпали вопросами, его куда-то увезли, кажется, выступать на заводе или в воинской части.

Орешников уже примирился с тем, что не удалось побеседовать с Фрунзе или хотя бы поблагодарить его за выполненное обещание: за перевод в Ленинград.

И вдруг — на следующий же день после собрания — звонок в дверь, и на пороге появляется коренастая фигура Фрунзе.

В квартире поднялся переполох. Быстро подхвачено и унесено какое-то белье, висевшее на спинке стула, ловким движением ноги задвинут под кровать детский горшочек. Любовь Кондратьевна сбросила передничек, который надевала, когда мыла посуду, а Лаврентий Павлович натянул на плечи заслуженный, сшитый еще в 1912 году, синий в полоску пиджак.

— Показывайте, показывайте вашего Вову, который решил копить деньги при коммунизме! — слышался голос в прихожей. — Знакомьтесь, никак не мог доказать, что найду Васильевский остров и без сопровождающего, сам когда-то на Васильевском жил...

Фрунзе сопровождал чистенький, молоденький военный из управления. Сначала с Фрунзе намеревался ехать командующий военным округом, но Фрунзе решительно запротестовал, объяснив, что хочет посетить знакомых не как нарком, а как обыкновенный смертный.

Выражение «обыкновенный смертный» вызвало дружный взрыв смеха и возгласы одобрения. Однако сопровождающего все-таки подкинули, уверяя, что он и город знает и что вообще невежливо бросать высокого гостя на произвол судьбы.

Сопровождающему, бойкому молодому краскому Пете Соломинцеву, успели шепнуть, чтобы посмотрел, что там и как, не нуждается ли в чем этот самый Орешников, как оказалось, личный знакомый Фрунзе.

Николай Лаврентьевич обрадовался гостю. Он суетился, за что-то извинялся, глазами показал жене на тарелку с недоеденной манной кашей — и тарелка моментально исчезла.

— Извините за беспорядок... Знакомьтесь, пожалуйста... Это мой отец.

— Лаврентий Павлович Орешников! — отрекомендовался сам глава семейства. — Гым-гум!

— Это мама. А это жена. Любовь Кондратьевна.

— Как же, как же, сразу узнал по описаниям.

В кухне столпотворение. Ставили на примус чайник, нарезали хлеб, затем Любаша ловко проскочила в прихожую и помчалась в ближайший магазин за печеньем, пирожными, колбасой и сыром.

Капитолина Ивановна извлекла тем временем из старомодного буфета с резными узорами и разноцветными стеклышками парадный, голубой, с золотой каемочкой, гостевой чайный сервиз, из которого пили чай еще на ее свадьбе.

— Вас-то как звать? Михаил Васильевич? Чайку с нами не откусаете? Какое варенье больше любите? Малиновое уважаете? Да я лучше всякого положу.

— Тесновато что-то у вас, — обозревал жилище Петя Соломинцев. — Две комнаты — и все?

— Нам не танцевать — примирительно говорила Капитолина Ивановна. — Раньше-то у нас три комнаты было, да куда нам? Одну соседней квартире отдали, вон и дверь кирпичом замуровали. И правильно, ничего особенного, нам хватает...

— Какое хватает! — великодушничал Петя Соломинцев, входя в роль квартирной комиссии. — Надо что-то придумать...

Капитолина Ивановна полностью завладела Михаилом Васильевичем, который ей с первого взгляда понравился. Она уже успела показать ему семейный альбом с портретами дедов, прадедов, тетушек еще невестами, тетушек уже замужем, скромненьких племянниц, дочерей и пучеглазых внуков голышом.

Вернулась запыхавшаяся Любаша со свертками, звякали тарелки на кухне, затем произошло торжественное представление гостям белобрысого, с румянцем во всю щеку, упитанного, весьма самостоятельного Вовы, вернувшегося с прогулки.

И тут все наперебой стали рассказывать о проделках Вовы, о словечках Вовы, о различных с ним случаях, с несомненностью доказывающих, что он — чудо как хорош, что он — необыкновенный ребенок и что, конечно, будет из него толк.

Вова отрекомендовался, протягивая Фрунзе ручонку:

— Владимир Николаевич Орешников, сын собственных родителей.

Может быть, его этому научили, может быть, кто-нибудь в шутку сказал это при нем, но он всегда так говорил, если приходили незнакомые.

Фрунзе смеялся:

— Сколько же тебе лет, сын собственных родителей?

— Пять лет и пять месяцев! — с гордостью ответил Вова.

Тут разговор коснулся Котовского. Орешников и Фрунзе в два голоса начали восхищаться его энергией, его кипучей натурой, его талантами. Петя Соломинцев наострил уши: «Эге! Да этот Орешников, видать, незаурядная личность! С какими людьми знается!»

Чаепитие прошло великолепно. Фрунзе с удовольствием ел бутерброды и печенье, шутил. Петя Соломинцев рассказывал анекдоты. Лаврентий Павлович сначала ограничивался своим «гым-гум», а потом оживился и, поняв из разговора, что гость прибыл из Москвы, рассказал много интересного о московской старине. Любаша рассказывала об университетских делах, Капитолина Ивановна — о том, как Любаша и Коленька ходили-ходили в кино да и поженились...

В двенадцатом часу сердечно распрощались, Петя сбегал узнать, на месте ли шофер, и они уехали.

— Молоденький-то так себе, — сказала очень довольная, сияющая Капитолина Ивановна, убирая со стола посуду.

— Пустозвон! Гым-гум.

— А вот который с бородкой — приятный человек. Это кто же он будет, Коленька? Твой сослуживец?

Орешников расхохотался:

— Да это же министр, мама, по-нынешнему — нарком. Это Фрунзе!

Капитолина Ивановна отмахнулась:

— А ну тебя, никогда серьезно с матерью не поговоришь, все шуточки да прибауточки. Любаша, кто же это он, Михайло-то Васильевич? Да вы что, ребятки! Вправду министр? Мать пресвятая богородица! Да что же вы меня не предупредили? Слышишь, Лаврентий Павлович? Министр!

— Гым-гум...

— А я-то его вареньем потчевала!

— Что ж, и министры варенье едят. Фрунзе — человек умный, а главное — воспитанный, словом, интеллигентный. Так-то рассуждать: что особенного, что в гости пришел? Обыкновенная вежливость...

— И порядочность, гым-гум...

— Да, и порядочность. Мы знакомы, я у него и дома бывал. Теперь он приехал в Ленинград, знает, что я в Ленинграде, — хорошо получилось бы, если бы он пре-небрег? Поважничал?

Но Орешников говорил это, убеждая себя, а в душе ликовал и восторгался: вот это человек!

Долго не ложились спать, беседовали, смеялись, вспоминали, как все было, как Любаша сбегала в магазин, как убрали недоеденную манную кашу...

— А Вовка ему понравился.

— Еще бы!

— Гым-гум! Приятно, когда в правительстве люди как люди! Очень хорошо побеседовали!

4

Очень много работы. Уйма работы. Михаил Васильевич справляется со всем только благодаря умению распределять время. Иные суеются, а дело ни с места. Это происходит от разбросанности мыслей, от беспорядка в доме и в голове. Часы и недели утекают, как песок из пригоршни, а ведь известно — время никого не ждет. У Михаила Васильевича непоколебимая дисциплина труда, железная воля. Поэтому он никогда не торопится и все успевает.

Много значит дружная семья. Все приспособлено, слаженно, все вещи знают свое место. Как бы ни устал, как бы ни растревожился — дома встретит неизменно привет и ласку, дома услышит спокойный голос жены, найдет внимательного слушателя, вдумчивого собеседника, верного друга. А это так важно, так нужно, чтобы собраться с силами для нового наступления, для новых боев.

День заполнен до предела. Тут и поездки в воинские части, и чтение лекций, и бесчисленные приемы, требующие внимания, указаний, советов, принятия мер... Ночь предназначена для учебы, для углубления знаний, для изучения военного дела. Конспекты, писание статей, ру-

ководств... Почему-то всегда оказывается что-нибудь срочное — то подготовка выступления о задачах академиков в армии, о военно-политическом воспитании Красной Армии, о фронте и тыле будущих войн, то срочные статьи о военной технике, о воздушном флоте, о единой военной доктрине в Красной Армии.

Ночь. Тишина. На полках, на столе — книги, книги, книги — молчаливые друзья и добрые советчики. Стакан крепкого холодного чая. Удобное кресло. Зеленый абажур проливает мягкий свет, бросает блики на стены, на потолок, располагает к вдумчивости, к размышлениям...

Все понять. Все оценить. Составить план действий и тогда только действовать. Мысль должна быть точной, как наводка артиллерийского орудия. Ошибаться нельзя. И когда будут сделаны вычисления, можно подать команду — «Огонь!».

В открытое окно веет прохладой. Чуть-чуть пошевеливается край занавески. Как любит Михаил Васильевич эти ночные часы работы! Весь он безраздельно принадлежит партии, он отдал жизнь, сколько бы она еще ни длилась — год или десятилетия, — отдал всю целиком служению народу. Он счастлив.

Работается хорошо. Мысли на редкость четки и стройны. Продумано и записано все, что нужно будет сказать в выступлении.

Закончив работу над докладом, Фрунзе откинулся в кресле. Мигом обступили видения пережитого, незабываемые картины борьбы, исканий и побед...

После поездки в Ленинград особенно часто вспоминался 1905 год...

— Милый! Ты что-то очень засиделся!

Софья Алексеевна входит в кабинет с заплетенными в косу волосами, с не совсем еще проснувшимися глазами, в домашнем капоте.

Михаил Васильевич рассеянно улыбается, все еще находясь во власти нахлынувших видений.

— Смотри, уже рассвело, можно даже погасить свет.

— Я уже закончил доклад. По-моему, получилось четко и вразумительно.

— Отлично. Но почему же ты не ложишься спать? Надо же и отдыхать когда-нибудь. Ведь у тебя только что был приступ!

— Сейчас лягу. Честное слово, лягу. Немножечко замечтался, задумался. Мы, старики, любим вспоминать давние времена.

— Что же вспоминал «старик», которому еще нет сорока лет от роду?

— Вспоминал ту, первую революцию. Удивительное дело, Сонечка, кажется, все бои позади, бесследно исчез царизм, разбиты вдребезги одна за другой армии интервентов... А сражения не затихают. Я не говорю уж об опасности извне. Но и здесь, внутри страны, приходится давать бои на каждом съезде, на каждом совещании!

— Вчера я мыла бутылку из-под масла, — спокойно проговорила Софья Алексеевна, усаживаясь около мужа.

— Какую бутылку?!

— Из-под масла. Я же тебе объясняю. Налила я в бутылку теплой воды. Масло всплыло, но не все, на стенках тоже остались масляные следы. Пришлось насыпать песку да ежом, ежом хорошенько тереть! Очень трудно отмывать бутылку из-под растительного масла!

Фрунзе внимательно слушал. Веселые искорки прыгали у него в глазах. Он сразу понял, что хочет сказать Софья Алексеевна.

— Умница ты у меня! Ты, конечно, права, не бывает так, чтобы до пограничного столба жили одни только праведники от социализма, а за пограничной чертой одни только злые упыри и колдуньи капитализма. Пока существует капиталистический строй, не переведутся и его подпевалы даже у нас, в социалистическом лагере. Единственно — это они будут менять личины и пользоваться разными приемами беспощадной, незатихающей борьбы.

— На этом и постановим! — поднялась с места Софья Алексеевна.

ДВЕНАДЦАТАЯ ГЛАВА

1

В апреле 1925 года состоялся Первый съезд Общества бессарабцев. И конечно же, на съезде был Котовский, был и выступил с такой речью, что весь зал долго грохотал аплодисментами.

На съезде присутствовало немало борцов с захватчиками Бессарабии. Съезду было сообщено о незатихающей борьбе бессарабцев за свою свободу.

На Котовского было страшно смотреть. Невыносимо было ему, с его деятельной, кипучей натурой, слушать рассказ о вопиющей несправедливости, о бесчеловечности, слушать и ничего не предпринимать. Эх, если бы только сделан был знак, только было бы сказано, что терпение иссякло, что довольно дипломатических переговоров, должны наконец понести заслуженную кару румынские помещики — за замученных, расстрелянных, потопленных!.. Красная конница по первому сигналу перемахнула бы одним прыжком через Днестр и, напоив коней в реке Прут, двинулась бы дальше, неся знамя свободы...

Со съезда Григорий Иванович вернулся мрачным, подавленным.

— Мне что-то не по себе, Леля, — сказал он дома.

Никогда Ольга Петровна не видела Котовского таким удрученным. А тут еще поехал он в Киев по делам корпуса, и там у него случился приступ желудочно-кишечных болей. Профессор Яновский, предположив язвенную болезнь, предложил Григорию Ивановичу лечь в клинику на исследование. Но не так-то просто было уложить Котовского на больничную койку. Приступ прошел, нахлынули дела, заботы — какая уж там клиника!

Он едет на губернский съезд Советов. Он объезжает части корпуса, посещает Повторные курсы для командного и начальствующего состава, открытые в Умани. Он занят непрерывно. Он бодр, полон энергии. И только порою набегают тень на его лицо, его преследуют образы замученных, казненных там, по ту сторону Днестра, там, по ту сторону границы.

Между тем Ольга Петровна решила не уступать. Считая, что как врач обязана принять меры, сделать все от нее зависящее, она сообщила о состоянии его здоровья Михаилу Васильевичу Фрунзе, предупредив, что делает это в строжайшем секрете от мужа и просит ее не выдавать.

Котовский был удивлен, когда получил в приказном

порядке предложение выехать в Москву для обследования состояния здоровья.

— Наверное, профессор Яновский поднял бучу, — строил догадки Григорий Иванович и не догадывался, что виновник вызова — вот он, сидит рядом. Ольга Петровна же усиленно поддакивала:

— Конечно, Яновский! И почему бы нам не съездить в Москву? Давай, давай, приготовься, отдай все распоряжения, и поедem вместе, у меня уже и вещи уложены.

Две недели ходил Григорий Иванович по медицинским учреждениям. Рентген, всесторонние исследования, консультации профессоров, анализы... Ругался Григорий Иванович страшно, однако все терпеливо выполнил.

Ольга Петровна сама отправилась получать результаты проверки, выслушать выводы. Профессор — тучный, сам, по-видимому, не блещущий здоровьем, страдающий одышкой, — встретил приветливо. Врачи любят сообщать пациентам что-нибудь утешительное.

— Так вот, коллега, что я вам сообщу относительно вашего мужа: язвенная болезнь исключена, это отпадает категорически. Ни операционного вмешательства, ни специального лечения по этой линии не требуется, и я могу вас поздравить. Но установлено другое и тоже серьезное заболевание — невроз кишечника как проявление тяжелой неврастении.

Ольга Петровна хотела пояснить, как протекала жизнь Григория Ивановича, рассказать о тяжелых его переживаниях, о тюрьмах, о постоянном напряжении, о смертном приговоре, о каторге, об одесском подполье, о военных передрыгах, но профессор ее остановил:

— Знаю. Все знаю, уважаемая Ольга Петровна. Тут не только неврастения, тут с ума можно сойти. Мы все изумлялись атлетическому сложению и феноменальному здоровью товарища Котовского. Но всему есть предел! Нельзя требовать от организма больше, чем возможно. Французы говорят, что даже самая красивая девушка не может дать больше, чем она имеет. Неврастения у Григория Ивановича в весьма тяжелой форме. Требуется отдых, отдых и еще раз отдых. Нельзя издеваться над своим организмом. Представьте себе, что мы натягиваем очень прочную стальную струну. Сначала она звенит все тоньше и тоньше, издает чистый серебряный звук. Но если продолжать ее натягивать, она лопнет.

Я так и доложу командованию. Требуется санаторное лечение, абсолютный покой, длительное отстранение от всякой деловой обстановки.

— На это он не пойдет... Я знаю его. Если бы удалось заставить его хотя бы взять отпуск, он и отпуск никогда еще не брал.

Профессор развел руками:

— Тут я уже ничего не могу сказать, сударыня. Болезнь хорошо лечить, пока она не запущена, *in statu nascendi*. А если у человека сегодня потрясение, завтра потрясение и так — бесконечное испытание прочности нервов, то, сами понимаете, даже *gutta cavat lapidem*, капля дробит камень. Я поговорю с Михаилом Васильевичем Фрунзе, хотя ему о своем здоровье надо бы подумать, но он принимает горячее участие в судьбе Котовского. Наш общий долг — поддержать этого человека.

От санаторного лечения Григорий Иванович категорически отказался:

— Все равно я оттуда на другой же день сбегу. Смотреть на эти постные, кислые физиономии, глотать таблетки, ложиться спать по звонку и питаться всяческой диетической гадостью... Нет, делайте со мной что хотите, но увольте от такого бесчеловечного наказания! По мне лучше каторга, чем санаторий!

Тогда Фрунзе предложил ему взять месячный отпуск и ехать с семьей в военный совхоз Чебанку, под Одессой.

— Прелестное место, я сам жил там прошлое лето, — убеждал Фрунзе. — Тут тебе и море, и тишина, а главное, Одесса рядом... Кормят там хорошо, а у вас домик будет отдельный, веранда, сад... Чего еще надо человеку? Рай земной!

— Ну, если рай, — улыбнулся Котовский, — можно попробовать, я всю жизнь больше по преисподним слонялся.

В отличном настроении приехал Котовский в Умань, и начались сборы в дорогу. Все складывалось как нельзя лучше. И корпус было на кого оставить, и Григорий Иванович радовался за сына — пусть подышит морским воздухом, да и Ольге Петровне совсем не мешает отдохнуть.

Но вдруг Котовский предложил:

— Знаешь какая у меня идея? Что, если нам никуда не поехать, ни на какой отдых, ни в какую Чебанку?

— Ты что, смеешься? Я уже и подорожников напекла!

— С подорожниками управимся и без дороги! Нет, давай поговорим серьезно. Исследование уважаемые профессора сделали? Сделали. Никаких язвенных болезней у меня не нашли? Не нашли. Я же говорил тебе: здоров и полон сил, чего и вам желаю! А к этой самой Чебанке-Кабанке, или как там ее, у меня просто душа не лежит. Ну как это я буду там ничего не делать? Не умею я ничего не делать!

Ольга Петровна сделала строгие глаза:

— Как! Ты, значит, ничего не понял? Ведь слышал же, что говорил профессор?

— Ну ладно, — вздохнул Котовский. — Тогда вот что: я возьму с собой «Капитал» Маркса и буду его изучать.

— А если просто отдохнуть? Без всякий заданий? Можно это позволить себе хоть раз в жизни?

Котовский молчал, он обдумывал. Наконец ответил:

— Раз в жизни? Как ты считаешь, Леля? По-моему, и раз в жизни нельзя.

2

Так они попали под Одессу, в совхоз Чебанка, где был также дом отдыха на тридцать человек, так что у Котовских не было заботы и о питании. Ольга Петровна взяла с собой сестру, Елизавету Петровну. Елизавета Петровна была привязана к маленькому Гришутке, крепко дружила с сестрой и благоговейно относилась к Григорию Ивановичу.

Разместились хорошо. Спать Григорий Иванович решил на веранде. Все было бы превосходно, если бы не смутные тревоги и опасения, преследовавшие Ольгу Петровну. Но она приписывала это своей беременности. Вообще же в Чебанке было все, чего хотела Ольга Петровна: развесистые яблони с душистыми румяными яблоками, которые с легким стуком падали на землю и ждали здесь, на горячем припеке, не захочет ли кто-нибудь полакомиться ими... тихие, поросшие травой улицы, хорошенькие домики, рыбацьи лодки на морском берегу... солнце и море — золото и бирюза... и душные горячие южные ночи, наполненные запахами моря и трав...

В день приезда Котовский действительно полностью

отдыхал, может быть, впервые в жизни. Он лежал в шезлонге перед окнами домика. Прошелся к морю. Разговаривал с сыном, отвечая на его вопросы: зачем устроено море, зачем оно соленое, везде ли растут деревья и кто их сажает, почему рыба живет в соленом море, а сама не соленая. Ольга Петровна была в восторге, что муж все-таки по-настоящему отдыхает. Она даже уговорила его вздремнуть часок после обеда.

Со следующего дня все пошло иначе. Котовский, по обыкновению, вставал в пять часов утра, делал гимнастику и шел на море купаться. После завтрака он усаживался за «Капитал». Читал, делал выписки и отмечал, какие книги ему понадобятся дополнительно в ближайшее время. Почувствовав, что устал, он отправлялся в совхоз. Знакомился со служащими, выслушивал добрые советы и сам делился опытом и знаниями. После обеда снова занимался. А вскоре в Чебанку стали приезжать с докладами корпусные работники, так что фактически Котовский и здесь продолжал руководить корпусом.

Киевская объединенная школа командиров отмечала шестилетие существования. Котовский порывался поехать на торжество, но Ольга Петровна так решительно протестовала, что Котовский ограничился письмом.

Котовский писал с присущей ему страстностью, писал так, как будто давал наказ родному сыну, завещая ему быть достойным преемником.

Ольга Петровна ворчала:

— А если бы ты сделал это после отпуска, месяцем позже? Человечество что-нибудь потеряло бы от этого?

— Да ведь юбилейная-то дата у них сейчас, а не через месяц? Человек ничего не должен откладывать, нужно всегда поступать так, как будто завтра ты умрешь. Тогда уж непременно будешь добросовестен в делах и поступках! И тогда все успеешь! Ты как считаешь, Леля?

Ольга Петровна не могла долго на него сердиться. И разве она не знала характера Котовского?

Подоспела уборка хлебов. Где же было повстречать теперь Котовского, если не на полевых работах? То он лезет под локомобиль, что-то подкручивает и возвращается домой весь перемазанный мазутом. То хлопочет, командует, помогая наладить косилки. То ходит с ди-

ректором совхоза, осматривает поля и ведет дискуссию, будет ночью дождь или туча пройдет стороной.

Однажды Ольга Петровна увидела, что Котовский куда-то собирается и все посматривает на нее виновато. Она сразу заподозрила что-то неладное.

— Ты куда?

— Видишь ли, Леля...

— Вижу, вижу, ты уж выкладывай начистоту, куда собрался? Ах, Гриша, Гриша, неугомонный ты человек!

— Лучше ты мне ответь на вопрос: председатель я ревизионной комиссии Центрального управления промсовхозов или не председатель?

— Нет, не председатель. В данный момент по крайней мере. Ты отдыхающий. Вот ты кто.

— Но как ты думаешь, ничего не случится, если я съезжу в Николаев, сделаю проверку военсовхоза и вернусь?

После слабых попыток удержать его Ольга Петровна сдалась, только настаивала, чтобы он хотя бы не задерживался долго.

А там в Чебанку приехали из Одессы кинооператоры и постановщики картины, в которой, согласно сценарию, должны были сниматься Котовский и вся его бригада. Они устроили форменное совещание, спорили, на ходу сочиняли, консультировались, говорили слова «кадр»... «наплыв»... «массовочка»... и утомили Котовского ужасно.

Как везде и всюду, за короткий срок у Котовского завелись закадычные друзья и приятели — подростки со всей округи. Они оказались надежными союзниками Ольги Петровны, потому что частенько срывали занятия Григория Ивановича, появляясь гурьбой и дружным хором упрашивая дядю Котовского отправиться куда-то в экскурсию, о чем он давал обещание, если только не сам же и затеял эту прогулку.

— Капитулирую! — кричал, поднимая вверх руки, Котовский. Смеясь, захлопывал книгу, убирал в стол конспекты, выписки, наброски, и они уходили в степь охотиться на змей.

Котовскому продлили отпуск, но он решил, что довольно. В военных кругах упорно ходили слухи, что Котовского куда-то выдвигают, что Котовского очень ценит Фрунзе и, кажется, намеревается сделать его не то своим помощником, не то назначить заправлять бронетанко-

выми силами Красной Армии. Во всяком случае, дел накапливалось все больше, а нетерпение Котовского все росло. И в Москве надо было побывать, и о корпусе соскучился, и в Ободовку обещал съездить.

И еще одно обстоятельство заставляло Котовского торопиться: Ольга Петровна скоро должна родить, и нужно заблаговременно подготовиться к появлению на свет сына или дочери.

Назначили отъезд на утро шестого августа, с тем чтобы в Одессе сразу же сесть в поезд. Котовский повеселел, все время говорил о своих планах, о новых проектах и намерениях. Мысленно он был уже там — в гуще дел, на самой быстрине полноводной жизни.

Вызвали «опель» — у Котовского была своя машина, ее подарило ему правительство. Шофер прикатил из Одессы немедленно, пятого же числа, и зачем-то привез Майорчика-Зайдера.

— Прямо навязался, — оправдывался шофер.

Этого субъекта — Майорчика — вообще-то не выносили у Котовских. А после всего, что рассказал Белусов, особенно.

Пятого августа Котовского пригласили пионеры Лузановского пионерского лагеря на костер. Он рассказал им о Матюхинской операции, рассказывая, сам заново пережил все и, конечно, устал.

— Вот какие на свете бывают истории! — закончил он свое повествование. — А вы, ребята, запомните мой рассказ. Возможно, что в ваше время матюхины уже переведутся, но матюхины живучи, не в той, так в другой личине явятся. Только чур — не робеть, пионеры! Дерзайте! Вперед!

Пробыл у пионеров Котовский долго, вернулся поздно. Тут бы ему и отдохнуть, но в совхозе и доме отдыха затеяли проводы, причем с ужином, тостами и речами...

Пока Котовский был в Лузановке у пионеров, Ольга Петровна укладывала вещи. А тут этот назойливый, какой-то липкий Майорчик! Он очень много говорил, предлагал Ольге Петровне остановиться у него, когда будут в Одессе. С какой стати остановиться? И с какой стати у него?

Ольга Петровна даже не удостоила его ответом. Тоже, объявился друг-приятель! «Остановиться у него»!

Вон до чего договорился! Сроду у него не бывали, да и его-то отвадить следовало!

Зайдер не обиделся, когда Ольга Петровна бесцеремонно выпроводила его. Но он не ушел, лишь вышел на крыльцо. Слышен был его неприятный визгливый голос. Он уже болтал с шофером, над чем-то раскатисто хохотал и напевал дурацкую блатную песенку, подражая воровской манере: коверкая слова, пришепетывая и заывая:

Зэвтра я эдэну мэйку гэлубую,
Зэвтра я эдэну брэки клеш...
Д-две пути-дэроги, вэб-бирай лэбую,
Эт тэрмы дэлеко н-не уйдешь!

Не успела оглянуться Ольга Петровна, а он опять тут. Льстил, улыбался, лез со своими длинными и неумными рассуждениями. Ольга Петровна сердилась: и чего Григорий Иванович деликатничает? Гнал бы прочь этого фигляра и болтуна! А уж шоферу она непременно даст нагоняй, чтобы не привозил кого вздумается без разрешения.

Досадовала Ольга Петровна и на то, что даже в последний вечер перед отъездом Григорию Ивановичу подсунули мероприятие. Можно бы хоть на этот раз его не эксплуатировать!

Зайдер жужжал и жужжал, как назойливая муха. Непонятную неприязнь испытывала Ольга Петровна к этому человеку. Даже, пожалуй, отвращение.

«Нехороший у него взгляд, — думала Ольга Петровна, — не верю я ни одному его слову. И чего ему надо? И самолюбия ни на грош. Он держится так, будто хочет чего-то добиться, о чем-то просить».

— Ольга Петровна! Благодетельница! — кривлялся Майорчик. — Я вижу, вы меня презираете. Еще бы! Что я — и что вы! Ольга Петровна! Дорогуша!

— Кажется, я просила вас уйти? Вы мне мешаете и страшно надоели.

— Вы наша, в некотором роде, мамаша! Я, не думайте, я не «нотный», вот она, вся моя душа на ладони! Запомните: я не негодяй, но я ничтожество, я ноль. А вы? Вы наша благодетельница, Ольга Петровна!

— Не люблю таких разговоров. Ради чего вы мне льстите?

— Вы слышали? Она меня спрашивает — ради чего! Не видать свободы!..

— Опять вы свои словечки!

— Позвольте. А кто хранит как зеницу ока знаменитость Молдавии, гордость революционного движения? Я говорю за легендарного Григория Ивановича... Это, знаете, заслуга перед историей человечества...

— Оставьте в покое историю и меня.

— Я знаю, вы раздражаетесь, потому что все треплют нервы комкору Котовскому. Что делать? Популярность! Вот, например, меня — меня никто не беспокоит! А тут, пожалуйста бриться, сегодня создавай орган Советской власти, завтра агитируй, выступай, гони речугу... Тяжелый случай!

Ольга Петровна не слушала, а он говорил, говорил, даже в каком-то возбуждении и что-то несвязное, так что она подумала, не выпил ли он или, скорее всего, не сделал ли укол: в блатном мире в большом ходу кокаин, пантопон и морфий...

Григорий Иванович не шел и не шел. Она поминутно поглядывала на часы. Она подумывала позвать шофера и попросить вывести этого субъекта.

Быстро темнеет на юге. Августовская ночь мерцает, синяя-синяя. Пахнет яблоками. Вот сверкнула, покати-лась, черкнула по синему небосклону и погасла падающая звезда...

Почему стало так тихо? Оказывается, Зайдер ушел. Ушел как-то внезапно. Оглянулась — нет его, растаял в сумерках, как дурной сон.

Слышно, как шофер Сережа храпит в машине. У него это отличительное свойство — мгновенно засыпать и мгновенно просыпаться, в зависимости от обстановки.

Но вот Ольга Петровна услышала знакомые торопливые шаги.

— Наконец-то! Так задержали?

Котовский пришел хмурый, недовольный.

— До зарезу не хочется идти на эти проводы! Не могут, чтобы не закатить банкет!

— Может быть, принесем извинения?

— Неудобно, люди от всего сердца... традиция... Главное, хотя бы попросту пожали руку, попрощались — и все, а то ведь начнут выступать ораторы... Послушать их — говорят всё правильно, а слушать невозможно.

Котовский не ошибся. Собрались поздно, около одиннадцати часов. Столы были накрыты, женщины разнарядились, мужчины были при галстуках. Все эти люди искренне любили и уважали Котовского, и сами были хорошие, дельные люди, и чувства, которые они старались выразить в речах, были настоящие, хорошие, искренние чувства. Но стоило одному из них встать, неловко задеть скатерть, чуть не опрокинуть стул и высоко поднять бокал с местным вином, как вдруг язык у него костенел, лицо становилось необычайно глупым, он начинал заикаться и из всех человеческих слов выбирать самые поношенные, самые бесчувственные: «Да позволено будет»... «Паче чаяния»... «В сей достопамятный день»...

Вечер определенно не клеился. Котовский сидел ссутулясь, серый, мрачный. Ему было жалко этих людей, занятых непривычным для них делом, а главное — неприятно, что все так неумеренно расхваливают его, с каждым новым оратором все больше поддавая жару, так что еще немного — и может оказаться, что один Котовский и всю революцию сделал и всех врагов истребил.

Наконец хорошенькая жена директора совхоза не выдержала:

— Товарищи! Второй час ночи, мы все ужасно любим Григория Ивановича, но давайте же ужинать!

Даже и на этом все испытания не кончились. Приехал старший бухгалтер Центрального управления военно-промышленного хозяйства, подсел тут же, среди пиршества, к Котовскому, развернул казенные папки и повел разговор на языке цифр, оправдываясь, что это срочно нужно. Уже и банкет кончился, все стали расходиться, а он все сидел и сидел, не отпуская Котовского.

Тогда решено было, что Ольга Петровна пойдет домой и пока что приготовит постели. Дома было необычайно тихо. Тишины не нарушало ни похрапывание шофера, ни монотонное пение цикад.

Ольга Петровна с особой нежностью взбила подушки и новую прохладную простыню подоткнула со всех сторон. А Григорий Иванович все не шел. В открытые окна залетали на огонь ночные бабочки. Маленький Гриша разметался в постели, розовый, пухлый...

Мысли были рассеянные: не забыть бы термос, в вагоне понадобится... какой противный этот старший бухгалтер из учреждения с длинным названием... хорошо, если бы родилась дочка, сын уже есть, а дочь — это было бы славно... и Григорий Иванович хочет дочь... Ольга Петровна улыбалась, думая о муже. И так жалко было, что его задерживают!

Впоследствии она никак не могла вспомнить, когда это произошло. Во всяком случае, уже глубокой ночью. Вдруг выстрел. Второй. Негромкие. Щелкнули — и все замерло. Даже цикады молчали. Ольга Петровна вздрогнула. Что-то подсказало ей страшную мысль. Впрочем, она даже не думала. Она не помнила, как выбежала из дому. Дверь осталась настежь открытой. В нее длинной полоской лился свет и ярко освещал гамак, яблоню, песчаную дорожку...

Ольга Петровна в один миг оказалась за калиткой. И вот она увидела что-то темное. Но она уже знала, она догадывалась, она поняла. Возле угла главного корпуса на еще теплой от дневного пекла земле лежал Котовский, ничком, лицом вниз. Ольга Петровна бросилась к нему, стала нащупывать пульс. Пульса не было. Разорвала ворот рубашки. Кровь.

Она не помнит, кричала ли она, звала ли на помощь. Кажется, звала. Появились люди. Первым прибежал шофер Сережа. Вместе с совхозным агрономом и теми, кто только что произносил заздравные тосты, перенесли тело в дом.

Какая-то незнакомая женщина плакала. Мужчины подробно рассказывали, как они ничего не думали — и вдруг выстрел... И они повторяли свой рассказ несколько раз на все лады и с жалостью и страхом поглядывали на безмолвное тело.

Хорошенькая жена директора накапала Ольге Петровне валерьянки. Ольга Петровна отстранила мензурку.

— Спасибо, не надо. Идите отдыхайте, Марианночка, тут уже ничего нельзя сделать. Ранка маленькая, но смерть наступила мгновенно, пробита аорта.

— Нашли кобур, в кусты была заброшена! — сообщил шофер Сережа, искавший, куда бы применить свои силы, испытывая потребность что-то сделать для Григория Ивановича.

Если бы не холодная, мертвенная бледность, которая разливалась от шеи, по щекам, по лбу Котовского, можно было бы подумать, что он просто закрыл глаза, что вот он сейчас поднимется и скажет: «Ну, давайте рассказывайте, как у вас дела!»

Ольга Петровна ничего не видела и не слышала, делала все машинально, сознание было затемнено. Села на стул возле него, возле своего дорогого Григория Ивановича. Смотрела в одну точку перед собой. Она не плакала. Она окаменела от горя.

Елизавета Петровна, напротив, суетилась, то и дело громко всхлипывала и только все старалась, чтобы не проснулся Гришутка.

Постепенно все, кто находились в комнате, почувствовали, что они здесь лишние, и по одному стали расходиться, вздыхая, выражая каждый по-своему глубокое сочувствие. Ни у кого и мысли не было лечь спать. Собирались кучками, вполголоса толковали о происшествии. И тут родилось гневное слово.

Кто?! Кто этот изверг, изувер, низкая душонка? Чья рука поднялась на такого человека?

И стали выясняться странные вещи, одна за другой стали возникать улики. Кто был с Котовским в последний момент? Оказывается, услышав выстрелы, директор совхоза сразу же выбежал из дому и тут натолкнулся на Зайдера.

— Что за выстрелы? Не знаете?

— Не знаю, — ответил тот. — Наверное, Котовский проверяет оружие.

Но этот же Зайдер уверял шофера, будто слышал приглушенный голос: «Товарищи, я сам себя убил». Эта версия была до того неестественна, что подозрения сразу пали на этого вертлявого человека, видимо заблаговременно выдумавшего свою жалкую ложь. Чтобы Котовский, истинный коммунист, наполненный жизнью, энергией, оптимизмом, вдруг ни с того ни с сего покончил самоубийством? Никогда!

И действительно, судебная экспертиза установила, что он вообще не мог ничего произнести после выстрела, смерть наступила мгновенно, и сразу хлынула кровь. Но и в первый момент у людей сразу мелькнула догадка: Зайдер! Зачем он приехал в Чебанку? Зачем болтался ночью по совхозу?

Но где же он? Шофер Сережа первым бросился искать.

Между тем Ольга Петровна сидела наедине с безмолвным Котовским и смотрела, не видя, подавленная горем. Пришла она в себя, услышав какой-то шум. Дверь приоткрылась, и в комнату проскользнул откуда-то взявшийся Майорчик-Зайдер.

Ольга Петровна все еще не могла понять, что происходит. Она даже на минуту представила, что это еще вечер, она укладывает вещи, Зайдер назойливо вертится около нее, а Котовский все не идет, не идет из Лузановки. Она поминутно смотрит на часы и подумывает, не позвать ли Сережу, чтобы он выгнал вон этого субъекта...

Но тут же она все вспомнила. Котовского нет на свете. Но что же делает здесь этот человек? Зачем он?

Поведение Зайдера было необычно. Он прислушивался, стоя у двери, и бормотал:

— Благодетельница... Мать обездоленных... Они разорвут меня! Разорвут!..

На веранде слышался говор, топот ног. Майорчик взвизгнул, как подстреленный заяц, и выпрыгнул в окно.

— Убийца! — закричала Ольга Петровна, пораженная осенившей ее догадкой.

У нее только хватило сил показать на окно вошедшим людям.

— Не уйдет! — прошептал Сережа.

Через минуту слышалось конское ржание, а затем цокот копыт. Погоня была отправлена по всем направлениям. Скоро привели и Зайдера. Его нашли шагающим по дороге к Одессе.

Его вели, а вокруг слышались проклятия, и чей-то надсадный голос призывал:

— Будьте благоразумны! Граждане! Он ответит! Будьте благоразумны! Передадим его в руки правосудия!

Прибыл секретарь обкома, приехали следователи. Зайдер плел новую историю: будто бы Котовский выхватил у него, Зайдера, револьвер, ударил им Зайдера и потом застрелился...

— Где ударил? По какому месту? — спросил следователь. — Ведь удар револьвера оставил бы след...

Судебной экспертизой и эта версия была отвергнута.

С каждым днем всплывали новые доказательства виновности Зайдера. Пришли незнакомые женщины к следователю и рассказали, что они живут в Одессе и видели, как Зайдер в своем саду тренировался в стрельбе по цели.

— Каждый день как на службу выходил! — сказала одна.

Вторая добавила:

— Нарисовал на заборе человека во весь рост. Выстрелит и смотрит, где отметина. Мы еще говорили: «Смотрите, Майорчик в охотники записался». А он вон куда целил!

Было еще утро, а уже вся Одесса знала о свершившемся злодеянии: дурные вести быстроноги. Город оделся в траур. С балконов свешивались траурные ленты, на фонарях появились флаги с траурной каймой. И уже шли по дороге в Чебанку через Пересыпь встревоженные толпы народа.

— Убит! Убит! — передавалось из уст в уста.

Тело Котовского перевезено в медицинский институт и бальзамировано. К зданию института идут со знаменами части одесского гарнизона. Молча, в глубоком раздумье, шагают рабочие делегации. Прибыли пионеры из Лузановки, приехали коммунары из Ободовки с венками, сплетенными из колосьев. Приехали представители корпуса, Криворучко, Белоусов. Прибыла делегация Реввоенсовета во главе со старым соратником Котовского — Семеном Михайловичем Буденным.

4

Михаил Васильевич Фрунзе не мог приехать на похороны. В июле он попал в две автомобильные катастрофы, после чего его самочувствие ухудшилось. А тут пришло это сообщение, как громом поразившее Фрунзе.

Софья Алексеевна испугалась, увидев лицо Михаила Васильевича, когда он повесил телефонную трубку.

— Что? — спросила она коротко, готовая принять и разделить с ним любой удар, любую страшную весть.

— Котовский убит. Только что пришло сообщение. Надо идти.

— Что ты! Куда ты пойдешь? Врачи что сказали?

— Тогда вызови стенографистку.
— Как он убит? Несчастный случай?
— Война. Как убивают на войне?.. Политическое убийство.

Софья Алексеевна ничего не поняла из такого объяснения, однако не решилась расспрашивать.

Стенографистку вызвали. Фрунзе ушел с ней в кабинет и плотно закрыл за собой двери.

Молоденькая застенчивая стенографистка Ниночка поместилась за предназначенным для нее столиком и стала аккуратно раскладывать остро отточенные карандаши, озабоченно поглядывая на Фрунзе, который сегодня не сказал, как обычно, приветливых слов, а только поздоровался и поблагодарил за то, что пришла так быстро. Ниночка видела, что он расстроен, но чем? Текст, видимо, будет не из веселых.

Фрунзе понял ее вопросительные взгляды и подумал, что ведь это не автомат для записи человеческой речи, а человек, хороший советский человек, милая старательная девушка.

— Мы составим, Ниночка, — пояснил он мягко, — очень печальное письмо. Убит Котовский...

— Григорий Иванович?! — взметнулась Ниночка. — Боже мой! Я его видела и отлично помню. Такой здоровяк. Большой такой... Красивый...

Фрунзе прохаживался по кабинету, обдумывая, что будет диктовать. Ниночка приумолкла и приготовилась стенографировать. Она раскаивалась, что сказала больше, чем полагалось бы в служебное время. Никто ее не спрашивал, какая наружность была у товарища Котовского и был ли он красив.

— Это, Ниночка, пойдет телеграммой. В адрес Второго кавалерийского корпуса.

И Фрунзе, помолчав, снова заговорил, но сделал знак, что еще не начал диктовать:

— Мы, военные люди, никак не привыкнем, что если не гремит орудийная канонада, не поступают сводки, то это еще не значит, что нет войны. Война идет непрерывно, только принимает различные формы. Может быть, самая подлейшая из них — тайная война. На этом фронте мы и понесли сегодня урон, потеряли Григория Ивановича...

Фрунзе взглянул на Ниночку:

— О чем я сейчас говорил, об этом мы с вами писать не будем. А напишем так. Давайте!

Ниночка приготовилась.

— Сегодня мной получено донесение о смерти Котовского, — диктовал Фрунзе. — Известие это поражает своей неожиданностью и бессмысленностью. Выбыл лучший боевой командир всей Красной Армии. Погиб бессмысленной смертью, в разгаре кипучей работы по укреплению военной мощи своего корпуса и в полном расцвете сил, здоровья и способностей.

Ниночка писала и страх как боялась, что расплачется. И, наверное, расплакалась бы, если бы не вспомнила, как ее дома зовут «ревой» и «плаксой». Тогда собралась с силами и только нахмурила ниточки-бровки.

— Знаю, что ряды бойцов славного корпуса, — продолжал Фрунзе, — охвачены чувством скорби и боли. Не увидят они больше перед собой своего командира-героя, не раз водившего их к славным победам. Умолк навек тот, чей голос был грозой для врагов советской земли и чья шашка была лучшей его оградой...

Фрунзе заметил, что Ниночка как-то ежится...

— Я не слишком быстро говорю? Успеваете?

— Нет, ничего.

— Вот, Ниночка, говорят, что у нас воинственный дух, что мы стремимся завоевать весь мир. Неверно это. Мы любим землю пахать, дома штукатурить. Вот это мы любим. А войны никогда не хотели и не хотим. Кто хочет достоверно убедиться, хотим ли мы войны, пусть наведет об этом справки у тевтонских рыцарей, возлежащих на дне Чудского озера во всем своем кольчужном великолепии. Ведь потопили-то мы их здесь, у себя, значит, не мы лезли на рожон! На черта нам война, у нас и мирных дел не оберешься. Кому угодно уяснить, хотим ли мы войны, могут об этом справиться у наполеоновских гренадеров, обморозивших морды при переправе через Березину. Ниночка, но река Березина на нашей земле? Так, кажется? Я не ошибаюсь? Так кто их звал сюда? О нашем миролюбии мог бы порассказать и шведский король Карл Двенадцатый, который развил бешеную скорость, нахлестывая коня от самой Полтавы и до границы. Да и генерал Жанен и генерал Пуль могли бы подтвердить, что воевать мы не любим, хоть и умеем. Так оставьте нас в покое, дьявол вас побери!

Фрунзе совсем забыл про стенограмму. Ниночка притихла и слушала. И только когда слышался в дверях голос медицинского светила, произносившего свое излюбленное: «Нуте-с, где наш больной...» — Фрунзе оторвался от своих мыслей вслух, крикнул:

— Одну минуточку!

И диктовал письмо, адресованное кавалерийскому корпусу:

— Рука преступника не остановилась перед тем, что она поднимается против лучшего из защитников республики рабочих и крестьян. Она решилась на позорнейшее, гнуснейшее и подлейшее дело, результат которого будет на радость нашим врагам.

Фрунзе диктовал быстро, резким, отчетливым голосом. Когда он сделал небольшую паузу, Ниночка переменила карандаш.

— Вся Красная Армия переживает те же чувства тяжелой утраты и боли. От имени всех бойцов Красной Армии и Красного Флота, от имени рабоче-крестьянского правительства Союза ССР выражаю осиротелым бойцам корпуса горячее братское соболезнование. Пусть память и славное имя почившего героя командира живут в рядах бойцов его корпуса! Пусть и в мирное время и в грозный час военных испытаний служит оно путеводной звездой в жизни и работе корпуса. Почившему комкору два — вечная слава!

Ниночка подождала. Но Фрунзе молчал. Все? Ниночка подняла голову и увидела, что Фрунзе плачет. Это очень страшно, когда плачет мужчина.

ТРИНАДЦАТАЯ ГЛАВА

1

Оксана взяла отпуск на август. Марков в конце июля сдал наконец новую свою повесть, которую должен был по договору сдать издательству еще в июне. Крутоярова тянуло куда-то поехать, где-то побродить, на него находили такие настроения, и ему понравилась идея, возникшая у Маркова. В общем, все благоприятствовало решению поехать в Умань к Котовским. Оксана отчитается

в своих успехах Ольге Петровне, Марков преподнесет книгу, а Крутойяров отведет душу в воспоминаниях о «гражданке» и фронтовой жизни.

Разве не возмутительно, что Миша Марков до сего времени не удосужился это сделать? Считая, что первую свою книгу нельзя посылать Григорию Ивановичу по почте, а следует отвезти и вручить лично, Марков откладывал и откладывал поездку, все находились какие-то неотложные дела.

— Уж лучше бы ты сразу послал книжку, — отчитывала Маркова Оксана. — Стыдобина в глаза посмотреть Григорию Ивановичу, Ольге Петровне: вот, скажут, хороши деточки — с глаз долой, из сердца вон!

— Ладно уж ты, я и сам понимаю, что свинство. Но ведь и ты немножко виновата. У тебя связано с отпуском, а я не мог двигаться, пока не кончу повесть. Отсылать же книгу по почте было бы непревзойденным хамством. Книгу по почте допустимо посылать в редакции, на рецензию, но никак не друзьям и ни под каким видом Котовскому. Ведь он нас растил, он нас венчал... Словом, сама понимаешь...

— Понимать-то понимаю, а как подумаю: два года глаз не кажем! Ой, матенько!

Подарки, гостинцы покупались под непосредственным руководством Надежды Антоновны. Но когда чемоданы были уложены, вмешался Иван Сергеевич.

— Это что за поклажа? Вы что это, к тетеньке в Пензу едете? Давайте-ка посмотрим, чего вы там на толкали.

После горячих споров вес чемоданов вдвое уменьшился. Сам Крутойяров, показывая пример, ехал с одним маленьким легким чемоданчиком: бритва, носки и смена белья.

Впрочем, последнее слово было все-таки за Надеждой Антоновной. Потихоньку от мужа она вручила Оксане «на всякий случай» свитер Ивана Сергеевича, так как может быть похолодание, а также массу мелочей: рубашки, галстуки, носовые платки, целую походную аптечку, предусматривающую все случаи заболеваний.

Но какая это удача, что опять задержались с отъездом! Оксана послала заблаговременно открытку Ольге Петровне, извещая ее об их приезде, и открытку бывшей своей квартирной хозяйке в Умани: просила приютить,

слала привет, намекала, что везет подарочек... Если бы не задержка (теперь по вине Крутоярова, утрясавшего свои дела), конечно, ответа на обе открытки они не успели бы получить до отъезда. А тут сразу пришло два письма.

Квартирная хозяйка писала, что, какой может быть разговор, Оксана для нее как родная дочь, а Оксаниного мужа она отлично помнит, так что просит приезжать без церемоний и жить у нее хоть целый год, слава тебе господи, места хватит.

На вторую же открытку, посланную Ольге Петровне, пришел ответ, написанный незнакомым почерком и подписанный так неразборчиво, что все четверо так и не выяснили, кто им отвечал. Ответ менял всю картину. Почему это никому и в голову не приходило, что Котовские могут быть в отъезде? Самое слово «Умань» вызывало представление о прочной, налаженной, неизменной жизни. Ответ же гласил, что Григорий Иванович с семьей уехал в отпуск в дом отдыха под Одессой и что на всякий случай адрес его такой-то.

— Что же нам делать? — в отчаянии спросил Марков, усевшись на уложенный чемодан. — Два года собирались — и такая неудача!

— Знаете что? — сказал Крутояров. — Давайте и поедем не в Умань, а в эту самую Чебанку!

Маркову понравилась эта идея:

— Мы вам и Одессу покажем, все-все, и откуда Котовский ворвался в город, и где были конспиративные квартиры во время оккупации... и знаменитую лестницу, и гавань, и памятник Ришелье!..

— Может быть, послать телеграмму в Чебанку? — предложила рассудительная Надежда Антоновна.

Но ее предложение было отвергнуто дружно и единодушно.

— Никаких телеграмм! Нагрянем как снег на голову!

В тот же день были куплены билеты. Надежда Антоновна поехала провожать. На вокзал явились заблаговременно, так что отъезжающие успели получить от Надежды Антоновны множество полезных советов и добрых пожеланий.

Когда поезд тронулся, все облегченно вздохнули. Нет ничего томительнее предотъездных минут. Но тут-то, по обыкновению, вспомнили самое важное: Надежда Ан-

тоновна спохватилась, что не положила для Ивана Сергеевича плащ на случай дождей, Оксана жалела, что не позвонила подруге и не поручила ей поискать необходимую книгу по акушерству, Марков только сейчас сообразил, что следовало взять не один, а несколько экземпляров своего сборника «Крутые повороты», так как повстречается много друзей, однополчан, товарищей, которым захочется преподнести свой труд, а Крутойяров забыл напомнить Надежде Антоновне, чтобы она отнесла в издательство корректуру.

Что же делать! Теперь поздно обо всем этом думать. В окнах вагона мелькают заводские трубы, пустыри, кустарники, железнодорожные будки и телеграфные столбы... Оксана с важностью и сознанием ответственности достает сверточки, кулечки, накрывает на стол...

Поездка сулила быть замечательной. Какой у всех аппетит! Как остроумен и весел Крутойяров! Как заботлив и внимателен Миша!

По мере приближения к Киеву, ко всем этим памятным местам, как будто сохранившим отзвуки гремевших здесь залпов, все трое все больше приходили в возбуждение. Марков поминутно бросался к окнам. Даже ночью вглядывался, вглядывался в темноту.

— Интересно, мы проезжаем Жмеринку? Если бы вы только видели, Иван Сергеевич, что тут творилось! Неужели мы ночью будем проезжать Казатин? От Казатина как раз идет ветка на Умань... Там было депо, от него после боев кирпича целого не осталось....

Днем Марков высовывался из окна чуть не по пояс, и Оксана держала его за полы пиджака, опасаясь, что он вывалится.

— Оксана, смотри, ведь это Фастов? Сколько раз он переходил из рук в руки! Иван Сергеевич, Иван Сергеевич! Скорее, ведь это же Белая Церковь! Восьмого июня — в двадцатом году — мы ворвались на полном аллюре в город... Представляете? Как странно, что никакого следа, ни одной вмятины! Купола церквей... ветряки... женщина идет, несет полные ведра воды на коромысле...

— Да-а... Белая Церковь... — в раздумье произносит Крутойяров. — На этом месте стоял когда-то древний город Юрьев...

— Вот здесь, кажется, смертельно ранило папашу Провирина... Или не здесь?.. Иван Сергеевич! Смотрите! Что это? Как будто Вапнярка? Да, она. На этой станции эскадрон Криворучко, помню, захватил эшелон с обмундированием. Вот было дело! Все раздетые, разутые, и вдруг — целый эшелон! Одних валенок два вагона!

Чем ближе подъезжали к Одессе, тем больше было воспоминаний и рассказов. Однако неизвестно, когда, с какого момента, в вагон стала проникать какая-то тревога, какое-то предчувствие неминуемой беды — той, о которой скептики говорят, что, если тихо идешь, беда догонит, а шибко идешь — беду нагонишь.

Все трое — и Оксана, и Крутойяров, и Марков — были неисправимые оптимисты, любили жизнь, верили в добро и всячески старались стряхнуть с себя необъяснимую задумчивость, странные, ничем не оправданные предчувствия. Но почему это у железнодорожника, который стоит на платформе, такое хмурое лицо? О чем там возбужденно толкуют, собравшись в кучку? Мало ли о чем. Но, видимо, были уже неуловимые признаки чего-то, взволновавшего всех.

Первым увидел траурный флаг Марков. Все трое молча переглянулись. Мысли всех троих унеслись в Москву. Никто из них не назвал ни одного имени. Но некоторые дорогие, привычные имена мелькнули в сознании. Ведь если траурные флаги на вокзале, значит, умер какой-то крупный деятель... На лицах всех троих было написано: «Кто?» Ни одному из них и в голову не приходило, что произошло в действительности.

— Что это означает? Флаги... — спросил Крутойяров проходившего мимо военного.

— Вы что, не знаете? Убит Котовский.

2

Померкло небо. Померкла радость. Так весело начавшееся путешествие окончилось столь неожиданно и печально. Кто бы мог подумать, что ехали на свидание, а попали на похороны?!

Все трое стояли у гроба. Крутойяров был молчалив и задумчив. Сверкали ордена. Боевое оружие было возложено на гроб. Рядом темнели кандалы — те самые, что

когда-то бряцали, сковывая руки и ноги славного борца за свободу.

Как осунулся и сразу постарел Крутойяров! Какая бледная стала Оксана! На ней лица нет. Марков был в состоянии окаменелости. Известие о смерти Григория Ивановича оглушило, как самый жестокий удар. Как в тумане воспринималось все происходящее вокруг.

Марков молча пожимал руки съехавшимся отовсюду котовцам. Как много дорогих, знакомых, близких! Вот и Криворучко. Вот и Белоусов. А это кто? Костя Гарбарь? Встретил бы на улице, прошел бы мимо, так он изменился, повзрослел.

Марков знал уже подробности убийства. Рассказал Белоусов. Рассказывал с паузами—замолкнет, страшным усилием воли овладеет собой и продолжает хриплым голосом:

— Недосмотрели. Обо всем подумали, а вот это... что найдется продажная гадина, — вот этого не учли...

На Белоусова страшно смотреть. Сстиснуты зубы, глаза полыхают черным пламенем ненависти. Лицо искажено судорогой. Скулы заострились. И голос стал какой-то другой.

— Я ведь с первого взгляда понял, что этот меняла, этот грязный комбинатор и аферист не наш человек, чужак, по всему складу чужак. Кабатчик был, кабатчиком и остался.

Белоусов опять замолк, захлебнулся душившей его яростью, мучившей его скорбью.

— Да. Так вот. Никто не обманывался относительно Зайдера. Но на такое дело я никак не считал его способным. Ей-богу, что-что, а это даже в голову не приходило. Ведь помимо всего трус он паршивый! Я считал его неисправимым, а Григорий Иванович все надеялся, что в обстановке советской трудовой семьи он обживется, поймет, что со старыми, грязными ухватками сейчас не проживешь... Те, кто засылал диверсантов с заданием убить Котовского, — а это было, теперь скрывать не приходится, — так те отчаялись добиться своего, две группы мы проследили и выловили...

— Значит, было и это? — прошептал Марков, пораженный таким сообщением.

— Мы установили, хотя, конечно, без полной гарантии, что там, за рубежом, была команда «Отставить».

А они, оказывается, вон какой путь выбрали... Они эту мокрицу пустили в ход! Вы знаете, какое у него было оружие? Браунинг номер два! И пульки-то как семечки!..

Белоусов застонал и замолк. Больше он не мог говорить.

Марков и Оксана ходили в родильный дом навестить Ольгу Петровну. От потрясения у нее начались преждевременные роды, это было в воскресенье, с трудом нашли нужных людей, чтобы открыли родильный дом. Она даже не могла быть на похоронах мужа, сразу после трагического события попав в больницу. Теперь она лежала бледная, измученная, одновременно познавшая утрату самого близкого человека и появление на свет самого близкого существа, какое может быть для матери: родилась дочь, раньше срока, но здоровенькая, на радость всем.

— Назовем Еленой, — слабым голосом говорила Ольга Петровна. — У Григория Ивановича была любимая сестра Елена. В честь нее.

Двойственное было у нее чувство: там, в гробу, лежит отец новорожденной... он никогда не увидит своего ребенка... ребенок никогда не увидит отца... Жизнь и смерть поместились рядом. Жизнь утверждала свое. Жизнь продолжалась.

Маркова быстро выпроводили из родильного дома. Оксана осталась. Пришло время и ей оказывать помощь Ольге Петровне.

3

Потрясенный, убитый горем, стоял Марков вблизи знаменитой одесской лестницы и невидящим взором смотрел куда-то перед собой — на бирюзовое море, на бесчисленные суда, столпившиеся возле гавани, на безучастно улыбающиеся легкомысленные облака, такие безразличные к переживаниям Маркова и ко всему происходящему на земле.

Марков думал о командире, о славном Котовском, своем воспитателе, учителе, втором отце. Нет Котовского! Котовского — такого прочного, такого несокрушимого, наполненного до краев смелыми мыслями, доблестными делами, и вдруг его нет — совсем нет!

Даже взять хотя бы этот город — ведь весь он насыщен незабываемыми, один другого удивительней подвигами Котовского.

Марков жмурился от яркого солнца. Море переливалось муаровыми складками, нежилось, ластилось. Белые здания южного города были ослепительны, а деревья устали от зноя, листва поникла, от раскаленных двухсотметровых ступенек великолепной лестницы струился нагретый воздух.

Одесса была даже как-то вызывающе красива. Но Марков старался не замечать этой красоты, она причиняла ему боль. Так бывает неприятно, когда в присутствии покойника громко смеются и вообще непристойно себя ведут.

Марков отыскал тенистое уединенное место, сел на скамейку и задумался. У него уже выработались навыки писателя — не просто вспоминать, не просто наблюдать, а тотчас же все воплощать в еще бесформенные наброски сюжетов, сценок, главок еще не выдуманной и не написанной повести. И теперь он то представлял, как скачут котовцы по одесским улицам, наводя панику на белогвардейцев, то как идет, не прячась, бесцеремонно оглядывая вражескую толпу, переодетый, перевоплотившийся Котовский по оккупированной Одессе... Какая удивительная все-таки личность! В каких только передрыгах не видел Марков Григория Ивановича, и всегда он молниеносно избирал верный ход, а решение у него неизменно совпадало с действием. Недаром в его блокнотах записано: «Хотеть — значит мочь», — он сам показывал это Маркову, провожая его в Петроград. А его любимой поговоркой было: «Остерегайся друзей твоего врага, обрушь всю ненависть на врагов твоего друга».

Марков сделает это девизом своей жизни. И если суждено ему стать писателем, он и в своих произведениях будет проводить эту мысль: остерегайся друзей твоего врага, обрушь всю ненависть на врагов твоего друга. Это глубоко верно: ведь враги твоего друга — твои враги, а друзья твоего врага еще опаснее, они нападают с фланга.

Марков не заметил, как рядом с ним на скамейке очутился невзрачный сутулый человек. Возможно, что они сидели долго, оба не произнося ни слова. А когда незнакомец заговорил вкрадчивым и скрипучим голосом,

Марков машинально поднялся, порываясь уйти. Встал и незнакомец. Но Марков все еще его не видел, погруженный в свои думы.

— В жизни все наоборот, — скрипел незнакомец, жестом стараясь удержать Маркова. — Солнце радуется, а знаменитый воин в гробу. Только, извиняюсь, на солнце пятна не мешают излучать свет, а как быть с пятнами на совести? Две большие разницы, как говорят у нас в Одессе. Знаменитый... командир...и вдруг...

Марков не слушал. Он все еще жил воспоминаниями о днях минувших битв и стоял, задумавшись, и смотрел на незнакомца ничего не видящим и ничего не понимающим взглядом.

А непрошенный собеседник скрипел и скрипел. Вздыхал. Закатывал глаза. Кому-то соболезнуя, покачивал головой:

— Нехорошо! Ай-ай-ай! Говорят, он его в постели с ней застал?

Марков наконец очнулся от своих дум, прислушался. Что он бормочет? Кто он такой? Что ему надо?

— Вы меня извините, но у меня сейчас нет никакого желания разговаривать.

— Ради бога! Но какие превратности судьбы! Я не оправдываю Зайдера. Но ведь можно его понять... Приревновал! По крайней мере так говорят... Тысяча извинений!

— Какие превратности? Чего говорят?

Только теперь Марков вдруг понял, о чем болтает этот тип... Ну уж нет! Никому не удастся очернить славное имя героя, как никому не удастся и приписывать себе доблесть Котовского, дела Котовского, победы Котовского!

— А ну-ка, повторите... — тихо, потому что нахлынувшая ярость мешала говорить, сказал Марков.

— Повторить? Я и так вам битый час растолковываю! Извиняюсь, вы — иностранец?

Марков всегда отличался тихим, смирным характером. Он сам впоследствии не мог понять, как у него все получилось. Суровая школа походной жизни, видимо, повлияла на него, а привычка делать гимнастику и обливаться холодной водой явно содействовала развитию мускулатуры. Об этом можно было судить хотя бы по

тому, что от полученной затрешины клеветник и злопыхатель пташкой перелетел через садовую скамейку и исчез, как дым, со сверхъестественной быстротой, словно его никогда и не было.

Марков с минуту стоял в оцепенении и потирал ушибленный кулак.

— Гадине повезло! — усмехнулся он наконец, мысленно восстанавливая всю сцену с самого начала. — Будь на моем месте Криворучко...

Вокруг не было ни души. Но Марков все озирался, все чудился ему пакостный скрипучий шепоток. И разве это не установившаяся издавна ухватка убийц, карабкающихся к власти карьеристов, политических шулеров: сначала убить, а потом еще осквернить могилу — пустить какой-нибудь грязный слухок, памятуя, что от клеветы всегда что-нибудь остается?

И Марков, крепко сжав кулаки, грозно, как проклятие, торжественно, как зарок, внятно произнес:

— Во все времена, сегодня или завтра или в любое время, даже по прошествии многих лет — помните, люди: если услышите шепотки и наговоры, кривые улыбки и пошлые намеки, порочащие светлую память Григория Ивановича Котовского, знайте, что перед вами убийцы или сообщники убийц!

Честь? У них нет чести! Ужас перед судом истории? Но им нечего терять! Они подсыплют в кушанье яду, состряпают подложные документы, они будут в отлично оборудованных типографиях на роскошной бумаге печатать любую мерзость, любую неуклюжую клевету. Они будут пытаться, истязать, упрятывать честных людей в казематы и тюрьмы. Не сами. Они любят комфорт и душевное равновесие. Они найдут в клоаках и притонах любого города готовых на все исполнителей. С давних пор повелось у них опираться на грязных подонков, на моральных уродов.

Маркову вспомнился жуткий рассказ Мопассана «Мать уродов». «Это гнусная баба, сущий дьявол. Каждый год эта тварь умышленно рождает уродливых детей, отвратительных, страшных чудовищ, и продает их содержателям паноптикумов». Как она это делает? Стягивает себе живот изобретенным ею жестким корсетом из дощечек и веревок. Она научилась придавать разнообразную форму своим уродам, рождает и длинных, и коротких, и похожих

на крабов, и похожих на ящериц, со сплюснутым черепом, с выпученными глазами. Доходная статья!

Когда Марков читал этот рассказ, ему было невыносимо страшно. А сейчас он догадался: да ведь писатель изобразил больше, чем хотел! Он рассказал о капиталистической системе! Это она фабрикует профессиональных убийц, усердных шпионов, узаконенных разбойников... Да, да, капиталистические уродцы! Как это Марков раньше этого не понимал? Ведь все это написано безжалостно, беспощадно, без умолчаний!

Марков размышлял. Он хотел осмыслить, поставить на места представшие перед ним сумбурные явления жизни. Если этого не сделать, можно сойти с ума. Всему найдется ясное, точное определение, если проследить основные пружины — то, что двигает стрелки истории.

Нет Котовского. Оказывается, можно так вот, запросто, подойти и убить человека. Не в запальчивости, а выполняя свой план. Это было бы непонятно по своей чудовищности, если бы не знать, что такое наша эпоха, не знать ее железных законов. А что она такое, если сказать в двух словах? Перелом. Крушение старого мира — казалось бы, несокрушимого. Приход новой эры, очертания которой давно уже грезились человечеству и которая вступает наконец в свои права. Борьба. Непрекращающаяся, жестокая. Яростное сопротивление старого мира этому новому. Настоящая война. И смерть Котовского, с которой никак не хочет примириться разум, — один из моментов этой войны.

Когда Марков понял, уяснил это, ему стало легче.

Люди растут толчками, а не миллиметр за миллиметром, час от часу становясь умнее, опытнее, образованнее, взрослее. Какой-то толчок извне, какое-то запавшее в душу слово, встревожившая сердце книга, пьеса, картина, или происшествие, или сильное переживание — и вдруг умная учительница Жизнь переводит человека из четвертого класса в пятый.

Так случилось и с Марковым. Из сквера с уединенной скамейкой в тени платанов и белых акаций он вышел новым, иным человеком, с горькой складкой около губ, с прямым взглядом пронизательных строгих глаз, с умудренностью, с твердым решением не сдаваться, не отступать.

В августе на одесских улицах очень много солнца. Если бы не обилие садов и парков, тенистых аллей, можно бы, кажется, воспламениться от такого жара. Белоснежные здания, старинные особняки, театр, биржа, публичная библиотека — все сверкает, слепит глаза.

Крутойров приобрел белую войлочную шляпу с бахромой. Его уверяют, что он походит в ней на бедуина.

Крутойров и Марков много бывают вместе. Крутойров видит тяжелое состояние Миши и делает все, чтобы отвлечь его мысли, поднять его дух. Марков понимает, с какой целью Крутойров заводит разговоры о бедуинах, о температуре воздуха, о красоте белых акаций — о чем угодно, только не о том, о чем неотступно думает Марков.

— Странно устроен человек, — говорит Марков. — Ведь только что мы проезжали станцию Бирзула. Помните, Оксана помчалась покупать яблоки, а мы смотрели на гусей, грозно вытягивающих шеи... А завтра мы отправимся в Бирзулу хоронить Котовского...

Пришло и завтра — одиннадцатое августа. Поезд с останками Котовского двигался медленно. На всем пути стояли толпы народа, на всех станциях происходили траурные митинги. Эскадрилья самолетов сопровождала траурную процессию. Шум моторов без слов говорил о том, что заботы Котовского об укреплении Красной Армии увенчались успехом.

Могила Котовского — у самого полотна железной дороги — быстро превратилась в холм живых цветов, венков из колосьев и муаровых лент с отпечатанными на них прощальными словами.

Рыдал военный оркестр аккордами траурного марша. Костя Гарбарь попросил у одного музыканта инструмент и занял место в оркестре, чтобы, как положено, проститься с командиром.

В телеграмме Совета Народных Комиссаров Украины было напоминание о том, что бои с черными силами мировой реакции еще не миновали.

«Крепче сплотим наши ряды!» — призывал Центральный Исполнительный Комитет молодой Молдавской автономной республики.

И твердым голосом закаленного воина, старого солдата произнес прощальное слово над могилой Котовского Семен Михайлович Буденный:

— Никто не сломит нас, дорогой товарищ Котовский. Ты ушел, но мы выполним заветы и задачи, завещанные нам Лениным, которые и ты честно выполнял до конца.

5

В обратный путь ехали вдвоем. Маркову чего-то не хватало без Оксаны, он привык, чтобы она всегда была рядом, внимательная, ласковая. Он даже удивился, до чего они успели сродниться. Он поминутно спохватывался: где же она? И вспоминал, что она осталась с Ольгой Петровной, что она приедет позднее.

Повсюду на Украине стояла изумительная погода. Шла уборка хлебов. По всему степному пространству можно было видеть снопы, женщин в пестрых одеждах, тяжелые возы, плывущие, покачиваясь, вдоль полей. А на станциях было много ребятишек. Они не помнили и не видели войны. Вероятно, они так и считали, что войны не бывает, о ней только рассказывают словоохотливые старики. Они смотрели доверчиво и с любопытством на огромный мир и были уверены, что в небе полагается летать только ласточкам, а по земле полагается ездить только в город на базар.

Насколько были оживленны разговоры, когда выезжали из Ленинграда, настолько они были пронизаны светлой грустью теперь.

— Любар... — вспомнил Марков. — Он дорого нам обошелся... И поблизости Горинка, где Григорий Иванович был контужен... Мы тогда думали, что уже конец... А Житомир был первый город, когда мы выбрались из окружения. Только тогда, когда весь кошмар был уже позади, мы поняли всю отчаянность нашего положения... И опять Котовский! Он вызволил нас из беды, он поддерживал, он подбадривал. Что это был за человек!..

Сказал эти слова Марков и удивился:

— Вот уже привычно произносится — был человек... Был! Никогда, кажется, не поймешь этой загадки!

Крутойяров терпеть не мог говорить о смерти. И когда затрагивалась эта болезненная для него тема, он всегда

прятал свое волнение под шуткой, каламбуром и уходил от копания в душе, как он это называл.

— Если бы не оставалось уже ни одной загадки, пресновато было бы жить, — возразил он Маркову. — Человечество до безумия любит решать кроссворды.

Перед самым Ленинградом Миша полез зачем-то в чемодан и обнаружил свою книгу, так и не преподнесенную Григорию Ивановичу. Он даже вздрогнул, нащупав ее.

6

Милый, милый Ленинград! Как приятно смотреть на твои дома, на твои улицы и угадывать малейшие происшедшие за короткий срок перемены! Вот здесь не было булочной, а теперь открыли. Хилые деревца вдоль фасадов домов... их только посадили. Привьются ли? Мы так не бережливы к природе, к очаровательной живности! Например, воробьи. Как скучно было бы без разудалых крикливых воробьев! Какие были бы несчастные, мертвые городские площади, если бы над ними не мелькали крылья! Побольше птиц! Белки должны быть ручными и прыгать с ветки на ветку в Александровском саду! Побольше цветов и деревьев!

Так размышлял Марков, когда они с Крутояровым ехали по родному городу. Крутояров-то был в самом деле старожилом. Но и Марков считал себя коренным ленинградцем. Ведь он здесь уже два года — и каких два года, каждый стоит десяти!

— Какой ужас! — встретила их Надежда Антоновна. — Так неожиданно и трагично! Представляю, что переживает бедная Ольга Петровна! Ах, вы оставили с ней Оксану? Умно поступили. В таких случаях так нужна дружеская рука!

Как пустынно в комнате Миши! Все вещи на своих местах. И оттого, что все вещи на местах, с особенной отчетливостью возникло в сознании, что Котовского нет на свете, что Миша так и не повидался с ним со времени отъезда из Умани.

Воспользовавшись тем, что Оксаны нет дома, Миша забился в угол и дал волю своему горю. Он плакал горячими слезами, не стесняясь, не думая о том, годится ли плакать старому котовцу, bravому кавалеристу.

Вошел Крутойяров, как будто почувствовал, в каком состоянии Миша. Вошел, не обратил ни малейшего внимания на слезы и всхлипывания, как будто бы это самое обычное дело. Стал прохаживаться по комнате, крупными шагами отмеривал ее во всю длину. Миша видел сквозь слезы, как Крутойяров лучился, дробился на куски. Он был широкоплеч, массивен и самым своим видом действовал успокаивающе.

Миша постепенно переставал плакать и бездумно, автоматически следил за движениями Крутойярова. Оба долго и без неловкости не произносили ни слова, думая вместе об одном и том же, поэтому как бы мысленно беседуя.

Затем Крутойяров заговорил. Голос у него был строг, звучал, как сигнал атаки. Миша недоверчиво, настороженно слушал, сначала даже не вникая еще в смысл, улавливая только самый звук, и по звучанию чувствуя уверенность, силу убеждения.

— Народ не ошибается в своих избранниках, — говорил Крутойяров, как бы произнося надгробное слово. — Котовского любят и будут любить. Уж очень он нам по духу, уж очень он наш, русский — с широкой, открытой всему хорошему, светлой душой. Вот уж у кого никогда не было задней мыслишки, мелкого расчета! Удивительный человек!

Постепенно у Миши Маркова просыхали слезы и прояснялась мысль. Теперь он слушал — и как слушал! Крутойяров шагал по комнате, останавливался порой, подыскивая нужное слово, и снова говорил.

— Я люблю русский народ, люблю самозабвенно, неистово. Часто думаю, сколько же выпало на его долю испытаний, а он не сгибался, не утрачивал своих благородных качеств, оставался все тем же — добрым, талантливым, сильным. Вы русскую историю знаете? Кого ни возьмите... Например, Дмитрий Донской... помните? В те времена на шее нашего народа сидели очередные прихлебатели — Золотая Орда. Угрожая смертью и разорением, они требовали выплаты дани. Что делать? Приходилось терпеть и платить. И вот — представляете? — являются посланцы за получкой: причитается с вас столько-то и столько-то, просим поторопиться, ждать нам некогда. Дмитрий Донской берет эту собачью ханскую грамоту, рвет ее в клочья и топчет: хватит, посидели на нашей

шее, убирайтесь подобру-поздорову, и больше чтобы ноги вашей не было. Воображаю, как взбеленились эти самые чингисхановы полпреды! Ладно же, думают, мы тебя научим повиновению! Прискакали к своему хану, докладывают, а тот как топнет ногой — и сразу начинает собирать в поход своих чингисханских тех времен колчаков и деникиных, всяких гревсов и тому подобных пилсудских. Не тут-то было! Искрошили русские петры и поликарпы в крошево разъевшихся кровопийц, намеревавшихся вечно жить на чужой счет, грабежом и насилием... Вот она какова, история нашего народа. Печенеги с Востока, печенеги с Запада, печенеги свои собственные, доморощенные... только и успевай отбиваться да отмахиваться.

— Иван Сергеевич! А это когда было? — сбитый с толку своеобразной манерой рассказчика, спросил озадаченно Марков. — Это было очень давно? В древности?

— Это всегда было. Это характерно для всей истории нашего народа. А то, что произошло в семнадцатом, этого до той поры никогда не было. Возможно, что впоследствии и летосчисление будут вести с семнадцатого года.

— Григорий Иванович этого уже не увидит.

— Не увидит? Может быть, и мы с вами не увидим. Но всего не пересмотришь, мой мальчик. Да и неправильно вы говорите. Григорий Иванович все это видел, чувствовал, осознавал. Ведь он был ленинцем.

Пока Крутойяров говорил вообще о России, вообще о смысле жизни, он оставался сравнительно спокойным. Но по мере того как разговор сосредоточивался на главном, что его сейчас волновало, — на смерти Котовского, — он все больше распалялся, все убыстрял шаги, а голос его становился все резче и раздраженней. И тогда — на какой-то паузе в его гневной речи — в дверях появилась Надежда Антоновна со стаканом воды и пузырьком лекарства.

Крутойяров взглянул на жену и сразу сбавил голос:

— И что ты все выдумываешь, Надя? Никто не волнуется и не выходит из себя. А всякое лекарство от частого применения перестает действовать, как тебе известно — появляется иммунитет...

Крутойяров говорил, доказывал, а Надежда Антоновна молча капала капли. Тогда Крутойяров махнул ру-

кой, схватил стакан и выпил его содержимое одним залпом.

Когда Надежда Антоновна ушла, полная сознания выполненного долга, Крутойяров сказал:

— Оскорбительная вещь — надвигающаяся старость. Вам этого не понять. Когда мне без лишних разговоров капают эти проклятые капли, у меня такое чувство, как будто мне дали отравы. А тут как-то я ехал в трамвае... и вдруг маленькая девушка вскакивает со своего места и уговаривает меня сесть... Лучше бы она меня ударила! Миленькая такая, в голубом берете под цвет глаз. Я ей говорю: «Что вы, девушка, с какой это стати я буду занимать ваше место?» — «Нет, уж вы, пожалуйста, все равно мне скоро выходить». Черт бы тебя побрал, душечка, с твоей любезностью! Весь вагон смотрит с таким, знаете ли, одобрением, дескать правильно она поступает, надо старичку уступить место, есть же у нас сознательная молодежь, не перевелись еще воспитанные девицы. А мне бы в пору на ходу выпрыгнуть из трамвая, от стыда, от обиды, от ущемленного, знаете ли, мужского самолюбия. Главное, и ругаться нельзя, все вежливо, деликатно, от души... Вот, дорогой Михаил Петрович, такая-то история. Когда состаритесь, мой друг, ходите лучше пешком, дело-то вернее будет. Без сочувствия.

Крутойяров заметил, какое впечатление на Маркова произвели его слова. Того гляди бедняга опять расхлюпается. И дернула же нелегкая затронуть этот болезненный и щепетильный вопрос!

Крутойяров снова стал совершать рейсы от книжной полки до окна и от окна до книжной полки.

— Да-с, милостивый государь, — остановился он вновь перед Марковым, — смена поколений. Эстафета жизни. Это закономерно и естественно. Диалектика! Но что меня приводит в ярость, когда подумаю о гибели Котовского, — это не смерть, смерть — она что же — обязательна. Но этот беспардонный разгул жалких шавок! И на кого поднимают руки! Сколько Котовскому было лет? Сорок четыре? Здоровый, полный замыслов, энергичный... и вдруг является такая тля, что и мизинца Котовского не стоит со всеми своими предками и потомками, — и обрывает жизнь! Я понимаю, конечно, у нас такие уж установки — гуманность и все прочее подоб-

ное... Но я бы... На мой бы вкус... Убить — мало! Бывает, когда самое гуманное — на месте застрелить подлеца.

— Вы, Иван Сергеевич, выстрелили хоть раз в жизни?

— Не случалось. Но тут я бы не утерпел. Это был бы, очевидно, первый мой выстрел.

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ ГЛАВА

1

Рябинину стукнуло шестьдесят. Он смертельно боялся адресов, поздравлений, тостов и тщательно скрывал эту дату, даже пустил слух, что уезжает не то в Австралию, не то на Алеутские острова, причем на длительный срок, так что и неизвестно, когда возвратится.

Следовательно, опасность визитов отпала.

Но все-таки он ждал, что его поздравят хотя бы его собственные дети. На это-то он мог рассчитывать?

Рябинин приказал накрыть роскошный праздничный стол, весь дом уставили живыми цветами, лакеи, похожие на сенаторов (поскольку и сенаторы походят на лакеев); сверкали белоснежными манишками, горничные полны были тошнотворной преданности и безграничного усердия, прямо пропорционального полученным чаевым.

Рябинин проснулся в этот день в отличном расположении духа, напевал что-то такое из «Сильвы» и придумывал поучительные правоучения, которые преподнесет детям. Но дети не пришли. Они, видимо, забыли, так-таки взяли и забыли.

Рябинин постепенно становился задумчивым, обиженным, затем раздраженным и язвительным и с каждым часом все более свирепел.

Прелестная дочка, выскочившая за этого норвежского кретина, от которого воняет треской, могла бы на худой конец прислать поздравительную телеграмму. А сыновья — бог им судья, — у них, видите ли, банкет в чертовой *École normale*, военной академии в Париже, где придумали готовить к войне — с кем, спрашивается, и за

кого? — сынков белых офицеров и сынков белой знати, пригодных разве на то, чтобы играть в бридж. Не могли сыночки пожертвовать банкетом по случаю юбилея академии ради отцовского юбилея!

На всякий случай Рябинин припарадился, хотя не любил фрак и всякий раз, натягивая его, думал, что делает кому-то уступку, а мог бы при своих-то капиталах плевать на все моды и на этикет.

Видя во всех зеркалах свое отражение, Рябинин отводил душу, проклиная весь свет, и в то же время никак не мог отделаться от привязавшегося с утра мотива, который так и вертелся в уме.

«Уж не думают ли они, что из-за празднования юбилея этой дурацкой академии их отец перенесет свой день рождения на более удобный для них срок? Дождитесь! На третий год, когда черт умрет! («Сильва, ты меня не любишь...») Вскормил на свою беду остолопов! Вот теперь любуйся! Воспитал!»

Поразмыслив, Рябинин подумал, что по случаю торжества сыновей, конечно, не могли отпустить из академии. Стало быть, они отпросятся только вечером и останутся дома ночевать.

Рябинин изнывал от безделья. Входил в роскошно убранную столовую, отделанную деревянной резьбой под боярские хоромы и как будто скопированную с полотен Васнецова. Входил, фыркал, озирая батареи бутылок и сверкающий голубыми, розовыми, рубиновыми искрами старинный хрусталь. Стол был накрыт на двенадцать персон, сыновья могли привести своих приятелей.

Рябинин, обращаясь к фужерам и графинам, восклицал:

— Милостивые государыни и милостивые государи! Рад вас приветствовать в день моего рождения!

Шутка не удалась, получилась довольно кислой. А уж до того хотелось Рябинину отколоть какую-нибудь экстравагантность! Например, посадить за стол всю прислугу — поваров, шофера, горничных — и чокаться с ними: «Ваше здоровье!» Или нагнать с бульваров дюжину шлюх и напоить их до бесчувствия...

А не спокойнее ли будет сесть одному за стол, плотно поужинать, выпить бокал шампанского и лечь спать? Зачем шуметь? Чтобы безобразничать, нужно быть чуточку моложе. («Сильва, ты меня за-губишь!»)

Рябинин бродил как неприкаянный по огромной безмолвной квартире. Не пойти ли гулять? Говоря откровенно, ему опротивел Париж, он скучал о России.

«Да, я люблю Россию, — размышлял Рябинин, любясь коллекцией расписных матрешек, палехских шкатулок, ярмарочных свистулек, резьбой по кости — кустарными русскими поделками, приобретенными за бешеные деньги. — Но что такое Россия? И люблю ли я русский народ? Смотря какой. Русский народ с красными флагами? Сидели бы, делали палехские шкатулки!»

Эти мысли Рябинин переворачивал так и сяк, постоянно к ним возвращался, и они ему осточертели не меньше, чем парижские устрицы. Все было ясно. Россию любит, коммунистов ненавидит. Стоит ли толочься на месте? Допустим, что так. Россию любит, коммунистов ненавидит. Успел вовремя ретироваться и не побывать на Лубянке. И все. Слава богу. *Tout est bien, que finit bien...*¹

Заметив, что «французит», за что сам же постоянно шпыняет сыновей, Рябинин рассвирепел, выругался (на этот раз по-русски) и решительно направился в столовую.

В доме на правах экономки была такая Анастасия Георгиевна, из бывших.

— Покормите меня, — обратился к ней Рябинин, делая вид, что ничего нет особенного в том, что он в такой день садится за стол один. — Нет чтобы напомнить, что пора ужинать!

— Я думала, Сэргэй Стэпаннович... — начала было она (от ее прошлого у нее ничего не осталось, кроме этого, как она воображала, французского прононса).

— Не знаю, что вы там думали. Распорядитесь, чтобы подавали.

В этот самый момент раздался звонок. Рябинин так и просиял. Против воли на лицо напознала глупейшая счастливая улыбка. Пробовал хмуриться, ничего не получалось.

«Примчались-таки мальчишки! Сейчас начнут оправдываться, совать мне сувениры и рассказывать, как сэр Детердинг двигал вставной челюстью и призывал их

¹ Все хорошо, что хорошо кончается (франц.).

к войне с коммунизмом. Ну, и задам же я им перцу, паршивцам!»

— Господин фон дер Рооп, — доложила горничная. Рябинин опять выругался, но по-французски:

— *Canail sot éspes!* Что надо этой немецкой обезьяне? Не слишком ли он теряет представление о расстоянии между нами, чтобы запросто лезть в мой дом?

И все-таки Рябинин сказал стереотипное:

— Проси.

Уж очень ему тоскливо было ужинать в одиночестве.

Фон дер Рооп прежде всего рассыпался в извинениях:

— Если бы не исключительные обстоятельства... Если бы не известие о вашем отъезде... Сознаю, что с моей стороны слишком смело... — и так далее, и так далее.

Затем начались комплименты:

— Какое великолепие! Какой вкус! Буквально музей! Бог мой! А коллекция! Надо отдать справедливость — русские большие мастера. А это кто? Коровин? Во Франции его не понимают. Какие смелые мазки, какая игра тонов!

Рябинин подумал не без ехидства:

«Когда дурак вас похвалит, он не кажется уже вам таким глупым. Верно подмечено. Вот и фон дер Рооп мне начинает нравиться».

И неожиданно для себя пригласил посетителя отужинать.

Новые возгласы восторга и удивления:

— О-о! Столовая... это сказка! Билибин! Честное слово, Рерих и Билибин! Но что я вижу: такой стол... Кажется, я все-таки не вовремя? Вы кого-нибудь ждете?

— Особенно никого. Сегодня праздник в *Ecole potmale*, решил порадовать мальчиков.

— Ах так? Приятно. Польщен. Мне просто везет.

«Вот и *Ecole potmale* пригодилась», — подумал Рябинин. А вслух пояснил:

— Они придут очень поздно, когда мы уже будем спать-почивать. Молодежь, знаете ли! Они еще зайдут по пути домой в два-три ночных бара. Словом, это не должно нас беспокоить.

Говоря это, Рябинин все еще надеялся, что сыновья, хотя и с запозданием, придут. Вот тут-то и пригодится этот «фон». Они увидят, что никто их не ждет и за них не волнуется.

Минуты шли. Их с важностью и неторопливостью отсчитывали огромные часы в столовой, массивные, похожие на великолепное надгробие, под которым погребены останки времени.

«По-видимому, они совсем не придут... Щенки! Вертихвосты! Хотя бы позвонили!»

Рябинин снова свирепел. Щеки его стали малиновыми. Он жевал, кхекал, кряхтел и орудовал ножом и вилкой так, будто кромсал своего врага.

Что-то ему показалось не так, что-то не так подали, он швырнул салфетку, оскалился, но заметил взгляд фон дер Роопа, сдержался и только тихо зарычал:

— Да-с, господин фон дер Рооп... М-м-да. Сегодня будем говорить без переводчика, не так ли?

Фон дер Рооп всплеснул руками, изобразив, что принял эту шпильку, как забавную шутку.

— Пфе... пфе... Клянусь, хорошо сказано. О да! Со всем без переводчика. И почему бы нам не говорить по-русски? Мы оба русские и оба в изгнании. Тогда сначала я немножко притворялся, что не понимаю по-русски, потом вы немножко притворялись, что не знаете немецкого языка. Это очень смешно!

— Вы хотели сказать, мы оба родились в России, а не хотели сказать, что мы оба русские, — поправил Рябинин. — Ведь если кошка окотилась в конюшне, нельзя же утверждать, что котята лошади.

Замечание было справедливо, хотя и не слишком любезно. Однако фон дер Рооп пропустил его мимо ушей. Он пришел не для того, чтобы ссориться. Он точно установил, что Рябинин — один из самых состоятельных русских эмигрантов. А так как он и один из самых яростных врагов коммунизма, то они могут найти общий язык.

Кто бы ни приходил к Рябину, первой мыслью его было — не хотят ли попросить денег. У всех у них на уме деньги. Тогда только и вспоминают о Рябине, когда приспичит. Говорят, бедный имеет мало, скупой того меньше. Рябинин не был скуп. Но он терпеть не мог швырять деньги на ветер. Если давал, значит, считал выгодным, пусть выгодным не в узком смысле слова, но в каком-то отношении полезным для себя.

Рябинин во всем подчеркивает, что он русский, русский. Он и носил в былое время в Петербурге русскую

косоворотку, сапоги со скрипом, щегольской купеческий кафтанец, а зимой как прокатит по Невскому в шубе на лисьем меху с бобровым воротником, в бобровой шапке с бархатным верхом — все знают: Рябинин. Обычно же ходил пешком, хоть и рысаки у него отменные и машины лучших заграничных марок. Церковь посещал, но больше для форсу. Он чуточку играл в протаска, в Тита Титыча, при всей своей образованности.

Как переехал в Париж, эти причуды пришлось свести до минимума, чтобы не прослыть чудаком. Шаг за шагом сдавал одну позицию за другой. Остались в утешение одни ярмарочные матрешки, как у экономки Анастасии Георгиевны ее произношение в нос. Одиночество! Даже Сальникова нет с его цинизмом. Даже Бобровников уехал, не с кем о бескровном вторжении потолковать. Соратников по Торгпрому Рябинин недолюбливал: ни ума, ни воображения. Дерьмо. Вот и докатился, можно сказать, до ручки, в день шестидесятилетия сидит один с этим, прости господи, представителем «высшей расы».

Эти безрадостные мысли промелькнули у Рябинина, пока он подкладывал себе на тарелку маринованных грибов.

— Ну-с, — произнес он наконец, охотясь за ускользающим грибом, — о чем будем говорить? О Ницше? О разведении блондинов? Читал, читал сочинение Германа Бальтцера! Чувство любви — гуманитарное суеверие, женщина — родильный агрегат. Создать случайные пункты, взять на учет белокурых девушек и выводить от них белокурую породу, скрещивая их с брюнетками.

— Вы все шутите, — сдержанно отозвался фон дер Рооп, — а мне хотелось бы говорить о серьезных материях и с предельной откровенностью, какая только возможна между единомышленниками и деловыми людьми.

— Какие уж шутки! Вы говорите так, словно это я издал книгу Бальтцера «Раса и культура». А ведь издали-то ее вы. Или еще один шедевр: «Давать образование неграм — преступная насмешка....»

— У вас завидная память. Но об этом ли надо говорить в исторический момент, переживаемый нами?

— Все моменты — исторические. Например, этот процесс фальшивомонетчиков у вас в Германии...

— Что же в нем исторического? Обыкновенное уголовное дело. Грузинские меньшевики Карумидзе и Сада-тирашвили изготовили целые кипы фальшивых советских червонцев...

— Вот и говорите после этого, что деньги — не квинт-эссенция политики!

— Именно потому я и удивлен, что вы держите деньги мертвым капиталом. Скрепя сердце, новая Германия, мы, нацисты, берем деньги у Америки. Кто знает, не настанет ли пора, когда мы схватимся с заокеанскими акулами... Но сейчас деньги приходится брать — вы, например, ведь не даете? Приходится использовать Америку для своих целей.

— Все воображают, что кого-то использовали. Америка рассчитывает сравить Германию с Россией и обескровить обе стороны. Англия и Франция давным-давно заключили L'accord Franco-Anglais относительно разделения зон влияния после захвата России: Англия получает кавказскую нефть и Прибалтику, Франция — Донбасс и Крым...

— Донбасс? Как бы не так! — взметнулся фон дер Рооп и даже перестал жевать. — Посмотрим, как они заговорят, когда германские войска хлынут на русские равнины! Тогда и разберемся, где чья зона!

— Я слышал, опять решили отложить начало войны?

— Будто бы французы еще не готовы. Вранье! Сэр Детердинг категорически заявил, что война начнется летом тридцатого года.

— И конечно, это будет уже не бескровное вторжение? — усмехнулся Рябинин, вспомнив о романе Бобровникова.

— О нет! Крови будет много, — оживленно возразил фон дер Рооп. — Сейчас как раз и стоит на повестке задача о механизации убийства. В старину, чтобы казнить одного, воздвигали помост, наряжали палача в красную рубаху, пригоняли на площадь войска, выстраивали караул, приказывали барабанщикам отбивать дробь — и тогда только отрубали одну-единственную голову. Теперь будет не так. Совсем не так! О-о!

Рябинину показалось странным необыкновенное оживление фон дер Роопа. Он посмотрел внимательнее и понял: фон дер Рооп был пьян.

В конце 1929 года все было наконец согласовано, вот-вот должны были все капиталистические страны обрушиться на Советский Союз, оставалось утрясти кой-какие разногласия. Дивизии были укомплектованы, дула орудий наведены...

И вдруг из-за океана прилетели потрясающие сообщения, которым никто не хотел верить: там, на Уолл-стрит, на Нью-Йоркской бирже, голубые экраны взбесились, выскакивающие на них значки и цифры вышли из повиновения, все рушилось, все падало, разлеталось на куски. Лопались банки, разорившиеся фабриканты пускали пулю в лоб или выпрыгивали из окна, выбирая повыше небоскребы.

Рябинин только что прочитал в «Нью-Йорк таймс» заявление президента «Нейшнл сити бэнк», что положение в США является фундаментально прочным, и, представив при этом самодовольную жирную физиономию банкира, подумал с раздражением: «Вам-то что! Вы и в ус не дуете!» И вдруг — все полетело вверх тормашками!

Рябинин внимательно следил за газетами. Недурно бы сейчас взглянуть на главный зал биржи сверху, с галерки, куда пускают широкую публику. Любопытное зрелище — поглазеть на ошалелых, вытаращивших глаза, что-то выкрикивающих, мечущихся около стоек, топчущих обрывки бумаг биржевых игроков, на выносимые оттуда трупы разорившихся самоубийц.

Продано в один день тринадцать миллионов акций!

Продано в один день шестнадцать миллионов акций!

Застрелился Кребс! Знаменитый Сидней Кребс! Покончил с собой Ричард Рамсэй!..

Кукурузу зарывают в землю! Кофе пускают на растопку печей! Транспорты рыбы выбрасывают обратно в море!

— Это все, — мрачно говорил Рябинин, откладывая газету. — Мир сошел с ума.

Когда к Рябинину в дом ворвался растрепанный, полупомешанный, с мутными глазами все тот же фон дер Рооп, Рябинин не только не пригласил его к ужину, но еле поздоровался и не предложил сесть.

— Я вас слушаю.

Фон дер Рооп — без всякого приглашения упал в кресло:

— Я погиб. Я разорен.

— Вот как? И вы были настолько любезны, что пришли сообщить мне об этом?

Фон дер Рооп не образумили ни ледяной тон, ни жесткие реплики. Он был невменяем.

— Господин Рябинин! Мне не к кому больше обратиться... Спасите меня! Под любые проценты!..

— Я не совсем понимаю, при чем тут я. Даже если бы мы были родственниками. Но мы и не родственники, насколько я знаю.

Наконец до сознания фон дер Рооп дошли слова Рябинина. Он бы разразился упреками, проклятиями, но у него не было сил и на это. Он встал, повернулся и, пошатываясь, побрел к двери.

— Больше этого господина не впускать. Надеюсь, вы его запомнили?

Только сейчас понял Рябинин, как ненавидит этого человека.

Когда закрылась дверь за этим прогоревшим коммерсантом, Рябинин сначала радовался, самодовольно посмеивался, припоминал подробности разговора, а главное, свои реплики. Они казались Рябинину верхом остроумия. Рябинин уж так-то был доволен, что отбрил этого «фона»! Вот бы рассказать кому-нибудь, как все это произошло! Вот бы посмеялись!

Рассказывать оказалось некому. У Рябинина не водилось друзей. А теперь даже собственные сыновья — и те нос задрали. Вот и верь после этого, что яблоко от яблони недалеко откатывается!

Настроение Рябинина резко упало. Особенно было ему досадно, что не на ком сорвать злость, некому ни пожаловаться, ни поплакаться.

«Поплакаться?! — все больше распалялся Рябинин. — Ну нет, этого они от меня не дождутся!»

«Они» — это, конечно, сыновья с их чертовой Ecole polytechnique, в которой они пропадают.

И Рябинин, расхаживая по пустынным залам своей огромной квартиры, придумывал самые изощренные козни и каверзы, какими он отомстит неблагодарным детям.

«Вот если бы, — смаковал он, — кто-нибудь воевать

с Германией стал... составил бы я дарственную на эдную сумму, чтобы на нее изготовили парочку снарядов и пустили их в некоего фон дер Роопа... Прямой наводкой... В лоб... Ладно, пустое это. Выхожу из игры. А снарядов и без меня наделают».

Но Рябинин не выходил из игры. Известно, что он оставил миллион «тому, кто когда-нибудь ворвется в красную Москву во главе войска». Оставил и сказал с досадой:

— Пропал миллион. До сих пор не сумели, так уж, видать, и дальше не получится.

Еще вложил крупную сумму в издательское дело — для расходов на выпуск пасквильных сочинений, унылых и непригодных для чтения, но предназначенных, как уверял Рябинин, «для изничтожения всех коммунистов на земле»...

О дальнейших поступках Рябинина было немало пересудов. Многие были даже склонны объяснять все это или старческим слабоумием миллионера или состоянием аффекта.

В самом деле, ну к чему было покупать какой-то там остров, затерявшийся в водах Тихого океана?

Очевидно было одно: Рябинин во что бы то ни стало хотел растратить свои миллионы, ничего не оставив в наследство сыновьям.

Сначала выходки Рябинина доставляли богатый материал журналистской братии. Но затем и они сбились с толку. Ходили слухи, что Рябинин на необитаемом острове строит православный храм, точную копию московского храма Спасителя. Ходили слухи, что в этом пустом храме непрерывно будет идти богослужение, а колокол, которого никто, кроме акул, не сможет услышать, непрерывно будет звонить.

Затем и сам Рябинин исчез. Сыновья пробовали его разыскивать, но безуспешно.

3

В эти дни последнюю ставку делал и Гарри Петерсон. Все началось как будто с пустяка — с нервного расстройства. Доктора уверяли, что ничего особенного, просто переутомление. И все, кто знал Гарри, говорили, что он отлично выглядит, что у него прекрасный цвет лица.

«Может быть, цвет лица и прекрасный, — думал Гарри, — но самочувствие препакастное и хандра».

Стал принимать какие-то патентованные пилюли. Взял за правило прогуливаться. Вскоре выкинул за окно пилюли и прекратил прогулки.

«Хандра у меня от бездеятельности. Сколько средств, сколько изобретений — и какие плачевные результаты!»

Служащие «оффиса» жаловались, что с шефом стало трудно работать. Он стал придирчив, раздражителен, а главное — никому не доверял и всех в чем-то подозревал.

— Вы говорите, что сами лично побывали в Москве? А как вы переходили границу? — придирался он. — А почему вы не повидали дядю Коку? Ах, арестован? А от кого вы узнали, что он арестован?

Ночами ему было особенно тошно. Гарри лежал с открытыми глазами и вглядывался в темноту. В последнее время он стал плохо спать. Не помогали никакие снотворные. Он стал избегать спиртных напитков, зато пристрастился к кокаину. Однако это увлечение его пугало. Ведь так можно сойти с ума.

Сколько он уже лежит не засыпая? Час? Два часа? Или несколько минут? Чего проще — зажечь свет и посмотреть на часы. Но у него появился странный разлад с самим собой. Присмотрелся к решению — и медлит. Изменит намерение, а потом все же поступит так, как думал раньше. И еще — выработалась привычка некоторые слова произносить вслух и как бы разговаривать с самим собой.

Вот и сейчас Гарри Петерсон вслух произнес:

— Все дрянь. Все.

Произнес и засмеялся. Но тут же ему стало не по себе, ему не понравился свой смех, ему показался страшным свой смех. Однако он не удержался и снова произнес внятно, с упрямой настойчивостью:

— Я сказал, все дрянь. Кто дрянь? Люди.

Гарри пристально смотрит в темноту.

Вот что истрепало ему нервы! Переходы от надежды, от предчувствия полного успеха к полному отчаянию и разочарованию... Другие люди живут обыкновенной, простенькой, как дешевые обои, жизнью: женятся, заводят детей, служат, торгуют, гастролируют, изобретают... и еще — ходят в кино, в гости, путешествуют, дают чае-

вые, соблюдают режим в санаториях... А что он, Гарри Петерсон? Он изо дня в день живет какой-то сатанинской шахматной игрой.

— Скажите, а кому можно верить? — отбросив всякую осторожность и осмотрительность, снова вслух спрашивает Гарри Петерсон. И даже обращается к себе на «вы».

Хе-хе! Вчера он встречался опять с этим немцем. Фон дер Рооп говорил исключительно парадоксами. Он уверял, что правда — понятие условное и у каждого своя правда, что правильность любой политической идеи вообще недоказуема и никакого значения не имеет, противоречиво ваше учение или содержит зерно истины.

— Поменьше научных обоснований! — кричал, вытаращив глаза, фон дер Рооп. — Поменьше логики! Не забывайте, что народ — дурак, накачивайте его, воздействуйте на настроение толпы, взвинтите — и толпа ринется за вами!

Гарри Петерсон слушал, невыразительно улыбался, а сам думал:

«Тебя, милый мой, интересует другое. Тебе хочется, чтобы Америка, Англия, Франция и вообще любой добрый дядя помогли тебе встать на ноги, окрепнуть, а тогда ты под соусом борьбы с коммунизмом заодно сожрешь и нас. Все ненавидят всех. Но мы еще посмотрим, кто кого!»

Петерсон знал, что фон дер Рооп разорился, говорили даже, что он хотел выброситься из окна девятого этажа. Видимо, какая-то добрая душа вызволила. А жаль. Очутился бы там Гарри, он бы даже помог ему взобраться на подоконник.

Утром Гарри Петерсон встал поздно и в дурном настроении. Нехотя принял ванну, нехотя сел завтракать, вяло просматривал газеты.

Что такое? Не мерещится ли ему? Еще и еще раз перечитал газетную заметку лондонской «Таймс». Вот это новость! Арестован — кто бы вы думали? — Сальников! При попытке перейти советскую границу!

Сообщение газеты подействовало лучше, чем стакан крепкого кофе. Вялости и хандры, как не бывало. Снова Гарри Петерсон готов был хитрить, интриговать, подсылать своих людей, выслушивать донесения... А так как

он намеревался не впрягаться в телегу германской разведки, а проводить самостоятельную линию, то вскоре пришел к выводу, что ему необходимо лично побывать в Советской России и на месте дать указания своим агентам, успевшим там акклиматизироваться.

Ближайшие сотрудники Петерсона советовали ему поостеречься, выяснить сначала все, касающееся провала Сальникова, и тогда только переправляться через русскую границу.

— А вы уверены на все сто процентов, что Сальников не был чекистом? — спросил Петерсон, ехидно усмехаясь. — В нашем положении, сэры, ни за кого нельзя ручаться и во всяком случае следует всегда быть готовыми иметь дело с двойником. Святая Мария, до сих пор наши агенты без особенного риска пробирались в Петроград, в Москву и снова возвращались к нам с добрыми материалами. Не знаю, что там случилось с этим самым Сальниковым. Я допускаю и тот вариант, что он в самом деле арестован. Но может быть, арестован по плану? По предварительной договоренности? Тут все варианты возможны!

Гарри Петерсон стал собираться в дорогу. Настроение у него было приподнятое, он что-то напевал, обдумывал, как одеться, придирчиво изучал приготовленные для него подложные документы, разглядывал себя в зеркало, не слишком ли у него «заграничный» вид. На всякий случай в документах значилось, что предъявитель сего — польского происхождения. И фамилию он выбрал соответствующую; Бухартовский. Вячеслав Иванович Бухартовский. Каждый мог сообразить, что «Иванович» — это переделанное на русский лад «Янович». Итак, он будет якобы обрусевший поляк. Родители жили в Привислянском крае, погибли в 1915 году. Семейное положение — холост. И тут Петерсон с мимолетным раздражением подумал, что эта-то рубрика вполне соответствует действительному положению, поскольку жена сбежала. Род занятий? В советских документах есть расплывчатое обозначение «служащий», что означает приблизительно, что ты хотя и не рабочий (это было бы почетно!), но и не какой-нибудь окаянный нэпман и буржуй. Так вот Петерсон и будет по документам «служащий». А если понадобятся подробности, он может рас-

сказать, что перебивается случайными заработками и ищет работенку по вкусу.

Наконец все было готово к отъезду. Гарри Петерсон отдал последние распоряжения, сел в машину и вскоре был уже далеко.

Он волновался, конечно, но и виду не подавал. Он встретился в Териоках с представителями антисоветской организации. Это были чрезвычайно образованные, чрезвычайно любезные люди, и главный из них производил особенно сильное впечатление: был толст, солиден, авторитетен, говорил на нескольких языках, и на каждом одно и то же: что гибель советского строя неминуема и что «у них», то есть у этой организации, «все готово и даже намечены точные сроки».

Выяснилось, что этот толстяк присоединится к Гарри. Ему тоже необходимо пробраться в Советскую Россию, он везет деньги, инструкции, явки, планы...

«Судя по его массивному животу, — определил Гарри Петерсон, — он из кадетской партии».

На следующий день они были доставлены к самой границе, их сопровождала специальная финская охрана, любезно предоставленная маннергеймовским правительством. До наступления темноты они укрылись в пакгаузе на берегу пограничной реки. Затем специалисты по переходу границы — угрюмые, неразговорчивые люди — переглянулись, что-то пробормотали — понятное только им — и скрылись в темноте.

— Проверяют, нет ли поблизости красного патруля, — пояснил Гарри толстяку.

Ждали долго. Но вот угрюмые проводники вернулись, старший махнул рукой, приказывая следовать за ним. Гарри жестом показал на губы: «Ни звука, соблюдать полную тишину».

Старший проводник спустился к воде и стал вброд переходить реку. За ним последовали остальные. Ступали осторожно. Толстяк пыхтел и отдувался. Гарри Петерсон опасливо думал, что в результате такого путешествия заработаешь, чего доброго, ревматизм.

Но вот и противоположный берег. Кажется, все.

Проводник молча шагает к кустарнику. Нет, не все. Оказывается, предстоит еще продираться по болотистой местности, раздвигая мокрые ветки.

Было так темно, что трудно было определить, где кон-

чаются кусты, где начинается небо. Гарри Петерсон в абсолютной темноте шагнул, зацепился за корягу и выругался на чистейшем английском языке — когда спотыкаются, то не пользуются чужим наречием.

Именно в этот момент Гарри услышал окрик, но уже на русском языке...

— Стой! Стрелять буду! — раздались стереотипные слова, которые, однако, безобидно звучат только в спектакле. Когда дана такая команда в пограничной зоне, шутки плохи, а на размышление дается всего несколько секунд.

Нарушители не подняли руки, вместо того они бросились бежать. Гарри Петерсон проявил при этом необычайную прыть и чертовскую натренированность. Он ловко перепрыгнул через муравейник, шарахнулся в сторону, чтобы не наскочить на осину, если только это была осина — разве разберешь в темноте. Выстрела он не слышал. Он только успел подумать, где же у него документ на имя Бухартовского, да, да, во внутреннем кармане пиджака, это он отлично помнит, его надо сразу же предъявить... И еще он, кажется, подумал о Люси... и еще о том, что в следующий раз не полезет на рожон сам, а пошлет наемного агента... Зачем рисковать собой?

Но Гарри Петерсону уже не предстояло никого засылать в чужую страну и вообще соваться в дела, которые его абсолютно не касались. Гарри Петерсон лежал на мокром мху возле конусообразного муравейника. Пуля попала в голову. Одна рука Петерсона неловко подвернулась под рухнувшее тело, другая беспомощно повисла над лужицей лесной воды. А ноги все еще делали слабые движения, видимо Петерсону все еще представлялось, что он бежит, бежит во весь дух и непременно успеет скрыться.

ПЯТНАДЦАТАЯ ГЛАВА

1

В приемной Вячеслава Рудольфовича Менжинского сидел необычного вида человек. На вопрос секретаря о цели прихода он кратко ответил:

— Пришел по долгу советского гражданина.

— Как о вас доложить?

Посетитель огляделся вокруг, как будто и здесь, в приемной председателя ОГПУ, опасался чужих ушей.

— Профессор Кирпичев, — вполголоса сказал он. — Зиновий Лукьянович. Из Харькова.

Менжинский сам вышел из кабинета, поздоровался с ним и увел к себе. Проницательные глаза наркома два раза скользнули по профессору. Кажется, предстоит услышать нечто стоящее внимания.

Менжинский усадил профессора в удобное кресло, предложил папиросы.

Кирпичев хотел было отказаться, но потом порывистым движением схватил папиросу. Вячеслав Рудольфович поднес ему зажигалку, сам тоже закурил и некоторое время оба сосредоточенно молча курили, один собираясь с мыслями, другой готовясь выслушать все: в этом кабинете не существовало невероятного, здесь часто приоткрывались завесы над самыми непропицаемыми тайнами, разгадывались самые замысловатые ходы.

Заметив, что Кирпичев ждет вопроса, поощрения или разрешения говорить, Менжинский предложил:

— Пожалуйста, Зиновий Лукьянович. Я вас слушаю.

Кирпичев погасил папиросу, положил ее в пепельницу:

— Заранее хочу предупредить: не умею быть кратким. Вы располагаете временем?

— Об этом не беспокойтесь!

Кирпичев пристально посмотрел из-под своих седых косматых бровей и понял, что этот человек, сидящий перед ним, вероятно, не спал уже несколько ночей подряд.

— Я понимаю, у вас работа не из легких, но если я начну спешить, комкать, то и вы ничего не поймете, и я окончательно собоюсь. Возраст, знаете ли. Конечно, я не Фонтенель, который ухитрился прожить ровно сто лет, и не Тициан, который протянул до девяноста девяти, и не автор «Общей риторики» Кошанский — тот тоже отмахал сто лет без одного дня. Но и мне, с вашего позволения, далеко перевалило за возраст, о котором говорят «пора и честь знать».

— Ну-ну, не напрашивайтесь на комплимент. Если вы не убоялись такой прогулки, как Харьков — Москва,

и послушны долгу гражданина, значит, еще молода у вас душа.

— Душа — да. Она у меня такова *post nominum temeritatem*... А, черт! Сорвалось! Проще говоря, с незапамятных времен.

— Что сорвалось?

— Латинская поговорка. Когда ехал сюда, давал себе торжественную клятву — ни одной латинской половицы в разговорную речь не совать.

— Это почему же?

— Старит, делает смешным. А дело-то... не до смеха.

— У пословиц есть и преимущество, Зиновий Лукьянович, *non multa sed multum*¹.

Странное дело, как только Менжинский ответил на латинскую поговорку латинским изречением, Кирпичев почувствовал себя проще, язык у него развязался, и он стал говорить свободно и легко.

Он рассказал, как познакомился с Михаилом Васильевичем Фрунзе и всем его семейством.

— Вы, Вячеслав Рудольфович, знавали его? Ну конечно! Неуместный вопрос!.. Я всем старческим сердцем полюбил его, а еще того больше — часто бывавшего у него Григория Ивановича Котовского, этого я считал как родного...

Кирпичев помолчал, сясь побороть внутреннее волнение.

— Товарищ Менжинский! Вы верите в святы чувства долга, чести, дружеских обязательств, то есть обязательств, накладываемых дружбой? Нет в живых Фрунзе, нет Котовского. Но Кирпичев был и останется их верным другом. Так каково мне было видеть, что убийца Котовского преспокойно разгуливает по улицам Харькова на свободе и даже не всегда этак, знаете ли, в трезвом виде?

Лицо Менжинского из просто вежливого и участливого стало заостренно внимательным.

— Убийца Котовского по суду получил десять лет и отбывал наказание в Одесской тюрьме, — сказал он.

— Откуда по чьему-то указанию переведен в Харьков. Какая-то бабушка ему ворожила. А в Харькове

¹ Немного (слов), но многое (лат.).

нашли возможным вскоре и совсем его выпустить. Если можно так выразиться, спрятали в тень. Он работает сейчас на вокзале сцепщиком вагонов. Удовольствие, знаете ли, ехать в вагоне, который прицепил к составу убийца Котовского!

— Понятно, — сказал Менжинский, делая запись в блокноте.

— А почему он получил десять лет, позвольте вам задать вопрос? Почему не пристрелили его, как бешеную собаку?

— Видите ли...

— Я отвечу сам. Ему дали вместо высшей меры десять лет, потому что судья изобразил убийство как уголовное. Между тем оно политическое! Это и Фрунзе говорил! Но это еще не все, что я хочу рассказать. То, что я сейчас вам открою, — видимо, первый случай в истории человечества, когда отец доносит на преступные действия родного сына.

Много историй прошло перед глазами Менжинского за годы работы чекистом — и когда он был заместителем Дзержинского, и когда после его смерти возглавил ОГПУ. Сейчас перед Менжинским раскрывалась большая драма. И Менжинскому становилось понятно, почему профессор Кирпичев не обратился в местные органы политуправления: он изверился, он уже не доверял у себя в Харькове никому, после того как увидел убийцу Котовского на свободе, а своего сына участником какого-то заговора.

— Значит, у вас есть сын, — помог Менжинский, так как Кирпичев опять замолчал, видимо переживая свою горе, видимо захлебнувшись своими страшными по сути словами. — Взрослый? Я говорю: взрослый у вас сын?

— Врангелевский офицер. Вернулся — молчком, и я не лез с расспросами. У каждого, знаете ли, свое. Вернулся — и слава богу. Документы в порядке, не то чтобы скрывался как-нибудь. Ну, думаю, или взяли в плен и отпустили на все четыре стороны, или сам не захотел забираться в чужие края. Словом, кто старое помянет, тому глаз вон. Мы с ним никогда и не поминали и этой темы не касались. Поступил он на службу — старшим счетоводом. Ну, думаю, и то хлеб, счетоводом так счетоводом, не о такой его карьере, конечно, я мечтал, да ведь что делать-то. Так уж получилось.

— Отношения у вас отдаленные? О чем-нибудь вы все-таки разговариваете? Как он дальше планировал свою жизнь?

— Меня называют «папахен», считает, что я выжил из ума. Начнешь с ним по-серьезному разговаривать, а он давай всякую белиберду молоть: тирли-мирли... трум-бум-бум... — дескать, о чем с тобой, старым ослом, толковать? А не то скажет: «Вот что, пупсик! Воспитывать меня надо было раньше, этак четверть века назад. Сейчас мне, мил человек, тридцать с таким, сам как-нибудь о себе подумаю».

— Нехорошо. Это он в армии огрубел?

— У него такая точка зрения: родители — это бросовый хлам, самое подходящее место для них — на кладбище. Совесть, справедливость, свобода и так далее и так далее — это всё пугала, чтобы народ в страхе держать, это всё боженьки, на которые лоб крестят. «А что же есть?» — спрашиваю. «Есть я, — говорит, — мой живот, который требует пищи, мой мозг, который должен сме-кать...»

— Нахвтался! Импорт, сплошь импорт! Сначала я так понял, что у вас чисто семейные разногласия. Оказывается, дело обстоит значительно хуже. Но пока — я вижу одни слова.

— За словами следуют и дела. Если бы он не презирал меня да не был уверен, что я из чисто животной привязанности к своему детищу не пикну, он был бы осторожнее. А то придут к нему какие-то темные личности, покажут глазами на меня, а он только бросит: «Папахен». Те сразу и успокоятся — одного, мол, поля ягода, sapienti sat. Правда, после того уйдут в комнату сына и двери закроют. Но оружие-то я видел, как они в университетский подвал возили. Расчет у них тот, что кому придет в голову университет подозревать? А у меня квартира, видите ли, при университете. И еще кое-что видел. Дома-то боялся писать, а уже здесь, в Москве, на вокзале притулился в почтовом отделении, будто телеграмму составляю, и вкратце набросал.

— Хорошо. Спасибо. Я ознакомлюсь.

— Я, знаете ли, интеллигент старой формации, у меня все сложно получается. Думал, думал, прикидывал и так и сяк и решил, что молчать не могу. Кто знает, мо-

жет быть, потому и убийца Котовского на свободе, что там эта шайка орудует? Может быть, это связано одно с другим?

— Понимаю, как вам было трудно. Поступили вы правильно, честно. Только вот... не лучше ли вам повременить с возвращением домой? Всё никуда не ездили и вдруг катнули в Москву! А? Они не будут ничего уточнять, малейшее подозрение — и вам будет худо. Как вы думаете?

— Я уехал, никого не извещая. Сказал только соседке, что еду лечиться, подозреваю рак.

— Ну так это же блестяще! Умница! Вот мы и положим вас в больницу на исследование.

— Стоит ли труса праздновать? Я ведь не из робкого десятка. Вы не смотрите, что выгляжу рамоли. Не боюсь я их. Ей-богу не боюсь.

— Видите ли, народная мудрость гласит, что богу молись, а к берегу гребись. Да и для нас, Зиновий Лукьянович, удобнее, если мы будем знать, что вы в безопасности.

— Если для пользы дела, я готов. Но вы прикиньте-ка: не встревожит ли эту публику длительный мой отъезд? Не поспешат ли они попрятать концы в воду?

— Конечно, можно послать вашему сыну письмо главного врача... Нет! Вот что я скажу. Поезжайте и везите с собой справку из больницы — это мы приготовим, — справку, что вы нуждаетесь в операции. Приедете, покажете, посоветуетесь: боюсь, мол, под ножом умереть, не знаю, как и поступить.

— Сын скажет: «Надо быть дураком, чтобы что-то еще думать! Раз врачи говорят, значит, ложись». Да. Звучит убедительно. Еду.

Они еще долго беседовали. Менжинский вызвал двух своих помощников. Уточняли адреса, имена. Внимательно разобрали заявление, составленное Кирпичевым. Тем временем принесли и справку из больницы — на больничном бланке, все как полагается.

— Переночевать есть где?

Оказывается, у Кирпичева в Москве родня. Кирпичев сообщил и адрес.

— Совсем хорошо. От родни надо взять записочку для сына. Не забудете?

Был уже вечер, когда Зиновий Лукьянович вышел из большого здания на Лубянке, бывшего страхового общества «Россия». Был август. Августовский звездопад. На московских улицах былолюдно. На московских бульварах слышался женский смех, чье-то пение, говор, постукивание каблучков. Яркосветились рекламы кино, витрины магазинов.

2

На вокзале Харьков-Пассажирский суета. На путях — нетсчета рельсовым переплетам, тупикам, стрелкам, будкам с крохотными окошечками. Куда только не отправляются поезда! Откуда только не приходят!

В залах ожидания у буфетной стойки пьют пиво и лимонад. На покрашенных желтой масляной краской скамьях женщины с грудными младенцами, узлы, крошки хлеба и корки арбуза... У билетной кассы — тесная очередь и вежливый рассудительный милиционер.

— Не присобачивайтесь сбоку, молодой человек, — просит милиционер. — Всем хочется поскорей. А ты, тетка, не толкшись, чего толкшиться? Командировочные? Командировочные в кассе номер два, будьте любезненьки.

Востроглазые девушки грызут семечки, складывая шелуху в карман. Хлопцы в заломленных набекрень бараньих черных шапках отпускают такие забористые шутки, что дряхлый дед слушал-слушал, плюнул и отошел.

Был август. Августовский звездопад. Синее небо томилось, ветер еле-еле шевелил листья пирамидальных тополей в привокзальном сквере. Падающие звезды чиркали по небу. Во мраке нескончаемых путей гукали маневровые паровозы, ползли взад и вперед товарные составы — то платформы, то крытые вагоны с пломбами, то вереницы промасленных цистерн.

Где-то не то на шестнадцатом, не то на девятнадцатом пути беззаботно посвистывал сцепщик вагонов с зажженным фонарем в руке. Помашет — и далеко-далеко отсчитает короткими гудками шестнадцатый или девятнадцатый путь маневровый паровоз, лязгнут тормозами

вагоны, медленно поползут и стукнутся на тихом ходу об цистерны — прицепляй, сцепщик вагонов, и снова давай сигнал!

А вот на который-то путь прибыл пассажирский. Приезжих не так-то много. Не больше, не меньше, чем обычно. Среди приезжих двое ничем не примечательных людей, таких что пройдешь мимо и не оглянешься — мало ли встречных и поперечных.

Двое приезжих почти не разговаривали. Видно, все у них уже говорено-переговорено. Прошли в буфет, что-то заказали, съели, затем выпили по кружке пива. Мало ли кто выпивает кружку пива, слоняясь по харьковскому вокзалу?

Двое приезжих посматривали на часы. Но тоже так, без особенного интереса. Почему не посмотреть на часы, если они сами лезут в глаза, пощелкивая электрическими щелчками?

— Пошли, — сказал один из приезжих.

— Да, пожалуй, — согласился второй.

Видимо, им было недалеко, потому что они не подумали занимать очередь на трамвайную или автобусную остановку. Они пошагали куда-то в темноту, вдоль рельсовых путей. Оба были неразговорчивы. Оба скрылись во мраке, который казался еще черней после яркого освещения вокзала.

В этот вечер в восемнадцать ноль-ноль по московскому времени вступил на дежурство сцепщик вагонов Зайдер. У сцепщика вагонов работа какая? Дай свисток, помаши фонарем и жди, когда подползет товарняк, лягнут тормозные тарелки, а тогда делай прицепку и снова давай сигнал. Дело несложное, нужна только сноровка. Вообще же — ничего особенного.

Так было и на этот раз. Машинист видел, как сцепщик помахал фонарем. Отозвался на этот сигнал, повернул рычаг, и состав пополз, кряхтя и позвякивая...

Толчок. Стоп! Коротко гукнул паровоз...

Сцепщик не отвечает.

Маневровик подождал и гукнул второй раз.

Никакого ответа.

Какого лешего он там возится, этот свистун?

Слышал машинист крик или не слышал? Убей бог, он не сумел бы ответить на этот вопрос! Кажется, что-то такое слышал... А скорее всего — нет, не слышал... Ка-

кое там! Мог ли слышать, ведь в составе-то по меньшей мере до тридцати платформ!

Однако машинист понял, что какая-то неполадка. Молчит сцепщик, нет сцепщика. Что он там замешкался? Вечер августовский, темно-темно!

— Ну чего там? — крикнул в темноту машинист.

Вот, пожалуй, в этот момент мелькнуло у него подозрение: уж не случилось ли чего?

— Сашко! — еще через некоторый промежуток времени произнес машинист.

— Чего, Иван Никанорыч? — отозвался с тендера чумазый кочегар.

— Пожалуй, надо тово... сходить бы надо. Сигнала нет... ничего нет... А? Как ты думаешь?

— Раз так, то конечно, — согласился кочегар. — Мне, что ли, пойти?

— Пожалуй, надо тово... обоим вместе. Для точности.

Труп извлекали из-под вагона в присутствии официальных лиц: дежурного по вокзалу, милиционера, представителя ГПУ.

Отмечено было, что фонарь сцепщик уронил далеко от вагона. Кроме того, и кепка сцепщика тоже была найдена метрах в десяти.

Но никому не хотелось раздувать истории. Начнется следствие; примутся строчить протоколы, вести дознание... А чего тут дознаешься? Дело ясное: раздавило колесами. Может быть, Зайдер был пьян и с пьяных глаз сунулся под колеса вагона? Или просто не рассчитал?

Акт был составлен в трех экземплярах: «Числа такого-то... Мы, нижеподписавшиеся... Труп был извлечен в мертвом состоянии. Голова целиком и полностью отделена от туловища... Что и удостоверяется...»

Подписали акт в глубоком молчании.

— Все, товарищи, — сказал уполномоченный. — Можете идти.

— М-да, — сказал машинист Иван Никанорович уже тогда, когда очутился на паровозе. — Кепка-то где лежала? А? Сашко! Выходит так, что он сбросил кепку и полез делать сцепку? Или как? Нас это, конечно, не касается, но кепка... и вообще... Наводит меня на разные мысли...

— Дело ясное, что дело темное! — согласился чумазый кочегар.

В местной газете в отделе происшествий было набрано петитом:

«Погиб при исполнении служебных обязанностей».

3

Профессор Кирпичев крепко спал после утомительной дороги, после всех переживаний да еще после обильного ужина, каким угостила его двоюродная сестра, женщина примерно его же возраста.

Он остановился у нее, объяснил, что бросил все и примчался, чтобы показаться лучшим докторам, потому что боится ракового заболевания.

Сестра посоветовала ему непременно идти к доктору медицины Лихачеву, он и ей помог и вообще славится тем, что буквально воскрешает мертвых.

— Докторов-то хватает, — проворчал Зиновий Лукьянович.

Тут на него посыпались советы, что нужно есть, чего не нужно есть, что некоторые рекомендуют чеснок, а один знакомый уверяет, что все спасение в лимонах. Она же сама стоит за алоэ.

— Алой! Алой надо выжимать! — кричала родственница Зиновия Лукьяновича. — Хочешь, уступлю два горшка алая?

Она была глуха и поэтому говорила очень громко.

Профессор Кирпичев крепко спал, когда раздался звонок в дверях и встревоженная сестрица сообщила, что спрашивают его, а кто — она не расслышала. Ах да, кажется, это самое, — из больницы!

Из какой больницы?

Зиновий Лукьянович тотчас узнал одного из помощников Менжинского, хотя он и был теперь в штатском.

— Здравствуйте! Вы товарищ Кирпичев? Вы просили подать машину в десять ноль-ноль. Машина у подъезда. Прием у профессора начнется через полчаса.

— А-а! Да-да! — сообразил Кирпичев. — Видишь, Маша, какая забота о человеке! И машина, и принимают вне очереди как приезжего!

— Не забудь сказать, что у тебя ломота в пояснице!

Когда сели в машину, чекист пояснил:

— Мы боялись, что вы успеете уехать утренним поездом, а есть важное сообщение.

— Сообщение? Уже? — Кирпичеву почему-то представилось, что его сын уже арестован.

— Не то, что вы думаете.

Опять тот же знакомый кабинет. И кресло, в котором, казалось, только что сидел, а ведь прошла ночь, прошла почти половина суток.

Менжинский почти не спал. Но он принял душ и был свеж, бодр и деятелен.

— Садитесь, пожалуйста. Папиросы.

— Кажется, вы уже предприняли некоторые шаги?

— Мы нет. Но они — предприняли.

— Кто они? Эта самая компания? Сын в том числе?

— Пока нет. К этому мы тоже присмотримся. А пока другое. Нам приходится зачастую решать крайне запутанные ребусы. Вот вчера вы возмущались, что убийцу Котовского неправильно судили, как обыкновенного уголовного преступника. Ваше возмущение вполне понятно. Но давайте разберемся во всей этой истории. Что такое Зайдер? Продажная тварь, мелкая гадина, наемный убийца. Так?

— Так!

— Если мы согласимся на том, что он наемный убийца, значит, его кто-то нанимал?

— Логично.

— Так кто же? Этот вопрос стоял перед нами. Мы обратили внимание на мягкий приговор убийце. Далее, мы выясняли, кто именно и какими каналами действует, добиваясь перевода Зайдера в Харьковскую тюрьму. После этого мы проследили, каким образом преступник вопреки букве закона остался на свободе. Надо было выявить его связи. Но Зайдер, видимо, распустил язык, в пьяном виде говорил лишнее. Кой-кому не понравилась его болтливость, да и сам наймит был им больше не нужен. И вот вчера мы получили сообщение, что Зайдер убит.

— Убит?! Значит, бог есть! Ф-фу! Даже от души отлегло!

— Да, убит. Его подсунули вечером под маневровый поезд.

— Вот оно что. Грешно, но радуюсь. Я сейчас в таком месте нахожусь, где сознаются. Так сознаюсь, я

даже думал на старости лет не погнушаться и самолично пристукнуть эту гадину. Говорят, паука раздавить — сорок грехов прощается. Кто же оказался, как вы изволили выразиться, «кое-кто»?

Кирпичев сгоряча задал этот вопрос и по вежливым, непроницаемым лицам чекистов — чекистов школы самого Феликса — понял, что спросил лишнее.

— Извините, опять все та же интеллигентская закваска: подай да выложи. Зайдер убит — и, значит, с этим все. Может быть, я не прав, но, на мой взгляд, необходимо, чтобы такие подлые имена, как, например, эта самая Каплан, стрелявшая в кого — в самого Ленина! — или тот же Зайдер — такие имена должен знать весь народ, чтобы на веки вечные предавать их проклятиям, чтобы их имена были ругательным словом, чтобы они постоянно напоминали: беречь, беречь жизнь каждого советского человека, а тем более лучших из лучших!

— Для истории все будет записано, — с уважением выслушав профессора, заявил Менжинский, — никому не удастся ускользнуть. Но пока... некоторые факты было бы преждевременно опубликовывать. Иначе нити повели бы нас слишком далеко. Да и вообще полезно знать больше, чем это представляется врагу. Учтите: вы тоже ничего не знаете об обстоятельствах гибели Зайдера. Все это сугубо между нами. Вы вообще ни о чем не знаете, ни о чем не догадываетесь, сына ни в чем не подозреваете — так? У нас вы не были, заняты исключительно своим лечением и делами своей двоюродной сестры — так, кажется, она вам приходится?

Тут Кирпичев почувствовал, что нельзя больше злоупотреблять временем этих перегруженных работой людей. Распрощался, взволнованный, взбудораженный, но и в то же время успокоенный, вернулся к сестрице и, присоединив к справке врача тысячу добрых советов старой девы, увесистый пакет с гостинцами и нежнейшую записочку «противному мальчишке, который не хочет нас знать», отправился на вокзал к дневному поезду на Харьков.

«Сумбур! Полный сумбур!» — размышлял он дорогой.

Стал припоминать: что случилось радостное, от чего даже сердце трепещет? Две вещи: выполнил долг. Это относительно сына. И что-то еще? Ах да, убит Зайдер... Ничего себе радости у вас, профессор! Передали в руки

правосудия сына и узнали об убийстве! Ну и что из того? Правильно радуюсь! Правильно поступил!

Кирпичев четко, по-военному прошагал в помещение вокзала и отчеканил кассирше:

— Один билет до Харькова! Благодарю!

ШЕСТНАДЦАТАЯ ГЛАВА

1

Шли недели, месяцы, казалось бы давно все вошло в норму, а Крутойяров все еще переживал дни, которые пробыл в Одессе. Крутойяров снова и снова подходил к гробу Котовского, снова и снова смотрел на ослепительные одесские улицы, на лениво играющее переливами бирюзы спокойное, самоуверенное море. Крутойяров видел, как ничтожество, жалкий трус, мизерный вертлявый человечек подходил к богатырю, силище, массивному, ладно скроенному Котовскому и стрелял в упор... Это Крутойярову мерещилось много раз, и он настолько воплотился в облик Котовского, настолько стал им, что явственно чувствовал: это в него, в Крутойярова (вместе с тем не Крутойярова), стреляли в упор, это он, Крутойяров (но не Крутойяров), падал навзничь с пробитой аортой, и кровь лилась у него изо рта... Чрезвычайно сложное ощущение раздвоенности и в то же время слитности!

Никого не касалось то, что переживал Крутойяров, это был его внутренний мир, его капище, куда никому нет входа. Даже Надежде Антоновне не положено было этого знать. Это писательское, это то, что впоследствии воплотится в трепещущие страницы произведения и будет вручено людям — хозяевам всего на земле.

Так, если посмотреть со стороны, Крутойяров жил, как живут обычно: пил крепкий чай, добродушно выслушивал рассуждения Надежды Антоновны о том, что вредно и что полезно, охотно обсуждал ее новые стихи, беседовал с Марковым, с Оксаной, с Орешниковым, с теми писателями, которые были вхожи в его дом и которых он любил. Что еще? Бродил по ленинградским улицам,

рылся в книгах у букинистов, ходил в цирк и театр, смотрел в кино «Кабинет Калигарри». А в нем происходил мучительный процесс, он сопоставлял, вникал, за частным случаем искал типическое, за плоским голым фактом высматривал глубину, социальный смысл.

Пигмей стреляет в исполина. Но ведь в этом-то и суть нашего времени. Изверился в своей правоте старый мир. У него дредноуты, пушки, воздушная флотилия... А правоты нет. Нет правоты, да и только. Ноль целых, ноль десятых. Вот почему он не брезгует последней дрянью. Берет в союзники ничтожество. Неужели он воображает, что, убив Котовского, сделает Красную Армию беспомощной? Нет, он не так глуп, чтобы думать это. Но что же ему остается?

Мысль Крутоярова работает дальше. Убийца Котовского не заслан из-за рубежа. Правда, он выходец оттуда, правда, он своего рода космополит. Но ведь жил среди нас? Ходил по улицам наших городов? Ел наш хлеб? Сидел рядом с нами в театре, в трамвае, на скамейке парка?... Вывод: присмотрись к соседу. Только помни предостережение: будь осторожен, но без подозрительности. Наивно думать, что все враждебные нам люди отбыли в чужеземные края, остались и здесь. Кто заблуждался — и оттуда вернутся, вернулся же Бобровников. А эти, если бы и уехали, — не жалко.

Крутояров походит на шахтера, который глыба за глыбой откалывает пласты. Так он будет корпеть и корпеть, пока раздумья не воплотятся в героев, наделенных плотью и кровью, вкусами, мировоззрением, биографией. И тогда явится потребность написать. Но и это не все. Понадобится еще дать чертежи, построить здание будущего произведения, а здание художественного произведения, как и обыкновенное, не допускает просчетов. Нельзя один угол построить выше, другой ниже, так и крыши не возведешь, и дом упадет.

Беспокойство владеет Крутояровым. Придет в комнату Маркова:

— Не помешаю?

— Что вы, Иван Сергеевич!

И тогда все пойдет по установившемуся шаблону. Крутояров начнет по своей привычке прохаживаться по комнате... Марков отложит книгу...

Вот Крутойяров остановился. Космы его седеющих волос спутаны, брови сдвинуты.

— Что я вам хотел сказать? Специально за этим шел и забыл... Ах да: помните, как осталась непреподнесенной книга Котовскому? Ничего не откладывайте. Поезжайте навестить Ольгу Петровну. Если у вас есть друзья, съездите к ним, проведите. Не обижайтесь, что лезу с советами. Хороший тон рекомендует давать советы не раньше, чем тогда, когда к вам за ними обратятся. Но не могу утерпеть.

— Вы не оправдывайтесь, верно говорите. Никак не научусь владеть временем. Захлестывает — и ничего не успеваю. Вот узнаю адреса и поеду. Ничего тут сложного нет. Только наверняка опять не раскачаюсь. К Стрижову, на что он живет здесь же, на Фонтанке, полгода собирался! Тяжел на подъем. Нехорошая это черта, вы правы.

2

Предсказания Детердинга о сроках войны не сбылись. Но тучи над горизонтом не рассеивались. Густели тучи. Все небо заволочло.

Когда писатель Бобровников выпустил свой роман «Бескровное вторжение» и поехал преподнести книгу Ивану Сергеевичу Крутойярову, тот сказал:

— Готовьте второй том. Вряд ли решатся мирным путем все разногласия и противоречия. Что называется, вечный мир до первой драки. Боюсь, не пришлось бы вам рассказывать о кровавых, страшных делах на страницах нового романа.

— Я не баталист, — грустно вздохнул Бобровников. — И потом — надо же дать дорогу новым дарованиям, пусть они дерзают. Редактор издательства «Круг» Воронский утверждает, что писатели рождаются сейчас, как грибы. Вот! Им и карты в руки. А мы с вами... как это сказать? История литературы.

— Ну, ну, не приbedняйтесь. Мне кажется, и у вас новое рождение?

— Что да, то да. Переживаю вторую молодость. Вы это точно подметили. На самом-то деле: можно ли оставаться хладнокровным? То, что я успел посмотреть, — непостижимо! Днепрогэс... Магнитогорск... Я, вероятно,

походил на иностранного туриста, когда лазил по бетону плотины, бродил по дну Днепра, стоял на том месте, где когда-то шумела Запорожская Сечь... По-моему, некоторые инженеры даже пытались заговаривать со мной по-английски.

— Ничего удивительного, в вас еще сидит Париж, это не скоро выветривается, это как нафталин. Страшно рад вас видеть! Страшно рад! Молодейте, это у нас полагается. Кстати, хотите, познакомлю с новым поколением? Михаил Петрович! Михаил Петрович! Вот честь имею представить: это — писатель Бобровников, это — Марков. Котовец, кавалерист, скакал на коне и воевал, а сейчас мирно издает книги.

— Да?! — И Бобровников воззрился на Маркова, как на девятое чудо. — В самом деле?

— Можно бы продемонстрировать наряду с Днепро-строем и Сельмашем, если бы не одно: сейчас вся писательская смена такова. Сюжетные люди.

— Очень рад познакомиться! Марков? Читал, читал. Да, я читаю. Нахожу отвратительной привычкой, что писатели не читают друг друга. Раньше этого не водилось.

Как только Бобровников ушел, Марков надел на Крутоярова, выпросил роман «Бескровное вторжение» («Не сразу же вы за него приметесь, Иван Сергеевич!»), прочел его одним залпом и помчался к Стрижову рассказывать о впечатлении.

Стрижов, оказывается, книгу читал и тоже хорошо о ней отзывался. С его мнением Марков очень считался.

Дружба у них была крепка и нерушима. Свободного времени у обоих в обрез, зато как повстречаются, отводят душу.

— Слава аллаху, — говорил Стрижов после пятнадцатого съезда пратии, — очистились от скверны! Ведь еще когда Ленин предупреждал о Зиновьеве и Каменеве, еще до революции. А сколько вала ndались с Троцким? Теперь порядочек. Из партии вон и будьте любезны убираться за границу. Пускай там, на Принцевых островах, свой четвертый интернационал сколачивает.

— Но все-таки почему так много оппозиционеров?

— Разве это много? Семьдесят пять крикунов вычистили, семьдесят пять гнилых интеллигентов. А что такое

семьдесят пять? Мелочь. В партии и с партией — миллионы.

Взгляд на часы, не опаздывает ли на занятия. Накидывая пальто и нахлобучивая кепку:

— Мама! Запри. Приду поздно. Эх, Мишенька Петрович! Одним бы глазком взглянуть, что будет еще через пятьдесят лет? А? Вот ведь сейчас: кажется, успехи? Армия сильна. Строим кое-что. Пятилетку затеяли — тоже не фунт изюму. Но я так думаю... (пауза, спуск по лестнице с нарастающей скоростью, через одну, через две ступеньки) — даже ничегошеньки похожего не будет через пятьдесят лет на то, что сейчас. (Давай махнем через проходной двор, скорее будет!)

И уже шагая мимо Екатерининского сквера к Толмазову переулку, чтобы выбраться к остановке трамвая:

— Такую житуху закрутим — диво-дивное! У нас тут лекция была: «Техника будущего». Мы рты поразевали. Вот, дьяволы, башковиты! Ку-у-да!

Стрижов рассказывал, что на заводе у них работа идет успешно.

— Конечно, ты можешь на слово и не поверить. Но если бы началась война, ты мог бы получить отзывы о наших изделиях от противника.

— Какие именно отзывы?

— Такие, что после применения наших изделий на фронте некому будет в окопах противника давать отзывы.

Чувствовалось, что уж до того хочется Стрижову похвастаться теми изделиями, которые они изготавливают! Но Стрижов всякий раз прикусывал язык. Он был строг в этом отношении.

Вообще, как заметил Марков, он стал вдумчивее, серьезней. Меньше декламировал. Меньше дурачился. Параллельно с заводом шла учеба. То, что узнавал сам, старался передать Маркову, и если бы послушать их со стороны, можно было бы подумать, что это два студента готовятся к зачетам по историческому материализму.

Теперь вместо стихов Марков слышал от Стрижова цитаты, формулировки, рассуждения о единстве противоположностей... о прибавочной стоимости... Когда это происходило в присутствии Анны Кондратьевны, на ее лице можно было прочесть быструю, как кадры кино, смену настроений: сначала она умилялась, потом удивлялась,

потом была озадачена, потом переставала что-нибудь понимать и теряла всякое терпение. Тогда она отмахивалась, как от наваждения, и уходила в кухню, ворча:

— Боже милостливый, прости меня, грешную, битый час говорят — и хоть бы одно словечко понятное. Ну и молодежь пошла! Чур меня, чур, слушала-слушала, аж голова вспухла!

3

В сентябре Марков решил наконец поехать повидаться с Ольгой Петровной, посмотреть на памятные места.

Ольга Петровна поселилась с детьми и сестрой в Киеве. Марков нашел ее спокойной, задумчивой. Она стойко переносила постигшее ее несчастье. На лице ее появилось выражение непреклонности. Взгляд был наполнен затаенной, запрятанной в себя болью и вместе с тем подчеркнутой гордостью. Нет, она не порадует врагов слезами и отчаянием!

Она по-прежнему сохраняла самые сердечные отношения с котовцами. К ней обращались. Ее слово было решающим при всех обстоятельствах.

Побывала она и в Ободовке. Встречали ее коммунары с почетом. И Ольга Петровна радовалась, что дело у них ладится, обещает разрастись.

Там, в Ободовке, доживал свои дни боевой конь Котовского Орлик. Его не заставляли работать. Он свободно разгуливал по всей территории коммуны и осторожно, одними губами брал кусочек сахара, если угощали.

Ольга Петровна и рада была видеть его, и в то же время это было для нее мучительно. Сердце болезненно сжималось, слезы навертывались на глаза. Уж очень живо все вспоминалось, никакого самообладания не хватало, чтобы и тут сохранить хотя бы внешнее спокойствие. Зато маленький Гришутка радовался Орлику шумно, беспечно и очень любил его.

Марков быстро добрался в Киеве до безмятежного зеленого Десятинного переулкa и сразу нашел квартиру Ольги Петровны на третьем этаже. Перед домом шелестели деревья, и, если выйдешь на балкон — на один из трех балконов в квартире, — оказываешься как в саду.

Хорошее место. Улица, по которой никто никогда не ездит. Улица, на которой пасутся козы, как на лугу. Рядом — живописная церквушка. А когда Марков выспрашивал у прохожих дорогу, ему отвечали: «Десятинный переулок? Да то ж перед самой-самонькой Гончаркой! Туточки и идите».

Встретили Маркова как родного. Да и никто еще, кажется, не уходил из этого дома не обласканный, не накормленный, не получивший здесь и ночлег, и внимание.

Марков с гордостью отметил, что сумел завоевать здесь общее расположение. Маленький Гриша доверчиво поручал ему подержать ружье, пока сам орудует ключом заводного автомобиля. Елизавета Петровна смотрела на него ласково и доброжелательно. Ольга Петровна давала поручения и даже доверяла повести гулять Леночку и Гришутку.

— У нас теперь девочка, Лёка, — сообщил Гриша. — Только она еще маленькая и ничего не умеет.

Марков понял, что в этом доме поставлена благородная цель — вырастить двух полноценных людей, поднять их на ноги, воспитать, взлелеять, дать им образование, обеспечить их самым основным капиталом человека — хорошим здоровьем и хорошей душой — и вручить затем советскому обществу: получайте двух сограждан, вклад щедрого наследства Григория Ивановича Котовского. Этой цели было подчинено все в доме. Делалось это дружно, прилежно, единодушно. И Марков сразу сумел приспособиться ко всему укладу этой семьи.

Ольга Петровна ходила на работу, она заведовала хирургическим отделением больницы. Когда она возвращалась домой, ей докладывали о всех событиях. А после обеда обычно начинались воспоминания. Начинались сами собой, без просьб, без упрасиваний. Ольга Петровна была беспристрастна, как летописец, взволнованна, как борец за справедливость, как подлинно советский человек. Она помнила всех, была в курсе всех дел и по-прежнему была для всех заботливой мамашей. Вот и теперь: узнав, что Марков собирается в Умань навестить Криворучко, она попросила его передать гостинцы Николаю Николаевичу.

— Трудно ему. Принять корпус после Григория Ивановича! Ведь он назначен командиром корпуса, вы этого

не знали? Поезжайте, тут рядом, он очень обрадуется вашему приезду. Он славный, лучшего преемника Григория Ивановича, чем Криворучко, я и не желала бы.

Хорошая человеческая улыбка озарила ее лицо.

— И еще одна просьба, Мишенька. Тут Савелий письмо прислал... Лиза, где у нас письмо Савелия? У них там очень сложно, вот прочтите сами. Вы ведь близко знаете Савелия. Он совсем особенный, правда? А уж язык у него такой цветистый, такой сочный, я бы сказала — почвенный.

— Да, его заслушаешься! — оживился Марков. — Он как-то по-своему воспринимает каждое явление. Стало быть, жив и здоров? Вот кого я хотел бы повидать!

— А я о чем говорю? — обрадовалась Ольга Петровна. — Я как раз и говорю, что надобно бы его повидать. Тут и адрес есть на конверте. Что вам стоит — молодой, бывалый, не такие переходы делали. Лиза! Отпустим его? Пусть от нас поклонится и садам Умани, и полям Пензы. Значит, ты «за»? Постановлено единогласно!

Не успел Марков оглянуться, как все было решено и подписано. И пирожков ему на дорогу напекли. Но, конечно, не сразу выпроводили, погостил недельку. И все семь дней проговорили о Григории Ивановиче, о военных дорогах и передрягах, о корпусе, о боях. Повспоминали тех, кого уже нет на свете, и тех, что живут полной жизнью и сейчас...

Марков нашел время, чтобы побродить по городу. Город был прекрасен. Марков прошелся по Крещатику, побывал в садах и парках, любовался во Владимирском соборе росписью кисти Васнецова и Нестерова. Был несколько разочарован Аскольдовой могилой. Поражала только старина: уже было отмечено тысячелетие со дня убийства витязя Аскольда.

Марков размышлял о том, что мы привыкли оперировать десятилетиями, сто лет вызывают у нас уже почтительный трепет... Но ведь пройдет когда-то и тысяча лет со дня убийства Котовского. Будут ли люди помнить об этом? И какие это будут люди? Непохожие на нас? Или что-нибудь вроде?

Марков много переделал всяких дел в Киеве. Оставалось еще одно, самое неотложное. С вечера он засобиравшись, захлопотал, предупредил, чтобы завтра его не ждали ни к обеду, ни к ужину.

— Куда вы опять, непоседа? — встревожилась Ольга Петровна.

Маркову не хотелось говорить о своей затее, но пришлось пояснить, что отправился на речку Здвиг.

— Чего вы там не видели? Порыбачить хотите?

— Мост. Там есть один мост...

— Мишенька, зачем же выдумывать? Хотите ехать, езжайте, никто вас не удерживает. Но к чему приплетать какой-то мост, на что он вам сдался?

— Как на что? Я хочу посмотреть, цел ли тот мост. И вообще посмотреть. Тогда, как сейчас помню, клубами перекашивался туман. Ну вот, верите, ничего не было видно, одна сырость. А потом Няга подал сигнал. Часового у моста сняли, он и не пикнул. Что было потом — помню смутно, в отрывках. Это был жестокий бой, другого такого мне не случалось видеть. Пожалуй, из дроздовцев мало кто уцелел.

— Ну и что?

— Больше ничего. Тянет меня туда, давно тянет. А ведь тут рядом, я быстро обернусь, вы не беспокойтесь. А потом в Умань.

— Конечно, поезжайте. У мужчин все как-то недуром. Они, видите ли, много наубивали на этом месте, так дай-ка поеду посмотреть. Сроду бы в эти места не заглянула, — ворчала Елизавета Петровна.

— А вы родные свои места хотели бы посетить?

— Еще бы. Конечно, хотела бы. Так то родное.

— Вот то-то и оно. Моя родина далеко. Кишинев для меня сейчас дальше, чем какой-нибудь Сатурн. Тот хоть в телескопы разглядывают. И я не хочу тревожить больное место, стараюсь даже не думать о Кишиневе, о крыльце с двумя ступеньками, о курносой сестренке Татьянке... А пока... пока у меня заветные места — это те, где выстрелы гремели, клинки сверкали на солнце, кони ржали, падая наземь с распоротыми животами... На Здвиже-то сколько я дружков оставил поколотых-побитых! Скольких однополчан там недосчитался! Если мы с Савелием остались живы, так это чистое недоразумение...

— Ой, Мишенька, не надо об этом, пожалуйста, не надо! Поняла я теперь. Поклониться хотите, подумать о тех, кого уже нет. Как на кладбище ездят, «родительская» у нас называется...

Марков, оказывается, и попутчика высмотрел. Ранним

утром, чуть рассвело, по холодку они и выехали. А там, на месте, Марков самостоятельно бродил по убранным полям, по глинистому берегу.

Он отыскал три моста. У которого же из них была переправа? И где тут ложбинка, в которой ночь напролет провел он рядом с Савелием? И где тут открытое поле, по которому Марков бежал и до хрипоты кричал «ура»?

По плану, разработанному Котовским, офицерский полк заставили отступать к реке, а там их ждали установленные наши пулеметы. Да, да, Марков помнит, как офицеры прыгали в воду, больше им ничего не оставалось. Туман рассеялся, настало ослепительное, бодрое утро. Фыркали лошади, вплавь переправляясь через реку, так как мост был поврежден... Течение было быстрое. Трупы на минуту задерживались, зацепившись за устои моста, а затем их уносило течением дальше...

Но все это лишь в памяти Маркова. А так, если оглянуться вокруг, сейчас была умиротворенная, деревенская тишина, выводок уток плавал возле самого берега. Они добродушно, хозяйственно крякали и ныряли за рыбешкой. На той стороне реки возле опрокинутой лодки стоял, застыв и окаменев, рыбак в соломенной шляпе и смотрел на неподвижный поплавок. Прокряхтел рядом воз. Красивая чернобровая молодка лениво глядела на Маркова, лежа на возу, выковыривая семечки из подсолнуха и поплеывая шелуху. Круглые облака отражались в воде. Квакали лягушки. Марков сел на обрыве возле куста смородины, развернул пакетик и принялся за мясные пирожки...

— Ну как? Довольны? — спросила Елизавета Петровна, когда он вернулся.

— Доволен.

— Посмотрели?

— Посмотрел.

— Ну и хорошо. А теперь в Умань. Поезжайте, миленький, сделайте, что Ольга Петровна просит, хочется ей внимание Николаю Николаевичу оказать.

4

Первое, что поразило Маркова по приезде, — это невероятные перемены в облике Криворучко. То есть Марков видел, что перед ним Криворучко, знал, что это Криворучко, понимал, что это Криворучко, но это был не Кри-

воручко, а совсем другой человек, только по старой памяти именуемый Криворучко.

Это все и высказал Марков в первые же минуты встречи, выражая ту мысль, что здорово вахмистра обломали в ВАКе.

Криворучко рассмеялся:

— Все мы подрастает помаленьку. А вы посмотрите на наш комсостав! Чудеса, да и только.

Марков рассказал о Киеве, о себе, передал гостинцы.

— Видеть вас рад, а Ольга Петровна напрасно беспокоится. Можно бы и без подарков.

Марков пробыл в Умани несколько дней. Умань в сентябре необычайно красива. Появляется первая позолота в листве, как первая проседь на висках, как первые намеки на приближающуюся осень. Но еще в полную силу зеленеют сады. Солнце и не думает сбавлять норму тепла и блеска. На улице не встретишь ни одного мальчишки, не грызущего яблока, ни одной даже самой крохотной девчушки, у которой не были бы перемазаны щеки ягодным соком или вареньем. И Марков пил чай с вареньем, толкуя с Николаем Николаевичем Криворучко, с комкором Криворучко, о разных разностях.

— Я поставил задачей, — рассказывал Криворучко, — сохранить в корпусе весь почерк Котовского, весь его стиль. Та же дисциплина, та же дружная работа, те же занятия физкультурой, та же учеба.

«Хороший народ. Складно у них тут. Не подкачают!» — подумал Марков.

Он решил, что напишет Ольге Петровне подробное письмо, и собрался ехать.

— Куда вы так скоро? — всполошился Криворучко. — С вами так легко говорится о Григории Ивановиче, о наших делах...

— Никак не угадаете, куда я собираюсь, — признался Марков. — Представьте, в Пензу! Хочу разыскать Савелия. Помните такого?

— Кожевникова? Как не помнить! С удовольствием бы составил вам компанию! Только отложите поездку на сутки. Сегодня вечером у меня будет подпольщик из Кишинева. Вам, наверное, интересно будет его послушать,

— Неужели из Кишинева? Тогда я останусь! Но разве можно попасть в Кишинев?

— Вообще-то, конечно, нельзя. Но я же вам говорю: подпольщик.

Приезжий из Кишинева внешне был ничем не примечателен. Обыкновенное лицо, спокойные, внимательные глаза. Одет тоже обыкновенно,

— Здравствуйте! Карпенко, — сказал он, входя.

Марков подумал о том, что этот Карпенко, вероятно, еще и Сидоренко, и Цуркан... и еще бог знает кто, смотря по обстоятельствам. Какое у него дело к Криворучко, Марков не любопытствовал. Рассказал Карпенко много историй, каждая из них была невероятна, фантастична, полна драматизма, дерзкой отваги, героики и каждая была сущей правдой.

Марков внимательно рассматривал подпольщика. Необыкновенные люди! Сидит, пьет чай, рассказывает, голос ровный, слова простые. Никакой позы, никаких патетических возгласов, никакой рисовки.. Марков раздумывал, мог бы он быть подпольщиком? Тогда бы и он сумел пробраться в Кишинев... повидать своих...

— Что говорить, — продолжал Карпенко, — борьба обходится не дешево, гибнут лучшие люди. Но и мы спуску не даем. Сигуранца знает, что ничего безнаказанным не пройдет. Помню, когда они замучили Маркова, так железнодорожники шесть эшелонов пустили под откос. Пять с военным снаряжением, а один с солдатами.

— Как вы сказали? — переспросил Марков, бледнея. — Кого замучили?

— Маркова, Петра Васильевича. Дельный был, я его лично знал.

— Маркова... Петра Васильевича...

Сказал, и голос у него сорвался.

— Как же... Мы об этом еще листовку выпускали. А что, вы его знали?

— Это мой отец, — беззвучно пролепетал Марков.

Криворучко слушал, смотрел. Он еще не отдавал себе отчета, что произошло. Мишу Маркова он знал с давних пор. Но Мишиного отца Котовский отпустил на родину, когда Криворучко еще не было в отряде Котовского. Он слышал, что у Маркова в Кишиневе семья. У многих, находившихся в бригаде, семьи были в Молдавии. Когда Карпенко назвал жертву сигуранцы, Криворучко вначале не связал это с Мишей. Мало ли Марковых на свете!

Теперь Криворучко понял, какое горестное известие

привез этот спокойный, тихий человек. И Криворучко сам не знал, что было бы лучше: не удерживать Маркова, пусть бы уезжал и до поры до времени оставался в полной неизвестности, или, наоборот, хорошо, что Марков все узнал.

Карпенко был обескуражен таким оборотом дела.

— Вон оно какое дело... — бормотал он. — Не знал, не знал. Так это точно? Вы не ошибаетесь? Ваш отец работал на железной дороге?

— Мы жили в железнодорожном городке. Гончарная улица...

— Как же, как же! — оживился Карпенко. — Крыльцо с двумя ступеньками... деревянный дом... Стало быть, Марина матерью вам приходится? Померла и она...

Карпенко рассказал, какие знал, подробности. Знал он немного. Мог только сообщить, что Марина умерла в больнице, Татьяна куда-то исчезла, не то скрывается где-нибудь у родственников, не то совсем уехала из Молдавии. Криворучко ужасно боялся, что Марков раскиснет, так как считал, что котовцы не должны падать духом ни при каких обстоятельствах. И он был доволен. Марков встретил известие как подобает солдату. Только сказал:

— У меня жена, вот Николай Николаевич знает, потеряла всю семью, всех односельчан в одну ночь. А я ее все утешал: освободим Кишинев, поедem к нам, мои родители будут и твоими родителями... Так-то ей все расписывал... а оказывается...

— Что ж, Миша, — подошел к Маркову Криворучко, — все-таки лучше знать, чем не знать. По-моему, так.

Больше Маркову расспрашивать было не о чем, да и Карпенко заторопился. Они побеседовали еще о чем-то, выйдя на крыльцо, и Карпенко распрощался.

Марков и Криворучко долго сумерничали. Вечер был теплый, даже парной. Сидели у открытого окна и молчали. Вдруг колыхнулись ветви деревьев, по комнате промчалась волна влажного воздуха, и вслед за тем пошел дождь, тихий, теплый, даже какой-то ласковый и успокаивающий. Котовцы сидели и слушали, как хлупает дождевая вода, как при каждом всплеске ветра плепаются мокрые листья, как поет-заливается на все лады водосточная труба, как дождь настойчиво и музыкально барабанит по крыше.

На рассвете Марков уехал в Пензу искать Уклеевку.

Приятно въезжать в деревню, не стреляя на всем скаку, не выбивая из бань и овинов огрызающегося противника, не крича «ура», не улюлюкая, не размахивая клинком, а просто прогроыхать на тряской телеге, беседуя о том о сем с рассудительным бородатым дядей, охотно согласившимся довезти до Уклеевки.

— Вам как? Прямо к председателю? Али в сельсовет?

— Лучше бы к председателю, если можно. Это далеко?

— У нас тут все недалеко.

Марков довольно скоро отыскал Уклеевку. А в поезде наслаждался движением и покоем в одно и то же время. Что много людей вокруг — это не мешало Маркову, и в дороге он как бы побыл сам с собой. Ему необходимо было подумать, поразмышлять и привести себя в душевное равновесие. Зрелище мелькающих за окном полей, речек, рощ и деревень действовало успокаивающе, перестук колес правился и тоже умиротворял.

До чего обрадовался Савелий! Он глазам своим не верил:

— Мишенька! Марков! Люди добрые, да вы поглядите, какой дружок приехал! Верно говорят, что гора с горой не сходятся, а люди когда-когда, глядь, и повстречаются. Проходи, гостюшка дорогой. Анисья! Гляди на него, это же Марков, Марков, с ним мы в долочке перед атакой лежали под престольным городом Киевом!

— Я как раз там был, оттуда и еду. На Здвиже побывал, все искал этот самый долочек... и мост...

Но Савелий не слушал.

— Ты ж подумай — Марков, а?! С ним мы горе горевали, с ним мы у самого Григория Ивановича службу несли... Сокрушили злодеи нашего соколика! Им бы смотреть да радоваться, что на российской земле такой ладный человек живет, так нет, им все наше хорошее — заноза в сердце, будь они неладны...

Маркова усадили. Маркова потчевали. И как пошел Савелий кружевные кружева плести, присказками сыпать, так и не замолкала эта музыка до самого расставания.

— Анисьюшка, краля писаная! Что есть в печи, на стол мечи. Вы, поди, горожане, нашим простецким-то и побрезгуете? Студень-то хорош? Еще скушай, Мишанюш-

ка, ватрушечку! Сыт? Ну-ну. Душа меру знает. Что же-нушку-то не привез? Занята, говоришь? Работа? Ох-хо-хо, в девках сижено — горе мыкано, замуж выдано — вдвое прибыло.

Когда Савелий узнал, что Маркова Ольга Петровна послала и что Савельево письмо вслух читали, оханья и аханья, шуму и суеты еще больше прибавилось.

— Прежде-то я все Григорию Ивановичу писал, мы ведь все с ним советовались. Командир-то он был первейший, да и то надо помнить, что из агрономов, землю-то понимает, где мак, а где так — отличит. А теперь — кому же? Мамаше нашей — Ольге Петровне...

— Ты дай человеку словечко вымолвить, — заступилась за Маркова статная, густо замешанная, проворная и сильная Анисья.

Но куда там! Савелий сыпал и сыпал, как зерном из пригоршни.

— Как жизнь, Савелий? Как идут дела?

— Хозяинуем. Полешко к полешку — вот и дрова.

Узнав от Маркова о судьбе его родителей, Савелий ничуть не удивился:

— Ты разве не знал? Слушок-то давно ходил про это. А что ты хочешь? Одно слово: капиталисты. Хорошего от них не ждать.

Марков подумал, что у Савелия все просто получается, все у него свое место имеет и свое назначение, все у него по-своему. Вон и о Котовском он как о живом говорит.

Савелий рассказал, как воюет с кулаками да подкулачниками, отстаивает голь перекатную, бедноту, коллективизацию хочет проводить.

— Демобилизованные, старые солдаты — вот наша опора, без них хоть пропади. Мы единым фронтом двигаемся. Было тут такое дело: у нашего сельсоветчика кулаки дом спалили. Шила в мешке не утаишь, мигом разведали, кто к поджогу причастен: первый богатеи Вараксин Андрей. Посоветовались мы промеж себя. До бога высоко, до суда далеко, давайте, мужики, своим умом разберемся. Вызвали Вараксина. «Ты поджег?» — «Не доказано. Кто видел?» Нашли, кто видел, приперли к стене, признался. «Так вот, говорим, Андрей, считай, что ты свою избу сжег!» — «Моя целехонька стоит!» Ладно. Комсомолия нас поддерживает. Молодость завсегда вперед смотрит. Пошли мы всем скопом, поздоровее ребят прихватили, Ва-

раксина с бабами, с пеленками, со всей хурдой-мурдой забрали да на пепелище их — вот ваш дом! А сельсоветчику говорим: «Получай вараксинский дом, живи». Вой поднялся на всю губернию. А куда подашься? Сходом порешили! Закон! Ну, худо-бедно, Вараксин быстро заново отстроился да выпросил из своего же, значит, кровного — лошаденку да коровенку. С той поры чтобы поджогами заниматься — ни-ни! На всю жизнь зарекся.

— То-то Ольга Петровна рассказывала, что у вас баталия идет.

— А как же? По слову Владимира Ильича, отменяем российский лапотный капитализм. Вчера не догонишь, от завтрава не уйдешь. Так-то, Мишаня.

— О каком же срочном деле в письме разговор шел?

— А насчет пчел. Хотим пасеку заводить, и все чтобы по-научному, по-советски. У вас там, в Ленинграде, все ученые собрались. Нам бы руководство какое получить. В Пензе шарил-шарил, книг много, а все больше неподходящие.

— Это, Савелий, обещаю. Непременно отыщу, все, что достану, пришлю.

— А сам опосля медку протведать приезжай.

— Ты бы приехал в Ленинград. А, Савелий?

— А я на сборы скор. Может, и приеду. Дело у меня там одно есть.

— Какое?

— Слыхал я, есть у вас Медный Всадник, посередь площади стоит и конем управляет...

— Есть...

— Надобно мне его повидать. Беспременно надо, не хочу умереть, пока не повидаю. Мне о нем один верный человек рассказывал. Жди, Мишаня, выберется времечко — прискачу. Как скоро, так сейчас. Только адрес пропиши — и какая улица, и как проехать.

Дни летели. В конце сентября Марков был еще в Умани, а теперь и октябрь подходил к концу. Пора бы и трогаться, но Савелий и слышать не хотел об отъезде:

— Ты же тыквы еще не пробовал... Тыквенную кашу никогда не едал? И куда спешить? Поспешишь — людей насмешишь. Нельзя жить торопко. Ужо и в Пензу съездим, Пензу посмотришь. Живи!

Побывал Марков и на новой затее Савелия — общественном птичнике, и на полях. Послушал, какие песни

расчудесные поют в Уклеевке вечерами. И все давал себе клятвы, что будет сюда наведываться почаще, и, давая клятвы, откровенно признавался себе, что вряд ли когда еще выберется.

— Хорошо у вас тут, Савелий!

Марков хвалил, и хвалил искренне, но сам уже смертельно соскучился по Ленинграду, по Оксане, по афоризмам Крутоярова и бурным монологам Женьки Стрижова.

Савелий усердствовал:

— А коровник-то! Коровник я не показывал. На научной базе устроено!

— Что ж, пошли посмотреть коровник...

— Библиотеку-читальню я уже показывал? Али нет? Батюшки-светы, чуть не запамятовал! Культурную революцию проводим, согласно указаний товарища Ленина. Не кое-как.

Маркову понравилась худенькая синеглазая библиотечка. Она была такая маленькая, что еле доставала до верхних полок шкафа.

— Книга Михаила Маркова у вас есть?

— Вот, пожалуйста. И еще есть экземпляр, только сейчас на руках.

Марков осторожно взял свою книгу. Потрепанная! Читают! Это переполнило его гордостью. Было очень смешно, что Савелий только сейчас понял, что книгу эту написал он, этот самый Миша.

— Смотри ты! И в библиотеке! И твоя! — недоумевал он. — И что это на свете творится!

Библиотекарь, услышав, что Марков писатель, стала рассказывать о работе, показывала диаграммы, предложила посмотреть свежие газеты, сегодня привезли почту.

— Некогда нам, — заважничал Савелий. — Коровник иду товарищу из центра показывать.

Однако библиотекарь оказалась настойчивой. Она успела уже с кем-то перешепнуться, куда-то отослать одну юную читательницу. И вот в библиотеку стали один за другим входить старые и молодые, женщины и мужчины, а главным образом молодежь.

— Это они с вами хотят побеседовать! — решительно объявила библиотекарь. — А коровник как коровник, пичего в нем такого нет, можете и завтра посмотреть.

— Главное, вы нам про Котовского-то расскажите, —

подошел к Маркову дряхлый-дряхлый старик. — Значит, вмести́х воевали? Скажи на милость.

— Так ведь и Савелий котовцем был.

— Савелий свой, нам это без интересу. А вы свежий человек.

Что ж, о Котовском Марков готов хоть каждый день рассказывать. Дали поудобнее всем расположиться, и началась у них беседа. А Савелий разве утерпит? И он стал вспоминать. Посыпались вопросы. Больше всего мальчишки спрашивали: и что это за гимнастика, которую делал Котовский, и какие сражения были, и какие кони... Спрашивали и во все глаза на рассказчика таращились.

И всплыло все пережитое в памяти Маркова, разволновался он, ведь свежо все, только ворохни...

Через несколько дней Маркова провожали на станцию Савелий, жена Савелия, синеглазая библиотекарьша, одноногий солдат — секретарь ячейки — и новые друзья Маркова — молодежь, чубастая, задорная комсомолия.

Марков был доволен, что всюду побывал, ко всем съездил. До сих пор что-то над ним довлело, было такое ощущение, что начал читать интересную книгу, оторвался и осталась недочитанной первая же глава — как-то ни то ни се. Теперь порядок! Можно перелистнуть страницу и с любопытством заглядывать, о чем там дальше.

6

Вскоре после возвращения Маркова из этой поездки Оксана увидела на листе бумаги красиво выведенное название:

«Нас вел на врага Котовский» — роман.

— Решился все-таки? — спросила она. — Как трудно-то будет! Ой, матенько!

— Не могу я, — ответил Марков, как бы оправдываясь и вместе с тем подбадривая себя. — Чувствую, что не могу не писать это. Пока не напишу, не успокоюсь.

Прошло несколько дней. В одно удивительно солнечное утро Оксана проснулась оттого, что яркий свет бил прямо в лицо. И тут Оксана увидела, что на письменном столе не погашена лампа, зеленый абажур светится, но слабо, потому что вся комната залита утренним солнцем, на полу солнечные полосы и отчетливый узор тюлевой за-

навески, окно открыто настежь, и слышно, как трамвай погрохатывает по Литейному мосту.

А Миша? Да вон он, как сел вечером, так и сидит, склонившись над листами бумаги.

Оксана вскочила, босыми ногами коснулась горячего, нагретого солнцем пола.

— Мишенька! Ты чего же? Забыл свое обещание не полуночничать?

— Понимаешь, Ксана... думаю... все думаю, думаю...

— Сколько же можно? Утро ведь уже! Ты посмотри, любчик мой, какое солнце!

— Солнце? — рассеянно переспросил Миша. — Да, в самом деле. Понимаешь, Ксана. Тут нельзя, чтобы сел да написал. Тут надо так написать, чтобы сердце содрогнулось.

— Конечно! — согласилась Оксана и притулилась около Маркова на стуле. — А то как же? Так и пиши, ты ж у меня золото! Ты ж у меня все можешь!

Солнце теперь переместилось и освещало стену и кусок книжной полки. Оксана вся лучилась и улыбалась так ласково и светло. Миша был серьезен.

— Вот ты, например. Ты думала, что такое Котовский?

Оксана растерялась. Вот это вопрос! Что же она могла думать о Котовском? Она просто любила его и преклонялась перед ним.

— Прочтут книгу, — продолжал Марков, — скажут: сильный Котовский, ловко совершает побег из тюрьмы, как влитой сидит на коне, здорово бьет врагов, большие совершает подвиги. А все это будет неверно, все это будет не то, если не понять главного. А главное что? «Если жить только для себя, то вообще не стоит жить». Он сам так говорил! В этих словах весь Котовский!

Солнце поднялось выше, и теперь вся комната наполнилась светом. Стоял июнь — самые короткие ночи, самые длинные дни в году.

СОДЕРЖАНИЕ

Книга первая. ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА

Первая глава	7
Вторая глава	27
Третья глава	55
Четвертая глава	87
Пятая глава	140
Шестая глава	166
Седьмая глава	191
Восьмая глава	224
Девятая глава	254
Десятая глава	267
Одиннадцатая глава	296
Двенадцатая глава	327
Тринадцатая глава	352
Четырнадцатая глава	372
Пятнадцатая глава	383
Шестнадцатая глава	425
Семнадцатая глава	434

Книга вторая. ЭСТАФЕТА ЖИЗНИ

Первая глава	485
Вторая глава	499
Третья глава	519
Четвертая глава	540
Пятая глава	563
Шестая глава	578
Седьмая глава	594
Восьмая глава	614
Девятая глава	637
Десятая глава	650
Одиннадцатая глава	663
Двенадцатая глава	674
Тринадцатая глава	690
Четырнадцатая глава	707
Пятнадцатая глава	721
Шестнадцатая глава	733

Борис Дмитриевич Четвериков

КОТОВСКИЙ

Роман

Редактор Т. И. Заболоцкая
Художественный редактор Е. В. Альбокринов
Технический редактор З. К. Яшина
Корректор Э. И. Щербакова

Сдано в набор 11/VI 1974 г. Подписано в печать 3/I 1975 г. Формат 84×108¹/₃₂.
Бум. 3 типограф. Печ. л. 23,5. Усл. печ. л. 39,48. Уч.-изд. л. 40,97. Ти-
раж 100 000 (I-50000) экз. Цена 1 руб. 43 коп. Зак. № 3839.

Куйбышевское книжное издательство,
г. Куйбышев, Спортивная, 5/27.

Тип. изд-ва «Волжская коммуна», г. Куйбышев, пр. Карла Маркса, 201.





Б. Четвериков

КОТОВСКИЙ